МАКСИМ ПОДОБЕДОВ

# О чем они мечтали

МАКСИМ
ПОДОБЕДОВ

РОМАН

Москва
Советский писатель
1987

ББК 84 Р7
П 44

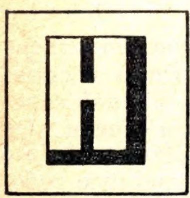
Художник
*ЮЛИЙ БОЯРСКИЙ*

П $\frac{4702010200-208}{083(02)-87}$ 112–87

© *Издательство «Советский писатель», 1976*
*Книга первая печаталась до 27 мая 1973*

КНИГА
ПЕРВАЯ
О чем
они
мечтали

# ПРОЛОГ



а границе донских степей, неподалеку от заповедного леса, есть село Даниловка, по преданию основанное при Петре Первом. Было будто так: зимой семьсот какого-то года по приказу царя Александр Данилович Меншиков поднял восемьсот душ мужеска пола (женщины и дети тогда в расчет не принимались) крестьян Хотунской волости Московской губернии и гоном погнал в Прибитюжский край («зане край сей зело стал надобен государству нашему») со всем их скарбом, с семьями и скотом.

До места дошло только восемьдесят человек, остальные сгибли в пути от холода, голода и моровых болезней. Одну половину дошедших Меншиков поселил на отлогом берегу речки Приволье, другую — отвел верст на десять дальше. Первое поселение назвал Даниловкой, в честь папаши своего, а второе — Александровкой, очевидно движимый стремлением увековечить свое собственное имя.

С тех пор Даниловка росла да росла и к сороковым годам нашего столетия выросла в большущее село.

Когда приближаешься к Даниловке, то прежде всего видишь белое двухэтажное здание школы, старую, облупленную церковь с двумя тусклыми крестами и обширный парк с шапкообразными верхушками дубов и сосен, над которыми возвышается вековой дуб, будто бы посаженный еще самим светлейшим.

На краю Даниловки, по обеим сторонам грейдера, ведущего в Александровку, расположены конюшни, молочные фермы, амбары колхоза «Светлый путь». Тут же, немного на отлете от хозяйственных построек, стоит кузница — старый, покосившийся сарай с железной ржавой крышей и низкой черной трубой, из которой во все времена года струится жидкий синий дымок. Бодрый звон молотков по целым дням слышен чуть не всему колхозу.

Работают в кузнице двое: Петр Филиппович Половнев —

колхозник лет пятидесяти с лишним — и молодой парень Алексей Ершов. Половнев выше среднего роста с широкой грудью и могучими плечами. У него смуглое продолговатое лицо, черные брови, густые, подрезанные на концах усы, прокопченные табаком. И усы и брови заметно тронуты сединой, а волосы на голове совсем серебристые. На вид он суровый и даже мрачноватый.

Ершову двадцать три года. Он много выше Половнева и в плечах пошире. Волосы у него светлые, глаза иссиня-голубые, лицо бритое, с небольшими, цвета пшеничной соломы усиками и тонким с горбинкой длинным носом. Он отслужил уже свой срок в Красной Армии. В Даниловке это личность до известной степени знаменитая: за ударную работу в кузнице по подготовке к посевной Ершов награжден Почетной грамотой райисполкома. Но еще больше, пожалуй, он знаменит тем, что пишет стихи и частушки, которые нередко появляются в стенной, а иногда и в районной газете. Посылал Ершов свои произведения и в областную, но там его пока не признавали. Какой-то литературный консультант Г. Жихарев беспощадно браковал его стихи, а недавно прислал и вовсе раздраженное письмо:

«Уважаемый тов. Ершов!

И эти Ваши стихи слабы, беспомощны. К печати они безусловно непригодны. Я уже писал, и не однажды, что у Вас нет культуры и надлежащей подготовки к литературному труду. Пишете Вы больше по старинке — ямбами да хореями, подражая классикам. Но классический стих несозвучен нашей эпохе.

Кажется, все мои советы не пошли Вам впрок. Наверное, Вы думаете, что «стихи делаются так: пришел и запел вдохновенный простак». Нет, простакам в нашу бурную эпоху в поэзии не место. Прочтите, вернее, изучите книжку Владимира Маяковского «Как делать стихи», и Вы сами поймете, сколь глубоко Вы заблуждаетесь. При теперешнем уровне Вашего развития Вы могли бы стать неплохим селькором. Пишите заметки о клубной работе, об избе-читальне, о колхозной самодеятельности и т. п. Подходящий материал обязательно опубликуем.

С тов. приветом
литературный консультант Г. Жихарев».

До сих пор Половнев не осуждал увлечения своего напарника стихотворством, а случалось, даже и подбадривал, если тот читал ему что-либо вновь сочиненное. Но когда Ершов

прочел ему это письмо, он в раздумье почесал за ухом и серьезно сказал:

— Не огорчайся, Алеша! Видно, не дорос ты еще до областного масштаба. Учись, как советует этот товарищ, гляди, со временем и дорастешь.— И, немного помолчав, с усмешкой вдруг добавил: — А может, пора тебе бросать стишки, раз они у тебя не получаются?

— Я же тебе читал, перед тем как послать, и ты хвалил,— возразил Ершов.

— Да я что! Много ли я понимаю в этих делах,— проговорил Половнев.— Только мне иногда кажется, Алеша, что семейному человеку как-то вроде бы не к лицу баловство это. Как ты смотришь? Или я по-стариковски рассуждаю?

— Это уже совсем иной разговор, Филиппыч,— уклончиво ответил Ершов.— Но мне хотелось бы повидаться и поговорить по душам с этим Г. Жихаревым: чего он от меня добивается? И посмотреть, что это за тип.

— Возьми и съезди в город. Вот и повидаешься и поговоришь. Конечно, выяснить надо.

— Подготовлю тетрадки свои и поеду. Действительно, пора мне выяснить, есть толк в моих писаниях или я понапрасну силы и время трачу.

Но в начале мая Жихарев сам появился в колхозе «Светлый путь», и этот приезд его имел самые неожиданные последствия для жизни и литературной судьбы Ершова.

---

# ГЛАВА ПЕРВАЯ

## 1

...В тот памятный день, когда приехал Жихарев и с которого начался поворот в жизни скромного деревенского поэта, Половнев и Ершов на работу пришли, как и всегда, спозаранку, едва показалось солнце. Дел у них всегда хватало. Не успевали починить или сделать одно — смотришь, другое заказывают, и возле кузни постоянно ждали ремонта старые плуги, бороны, телеги, колеса, лобогрейки, конные грабли, сани. Немало времени уходило на подковывание лошадей, которых приводили не только из своего, но и из соседних колхозов.

Не потухают крупные древесные угли в горне, скрипит-поскрипывает старый, весь в латках мех, когда-то красный, а теперь грязно-коричневый. Вьются языки голубого пламени, обволакивают, лижут железо. Вот железо побелело, сделалось почти невидимым. Тогда старший кузнец берет его длинными клещами и быстро, ловко кладет на широкую тупоносую наковальню, отбитую до серебристого блеска, а молодой, бросив рычаг меха, своим тяжелым молотом начинает гвоздить в те места огненного куска, на которые небольшим молотком с длинной рукояткой указывает старший, и золотые брызги стреляют во все стороны. Кусок темнеет, темнеет, становится все тоньше. Глядь — это уже четырехгранный длинный костыль.

Часам к восьми кузнецы притомились и вышли на воздух. Молча постояли немного, потом присели на толстый дубовый кругляк.

По улице медленно ехал колхозник Аникей Травушкин. Свесив ноги, он сидел на краю телеги. Колеса противно повизгивали.

Поравнявшись с кузнецами, Травушкин снял помятую, замызганную кепчонку, обнажив обширную лысину, темно-желтую от загара, окаймленную мелкими завитушками волос цвета красной меди.

— С добрым утром, товарищи кузнецы! — сказал он, благодушно улыбаясь.

В телеге лежали мешки с картофелем, мукой, стояло несколько кувшинов, обвязанных темно-синими, коричневыми тряпицами.

Половнев в ответ небрежно кивнул, сумрачно проговорил:

— Доброе утро! Колеса не мешало бы смазать, а то оси перетрутся.

Травушкин надел кепку, натянул одной рукой вожжи. Лошадь послушно остановилась.

— Верно, верно, Петр Филиппыч, обязательно надо смазать. Поторопился сегодня. Сев кончаем... и обед надо сготовить пораньше... Вчерась не успел всего завезти... вот и пришлось...

— Знаю, что сев кончаете, — перебил его Половнев. — А куда же провианта столько?

— Так выписали. Видать, прямо на пары подадимся... а может, и еще куда. Наше дело таковское — куда начальники пошлют. Тебе-то, наверно, как партейному секретарю, известно, куда нас.

— Председатель сам скажет... Это его дело, — сухо отве-

тил Половнев, давая почувствовать, что не расположен к длинному разговору.

Травушкин понял это и торопливо задергал вожжами.

— В таком случае, извиняй, Петр Филиппыч,— почтительно сказал он.— Н-но, поехали!

И с силой хлестнул коня кнутом по мощному крупу. Конь дернулся, затрусил тяжелой рысью, выбрасывая в стороны свои битюжьи ноги. Колеса завизжали торопливо и теперь еще громче и противней.

Половнев угрюмо посмотрел вслед Травушкину, покачал головой и стал набивать трубку самосадом, беря его щепотью из кармана кожаного замасленного фартука. Заскорузлые крупные руки его слегка подрагивали, в черных, глубоко посаженных глазах вспыхивали искры гнева, вражды.

Ершов заметил, что кузнец с самого утра был не в духе, а теперь, после проезда Травушкина, совсем расстроился.

— Что с тобой, Филиппыч?— мягко спросил он, насыпая чуть не горсть махорки в цигарку из газетного листа.

— Не в себе я, Алеша, шибко не в себе.

— Да что такое?— встревожился Ершов.

— А-а!— протянул Половнев.— Долго объяснять.

— Что значит долго? А ты покороче... я пойму.

— Ну, ты же видал: лешак этот проехал... кнутиком помахивает... а мне тошно глядеть на него... вся внутренность переворачивается. В старину, гад, жил, словно сыр в масле катался, чужими руками жар загребал, в том числе и моими, и теперь, при колхозном строе, изловчился, водичку возит, продукты. Больной, дескать! А он немного старше меня и поздоровее нас с тобой, вполне мог бы и почежельше работенку потянуть. Вот я и переживаю, злюсь. А тут еще супружница моя... ох и чудная! Вчера весь вечер донимала... а после того я ночь почти не спал — думки разные голову атакуют.

— Чего такое между вами? Тетя Поля вроде бы смирная, не скандальная.

— Она и не скандалит, втихую пилит. Тебя твоя не донимает?

— Пока ничего. Да и за что? Водки не пью почти, в карты не играю, за девушками не ухаживаю. Разве иной раз насчет стихов погудит, напрасно, мол, ты ими увлекаешься... кабы деньги за них платили... а задаром зачем же время тратить... Вообще же она меня уважает.

— Насчет стихов, может, и правильно она говорит. Мне иной раз тоже кажется, что напрасно ты мозги свои натруждаешь. Их ведь, наверно, нелегко складывать, стихи-то. Но

касаемо пиления — погоди, не радуйся дюже. Научится еще и за другие дела пилить. Смолоду все бабы смирные да ласковые, а постареют — беда! Чего-нибудь да найдут и давай зудеть, как тот комар.

— Не секрет, о чем тетя Поля зудела-то?

— Об том секрете уж на селе звонить начинают, да и ты, наверно, слыхал.

— Пока ничего не слышал.

— Ну, скоро услышишь. Галю Пелагея задумала просватать за Андрюшку, за сына вот этого самого черта рыжего,— с раздражением пояснил Половнев.

— За Травушкина?— удивился Ершов.— Когда же Андрюха успел?

— На Первый май приезжал,— сердито сказал Половнев.— Не видал разве?

— Да ведь по вечерам я больше дома сижу, а в кузню к нам с тобой он не заходил.

— Вот как раз вечером-то, в хороводе, он и пристроился к Галке. То да се... На словах как на гуслях... он мастеровит! Недаром же науки разные проходил... Ну, раза два проводил ее до дому. Спрашиваю Галю: «В чем дело?» А она смеется: «Да что ты, батя! Пошутила я». Не знаю, как уж она там пошутила, а Пелагея свое: придут, дескать, свататься. Будто Настасья Травушкина обещалась... А главное, уверяет, что лучшего жениха для Галки и желать не надо!

— То-то, гляжу, ты аж с лица сменился, как увидел Аникея.

— Еще бы не смениться! Я его зрить не могу, а он, вишь, в сваты норовит. Зубы оскаляет, улыбается: глядите, люди добрые, какой я стал хороший! Он думает, я все забыл. Не-е! Я ничего не забыл.

## 2

До тысяча девятьсот восьмого года отец Половнева, Филипп Авдеевич, мог сойти за середняка: у него было две лошади, две коровы, семь овец, два надела земли. Но в восьмом Половневых постигло несчастье: пала корова от неизвестной болезни, увели конокрады молодого коня. Второй конь был стар, для полевых работ уже не годился. Стали Половневы беднеть, стали накапливаться у них недоимки по цареву налогу. Потом призвали Петра в армию — а он был опорой семьи и самым крепким работником,— и совсем захирело хозяйство Половневых.

Осенью двенадцатого старшина потребовал уплаты недоимок. А где взять денег? Филипп Авдеевич только руками развел.

— Рад бы всей душой,— сказал он,— да не в силах.

Тогда земский начальник приказал забрать у Половневых последнюю корову, но и после продажи ее за Половневыми оставалось еще 22 рубля 40 копеек — по тем временам очень большие деньги для крестьянина.

Старшина волости созвал всех недоимщиков и посадил их в «холодную» — обыкновенную избу с земляным полом и заколоченными наглухо окнами, которую никогда не отапливали.

— Будете сидеть, пока не расплатитесь,— равнодушно сказал он.

Перед рождеством старшина «смилостивился» и решил отпустить «арестантов» домой. Но перед этим велел всем раздеться, разуться и выйти во двор.

— Мужики! Как же быть с вашими долгами государю императору?— негромко спросил он.

Мужики молчали. Худые, заросшие, посиневшие от холода, они угрюмо смотрели исподлобья на представителя власти, им хотелось бы убить его. Но рядом со старшиной стояли два стражника с револьверами и саблями на боку.

Старшина криво ухмыльнулся:

— Бог с вами, пользуйтесь моей добротой! Скоро праздник Христов, я отпущаю вас. Но чтоб к масленой расплатились! А не то — опять сюда законопачу,— он кивнул на «холодную» и, обратившись к стражникам, строго добавил: — Погоняйте-ка их немножко, застыли, видать, они.

Босых, раздетых мужиков больше часа гоняли по снегу. Филипп Авдеевич до масленой не дожил: в отмороженные ноги его кинулся антонов огонь, и он отдал богу душу.

После смерти отца Петр остался единственным наследником и полным хозяином на двух наделах земли. Неизвестно, как бы он хозяйствовал, вернувшись из солдатчины, но началась война с Германией, и домой солдат Половнев вернулся только осенью семнадцатого. Чудодейственные дела творились на селе! Даниловцы толпами бродили по полям, увязая по колени в черной, как деготь, грязи, делили помещичью землю, переданную им ленинским декретом.

Поначалу дележом заправляли богачи, они старались всеми правдами и неправдами объегорить бедноту. Семью Половнева тоже обделили: не дали земли на него самого — неизвестно, дескать, жив ли он,— и на младшую сестру

его — выйдет замуж, тогда и получит в другой семье, сколько полагается.

Половнев поднял против богачей всю бедноту села, землю весной восемнадцатого переделили заново, по закону. Месяца четыре он был председателем комитета бедноты, помог большевикам очистить от кулаков и эсеров волисполком и сельсовет, а осенью вступил в РКП(б) и ушел добровольно в Богучарский полк защищать Советскую власть и ленинские декреты от взбесившейся белогвардейщины.

Когда же кончилась гражданская война и его демобилизовали, землю, отвоеванную с невероятным трудом, ему нечем было обрабатывать. Жена с тремя детьми (сестра Петра Филипповича, Надежда, вышла замуж в девятнадцатом году) не в силах была вести хозяйство, и нивы Половневых арендовал Аникей Травушкин. Коровы и овец у Половневых давно не было: после ухода Петра Филипповича в Богучарский полк их пришлось променять на хлеб и картоху, чтобы не умереть с голоду, даже плуги и бороны были проедены.

Петр Филиппович вынужден был пойти батраком к Аникею в кузню. Лет пять ковал деньгу богатому соседу. Потом богатый сосед, почуя неладное, кузницу продал ТОЗу (товариществу по совместной обработке земли), потихоньку да полегоньку пораспродал весь свой скот, косилки, молотилки,— и ко времени коллективизации сделался «середняком». Его все же на первых порах раскулачили. Но от высылки ему удалось отвертеться.

Старший сын Аникея, Макар, к тому времени «выбился в люди». Еще в начале новой экономической политики Макар, с разрешения отца, подался в город. Там он с помощью подруги Травушкина, Глафиры Павловны, устроился на какую-то совсем незначительную должность, вступил потом в партию, выдвинулся, стал инструктором кожпромсоюза. Макар и упросил одного из своих дружков, заведующего общим отделом облисполкома, написать нужную бумагу о выправлении «перегиба». Не будь такой бумаги — не миновать бы Травушкину пропутешествовать на поселение в одно из отдаленных мест республики для трудовой переплавки и вытравления духа стяжательства.

Порядочно с той поры воды утекло в моря и океаны. По совету, вернее, по настоянию сына, Макара, Аникей Панфилович в тридцать втором году вступил в колхоз, правда, не без сопротивления некоторых членов артели, но все же при перевесе голосов в его пользу. Старое постепенно забывалось, и соседи начинали уже тогда видеть в нем обыкновенного

человека, с которым только в прошлом было кое-что неладное. Да ведь мало ли чего было в прошлом! «Кто богу не грешен, царю не должен»,— говорил тогда тесть Половнева, старик Афанас Голиков, слывший на селе человеком добрым и мудрым. А теперь, около девяти лет спустя, и подавно в Травушкине большинство видело простого рядового колхозника.

Но ничего не мог забыть Петр Половнев. Былое неистребимо жило в груди его, поостывшее, но не потухшее. И порой оно, это былое, неожиданно вспыхивало и начинало жечь душу ненавистью чуть ли не с прежней силой. Вот почему не мог он ни слышать, ни думать хладнокровно о том, чтобы стать сватом Аникея. Правда, он не знал, что за человек вышел из Андрея Травушкина, которому взбрело почему-то жениться на деревенской девушке, однако хороших чувств не питал и к нему: не зря, поди, пословицы сложены: «Яблочко от яблони недалеко падает» и «Каков батя, таковы и детки».

## 3

Не успели Половнев и Ершов закурить — к ним подошел почтальон Глеб Иванович Бубнов. Небольшая, цвета пожухлой травы бородка, обрамляющая худое лицо — обветренное, загорелое,— была подстрижена. На плече — почтовая сумка с письмами и газетами.

Поздоровавшись, он подал Половневу письмо и присел рядом, постелив старую газету, чтобы не запачкать своих новых брюк.

— Угостите покурить, мужики!— мягко, вежливо попросил он.

Ершов протянул Бубнову свой малиновый кисет, расшитый зелеными и белыми цветочками (Наташа — жена — расшила), а из сумки у него взял «Правду».

Глеб Иванович, любивший во всем порядок и чистоту, озабоченно предупредил:

— Поосторожней, Алеша, не запачкай.

Когда Бубнов свернул цигарку и прикурил, Половнев спросил:

— Как там Гитлер, свирепствует?

Глеб Иванович глубоко, с наслаждением, затянулся и, выпустив дым через нос двумя синими струйками, серьезным тоном ответил:

— Ох и свирепствует, гадюка! Да оно чего же ему не свирепствовать? Англов прогнал, французов прижал к стенке,

чехов, венгров, румын, болгар подмял под себя. Теперь вот и до греков добрался. И все у него идет как по писаному, все сходит с рук. Никто в зубы-то ему как следует не двинет. Была у меня надежда на французов, а они — того!— И Глеб Иванович безнадежно махнул рукой.

Озабоченно спросил Половнев:

— А как думаешь, когда эта заваруха кончится?

Глеб Иванович снял очки, слегка нагнул голову, потом неторопливо заговорил:

— Да ведь как тебе сказать, не соврать. Вроде бы нетрудно и догадаться, куда он курс-направление держит. Ему теперича обязательно охота англов окончательно доконать. Они же немцу давно что мосол поперек горла. Вот, стало быть, Гитлер и устремляется через те Балканы на греков и турков — прямым путем на Индию. Персы уж и вовсе не помеха ему. Без Индии же англам крышка! Тогда и войне конец,— солидно и уверенно заключил он.

Вот уже восемь лет Бубнов ходил почтальоном и благодаря тому, что постоянно читал газеты, прослыл человеком, понимающим в политике и международных делах. Интересовался он всем: Сибирью, Дальним Востоком, Казахстаном, Украиной, Грузией, видами на урожай, выполнением планов промышленностью и всегда мог рассказать, где что творится. Но особенно пристально следил он за Рузвельтом, Черчиллем и Гитлером, давно предсказывал, что, рано ли, поздно ли, они сцепятся между собой. И получалось так, будто его пророчества сбываются. Но на этот раз Половнев усомнился.

— Навряд он так далеко полезет, Глеб Иваныч. Не шуточное дело — на Индию пойти. Чай, она и сама не обрадуется такому троглодиту. А в ней более трехсот миллионов жителей! Я так разумею: не к нам ли Гитлер подкрадывается через Балканы?

Бубнов решительно завертел головой:

— Не-е! Чего ему делать у нас? Да и зачем бы договор с нами заключать, если бы он к нам метил? Опять же он должен и то понимать: мы ведь сдачи дадим! Такой сдачи, что у него черти из глаз посыплются. Слыхал? Климент Ефремыч говорил: на чужой земле воевать будем, ежели что. Нет, нет! Глупо и помышлять Гитлеру об нас!

Ершов, все время слушавший спор стариков молча, заметил уважительным тоном:

— Оно, может, и глупо, но вполне возможно. Он же книгу даже написал — «Майн кампф», то есть «Моя борьба». Самой книги я не видал, а отзывы читал. Оказывается, главная его

цель — завоевать Россию. У них будто пространства мало. Так что правильно вопрос ставит Филиппыч.

— И совсем не правильно!— нервно возразил Бубнов.— Написать все можно! Попробуй-ка на деле! С ума ему надо спятить, чтобы на Россию лезть. Шутка сказать — Россия! Кишка у него тонка! Неравно порвется! На Индию, на Индию Гитлер нацелился. Я все его думки как на ладошке вижу. Ты посмотри на карту, что получается: в аккурат как я говорю!

Глеб Иванович встал, взял у Ершова газету, засунул ее в сумку, отрывисто сказал:

— Благодарствую за табачок.

И поспешно зашагал дальше, оставив за собой последнее слово. Он не любил, когда с ним не соглашались.

— Поживем — увидим,— вздохнув, сказал Половнев.— Хорошо бы, не втянули нас в эту свалку. Сами они заварили кашу, пускай бы сами и расхлебывали.

Затем бережно распечатал конверт. Не разворачивая и не читая, знал уже, что письмо от старшего сына, Григория. Мелкий убористый почерк с фигурными завитушками был знаком еще по школьным тетрадкам. Григорий, работавший в городе слесарем-инструментальщиком на паровозоремонтном заводе, писал редко. Значит, что-то серьезное заставило его взяться за перо. Половнев хотел только взглянуть, нет ли чего неожиданного, плохого. Однако, начав с поклонов, не мог оторваться, дочитал до конца, хотя письмо было вполне благополучное: жена Григория, Лиза, родила мальчика. Назвали его Владимиром, в честь Ильича. И сын и невестка знали, что такое имя понравится Петру Филипповичу. «Так что, дорогие папаша и мамаша, есть у вас еще один внучок, Володя. Мы с Лизой от всей души просим вас приехать к нам. Отпразднуем рождение сына нашего, посмотрите, как мы живем». Далее Григорий сообщал, что за стахановскую работу завод дал ему новую квартиру с ванной, центральным отоплением. Теперь Галя вполне может жить у них, если поступит учиться.

Половнев поднялся, бережно положил письмо в карман и задумался. Да, Григорий живет неплохо. Это приятно. Но в то же время, как и всегда почти при воспоминании о старшем сыне, легкая грусть и сожаление закрадывались в душу. Все ладно — стахановец, квартира с ванной... а образованности-то настоящей нету! Не ученый, а токарь! «Не повезло мне с сыновьями. Андрюшка Травушкин профессором скоро станет, а мои? Один на заводе, другого от трактора не оття-

нешь. Хотел Галю выучить, но и ту как бы мать не сбила с панталыку».

— Пошли, Алеша, пора!

Ершов тоже встал. Он был выше Половнева на целую голову. Во всей фигуре его чувствовалась большая физическая сила. Лицо у него совсем юношеское, несмотря на усики. Светлые волосы колечками вились на висках и затылке. Добродушно глядя сверху вниз на своего мастера, Ершов с улыбкой сказал:

— А насчет Гитлера, Филиппыч, ты, наверно, больше прав, чем Глеб Иваныч. У меня тоже мысли такие появляются в последнее время — не нагрянул бы он на нас.

— Поживем — увидим,— повторил Половнев.— Но давай об этом после... работать надо. И так вон сколь пробалакали с Глебом Иванычем.

Ни слова не говоря, Ершов направился в кузню. Он любил и уважал Петра Филипповича и слушался его почти во всем. В его глазах Половнев был человеком, видавшим виды, таким, про которых говорят: прошел огонь, воду и медные трубы. Участвовал в двух войнах — в царской и гражданской, строил на селе колхозы. Кроме того, Половнев был для Ершова как бы вторым отцом.

В тридцатом году отца Алеши, первого председателя колхоза, убили. Темным мартовским вечером шли трое из Александровки домой: Петр Филиппович Половнев, Родион Яковлевич Крутояров и Василий Матвеевич Ершов. Шли — беседовали, строили планы, кого еще нужно и можно вовлечь в колхоз, как провести весенний сев на объединенной артельной земле. Спустились на дно Лебяжьего оврага, пересекавшего дорогу километрах в четырех от Даниловки. И вдруг из кустов тальника — бах! Ершов рухнул наземь. Кинулся было Половнев в кусты, а оттуда еще — бах, бах! Но мимо, не задело ни его, ни Родиона Яковлевича, который вцепился в Половнева, не пуская. Кто знает, сколько их там, в кустах!

Здоровый, тяжелый мужик был Василий Матвеевич, но вдвоем Половнев и Крутояров донесли его до дома. Года через три умерла и жена Ершова, остался Алексей круглым сиротой: ни дядьев, ни теток, никакой иной родни. И Половнев, друживший с отцом, заботу о парнишке, которому было уже пятнадцать лет, взял на себя. Жил Алексей в своей избе, но завтракал, обедал и ужинал у Половневых. Жена Петра Филипповича, Пелагея Афанасьевна, обшивала, обмывала малого, помогала по двору, доила корову.

Василий Ершов мечтал дать сыну высшее образование, поэтому Петр Филиппович уговорил парня окончить среднюю школу, чтобы потом определить его в сельскохозяйственный институт. Но тут вмешалась Пелагея: малому восемнадцать — надо его женить. Как без хозяйки в доме? Да и не век же ему жить сиротой одиноким. И уговорила Петра Филипповича. И Алексея женили на девушке, за которой он ухаживал.

Но думку об учебе не оставили ни Петр Филиппович, ни Алексей. Разногласие получилось только — на кого учиться? Половнев говорил — на агронома, как мечтал покойный Василий Ершов, самого же Алексея влекло к истории и литературе. И тут впервые он проявил самостоятельность, не послушался: поступил в университет на заочное отделение историко-литературного факультета. Закончить успел лишь первый курс, вскоре его призвали в армию. По возвращении со службы собирался возобновить учебу, однако работа в кузне, семья, домашнее хозяйство отнимали много времени. Если же когда и выпадало свободное, то оно уходило на чтение книг и писание стихов, а заявление в университет о продолжении учебы лежало неотосланным.

## 4

Когда они вышли на второй перекур, Ершов хотел продолжить давешний разговор. Но едва присели, раздался звук автомобильного сигнала, и темно-синяя машина неожиданно вынырнула из-за колхозных построек. Блестя стеклами на солнце, она медленно плыла по пыльной дороге и у кузни остановилась. Щелкнула дверца, из шоферской кабины вышел секретарь райкома партии Александр Егорович Демин — среднего роста, коренастый, в защитного цвета гимнастерке и в таких же брюках, в начищенных сапогах. Не спеша, как бы разминаясь после езды, он подошел к кузнецам, поздоровался за руку. Скуластое, монгольского склада лицо его приветливо улыбалось.

— Ну, как робота, Филиппыч?— окающей скороговоркой спросил Демин, присаживаясь рядом.

Обычно при встрече справляются, как дела, как жизнь. Демин всегда спрашивал, «как робота». Он был владимирец по происхождению.

Половнев уважительно подвинулся, давая побольше места гостю, стал негромко и неторопливо рассказывать.

Дела в колхозе идут неплохо. Начали строить новую

ферму для коров, увеличили площадь под сахарную свеклу и яровую пшеницу. Сев яровых закончили.

— А табак, значит, так и не будете сеять? — спросил Демин.

— Насчет табаку ничего не получилось... вы же знаете.— Половнев дернул плечами, безнадежно развел руки.— Не желает народ.

— Как же быть, Филиппыч? Область-то требует. Этак нам с тобой не поздоровится. Мне уже угрожали выговором... и тебе, гляди, попадет.

— Ума не приложу, как быть,— сокрушенно сказал Половнев.

— Надо было получше разъяснить колхозникам.

— Разве не разъясняли? И вы же сами приезжали, уговаривали... а как до голосования дойдет — чуть не все против! Свекла-то, она заманчивей. За нее и деньги, и сахарок полагается, а табак чего? Положим, деньги за него тоже дают... но поменьше. И выходит, за свеклой перевес. Да нынче и припоздали с табаком, теперь уж на будущий год.

— Я и сам, по совести сказать, не особенный сторонник табака,— сказал Демин.— Перед областью как-то неловко. На днях секретарь обкома звонит, что это, говорит, у вас в Даниловке планов народ не признает? Но что я-то сделаю? Вы с председателем должны... а вы бестабашники оба.

— Не бестабашники мы, Александр Егорович,— сказал Половнев.— Да чего мы вдвоем-то, если народ против?

— Позволь, почему же вдвоем? Сколько у вас членов партии?

— Немного... всего пять человек, с кандидатами восемь... а колхозников восемьсот.

— Да, коммунистов маловато,— согласился Демин.— Опять ваша же вина. Надо вовлекать...

— С приемом-то последнее время было туго, Александр Егорыч.

Демин помолчал, потом сказал:

— Но как же вы, если что-нибудь неожиданное произойдет... сумеете повести за собой колхозников?

— Это вы насчет чего? Войны, что ли?

— Хотя бы.

— Так тогда колхозникам нашим не за нами только идти... за всей партией, за всем народом. Вы почему такой вопрос задаете? Может, что-либо слышали? Или из ЦК есть предупреждение?

— Из ЦК ничего нет, и не слышал ничего...

— А мы как раз сегодня толковали о войне,— сказал Ершов.

— До чего же дотолковались?— усмехнулся Демин.

— Наш международник Бубнов говорит, что немец нас не тронет, а больше нам воевать будто не с кем,— ответил Ершов.

— А Япония?

— Вот про Японию не говорили.

— То-то и оно! А война и оттуда может нагрянуть.

Половнев стукнул трубкой по бревну, покачал головой.

— Оттуда я не жду,— сказал он.— После Халхин-Гола они не решатся. Я больше немцев опасаюсь.

— Договор у нас с немцами,— возразил Демин.— Неправильно так думать, Петр Филиппыч. Получается, что международник ваш лучше секретаря парторганизации разбирается в политике.

— Так он ведь по газете больше... а я сам собой соображаю.

— Ошибочно, ошибочно соображаешь. Небось и народу эти свои соображения докладываешь?

— Народу зачем же... Понимаю, что говорить это где попало не следует. Но сам частенько так думаю. А почему? Воевал с немцами, знаю их...

— Ну, это ты брось!— суховато перебил его Демин.— Договор они не нарушат, а мы и подавно. Вообще я тебе так скажу: поменьше о войне думай и разговаривай, не пугай ею людей. Люди должны работать спокойно. А сомнения свои припрячь, а то как бы чего не вышло. Если же вопросы будут задавать, разъясняй так: товарищ Сталин, дескать, все знает и все видит, он стоит за мир и войны не допустит. Если же на нас нападут, мы дадим сокрушительный отпор и разгромим врага на его собственной территории. Понял?

— Ясно, Александр Егорыч. Если на собрании, то примерно так и говорим. Но себе-то не закажешь: берет иной раз сомнение.

— Какой же ты большевик, ежели в партийной линии сомневаешься?

— Не в партийной линии, Александр Егорыч, в немцах, в Гитлере я сомневаюсь. Не могу им верить, хоть зарежьте меня!

— Резать не будем пока, но смотри... будь осторожен. Я не из тех, кто придирается... на кого другого можешь наскочить... и попадешь во враги народа!

— Неужели!— удивился Половнев.— Да за что же?

— За неправильные мысли...— Демин с усмешкой поглядел на него и спросил: — А Свиридов, председатель ваш, тоже так вот думает?

— Чего не знаю, Александр Егорыч, того не знаю,— ответил Половнев.— Не приходилось разговаривать о таких делах.

— Так уж и не знаешь? Хитришь, поди, Филиппыч, выгораживаешь дружка.

— Хитрить я не умею,— серьезно и хмуро сказал Половнев.— Обидное говорите, Александр Егорыч.

— Ладно, ладно... пошутил я. Не серчай.— Демин доверительно положил руку на плечо Половнева.— Понимать должен — не из простого любопытства спрашиваю... Недавно ведь я в районе... и многих не знаю как следует, в том числе и председателя вашего, да даже и тебя... а знать должен как можно лучше, разносторонней. К тому же вижу: дела у вас идут вроде неплохо, но почему-то некоторые мероприятия срываются.

— Какие же мероприятия срываются у нас? С одним табаком канитель получилась.

— А почему канитель? Видно, авторитета маловато у вашего Свиридова, если его не слушаются колхозники и голосуют против его предложений.

— Неправда, Александр Егорыч. Авторитет у Митрия Ульяныча есть... уважают его и стар и млад.

— Значит, председатель у вас хороший?

— В каком смысле?

— Прежде всего как работник, разумеется.

— Ничего плохого сказать не могу.

— Идеальный, стало быть, без недостатков?— нажимал Демин.

— Не без недостатков,— насупился Половнев.— Без покору и животины не бывает. На иного глянешь — ох и конь! А на поверку что-нибудь да есть в нем, хоть маленькая задоринка, а найдется. Так и человек. Но Митрий Ульяныч наш чем хорош? Заботливый, беспокойный. Сам не проспит и другим не даст. Чем свет, глядишь, уже мчится на велосипеде в поле или еще куда по делу. И так кажин день — встает до солнышка и носится дотёмнушка. Дивлюсь, когда и спать успевает. Опять же честный. Десять лет в председателях, и всякий раз голосуют за него единогласно. Вот и судите — авторитетный или не авторитетный.

— Все это хорошо, Петр Филиппыч. А задоринка-то есть?— Демин лукаво прищурился, глядя то на Половнева,

то на Ершова.— А вы оба помалкиваете, какая такая задоринка.

«И что же он привязался, что выпытывает?— недоумевал Половнев.— Либо наклепали на Ульяныча нашего чего-нибудь?»

— Уж коль на то пошло, Александр Егорыч, так вам же сверху видней,— уклончиво проговорил он.

— Опять мудришь, Филиппыч! Откровенно говори, как секретарь парторганизации, по-партийному. Зачем скрываешь?

— Да чего скрывать? Ничего нам не известно. Не пьяница он, не жулик...

— А задоринка?

— Ах, вы насчет задоринки...— Половнев почесал себя за ухом.— Скажу, если такое дело, скажу! Одна у него слабость: резковат! Понятней сказать, дюже грубый бывает иной раз. С кем можно бы и потише, а он как почнет, как почнет — деваться некуда! Со стороны глядеть — и то не по себе становится. Говорю ему как секретарь: не по-большевистски, мол, действуешь, нельзя так на людей кричать! А он свое: «Дай им поблажку, они совсем распустятся». Да ведь смотря какой человек, объясняю. Ты, дескать, растолкуй, кто, откуль, побеседуй душевно. От крику скотина и та забывает, где право, где лево.

— Да-а!— протяжно проговорил Демин.— Вот видишь! Это же серьезный недостаток. Почему же ты мне до сих пор не говорил?

— Случая такого не было, да вы и не спрашивали. Между прочим, почему сегодня-то заинтересовались? Может, заметили чего за ним? Или кто нажаловался?

— Нет, ничего не замечал и никто не жаловался. Просто хочется поподробней узнать, какие они, наши руководящие кадры.

— На меня говорите — мудрю, а сами тоже вроде бы хитрите. Этак небось и про меня расспрашиваете?

— А то как же! Обязательно.— И Демин весело засмеялся.— Про всех расспрашиваю, иначе, Филиппыч, нельзя, не будешь знать людей.

— Так ведь это иной раз и наговорить могут на человека... Не всему можно верить,— сказал Половнев.

Пока Демин разговаривал с кузнецами, шофер — чернявый молодой человек — занялся своим делом: открыл капот и начал копаться в моторе. Машину тотчас же облепили белоголовые ребятишки с загорелыми, обветренными лицами.

Не обращая внимания на шофера, они обследовали пальцами фары, стекла, дверные ручки. Один парнишка с облупленным красным носиком, решив, что шофер не следит за ними, осмелел совсем и, просунув веснушчатую руку в открытое окно кабины, нажал на белый глазок в середине рулевой баранки. Рожок протяжно пропел звонким альтом. От неожиданности ребята прыснули кто куда.

В открытую дверцу высунулось крупное лицо с серыми выпуклыми глазами, удивленно глядевшими на ребят. Затем показалась большая красная рука, ухватилась за дверцу, и наконец появился весь человек — высокий, полный дядя в желтых полуботинках, в сером костюме. Объемистая голова его со светло-золотистыми волосами, беспорядочно падавшими на лоб и уши, была не покрыта. Вид у великана был помятый, заспанный.

— Вы чего? — сердито проговорил он, делая вид, что готов кинуться на ребят, разглядывавших его с любопытством, стоя на приличном от машины расстоянии. — Шалить? Вот я вам сейчас всыплю!

— Гулливер! — сказал один из мальчиков.

— Я тебе дам Гулливера! — Незнакомец погрозил пальцем. — Сон досмотреть не дали, лилипуты вы этакие! — Улыбнулся и зашагал к кузнецам. — Что же вы не разбудили меня, Александр Егорович? — шутливо-недовольным тоном спросил он, обращаясь к Демину.

— Уж очень сладко вы спали, жаль будить было, — сказал Демин.

— Да, заснул я здорово! — Великан удивленно качнул головой.

Демин представил его кузнецам:

— Жихарев Георгий Георгиевич! Из областной газеты.

Ершов привстал, растерянный, смутившийся. Это же, наверно, тот самый Жихарев, который браковал его стихи! Сквозь угольную пыль и копоть на щеках Ершова проступила густая краска. Он торопливо и неловко пожал мягкую, чистую лапу Жихарева, не называя своей фамилии. Пусть литературный консультант останется в неведении, что перед ним его незадачливый, «малокультурный» подопечный.

Между Деминым и кузнецами разговор теперь шел уже о том, что хорошо бы на речке Приволье построить плотину и небольшую электростанцию. Пожилой кузнец горячо доказывал, что это вполне возможно и для колхозов посильно. Плотину же надо сделать повыше, тогда она сможет обеспечить электричеством всю Даниловку.

— По свету народ уж очень тоскует... по Ильичевой лампочке,— говорил Половнев.— Особенно с тех пор, как Александровке дали ток. Опять же и мельницу недурно свою иметь. Ветряк не успевает обслужить все село... И токарный станочек в кузне поставить неплохо бы.

Жихарев не знал, куда его привез секретарь райкома. Вынув маленький блокнотик величиной с ладонь, он мелким бисерным почерком записал: «О чем мечтают колхозники. Плотина. Электростанция. Мельница. Токарный станок». Дальше для него все было ясно. Оставалось узнать, где он находится,— и материал на хорошую корреспонденцию есть!

Между тем Демин попрощался с кузнецами, подошел к Жихареву и, подавая ему руку, сказал:

— Ну, я поехал дальше. Когда управитесь со своими делами, дайте знать — пришлю машину.

— Разве это Даниловка?— оторопело воскликнул Жихарев.

— Она, она!— засмеялся Демин.— Скажи Ульянычу — на обратном пути заверну к нему,— добавил он, обращаясь к Половневу.

---

# ГЛАВА ВТОРАЯ

## 1

В Даниловку Жихарев попал случайно. На редакционном совещании выяснилось, что надо кого-то послать в колхоз «Светлый путь», заканчивавший посевную первым в Александровском районе. Жихарев вспомнил, что в этом колхозе живет некий поэт Ершов, которому он недавно написал довольно резкое письмо. Несправедливо написал, по настроению. В Ершове он чувствовал что-то необычное, интересное. Собирался даже извиниться перед ним, но как-то неудобно было. Между тем поэт, видимо, обиделся и молчал. «Поеду посмотрю, что за человек!» — решил он и напросился на командировку.

Перед отъездом он пообещал редактору привезти не только материал о посевной, но и новые стихи поэта Ершова.

— Прелюбопытный чудак! Пишет по старинке, судя по всему — человек в годах, но что-то в нем есть.

— Давай, давай,— сказал редактор.— Только помни: главное для тебя — посевная.

...Когда машина Демина скрылась, Жихарев подсел было к кузнецам, но те встали и молча пошли в кузницу. Обескураженный, он нерешительно поплелся за ними. Ему хотелось поговорить со старым кузнецом.

Половнев и Ершов приступили к работе с таким видом, будто, кроме них, никого тут не было.

Некоторое время Жихарев не без любопытства наблюдал за Ершовым: уж очень сильно и ловко он гвоздил своим тяжелым молотом, расставив циркулем длинные ноги в обтерханных, порыжелых сапогах. От его ударов буквально гудела земля!

Вскоре, однако, он понял, что ни о какой беседе, пока кузнецы работают, не может быть и речи. Улучив момент, когда Половнев, положив деталь в горн, отошел в сторону, Жихарев вежливо спросил:

— Как бы мне найти Ершова Алексея Васильевича? Я обязательно должен повидаться с ним. Он пишет стихи... талантливый, интересный человек... И мне поручено редактором...

Половнев насмешливо посмотрел на Ершова:

— Слышь, Алеша! Оказывается, тебя ищет товарищ!— Подмигнул ему и, обращаясь к Жихареву, весело добавил:— Вот он, Ершов... перед вами!

— Не может быть!— недоверчиво проговорил Жихарев.

— Он, он!— подтвердил Половнев.— Все сходится: и имя, и отчество, и фамилия. И стихи пишет. И вообще, других Ершовых в нашем селе нету.

— Да я и подумать не мог!— теперь уже обрадованно вскричал Жихарев.— Боже ты мой! Вы — в кузнице, с молотом!— и, раскинув длинные руки, с добродушной улыбкой быстро подошел к Ершову, обнял его.

Ершов стоял оцепенев, втайне опасаясь запачкать шикарный дорогой костюм представителя газеты. Слова «талантливый, интересный человек» потрясли его. «Не путает ли он меня с кем-либо? Да нет же! По имени, отчеству назвал!»

Волнующая сила этих слов заключалась в том, что сказаны они были до того, как Жихарев узнал, кто перед ним.

Постепенно преодолевая растерянность и смущение, Ершов, когда представитель газеты наконец выпустил его из объятий, открыто, доверчиво посмотрел на него своими голубыми глазами, ярко блестевшими на измазанном лице. Сложные чувства охватили его: и неподдельная радость встречи с настоящим живым поэтом, стихи которого печатаются в областной газете, и благодарность за ободряющие сло-

ва, и в то же время сомнение — тот ли это Жихарев, который писал ему жестокие письма?

Половнев смекнул, что от корреспондента теперь скоро не отделаешься, и отпустил Ершова домой:

— Ступай поговори с товарищем, коли такое дело, заодно и пообедаешь!

## 2

Председатель правления колхоза «Светлый путь» Дмитрий Ульянович Свиридов разговаривал с огородным бригадиром Плуговым, сидевшим у самого стола в старинном кресле. Длинные темные густые усы совсем закрывали рот бригадира, и казалось, словам нелегко пробиться через такое плотное заграждение. Но когда Плугов говорил, комната наполнялась необычайным гулом. «Ого! Вот это бас! — невольно восхитился Жихарев.— Пожалуй, пооктавистей, чем у Михайлова»[1].

Ершов, представив корреспондента Свиридову и Плугову, заспешил в кузницу, опасаясь, что Петр Филиппович уже давно ждет его. За разговором-то время идет незаметно, а с тех пор, как он с Жихаревым покинул кузню, прошло уже больше двух часов.

Жихарев, поздоровавшись с председателем и бригадиром, отошел к окну и сел на старый венский стул, надсадно и обидчиво скрипнувший под тяжестью его плотного, обширного корпуса.

Непосредственное, хотя и недолгое пока, знакомство с Ершовым обескуражило, повергло его в изумление. Витиеватые письма с архаическими словами, вроде «сей», «каковой», «якобы» и т. п., старомодный стиль стихов с точными размерами и круглый почерк, похожий на почерк Горького,— никак нельзя было предполагать, что Ершов молодой человек. А оказалось, пииту всего двадцать три года, то есть он моложе самого Жихарева. Осечка вышла и насчет грамотности, культурности. Ершов неплохо знал родную литературу, был знаком с западной, читал Гомера, Данте, Мильтона, Шекспира, Бернса, Гёте, Гейне... и в таком объеме, в каком сам Жихарев не читал. На вопрос, где он, живя в селе, доставал такие книги, Ершов ответил, что от помещика осталась уйма книг и все они попали в библиотеку Даниловки. Ну, и новые поступают. Кроме того, он много читал, когда служил в Красной Армии.

---

[1] Михайлов — известный артист — певец.

За обедом, вызвав Ершова на разговор о западных классиках, с намерением проверить его знания и «поприжать к стене» — что же ты, милый друг, берешься за перо, а знаний нет,— Жихарев попал было впросак. Ершову нравилась «Божественная комедия» Данте Алигьери, и он начал цитировать ее, объяснять, почему поэт Италии написал знаменитую поэму и как он своих политических противников разместил в аду. Жихарев и о врагах Данте и о самом поэте имел весьма смутное понятие, главным образом по хрестоматийным отрывкам. Экзамены и зачеты в университете он сдавал, не читая оригиналов, пробавляясь записями лекций, брошюрами и прочими подсобными материалами. И пришлось ему замять беседу о великом итальянце.

Пока Жихарев приводил в порядок свои впечатления, огородный бригадир закончил разговор с председателем.

— От газеты, стало быть,— прогудел Плугов, подходя к Жихареву.— Давно пора. Не забудьте, милый товарищ, об огородах. Ваша газета что-то не жалует нас, огородников. Понятно, хлеб важнее... но капуста, морковь, лук, огурец — как без них? Заходите ко мне, есть прелюбопытные фактики. Расскажу, как нас, огородников, притесняют некоторые!— Усы Плугова дрогнули, слегка раздвинулись, и он многозначительно покосился на Свиридова, продолжавшего сидеть за столом.

Свиридов сердито заметил:

— Уж кто бы плакался, Лаврен Евстратыч!

— Расскажу, все расскажу,— улыбаясь пробасил бригадир и, попрощавшись с корреспондентом за руку, раскачиваясь на ходу, неторопливо покинул правление.

Свиридов, плотный, выше среднего роста, встал, быстро прошелся по комнате. Ему, видать, не сиделось. На нем был двубортный пиджак, темно-синие брюки галифе, начищенные сапоги со скрипом. И когда он прохаживался, кабинет наполнялся таким шумным треском, будто под ногами председателя надламывались половицы. От чисто выбритого, румяного, загорелого лица его и серебристо-седого ежика густо, на всю комнату, несло цветочным одеколоном.

— Слушаю вас,— вежливо произнес председатель, продолжая ходить.

Жихарев шутливо заметил, что сам бы хотел послушать, для чего и приехал. Потом, если время позволит, возможно, и он что-либо расскажет.

Свиридов деликатно остановил его:

— Нет, сперва уж вы расскажите!

И под ритмичный скрип сапог прошел к столу, снова уселся на свое место, давая тем понять, что готов слушать.

Жихарев недоуменно дернул широкими округлыми плечами. О чем рассказать? Он же корреспондент. Его дело слушать. И, суетливо похлопав себя по карманам, вытащил кожаный желтый бумажник. Очевидно, председатель желает видеть документы.

— Вот... пожалуйста!

Свиридов мельком взглянул: удостоверение, выданное газетой. Небрежно сказал:

— Не надо! Мне же известно — вас привез товарищ Демин. Расскажите, как в городе?

— В городе?— переспросил Жихарев в замешательстве.— Жизнь идет. Но, право, не знаю, что вас интересует.

— Заводы как? Например, завод Дзержинского — выполняет план?

— А почему вы об этом заводе спрашиваете?

— Как почему? На нем есть наши даниловцы.

По правде сказать, Жихарев никогда не думал о том, выполняют ли заводы свои планы. Этим должны заниматься работники промышленного отдела. Вот клубы, театры, музеи, самодеятельность — иное дело. О них он мог бы рассказать кое-что. Например, на швейной фабрике и на заводе синтетического каучука есть замечательные хоры русской песни. И не кто иной, как он, Жихарев, «открыл» их и написал статью, в которой поставил вопрос об организации областного хора. Но вряд ли председателя артели «Светлый путь» может интересовать хор русской песни. Что же рассказать о заводе Дзержинского?

— Завод Дзержинского — один из крупных в городе,— начал Жихарев тоном заправского, опытного лектора.— На нем, если память мне не изменяет, около семи тысяч рабочих. Работает завод хорошо, в первом квартале план перевыполнил на двадцать процентов.

Он говорил с подъемом, движимый благородным порывом не уронить честь завода перед селом и поставить рабочий класс в пример колхозному крестьянству. Вы, дескать, выполнили план посевной раньше срока — и это хорошо. Но рабочие тоже не дремлют и планы свои перевыполняют!

Слова его на Свиридова не произвели ожидаемого действия.

— О первом квартале писалось в вашей газете,— холодновато заметил он, поглаживая ладонью левой руки свои серебристые волосы.— Такого перевыполнения не было.

Жихарев мгновенно вспомнил: в апреле газета давала целую полосу о заводе Дзержинского. Никакого перевыполнения, кажется, не отмечалось. Полосу он, конечно, не читал, а только просмотрел. «Засыпался! Ах, черт возьми! Неприятно!»

— Виноват,— поспешил он поправиться.— Запамятовал. Я, видите ли, сотрудник отдела культуры... а к вам прислан со специальным заданием. Ваш колхоз заканчивает посевную... и я должен телеграфировать... написать очерк... словом, осветить...

Поняв, что корреспондент не осведомлен о жизни и работе предприятий города, Свиридов стал рассказывать о делах колхоза. Выслушав его и записав в блокнот нужные сведения, Жихарев тут же составил телеграмму редакции. Затем сказал, что ему необходимо побывать в поле, повидаться с людьми, особенно с передовиками сева, потому что, если телеграмму можно дать со слов председателя, то для очерка нужны живые люди, факты.

— Правильно,— кивнул Свиридов, очевидно довольный, что беседа подошла к концу.— В поле я вас с удовольствием доставлю. Вы пока посидите с товарищем Тугоуховым. Это наш счетовод... А я отлучусь на минутку, распоряжусь насчет лошади.

Свиридов закрыл свой кабинет и провел Жихарева в другую комнату.

— Демьян Фомич,— сказал он уткнувшемуся в бумаги бородатому человеку в очках,— это из областной газеты товарищ. Пускай у тебя посидит. Я быстренько.

В комнате было сильно накурено.

Жихарев присел на стул поодаль от стола, с любопытством присматриваясь к Тугоухову.

А тот, подперев левой рукой щеку, почти до самого глаза заросшую всклокоченными, табачного цвета волосами, правой что-то записывал в развернутой во весь стол книге. Во рту у него был длинный мундштук большой трубки, почти касавшейся стола, медная крышка ее притягательно сияла. На утолщенном конце — скульптурное изображение головы с огромным орлиным носом и длинной узкой бородой. «Мефистофель! — определил Жихарев.— Откуда здесь такая художественная вещь?»

Иногда Тугоухов откладывал ручку в сторону, поднимал очки на лоб и долго глядел в дальний угол потолка. В глазах его появлялось выражение тихой мечтательности. Невольно думалось: «Может, и этот сочиняет стихи?»

Жихарев не мог знать, что Тугоухов самые замысловатые расчеты на все четыре действия арифметики производил в уме. Впрочем, и не зная этого, Жихарев почувствовал в нем нечто необычное. Подмывало побеседовать. Но как затронуть человека, занятого какой-то серьезной думой? Наконец все-таки решился.

— Послушайте, Демьян Фомич! — сердечно заговорил он, неторопливо приближаясь к счетоводу.— Что вы все трубку да трубку! Дайте ей передохнуть. Вот... прекрасные папиросы. Угощайтесь, пожалуйста, без всякого стеснения! — и протянул бронзовый раскрытый портсигар.

Не взглянув на представителя газеты, Тугоухов холодновато сказал:

— А чего нам в своем отечестве стесняться? Спасибо за угощение, но папиросок не курю и вам не советую!

— Почему же? — опешил Жихарев, продолжая держать на ладони портсигар и не зная, что делать: то ли убрать его, то ли положить на стол перед счетоводом.

— Дрянь! — безапелляционно и твердо сказал Тугоухов.— От них першит.

Такой ответ совсем озадачил Жихарева. Он закрыл портсигар, поспешно сунул его в карман брюк, с обидой возразил:

— Позвольте, какая же дрянь? Высший сорт!

— Все равно дрянь! — уверенно подтвердил счетовод тем же тоном.

— А махорка не дрянь? От махорки не першит? — с язвительной усмешкой произнес Жихарев, вконец рассерженный такой оценкой своих первосортных папирос.

Тугоухов удостоил наконец собеседника рассеянным мимолетным взглядом.

— От махорки совсем напротив. Она — табак пользительный, лекарственный.

«То-то ты и плаваешь в ее чаду. В углах и под потолком синё». Жихарев поискал глазами форточку, но ее не оказалось: оба окна с двойными рамами были заделаны по-зимнему.

— Чем же махорка пользительна? — спросил он.

Теперь Тугоухов, перестав писать, медленно повернулся на стуле, положил трубку на стол и посмотрел на журналиста с выражением нескрываемого сострадания: «Молодой человек... к тому же городской... Разве ему понять?»

— Махорку когда куришь, в грудях легкость дыхания образуется. А папироска чего? Кислятина! От нее во внутренностях один, можно сказать, туман и никакого просвета. Махорка! Разве можно сравнивать? Иной раз поутру — свис-

тит, хрипит, клокочет чегой-то, а затянешься разок-другой — и сразу все отдирает, как ржавчину рашпилем, и голова проясняется. Само собой, много значит свойский табак, без всяких примесей, не то что фабричный. Разве только донника для духовитости немного добавишь.

Жихарев понял, что оспаривать такого убежденного поклонника махорки бесполезно.

— Ваш колхоз сеет табак?

— Может, и сеял бы, да Лаврен Евстратыч не дозволяет,— ответил Тугоухов, и лицо его вдруг сделалось озабоченно-хмурым.

— Как не дозволяет?

— Да так вот, не дозволяет — и все! Под табак нужна хорошая земля, а по его соображению, лучше капусты насажать или сахарной свеклы. Зачем, дескать, чертовым зельем почву поганить? Капуста, свекла — для пищи. А табак? Воздух портить! Он у нас вроде старовера или попросту кулугура... так сказать, с пережитками капитализма. Жаль, неизвестен вам. Посмотрели бы, что за фрукт. И как его только терпит наше правление — ума не приложу. Горе в том, что бабы да мужики многие руку его тянут. И председатель тож... не хочет на скандал лезть... Вам бы повидать нашего Лаврена. Не человек, а овощь ходячая... Недаром огородником его поставили.

— А я видел его,— сказал Жихарев.— У председателя он был. Такой усатый... буденновские усы!

Тугоухов закачал головой.

— Буденновские? Двое буденновских!— воскликнул он.— Конечно, у Семена Михайловича усы красивые, нельзя хаить. Достойные усы! Но у нашего Лаврена Евстратыча... не в пример! Таких, как у него,— теперь во всей России днем с огнем не сыщешь!

— Эка хватили! — усомнился Жихарев.— Во всей России! А вы пробовали искать?

— Да чего пробовать? Разве так не видно? Народ пошел сплошь бритый. Глядишь и не поймешь, сколько человеку годов. Взять нашего Митрия Ульяныча. Ему за полсотни, а разве дашь? Побреется, одеколоном напрыскается — фу ты ну ты! Хоть жени. А у него, между прочим, сынок уже врачом работает... Внучок народился по зиме.— Тугоухов вдруг негромко рассмеялся, крутя волосатой головой, словно вспомнил что-то очень забавное.— Ох, молодой человек!— заговорил он сквозь смех.— Вы и понятия иметь не можете, какую силу иной раз придают усы! Не зря же в старину об них песни

складывали. «Усы гусара украшают, а женский пол с ума сбивают». Это еще в царской армии говорили! И совершенно справедливо! Взять того же Лаврена Евстратыча... Побрейте ему усы — что такое он без них? Моментально пропадет его краса и сила, как у того Самсона, что в библии описан. Весь же почет, вся авторитетность... откуда они у него? Через усы! Истинный бог. Из-за усов этих проклятых мы и притеснения всякие переносим...

— А вы бы обрили его! — пошутил Жихарев.

— Как же обрить? А Конституция? Неприкосновенность личности! Тут, милый человек, ничего не поделаешь. А сам он не дурак, чтобы бриться.

Жихарева все больше начинал занимать этот лохматый, оказавшийся таким словоохотливым старикан. А возможно, он и не старик, и если сбрить его клочковатую бороду, то окажется молодым. Ни в бороде, ни на голове — ни единого седого волоса, а ясные глаза светятся задорными огоньками. «Не подтрунивает ли он надо мной?»

— Какие же все-таки притеснения вы терпите от Лаврена Евстратовича? Да еще из-за усов... Это уж вы, наверно, маленько загнули, Демьян Фомич! — проговорил Жихарев после минутной паузы.

— Эх, дорогой товарищ! — со вздохом, певуче протянул Тугоухов. — Зачем мне загинать? Взять тот же табак. Кабы не Лаврен Евстратыч, мы бы давно сеяли его. Культура-то техническая. И районной властью нам предписана. А мы не можем. Скандалы какие были, матушки! Несколько лет дело тянется. Меня в Усманский район специально командировали, чтобы народу доказательства представить. Все данные привез — выгодное дело. А поди же! Лаврен уперся — и ни в какую. Табак, говорит, отрава и гибель здоровью молодого подрастающего поколения. Вишь, куда хватил! Настроил народ против и все собрание за собой волокет. А с артелью чего сделаешь? Над нами теперь в районе потешаются, бестабашниками величают. Вот и сеем свеколку замест табаку. А ты думаешь, с ней легко? За свеклой уходу больше, чем за капризной девкой.

— Но при чем же тут усы? — перебил Жихарев.

— Эка, беспонятный! Русским же языком объясняю... авторитетность-то Лаврен через усы приобрел! Без эдаких усов кто бы его, косого черта, слушать стал! К тому же и голос — труба ерихонская. Заговорит — всем слышно, хоть в клубе, хоть на улице. Нет нам от него житья. А меня он скоро в гроб вгонит. Ни проходу, ни проезду. Не знаю, как

сегодня не зашел, а то каждый раз придет и давай донимать. Ты, говорит, сдохнешь, если не бросишь свою трубку. Табак, мол, страшный яд. Одной каплей можно лошадь отравить. Бессовестное вранье, конечно. Я сколько яду этого проглотил — и ничего! А он: давай в печку брошу! Такую трубку — и в печку! За нее петух и курица бродячему цыгану дадены еще в тридцать втором году. Девять лет пользую, и она с каждым годом крепче делается. Ей теперь и цены-то нет! Прокуренна Аромат за версту. Варвар ты, говорю, кулугур несчастный, что тебе далась моя трубка!

Вошел Свиридов.

— Что за крик?— весело спросил он.

— Никакого крику, Митрий Ульяныч,— спокойно пояснил Тугоухов.— Просвещаю молодого человека насчет наших колхозных дел. Интерву, так сказать, даю.

— Чего, чего? — не понял Свиридов.

— Ну, как это по-газетному,— Тугоухов просительно повернулся к Жихареву.— Интерву, что ли?

Жихарев снисходительно усмехнулся.

— Интервью,— пояснил он.

— Во-во!— обрадовался подсказке Тугоухов.

— Небось наплел тут... Его только послушать. Ну, поехали, товарищ Жихарев!— обратился Свиридов к корреспонденту.

---

# ГЛАВА ТРЕТЬЯ

## 1

Шагах в десяти от грейдера стоит серая дощатая будка на небольших металлических колесах. Кругом ярко-зеленая стрельчатая весенняя травка вперемежку с огненно-желтыми одуванчиками. На цветастом ковре этом в беспорядке валяются черные детали, гайки, болты, костыли, гаечные ключи. Возле будки — ведро с солидолом, похожим на топленое коровье масло, бидоны с керосином, две бочки горючего. Чуть поодаль — четыре трактора с прицепными сеялками. Это стан тракторной бригады.

Посреди лужайки дымит печурка, вырытая в земле. Над огнем в котле внушительных размеров варится каша. Ее то и дело помешивает повариха Луша — рябоватая, неопределенных лет женщина, в светло-синем выцветшем платочке,

с концами, торчащими на затылке, словно два заячьих уха.

С час назад бригада закончила сев, и теперь трактористы, прицепщики, сеяльщики и сеяльщицы — человек около двадцати, все молодые,— сидят за длинным обеденным столом под соломенным навесом.

Солнце высоко. Жарко, душно. Хотя бы легонький ветерок! Но нет его, и слабая тень от навеса не спасает: по загорелым лицам парней и девушек струится пот.

Щи давно уже съедены, а каша еще не поспела. В ожидании ее идет оживленный разговор. Несмотря на жару и духоту, настроение у всех приподнятое. Шутят, смеются. Вспоминают разные случаи. Не все шло гладко, пока работали, не все. Бывали недоразумения и с питанием, и с подвозом воды, продуктов, с доставкой горючего. Доводилось ссориться и друг с другом, и с председателем Свиридовым, и с директором МТС Зазнобиным.

Но все теперь позади и вспоминалось с беззлобной шутливостью. Особенно подшучивали над Лушей. Третий год она поварихой в бригаде, но никогда не было с ней такого, как в эту весну: редкий день чего-нибудь не пересаливала! Да как! Суп или щи иной раз получались покрепче рассола.

Черноглазый вихрастый тракторист Вася Половнев, с худощавым, темным от загара лицом, по прозвищу Васька Цыган, с серьезным видом доказывал, что не иначе как тетя Луша в кого-то влюбилась. Бригадир Федя Огоньков — Хромой бес (он прихрамывал на одну ногу) — весело поддерживал Цыгана.

— Верно, верно!— смеялся он.— А я никак не догадаюсь, в чем тут дело. Признавайся, тетя Луша, кто лишил твое бедное сердце покоя? Может, нет взаимности? Скажи откровенно. Сделаем ему коллективное внушение.

— И бог знает чего вы плетете, ребята!— отмахивалась Луша большим деревянным половником, от которого отделялся легкий серый парок.— Не в кого мне тут влюбляться-то, нет пары по моим годам. В Травушкина, что ли?

— А почему бы и нет!— с важным видом подхватил Вася Половнев.— Дедок вполне подходящий! Богомольный, тихий.

Девчата звонко захохотали. Луша сердито сказала:

— В тихом омуте черти водятся. «Господи Исусе, вперед не суйся, сзади не оставайся»... Богу молится, сатана плешивый, а дров мне сегодня таких подвалил, хоть плачь. Одна осина, да и та сырая. Попробуй растопи ее! Дула, дула, аж голова вспухла — шипят, юдины поленья, а огня нету. А он

похаживает около да ухмыляется: «Чегой-то ты, Лушенька, печку растапливать разучилась!» Хотела я его половником по лысине. Из-за дров же энтих и кашу не успела сварить.

— А пожалуй, надо бы дедка стукнуть разок,—неожиданно вмешался в разговор Илья Крутояров, все время молчавший.

Аникей Травушкин был назначен в помощь поварихе подвозить дрова, питьевую воду из родника, ездить в село за продуктами. Как раз перед самым обедом он поехал к роднику, находившемуся в километре от стана, набрать в бочку свежей, холодной воды. Так что обсуждали его заглазно, не стесняясь в выражениях. Все чувствовали, что он почему-то всегда стремится подковырнуть Лушу, в чем-либо подвести ее, выставить неумехой. И теперь из шутки разгорелся серьезный разговор. Трактористы стали требовать, чтобы Огоньков приструнил старика. Огоньков возражал. Что можно сделать? Пересолы-то у Луши были? Были. Может ли он, Огоньков, запретить Травушкину говорить о них? Не может. А дрова? Травушкин скажет, что ему таких дров дал кладовщик.

— Нашли тоже о чем спорить,— заметил опять Илья Крутояров.— Надо сказать Дмитрию Ульянычу, что нам такой дедок не нужен,— и вся недолга!

— Ты силен!— возразил ему Огоньков.— Надо же причину. Как я без причины? Если ты такой смелый,— возьми и скажи.

— А то побоюсь, что ли, Травушкина твоего!

— С чего ты взял, что он мой?— огрызнулся Огоньков.

Установилось неловкое молчание. Все знали о напряженных взаимоотношениях между Крутояровым и бригадиром, сложившихся в последнее время. Кое-кто громко насвистывал мотивчик: «Чижик, чижик, где ты был?»

— Скоро каша, тетя Луша?— спросила одна из девушек.

— Сейчас!— сердито ответила Луша.

Повернувшись к Огонькову, Крутояров озабоченно проговорил:

— Ты бы, бригадир, лучше сказал, куда мы теперь двинемся?

— Ульяныч обещался приехать... вот и скажет,— отрывисто и сухо ответил Огоньков.

Вася Половнев деловито предположил:

— Наверно, соседям помогать придется, они совсем зашились с посевной.

Огоньков недовольно заворчал:

— А мы ишаки, что ли, за них работать! Кто им виноват? Земли у них не больше нашего, тракторов столько же.

— Не по-государственному рассуждаешь,— горячо возразил Крутояров.— Может, они и сами виноваты, но земля при чем же? Она должна быть засеяна.

— Ха! Девки, гляньте на него! Тоже мне государственник! А самому моргни: можно, мол, домой — пятки смажет и был таков! Ты же совсем завял с тоски по миленькой своей.

Крутояров не смутился.

— Ничего плохого в том, что у меня есть миленькая и что я по ней тоскую. Некоторые по чужим и то сохнут!

— Интересно, кто же это? А ну, признавайся!— усмехнулся Вася Половнев, обводя всех трактористов шутливо-изучающим взглядом, хотя отлично понимал, что Крутояров намекал на самого Огонькова, который неравнодушен был к Гале Половневой и ревновал к ней Илью. Об этом и вся бригада догадывалась.

Огоньков под взглядом товарищей побагровел и нервно застучал ложкой по столу,— того гляди, разобьет. Но ничего не сказал.

Луша почувствовала, что между ребятами назревает серьезная стычка, и решила отвлечь их.

— Смотри-ка, председатель, кажись, едет! — сказала она, приподнимаясь и снова садясь.

По грейдеру в самом деле кто-то быстро гнал на велосипеде. Серый клубок пыли неотступно катился сзади колес, сверкавших спицами на солнце. Огоньков вышел из-за стола. Присмотревшись, разочарованно сказал:

— Это Мишка. И какого лешего его несет сюда? Отпустил же я его на весь день.

И захромал на свое место. Огоньков ждал председателя, а Мишка ему совсем не нужен сегодня.

Мишка Плугов — учетчик тракторной бригады, сын огородного бригадира, парнишка лет шестнадцати. Поравнявшись с будкой, он круто развернулся и, залихватски подкатив к стану, соскочил чуть не на ходу.

— Стахановцам «Светлого пути» почет и уважение! С окончанием посевной!— по-пионерски подняв руку, воскликнул он.

Поставив велосипед к крайнему столбу навеса, Миша не спеша, вразвалку подошел к столу. Полные мальчишечьи губы его растянулись в дружелюбно-добродушную улыбку, светящуюся белыми зубами, похожими на тыквенные семечки.

Огоньков тотчас подозвал его к себе и, посадив рядом, ласково сказал:

— Молодец! Прямо под кашу угодил. А каша у нас сегодня особенная, со свиными шкварками. Придется перед тетей Лушей походатайствовать, чтоб тебе двойную порцию... Не шуточное дело — на самом себе столько отмахать. Кстати, вот и миска свободная.

Как учетчика строгого и непреклонного, который ни прибавит, ни убавит в документах — идет ли речь о расходе горючего, продуктов или о пахоте,— Огоньков недолюбливал Мишу Плугова и даже не прочь был заменить его другим, более покладистым, если бы нашелся мотив отделаться от Миши, но внешне всегда оказывал ему всевозможные знаки внимания.

Луша уже накладывала кашу, на глаз определив, что она уварилась как следует, а две девушки носили дымящиеся серым паром миски и ставили на стол. Каждый, перед кем ставили, только ложкой помешивал, зная, что есть пока нельзя, потому что каша очень горячая.

Миша лукаво посмотрел на бригадира:

— Что же не спрашиваете, дядя Федя, зачем я приехал?

Огоньков догадывался, что Миша неспроста пожаловал, но все же шутливо проговорил:

— А чего спрашивать? Приехал — и бог с тобой. Может, кашу ты учуял хитрым носом своим издаля, а может, от нечего делать прокатиться захотел.

— Так мне Дмитрий Ульяныч и дал свою машину на катанье! Он с письмом прислал меня.

— Давай! Какое такое письмо?

Миша белозубо заулыбался:

— Боюсь, оно вам аппетит испортит, дядя Федя.— И вынул из кепки запечатанный большой конверт. Но бригадиру отдавать не спешил.

— Уже прочел!— недовольным тоном сказал Огоньков.

Миша мгновенно потушил улыбку.

— Честное комсомольское, не читал.

— Откуда же знаешь, что оно аппетит может испортить?

— Дмитрий Ульяныч сказывал. Письмо, говорит, не совсем приятное, но вези поскорей. Ответа, сказал, не надо.

Огоньков вырвал у Миши конверт, вскрыл и стал читать. Лицо его постепенно темнело.

— Новости какие!— зло бурчал он, сунув письмо в карман.— Сам знаю. Не маленький — учить меня!

— Что такое?— поинтересовался Вася Половнев.

— Ерунда!— хмуро ответил Огоньков.

— Что-нибудь из МТС?— спросил Илья Крутояров.

Огоньков отрывисто сообщил:

— Записка от Ульяныча. Меня касается. Корреспондент областной газеты к нам приедет. Так вот, чтобы я ему говорил только правду. Словно я сам не знаю, как вести себя в таких случаях! Школьника нашел!

Крутояров подморгнул Половневу.

— Правильно сделал Ульяныч,— сказал он.— Знает слабости нашего бригадира.

— Какие еще слабости?— возмущенно вскинулся на него Огоньков.

Крутояров солидным тоном сухо пояснил:

— Известно какие! Чего греха таить — приврать ты мастер!

— Ну, если обо мне такого мнения... доверия нет — зачем бригадиром ставить? Найдутся, которые честные, правдивые! А то шлет дурацкие записки: ты, мол, не вздумай очки втирать товарищу корреспонденту, воздержись от своей привычки! Так и пишет — «очки втирать»! Кому и когда я очки втирал? Кто дал ему право оскорблять меня?

Вася Половнев с обидной снисходительностью заметил:

— Зачем в бутылку лезешь, Федя! Ульяныч без злого умысла, по-дружески. Бывали же за тобой случаи...

— И ты туда же! Какие случаи?

— А помнишь, даже секретаря райкома партии провел однажды,— сказал Вася.

— Подумаешь — провел! Прибавил каких-нибудь два-три гектара... Для пользы же, чтоб соседей подтянуть.

— Подтягивать надо примерной и честной работой, а не приписками,— назидательно сказал Крутояров.

— Да в свою пользу я, что ли? Чего вы на меня окрысились?

Миша, все время внимательно и молча слушавший перепалку между трактористами, подчеркнуто вежливо сказал:

— Вы не все еще прочли, дядя Федя. На обороте посмотрите.

— Ага!— злорадно произнес Огоньков, уверенный, что учетчик проговорился.— Читал все-таки?

— Да нет же! Случайно видел, когда Ульяныч писал,— торопливо объяснил Миша.— Только на обороте и видел. А остальное не читал.

— Чего тут еще? — Огоньков вынул письмо из кармана, развернул и теперь уже вслух прочитал: — «Завтра всей

бригаде выходной. В понедельник переедете в колхоз «Авангард» на помощь. Согласовано с МТС». Я так и знал! — гневно воскликнул Огоньков и, смяв записку, с сердцем швырнул ее.— У нас всегда так: помогать лежебокам. «Авангард», называется, а вечно в хвосте.

Крутояров неодобрительно покачал головой:

— Погоди, брат, так же нельзя. Не одного тебя касается, а всей бригады. Приказ! А ты его — наземь. Так нельзя,— внушительно повторил он и, подняв бумажку, стал расправлять ее на столе.— Ты сегодня не в духе, Федор Тимофеич. Не с той ноги встал с утра.

Огоньков вдруг вскочил, с размаху шлепнул ложку в миску с кашей, выбежал из-за стола и быстро захромал к будке.

— Будешь тут в духе!— возмущенно и в то же время как бы обиженно закричал он на ходу.— Одни подковыривают, бригадир им неугоден, другая кашу подает с солью пополам... Это же с ума можно сойти!

— И верно,— дружно подтвердили девичьи голоса.

Луша быстро подбежала к столу, заохала, запричитала:

— Да как же это? Да не может быть! Еще сырую пробовала — в самую плепорцию было. Или вкус я потеряла, или очуманела совсем? Феденька, гони меня,— плаксиво взвизгнула она.— Гони со стану, дуру непутевую!

Огоньков был уже возле вагончика. При последних словах Луши он обернулся, ошалело посмотрел на нее водянистыми глазами, махнул рукой и решительно сказал:

— Пиши заявление, сейчас же пиши! К чертовой матери! Не могу больше терпеть.

## 2

Из вагончика вышел худой мужчина, с ввалившимися темно-желтыми щеками. Русые волосы его были взлохмачены, серая, сильно поношенная рубаха — без пояса, ноги босы.

— Не горячись, Федор!— глухо проговорил он сиплым голосом.— Не виновата Луша... Сам видал сегодня. Давно следил за ним, да он ведь хитрющий. А тут я притворился.— Мужчина приблизился к столу.— Своими глазами видел, ребятушки. Аникей в кашу соли-то насыпал.

Это был сторож стана Христофор Евсеевич Кульков. Из-за плохого здоровья он не мог выполнять тяжелые колхоз-

ные работы и уже много лет ходил в сторожах. Здоровье и силу отняли у него в тридцатом году. Февральским вечером, в пургу, его поймали возле своей же клуни, накрыли мешком и начали бить, приговаривая: «Вот тебе колхоз, гадюка!» Били палками, пинками по чем попало, били до тех пор, пока Кульков не перестал шевелиться. Сколько их было и кто они — не успел увидеть, а по голосам не угадал.

Избитый до полусмерти, он провалялся на снегу несколько часов. В полночь лишь хватилась жена, что мужа долго дома нету. Побежала в правление — может, там задержался, но правление было уже на замке. Вспомнила, что с вечера он пошел в клуню за сеном для овец, и кинулась туда. А Кулькова уже и снегом запорошило. Двое суток он потом в больнице в себя не приходил и выжил лишь благодаря своему могучему организму. Выжить выжил, но на всю жизнь остался инвалидом.

...Федор, видя такое дело, вернулся к столу.

— А ну, расскажи поподробней,— попросил он Кулькова.— Что за чертовщина такая?

— Да что рассказывать,— как бы в раздумье проговорил Кульков, почесывая голову.— Она, стало быть, Луша, понесла квас трактористам... Аникей привез... Вот она понесла, а Аникей тут остался. Только она отошла, он заходит, значит, в вагончик и смотрит на меня — я на верхних нарах лежал. Так он, значит, аж встал ногами на нижние и долго глядел. А я рот разинул, лежу, похрапываю... и таково натурально. Мухи по губам ползают, а я терплю, потому как интересно мне, чего он задумал. Постоял он так малость, потом — нырь к мешку с солью! И горстью — цоп, цоп!— да в карман. А я слежу. Чего, думаю, такое? Неужли соль ворует? Нашел, дескать, добро! Вижу, он — бегом к печурке. А я наблюдаю, теперь уж в дырку, что от сучка в стенке. Смотрю: подходит он к котлу и соль в кашу и половником помешал. Тут я нечаянно кашлянул. Он оглянулся, заторопился к бочке, сел и поехал. За водой, значит. Думаю, подожду Лушу, спрошу: может, она поручала ему кашу посолить. Но тут сморило меня, я и задремал. Всю ночь-то не спамши... Выходит, ребята, Аникей кашу-то пересолил. Ни при чем Луша. А я слышу — тут у вас шум, и проснулся. Дай-кось попробовать, как он ее...— Кульков присел на скамейку, покушал из миски учетчика.— Вот же змей рыжий!— Он плюнул наземь, покачал головой.— Исть никак не можно.

Все молчали, не спуская глаз с Кулькова. Луша начала всхлипывать. Кто-то недоуменно проговорил:

— Да зачем же это он?

— Как зачем? Чтобы Лушу нашу опорочить.

И заговорили, зашумели все сразу. Ругали Аникея на чем свет стоит, требовали прогнать его немедленно из бригады: не нужен такой пакостный старичишка!

Тем временем к будке на гнедом мерине подъехал с бочкой воды сам Травушкин. Шум не только не утих, а стал еще сильнее. Аникей не спеша распряг коня, пустил его пастись, повесил узду на гвоздь, вбитый в стенку будки, и медленным шагом направился к столу. За столом загалдели:

— Зачем кашу насолил?

— Это ты кормил нас всю весну солью?

— Не только солью, а и песком тоже он, наверно!

— А мы повариху бранили, акты на нее писали!

Травушкин остановился. Огоньков поднял руку вверх:

— Тихо, товарищи! Давайте организованно спросим его. Подойди поближе, дядя Аникей.

Травушкин спокойно подошел с видом человека, который не понимает, в чем дело. Огоньков пытливо всмотрелся в него, угрюмо спросил:

— Дядя Аникей! Отвечай по совести: зачем соль в кашу сыпал?

Синяя, местами до белизны выгоревшая на солнце сатиновая рубаха, на ногах опорки от старых валенок, непокрытая голова с большой плешиной, медные кудряшки волос возле ушей и с затылка, рыжая с проседью круглая борода, потемневшие от загара скулы и по-стариковски грустные глаза цвета зеленоватой воды — Травушкин внешне имел вид смирного, безобидного человека. На вопрос бригадира он спокойно ответил:

— Ничего не знаю. Никакой соли не видал и никуда не сыпал.

— Ты не финти, дядя Аникей! — сказал Огоньков. — Отвечай прямо. Может, ты просто хотел посолить, да обмишулился. Видал же сегодня один человек... солил ты кашу.

— Не мое дело кашу солить, — возразил Травушкин. — Зачем я буду солить? Какой человек видел?

— Ну, вот что, дядя Аникей, — возвысил голос Огоньков, — придется тебе покинуть нашу бригаду!

— Ты погоди, — солидно проговорил Травушкин. — Кто ты такой, чтобы гнать меня? Я сюда председателем прислан.

Теряя самообладание, Огоньков во весь голос закричал:

— Председатель прислал, а я отсылаю! Не нужен ты нам

тут, разлагатель чертов! Отчаливай немедля и библию свою забирай!

Всем известно было пристрастие Травушкина к библии, о содержании которой он любил разглагольствовать среди и пожилых и молодых.

— Ты потише, не очень тебя боятся,— вызывающе сказал он.— Контрреволюцию в чем нашел! Ишь ты, хлюст какой! Конституцию не знаешь: свобода религии в СССР, и слово божие имею право проповедовать. И никуда я не пойду. У меня сыны партейные. За меня голыми руками не лапайся.

— Не подчиняешься мне — получишь указание от председателя,— немного успокаиваясь, холодно проговорил Огоньков.— А мне с тобой растабарывать неохота, да и некогда. Товарищи,— с озабоченным видом обратился он к бригаде,— поскольку к нам едет корреспондент, прошу со стану пока не уходить.

И неторопливо заковылял в будку

---

# ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

## 1

Едва забрезжил рассвет, Ершов, Половнев и Жихарев сели в большую плоскодонку и поехали ловить рыбу.

Жихарев чувствовал себя неважно. Не выспался. С похмелья побаливала голова. И мучил стыд. Вечером, подпив, он наговорил Ершову всякой всячины. Хвалился своей книжкой стихов, изданной областным издательством. Подарил ее Ершову с надписью:

«Дорогому другу Алеше с искренним пожеланием счастливого пути к Парнасу!»

Пил с ним на брудершафт. Хвастался своей известностью в большом городе: нет человека, который не читал и не знал бы Жихарева! На улице проходу не дают, особенно девушки-студентки. А под конец наговорил, будто он заядлый рыбак. Вот и пришлось ехать, несмотря на то что ему страшно хотелось спать.

Черт его знает, почему так получается. Стоит ему запьянеть, как он начинает хвалиться, врать, словно барон Мюнхгаузен.

Речка Приволье, по которой плыли рыбаки, была не очень

широкая. Берега ее заросли ивняком и кугой, причудливо темневшими в негустом тумане и предрассветной мгле. В роще, высокой стеной стоявшей справа, уже начинал пощелкивать соловей, а слева, совсем близко, как бы плывя за лодкой, поскрипывал дергач. Вода тихонько булькала под веслами. Влажный воздух был прохладен.

«Все ничего,— думал Жихарев, невольно любуясь кудрявым ивняком,— и что насчет известности подзалил, и книжку подарил... Так и надо было. Пускай Ершов знает и чувствует, с кем дело имеет. Но за коим лешим я назвался рыбаком? Спал бы теперь, как святой!»

По узкому извилистому рукавчику заплыли в небольшое озерко и причалили к песчаному берегу. Солнце еще не всходило. Привстащив лодку на отмель, начали усердно бродить у берега. Оба кузнеца были в длинных посконных рубахах и в таких же портах, Жихарев в майке и трусиках. Мокрые, продрогшие Ершов и Жихарев забредали возле камышей и лопухов, а Половнев пугал рыбу толстой ольховой балдóвиной с огромным, в человеческую голову, корнем на конце. Звук от буханья по воде получался сильный и гулкий, как от взрыва гранаты.

Ловля шла успешно. Скоро в лодке плескалась живая куча линей, окуней, подлещиков, щук. Одно было плохо: по небу низко неслись лохматые облака, от воды тянуло утренним холодом.

Заметив, что Жихарев продрог, Половнев решил прекратить ловлю.

— Хватит с нас!— сказал он.

Но Жихарев разошелся, начал разыгрывать из себя заядлого рыбака, хотя никакого удовольствия от ловли не испытывал. Наоборот, страдал. Все тело его застыло, руки, ноги сделались фиолетовыми и покрылись гусиной кожей. Обнаженные места пылали от гневных укусов комаров, черным облаком вившихся над рыбаками. Все это он переносил мужественно, стараясь показать, что и не такое видывал.

Оба кузнеца догадывались, что рвение у Жихарева какое-то ненатуральное, напускное, но не перечили и просьбу его уважили.

Решено было забрести на свежем месте, по мнению Ершова самом рыбном. Половнев считал это место малодоступным для бредня из-за большой глубины. Ершов не согласился с ним.

— Прошлый-то год мы с тобой бродили там.

— В августе, а не в мае! Воды-то сейчас на сколь больше!

Ершов, желая угодить гостю, решительно заявил:

— Пробредем! Мы ребята рослые! А в случае чего — выплывем. Правда, Георгий?

— Разумеется! — подтвердил Жихарев.

Ершов молча поволок бредень в воду. Сразу же, как только отошли от берега, Жихарев оказался в воде по самую грудь. Ершов сказал:

— Я чуток повыше тебя... давай-ка я по глубине пройду.

— Ничего! — негромко отозвался Жихарев, дрожа посиневшими губами и не попадая зуб на зуб, но уверенным бодрым голосом. — Пробреду!

Он тянул бредень, всем корпусом подавшись вперед, порой погружался по шею и, чтобы ненароком не захлебнуться, задирал лицо вверх, надувая свои полные щеки, тараща глаза и фыркая, как лошадь. На равном друг от друга расстоянии медленно скользили светлые, словно восковые, дощатые поплавки. Они приподнимались, когда бредень сильно натягивался, и шлепали по воде, как ладони, если он ослабевал.

Половнев, наблюдая с берега, басовито, но негромко давал советы:

— Поосторожней, Алеша! Тут ямка должна быть... ее миновать бы... Тяни, тяни на себя, а то сорвется малый, — предупреждал он, имея в виду Жихарева. — А ты, Георгий, загинай, загинай!

— Знаю... помню! — совсем тихо, чтоб не напугать рыбу, откликался Ершов.

Наклонив голову, он натягивал бредень, стараясь не пустить напарника к ямке.

— Трудновато тянется? — поинтересовался Половнев. Ершов весело сообщил:

— Рыбка есть, Филиппыч! Чую — бьется в мотне.

Поверх воды зашумело, забурлило. Над бреднем взвилась щука в метр длиной. Хотя полет ее был молниеносен, рыбаки успели явственно увидеть черную острую голову и темное кинжалоподобное тело с серебристым брюхом. Звучно бултыхнувшись по другую сторону поплавков, щука скрылась в темной глубине, словно растаяла, оставив на поверхности большие колеблющиеся круги.

Заглядевшись, Жихарев отклонился в сторону от линии, намеченной ему Ершовым («Равняйся вон на ту ракиту!»), поскользнулся и погрузился с головой. Поплавки сразу ослабли, колышек, за который Жихарев тянул бредень, свободно закачался на воде.

Половнев шлепнул себя по мокрым портам руками, с досадой крикнул:

— Ах ты мать честная! Попал-таки в ямку! Чего же ты смотрел, Алеша? Упреждал же я тебя!

Ершов бросил бредень и торопливо саженками рванулся на помощь.

Жихарев раза два выныривал, барахтался, потом вода поглотила его.

Половнев тоже кинулся в воду. Кузнецам удалось быстро найти утонувшего. Они вытащили его и положили на густой мягкой траве. Он лежал, как сраженный на поле брани богатырь, безвольно раскинув полные, словно из надутой резины, посиневшие руки и ноги. Мокрые длинные волосы его закрывали весь лоб и даже глаза и нос.

Ершов повернул его на бок и ладонями надавил на мягкую спину и жирный живот. Из носа и рта Жихарева хлынули мутные ручьи воды. Когда она вся вылилась, Алексей стал делать искусственное дыхание.

Вскоре Жихарев шумно потянул воздух, всхрапнув, точно спросонок.

Половнев обрадованно закричал:

— Дышите, дышите сильней! Жив, жив хлопец! Вот же грех какой, чуть не загубили человека! А все ты! — набросился он на Ершова.— Разинул рот и смотрит! Рыбак тоже!

— При чем же я,— уныло отбивался Ершов, продолжая раскачивать руки Жихарева.

— Хватит... Чего взялся-то! Теперь будет жив,— сказал Половнев, останавливая Ершова.

Очнувшись, Жихарев понял, какая страшная опасность миновала его. Небольшая заводь с берегами, заросшими камышом и ракитами, грязное илистое дно, и он — мертвый, в майке и трусах. Рыбы стаями тычутся в него своими тупыми мордами со всех сторон. Черные жучки, клешнястые раки ползают по лицу... «И в распухнувшее тело раки черные впились...» Брр! Умереть так некрасиво в двадцать восемь лет! И все погибло бы, и не стало бы поэта Жихарева!

Он поднял затуманенные серые глаза на Половнева, не сводившего с него напряженно-пытливого взгляда, затем на Ершова, сидевшего рядом. Оба кузнеца в своих мокрых посконных рубахах и портах, с которых стекала ручьями вода, показались ему такими хорошими! Они вырвали его из лап водяного, спасли ему жизнь!

Чувствуя еще слабость во всем теле и легкое голово-

кружение, он привстал, опершись на локоть, потом сел, пальцами забросил волосы назад.

— Спасибо вам! Выходит, чуть не угодил я на завтрак щукам! — пошутил он, и на лице его появилось слабое подобие улыбки. Глаза у него были мутные, губы и уши с синевой.

## 2

Половнев собирался варить уху на свежем воздухе, но теперь это желание пропало. Какая там уха! Чуть корреспондента не утопили! Узнает Александр Егорыч — такую головомойку задаст, света невзвидишь.

Рыбаки сняли с себя мокрое белье, выжали из него воду, оделись в сухое. Обратно ехали угрюмые, молчаливые. Скоро все согрелись, и Жихарев совсем уже отошел, лицо его зарумянилось. Но на душе у него было муторно. Он не решался взглянуть прямо в глаза кузнецам. Казалось, они окончательно поняли, что никакой он не рыбак, а самый обыкновенный хвастун. Объяснить бы им, как это получилось: место глубокое, оступился, глотнул воды... Но стыдно было признаться, что он, кроме всего прочего, и плавать-то почти не умеет.

Когда приближались к селу, за излучиной какая-то девушка запела песню. Слов нельзя было разобрать, но мотив доносился отчетливо. Это была старинная русская песня о том, как «по морю, морю синему плыла лебедь с лебедятами».

Жихарев заинтересованно прислушался. Звуки песни, чистые, задушевные, хватали за сердце. Они так свободно, непринужденно парили в воздухе над лугом, над речкой, над заросшими кудрявым ивняком берегами, что казались голосом самой окружающей природы, освещенной солнцем, недавно проглянувшим сквозь разреженные облака.

Перестав грести, Жихарев задумчиво глядел, как с приподнятого весла медленно стекали оранжевые крупные капли.

Ершов, заметив, что он слушает, тихо сказал:

— Галя поет...

— Кто такая? — спросил Жихарев.

Ершов кивнул на Половнева, тоже о чем-то задумавшегося.

— Дочка его.

— Какой чудесный голос! — восхищенно проговорил

Жихарев.— По-моему, с таким голосом она могла бы певицей стать.

Половнев угрюмо посмотрел сперва на Жихарева, потом на Ершова.

— Певицей! — недовольно проворчал он.— Зачем ей в певицы? Вы не вздумайте самой Гале такое сказать. Втемяшится девке блажь в голову.

— Разве так уж плохо стать певицей, Петр Филиппыч?— спросил Жихарев.

Половнев отчужденно нахмурился:

— А чего хорошего в певицах этих? Не наше крестьянское занятие. Галя у меня по ученой части пойдет. Науку одолевать должны крестьянские и рабочие дети — песни пускай поют, кто полегче... посвободней!

Жихарев стал запальчиво доказывать, что Петр Филиппович заблуждается. Где бы ни объявился талант, его нельзя скрывать! Пообещал, вернувшись в город, обязательно сообщить о Гале руководителю областного хора товарищу Масленникову Ираклию Кирилловичу. Тот подержит ее с годик в хоре, а потом, глядишь, устроит в консерваторию. И через три-четыре года Петр Филиппович будет с удовольствием слушать свою родную дочь в передачах по радио из Москвы.

— Еще чего недоставало!— возмутился Половнев, недобро сверкнув черными глазами на Жихарева.— Нет уж... это совсем пустое. И я вас очень прошу... не надо.

— Но почему, почему?— недоумевал Жихарев.— Не хочется расставаться с дочерью? Так она же все равно вечно с вами не будет. Выйдет замуж и покинет отчий дом.

Пока спорили, лодка потихоньку выбралась за излучину, и рыбаки увидели девушку в синей юбке и светлой блузке, с засученными по локоть рукавами. Она что-то стирала.

Когда лодка уткнулась в берег, Ершов и Жихарев поздоровались с Галей, вышли на берег и принялись торопливо развешивать бредень на вбитых в землю кольях. Половнев, поручив дочери помочь молодым людям донести рыбу, положил на плечо два весла и направился домой.

— Рассердился старик,— тихо сказал Жихарев, сокрушенно покачав головой.

— Ничего. Он отходчивый,— успокоил его Ершов и полушепотом добавил:— А насчет Гали ты верно сказал... Знаешь, когда она запоет, народ сходится послушать.

— Ты познакомь-ка меня с ней,— попросил Жихарев.

# ГЛАВА ПЯТАЯ

## 1

Правление колхоза находилось в старинном доме, в котором некогда жила дворня барина Шевлягина: мамки, няньки, прачки, повара и прочий простой люд. В те времена рядом стоял двухэтажный господский особняк с широкими окнами, просторным балконом, с которого видна была чуть не вся Даниловка из конца в конец. Осенью семнадцатого года он был разрушен до основания и растащен по кирпичику. Аникей Травушкин и другие богатеи подбили мужиков разорить господское гнездо дотла, чтоб, дескать, барину и его наследникам ворочаться некуда было.

Большая часть барского добра, начиная с серебряных ложек и кончая кирпичами разоренного дома, досталась богачам. А этот — длинный, десятка на полтора комнат, глаголью загибающий в сторону сада,— уцелел. В то время он был до отказа набит дворовыми. Мужики их не тронули. Но вскоре жильцы дома сами разбрелись кто куда. В доме обосновался волисполком со своими отделами. Когда волость перевели в Александровку, сюда перешло правление артели, остальные комнаты заняли под клуб, библиотеку, почту, сберкассу. Даже кооперативной лавке нашлось тут место в двух угловых комнатах.

Дом этот с первых дней революции и поныне служил местом притяжения людей. Здесь проводились собрания, совещания — зимой в помещении, летом на воздухе. Возле правления нередко кучились люди и просто так — повидаться с односельчанами, погутарить, посудачить.

Вот и сегодня — не успело солнце скрыться за Князевым лесом, как сюда потянулись старики. Они усаживались на серых от дождей и времени дубовых бревнах, наваленных у крыльца, курили цигарки или трубки, заправленные крепчайшим самосадом, нюхали душистый темно-зеленый табак, насыпая его на корявые ладони из древних табакерок, до блеска отполированных пальцами за многие годы.

Завсегдатаями и закоперщиками стариковских посиделок обычно были Глеб Иванович Бубнов и Демьян Фомич Тугоухов. Разнеся почту по избам, Глеб Иванович заходил к счетоводу и приглашал его подышать свежим воздухом, убеждая друга, что свежий воздух — вещь весьма пользительная.

— А то у тебя тут, смотри-ка, дым коромыслом, не продохнешь!

Скажи этак Плугов — счетовод взвился бы штопором и началась бы очередная перепалка. Но Глебу Ивановичу Тугоухов не возражал, считая его умнейшим, просвещеннейшим человеком в колхозе. Не спеша он захлопывал свою главную книгу, собирал бумажки со стола и укладывал все в старинный, доставшийся от барина несгораемый шкаф.

— На сегодня хватит! Всего не переделаешь. Можно теперь и погулять, на белый свет позевать. А бумажки — не пташки, в лес не упорхнут. Мы их вон туда, подальше, в уголок да книгой прижмем.

Они садились рядом на середине бревен. Подходившие занимали места кто справа, кто слева. Когда набиралось до десятка человек, Глеб Иванович приступал к сообщению о том, что успел сегодня вычитать в газетах. Конечно, всех тревожила война в Европе. Однако многих удовлетворяли и умиротворяли толкования Глеба Ивановича насчет того, что Гитлер зенки свои распялил на Индию. Жалко было индусов, уж очень бедный, по слухам, народ, но чего же с ним, с Гитлером этим, сделаешь? Нам встревать вроде, мол, неудобно, договором связаны, да и рановато, силенок надо бы поднакопить.

— И зачем они, войны, на земле? — посасывая длинный мундштук своей огромной трубки, со вздохом проговорил Демьян Фомич, когда Глеб Иванович закончил свое сообщение и стал вертеть цигарку.

— Значит, так богу угодно! — глубокомысленно откликнулся Аникей Травушкин.— От бога... все от бога, мужики!

— Заладил: от бога, от бога!— передразнил его Плугов, слывший на селе заядлым безбожником.— Богачи затевают войны! При чем тут бог твой? Его вовсе и нет. А богачам от кровопролития пожива, как тем стервятникам! Взять наших буржуев и господ дворян. Лопатой деньгу гребли в германскую войну! Да и не они только, а и другие, которые побогаче.— Плугов откровенно покосился на Травушкина.

Травушкин понял, что означает намек Лаврена Евстратовича, и, чтобы отвлечь внимание от себя, поспешно перебил его:

— Вот господь и наказал тех, которы жадничали да хапали! И лишил их всего! Стало быть, и война была богом послана им в наказание. Вот, к примеру, наш барин. Сколько чего имел — и все пошло прахом, и самому пришлось пятки

подмазывать. Явственно, что за грехи господь наказал его.

— А кровь-то чья лилась? Ихняя, что ли? — загудел своим непомерным басом Плугов.— Кровь-то лилась наша, крестьянская! За что же нас бог наказывал?

— А кровь, она тоже лилась, которы больше грешили. Грешники-то и среди нашего брата были. Взять тебя, Лаврен... Верно, сражался ты и кровь пролил. А почему? Подумал ты хоть раз об том?

— Почему же? Ну-ка объясни! Может, по-твоему, я самый великий грешник?

— А то святой разве! — усмехнулся Травушкин.

— Чем же грешней тебя? — грозно повысил голос Лаврен Евстратович.— За что кровь пролил и чуть костей там не оставил? — Участник войны с Германией, Плугов был ранен в плечо, а в гражданскую лишился левого глаза.— А сколько людей полегло?

Травушкин опять заспешил с ответом.

— Грешней не грешней,— скороговоркой молвил он,— а не святой! Себя тоже святым не считаю. Однако не богоотступник! А ты? В церкви божьей на клиросе пел? Пел!

Лаврен Евстратович вдруг громко захохотал.

— Значит, в церкви петь грешно! — сквозь смех произнес он.

Травушкин сделал серьезное лицо.

— Не петь грешно,— внушающе проговорил он.— От бога отступаться! Раньше ты пел, а теперича? Стал безбожным греховодником. Богу не молишься... посты не соблюдаешь... говеть не ходишь.

— Верно! — согласился Лаврен Евстратович.— Не молюсь и молитвы все позабыл. Так это же после войны, а до войны веровал и молился не мене твоего, Аникей Панфилыч! Да не помог мне господь. На поле брани я знаешь как молился! А он, господь твой, под пулю меня да под штык! За что? За то, что я пел в церкви? А потом в нужду окунул... А ты вот даже войны той не видал. Что же, ты святей меня?

— И не грешней,— смиренно ответил Травушкин.— В бога досе верую!

— Спереди ты — блажен муж,— засмеялся Демьян Фомич,— а сзади — как уж.

— Откупился ты от солдатчины! — язвительно заметил Глеб Иванович.

— А ты почему не воевал? — Травушкин с ехидной ухмылкой посмотрел на Бубнова.— Тоже, стало быть, откупился?

— Я по слабости здоровья,— возразил Глеб Иванович.— Всем известно. У меня горлом кровь шла, когда на войну людей гнали. Чахотка зачиналась. А ты был здоров как вол... На тебе только пахать бы тогда, а не взяли. И все знают: откупился. И нечего тут голову нам морочить! Оно хоть и давно это было, а правду надо говорить, не путать.

Наступило неловкое молчание. Некоторые защелкали табакерками, другие вытащили кисеты. Давние времена вставали перед мысленными взорами стариков. Давние, а как горячо к сердцу подкатывают старые обиды, несправедливости! Лучше их и не ворошить. И больше всех не хотелось этого Травушкину: не в его пользу было бы такое ворошение сейчас. Поэтому он нагнулся к старику Афанасу Голикову, колхозному пчеловоду, и негромко, но так, чтобы и другим было слышно, сказал:

— Хочу внучку твою посватать за Андрюху своего.

Голиков был богатырь саженного роста, плечистый, с большой головой и крупными, жилистыми руками. Широкая белая борода во всю грудь, длиной до пояса. Ему уже более восьмидесяти. О силе Голикова в деревне были сложены легенды. Будто в молодые годы он не раз выручал свою гнедуху, когда та не могла одолеть с возом какую-нибудь горку или вылезти из грязи. Будто Афанас выпрягал гнедуху, а сам заходил в оглобли и вытаскивал телегу или сани. А однажды, говорят, было так: поехал Афанас в город с пенькой. На полпути, в деревне Выселки, пришлось заночевать. Хотел Афанас въехать на постоялый двор, а там полно возов. И тоже все с пенькой. Тогда он взял да воз на воз и накатал, а в образовавшееся свободное место завел свои сани. Утром проснулись мужики и видят: во дворе гора из возов, а где чей — не разобрать. Давно это было, но и до сих пор, вспоминая тот случай, люди смеются, а к Афанасу относятся с большим уважением и с каким-то даже благоговением. Русский человек исстари любил силачей.

То, что сказал сейчас Травушкин, было неприятно Афанасу. Но, человек мягкого, доброго нрава, он не умел и не хотел говорить грубо.

— Что ж,— негромко сказал он.— Дело хозяйское. Только Галя-то учиться собиралась.

Глеб Иванович, резко повернувшись к Травушкину, решительным тоном заявил:

— Галя само собой... А Петр Филиппыч? Пожелает он с тобой родниться?

— А почему же не пожелает?— удивился Травушкин.—

Или мой Андрюха недостоин? Ученый... партейный... такого жениха на селе и не найти, как Андрюха мой.

— Не в Андрюхе толк,— опять вмешался в разговор Лаврен Евстратович, покручивая усы.— В тебе. А тебя Петр Филиппыч не уважает, прямо надо сказать.

— Куда ты лезешь?— раздраженно сказал Глеб Иванович.— В сватья к секретарю партейной организации! Да ты в уме? Он и раньше-то недолюбливал тебя, а теперь, после пересолов этих, он с тобой и разговаривать не станет.

— Какие такие пересолы? — спросил Плугов.

— А вот спроси Демьяна Фомича,— ответил Глеб Иванович.

Тугоухов рассказал, что произошло на стане тракторной бригады.

— Мишка твой говорил мне,— повернулся он к Плугову.

— Да как же ты так? Да зачем же ты?— набросились старики на Травушкина.

— Пять актов на порчу пищи представил Огоньков!— добавил Тугоухов, явно желая подлить масла в огонь.

— Наговоры, мужики!— начал отбиваться Травушкин жалобным тоном.— Как бог свят, наговоры! Лопни мои глаза, чтоб я... да зачем бы мне... Кулькову поверили, а он спросонку наплел бог знает чего!

В небе замигали звезды. Сумерки сгущались. Стадо коров и овец прошло с пастбища, и пыль, поднятая им, уже улеглась; ребятишек, игравших возле правления, матери загнали домой ужинать. По улице двигалась кучка молодежи во главе с баянистом Ильей Крутояровым.

Афанас Голиков поднялся и, ни к кому не обращаясь, проговорил:

— Пора на боковую!

И длинными ногами в сапогах с высокими голенищами довольно шустро зашагал в сторону колхозной пасеки; широкая спина его в белой холщовой рубахе видна была, пока он не вошел в аллею.

Старики поняли: не спать Голиков захотел, а неприятно ему слушать о проделках Травушкина. В тридцатом году, по доброте сердечной, он замолвил за Аникея словечко. Зачем, мол, выселять человека? Нехай трудится, как все, и живет по-божьему. Мало чего было при царском прижиме. Все мы не святые. А что было, то сплыло. Теперь же должны мы его простить, как он наш, даниловский.

С тех пор всякий раз, если обнаруживалось что-либо

неблаговидное за Травушкиным, Голикову становилось не по себе, будто не Аникей виноват, а он сам.

Старики расходились по домам. С Травушкиным никто не прощался, и никто не звал его с собой, хотя некоторым было по пути с ним. Наоборот, такие спешили скорей уйти, чтобы он сам не навязался в попутчики.

## 2

Не успели старики разойтись, как бревнами завладели парни, усадив в середине баяниста.

Вечер был теплый, безветренный. Взошла луна и быстро стала подниматься вверх, освещая село. Окна изб слабо мерцали желтыми керосиновыми огоньками. От сада веяло прохладой.

Илья Крутояров, склонив голову к черному баяну, перебирал пальцами белые клавиши и смотрел на танцующих. Но отчетливо видел только светлую блузку Гали Половневой. Все остальное вокруг было как в тумане. И слова Огонькова о том, что Галя танцует все время с городским, доносились до Ильи как сквозь сон или какой-то невнятный шум.

— Смотри, смотри... То Андрей Травушкин вокруг нее увивался, теперь этот мелким бесом рассыпается! Задурит он ей голову,— зудел над ухом Огоньков.

Илья понимал, что бригадир хочет подразнить его, разжечь в нем ревность. После небольшой стычки на стане они успели уже помириться и сегодня весь день провели вместе. Илья подозревал, что бригадир и помирился и не оставляет его из-за Гали: хочет помешать увидеться с ней.

А Илью меньше всего тревожило, что Галя танцует с корреспондентом. Мучило другое. Вчера перед отъездом со стана Луша рассказала ему, что Андрею Травушкину понравилась Галя Половнева и он собирается на ней жениться.

Илья даже в первомайские дни не мог побывать на селе. С Галей не виделся с тех пор, как выехал на посевную. Рассказ поварихи оглушил его.

К хороводу Галя пришла, когда танцы были в разгаре. И вот теперь, поиграв немного, Илья положил баян на бревна, сошел вниз.

— Мне с тобой поговорить надо,— не поздоровавшись, угрюмо сказал он, подойдя к девушке.

Галя вышла из круга, встревоженно спросила:

— Что-нибудь случилось?

— Не случилось, но может случиться! Разговор у меня

серьезный и очень важный для нашей с тобой жизни.— Илья оглянулся на хоровод: там, прихрамывая, толкался среди парней Огоньков, видимо искал его, Илью. «Не сидится ему, Хромому бесу».— Кончится улица, ступай к Марьину дубу,— торопливо сказал он Гале.— А я отнесу баян и приду к тебе.

— Ладно,— согласилась девушка.

Снова начались танцы. И опять Жихарев повел Галю по кругу.

Ему хотелось блеснуть перед этой миловидной деревенской девушкой, в сущности мало похожей на деревенскую и по обличью и по речи. Он плавно кружил ее под звуки вальса, осторожно ведя среди танцующих пар, ни разу ни на кого не натолкнувшись и не задев, как это сплошь и рядом происходило с сельскими танцорами. Говорил больше о себе. Отдел культуры и искусства областной газеты держится исключительно на нем, Жихареве. Но главное — не в газете, главное в том, что он, Жихарев,— поэт! Его печатают не только в области, но и в «Комсомольской правде». Осенью прошлого года издан сборник его стихов. К сожалению, с собой он захватил только один экземпляр и тот уже подарил Ершову.

— Но вам я обязательно вышлю. Ершов говорит, что вы любите стихи. Правда?

— Правда,— тихо ответила Галя, слегка улыбаясь.— Особенно хорошие.

— А как вы находите стихи Ершова? Он говорил, что дает вам читать.

— Нравятся. Они какие-то задушевные, совсем не такие, что печатаются в вашей газете.

— Вот как!— удивленно воскликнул Жихарев, подумав: «Не на мои ли намекает?» — Это вы, пожалуй, преувеличиваете. Но у Алеши есть искра божия, есть!— заключил он и умолк, из опасения подвергнуться более прямой и нелицеприятной критике за свои стихи, публиковавшиеся в газете.

Некоторое время танцевали молча. Совсем близко, в колхозном парке, слышалось пение соловья. С речки доносились звуки лягушечьего концерта. Окна правления еще светились, отбрасывая наземь жидкие желтые полосы. Луна серебряно блестела в безоблачных небесах.

Было легко и хорошо на душе. Галя готова была танцевать хоть до утра, и ей казалось, что Илья все время играет только для нее и только ее любимые вальсы.

Жихарев снова заговорил:

— Какие у вас планы на будущее?

— А никаких! — беспечно ответила Галя.

— Как? Почему? Мне сказали, что вы в прошлом году окончили десятилетку. Неужели останетесь в этой благословенной глуши? Лягушки квакают, коровы мычат, собаки лают. Примитив! Первобытная жизнь, никакой культуры! Разве вы для того рождены, чтобы закиснуть здесь? Вы обязательно должны жить в городе. Там — настоящая культура, интеллигентные люди, красота! Ведь вы уже не колхозница, вы интеллигентка, у вас среднее образование! Наконец, замечательный голос. Зачем тут прозябать? — патетически произнес Жихарев.

— Ну какой там голос! — вдруг возразила Галя.

Советы покинуть деревню, в особенности же охаивание всего окружающего, были неприятны, они на какое-то время даже испортили ей настроение.

— Слышал сам! Я ведь и сегодня сюда специально пришел, чтобы еще послушать вас. Вам говорил Алеша?

— Говорил.

— Значит, споете?

— Спою... но... не одна. Мы — хором, — как-то неохотно и грустновато ответила Галя.

Когда кончился танец, Жихарев, отпуская ее, просительно сказал:

— Следующий — тоже за мной! — и наклонил непокрытую голову, отчего волосы его упали на лоб. Поправляя их, с улыбкой добавил: — Я не все еще сказал вам!

Галя вдруг сообразила, что Жихарев начинает ухаживать за ней.

«И этот хочет что-то сказать! Вот вечерок выдался!» И ей вдруг захотелось подшутить над своим городским ухажером.

— Хорошо! — сказала она таким тоном, что Жихарев имел право подумать: согласие на танец она дает с удовольствием. — Только мы сначала споем... специально для вас! — уже с нескрываемым кокетством добавила Галя и направилась к девушкам, стоявшим в сторонке.

— Ну как? — спросил Ершов, незаметно подойдя к Жихареву, мечтательно следившему за Галей и прислушивавшемуся к ее звонкому щебетанию с девушками.

— Чудесная, замечательная! — восторженно заявил Жихарев. — Готов танцевать с ней хоть трое суток подряд.

Широкое полное лицо его, казавшееся при лунном свете голубоватым, расплылось в довольной улыбке.

— Надеюсь, с перерывом на завтрак и обед,— шутливо заметил Ершов.— Не говорила она, когда же споет?

— Обещала сейчас... Хочет хором. Вон с девушками договаривается.

— Послушаем, да и домой,— деловито сказал Ершов.— День завтра рабочий.

— А я хотел еще потанцевать.

— Смотри не влюбись! А то тебе может не поздоровиться. За Галей ведь сам баянист ухаживает. Не заставил бы он тебя гопака отбивать. Он малый сильный, горячий.

— Как это гопака? — не понял Жихарев.

— А так! Проводишь ее, а на обратном пути тебя и встретят: накроют мешком и начнут всыпать. Век помнить будешь! Не любят ребята, когда чужие за нашими девчатами волочатся.

— Неужели правда? Какая дикость!

— Старина-матушка! — согласился Ершов, притворно вздохнув.

Эта была неправда, но ему хотелось напугать Жихарева, чтобы тот не задерживался на улице. Да и не нравилось, что Жихарев так назойливо увивается за Галей.

Минут пять спустя Галя вышла на середину круга и громко объявила:

— Девочки! Отдохнем от танцев, давайте споем!

Тотчас ее обступили девушки и парни. Крутояров, не дожидаясь особой просьбы, стал наигрывать частушечный мотив. Галя остановила его:

— Погоди, Илюша. Мы старинную.

И сильным, немного дрожащим, каким-то особенно волнующим голосом затянула:

Как на этой на долинке,
На широкой луговинке!..

Девушки вполголоса, поначалу робко и нерешительно, потом все громче, сильней поддержали ее. Крутояров быстро нашел мотив, подладился к песне. Жихарев с любопытством слушал. Ведь это для него пели! Он был чувствителен и даже сентиментален. Вслушиваясь и больше всего следя за голосом Гали, он ощущал потепление в груди. Да! Исключительный голос! Ираклий Кириллович будет в восторге. Это же находка для него и хора!

Но не только голос Гали растрогал его, а и простые, задушевные слова, грустный мотив. Впервые в жизни он слы-

шал песню с такими емкими, берущими за душу словами. Кто и когда ее сочинил? Народ? Но как это понимать? Не могло же быть, что собрались люди, взяли да и сложили песню, сразу подобрав и слова и мотив. Наверно, сначала кто-нибудь один сочинил, но имя его осталось неизвестным, потонуло, как в море капля! «Имя неизвестно, а песня живет! Но я хотел бы, чтобы и стих мой жил и имя сохранилось для потомков!»

Он потихоньку сказал об этом Ершову.

— А что из того, будут ли о тебе знать через сто, двести лет,— возразил Ершов.— Важно, чтобы стих жил.

— То есть как это что? — горячо возразил Жихарев.— «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...» Значит, ему приятно было думать, что имя его не сотрется в веках. А Владимир Владимирович? «Уважаемые товарищи потомки!» Тоже к потомкам обращался.

Ершову не хотелось затевать спор, да он и сам не знал, законно или незаконно желание сохранить свое имя для потомков, и потому миролюбиво сказал:

— Дома поговорим. Давай послушаем.

Жихарев молча кивнул.

После грустной до слез песни о девушке и потонувшем венке запели «Ревела буря, дождь шумел».

Вокруг девчат сгрудились любители пения, которыми Даниловка славилась издавна. Среди них были не только парни и девушки, но и солидного возраста люди, как Лаврен Евстратович Плугов, вот уже несколько лет руководивший клубным хором, Демьян Фомич Тугоухов, обожавший протяжные песни, Глеб Иванович Бубнов — любитель всяческого шума, веселья. Они так и не уходили отсюда со времени стариковских посиделок.

Не слышно стало ни соловьев, ни собачьего лая, ни лягушечьего концерта — все заглушил мощный хор. Два голоса вели его: бас Плугова, гудевший как колокол, и звучный, красивый альт Гали.

Жихарев и сам потихоньку стал подтягивать, дивясь, что в «благословенной глуши», оказывается, умеют так складно и дружно петь. И Ершов вторил сочным, но уступающим в силе голосу Плугова молодым басом.

После пения началась пляска под частушки. Жихарев пляску недолюбливал и стоял в роли зрителя.

Многие из частушек были сочинены Ершовым, сам автор не всегда угадывал их, они оказывались изрядно подправленными и дополненными. И трудно было понять, лучше или

хуже они стали от этого. Все же было приятно, что сотворенное им живет на улице, поется. Песню бы написать, вроде «Как на этой на долинке», чтоб сотни лет звучала она в устах народа. Да нет, разве такую сочинишь! «Сказать Жихареву, что его, Ершова, частушки распевают девушки? Нетактично, нескромно!» Он взял Жихарева под руку:

— Пошли домой, спать пора!

Жихарев собирался провожать Галю, но после предупреждения Ершова передумал: не к лицу работнику газеты нарываться на скандал с деревенским парнем из-за девушки. И он, не сопротивляясь, пошел с Ершовым.

## 3

Давно погасли огни в избах и окнах правления. Почти не потухавшая заря начинала шириться, алеть. Луна будто распухла, увеличилась, повисла над самым садом, становясь тусклей, слегка розовея.

Все село уже спало, а пляска не прекращалась. Дело пошло теперь на перепляс. В круг вступали две, три пары и под свист, частушечную скороговорку так отбивали «барыню» или «камаринского», что пыль вихрилась столбом. Галя тоже плясала почти без передышки. Она дробно притопывала, произнося отчетливым речитативом забористые слова частушек:

У меня коса большая,
Длинная, до поясу:
Меня милый угадает
Издали по голосу.

Баянисту своему
Дали мы задание:
Ему играть, а нам плясать —
На соревнование.

Выхожу и начинаю
Потихонечку дробить.
Неужели у миленочка
Сердечко не болит?

Под восхищенные возгласы одобрения Галя переплясала уже троих парней. Тогда вышел Огоньков и начал выкручивать замысловатые колена, да так проворно, что и хромоты его почти не заметно стало. Даже вприсядку пустился. Гале было все равно, с кем плясать. Наверно, и Огонькова она переборола бы, но вдруг спохватилась: у нее же свидание сегодня! Илья

ведь будет играть хоть до утра, пока она пляшет. И сразу, с ходу остановилась.

— Твоя взяла, Федя!

Потом, подхватив под руки подружек — Веру Плугову и Лену Бубнову,— потащила их чуть не насильно из круга.

Одной ей было неудобно покинуть хоровод. Немного отойдя, она громко запела:

Елочка-сосеночка
Вкруг дубочка вилася...

Сигнал Илье, что покинула хоровод насовсем.

Лена Бубнова, ничего не подозревая, высоким визгливым дискантом подхватила:

Девочка-девчоночка,
В кого же ты влюбилася!

Баян сразу умолк, будто его кто-то неожиданно захлопнул. Молодежь парами, группами стала покидать хоровод, разбредаясь в разные стороны села.

Галя подумала: «Так и есть! Играл, пока я была там». И заторопилась.

Поравнявшись со школой, тихо сказала:

— Вы идите, девочки, а мне надо к деду сбегать. Маманя велела. Я чуть не забыла.

Вера засмеялась:

— К деду ей надо! А как звать деда? Илья Родионыч?

— Честное слово, девочки! Не верите?

Галя почувствовала, что всю ее охватило жаром от стыда за такую по-детски нелепую ложь.

— Напрасно время тратишь! — сказала Лена.— Илюха — гордый. Не придет, вот посмотришь! Подшутит он над тобой, как тогда надо мной!

По зиме на клубном вечере Лена намекнула Илье Крутоярову, что неравнодушна к нему, и назначила ему свидание возле МТФ. Он пообещал прийти. Лена прождала его до третьих петухов, но Илья не пришел. А на другой день сказал, что забыл. Галя знала об этом от самого Ильи. Он объяснил, что хотел проучить Лену, чтобы она не строила глазки направо и налево, не назначала свиданий.

— Со мной так не сделает,— уверенно проговорила Галя.— Ступайте, ступайте!

Видя, что ее не остановить, Вера и Лена пошли дальше. Темные юбки их скрывал сумрак, и казалось, что белые блуз-

ки подруг, чуть покачиваясь, сами собой плывут по воздуху, одна повыше (Верина), другая пониже. Галя немного постояла, посмотрела им вслед и быстро побежала в сторону сада.

Вот и сад. До Марьина дуба недалеко. По аллее Галя пошла медленно, чтоб отдышаться после бега. Илья где-то на улице растянул баян, немного поиграл. Чей-то голос, кажется Огонькова, надсадно и громко запел:

Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была!

«Понес баян домой,— подумала Галя об Илье.— Зря бежала, торопилась».

В саду глухо, таинственно. С тихим шорохом срываются и падают сухие сучки. Даже соловьи, певшие весь вечер, умолкли. Наверно, настало время сна и для них. Над аллеей сплелись ветви деревьев, недавно распустившихся, и сквозь них виднеется посветлевшее небо, редкие мигающие звездочки, еле заметные.

Поодаль от дуба — скамейка. Галя села, прислушиваясь к шорохам, к тишине. Между стволов прошумела черная птица — сова или филин? Галя испуганно вздрогнула. И чего это Илья назначил ей тут свидание? Может, в любви объясняться задумал? Как же быть тогда, что сказать ему? И долго она сидела, ждала, вглядываясь, не идет ли Илья по аллее, прислушивалась, не раздадутся ли в тишине знакомые торопливые шаги. Но никого не видно и шагов не слышно. Она встала.

Венок потонул,
Милый обманул...

О себе ты, Галя, пела песню эту горькую. Видно, и твоя любовь такая несчастная!

И заспешила прочь от дуба, словно он угрожал ей какой-то бедой. Слезы застилали глаза, а сквозь них чудилось лицо Ильи, энергичное, немного скуластое, его мягкие русые волосы, нависавшие на лоб.

«Обманул, обманул ты меня! Срам-то, стыд какой! Вера и Лена спросят: «Пришел твой Илюша?» Что я им скажу? Зачем же ты так? — шептала она, готовая закричать, зарыдать от обиды.— Что я тебе плохого сделала?»

Слева на широкой куртине между яблонями в предутренней мгле чернели ульи, похожие на игрушечные домики. У белой избушки-омшаника стоял Афанас Голиков — родной дедушка Гали по матери.

Хотелось проскочить незамеченной, но он окликнул ее. Пришлось подойти.

— Здравствуйте, дедушка!

— Здравствуй, коли не шутишь! — приветливо проговорил Афанас.— Откуда идешь?

— С улицы,— тихо ответила Галя, смущенно опуская голову.

Старик кивнул в сторону Марьина дуба:

— Какая же там улица? Говори правду: где была?

— Так... прошлась немного.

— Ох, девка! — Афанас вздохнул.— Спать пора, улица давно разошлась, а ты тут бродишь одна. Ай потеряла чего?

Галя молча уткнулась деду под длинную белую бороду, в широкую костлявую грудь. Чуточку прохладная домотканая рубаха деда пахла вощиной, травами, и было так успокоительно прильнуть к ней всем лицом, сразу взмокшим от слез.

Афанас легонько провел корявыми полусогнутыми пальцами по волосам внучки.

— Вишь ведь какое дело! — озадаченно молвил он.— Чего же ты плачешь? Обидел кто-нибудь? Может, насильно тебя хотят за этого, за Травушкина? Вечор чего-то баил мне Аникей... Так ты никого не слушайся! Не старый прижим. Теперича девка вольна сама выбирать, кто ей по сердцу.

— Да нет, дедушка,— сквозь слезы грустным голосом проговорила Галя,— не от этого я...

— А от чего же?

— После расскажу. Пойду спать.

— Ну-ну! После так после! Ступай домой, коли такое дело!

Афанас мягко отстранил внучку от себя. Галя медленно пошла домой.

## 4

Илья Крутояров знал Галю с детских лет. Но даже перед призывом в армию почти не замечал ее, несмотря на то что часто бывал у Половневых как друг Васи. Кабы не случай, возможно, и по возвращении из армии долго не обращал бы на нее внимания, хотя Галя к тому времени стала взрослой девушкой, училась в десятом классе и по старым обычаям могла считаться невестой.

Однажды, с год назад, по весне, он с баяном на плече зашел за Васей. Дома была одна Галя. Илья остановился у порога, не снимая кепки.

— Здравствуйте! Васи нет?

Галя сидела на лавке у окна, читала книгу.

— Бредень чинит во дворе,— ответила она, мельком взглянув на него, и снова уставилась в книгу.

Илья снял кепку, неторопливо протопал шагреневыми, до блеска начищенными сапогами к окну, сел почти рядом.

— Я вам не помешаю?

В селе был обычай обращаться к девушке на «вы», если с ней не гуляешь. Галя ничего не ответила и продолжала читать.

— Извиняюсь, наверно, интересный роман? — с подчеркнутой вежливостью проговорил Крутояров.

Девушка молча показала переплет книги: «Физика».

— А-а! — понимающе кивнул Илья.— Готовимся к экзаменам!

Девушка тоже кивнула. Немного погодя спросила:

— Позвать Васю?

— Не надо! — отрывисто сказал Илья.— Сам схожу. Разрешите закурить?

— Курите, пожалуйста! — еле слышно разрешила Галя и опять — в книгу.

Илья был видным парнем на селе. Выше среднего роста, красивый и характером веселый. Баянист. Песенник. Работяга. На него, на его свежее загорелое лицо с небольшим прямым носом и по-детски пухловатыми губами заглядывались и девушки и молодки, нередко сами затрагивали, набиваясь на душевную беседу, а эта сидит с книжкой, смотреть на него не желает, и слова из нее не вытянешь!

Закурив, резко поднялся, вскинул на плечо ремень баяна.

— Бывайте здоровеньки! — Губы парня дернула насмешливая кривая улыбка.— Грызите гранит науки! Полезная пища!

Галя непонимающе, как ему показалось, посмотрела на него, вяло отозвалась:

— До свидания.

И больше ни слова.

Илья остановился посреди избы, молча посмотрел на девушку. Черная как смоль коса толстой плетью лежала на плече. Волосы расчесаны на прямой пробор, светлевший тонкой ниткой. Сарафан с плечиками, белая с мелкими красными цветочками блузка. «Фу-ты ну-ты! Барышня-крестьянка!»

Подмывало отчитать ее:

«Слушайте, вы, десятиклассница! Что вы из себя корчите?

Чему вас учат в школе? Надо же быть гостеприимной и вежливой с другом вашего брата!»

Сдержался.

Когда шли с Васей по улице, Илья угрюмо сказал:

— Ох и воображение у твоей сестренки!

— То есть?

— Деловая! Сидит, в книжку уткнулась и ничего и никого не видит и не слышит. Насилу добился, где ты,— приврал он ради усиления картины.

Вася остановил Илью, смерил презрительным взглядом.

— Сапог! Валяный неуклюжий сапог! — насмешливо сказал он.— Ты же ей нравишься... Девушку понимать надо! И чувствовать!

И пошел дальше.

— Ты что? Смеяться надо мной? Она в упор меня не видит.

— Не пыли и не фырчи! — примирительно сказал Вася.— Не шутя говорю. Давно подметил и... от Веры знаю... Думал — догадаешься. А ты... ты, оказывается, даже не сапог, а обыкновенное бревно! Бесчувственное бревно.

— Морочишь ты мне голову,— растерялся Илья.

Однако стал внимательней присматриваться к девушке. И вскоре убедился, что Вася прав. Не раз Илья ловил на себе пристальный взгляд Гали. Тогда и у него появилось желание видеть ее. Он зачастил к Половневым по делу и без дела.

Недели через три после того случая Илья и Галя ходили вместе в хоровод. И он уже твердо знал, что лучше Гали для него девушки во всей Даниловке нет и быть не может. Однако до сих пор ни ей, ни кому другому об этом не говорил. Больше года он гуляет с ней. Собирался осенью сделать предложение. И вдруг как обухом по голове: Андрюха Травушкин посылает сватов к Половневым.

## 5

Когда Галя покинула хоровод, Илья сразу встал и понес баян домой. На свидание можно бы пойти с баяном, но надо было как-нибудь отвязаться от Огонькова.

Шли молча. Илья шагал широко и споро. Огоньков едва поспевал за ним, сильно припадая на левую ногу, стараясь не отстать.

— Пора бы тебе домой,— раздраженно проворчал вдруг Илья.— Что ты сегодня прилепился ко мне как банный лист?

— По долгу бригадира! — игриво ответил Огоньков.— Обязан проводить лучшего стахановца полей колхоза «Светлый путь»!

— Ну и брехло ты, Федька! Впрочем, леший с тобой. Провожай на здоровье, все веселей, чем одному. В одиночестве и пенек дорог.

Ему хотелось погасить подозрения и догадки Огонькова о свидании с Галей. «Домой, домой иду, мол, а ты понапрасну ноги бьешь».

Но Огоньков торопливо продолжал хромать рядом как ни в чем не бывало.

— Вот я же и говорю... Парень ты компанейский... И мне с тобой очень радостно и приятно лишний часок провести. Люблю я тебя больше всех остальных в нашей бригаде. А ты почему-то не веришь, хочешь все время отбояриться от меня.

— Мели-мели, Емеля, твоя неделя! — отозвался Илья, с отчаянием подумав: «Нет, от этого черта хромого подобру не отделаешься!»

Возле своего амбарчика, стоявшего рядом с избой, Илья остановился. Ему не хотелось беспокоить родителей, они, конечно, уже спали, и он, решив оставить баян в амбаре, протянул руку бригадиру:

— До завтра! — И зевнул во весь рот.— Ох и спать охота!

— Эк тебя разморило! В амбаре будешь спать? — Огоньков сдавил ему пальцы, но уходить не спешил.— Может, и мне с тобой?

— Да где же? — растерянно пробормотал Илья.— Коечка узенькая, а пол земляной, и постелить нечего.

— Жаль! — насмешливо сказал Огоньков.— А покурить есть?

— Все покурили! — Илья похлопал себя по карманам, в голосе прозвучало неподдельное сожаление, хотя при нем было еще с десяток папирос.— Ну, пока! Пойду я! Спокойной ночи!

Подошел к амбару, открыл дверь и, пригнувшись, шагнул в темноту с баяном на плече.

«Придется прилечь, иначе от него не отлепишься!»

Только он так подумал, гулко грохнула дверь, тоненько, жалобно звякнула наружная задвижка.

— Брось баловать! — крикнул Илья.

Вкрадчиво-ласковым голосом Огоньков негромко пояснил:

— Так тебе спокойней. Никуда тянуть не будет. Забочусь

о подходящих условиях для отдыха передового тракториста!

— Оставь свои дурацкие шутки! Открой сейчас же!

— Не открою,— сказал Огоньков.— И не проси...

Илья понял, какую злую шутку задумал разыграть приятель.

— Ну и гад же ты, Федька! — злобно проворчал он.— Никогда не думал, что ты такой стервячий гад!

— Правильно подметил! — весело согласился Огоньков.— Сам не подозревал, что я гад, каких мало. А теперь вижу... и ничего с собой поделать не могу, вот беда! Так и тянет пакость кому-нибудь сотворить... например, свиданию помешать. Особливо, ежели человек тайком от товарища... Да ты не шуми! Галю охота повидать? Знаю. Сочувствую. Но оказать содействие не имею права. Завтра — работать, а ты намерен всю ночь не спать. Такое бесшабашное поведение вредно твоему юному организму и... колхозному хозяйству. Утром, перед отъездом, зайдешь за Васей — и с ней повидаешься. Понимаю: дневные свидания не так интересны... зато вполне безопасны: тут уж целоваться не придется!

Теряя самообладание, Илья закричал:

— Открой, Федор, иначе плохо тебе будет!

Он чувствовал себя совершенно бессильным. Ругал приятеля самыми последними словами. Угрожал. Просил. Ничего не помогало. Тогда Илья замолчал. Что бы такое предпринять? Протер стекло в маленьком окошке, посмотрел. Огоньков стоял у двери.

— Значит, не откроешь? — спокойно, как бы примирившись со своей участью, спросил Илья.

Протяжно вздохнув, Огоньков ответил:

— Значит, не открою!

— Ну и черт с тобой! Но имей в виду, Федька, сегодняшней твоей подлости вовек не прощу!

— Ладно! — с покорностью в голосе сказал Огоньков.— Когда-нибудь сквитаемся. А теперь тебе лучше лечь. Выходной день нам с тобой дали не для того, чтобы за девками охотиться. Погулял — и хватит.

И затих. Минута, другая — ни звука.

Илья позвал:

— Федор! Слышь! Открой! Надо же мне выйти!

Молчание.

Илья крепко выругался.

— Ушел, мерзавец!

С горя закурил. Все в нем кипело. Будь сила — разнес бы в щепки этот амбарчик. И надо же так глупо попасться в ловушку!

— Это так-то у тебя нету папирос! — с издевкой в голосе неожиданно заговорил Огоньков, почуяв аромат табака.— За такую жадность тебя неделю голодом проморить взаперти!

— В амбаре были припрятаны... я забыл об них,— оправдывался Илья.— Открой! Все папиросы отдам вместе с портсигаром.

— Не нужно мне все. Одну дай.

— Не откроешь — ни одной не дам.

— А если открою? Не врешь, что все отдашь? И драться не будешь?

— Честное комсомольское, все отдам и драться не буду! — пообещал Илья.

«Теперь можно... Галя уже спит наверняка! Не станет же она ждать его до солнышка!» — подумал Огоньков и лязгнул задвижкой.

Илья вышел из амбарчика. Было почти совсем светло, вот-вот коров погонят на пастбище. Свидание сорвано! Протянул портсигар Огонькову, с душевной болью и горькой укоризной сказал:

— И зачем ты это сделал? Ведь все равно она с тобой гулять не станет.

Огоньков пробовал по зиме ухаживать за Галей, но без успеха.

— А я и не собираюсь с ней гулять! — Он взял одну папироску и возвратил портсигар.

— Возьми его себе... За храбрость и верную службу Андрею Травушкину! — мрачно пробурчал Илья и пошел прочь вдоль улицы.

— При чем тут Андрей?

Илья не ответил.

...Рано утром, когда Крутояров зашел за Васей, в сенцах ему встретилась Галя. Он обрадовался.

— Галя! Ты прости меня! Понимаешь, так получилось.

Галя молча прошла мимо, даже не взглянув на него. Он кинулся было за ней, но из избы вышли Вася и Огоньков.

— Пришел! — насмешливо произнес бригадир.— А я думал — опоздаешь! Ну, поехали соседям помогать. Ты давно об этом мечтал.

# ГЛАВА ШЕСТАЯ

## 1

Пожить в Даниловке подольше, как собирался, Жихареву не удалось. На его телеграмму: «Задерживаюсь изучения материала передовиках сева» — в тот же день последовал ответ: «Возвращайтесь немедленно».

Тогда он отхлопотал у Половнева и Свиридова трехдневный отпуск Ершову, и они поехали вдвоем.

— Возведу тебя на областной Парнас, познакомлю с писателями, поэтами, редакторами. И ты увидишь тот цех задорный, «о коем не сужу, затем что сам к нему принадлежу». Твои тетрадки дают тебе право стать если не мастером, то подмастерьем этого цеха. Наверняка опубликуем несколько стихов в газете, а там, может, и книжечку организуем. Я — поэт из рабочих, ты — из крестьян. У нас с тобой должен быть союз, как у представителей двух дружественных классов.

Ершов верил и не верил обнадеживающим словам своего нового друга. Однако поехал охотно, и во вторник в семь вечера они с Жихаревым были уже на привокзальной площади областного города.

Вдруг Жихарев приложил палец к своему широкому красному лбу и, загадочно улыбаясь, негромко сказал:

— Эврика, Алеша! Как ты думаешь: имеет смысл нам спешить?

Ершов пожал плечами.

— Никакого! — продолжал Жихарев.— Трудовой день кончился, в Союзе писателей и в газете — «пустота, летите, в звезды врезываясь!». А у меня, между прочим, сохранились кое-какие остатки от командировочных. Давай реализуем их, иначе моя милая женушка и мой глубоко неуважаемый тестюшка загребут эти денежки на свой текущий счет. Поворачивай оглобли назад! — шутливо заключил Жихарев.— У меня принцип: мошна пуста — душа чиста!

В ресторане вокзала они заняли свободный столик в дальнем углу. К ним тотчас же подошла круглолицая курносенькая брюнетка в белом переднике и белом берете.

— Здравствуйте, Жора! — певуче проговорила она приятным грудным голосом.— Как съездили?

— Замечательно съездил, Варюша! Хотим освежиться, полевую пыль промыть. Давай нам все по второму разряду.

Когда девушка ушла, Жихарев озабоченно, словно речь шла о чем-то важном, негромко спросил:

— Коньяк потребляешь?

— Не приходилось. Он много крепче водки?

— Малость покрепче. Но ты выдюжишь! — И Жихарев похлопал друга по плечу, как хлопает новичка более опытный в каком-либо деле.

Варя принесла на подносе две тарелки с бутербродами с красной икрой, две рюмки, небольшой графин с янтарной жидкостью, ножи, вилки.

Жихарев положил свои мягкие крупные пальцы на обнаженную до локтя руку девушки и, умильно глядя на нее по-собачьи преданными большими глазами, доверительно сообщил:

— Мы сегодня решили немного гульнуть, Варюша. Так что ты не того... не сердись. А это мой друг Алеша Ершов,— он качнул волосатой головой в сторону Ершова.

Девушка приветливо улыбнулась. Ершов начал медленно краснеть. Жихарев продолжал:

— Настоящий поэт из народа! Наследник Никитина, Кольцова, Некрасова! Прошу любить и жаловать. У него замечательно нежная, лирическая душа. Я покажу тебе его стихи, и ты сама убедишься. Он приехал к нам в редакцию по специальному вызову. Ну и вот, понимаешь, по этому поводу мы и того...

Варя понимающе кивнула, слушая его, потом осторожно высвободила свою руку из пальцев Жихарева и торопливо удалилась.

Ершов мрачно и недовольно проворчал:

— Зачем этак-то? Поэт из народа... Наследник какой-то... Лирическая душа... По специальному вызову... Зачем надо мной потешаться!

Жихарев удивленно посмотрел на него:

— Потешаться? Да ты что, Алеша? Я же искренне, серьезно! Я так думаю и не могу думать иначе после прочтения твоих тетрадок. А что касается Вари — не беспокойся. Она девочка славная, заочница третьего курса литфака... Так что в стихах разбирается...

— Все равно, так не надо, и я прошу тебя...

— Ну хорошо-хорошо... больше не буду,— пообещал Жихарев.

Не прошло и полчаса, графин поэты осушили. Варя, очевидно следившая за ними издали, незамедлительно подала второй, принесла две порции жареной индейки. Все это она

делала по личному соображению, вероятно зная, что означает для Жихарева подать «по второму разряду». Сам он каждый раз, когда она что-либо приносила, оживленно благодарил ее. Полное раскрасневшееся лицо его покрылось бисерными капельками пота, и он поминутно вытирался носовым платком.

Ершов не был большим охотником до выпивки и еды, однако на первых порах старался по возможности не отставать из боязни показаться смешным провинциалом.

— Друг, Алеша! — восторженно, словно декламируя, говорил Жихарев.— Я рад, что так замечательно получилось, что познакомился с тобой, с твоими тетрадками. Хорошо ты пишешь, ей-богу! И вот мы сидим теперь, беседуем... и не подозреваем, что, может быть, это исторический момент не только в нашей личной жизни, а и в советской литературе! — И он по-ораторски выбрасывал вперед свою большую с пухловатыми пальцами руку.

— Ну, ну! Ты потише! Не заносись слишком,— с усмешкой осадил его Ершов.— При чем тут история?

— История, брат, женщина умная! — не унимался Жихарев.— И она всегда за тех, кто дерзко и смело творит ее, а не плывет по течению.— Он ухватился за нож с вилкой и стал разрезать мясо на тарелке.— И мы тоже будем смело творить историю... но не вообще, а нашу с тобой историю! Полюбил я тебя, по душе ты мне пришелся! Может, потому, что спас меня? У нас с тобой теперь дружба на вечные времена. Не веришь? В письмах, дескать, раздраконивал, а теперь хвалишь. Алеша, друг! — Жихарев бросил вилку и нож, круто повернулся к Ершову и с размаху хлопнул его по плечу.— Во-первых, до тетрадок твоих не знал, кто ты и на что способен. Пришлешь пару, тройку стихов... Что по ним можно узнать? И присылал ты, прямо скажу, не лучшие. Во-вторых, я был несправедлив. И ты меня прости великодушно. Простишь?

— О чем толковать? — смущенно ответил Ершов.— Бог тебя простит, как говаривала моя бабушка.

Человеку молчаливому и немного флегматичному, Ершову была непонятна восторженность, возбужденная говорливость Жихарева без видимой основательной причины.

— Но почему ты не прислал свои тетрадки? — с горечью искреннего сожаления продолжал Жихарев.— Не решался? Вижу. Ты скромный. Но скромным быть в нашем деле нельзя. Затрут. Затуркают! Сомнут!

— С хорошими стихами не затуркают и не сомнут,— с холодком возразил Ершов.

— Эх, друг Алеша! Ты очень мало знаешь! Кто понимает — хороши стихи или плохи? У нас в редакции, например, таких не вижу! Им подавай «Гром победы раздавайся!». Приемлют только оды! А если лирика — не чувствуют. Застряли, чудаки, на державинском периоде, не доросли до пушкинского! И не дорастут! — Жихарев безнадежно махнул рукой, повторил: — Не дорастут! И леший с ними! Надоели они мне, обрыдли! Но что поделаешь! Пить-есть надо! Маленькая, но семья! Умудрил господь жениться! А жениться нашему брату поэту нельзя, пока не выбился на большую дорогу. Книжку вот издал, а денежки конфисковали!

— Как это? Почему? — удивился Ершов.— Разве у нас бывает так?

— Ты подумал — власть конфисковала? Нет! Жена, тесть, теща, чтоб им пусто было! Чтоб им сдохнуть! Костюм справили мне — и все! Слов нет, костюм приличный. И все же они кровопийцы мои! И тесть, и теща, и жена... Она с ними заодно. А я у них батрак! Но довольно! Скоро я им спою: «Прощайте, ласковые взоры!..» В Москву, в Москву! Не хуже чеховских сестер, хочу в Москву. Вырвусь и на всех наплюю: на жену, на тестя, на редактора и даже на милого Лубкова! Кроме тебя, конечно. Тебя — с собой! Мы на пару. Рука об руку — в большую литературу! Ведь только там, в столице, можно по-настоящему развить ум и талант. Правда? Или ты не согласен со мной?

— Не согласен.— Ершов выпрямился, сосредоточенно посмотрел на Жихарева.— Не согласен! — И резко махнул рукой.

— Ну, ты в этих вопросах еще новичок! После поймешь. Мы не сразу в Москву. Начнем с области. О книжке, которую я тебе дал, в «Литературном обозрении» напечатали хорошую рецензию. Ты думаешь, прямо так и напечатали? Дружок у меня в Москве, вместе учились, вот он и написал. Скоро будет и вторая! А две книжки — это уже капитал! У меня теперь забота: издать твои стихи. Издадим! — уверенно воскликнул Жихарев.— Завтра мы повергнем в изумление редактора альманаха товарища Лубкова. Ты его не знаешь? Занятная личность! Отчаянный любитель открывать таланты. Он в тебя обязательно вцепится как клещ! Образования у него маловато. Выдвиженец из рабочих. Но чутья не лишен. И если ты ему по-

нравишься — это все! С ним в издательстве и даже в обкоме партии считаются. И надо правду сказать, в литературе он кое-что смыслит.

## 2

В зале давно уже зажгли огни. За окнами посинело Обе стрелки часов, висевших над входом в ресторан, подвигались к римской цифре XI.

Жихарев и Ершов пили, ели, разговаривали. О чём они только не переговорили! И о науке, и об искусстве, и о театре. Впрочем, говорил больше Жихарев. Обо всем он имел смелые, оригинальные суждения, во всех вопросах разбирался со знанием дела.

Ершов слушал, и ему становилось завидно. Как много человек знает! «Учиться мне надо, учиться! Опять поступлю на заочное отделение в университет».

И еще его поразил безграничный аппетит Жихарева, уничтожавшего все, что подавала Варя. Принимаясь за вторую порцию индейки, Георгий с воодушевлением продолжал:

— Гульнем как следует сегодня! Чтобы пыль столбом и дым коромыслом! Ты пей, Алеша! Чего стесняешься! У меня, друг, истинно русская душа! Уж если пить, так пить, если есть, так есть! Люблю я весело пожить! «Веселие Руси — пити!» Замечательно сказано князем Владимиром. Вообще, Алеша, запомни: талантливый человек обязательно должен любить женщин, жрать во всю утробу и тому подобное. У Гёте был волчий аппетит, он любил за всю жизнь с полсотни женщин! А о нашем Пушкине и говорить нечего. Зато какие стихи писал! «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...» А Лев Толстой! Читал его «Дьявола»? Это же автобиографично!

Ершов сурово остановил его:

— Позволь! Гёте, Пушкин, Толстой — гении! Как ты смеешь?

— Гении, верно,— охотно согласился Жихарев.— Но и человеки! Такие же, как мы с тобой.

— Нет, не такие! — грозно возразил Ершов, с силой пристукнув ладонью по столу, так что с тихим звоном шевельнулись тарелки.— Врешь, сучий сын! И не смей говорить гадости о великих людях, в последний раз предупреждаю.— И встал во весь рост.

Брови Жихарева удивленно поползли вверх. «Пьянеет мой Алешенька!» — сообразил он и задушевно, мягким тоном, торопливо произнес:

— Ну конечно! Если взять с литературной точки зрения — мы с тобой козявки против них!

Ершов сел, с трудом сдерживая вспышку гнева, не сводя с приятеля испытующего, почти враждебного взгляда своих иссиня-голубых глаз:

— И опять неверно говоришь: не козявки! Мы тоже люди!

— Оставим классиков в покое,— примирительно и потихоньку проговорил Жихарев, почуяв, что в пьяном виде Ершов может оказаться куда строптивей и боевей, нежели в трезвом.— Мы о чем говорили? О том, что будем гулять! Вот и вся наша философия на сегодняшний день.— Некоторое время он молча и старательно ел индейку, яростно грызя кость, которую держал обеими руками, засучив немного рукава. Разделавшись с индейкой, добродушно сказал: — Ты не думай обо мне плохо, Алеша! Не будь моралистом, вроде нашего редактора, который кичится тем, что совсем непьющий.— Жихарев, приподняв указательный палец, вполголоса предупредил: — Впрочем, хорошо думать обо мне тоже остерегись! Откровенно предупреждаю. Фрукт я сложный. Добро и зло замешено во мне в самых несуразных пропорциях. Вообще, если бы ты знал, что перед тобой за гусь, возможно, и спасать не стал! Впрочем, нет! Стал бы! Ты мужественный, цельный! Не задумываясь кинуться спасать неизвестного типа, рискуя своей жизнью... Алеша! Я искренне восхищен! И по гроб обязан...

Почти за всеми столами сидели отъезжающие и провожающие. Слышались тосты, звон рюмок и бокалов, звучное хлопанье пробок шампанского, горячие речи, споры. Между столами сновали официанты в черных пиджаках и белых манишках с черными бабочками галстуков и официантки в белых передниках и в белых беретах.

В зале стоял несмолкаемый гул человеческих голосов. И все — и люди, и этот глухой шум, и обстановка ресторана — было непривычно для Ершова, чуждо, и ему казалось, что он находится в каком-то нехорошем месте, которое нормальным людям простого труда лучше не посещать.

За окнами прогрохотал поезд, содрогая здание вокзала, и остановился, лязгнув буферами. По платформе забегали люди; через открытую большую форточку в ресторан врывался разноголосый шум, и в этом шуме истошно и одиноко вопил

звонок автотележки, видимо с трудом пробивающей себе дорогу сквозь людскую гущу.

Жихарев рассеянно посмотрел в окно, провел рукой по своим взмокшим от пота волосам, вытер лицо салфеткой, лежавшей на столе, потом протянул руку к графину.

— Может, довольно? — Ершов, начинавший ощущать колебание и неустойчивость пола и стула, на котором сидел, сумрачно посмотрел на приятеля, крепко сжал его руку.

— Что за счеты! Пей, Алеша! Однова живем! Как это в панферовских «Брусках»? Читал? — говорил Жихарев, с трудом высвобождая руку из железных пальцев друга.

— Читал, конечно.

— И черт тебя знает, чего ты только не читал! Поразительный человек! Но почему ты все молчишь?

— А что говорить? Все переговорено. Во многом глаголании несть спасения. Так считает даже наш даниловский мудрец Глеб Иваныч Бубнов. Пора нам с тобой удочки сматывать. В Даниловке все уже спят, а мы прохлаждаемся.

Несмотря на то что Ершов все время воздерживался, не всегда пил из опасения сильно запьянеть от незнакомого вина, ему становилось не по себе, язык делался каляным, неподатливым, тянуло на свежий воздух.

Жихарев с сожалением вздохнул, посмотрел на свои наручные часы.

— Да, поздновато! Можно кончать. Ладно, в другой раз... и тогда откроюсь тебе весь... до самого последнего атома. И ты узнаешь, что я за творение. Впрочем, вряд ли... Придется с этим повременить... Весь открыться смогу, наверно, не раньше, чем войду в большую литературу. Тогда мне будет ничего не страшно! Итак, на сей раз хватит! Варенька! Сколько с нас? — весело, но негромко спросил он.

Девушка подошла, вынула бумажку, стала подсчитывать. Ершов положил на стол тридцатку. Жихарев, скомкав, сунул деньги ему в верхний карман пиджака.

— Могу ли я дозволить, чтобы ты платил? Ты, который спас мою презренную жизнь от утопления? Варюша, знаешь, я чуть не того... Вот мой спаситель! Не он — быть бы тебе сиротой! Утонул бы я в какой-то паршивой заводи. Хорош конец для поэта! «И в распухнувшее тело раки черные впились!» — Жихарев встал.— Вперед, Алеша! Вальпургиева ночь только начинается! — Он подал девушке свернутую зеленоватую бумажку.— Без сдачи.

— Куда — вперед? — положив локти на стол, приглушенно, с каким-то странным придыханием спросил Ершов.

Теперь он окончательно убедился, что с каждой минутой все сильней пьянеет. Уже стены ресторана странно дрожали, как полевая даль в жаркий день, словно он видел их из окна быстро мчавшегося поезда, и лица людей за столами маячили, расплывались, как в голубом тумане.— Никуда я не пойду и никуда не поеду,— вдруг решительно отрезал он.— И насчет моих стихов — все ерунда! Ты напрасно расточал мне похвалы! Меня этим не проведешь, нет! Дождусь утра — и домой!

— Что с тобой, Алеша? — с тревожным удивлением спросил Жихарев, стоя возле своего стула.— Ты определенно того! — Он покрутил пальцем около своего потного большого лба.— Как же это можно? И почему внезапно такое решение?

— Не с чем мне идти на твой областной Парнас,— с горечью проговорил Ершов, бездумно глядя посоловевшими глазами на тарелку с недоеденной индейкой.— И все тетрадки мои — в печку, в печку! — Он вытянул свою длинную руку и стукнул кулаком по столу. Тарелки, ножи, вилки задребезжали.— Учиться мне нужно, вот что! Неуч я, Митрофанушка! Не учился, а женился, осел!

Жихарев положил свою руку на плечо Ершова, иронически скривив губы, негромко произнес:

— Понятно! Переоценил я твои возможности. Малоопытен ты и хватил лишку. Факт! Но ничего! До завтра проспишься. Во всяком случае, в Даниловку твою тебе торопиться незачем. Есть отпуск. Идем. Поговорим в другом месте.

Ершов встал, слегка качнулся, Жихарев заботливо поддержал его. Сопровождаемые веселыми взглядами пассажиров и сочувственной улыбкой Вареньки, приятели медленно направились к двери, осторожно, но не весьма удачно лавируя между столами,— оба высокие, плечистые, светловолосые.

На площади друзья остановились.

— Куда ты собирался меня вести? — покачиваясь, строго спросил Ершов.

— Не шуми! — тихо проговорил Жихарев.— Ночевать-то где-то нам с тобой надо? У меня нельзя. Тем более в таком неудобоприемлемом виде. Жена — ведьма, тесть — нильский крокодил. И они нас с тобой слопают сырьем. Определенно. Не соля и не поджаривая. Обязательно. А потому — поедем к девочкам.

— К каким таким девочкам?

— Девочки славные, молоденькие, жизнерадостные, вроде Вареньки. Неплохая ведь? Это моя симпатия. Ну и другие

не хуже. У меня с ними давнишняя дружба. Они примут нас с удовольствием и... распростертыми объятиями!

Ершов отстранился от Жихарева.

— За такие фокусы, Георгий, тебя бить надо! — погрозив пальцем, мрачно сказал он, потом обеими руками вдруг вцепился в борта пиджака приятеля.— Жену ругаешь, а сам? И меня совращаешь! Ты эту петрушку брось! Не то я тебя раньше твоего тестя по самую шляпу в землю вгоню! Вот как стукну по кумполу — и крышка тебе! Мне это очень просто. Я свинства всякого не выношу. И убирайся ты от меня ко всем чертям!

Он сердито толкнул Жихарева в грудь, выпустив из рук борта пиджака. Жихарев колыхнулся, едва устояв на ногах.

— Ты что, Алеша! — перепуганно пролепетал он.— Ты неправильно меня понял. Успокойся, пожалуйста, а то нас с тобой заберут в милицию.

— Очень даже правильно я тебя понимаю! И не пугай меня милицией. «Розовые лица, револьвер желт... Моя милиция меня бережет!» Ясно? И ступай ты к дьяволу вместе со своими девчонками. Пойду в Дом колхозника. А утром уеду. Никаких парнасов! Никаких девчонок! К черту, слышишь, к черту! — возмущенно закричал вдруг Ершов на всю площадь.

Подошел милиционер, щелкнул каблуками, взял под козырек.

— В чем дело, граждане?

— Он меня соблазняет! — покачиваясь, доверительно пробормотал Ершов, показывая на Жихарева.— А я не желаю... Ни на Парнас, ни к девкам! Никуда! Хочу в Дом колхозника.

— Помоги, Валерка! — обратился Жихарев к милиционеру, оказавшемуся знакомым ему.— Парень хороший, но немножко перебрал.

— И ничего не перебрал! — не соглашался Ершов.— Врет он! Я все вижу и все понимаю! «Моя милиция меня бережет...»

Милиционер махнул рукой в сторону вокзала. Оттуда двинулась машина, подкатила впритирку к Ершову и Жихареву.

— Прошу! — пригласил милиционер, одной рукой приоткрывая дверцу кабины, другой опять беря под козырек.

Ершов начал было упираться, но Жихарев с помощью милиционера затолкнул его в машину и рядом сел сам.

Дверца с громким стуком захлопнулась. Раздался мягкий сигнал. Машина тронулась и покатила на главную улицу города.

3

Берег не очень широкой реки. Вода серебряно блестит на солнце. Недалеко от берега плывет лодка, в ней Петр Филиппович Половнев, Жихарев и Галя. Справа луг в лазоревых, золотистых, красных цветах.

Он идет медленно и несет на руках свою жену, Наташу. На ее голове венок из белых лилий. Она обвила его шею теплыми руками, счастливо улыбается, не сводя с него глаз. Он несет жену бережно, как ребенка. Она безмерно дорога ему. Изредка поглядывает на лодку. Оттуда все трое доброжелательно следят за ним. Куда и как долго он может нести Наташу?

И вдруг: что такое? На глазах у него Наташа меняется, превращается в Галю. А Наташа оказывается в лодке и почему-то одна, ни Петра Филипповича, ни Жихарева с ней нет. Куда же они девались?

Наташа торопливо гребет двумя веслами, то и дело смотрит на него. Венок из водяных лилий упал с ее головы, он качается возле лодки, ныряет в волнах. В больших серых глазах Наташи, отчетливо видных ему, несмотря на значительное расстояние, скорбная грусть. И она шепчет, но так, что он отчетливо слышит каждое слово:

Венок потонул,  
Милый обманул...

— Дорогая Наташа! Не думай ничего плохого,— проникновенно говорит он.— Я люблю одну тебя, а Галю Половневу несу потому, что она хорошая девушка, и потому, что так надо. Я не могу иначе... Понимаешь?

Но Галя закрывает ему рот рукой.

На ней тоже венок, но не из лилий, а из васильков. И она тоже обхватила его за шею.

И ему становится не по себе. Он поворачивает голову, глядит на лодку, Наташа бросает весла, закрывает ладонями лицо, плачет. Венка нет на воде. Снова говорит Наташа сквозь слезы:

Венок потонул,  
Милый обманул...

Он ставит Галю наземь и прямо с берега прыгает к Наташе и... летит! Летит по воздуху, махая руками, словно крыльями, а Наташа быстро уплывает от него. Он кричит, чтобы она подождала, но голоса своего не слышит. Ему становится трудно дышать, руки вдруг деревенеют, и он кувырком падает вниз... Брякнулся... Темно, темно. Это смерть! И... просыпается.

У кровати, на которой он лежит, стоит девушка и внимательно смотрит на него.

— Вы очень кричали. Я решила разбудить вас.

И отошла к небольшому столику, стоявшему возле окна, в которое врывался сноп солнечных лучей.

— Вы кто? Где я? — спросил Ершов.

Незнакомая комната, незнакомая девушка, чужая кровать. Может, это все еще сон?

Девушка сказала с серьезным видом:

— Отвечать сразу на два вопроса?

— Ну конечно,— сердито проговорил Ершов.

— Я — Ольга. А вы — на моей кровати.

Ершов подтянул к подбородку пикейное голубое одеяло, привстал. Желтый крашеный пол, очень чистый. На небольшом столе, накрытом голубой бумагой, стопка книжек, над столом два портрета без рамок, пришпиленные к стенке кнопками (наверно, вырваны из какого-то журнала), — Блока, с пышной шевелюрой, и Горького, в широкополой шляпе.

Стоя у стола, девушка усмехалась. На ней светлое с цветочками платье, перехваченное в талии узким желтым ремешком. Волосы ее, цвета которых он не мог разглядеть из-за ярких солнечных лучей, зачесаны назад, длинными прядями падают на плечи. Овальное свежее лицо с веселыми и умными глазами — симпатично.

Ершов еще раз обвел комнату изучающим взглядом, как бы пытаясь угадать, не попал ли он в какую-нибудь западню, не грозит ли ему опасность. Скромная обстановка... и ничего подозрительного.

— А поточней нельзя? — насупливаясь, сказал он чуть хрипловатым басом.— Кто вы, где работаете?

— Можно и поточней,— тепло и просто проговорила девушка.— Учусь, студентка третьего курса историко-филологического факультета.

— Вот это уже несколько ясней. А почему я на вашей кровати?

— Неужели ничего не помните? — с доброй, жалеющей усмешкой удивилась девушка.— Бедняжка!

— Ровным счетом ничего не понимаю и ничего не помню.

Лицо девушки стало вдруг строгим.

— Да! Оба были хороши, но вы в особенности! — неодобрительно, тоном упрека вымолвила Ольга.— Разве так можно напиваться? С горя или с большой радости?

— Просто так, за компанию,— виновато ответил Ершов.— А по совести — с дури! Отродясь не напивался до беспамятства. Угостил меня мой друг, Жихарев. Кстати, где он?

— Домой ушел. Обещал быть часам к десяти.

— А сейчас сколько?

— Половина десятого.

— Порядочно. Дома я давно бы уж наработался.

— Кем вы работаете?

— Молотобойцем.

— Молотобойцем?

— Что же в этом удивительного?

— Жора говорил — вы поэт.

— Он маленько загнул. И потом, это же не должность — поэт!

— Но стихи вы пишете?

— Какие там стихи!

— Есть очень недурные!

— Жихарев хвалил? Не верьте. Он склонен к гиперболам.

— Молотобоец, а такие слова знаете.

— Молотобоец, но со средним образованием!

— Со средним? А почему дальше не учитесь?

— Да так... сам не знаю почему. Женился... потом в армию пошел. Потом времени не стало хватать... Словом, из породы митрофанушек.

— Вам обязательно надо учиться,— деловито сказала девушка.— Вчера я слушала ваши стихи... их читал Жора. Мне многие понравились. По-моему, у вас определенно есть способности.

— Когда он читал?

— Вечером.

— Черт знает что! — с досадой воскликнул Ершов.— Даже этого не помню. Стыд и срам! — Ершов поморщился.— Извините, забыл ваше имя.

— Ольга.

— По отчеству?

— Можно без отчества.

— Слушайте, Ольга... я ничего такого... ну чего-нибудь нехорошего не натворил тут спьяну?

— Как же вы могли натворить. Из машины вас почти на руках доставили...

— На руках?!

— Сами вы не могли... еле ноги передвигали.

— Но я раздетый... Кто же раздевал?

— Жора... Он раздел и уложил... А потом читал нам ваши стихи...

Оба замолчали. Ершов сосредоточенно разглядывал потолок, откинувшись на подушку. В открытую форточку слышно было кудахтанье курицы, отдаленный грохот и лязг трамвая.

Вчера Жихарев собирался ехать к каким-то девушкам. Это запомнилось. Не забыл Ершов и того, что хотел идти в Дом колхозника. Но как оказался здесь — хоть убей, не помнил. «Это, наверно, и есть одна их тех девушек».

— А где же вы сами спали? — спросил он после продолжительной паузы и почувствовал, что краснеет.

— В другой комнате,— ответила Ольга.

— Как же вы там... наверно, на полу?

— Зачем на полу? На раскладушке.

Ершов облегченно вздохнул.

— Зачем же вы? — помолчав, смущенно сказал он.— Лучше бы меня на раскладушку. Мне бы все равно.

Ольга насмешливо взглянула на него, улыбнулась.

— Разве вы вместитесь на раскладушке? Да и не выдержала бы она вас. Вон вы какой!

— Какой?

— Громадный. С Петра Первого.

— Который в сквере?

Ершов иронически скривил губы. Это была попытка пошутить. Он начал немного приходить в себя, успокаиваться. Кажется, все обошлось благополучно, никаких непотребных глупостей, похоже, он не сотворил, кроме того, что был свински пьян.

Ольга приняла его шутку и засмеялась, обнажив чудесной белизны красивые мелкие зубы. «Она славная... такая не может быть скверной!» — подумал Ершов. Ему очень понравился смех девушки — открытый, чистый, и глаза у нее добрые и умные.

— Немного поменьше,— сквозь смех вымолвила Ольга.— По правде сказать — я первого такого встречаю, как вы. В университете у нас один ростом с вас, но худой. А вы — прямо Илья Муромец!

— Велика Федора, да дура,— с чувством искренней са-

мокритичности проговорил Ершов.— Пушкин был небольшого роста, а гениален.

— А Маяковский? Федоры тоже разные бывают. Вы вот что, товарищ Федора, давайте-ка вставать. Одевайтесь, обувайтесь, будем чай пить. Вон ваша одежда, обувь,— она указала на стул, на котором висел пиджак Ершова, и под кровать — очевидно, там были ботинки.— Я сейчас выйду,— заметив его недоумевающий взгляд, добавила Ольга.

Она вышла. Ершов поспешно оделся, обулся. Самочувствие у него было прескверное. Во рту нехорошо, руки дрожат. Когда наклонился за ботинками — закружилась голова. Такого тяжелого похмелья за свою, не очень, правда, долгую жизнь он не испытывал. «Идиот! Законченный двухсотпроцентный идиот! — ругал он себя.— Надо же было так нализаться! А все Жихарев этот!»

Ольга принесла бутылку нарзана и стакан.

— Говорят, нарзан с похмелья — хорошо,— сказала она.

Ершов поблагодарил и выпил половину бутылки. Затем девушка провела его в ванную — малюсенькую комнату с эмалированной чистой ванной, с душем, показала, как пользоваться водой.

После душа стало гораздо легче, в голове посветлело, пропало дрожание рук. Освеженный, повеселевший, он вернулся в комнату. На столе стояла сковородка с яичницей.

Ершову есть не хотелось, однако, опасаясь обидеть девушку, он подсел к столу, и они вдвоем стали завтракать. Ему все еще было как-то неловко. Вчера и не подозревал о существовании этой самой Ольги, а сегодня сидит с ней рядом и ест яичницу, приготовленную ею. Они ведь, собственно, и не познакомились как следует. Тем не менее она назвала однажды его по имени-отчеству. Вероятно, узнала от Жихарева.

— Если вы — Ольга, то меня тоже зовите просто Алешей! — поправил он ее.

— Хорошо,— легко и просто согласилась Ольга.

Пока завтракали, она рассказала ему, что в этом трехкомнатном флигельке, принадлежащем пенсионеру — старому агроному, живут одни студентки и платят по тридцать рублей в месяц. Все учатся в университете, все из районов области. Одна из них — сирота — учится заочно и работает в ресторане вокзала. С каждого дежурства она приносит подругам дешевые обеды или ужины — смотря по тому, когда дежурит — в вечернюю или дневную смену. Она очень славная

и невероятно добрая. Может отдать последний кусок хлеба, последнее платье.

— Вы видели ее в ресторане.

— Варя? — догадался Ершов.

Ольга кивнула.

— Она. Жора неравнодушен к ней, вернее, влюблен. Кушайте, пожалуйста, не стесняйтесь.

— Спасибо, я уже сыт,— сказал Ершов.— А где же ваши подруги? Что-то никого не видно и не слышно.

— Ушли на лекции, а Варя спит в другой комнате. Она дежурила до двух ночи.

— А вы почему не на лекции?

— Пропущу сегодня.

— Из-за меня?

— Отчасти. Неважно! Девочки запишут. Сегодня с утра лекция неинтересная. Доцент один... будет жвачку жевать. Он ее жует лет десять. Все одно и то же. Страшно скучно.

— О чем?

— Литература девятнадцатого века.

— Такой интересный предмет и... жвачку...

— Дело не в предмете, а в человеке,— назидательно сказала Ольга.— Что же ему делать, если у него ни одной живой мысли? Говорит, как по канату идет. По писаному и то боится... как бы не попасть впросак. Все формулировки и цитаты выверены...

— Да, это скучно,— согласился Ершов.— А как там наш Травушкин? Вы его знаете?

— Еще бы не знать! Но почему он ваш?

— Из нашего села. Помню, я мальчишкой еще был, а он из школы, бывало, идет с книгами. Ни на кого не смотрит, с девчатами и ребятами не знался. Говорили, что читал много. Уже тогда прослыл в селе ученым.

— О да! — оживленно воскликнула Ольга.— Он и в самом деле ученый. Уйма знаний. Вот его слушать — интересно. На его лекции даже с других факультетов ходят. Он читает литературу двадцатого века.

Она стала прибирать со стола посуду. Ершов попросил разрешения закурить, свернул по привычке цигарку, насыпал ее махоркой, но, вспомнив совет Жихарева — курить в городе только папиросы, смял вертушку, сунул ее в карман.

— Что же вы не курите? — спросила Ольга.

— Раздумал,— ответил Ершов.

После продолжительного молчания Ольга снова задала ему вопрос:

— Вы частенько выпиваете?
— А что?
— Хочу знать.
— Нет, не часто, при случае. Когда же мне выпивать? Круглый год в работе. С непривычки, наверно, я и запьянел вчера. А почему вы спрашиваете?
— Видите ли... Жора говорит, вы талантливы. Да и у меня такое впечатление... извините, я вечером смотрела ваши тетрадки. Может, нельзя было?
— Почему же! Пожалуйста.
— Так вот, Жора собирается перетащить вас в город. Ну, я и подумала: не пропали бы вы тут. Среди писателей и журналистов есть богемствующие. Втянут они вас в свою компанию... а вы человек неискушенный... Да и сам Жора для вас небезопасен... это между нами, конечно, без передачи.
— Не быть мне в городе, успокойтесь,— холодновато оборвал ее Ершов.— И потом, если один раз вы меня увидели в таком состоянии — это ничего не доказывает.
— Вы обиделись?
— Не имею права.
— Может, я злоупотребляю положением хозяйки?
— Не замечаю.
— Ну ладно. Вижу, недовольны. Оставим этот разговор.
На пороге появился Жихарев:
— Живой, Алеша?
Он поздоровался за руку с Ершовым и Ольгой.
— Идем скорей. Договорился с редактором, хочет познакомиться с тобой.
— С каким редактором!
— Нашей газеты.
— Зачем?
— Надо, Алеша, надо.

---

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### 1

В помещение редакции Ершов входил с таким чувством, с каким верующий входит в храм. Здесь делается газета, здесь работают умные, образованные люди, по сравнению

с которыми он, Ершов, малограмотный недоучка. Чудилось: даже стены, воздух пропитаны тут особенной торжественностью, настраивают на возвышенный лад. Но для Жихарева помещение газеты, вероятно, было чем-то обыденным, привычным. Он смело вошел в него, молча проследовал мимо женщины-швейцара, даже не взглянув на нее. В приемной редактора развязно и шутливо раскланялся с девушкой-секретаршей.

— Опоздали,— сказала девушка.— Уехал... Обещал быть через полчаса.

— Подождем под дождем! — весело произнес Жихарев.— Мы посидим там? — кивнул он на дверь кабинета.

— Пожалуйста, только как бы мне не попало. Он — строгий!

— Ничего, Сонечка, сошлись на мое нахальство.

Когда они вошли в кабинет, Жихарев приказал:

— Садись и читай газеты,— и дал ему «Правду», лежавшую на столе, а себе взял «Известия», располагаясь в редакторском кресле.

Минут десять они сидели молча, углубившись в чтение. Редактор не появлялся. Ершов отложил газету в сторону, спросил:

— Зачем ты все-таки привел меня сюда?

— Как зачем? Насчет работы... Стихи твои предложим.

— Какой работы?

— Вчера я подробнейшим образом излагал тебе свой план.

— Не помню.

— Жаль! Могу повторить. План сколь серьезен, столь и прост: мы с тобой сообща идем в литературу... пробиваемся в Москву. Но это нелегко, поэтому наш город должен стать для нас как бы трамплином. Вот я и хочу устроить тебя на работу в газету. Здесь мы атакуем Союз писателей, издательство, печатаем стихи в альманахе, издаем сборники, вступаем в члены союза. И так далее. Что касается газеты, то она по вопросам литературы будет в наших руках. Понятно?

— Нет. Помню, ты говорил, что познакомишь меня с писателями, с редактором альманаха, а о работе в газете и речи будто не было.

— Тогда кто-то из нас с тобой был зело на взводе! Скорей всего, не я, поскольку не ты меня привез с вокзала и укладывал в постель, а я тебя. Был, Алешенька, был такой разговор, и ты не возражал. А сегодня я договорился с редактором. Вот мы и пришли.

— Напрасно пришли,— угрюмо сказал Ершов.— Ну какой из меня газетчик?

— Ты что же, хочешь киснуть в своей Даниловке?

— Да, хочу киснуть в своей Даниловке.

— Ну и осел!

— Пускай. Но никуда я не желаю: ни в наш город, ни в Москву.

— Ты форменный идиот, Алешенька!

— Правильно! — согласился Ершов.— Но что могут осел и идиот делать в газете?

— Да какое ты имеешь право так говорить и думать? — возмутился Жихарев, покидая редакторское кресло.— Ты — талант, понимаешь — талант!

— Совершенно верно: талантливый осел и идиот! — заметил Ершов.

— А раз талант — ты себе не принадлежишь,— не обращая внимания на его реплику, продолжал Жихарев.— Ты не можешь делать, что тебе вздумается, и жить там, где нравится. Талант обязывает человека всю жизнь свою подчинить одному: созданию условий, благоприятствующих развитию и росту...

Став против Ершова в позу заправского оратора, Жихарев жарил как по писаному, размахивал руками, хмурил брови, говорил громко, словно перед ним была целая аудитория. Ершов терпеливо слушал. Поэт, писатель должны жить в Москве, Ленинграде. Там большая культура, там все условия для роста и развития.

Но договорить Жихареву не удалось: вошел редактор. Оборвав свою речь, Жихарев стал извиняться за вторжение в кабинет.

Редактор суховато сказал:

— Ничего. Садитесь. Я вас слушаю.

Жихарев, не садясь, сделал широкий жест рукой:

— Поэт Ершов, о котором я говорил вам по телефону. Огромный талант! Черноземная сила! Новый Кольцов. Кстати, и звать Алексей Васильевич. Символическое совпадение. Вот смотрите! — он вынул из своего желтого портфеля одну из тетрадок Ершова, положил ее перед редактором.— Исключительные стихи! Ничего подобного в последнее время я не читал ни в одном журнале, не говоря о нашем альманахе. Прекрасная лирика новой колхозной деревни.— Он вдруг схватил тетрадь, раскрыл ее и стал декламировать, словно выступая со сцены, нараспев скандируя слова, голосом подчеркивая важные по смыслу места:

Смяв перезвон ручьев и крик грача,
Большое эхо прокатилось гулко.
Из тракторного парка, грохоча,
Высокий «Интер» шел по переулку.
И, словно ранней радуясь весне,
Стучал мотор размеренно и четко,
И грузно мяла отсыревший снег
Его колес тяжелая походка.
И тракторист, что стиснул руль в руке,
Порой на путь смотрел из-под ладони.
А на машины рев невдалеке
Веселым ржаньем отзывались кони.

Дочитав одно стихотворение, Жихарев начал другое. Ершов сидел как на угольях. Сравнение с Кольцовым, слова «огромный талант», декламация — все это совершенно не соответствовало тому, что он сам о себе думал, как представлял встречу с редактором газеты. И он совсем растерялся.

— Хорошие стихи,— серьезно проговорил редактор, когда Жихарев закончил читать третье стихотворение.— Ну что же, сдавайте в очередной номер.

— Федор Федорович,— лицо Жихарева приняло вдруг выражение официальной важности и даже какой-то напыщенности,— по-моему, их надо дать подборкой на полполосы. Небольшое предисловие петитом. Напишу сам. Его портрет,— Жихарев небрежно кивнул на Ершова.— И строк двести стихов. Чтоб у читателя создалось более или менее полное представление. И получится замечательно! Мы с вами выдвигаем нового поэта!

— Не возражаю,— улыбнулся редактор.— А как Стебалов?

— Разрешите? — промолвил Ершов, бурно краснея.

— Погоди, Алеша! — нетерпеливо отмахнулся от него Жихарев.

— Подготовьте побыстрей и сдайте,— сказал редактор, обращаясь к Жихареву.— Обязательно покажите Стебалову. А с вами, товарищ Ершов, давайте поговорим попозже. Извините, сейчас недосуг. Видите — гранки.

— А насчет работы как? — поспешно задал вопрос Жихарев.

— В вашем отделе есть место литсотрудника. Вот и возьмите. Скажите Александру Степановичу, что я не возражаю. Пусть оформит все как полагается.

— Благодарим, Федор Федорович, большое спасибо! — сказал Жихарев, беря Ершова под руку.— Пошли, Алеша.

Так Ершов и не успел ни сказать что-либо, ни возра-

зить, ни даже условиться с редактором, когда зайти для разговора. Жихарев с силой тащил его по коридору.

— Сам позвоню после. Успеешь. Исключительная удача нам с тобой сегодня. Редактор, видать, в духе. А здорово я его. Быстрота и натиск! Но в подобных случаях рекомендуется в кабинете не задерживаться, пока редактору не почудилось что-нибудь сомнительное...

Пнув ногой дверь, он ввел Ершова в большую светлую комнату.

— Приказ Федора Федоровича: заснять немедленно! — Обеими руками Жихарев грубовато подтолкнул Ершова к бледному длиннолицему молодому человеку, сидевшему за столом, заваленным фотоснимками.— В завтрашний номер.

Молодой человек встал, посадил Ершова на стул и, наведя на него фотоаппарат, стоявший на треноге, щелкнул и раз, и два.

— Есть,— тихо сказал он и снова сел за стол.— К трем часам будет готово.

Затем Жихарев и Ершов отнесли тетрадку стихов в машинописное бюро, и там Жихарев, поставив крестики над стихами, которые надо перепечатать, попросил тоже не задержать. Так, без каких-либо помех, было оформлено появление в свет нового поэта.

## 2

На углу перед киоском стояла очередь за свежими газетами. Ершов пристроился сзади. Купив областную, развернул ее. На второй полосе «подвалом» был напечатан очерк Жихарева «Галина Половнева», а большую часть третьей занимали стихи Ершова с его портретом и краткой биографией. С газетной полосы смотрел малознакомый молодой человек с длинным носом и небольшими усиками. Волосы около ушей и надо лбом слегка кудрявились.

«И это я?»

Став сбоку киоска, Ершов залпом прочитал стихи. «Неужели это я написал! Будто неплохо!»

Какая радость! Теперь их прочтут десятки тысяч.

Очерк о Половневой читал на ходу. «Вот, Галка, рядом мы с тобой. Жаль, твоего портрета почему-то не поместили».

Галину Жихарев расхвалил до приторности, а в конце даже упомянул, что у нее замечательный голос. Очерк не понравился Ершову, но все же было приятно. Шутка ли — два человека из колхоза «Светлый путь» в одном номере! Не каждый день такое случается.

Бережно сложил листы, спрятал в карман пиджака и, вернувшись к киоску, попросил пятнадцать штук, удивив продавца. И опять зашагал по улице. Поравнявшись с домом, в котором помещалась редакция, хотел зайти поблагодарить Жихарева. Но в вестибюле остановился, внезапно охваченный сомнением: сейчас его обступят незнакомые журналисты, начнут расспрашивать, поздравлять... Жихарев потащит по комнатам: «Огромный талант! Второй Кольцов!»

И снова — на улицу. Тут ему вольготней переживать такое сногсшибательное событие. Побродив с полчаса и немного успокоившись, зашел в кафе, сел за свободный столик. И все думал: что же такое произошло? Хорошее или плохое?

Чтоб не занимать зря место, заказал стакан кофе. Пока подавали, опять перечитал свои напечатанные стихи. Теперь уже они не так нравились, как при первом чтении. Кроме того, среди них было два довольно слабых. Их еще зимой раскритиковал сам Жихарев. Почему же рекомендовал теперь? Забыл о своем зимнем письме? И вдруг Ершова озарила убийственная догадка — да ведь Жихареву безразлично, какие стихи печатать, во всей этой истории он преследует какую-то свою цель.

Инстинктивная неприязнь к Жихареву затеплилась в душе маленькой, еле заметной искоркой. «Мы с тобой вместе пойдем в большую литературу. Я и ты... А наш город — это трамплин!»

Нет, не так, не так должно идти в литературу.

Теперь и поездка в город, и встречи с писателями, редакторами (вчера Жихарев водил его в Союз писателей и в редакцию альманаха), и появление стихов в газете — все представилось чем-то фальшивым, нереальным, таким, чего не должно было быть. «Это все, все — блат, устроенный Жихаревым. Но так нельзя. Не тот, неверный путь!»

Через час Ершов был у летней кассы вокзала. «Домой, домой!»

Но когда с билетом в руке, опустив задумчиво голову, медленно брел к перрону, его остановил Жихарев:

— Алеша! Что с тобой? Почему такой мрачный? Куда ты?

— На кудыкину гору,— донельзя пораженный появлением Жихарева, недружелюбно ответил Ершов.

— Где же такая гора?

— Отсюда не видать! — буркнул Ершов, не меняя тона и пытаясь обойти друга.— Не задерживайте, а то опоздаю к поезду.

— Батюшки! Он сошел с ума! Литстраницу сегодняшнюю видел?

Ершов молча показал пачку газет.

— Недоволен? — удивился Жихарев.

— Оставьте меня в покое! — с раздражением повысил голос Ершов, пытаясь обойти Жихарева сбоку.

Вокруг них толпились пассажиры, идущие с платформы и на платформу с чемоданами, мешками, корзинами. Сквозь решетку перрона видно было, как атакуют пригородный поезд десятки людей. Пыхтел паровоз, медленно двигавшийся к переднему вагону. Из трубы валил густой зеленоватый дым, пахнущий серой. Репродуктор, заглушая привокзальный шум мелодичным басом Левитана, передавал воинственную речь Черчилля в парламенте о том, что Англия будет сражаться до полного сокрушения Гитлера.

Жихарев решительно схватил Ершова под руку и насильно оттащил в сторону на свободное от публики место.

— Ни черта не понимаю, Алеша! — громко и сердито заговорил он.— Ты рассердился? На «вы» меня называешь. В чем дело? Что я тебе плохого сделал? Объяснись, пожалуйста!

— И так ясно. Нечего мне тут околачиваться,— отчужденно и холодно сказал Ершов, отворачивая лицо.

— Ну не дурак ли! Ему нечего тут околачиваться! — с негодованием вскрикнул Жихарев.— Ты просто шизофреник, Алеша! — добавил он тоном пониже и рассмеялся.— Ты почему бежишь? Испугался славы, удачи? О деревенщина! Но это даже интересно. Лишнее доказательство твоей талантливости и даже, пожалуй, гениальности. По теории Ломброзо все гении — психически неуравновешенные и ненормальные люди. На тебе эта теория полностью подтверждается. Разве нормальный мог бы так? Ну чего, спрашивается, ты надулся? Все же идет прекрасно, как по нотам! Стихи напечатаны, на субботу назначено обсуждение. В Союзе писателей гул. Все приветствуют появление нового таланта, а он смотал удочки и — драла! И не случись я тут — уехал бы. Это же ни на что не похоже! Впрочем, возможно, из дому нехорошие вести? Ну говори, чего же ты молчишь?!

— Нельзя же сразу двоим говорить,— глухо отозвался Ершов, начинавший понемногу понимать, что с отъездом у него вышло как-то поспешно и нелепо.— Вообще, напрасно ты эту канитель затеял. Печатание, обсуждение и тому подобное. Сам же писал мне по зиме, что стихи мои слабы, неоригинальны.

— Вот оно что! — присвистнул Жихарев.— Обиделся... Так я — человек! Разве я не могу ошибиться, а потом пересмотреть свою ошибку и исправить ее? Ты брось дурака валять, некрасиво же получается. Обсуждение-то уже назначено. Что же, его без тебя проводить? Пойдем-ка лучше в буфет, отметим твое восшествие на Парнас. На меня тебе серчать нельзя. Кроме добра и всяческого успеха — ничего тебе не желаю. Чемодан твой где?

— У девушек остался. Забыл я его,— флегматично ответил Ершов.

— Какое поспешное бегство! И все это — на почве гипертрофии скромности. Однако скромность не всегда уместна. Она украшает того, кто добился славы, известности. Мы же с тобой — начинающие. Если скромничать — нас никто и знать не будет. Мы обязаны шуметь, кричать о себе, бороться за свои таланты! Ну, пошли в кассу, сдадим твой билет — и в ресторан!

## 3

А в субботу в зале клуба журналистов состоялось обсуждение творчества Ершова (в афише так и было написано: «творчества»). Присутствовало человек восемьдесят — писатели, поэты, журналисты, преподаватели вузов, студенты. На небольшой сцене за длинным столом, накрытым малиновой плюшевой скатертью, находился президиум из представителей Союза писателей, горкома комсомола, альманаха. Газету представлял заведующий отделом культуры Стебалов. И все — и в зале, и в президиуме — были люди незнакомые Ершову, исключая редактора альманаха Лубкова, который прочитал перед этим все тетрадки, отобрал, что читать на вечере, и часа два беседовал с ним о недостатках стихов и был теперь председателем собрания.

Жихарев же сидел в первом ряду с видом постороннего зрителя.

Ершов выступал с трибуны. Стихи он читал наизусть и очень волновался. Сердце его гулко и напряженно стучало, сочный басистый голос звучал несколько однотонно, не повышаясь даже в патетических местах. И Жихарев нервничал: Алеша так великолепно читал ему стихи Кольцова, Некрасова, Лермонтова, Блока, Маяковского (Ершов знал уйму стихов на память), а свои мямлит. Искренне хотелось, чтобы его «выдвиженец» произвел наивыгоднейшее впечатление, «блеснул».

Однако опасения Жихарева были напрасны: стихи Ершова аудитория приняла хорошо.

Лубков, открывая собрание, предупредил, что предстоит не отделение концерта, не парадное представление поэта, а деловой разговор. Следовательно, надо внимательно выслушать, потом обсудить прочитанное, чтобы помочь поэту понять и положительные стороны и недостатки его стихов.

Невзирая на такое предупреждение, почти всякий раз, когда Ершов заканчивал читать, раздавались дружные, шумные рукоплескания, вгонявшие автора в пот и краску.

Обсуждение было доброжелательным. Большинство выступавших говорили, что стихи им понравились и по форме и по содержанию. Но некоторые указывали и на недостатки: на глагольные рифмы, на неудачные слова, на неуместное скопление свистящих и шипящих звуков в строчках.

Против стихов Ершова решительно выступил только писатель Рославлев, человек средних лет, в сером отутюженном костюме, с длинными, чуть не до плеч, волосами цвета просяной соломы, с припухлым носом. Он не разделял общего восхищения стихами молодого человека. Стихи, мягко выражаясь, средние. В наш век всеобщей грамотности при известной усидчивости любой окончивший среднюю школу может сочинить подобные. И решительно восстал против тех, кто провозглашает Ершова поэтом, да еще и талантливым. Не надо бросаться словами, товарищи! Что такое поэт и что такое талант?

— Я сам в молодости сочинял стихи,— доверительно улыбнулся Рославлев.— И меня считали поэтом, и талантливым. Я выпустил даже несколько сборников своих стихов. Но когда повзрослел, понял, что я не поэт. А между тем с точки зрения литературной техники у меня были стихи куда лучше услышанных нами сегодня. Все, что здесь происходит, я отношу прежде всего на счет чрезмерной доброты нашего уважаемого редактора альманаха товарища Лубкова. Известна его нетребовательность и слабость к начинающим. Десяток стихотворений — и уже поэт! Но это еще полбеды: страницы альманаха краснеть не умеют, они выдерживали и не такие опусы. Беда в том, что деревенского парня хотят вовсе сбить с толку. Я слыхал, что Лубков и другие слишком ретивые меценаты и поклонники юных талантов намерены перетащить товарища в город. Спрашивается: зачем? Чтобы увеличить количество неудачников? Я считаю и убежден, что не следует и даже вредно толкать Ершова на такой гиблый путь. Переезд в город оторвет его от родной

стихии, от почвы, взрастившей его. Пусть он живет в деревне и работает в колхозе. И пусть потихоньку пишет, присылает нам. Посмотрим, может, со временем у него что-нибудь и получится. А пока лично я не вижу и не нахожу в его стихах ничего выдающегося, ничего такого, что давало бы нам право ломать жизнь молодого человека.

После выступления Рославлева уже не столько говорили о стихах Ершова, сколько возражали против отрицания его талантливости. У Рославлева нашлись сторонники. Они самоотверженно старались отстоять его точку зрения. Выступил и Андрей Травушкин. Он согласился, что Ершову не следует покидать колхоз, дабы не оторваться от жизни, но все же признал в земляке и «некоторые способности». А в заключение подверг два стихотворения сокрушительному разносу, как «технически не сделанные».

Андрей Травушкин был немного ниже среднего роста, лицо у него круглое, с непомерно большим лбом и острым подбородком. Волосы тоже длинные, как и у Рославлева, цвета поджаренного хлеба, зачесаны назад. Он имел приятный, звучный голос и говорил четкими закругленными фразами. Казалось, каждое слово его продумано и взвешено. И пока Травушкин говорил, Ершов соглашался с ним, так же как и с Рославлевым. Но вдруг он вспомнил: Андрей Травушкин собирается жениться на Гале Половневой — и тогда и речь его и весь он сам вызвали в Ершове неприязненное чувство. Хотелось сказать ему что-нибудь резкое, обидное, но сдержался. «Не место и не время сводить с ним счеты тут!» — подумал Ершов.

Выступлением Травушкина прения были закончены. Лубков дал слово автору.

— Что я могу сказать? — смущенно проговорил Ершов, поднявшись (он сидел в первом ряду вместе с Жихаревым).— Спасибо за внимание. А стихи мои верно слабые, сам чувствую и вполне согласен с товарищем Рославлевым и другими. И насчет переезда в город товарищ Рославлев, по-моему, прав. Учиться мне нужно — это да! Но учиться можно теперь и в деревне.

В заключительном слове Лубков обрушился на Рославлева, обвинив его в равнодушии и бюрократическом подходе к талантливым людям.

— Товарищ Рославлев советует Ершову оставаться в деревне и потихоньку писать. Во-первых, почему потихоньку? Ершову надо писать не потихоньку, а во всю мощь своих сил. Такие речи не поднимают творческую энергию, а угаша-

ют ее. Да, да! Угашают! Яркое подтверждение тому — слова самого Ершова, который соглашается с Рославлевым. Во-вторых, почему Ершову не переехать в город? Оторвется от почвы? А разве в городе нет никакой почвы? Разве в городе меньше условий для роста и связи поэта с современностью? Я порекомендовал бы самому товарищу Рославлеву, который так рьяно печется о связи Ершова с жизнью, поехать в село и годика два-три поработать там молотобойцем, например, как Ершов. Рославлеву это было бы полезно. Он ведь отродясь не жил в деревне и физическим трудом никогда не занимался. Посмотрели бы мы тогда, много ли он написал бы.

И дальше Лубков говорил о том, что профессиональное разделение труда у нас играет большую прогрессивную роль и долго еще будет играть, что в наше время надо быть хорошим специалистом своего дела, много знать, а знания даются не только образованием. Писатель, поэт должны много читать. На чтение требуется время. А где его взять человеку, работающему молотобойцем? Товарищу Ершову обязательно следует перебраться в город. Тут литературная среда, больше возможностей для роста и учебы.

— Что касается сомнений в талантливости Ершова, то я уверен, что Рославлева постигнет участь критика первой книжки Байрона. Этот критик написал, что Байрон не имеет дарования, и советовал ему бросить писать стихи. Прочтя такой отзыв, Байрон в своем дневнике записал приблизительно так: «Я докажу, кто из нас более даровит». Как известно, Байрон превосходно доказал это. Надеюсь и уверен, что товарищ Ершов со временем тоже трудами своими докажет, что все сомневающиеся в его способностях ошибались.

Эти слова Лубкова были поддержаны аплодисментами и возгласами:

— Правильно!

Через два дня после этого вечера Ершов покинул город. В кармане пиджака у него лежали документы об откомандировании его в распоряжение обкома партии и о принятии на работу литсотрудником в областную газету. Кроме того, он вез пачку денег — семьсот рублей с лишним — гонорар за стихи.

Ершов знал, что и документы и гонорар, выданный раньше срока, выхлопотал Жихарев, и не мог понять, то ли благодарить его, то ли ругаться с ним.

А в ушах еще долго звучали его наказы: «Смотри же, будь умником, а не принцем Датским. Без колебаний чтоб! В конце недели жду тебя!»

# ГЛАВА ВОСЬМАЯ

## 1

Когда Галя, встретившись с ним в сенях, отвернулась от него, даже не поздоровавшись, Илья совсем растерялся и расстроился. Молча шагал он тот раз за Васей Половневым и Огоньковым в тракторную бригаду, ничего не видя и не слыша, запоздало соображая, что надо бы остановить Галю и заставить выслушать его. Так бы, наверно, и сделал, но постеснялся не вовремя подоспевших друзей. А зря постеснялся. Именно при них-то и следовало все объяснить, как было дело. А теперь — всё! Галя не только встречаться не захочет, разговаривать с ним не станет. Вот что натворил проклятый Огоньков!

А на третий день вечером возвратившийся из Даниловки Миша Плугов отозвал Илью в сторонку и рассказал такое, от чего у Ильи потемнело в глазах: будто приехал из города Андрей Травушкин и посватался к Гале и будто Галя дала согласие. Осенью сыграют свадьбу, и Галя уедет к мужу в город. Все это Миша узнал из разговора женщин, подслушанного им возле колхозной кладовой.

Ни слова не говоря, Крутояров медленно, пошатываясь как пьяный, пошел прочь от стана. Глядя ему вслед, Миша подумал: «Эх, напрасно я сказал!»

Стало нестерпимо жалко Илью. Миша знал, что Илья считался женихом Гали, чистосердечно сочувствовал ему. И хотелось, чтобы Андрей Травушкин, которого он теперь возненавидел, остался с носом. Поэтому и поспешил сообщить о слышанном. Может быть, Илья как-нибудь расстроит сватовство Травушкиных.

Он догнал Илью, горячими цепкими пальцами схватил его за руку.

— Илюша! Илья Родионыч! Не серчай, пожалуйста! — виновато просил Миша, оглядываясь на костер, вокруг которого стояли ребята и девушки и над чем-то или над кем-то громко смеялись.— Может, это и неправда.

— Я на тебя не сержусь,— глухо молвил Илья.— Наоборот — спасибо, что сказал. Ты тут при чем же! Иди к костру... и ничего никому не говори. Если не вернусь — поработаешь на моем тракторе...

Мише стало не по себе. Почему «не вернусь»? Что такое

задумал Илья? Куда пошел? Ведь ночь уже. Вот она какая бывает, любовь!

Миша читал и слышал: от большой, но незадачливой любви, случается, люди накладывают на себе руки. Он бегом метнулся на стан и, оттащив Васю Половнева от костра, захлебываясь, торопливо рассказал обо всем. Вася кинулся на дорогу.

— Илья! — кричал он.

Миша не отставал от него. Оба молчали, прислушиваясь.

Ни звука. Было очень темно. По сторонам грейдера лежала черная как уголь земля. Звезды мигали беспокойно, тревожно. Луна еще не всходила.

Вася присел, чтобы лучше видеть, Миша тоже.

— Не видать? — спросил Вася.

— Не видать,— удрученно вздохнул Миша.— Куда же он девался? Сейчас же мы с ним тут вот стояли.

— Наверно, в Даниловку подался,— заключил Половнев.— Психанул.

— А вдруг он над собой чего-нибудь сделает? — робко предположил Миша.

— Не сделает! — уверенно сказал Вася.— Узнает, что там такое, и вернется. Насчет сватовства — ерунда же какая-то.

## 2

А Крутояров, пока Миша бегал за Васей, остановил проезжавший грузовик и вскоре был в Даниловке. Он попросил шофера высадить его на въезде в село и, когда сошел на землю, долго стоял в раздумье. За коим лешим его сюда принесло? Потом неторопливо двинулся в сторону изб, темневших на фоне еле брезжущей зари горбами крыш. Миновал ветряк, животноводческие фермы, кузню. Везде ни души. В окнах темно. Люди спали. Но от правления колхоза неслись девичьи голоса. Среди них Илья угадал тоненький визгливый голос Лены Бубновой. Хоровод! Может, и Галя там? Да еще, гляди, с Андрюшкой Травушкиным.

Около правления толпятся парни, девчата. Кто-то, сидя на бревнах, бренчит на балалайке. В середине круга Лена Бубнова с каким-то парнем отбивает «барыню». «Наверно, и Галя тут!»

Илья стал присматриваться. Некоторые узнавали его.

— Илюша пришел!

— Здорово, Илья!

— Сыграй-ка!

— Я без баяна,— рассеянно проговорил Илья, выискивая среди девчат Галю.

— Почему без баяна?

— Да так... проездом...

Гали в хороводе не оказалось.

Лена кончила плясать и вышла из круга. Увидев Илью, удивилась:

— Ты откуда взялся?

— А где Галя? — спросил Илья, не ответив на ее вопрос.

— Дома,— сказала Лена каким-то игривым тоном.

— А чего в хоровод не пришла?

— Не ждала, что Илья Родионыч пожалует!

— Ты не шути, говори правду,— мрачно потребовал Илья.

— Правду? — Лена вызывающе тряхнула светловолосой головой.— Можно и правду! Отгулялась Галя, отходила в хороводы, Илья Родионыч, просватали ее!

— За кого же?

— Ай не знаешь?

— Откуда мне знать.

— За Андрея Аникеича!

В голосе Лены слышалась явная издевка. Может, она подтрунивает над ним?

— Давно?

— Позавчера. Не то сами Травушкины ходили, не то сватов посылали, я уж и не знаю. Ну и просватали нашу Галюшку. А ты теперь с носом. На-кося, выкуси! Не все тебе над девчатами измываться, могут и девчата над тобой. Галя все рассказала мне, как ты над ней... Ишь, дурочек нашел! Я на ее месте тоже так бы. А что?! Чего с вами, чумазыми, вожжаться! По крайности, в городе будет жить... Муж ученый, не тебе чета. Он ее небось в шелка и бархаты укутает... Счастливая Галка! Ну чего вылупился? Кто ты такой? Тракторист! Подумаешь, шишка какая! Больно много взял на себя. Над девушками измывается... свидания назначает, а сам не приходит. Да с тобой теперь ни одна девка гулять не станет.

— Ну и не надо! Тоже мне! — грубо оборвал ее Илья.— Шелка, бархаты! Пускай! Найдем и мы по себе. Кланяйся Галине Петровне. Счастья, мол, желает Илья. Только передай, не верит он в такое счастье. За хорошим житьем погналась! Ну и катитесь вы с ней знаешь куда!

И зашагал прочь от хоровода.

## 3

Довольная впечатлением, какое произвели на Илью ее слова, Лена вскочила в круг и, пускаясь в пляс, звонким заливистым дискантом, чтобы слышал Илья, запричитала:

Я, бывало, выйду, выйду —
У ворот она стоит...
А теперь я выйду, выйду —
Ветерок один шумит!

Но Илья не слушал ее. Отойдя немного, он остановился и хотел было вернуться, спросить еще у кого-либо про Галино замужество, но чего расспрашивать! Гляди, и другие девчата на смех поднимут. То, что сказала Лена, в точности совпадает с «новостью» Миши Плугова. Об этом, наверно, уже все село гудит. Куда же ему теперь идти? На стан? Ничего хорошего его там не ждет. И там ребята скоро узнают о позоре Ильи. Да, да, о позоре. Больше года гулял с девушкой, все считали их женихом и невестой, и вдруг невеста выходит за другого. «А все из-за Федьки! Ведь он же знал, что меня ждет Галя. Приди я к Марьину дубу вовремя — ничего бы этого не произошло. Мы бы с ней договорились. Не поверю, что она польстилась на шелка и бархаты. Это она от обиды... и себе жизнь испортит и мне!»

Изба Половневых, лавочка, на которой проведено с Галей столько счастливых часов. О чем они, бывало, не переговорят за вечер! А сейчас лавочка пустая. Между тем Илья надеялся увидеть здесь Галю с Андреем Травушкиным... Он бы с ним побеседовал по душам!..

Всходила луна, поднимаясь над краем села, большая, оранжевая и неяркая, свет от нее тусклый, еле заметный. На улице какие-то мутные сумерки без теней, в которых туманно проступают очертания изб, надворных построек, верхушки ветел и акаций.

Постучась в окно, позвать Галю? Отца и мать ее разбудишь, да и не выйдет она. А скорее всего, ее дома нет,— наверно, сидят с Андрюшкой где-нибудь.

Над селом — тишина. И хоровода не слышно уже, разошлись все.

Вскоре Илья был возле растопырившего крылья ветряка. Тоскливо и одиноко стало на душе. Поступок Гали казался нелепым и диким. Может, он плохо ее знал и она совсем не такая, какой представлялась ему?

Против стоянки бригады Илья задержался. Луна теперь

холодно блестела в безоблачном небе. В ее свете отчетливо видны тракторы, сеялки, две повозки с зерном, вагончик. В вагончике товарищи Ильи, Огоньков. «Все спят спокойно. И Огоньков спит, гад!»

Каждый день Илья должен будет видеться с ним, разговаривать, спрашивать, на какой загон выезжать, докладывать о выполнении задания, подчиняться ему как бригадиру. Нет, это немыслимо. Они теперь враги на веки вечные. Никогда Илья не сможет простить ему его идиотской выходки. Да и ребята начнут подшучивать, подковыривать. «Несостоявшийся жених!» Или и того хлеще придумают что-нибудь.

И Крутояров прошел мимо своей бригады. «Скажу Ивану Федосеичу: так, мол, и так, переведите подальше от этого гада, а то я не ручаюсь за себя».

4

Утром Илья откровенно рассказал директору МТС Featured Зазнобину все, как оно было. Над тем, как Огоньков прихватил Илью в амбаре, директор посмеялся. Но, узнав, чем обернулась эта шутка, покачал бритой головой, потрогал пальцами свой большой красный нос со следами оспенных рябинок.

— Эх, молодежь, молодежь! — озабоченно вздохнул он.— Чудные вы какие-то. Огоньков, конечно, поступил глупо. Но он же пошутил. А Галя твоя? Не пришел к ней парень — и она, извольте радоваться, бросается на шею другому. Ты меня извини, Крутояров, но, на мой взгляд, такую не за что любить и не стоит она того, чтоб страдать по ней. И жалеть о такой нечего. Скажи слава богу, что так вышло. Вертихвостка, вот кто она такая! И на Огонькова ты злишься неправильно. Раз она непостоянная, то все равно у тебя с ней ничего путного не могло быть. Да еще неизвестно, была ли она сама-то у Марьина дуба.

— Была,— с угрюмой уверенностью сказал Крутояров.— Иначе зачем бы ей сердиться?

— Как зачем? Решила, что стать женой ученого лучше, чем женой тракториста. Ну и атанде на печку, Илья Родионыч! Не нужны вы нам и разговаривать с вами не желаем!

Илья энергично закрутил головой:

— Нет, нет, Иван Федосеевич! Это не так, как вы думаете. Я отлично понимаю, в чем дело... И мог бы сватовство это расстроить, опрокинуть к чертовой бабушке... но не хочу. Не хочу! — повысил голос Илья.— У меня тоже самолюбие имеется, и гоняться за ней я не намерен... И самое лучшее — с глаз долой!

— И из сердца вон! — добродушно улыбаясь, подсказал Иван Федосеевич. Потом сразу посерьезнел и долго молчал, отвернувшись от Крутоярова и глядя прищуренными глазами в светло-розовую стенку, на которой висела карта района, вся испещренная красными и синими карандашными подчеркиваниями, кружками, квадратиками, треугольничками. Карта была старая, замусоленная, засиженная мухами. Ничего нового и интересного не мог увидеть на ней директор МТС, да и не на нее он смотрел — он смотрел в свое прошлое и думал.

Лет восемь проработал шахтером да столько же токарем, а с тридцатого — в селе. Двенадцатый год уже среди сельского населения. Сжился с колхозниками, знал их нравы, обычаи, хорошо понимал людей, и пожилых и среднего возраста... Но молодежь! Как часто она ставила и ставит его в тупик. Все у нее как-то по-иному, все она усложняет. Взять этого же Крутоярова. Казалось бы, чего проще: девушка тебя отшила, а ты повернись на сто восемьдесят градусов да к другой! Зачем так переживать! Словно в старых романах. Так в тех же романах дворянский класс описывается. Вряд ли нам такое подходит. «Поначитаются разных книжек... и переживают! А зачем?» — с некоторой неприязнью обобщил Иван Федосеевич, мельком сердито взглянув на Илью.

— Знаешь что, Крутояров? Закачу-ка я тебе выговорок за такие твои фокусы,— спокойно и холодновато сказал он и вдруг резко повысил тон: — Посевная еще не закончена, а ты в любовь играть! Трактор твой небось стоит? И бригадир не знает, где ты. Это же, дружок, черт знает что! Безобразие! Форменное безобразие!

Featured Зазнобин встал, пружинящим шагом прошелся по кабинету, остановился возле карты района. На ногах у него яловой кожи сапоги с короткими голенищами. Брюки из дешевой серой материи, на коленях слегка замасленные, рубашка синяя, рукава засучены по локти, а руки сильные, мускулистые.

Илья молча следил за ним. Директора МТС он знал давно как человека строгого и справедливого, уважал и немного побаивался. «Пожалуй, того... поспешил я,— раскаивался теперь Илья.— Трактор бросил. Правда, Мишка поработает на нем, а все равно плохо получилось! Но не мог же я оставаться там... Неужели не понимает этого Иван Федосеич!»

Между тем Зазнобин, постояв у карты, вернулся за стол, на котором ничего не было, кроме маленькой фарфоровой в фиолетовых пятнах чернильницы, толстой коричневой руч-

ки с пером и заменявшего пепельницу стеклянного блюдца, полного мятых окурков и серого пепла.

— Давай твое заявление — сердито потребовал он начальственным тоном.

— Какое заявление? — не понял Илья.

— Ты же в другую бригаду просишься.

— Не писал, думал, на словах.

— «На словах», — передразнил Зазнобин и грубо приказал: — Пиши! — Вынул из ящика, положил на стол листок тетрадной бумаги в одну линейку.— Мотивировку можешь не поминать... и — покороче.

Крутояров тут же написал заявление о переводе в другую бригаду. Директор вынул двусторонний карандаш, синим концом крупно не спеша вывел: «Отказать» — и, поставив дату, размашисто расписался.

Илья взял свое заявление с такой неожиданной резолюцией и, сворачивая его, обидчиво проговорил:

— Не ожидал я от вас, Иван Федосеич... зачем было писать?

— А чтоб докýмент был,— наставительно объяснил директор.— По нем видно, что ты не шатался где попало, а в эмтээсе находился. Покажешь Огонькову. И чтоб мне на любовной почве никаких ссор! — рявкнул вдруг Зазнобин, и все рябоватое лицо его и бритая сияющая голова сделались одного цвета с его большим красным носом.— Понахватались, начитались, черт вас дери! Книжки с умом надо читать!

— При чем тут книжки,— мрачно возразил Крутояров, встав со стула. Было совершенно непонятно, почему директор, так внимательно и сочувственно выслушавший его, вдруг вскипел, написал «отказать», а теперь и кричать принялся.

— А при том! — раздраженно вскрикнул Зазнобин, не любивший, чтобы ему перечили.— При том, что надо своим умом жить, а не по книжкам! Дурь-то всякая откуда у вас в головах? Не от книжек разве? Ишь ты, Онегин-Печорин выискался! Из-за какой-то девчонки с товарищем в одной бригаде не может! Гляди, дуель еще придумаешь! (Он нарочито подчеркнул — дуЕль.) Они от безделья палили друг в друга из револьверов. А ты чего чертовщину затеял? Делать тебе нечего? Разве об любвях нам с тобой думать, если посевная затягивается! Езжай немедленно в бригаду — и больше ничего слушать не желаю. Насчет самовольной отлучки напишешь объяснение бригадиру... а мы тут посмотрим... как будешь работать... а не то взгреем... сильно взгреем! Долго будешь

помнить! Распустились, анафемы! Куда захочет, туда идет. Плевать ему, что трактор простаивает!

Крутояров вытянул руки по швам, как солдат перед командиром.

— Работает трактор, Иван Федосеич,— хмуро произнес он.— Миша Плугов — вы же знаете его... Он на нем, пока я тут...

— Какой такой Миша? Нет у меня такого тракториста! Не имеет права садиться за руль. Ты мне еще машину угробь любовными выкрутасами своими. С живого не слезу!

Все больше распаляясь, Зазнобин стучал уже кулаком по столу, ругал на чем свет стоит не только Крутоярова, но и всех трактористов, которые, по его мнению, не понимают, что такое дисциплина.

«Зря я пришел к нему»,— уныло думал Крутояров, покорно выслушивая нагоняй. Он готов был уже примириться с тем, что придется возвращаться в бригаду Огонькова, хотя по-прежнему не представлял, как будет работать и ладить с человеком, причинившим ему непоправимое зло.

— Разрешите идти,— наконец осмелился он прервать бурный поток речи директора.

Зазнобин сразу умолк.

— Ступай! — сердито разрешил он после небольшой паузы.— Чтоб это в последний раз! — поспешил он добавить уже сравнительно спокойно.— Переживать, пожалуйста, переживай что твоей душе угодно, но работу бросать! Это, дружок, последнее дело.— Когда Илья, толкнув дверь, шагнул за порог, Зазнобин окликнул его: — Погоди-ка, постой! Вернись!

Илья нехотя вернулся, стал перед столом, полагая, что директор сейчас начнет нарочно давать для передачи Огонькову какие-либо распоряжения. «Устных не повезу,— пускай пишет. Разговаривать с Огоньковым я не смогу».

— Садись! — пригласил Зазнобин совсем уже мирно, будто минуту назад и не было тут бурной сцены по вразумлению недисциплинированного тракториста. Набрякшее кровью лицо, бритая голова директора постепенно «отходили», принимая нормальный вид.— Торопиться тебе теперь незачем. Мишка и в самом деле с машиной справится. Ты верно говоришь, что поручил ему?

— Так точно, поручил, Иван Федосеич,— деловито подтвердил Илья, осторожно присаживаясь.

— Ну и хорошо,— совсем уже потеплевшим тоном с удовлетворением проговорил Зазнобин.— Пускай поездит... ему удовольствие и польза. Так сказать, практика. Я давно

планирую тракториста из него сотворить. Парнишка неравнодушен к машине, а такие нам нужны,— Зазнобин раскрыл портсигар, положил посреди стола, сам взял папиросу.— Покури. Волнуешься небось. Еще бы! Зверюга, а не директор. Никакой чуткости к молодому влюбленному человеку.

Илья тоже взял папиросу, зажег спичку, протянул директору. Некоторое время курили молча. Лицо Зазнобина было озабочено. Потом, почесав за ухом, он сочувственно и раздумчиво сказал:

— По совести говоря, сволочную штуку упорол с тобой Огоньков этот. Понимаю — пошутил. Ну и продержи несколько минут для смеху, а то, говоришь, больше часа?

— Больше,— ответил Илья.— Часа полтора, не меньше.

— На твоем месте я бы его хорошенько вздул, чтобы он всю жизнь помнил эту свою идиотскую шутку! — совершенно серьезно сказал Зазнобин.— Это у тебя такой мирный характер!

Илья промолчал. Может, директор шутит?

Зазнобин шумно вздохнул.

— Положение твое не ахти какое! Трудненько возвращаться. Легче касторку принимать три раза в сутки по стакану зараз... С Огоньковым каждый день видеться — хошь не хошь. А он, гляди, по работе начнет придираться. Он занозистый, я его знаю... тем более отношения у вас в доску испорчены, и в один присест их не поправишь. Я понимаю: возможно, у вас с Галей и без этого случая ничего не вышло бы... но теперь ты иначе думать не можешь, что виноват во всем Огоньков.— Зазнобин говорил спокойно и рассудительно, как бы стараясь беспристрастно разобраться в сложившейся ситуации.— Кроме того, и с девушкой тебе не миновать встречаться. Глаза же не закроешь! А она под ручку с этим ученым фертом, с Андреем Травушкиным! А изба Травушкиных почти напротив твоей. Мука мученическая! Это, пожалуй, еще горше, чем встречи с Огоньковым. Правильно я говорю?

Илья все еще не мог понять, куда клонит директор, и потому ничего не ответил.

— Выходит, Крутояров, в самом деле невозможно тебе возвращаться в Даниловку... переждать надо. До осени, что ли, пока Галя твоя не выйдет замуж и не уедет в город. На осень они свадьбу-то назначили?

— Говорят, на осень,— скучным голосом ответил Илья.

— Мда-а!..— неопределенно промычал Зазнобин.— Вишь, как оно дело оборачивается. А ведь я собирался на

твоей свадьбе пображничать. Ребята ваши говорили мне, что у вас с Галей все по-хорошему идет... Ан нет! И во всей этой истории больше всех виноват я! Перед тобой виноват, Крутояров, а ты и не подозреваешь.

Илья даже привстал от удивления:

— Вы?

— Сиди, сиди,— остановил его Зазнобин.— Именно, дружок, я... директор эмтээс, член партии с тысяча девятьсот девятнадцатого года.

Илья медленно опустился на стул, растерянно глядя на директора.

— Шутите, Иван Федосеич!

— Какие шутки, Крутояров! Мне, может, сейчас не легче твоего.

— Не понимаю.

— Чего тут не понимать! — глухо проворчал Зазнобин, подперев щеку ладонью и сосредоточенно глядя в окно.— Не довел одного дела в свое время до конца. Галя твоя за Травушкина замуж собралась? А кто такой Андрей Травушкин? Сын Аникея Панфилыча, бывшего кулака села Даниловки. Так? А кто раскулачивал Аникея Панфилыча? Иван Федосеевич Зазнобин, вместе с отцом твоей ухажерки Половневым, вместе с твоим отцом, вместе со Свиридовым. Раскулачить раскулачили, а потом и стоп! Задний ход. Испугались бумаги из области. Только много лет спустя я понял, что та бумага была состряпана. Перегиб, дескать. А перегиба никакого в данном случае и не было. Правда, из имущества мы ему многого все-таки не вернули, но от выселения он спасся. Теперь попробуй ковырни его! А ведь уполномоченным по коллективизации Даниловки был Зазнобин. Не будь он лаптем, а будь чем щи хлебают — ехать бы Аникею в дальние края. Тогда бы и сынам его не видать больших постов, да и вообще в нашем городе места им не нашлось бы. Они тоже должны были бы куда-нибудь подальше податься. Значит, и не стал бы поперек твоей дороги доцент университета Андрей Травушкин. Понял? Виноват я или не виноват?

Крутояров, все время внимательно слушавший директора, притушил окурок, положил в блюдце.

— Вы с политической точки зрения,— проговорил он, поняв наконец, к чему и куда клонит Иван Федосеевич.— Но мне кажется, невиновны вы предо мной. В моем деле политики нету.

— Политика, она, дружок, во всем! Мы только не задумываемся, не вникаем. А за то, что ты меня амнистируешь,—

спасибо! В таком случае и я пойду тебе навстречу. По совести говоря, мне тебя жалко. Одно непонятно, каким образом, почему у такого славного мужика, как Петр Филиппыч, выросла вертушка!

— Не вертушка она, Иван Федосеич! — горячо запротестовал Илья.— Тут дело сложней.

— Ну хорошо, не буду обижать твою Дульцинею, хотя на твоем месте после такого камуфлета я и думать об ней бы забыл! Давай твое заявление.

Илья вытащил из бокового кармана комбинезона сложенную вчетверо бумажку, подал ее директору, полагая, что тот сейчас порвет ее. Но директор зачеркнул свою недавнюю резолюцию красным карандашом, а синим написал направление в одну из бригад Александровки.

— Спасибо, Иван Федосеич! — искренне поблагодарил Крутояров.

Такого поворота своему делу он не ожидал.

— На здоровье, дружок! — грустновато сказала Зазнобин.— Иди, работай. А по Гале не скучай! Ну ее! Найдется другая. У нас тут трактористки есть... Девчата, скажу тебе, во! — И Зазнобин поднял кверху большой палец правой руки.

---

# ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

## 1

В шестом часу утра Свиридов позвал Травушкина в правление.

«Огоньков наябедничал! — догадывался Травушкин.— Будет нагоняй за пересолы. Но что они могут сделать со мной?.. Кроме Кулька, никто не видал, а один человек — не свидетель».

На крыльце правления задержался немного, чтобы успокоиться: он все-таки волновался. Потом вошел в коридор и потихоньку приоткрыл дверь кабинета председателя. Свиридов читал газету.

«Сердит!»

Сняв картуз, Травушкин просунул в кабинет арбузоподобную голову с желтоватой от загара лысиной, блестевшей, как начищенная медь, негромко спросил:

— Можно?

— Входи!

Тон, каким это было сказано, не сулил ничего утешительного.

Травушкин с видимой робостью перешагнул порог.

— Доброе утро!

— Садись! — отрывисто приказал председатель и, помолчав, глядя в газету, а не на вошедшего, запоздало ответил: — Утро доброе!

Иного приема Травушкин и не ожидал.

Вдоль стены стояло с десяток старинных венских стульев. Опасливо, не спеша опустился на тот, который поближе к столу.

Редко, однотонно постукивал длинный маятник древних барских часов в черном, с перламутровыми инкрустациями ящике, с кукушкой поверх циферблата. Постукивал с тонким поскрипыванием, скребущим по сердцу. Часы знакомы. В семнадцатом Аникей Панфилович собственноручно снял их со стены кабинета барина Шевлягина и повесил в своей горнице. В тридцатом их отобрали при раскулачивании, а после выправления «перегиба» не вернули. С трудом подавил невольный вздох. Многое не вернули, не только часы. Нехорошо с ним тогда обошлись, нехорошо! Но кому пожалуешься? Одному разве богу!

Отложив газету в сторону, Свиридов строго посмотрел на Травушкина светло-серыми, со стальным отливом глазами, сухо спросил:

— Не догадываешься, зачем позвал?

Травушкин моргнул, развел руками:

— Никак нет, Митрий Ульяныч, не догадываюсь.

— И почему в бригаду не пустил — тоже не знаешь?

— Откуда знать? — смиренно проговорил Травушкин.— Сказано не ехать, я и не поехал. Вам тут видней, кто где нужен.

— Та-а-ак! — иронически протянул Свиридов.— Стало быть, ничего не знаешь и не ведаешь? Ладно! Допустим! Тогда рассказывай, чего у тебя с Огоньковым вышло? За что поссорились?

Травушкин вздернул плечи:

— Чтоб я ссорился? Да боже упаси. Он чего-то взъелся на меня.

— А это что? — Свиридов вынул из стола бумаги и швырнул их поверх газеты.— Пять актов! Порча продуктов... и все по твоей милости, похоже. Очуманел ты, Аникей Панфило-

вич, на старости лет? Соль, песок в борщ да в кашу. Что такое? Как понимать? Ведь это же вредительство!

— Невиновен, Митрий Ульяныч, как бог свят, невиновен! — торопливо забормотал Травушкин.— Наговоры! Да как же такое возможно? По злобе Кулек наклепал, ей-богу, по злобе!

Свиридов резко оборвал его:

— Насчет Кулькова — брось! Он врать не станет, он честный.

— А я вру? Я не честный? — обиженно сказал Травушкин.— Как у тебя язык поворачивается, Митрий Ульяныч! На твоих глазах живу, стараюсь... Ну чего там раньше, до колхозов, было... пусть! Един бог без греха. А теперича? Чем же не честный? Украл чего, зажилил? Никто сказать того не может.

Свиридов встал и, скрипя сапогами, нервно заходил взад-вперед, искоса поглядывая на Травушкина налившимися злостью стальными глазами.

— Ты овечкой тут не прикидывайся, арапа не заправляй! — вдруг закричал он, багровея, и, подскочив к Травушкину, затряс сжатыми кулаками перед самым его носом.— Признавайся, зачем пищу портил?

Травушкин медленно и важно поднялся.

— Митрий Ульяныч! Не кричи! Не имеешь права!

— Не кричать, а по морде тебя за такие пакостные дела!

Свиридов прошел на свое место. У порога стоял Тугоухов. Травушкин, взглянув на счетовода, вытер ладонью рот, с дрожью в голосе произнес:

— Что же! Ты можешь и вдарить! Рукоприкладствуй, твоя власть!

Свиридов смерил Травушкина презрительным взглядом.

— Стоило бы тебя взмутузить, да руки марать неохота. Судить будем! В тридцатом отвертелся, теперь не отвертишься! — И обратился к счетоводу: — Тебе чего, Демьян Фомич?

— Справочку подписать.— Тугоухов быстро и бесшумно подошел к столу, обеими руками осторожно опустил перед председателем бумажку, склонив над ней свое волосатое лицо в очках.

Свиридов обмакнул перо в чернильницу, размашисто расписался. Обращаясь к Травушкину, сердито сказал:

— Ступай! Больше мне не о чем с тобой разговаривать. От бригады Огонькова совсем отчисляю.. и вообще на работу покамест посылать не будем... до выяснения, так сказать.

Когда счетовод вышел, Травушкин поднялся, раздумчиво погладил бороду.

— Придется и мне в суд,— негромко, но с отчетливой угрозой проговорил он.— Такого закону нету, чтоб честных колхозников стращать или бить... или преследовать. И за оговор привлеку. Тоже статья имеется в кодéксе.

— Твое дело, подавай,— махнул рукой Свиридов.

— До свиданьица! — с кривой усмешкой сказал Травушкин.

— Дорога скатертью, катись к божьей матери!

Свиридов с ненавистью посмотрел в спину Травушкина, а тот вдруг обернулся и стал как зачарованный, разинув рот: на часах куковала кукушка! И, только прослушав, со сдерживаемой яростью сказал:

— Найдем управу и на тебя! Не кичись, не больно велик бугорок! Копнуть — и не станет того бугорка. До высшей власти дойду! Я тебе этого не спущу. Стариков обижать не полагается в Советском государстве. Старикам почет, песня такая есть, а ты, вишь, кулаками размахался. А еще партейный!

— Эвон ты как запел! — удивился Свиридов.— Иди, иди, пока я тебе и в самом деле не всыпал!

## 2

Столкновение со Свиридовым и напугало Аникея Панфиловича, и обозлило. Напугало потому, что знал: у председателя слово с делом в ладу. Если пообещал подать в суд, значит, подаст. Пусть невозможно будет доказать виновность Аникея Панфиловича, но шум-то может подняться немалый, он, вишь, говорит: вредительство это! На селе гул пойдет, ребятишки вредителем станут вслед величать. Да и для сыновей опять же неприятность, хотя они и в городе живут. Слух дойдет, гляди, и до городских начальников... и кто его знает, как там посмотрят на такие дела.

А обозлился потому, что давно считал Свиридова одним из закоренелых недругов своих. Когда «выправляли перегиб», от Свиридова тоже зависело, какое имущество вернуть Травушкину, какое оставить в колхозе. И теперь показалось, что подворачивается удобный случай хоть немного насолить председателю, отомстить за старое, да и за новое, то есть за непочтительный крик. В тюрьму Свиридова, конечно, не посадят, но с поста вполне он может слететь за такие штуки. Надо только не мешкать, упредить его. Тогда, если он тоже

вздумает в суд подавать, можно сказать, что председатель делает это в отместку, и уж ему веры настоящей не будет.

Вечером того же дня Травушкин позвал к себе в «келью» Демьяна Фомича. Выставил на стол наливку (Фомич был охоч до водочки и всяких наливок), сковороду яишни на сале и прочую закуску. Выпили по одной, по второй. Демьян Фомич никак не мог понять, с чего бы на Аникея такая щедрость навалилась. Либо хочет попросить из кладовой что-нибудь и ищет поддержки в счетоводе? Сообразил, в чем дело, когда Травушкин налил третью стопку. Чокнувшись с ним, Аникей Панфилович доверительно проговорил:

— Видал, как заелся председатель наш? Драться уж начинает, как тот земский начальник.

Демьян Фомич опрокинул стопку в рот, вытер усы, бороду, спросил:

— Это кого же он?

— Да меня же! Аль не видал?

— Не заметил что-то. Когда же?

— Да сегодня утром. Когда ты в кабинет к нему вошел.

— Не видал! — Демьян Фомич отрицательно покрутил головой, откладывая в сторону ложку, которой ел яичницу.

— И как сучил кулачищами у моего носа, тоже не видал?

— Это видал.

— А перед тем как сучить, он же вдарил... опосля уж руками замахал. Не войди ты — быть бы мне в кровь избиту.

— Если ты ему насолил чем-нито — он мог... Человек горячий,— согласился Демьян Фомич.— Но, Аникей Панфилыч, дорогой ты мой, не видал я, чтоб он тебя вдарил! — поняв, куда клонит Травушкин, решительно заявил счетовод.

— И как я рот ладошкой утирал, тоже ты не заметил?

— Это заметил.

— Зачем бы мне утираться, если бы не вдарил Митрий Ульяныч?

— С одной стороны, оно конечно,— неопределенно сказал Тугоухов.— С другой, я же тут ни при чем, любезный ты мой Аникей Панфилыч.

Однако после пятой стопки Демьян Фомич вспомнил и свои кое-какие обиды на председателя... и согласился подтвердить, что Свиридов оскорбил колхозника Травушкина «действием».

Травушкин вынул из стола заготовленное заявление районному прокурору и дал подписать Тугоухову как свиде-

телю. А на другой день утром Аникей Панфилович был уже в Александровке.

Прокурор возмутился. Со всяким доводилось ему сталкиваться, но чтобы ответственный работник бил кого-либо... нет, подобного не встречалось.

— Он что... спьяну? — сердито спросил прокурор.

— Насчет того не скажу,— негромко ответил Травушкин, понуро глядя в пол и медленно теребя короткими пальцами козырек своего картуза.

Прокурор снова просмотрел жалобу.

— Разберемся,— сказал он и, когда Травушкин ушел, тотчас направился к секретарю райкома партии.

Демин оставил жалобу у себя.

— Поговорю сам со Свиридовым. Это, брат, чертовщина какая-то.

Оставшись один, Демин вспомнил недавний разговор со старым кузнецом Половневым. Не зря, стало быть, говорил старик, что председатель горяч. Возможно, Свиридов давно на руку несдержан. Сколько же надо прожить в районе, чтобы узнать как следует хотя бы одного председателя колхоза! Три года Демин работает здесь, причем он не из кабинетных деятелей, его «эмка» исколесила район вдоль и поперек,— а может он угадать, чем завтра «порадует» тот или иной председатель, если один из лучших (Свиридов давно нравился Демину и в его глазах был действительно одним из лучших) отмочил такую штуку? «От бескультурья. Некоторые газет даже не читают: некогда, видишь ли, им! А о книгах и говорить нечего».

Демин склонен был многие промахи в поведении работников объяснять прежде всего недостаточной грамотностью и слабостью культуры. Но культура — дело сложное, ни в месяц, ни в год ее на наживешь, он отлично понимал это. Вздохнув с сокрушением, снова стал перечитывать жалобу Травушкина.

«Не войди товарищ Тугоухов, быть бы мене вкров избиту и товарищ Тугоухов подприсякой может показать как Свиридов вдарил мене прямо по сусалам».

Демин усмехнулся: «подприсякой», «по сусалам»! Впрочем, это же рядовой, к тому же пожилой колхозник, чего с него требовать! А вот Свиридов... До рукоприкладства докатился! Немедля надо ехать в Даниловку. «Я тебе покажу, как стариков бить!» И тотчас же передумал. Не к лицу первому секретарю ехать к провинившемуся коммунисту, пускай-ка он сам сюда приедет.

3

Свиридов не мог догадаться, зачем его вызывают в райком; девушка, которая разговаривала с ним по телефону, тоже ничего не знала. Позвать к телефону самого Демина не осмелился и, хотя всяких дел было у него по горло, сел на велосипед и покатил в Александровку.

Солнечно, тепло. Ехать по пешеходной узкой тропинке, вьющейся сбоку грейдера,— сплошное удовольствие. Тихий ветерок обвевает лицо. Серая, выцветшая до белизны рубашка, заправленная в брюки, пузырем вздувается на спине.

Невзирая на то что его вызвали «срочно», он ехал тихо. Придерживая руль одной рукой, окидывал глазами окрестность. Бескрайние поля, то темные, то зеленые, вдали в голубой дымке — села, сады; справа — Князев лес, покрытый нежной зеленой листвой. Вот потянулись загоны своего колхоза — широкие и длинные. На них коричневые малюсенькие ростки всходивших яровых, посеянных в конце апреля.

В этом году, как никогда, удалось вовремя посеять. Чувство глубокого удовлетворения и гордости за колхоз, за самого себя охватило Свиридова. Он понимал, что успехами в севе обязан главным образом трактористам. Однако считал, что и председатель тоже много значит. Подготовить лошадей, сбрую, инвентарь, семена, сеялки, толково распределить рабочую силу, обеспечить подвозку горючего, воды к тракторам, организовать питание в поле... На все требуется не только время, но и голова, способная любую пустяковину обдумать, не упустить. Вон у соседей председатель шляповат — они и зашились.

Свиридов вспомнил, что собирался съездить в тракторную бригаду, работавшую на поле соседнего колхоза, да так и не собрался. Жаль! Говорят, поссорились трактористы, а Крутояров ушел в Александровку. Что у них там, чего не поделили? Не из-за них ли и в райком зовут? Пожалуй, надо заехать к директору МТС, он, наверно, в курсе, а то спросит Демин — Свиридову и сказать нечего.

МТС была на въезде в Александровку. Зазнобин обрадовался Свиридову:

— Кстати, Ульяныч, кстати! А я хотел только что к тебе.— Зазнобин протянул ему большую, не совсем чистую руку, вернее, недостаточно отмытую: видать, он покопался уже в какой-то машине, по своей всегдашней привычке.— Садись! Как у тебя дела?

— Дела идут! — бодро ответил Свиридов, присаживаясь на стул.

— Слыхал, слыхал! В передовые выбился. Говори спасибо: бригадку я тебе подобрал — во! — Иван Федосеевич приподнял руку с оттопыренным большим пальцем.

— Это верно. Спасибо. Только напоследки чегой-то они перессорились.

— Кто?

— Да трактористы твои.

— Почему мои? Они и твои!

— Ну, ты-то больше за них отвечаешь!

Полное рябоватое лицо Зазнобина с синими крапинками — следы многолетней работы в шахтах Донбасса — расплылось в улыбке, ноздри бесформенного крупного носа, напоминавшего непомерно разросшуюся спелую мичуринскую клубничину, расширились, в маленьких, цвета кедрового ореха глазках замелькали хитроватые искорки.

— На директора МТС хочешь все свалить?

— Ни на кого не хочу валить. Заехал узнать, в чем там дело, может, ты в курсе. Я не успел выяснить.

— Ах, выяснить! — иронически усмехнулся Зазнобин.— Но это, дружок, тоже непорядок: отправил в другой колхоз бригаду — и думать об ней забыл. Не поинтересовался даже, как они там, чем их кормят...

— Да некогда все... Делов, сам знаешь, невпроворот.

— А у меня меньше твоего делов?

— Ну, не томи, чего у них там? Ты был же в бригаде?

Иван Федосеевич откинулся на спинку кресла, весело посмотрел на Свиридова:

— Ага, испугался! То-то! Ну, успокойся. Ничего там нет. Никакой ссоры. Чтобы у меня трактористы ссорились... Да я их, сукиных котов... Ни в жизнь не позволю! У меня, браток, коллектив дружный, сплоченный, не то что твои... У тебя вон Кульков да Травушкин зрить друг друга не могут...

— А тебе откуда известно?

— Слухом земля полнится.

— Не всякому слуху верь. Ты все-таки скажи: чего же Илью Крутоярова перевел в Александровку?

— Надо — вот и перевел. Ты в претензии? — Медвежьи глазки Ивана Федосеевича по-прежнему сияли хитрецой.— А если и поссорились ребята, скажу так: звонить об этом не нам с тобой. Люди молодые, вспыльчивые... сегодня поссорятся, завтра помирятся. Жалко тебе Крутоярова...

работник хороший... Верно, парень сознательный... но взамен послан не хуже. Так что ты не волнуйся.

— Волноваться чего же? Еду вот к Алексан Егорычу... срочно что-то вызвал. Я и подумал: не из-за ребят ли? Дай, мол, спрошу у Федосеича, в чем там дело.

Глазки Ивана Федосеевича утонули между густыми лохматыми бровями и набухшими щеками, на которых еще резче выступили синие точечки.

— Не-е! — засмеялся он.— Наверняка не из-за ребят. Об этом Алексан Егорыч не знает и знать не будет. И ты молчи... Чую, браток, чегой-то ты сам начепушил. Понапрасну он не вызывает!

— Чего же я мог начепушить? — пожал плечами Свиридов.— Ничего за собой не чувствую.

— Може, водочки где лишнего хватил? Алексан Егорыч не любит этого, страсть!

Теперь у Ивана Федосеевича от смеха совсем одни узкие светящиеся щелки остались на месте глаз.

Свиридов серьезно покрутил головой:

— Того не было. В горячую пору почти не потребляю.

— Почти! Знаем мы это «почти»! — смеялся Зазнобин.— Небось с кузнецами рыбу ловил... вот под рыбку и трахнул.

— Да говорю — не трахал. А если бы и было чего — откуда Алексан Егорычу знать?

— Э-эх! — Иван Федосеевич присвистнул.— Найдутся такие — живо передадут по беспроволочному телеграфу. Со мной за весну уже дважды было... Выпьешь ну самую малость... так, для аппетиту... А он вызывает: «Чегой-то, спрашивает, у вас нос такой?» — «Какой, мол, нос? Обыкновенный».— «Где же, говорит, обыкновенный! Красный, как помидор. Почему он такой у вас?» — «Родителей, отвечаю, спросить надо».—«Вы, говорит, на родителей свои грехи не сваливайте! Водочкой злоупотребляете, богу Бахусу молебны служите».— «Сплетня, говорю, Алексан Егорыч! Неверующий, мол, я и бога такого не знаю, да и церковь у нас не работает»... Вишь, наплели чего на меня-то. Гляди, и на тебя так-то.

— Не боюсь,— уверенно сказал Свиридов.— В выпивке эту весну не грешен.

— Тем лучше! Тем лучше! — облегченно вздохнул Зазнобин.— А то Алексан Егорыч мораль тебе прочитает. У него это сильно́ получается. Как начнет пилить, как начнет... сквозь землю провалился бы.— Зазнобин немного помолчал,

потом, как бы спохватившись, поспешно добавил: — Чуть не забыл: подпиши-ка актики по твоему колхозу.

Свиридов знал: Иван Федосеевич мужик славный, но пальца ему в рот не клади — и потому от подписи под актами пока уклонился.

— Извини. Неудобно без бригадиров, да и некогда уже... Алексан Егорыч ждет ведь.

— Тогда вали со господом, как говорится! А наперед для храбрости сотвори молитву этому самому Бахусу.

— Я такого бога тоже не знаю.

— Алексан Егорыч объяснил мне. Оказывается, у древних был такой бог вина и покровитель пьяниц! Так что забеги в нашу столовку да и поставь свечечку грамм на полтораста. Смелей будешь! — И Зазнобин опять залился озорным смехом.

— Ты насоветуешь! — сдержанно улыбаясь, проговорил Свиридов.— Тут и так шурум-бурум в голове, не знаешь, что и в чем дело... а ты — полтораста грамм!

— Для прояснения же! Ну, а не хошь, как хошь! Крой без молебна! Отделаешься — заезжай, расскажешь, как и что...

— А ты никуда не уедешь?

— Нарочно подожду... Интересно же!

## 4

Председатели колхозов обычно входили к первому секретарю райкома без доклада, и Свиридов, не взглянув даже на сидевшую в приемной девушку и на посетителей, дожидавшихся очереди, вошел в кабинет. В просторной продолговатой комнате было светло, в открытые настежь окна доносился шум и чириканье воробьев, копошившихся в лиловых кустах сирени, пышно топырившейся прямо в комнату.

Демин поднялся из-за стола и каким-то размягченным тоном проговорил:

— Здравствуй, здравствуй, дорогой! Прибыл?

Тон этот сразу успокоил Свиридова. Он весело заулыбался всем своим сияющим, чисто выбритым, загорелым лицом.

— Так точно, Алексан Егорыч, прибыл!

Свиридов знал, что секретарь не любит, когда к нему являются небритыми, и побывал в парикмахерской. Видя, что Александр Егорыч принимает его благожелательно, невольно подумал: «Наверно, насчет того, что мы передовым колхозом стали».

На приглашение садиться Свиридов подвинул стул поближе к столу и сел.

— Ну, рассказывай,— проговорил Демин.

Свиридов довольно бойко, без единой запинки доложил о севе и других делах колхоза, сам удивляясь, как все складно у него выходит.

— Дня через три возвратятся тракторы от соседей... начнем пары пахать,— заключил он, машинально вынимая портсигар из кармана брюк с тем, чтобы закурить. Но тотчас вспомнил, что Демин против, когда в кабинете курят, и положил портсигар обратно. Демин внимательно посмотрел на него, шевельнул дугами бровей.

— А не рановато? — негромко и вежливо спросил он.

— Посоветуемся с агрономом.

— Та-ак! — неопределенно протянул Демин.— Дела, стало быть, блестящие? — И на лице его заиграла сдержанная, но вроде бы насмешливая улыбка. В самом вопросе, да и в интонации Свиридов почувствовал подковырку. А подковырка почти всегда у Демина предшествовала такому серьезному «внушению», от которого действительно, как говорил Иван Федосеевич, хоть сквозь землю провалиться. И самое тяжёлое заключалось в том, что все «внушение» обычно делалось в подчеркнуто вежливой форме, без повышения голоса, но так въедливо, что лучше бы уж кричал он и распекал, как полагается в подобных случаях, как сам Свиридов привык распекать людей, провинившихся в чем-либо перед ним или правлением. «Что-то ему не понравилось в моем сообщении. Но что именно?»

Свиридов немного смешался и покраснел. «Сейчас начнется!» — подумал он и смущенно ответил:

— Нельзя того сказать, чтобы особенно блестяще, но не хуже других некоторых... За помощью, Алексан Егорыч, мы ни к кому не обращались, наоборот, другим помогаем.

— Это, конечно, так,— согласился Демин.— Сев провернули вы неплохо. Ну, а как с политико-просветительной работой?

— Ведем, Алексан Егорыч, по силе возможности.

— Экий мастак ты на формулировки: «по силе возможности»! Это как же понимать?

— Ну, клуб у нас имеется, библиотека. Правда, молодежь больше на улице гуляет, хороводы водит по вечерам... в клуб, когда тепло, плохо идет. Зимой — другое дело.

— А в библиотеку?

— В библиотеку больше,— наобум ответил Свиридов.

— И люди читают книжки?

— Читают, конечно,— бодро и уверенно ответил Свиридов, вспомнив вдруг, что совсем недавно библиотекарша, она же и заведующая клубом, девушка, два года назад окончившая среднюю школу, просила его дать денег на покупку каких-то очень нужных книжек, на которые есть большой спрос, и что денег он не дал, предложив подождать до осени. Летом все равно не до книжек, добавил он тогда. «Нажаловалась, наверно, девчонка-то!»

— А ты почем знаешь, что читают? Сам-то бываешь в библиотеке? — с усмешкой спросил секретарь.

«Ну, так и есть, наговорила!»

— Не часто, но бываю,— с достоинством ответил Свиридов, готовясь к отпору, если Демин начнет пробирать за невнимание к библиотеке. Но секретарь не пробирал. Он продолжал задавать вопросы:

— И книги тоже читаешь?

— А как же! Обязательно... по зиме, конечно. Весной какое же чтение! — откровенно решил признаться Свиридов.— Весной, Алексан Егорыч, не до книг... С восхода дотемна на ногах.

— Плохо, если не находишь времени для чтения,— укоризненно сказал Демин.— Сам же говоришь: колхозники читают... а ты не читаешь... Ведь этак ты отстанешь от них! Как же ты будешь руководить ими? Или взять хозяйство. Оно у вас крупное... Сколько земли?

— С лугами, лесом и оврагами тысяча пятьсот шестьдесят три га, а пахотной девятьсот восемьдесят семь,— быстро ответил Свиридов, так как цифры эти крепко сидели в его голове и он мог сказать их безошибочно даже спросонья.

— В старину — крупное помещичье хозяйство! — Демин поднял кверху указательный палец.— А помещики сами с высшим образованием были да агрономов содержали. У нас же агрономов на все колхозы пока не хватает. Между тем управлять советским крупным хозяйством ничуть не легче, нежели помещику, а то и потрудней. У помещика почти все держалось на ручном труде да на тягле. А у нас с тобой машины. Их знать надо. С агрономией ты тоже должен быть знаком. Ты вот сказал, что насчет пара посоветуешься с агрономом... посоветоваться неплохо... но лучше бы такие вещи самому знать, дорогой мой Дмитрий Ульянович! Или возьми людей. Руководить ими сложно. Надо политику партии знать, а политику партии не поймешь во всей глубине, если незнаком с произведениями Ленина, Маркса,

Энгельса... Ведь в наше время людей грубостью и криком не возьмешь... Надо уметь разъяснить им задачи, организовать...

Свиридов не со всем, что говорил Демин, соглашался. Упоминание о помещиках даже покоробило его. Образованные они были — верно. Но какой в том прок? Хозяйство-то вели плохо, урожаи собирали низкие, гораздо ниже колхозных. Свиридов хорошо помнил барина Шевлягина, его поля с жидкими овсами, чахлой рожью... Да и жил барин в Петербурге. «Смели мы их — и все! Незачем и вспоминать, а не то что тянуться за ними. Мы и без образования не хуже их дело ведем! А ведь Алексан Егорыч намекает, чтоб и я вроде бы высшее образование имел... О каком же теперь образовании толковать, если я уж полвека прожил. Хватит с меня и того, что сыну дал высшее образование!»

Так Свиридов думал про себя, но возразить секретарю не посмел. Демин в Москве учился, марксизм изучал. Куда уж спорить с ним простому, не очень грамотному человеку! Однако с тем, что в деревне чуть ли не главный наш враг темнота и невежество, Свиридов не мог не согласиться. Кивнув, он даже поддакнул:

— Это верно, Алексан Егорыч, сознаю. С темнотой прямо беда! У нас в колхозе есть даже такие — библией головы людям морочат!

— Вот видишь! — улыбнулся Демин.— А чтобы библию опровергнуть, знания нужны.

— Знающие у нас имеются по этой части. Например, Лаврен Евстратыч Плугов. Вдоль и поперек библию эту постиг. Он даже попа забивал когда-то... диспуты у нас, помню, были... И Бубнов Глеб Иваныч тоже...

— Плугов, Бубнов! А ты? Надо тебе и самому на уровне быть! Наверно, и не читал библию-то.

Но тут душа Свиридова не вынесла.

— Да на лешака она мне сдалась, чтобы я ее читал, Алексан Егорыч! Я понимаю — книжки по агрономии или там по политике... а зачем же мне священное писание?

— А затем, чтобы опровергать.

Свиридов досадливо махнул рукой:

— Не-е! Не согласен, Алексан Егорыч! Не стану я ее читать. Опровергатели и без меня найдутся! Где же мне время-то взять? Я видал, какая она... вот этакая книжища! — Свиридов показал, какой примерно толщины библия.— На пять годов хватит одной библией заниматься.

— Пожалуй, верно, библию тебе знать не обязательно,—

согласился Демин.— Но вообще-то читать нужно, и как можно больше — и политические книги, и агрономические, и художественные. В практике ты человек знающий, более или менее подкованный, а вот насчет культурки того! Поэтому и прибегаешь не к тем аргументам, к каким следовало бы.

Свиридов смиренно кивнул (хотя слова «аргументам» не понял):

— Случается, ошибаемся, Алексан Егорыч, не без того! — Он виновато развел руками, полагая, что на этом «мораль» и закончится.— Вы уж поправляйте нас. Мы всегда готовы по партийной линии... И я постараюсь... Будьте уверены, сил своих не пощажу!

— Насчет твоего старания осведомлен,— суховато проговорил Демин.— Затем и вызвал!

«Вот оно! А я думал, уже все! О чем же такое?»

— Слушаюсь,— сказал Свиридов, и лицо его приняло выражение холодной замкнутости и напряженного внимания.

— Мне интересно вот что знать, Дмитрий Ульянович: в роду твоем никто в жандармах не служил?

«Травушкин наябедничал, наверно»,— подумал Свиридов.

— Клевета, Алексан Егорыч,— решительно заявил он, сразу повеселев.— Жандармов в нашем роду никогда не было!

Глаза Демина блеснули вдруг как-то нехорошо, недружелюбно. Но тем же спокойным голосом он сказал:

— Странно! Откуда же у тебя такие замашки? Например, колхозников бить «по сусалам». Это, дорогой мой, уже не невежество, а форменная дикость... варварство! Да, да! Варварство! В наше время бить людей! Мордобой — при социализме! Да такими делами и Шевлягин, наверно, не занимался!

— Да вы что, Алексан Егорыч? Всерьез? — Свиридов побледнел даже.— Да я за всю жизнь пальцем никого не тронул! Скотину обидеть не могу, не то что человека. Накричать, верно... такое за мной водится... характером я балмошный... Не скрою — иной раз и вдарить готов... однако сдерживаюсь.

— Может, на людях только сдерживаешься?

Свиридов энергично закрутил головой:

— Не, не! Честно говорю, Алексан Егорыч. Нигде, никогда...

— Непонятно! — Демин недоверчиво посмотрел на Свиридова.— На, прочти! Неужели тут наврано?

Это была жалоба Травушкина. Свиридов взял, не торопясь прочел ее. Возвращая секретарю, яростно выдохнул:

— Ух, зверюга! Вот в самом деле кого следовало стукнуть... И я теперь жалею, что удержался! Живоглот недораскулаченный!

— Постой, постой! — сказал Демин.— Он кто же, этот Травушкин? Почему недораскулаченный?

Свиридов рассказал все, что знал о Травушкине, вплоть до своего последнего столкновения с ним.

— Значит, наврал старик?

— Конечно.

— Зачем же это он?

— А черт его знает!

Демин помолчал, подумал, потом снова размеренно и спокойно заговорил:

— Вот что. Я верю тебе, но все же твоего поведения одобрить не могу. Кричать ты не имел права. Нехорошо кричать на человека... А Травушкин к тому же пожилой. Неважно, что из кулаков... Теперь-то он не кулак!

— Почему же не кулак? — не согласился Свиридов.— Только потому, что отвертелся от раскулачивания?

— Не только потому. Кулаком человек является до тех пор, пока располагает средствами производства и эксплуатирует бедноту. А если у него средства производства отобраны или он сам их сдал в колхоз — какой же он кулак? Ведь он работает в колхозе? Работает! Право голоса по Конституции имеет? Имеет! Значит, нельзя к нему подходить даже как к бывшему кулаку. И вообще насчет кулаков ты брось! Какие теперь кулаки? Десять лет прошло... Пора забыть о них.

— Неверно это, Алексан Егорыч! Кулачина Травушкин, зверюга. Я же вижу все нутро его. Дай ему волю — он всех нас в порошок сотрет. И кем он раньше был, никак забыть я не могу.

— Что же, по-твоему, с ним делать? В отдаленные места?

Свиридов кивнул:

— Не мешало бы!

— Но этого мы с тобой теперь сделать не можем. Давай действовать убеждением. Судебное дело допускать не резон, если бы даже и вправду ты ударил его. На мой взгляд, тебе как-то надо договориться с ним... по-человечески. Выяснить, чем он недоволен... Только без крику. Добиваться надо, чтобы он становился настоящим колхозником, не злобствовал, не вредил. Перевоспитывать.

— Этого я не в силах, Алексан Егорыч. Что хотите со мной делайте — снимайте, судите, исключайте... но чтобы я с ним по-человечески, как вы говорите, нет! Не могу!

Тогда уж поставьте другого, который будет с Травушкиным душа в душу... На мое разумение — не беседовать с ним, не убеждать, а в суд... за вредительство!

— В суд не так просто,— вздохнув, серьезно возразил Демин.— Сам же говоришь — один человек видел. Но свидетельства одного человека недостаточно. Да и вредительство какое-то мелкое. За него оштрафовать только можно. Так что насчет суда ничего не выйдет. Но с грубостью, безусловно, тебе пора кончать. Нехорошо. Она обижает, а не убеждает. От тебя не только Травушкину достается... и другие жалуются.

— Кто жалуется, Алексан Егорыч? Лодыри! — возразил Свиридов.— Но с лодырями я не нянчился и нянчиться не буду.

— Вот опять кипятишься. Экий ты, право! Ну, ладно! Закончим этот разговор. Учти все-таки, что я сказал. А Травушкина пока оставь в покое. Я сам заеду к вам на днях, раз ты не можешь с ним разговаривать, и все выясню.

Свиридов дал обещание пока молчать насчет жалобы. Но, выйдя из райкома, долго бурчал себе под нос: «Оставь его в покое! Я ему покажу покой! Я его однажды совсем упокою! Хорош и этот, волосатый лешак, в свидетели влез... а мне ни слова. Доберусь и до него когда-нибудь!» — подумал он о Тугоухове.

## 5

На обратном пути Свиридов опять завернул к Ивану Федосеевичу Зазнобину. Тот пригласил его к себе пообедать. За обедом разговорились, разоткровенничались. И тут Свиридов совсем разошелся, начал резко порицать секретаря райкома. На помещиков равняться надо, они, дескать, образованные были, и председателю колхоза в наше время нужно иметь высшее образование!

— Это мне-то высшее образование! — шумно возмущался он.— Какое же теперь образование! Опоздал ты учить меня, дорогой Алексан Егорыч. Или взять Травушкина. Его, мол, перевоспитывать я должен. Да разве Аникея перевоспитаешь? За эти девять лет, как он в колхоз принят, какие только подходы не строили, чего с ним не делали, а он все свое! Открыто не выступает, а втихую нет-нет да и подковырнет. Раньше, говорит, при единоличности, на нашей земле хлеба росли нисколько не хуже, да и жилось тому, кто трудился, неплохо, особливо при Советской власти, пока жив был товарищ

Ленин. Советскую власть в таком разе обязательно похвально помянет, попробуй, дескать, прицепиться.

Нет, брат Федосеич, сколько волка ни корми — он все в лес будет норовить! Ну ничего, мы его рано или поздно скрутим! — свирепо и непримиримо пообещал Свиридов.— Вот уладится вся эта канитель с его жалобой — я за него возьмусь. Я ему вправлю мозги! И Демьяшке всыплю.

Зазнобин, теперь уже не скрывая ничего, рассказал всю историю, из-за которой Илья Крутояров покинул бригаду Огонькова. Даже в семейных делах вред получается от этого черта Травушкина.

Потом приятели перешли к колхозным делам, а после обсудили и международное положение.

Когда наговорились, на часах было уже более шести. Свиридов вскочил вдруг и начал ругать Зазнобина. Весь день почти просидели. Разве сейчас такое время, чтоб за беседами сидеть!

Иван Федосеевич шутливо просил прощения.

— Однако, дружок, что же ты все на меня валишь? — озорно прищурившись, смеялся он.— Ведь не я к тебе приехал, а ты ко мне. Но ничего, не раскаивайся, надо же когда-то и душу отвести. Когда бы мы с тобой этак собрались бы да поговорили! Сейчас я тебя мигом доставлю в твою Даниловку.

Зазнобин вызвал грузовую машину, положил в нее велосипед Свиридова и сам довез его чуть не до села.

— Теперь езжай,— хмуро и нарочито грубоватым тоном сказал он в километре от ветряка.— А то колхозники твои подумают, что ты нализался до положения риз, если я тебя до самой хаты довезу.

Свиридов снял велосипед и, протягивая руку Зазнобину, снова раздумчиво заговорил о своем:

— Ругал меня Алексан Егорыч. Грубо, дескать, с людьми обращаюсь. Советовал библию читать, на помещиков равняться. Может быть, он из каких-нибудь правых бухаринцев? Может, потому и Травушкину мирволит, перевоспитывать его велит?

Зазнобин отрицательно покачал головой:

— Не думаю, что Алексан Егорыч уклонист какой-нибудь.

— А я думаю,— угрюмовато проговорил Свиридов.— И посмотрю, как оно дальше пойдет, а то и в обком или ЦК напишу. Пусть мне объяснят, наша ли это линия бывших кулаков перевоспитывать.

— Ну, а что же с ними делать, по-твоему? В Сибирь гнать?

— А почему бы и не так? В Сибири им хватит места. Пускай там друг друга мутят сколько влезет, чем тут у нас под ногами путаться...

— Нельзя теперь... поздно... Да и не из-за чего шум-то особенно поднимать. Чай, и своими силами сможем урезонить таких, как Травушкин.

— Я бы его живо урезонил, кабы не эта линия насчет перевоспитания! Новая это линия, и я не пойму ее... В газетах-то ничего не писали об ней. Ну, спасибо тебе! Бывай здоров! На неделе — жду тебя с актами. Приезжай, тогда еще поговорим.

---

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### 1

На задворках в конце вишенника некогда стоял омшаник для зимовки пчел. Во время раскулачивания пасеку у Травушкина отобрали. После отмены «перегиба» он вознамерился было отхлопотать ульи, но сыновья отсоветовали: зачем озлоблять власти и односельчан? Пасеку можно снова завести.

Травушкин согласился, ходатайства о возврате ульев не подавал, но и пасеку заводить наново не стал: заведи, а они опять заберут! Омшаник же приспособил под жилье: перестелил полы, исправил потолок, сделал крыльцо и назвал переделанный омшаник «кельей». В «келье» этой он и «спасался» с майских дней до белых мух, проводя в ней все свое свободное время. Сюда же, в сад, на лето переносил и собачью будку, посеревшую от дождей, а возле нее привязывал огромного пса Ведмедя ростом с месячного теленка, басистого и по виду злого. От гулкого лая Ведмедя даже не очень пугливым людям, зашедшим почему-либо в сад, становилось не по себе. Звеня кольцом, надетым на железную проволоку, протянутую поперек сада от одного забора до другого, пес бдительно похаживал взад-вперед и угрожающе рычал при малейшем шорохе.

После ссоры с председателем колхоза шел уже пятый день. Травушкина не звали на работу. По целым дням он сидел на крылечке «кельи» и занимался починкой обуви, натащенной ему еще до посевной. Если уставал или делалось скучно,

откладывал в сторону сапог, шило и дратву, подзывал к себе Ведмедя и, гладя его по толстому щетинистому загривку, начинал душевный разговор с ним:

— Ну, что, Ведмедюшко, что, милый? Перестали к нам с тобой захаживать. Ославили хозяина твоего на весь колхоз: Аникей Панфилов такой-сякой, контрик и вредитель... пищу портил! Им бы разве такое? Не наша с тобой воля, Ведмедюшко, мы бы им придумали чего-нибудь... И греха бы за них никакого, потому — безбожники. Грабители. Все у нас с тобой отняли, всю, можно сказать, жизню. Но ничего. Воскреснет бог, и расточатся врази его, яко дым от лица огня и яко тает воск!

И воображению Травушкина представлялось, что вот сидит он, одинокий, отверженный людьми, уединившийся от мирской суеты, словно святой угодник Серафим Саровский, только у того был прирученный медведь, а у Травушкина — пес.

Ведмедь, чувствуя, что хозяин в добром расположении, лежал у ног его, шевелил толстым хвостом, преданно глядел вверх на загорелое бородатое лицо, понимающе моргая небольшими черными глазами. Порой, зевая, широко раскрывая пасть и повизгивая, потягивался. Заметив, что пес начинает разнеживаться, Травушкин изо всей силы пинал его ногой:

— Пшел, мразь! Ишь, слюни распустил!

Опасался, что от чрезмерно мягкого обращения пес утратит ярость и злость, станет совсем ручным.

Взвизгнув, Ведмедь кубарем скатывался по ступенькам наземь и со злобным рычанием отходил к будке.

Чаще же всего в минуты отдыха Травушкин читал библию, евангелие, часослов — в зависимости от настроения. Читал на выбор полюбившиеся места. Например, в псалтыре ему нравились стихиры со слов: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых», в часослове — молитва Ефрема Сирина.

К священному писанию Аникея Панфиловича особенно сильно потянуло в тридцать втором году, когда он почувствовал, что старому укладу жизни, при котором можно быть богатым и иметь почет на селе, пришел конец. В то же время представилось, что крушение его надежд не случайно, что он, Аникей Панфилов, наказан богом за грехи. А то, что ему удалось избежать высылки, утверждало в мысли: господь не совсем еще на него прогневался и наказал временно, ради исправления. «Прежняя жизня может вернуться». Грехов у Травушкина было много: и обман, и воровство, и прелюбодеяние. Но главным грехом своим он считал охлаждение к

церкви, к молитвам. В церковь еще до революции ходил редко — на рождество, великим постом, во время говения и на пасху. А после революции как-то так получилось, что постепенно, незаметно перезабыл даже такие молитвы, как «Отче наш», «Богородицу», не говоря о «Верую», молитве довольно длинной. И он ревностно принялся исправлять свою оплошность, стал истово молиться, класть земные поклоны перед иконами, читать священное писание, надеясь таким усердием заслужить у «всевышнего» скорейшего возврата к той хорошей и счастливой жизни, какой жил когда-то и которая так часто вспоминалась, особенно в последнее время. Прошлое имело над Травушкиным неодолимую власть, и он не мог освободиться от видений пережитого, картин своего детства, уличных гуляний, женитьбы. Всегда он жил в достатке, не зная ни забот, ни нужды благодаря отцу. Отец был хоть из крестьян, но человек мастеровой, ходовый: и плотник, и сапожник, и слесарь, и кузнец. Несмотря на то что семья была большая, Панфил ухитрялся прокормить ее, обуть, одеть не хуже многих богачей. У него было четыре дочери, и всех он выдал замуж за богатых мужиков окрестных сел с приличным приданым.

Каким образом у Панфила так получалось — никто в точности не знал. А слухи ходили разные. Одни говорили, будто Панфил клад нашел в Лебяжьем овраге, другие — что смолоду в этом же овраге какого-то проезжего купца прирезал. Аникей Панфилович склонен был больше верить третьему слуху: будто Панфил с барыней слюбился, будто из-за него она даже Петербург покинула и зиму и лето жила в имении, хотя сам Шевлягин наезжал в Даниловку редко.

И вот барыня-то и сделала Панфила богатым мужиком. Завел он себе мельницу-ветрянку, маслобойку, кузницу, мебельную мастерскую, снабжавшую красной мебелью помещиков и богачей округи. Говорили еще, что Шевлягина предлагала ему переселиться в имение и жить с ней как муж и жена и обещала в дворяне его произвести, но Панфил будто наотрез отказался, заявив, что не может бросить детей и жену, с которой по-православному повенчан, и что никогда не променяет мужицкого своего звания на дворянское.

Одно всем известно хорошо — перед смертью Панфил разделил свое богатство между сыновьями и дочерьми. Аникею досталось две доли: младший брат Никанор к тому времени работал уже в городе, на заводе, и от наследства отказался. Он даже на похороны отца не приехал. Казалось непонятным и диким отношение к отцу брата Никанора, который,

бросив все, ушел в город. Аникей считал его сумасбродом.

Сделался Аникей поначалу довольно зажиточным середняком. А во время германской войны он круто пошел в гору. От армии ему удалось откупиться, и он пустился во все тяжкие: и хлебом торговал, и кожами, а главное, подрядился поставлять земству для фронта сапоги, валенки, полушубки, варежки. К концу шестнадцатого года его считали уже настоящим богачом, а сам он жадными глазами покашивался на Князев лес молодого Шевлягина, вступившего во владения отца, умершего в один год с Панфилом Травушкиным (жена старого Шевлягина умерла на два года раньше).

Пришла февральская революция. Хотя Травушкин был сторонником монархии, духом он не пал. Надеялся, что народ пошумит-пошумит, походит по улицам с кумачовыми флагами и утихомирится, а тем временем умные господа подыщут другого царя, поспособней и потверже Николашки. Николашка-то и в самом деле слабоват был: и войну не вовремя затеял, и царство не сумел в руках удержать.

Но царя нового так и не нашли, началась катавасия, целое лето деревня кипела через край, словно чугун с молоком на углях, а осенью и совсем полетело все вверх тормашками, и сами господа власть из рук выпустили. Делами стали заправлять большевики, на деревню посыпались ленинские декреты. Помещики поразбежались кто куда, землю их разрешено было делить между мужиками, но ни продавать, ни покупать ее уже было нельзя — запрещалось большевистским законом.

В первые дни после Октябрьского переворота Травушкин старался не растеряться, не перечить мужикам, действовать заодно с ними. Больше того, он возглавил разгром шевлягинского имения, пережив при этом сладкое чувство мести за свою родную мать, у которой, в сущности, барыня отняла мужа. Аникей знал и помнил, какие страдания причиняла матери измена отца. С легким сердцем и с сознанием законного права он вместе с другими мужиками тащил к себе барское добро. И уже начинал думать Аникей, что переворот этот не такое уж плохое дело. Одного было жалко: Князев лес — вожделенная мечта его — оставался недоступным, потому что новая власть сделала его государственным заповедником. Потом в село начали слетаться, как орлы, по одному, по двое солдаты-большевики. И к весне восемнадцатого года их уже столько набралось в Даниловке, что они захватили все в свои руки. И заварилась новая заваруха! Землю переделили, у всех лишнюю отобрали. А у Травушкина даже мельницу взяли в пользу общества. Оставили ему только кузницу.

Ой, как ярко Травушкин помнит осень семнадцатого и весну восемнадцатого года! Ведь с тех пор и пошла вся жизнь наискосок, не по той колее, по какой ему хотелось.

Правда, в гражданскую будто отлегло немного. Почти все солдаты-большевики ушли на фронт, в селе остались только те из них, у кого не было либо руки, либо ноги. И у Травушкина затеплилась надежда, что генералы заберут Москву, свергнут большевиков и Ленина, повернут всю жизнь на старый лад и снова богатому дано будет право действовать на полный разворот капиталов и уменья. Провалились генералы, ни дна им, ни покрышки! До сих пор Аникей Панфилыч не может им простить этого провала. Свергни они тогда Советскую власть и большевиков — вся округа лежала бы теперь у ног Травушкина, первым человеком был бы он на селе и мужичишки за версту отвешивали бы ему поясные, а то и земные поклоны!

А вместо этого что вышло! Кто такой по нынешним временам Аникей Панфилыч Травушкин? Колхозник! Водовоз! И какой-нибудь Свиридов, чей батька, бывало, лебезил перед Панфилом Травушкиным, в ноги кланялся из-за пуда мучицы, теперь может накричать на Аникея Панфилыча!

И когда начинал думать обо всем этом, сердце Травушкина спекалось, как шкварка на горячей сковороде, и он с разъедающей душу невыносимой болью шептал: «О, будь вы все прокляты, анафемы окаянные! Когда же на вас кара придет? Когда же кончится это божеское наказание? Господи! Прости мои прегрешения, а им устрой содом и гоморру!»

Самое тяжелое было в том, что об этих своих мучительных переживаниях никому во всем селе не мог он откровенно поведать, не с кем было поделиться думами, не с кем душу отвести, кроме как с Ведмедем, потому что думы эти — вредные для Советской власти и доверять их никому нельзя, даже собственной супруге. Есть у него в городе верные люди, с которыми о многом можно поговорить откровенно, да ведь туда не наездишься.

## 2

Солнце поднялось уже довольно высоко и светит таково ласково да приятно, всему живому свет дает, всех пригревает. Под вишнями и сливами молодая игольчатая травка, кое-где усыпанная вишневыми лепестками, нежными и чистыми, как первые снежинки. Там и сям разбросаны золотые монеты цветущих одуванчиков. Птички разные с ветки на ветку порхают, щебечут звонко, жизни радуются, а у Травушкина тем-

но на душе, как в глубоком колодце или в погребе. Поглядел на всю благодать, постоял, повздыхал. Сердце щемила непонятная тоска.

Ведмедь, увидя хозяина, приподнялся с земли, завилял хвостом и, раскрыв пасть, зевнул с повизгиванием.

— Жрать хочешь? — сердито спросил Травушкин и, вынув из кармана, швырнул псу кусок хлеба.— На, лопай!

Стал подшивать сапог — работа не клеилась, из рук валилась. Взял часослов, раскрыл на молитве Ефрема Сирина, вслух забормотал: «Господи, владыко живота моего... дух праздности, уныния не даждь ми».

Он не глядел в текст, хотя раскрытая книга лежала на коленях. Давно выучил молитву наизусть. Сегодня она производила на него какое-то особенное впечатление. Все слова ее были близки душе. Горечь, сожаление о неудавшейся жизни, раскаяние и другие смутные чувства переполняли его. Припоминал многие грехи свои: и пьянство, и блуд, и обиды, наносимые соседям, родным, жене. И даже в том сегодня раскаивался, что портил пищу на стане. Может, парни и девки, работавшие на севе, угодны богу, а он злился на них за то, что они хорошо и дружно трудились, испытывал удовольствие, когда они вместо испорченных щей или каши ели черный хлеб с солью и водой, потому что, наработавшись, сильно хотели есть. «Прости, господи! Пронеси беду мимо».

А беда — он чувствовал — надвигалась. У Свиридова теперь козырь против Травушкина. Одних актов на порчу пищи эвон сколько. Сам Аникей требовал писать их, чтобы Луше досадить. А вышло — на свою голову требовал. Правду сказал Свиридов: очуманел совсем. Не раз упреждали сыновья: «Батя, потерпи, не ссорься с людьми, веди себя мирно и пристойно». Так нет же, не утерпел. А теперь попробуй расхлебай эту кашу. Ему же они ни за что не поверят, он для них бывший кулак. Да еще, гляди, двадцать девятый и тридцатый вспомнят. У них же вся власть в руках, что захотят, то и сделают.

И Травушкина охватило такое страшное беспокойство, что впору было сорваться с места и бежать куда глаза глядят или спрятаться. А куда убежишь, где от них спрячешься? И оставаться жутко. Сидишь вот на крылечке, чинишь обувь, и вдруг появляется человек в красном околыше. «Пожалуйте бриться, гражданин Травушкин! Следуйте за мной!»

Нет, лучше во благовремении самому смыться. Уехать, к примеру, в город, переждать у Глафиры Веневитиной, если у сыновей нельзя.

Веневитина — бывшая жена председателя губернской земской управы, старинная любовь его. Вот у ней и пожить. А что дальше — видно будет. Может, тем временем все уляжется и забудется. Но к Глашеньке с пустыми руками не явишься, еще по зиме она жаловалась, что жить с каждым днем трудней.

Травушкин отложил в сторону часослов, вошел внутрь «кельи», закрыл за собой дверь на задвижку, задернул занавеси на окошках и полез в подпол. Некоторое время копался там, ругал себя, что не захватил ни спичек, ни свечки. Наконец вылез, вытащив порядочных размеров жестяной сундук, покрашенный масляной зеленой краской, сильно потемневшей от времени. Сундук, видимо, был нелегкий — Травушкин с трудом приподнял его обеими руками поверх половицы. Вылезши из подпола, отодвинул сундук на середину комнаты и, погремев ключами, раскрыл его.

Все лежало нетронутым, как было положено. Да и кто мог тронуть? Ни одна душа во всем белом свете не знала и не подозревала даже о существовании этого сундука, запрятанного с давних пор; даже Настасья — жена — не знала. Если бы кому вздумалось искать чего-либо, то искали бы в жилой избе, а не в омшанике. А стали бы и тут искать — не нашли бы, потому что и в самом подполе он спрятан так, что его может найти только тот, кто спрятал. Пожалуй, поболе двадцати пяти лет, как завелся такой сундук у Травушкина. За это время над селом пронеслось немало бед, а сундук стоял себе в неизвестности, наполнялся, ждал поры своей и... не дождался! Дождется ли? А ведь именно в нем заложена динамитная сила, которая могла бы перевернуть на селе вверх дном весь колхозный строй, а то и саму Советскую власть!

Вот они, мешочки! Их двадцать штук — серых, холщовых, тяжелых. Они от времени почернели уже, но, прижатые один к другому, словно кучка солдат, стоят плотно, неколебимо. И все набиты одним золотом — серебра в них нет — царскими и даже советскими монетами (было время, Советская власть пустила в оборот золотые — и Травушкин не прозевал, немалое количество их залучил в свой сундук). В некоторых мешочках — серьги, кольца, браслетки. Все собиралось и копилось еще в годы самодержавия, затем в гражданскую войну, при нэпе. Но тут не одни золотые, есть и бумажки. Они тоже завернуты в холщовые тряпки, перевязанные суровыми нитками. Всякий раз, когда Травушкин глядел на эти пачки, ему становилось не по себе. Они — явное доказательство его глупости. В самом деле, разве не глупость — в годы

гражданской войны ездить в Москву специально затем, чтобы наменять на черной бирже вот этих красивых бумажек, которыми теперь только стенки разве оклеивать. Вон их сколько!

Травушкин развернул одну из пачек. Это были царские сотенные — «катеринки». Есть такая же пачка «петрушек» — царских пятисотенных.

Заманчиво было доставать их тогда по дешевке. Надеялся, что вернется старый режим и денежки его обретут свою прежнюю силу. О, тогда бы Травушкин развернулся! За одного такого «петрушу» можно было бы купить полдюжины хороших коров или чуть не стадо овец. А их, «петрушек», в одной связке сто штук. Пятьдесят тысяч рублей! Хорошо, что вовремя спохватился, вместо бумажных денег стал запасаться золотом, оно при любом режиме цены не теряет. Но и с бумажными царскими деньгами, которые не успел обменять на золото, до сих пор не мог расстаться. Все еще верилось, что может жизнь повернуть на старую, наезженную колею.

Отобрав четыре золотые пятерки, Травушкин сунул их в карман и завязал мешочек. «Хватит,— подумал он о Глашеньке.— Ей хоть тыщу дай — не откажется!»

Это он готовился к уходу в город, к Глафире.

## 3

Скрипнула калитка. Ведмедь, загремев цепью, захлебнулся в яростном лае. Кто-то чужой! Морозный холодок сжал сердце, зашевелил волосы. Травушкин кинулся к окошку, приоткрыл занавеску и... обомлел: возле калитки в нерешительности стоял секретарь райкома партии Демин, а сзади какой-то незнакомый мужчина. Оба одеты по-летнему: Демин — в неизменной, защитного цвета гимнастерке с отложным воротом, незнакомый — в пиджаке, светлой рубашке, при бордовом галстуке.

Конец! Пришли за ним!

Травушкин пал на колени, подполз к сундуку, дрожащими руками закрыл его и спихнул в подпол. Тихонько опустил половицу, застелил половиком. Что же делать? Не показываться? Может, они постоят и уйдут? Или в подпол нырнуть? А если искать станут? Дверь закрыта не снаружи, изнутри. Догадаются, что он здесь. Хуже будет.

Ведмедь что-то утих. Ушли, наверно, нежданные гостечки. Снова украдкой глянул в окно. То, что он увидел, совершенно обескуражило: незнакомый мужчина стоял на тропке поодаль, а Демин, опустившись на корточки, гладил Ведме-

дя по голове, и тот, паршивец, хоть бы что! Только хвостом повиливал! «Испортил я собаку лаской да баловством. Ему, черту, по неделе жрать не давать!» — со злобой подумал Травушкин. Делать было нечего, надо выходить.

— Здравствуйте, Лексан Егорыч! — выйдя на крыльцо, негромко проговорил он, елико возможно спокойным голосом.

Демин приподнялся:

— Здравствуйте, Аникей Панфилыч! В гости к вам.

Он подошел к хозяину и протянул ему руку.

— Милости просим, Лексан Егорыч, гостям всегда рады,— приветливо вымолвил Травушкин, про себя подумав: «Стелешь ты мягко. В гости приехал... С какой бы стати? Что-то раньше не езживал ты ко мне».

— Незваные гости хуже татар! Так, что ли? — усмехнулся Демин.

— Что вы, что вы, Лексан Егорыч! То в старину так говорилось. Теперича по другим законам живем.

Демин с какой-то напускной веселостью добродушно согласился:

— Правильно, теперь по другому закону... По советскому. Познакомьтесь. Следователь районной прокуратуры товарищ Гришин.

Побледнев, Травушкин подал следователю загорелую, со вздушимися жилами руку. «Вот и дождался следствия! Дубина я, давно надо было смыться!»

— Мы со всей душой! — изменившимся глуховатым, приторно-ласковым голосом произнес Травушкин.— Нежданно, правда... Чем же мне вас угостить? Хозяйки моей нету...

— Ничего не надо, Аникей Панфилыч,— остановил его Демин.— Мы, собственно, побеседовать зашли.

— Нет, как же! Этак не положено.

Травушкин нерешительно переступил с ноги на ногу, не зная, что делать и как быть. Может, и вправду угощение сготовить?

— А где бы нам с вами посидеть? — деловито спросил Демин, видя полную растерянность Травушкина.— Здесь или в избу зайдем?

— Пожалуйте в мою келью! Там тихо, прохладно, и пес не будет мешать, а то, слышите, рычит, зверюга. Это он на товарища следователя, наверно. Вас-то, Лексан Егорыч, почему-то признал.

Демин тихо засмеялся.

— Я из укротителей,— шутливо сказал он.— Слово знаю.

Любого зверя могу утихомирить. А Ведмедя вашего и подавно: староват уже он становится. Ни силы, ни злости настоящей. Он ведь и кидается и лает по привычке больше, а сделать уж ничего не может. Потому и не страшен... Ну, и потом, я помню русскую пословицу: не та собака кусает, что лает, а та, что молчит да хвостом виляет.

— Чудно, ей-право! К моему псу ни один сосед не смеет подойти, а вы вон как, чуть не в обнимку с ним! — удивленно покачал лысой головой Травушкин.— Неужели и вправду остарел пес?

— Остарел, остарел,— подтвердил Демин уже серьезным тоном.

## 4

Внутри «кельи» было довольно уютно. Полы вымыты, от двери до противоположной стены протянут домотканый половик. В одном углу — широкая деревянная койка с постелью, накрытой пестрым лоскутным одеялом, на постели — две пуховые взбитые подушки, положенные одна на другую. В переднем углу — деревянный стол, около него — самодельные, прочные на вид стулья со спинками. Над столом иконостас. В центре иконостаса — спаситель, по бокам — божья матерь, Пантелеймон-исцелитель с чашей в одной руке и маленькой ложечкой в другой, Николай-чудотворец и малоизвестные, пониже чином, святые. Перед спасителем — огонек в темно-синей лампадке, подвешенной к потолку на трех медных, начищенных до блеска цепочках.

Травушкин приветливо пригласил:

— Присаживайтесь, будьте ласковы, дорогие гостечки. Водки купити — хозяевами будете,— натянуто пошутил он, расставляя стулья вокруг стола. Мимоходом потушил лампадку.

«Они, поди, безбожники, им только на смех и иконы мои и лампадка».

Демин суховато заметил:

— Зачем же вы потушили? Пускай бы горела, нам она не мешает.

Травушкин поскреб пальцами в бороде, хотел, видимо, что-то сказать, но промолчал. Гости сели. Он продолжал стоять, решив про себя, что сейчас начнется допрос и поэтому ему не надо садиться. «Зачем со следователем сам секретарь райкома? — недоумевал он.— Наверно, дело-то я заварил политическое!»

Демин, мельком взглянув на Травушкина своими узкими монгольскими глазами и видя, что он стоит, вежливо предложил:

— Да вы садитесь, Аникей Панфилыч. В ногах правды нет, а разговор у нас длинный.

Травушкин с видом обреченного не спеша присел с другого конца стола, машинально пригладил ладонями остатки волос вокруг лысины. Демин и следователь некоторое время молчали. Похоже было, что они не знали, кому первому и с чего начать. Наконец Демин негромко спросил:

— Аникей Панфилыч! Вы жалобу подавали на Дмитрия Ульяныча?

— Точно так, Лексан Егорыч, подавал.

— И все, что написано в ней,— правда? — официально и полувопросительно с глубокомысленным видом проговорил следователь.

Травушкин склонил голову набок, неуверенно дернул одним плечом.

— Да ить оно как сказать.

Именно как сказать, он теперь и не знал. Сказать — правда, а вдруг они уже знают, что это неправда, вдруг они побывали у Демьяна Фомича и тот со страху отказался подтвердить рукоприкладство. Иначе зачем бы следователю спрашивать — правда или неправда.

Подумав, Травушкин с запинкой, слабым и как бы виноватым голосом пояснил:

— Оно как бы и правда и не совсем правда.

Демин криво усмехнулся:

— Непонятно говорите, Аникей Панфилыч. Ударил вас Дмитрий Ульяныч или нет?

Неожиданно для самого себя Травушкин откровенно признался:

— По совести сказать — не бил.

— А зачем же писали? — Демин удивленно расширил карие глаза, извилистые черные брови его дернулись вверх.— Как это — не бил, а вы пишете: по сусалам...

— Кричал он сильно... замахивался,— медленно рассказывал Травушкин, чувствуя почему-то облегчение оттого, что сознался в лживости своей жалобы.

— Замахивался! — возмущенно воскликнул Гришин.— Это же совсем иная статья, папаша!

— Конечно, иная,— поспешно согласился Травушкин.— Только ведь и от замаха человек сохнет. И опять же обидно... Не молоденький уж я...

— Стало быть, вы от обиды написали и немножко преувеличили? — подчеркнуто вежливо спросил Демин.

— Именно так,— охотно и торопливо подтвердил Травушкин. И снова подумал: «С перепугу ото всего отказываюсь. Теперича совсем пропал. Клевету припаяют». Ему непонятно было, как так сразу и очень просто вышло. Либо и вправду Демин слово какое-нибудь знает, если пес на него не бросается и сам хозяин растерялся перед ним, будто перед нечистой силой.

— Что же! Все ясно! — Демин мягко и снисходительно улыбнулся.— Значит, можно вашу жалобу считать недействительной? — спросил он, пристально глядя на растерянного жалобщика.

— Точно так, недействительной,— с готовностью повторил Травушкин, чувствуя, что у него от этого разговора по всему телу уже пот начинает выступать.

Гришин вытащил из портфеля бумажку и положил ее на стол. Травушкин узнал в ней свою жалобу.

— Что же с ней теперь делать? — озабоченно и озадаченно спросил следователь, глядя то на Демина, то на Травушкина.

— Воля ваша,— буркнул Травушкин.

— По моей воле,— опять дружелюбно заулыбался Демин,— я бы ее на вашем месте, Аникей Панфилыч, порвал и больше таких жалоб не писал. Писать надо всегда правду, а если неправда — зачем же людей морочить?

— Можно и порвать,— поспешил согласиться Травушкин.

— Значит, мировая! Вот и прекрасно! — Демин встал, прошелся по комнате.— Ну, товарищ Гришин, вы свое дело сделали. Полагаю, теперь ни Демьяна Фомича, ни Дмитрия Ульяныча нет смысла допрашивать. Езжайте и доложите прокурору, чем все кончилось. А я еще посижу с Аникеем Панфилычем.

Травушкин успокоился было, но, когда Демин сказал, что останется, его снова взяла оторопь. О чем же секретарь собирается разговаривать с ним? Не о вредительстве ли? «Напрасно я от жалобы-то отказался. У председателя против меня акты, а у меня против него теперь шиш голый!»

## 5

Проводив Гришина, чтоб того не тронул Ведмедь, Травушкин вернулся в комнату и засуетился. Схватил самовар, налил его водой из ведра, стоявшего у порога.

Поняв, что его хотят угощать чаем, Демин стал отказываться:

— Напрасно беспокоитесь, Аникей Панфилыч.

— Ну как же! — растроганно и гостеприимно заговорил тот.— Невозможно иначе. По русскому обычаю. Гость вы для меня редкий... и не какой-нибудь... не сосед или сват, а, прямо сказать, первеющий! По-старинному-то если прикинуть, вы поболе земского начальника. А где это видано, чтоб земский запросто в избу к простому мужику... А вы вон как... не погнушались. И обращение тоже... Ведь за такую мою кляузу земский ногами на меня топотал бы, а то и лещей надавал. Не бреши! А вы, Лексан Егорыч, голоса не повысили. Это же понимать надо! Так что уж дозвольте ото всей души... доставьте удовольствие. Самоварчик живо закипит, я его сосновыми шишечками...

В открытое окно скоро в самом деле потянуло душистым сосновым дымком. Пока поспевал самовар и старик собирал на стол, Демин побывал в саду, внимательно осмотрел его. Вернувшись и садясь за стол, он сказал:

— А садик у вас хороший! В нем не одни вишни — есть и сливы, и груши, и яблони, и смородина.

— Всего понемножку,— сказал Травушкин.— Только разве же это сад! При бате моем тут был сад до самой аж до речки. Отрезали... у всех отрезали. А зачем? Голо теперь на том месте. Свиней пасут.

— Это вы правильно говорите — напрасно сад извели. Отрезали, наверно, потому, что лишняя земля была за колхозниками. Ну и сделали б колхозный сад.

— Ежели бы так, Лексан Егорыч...

— А вы бы подсказали.

— Кто станет слушать мою подсказку? Ну-с, давайте закусим, Лексан Егорыч. Насчет чего-нибудь такого... я уж не знаю как... дозволяется ли вам...

На столе, накрытом чистой льняной скатертью, шумел самовар, стояли чашки, чайник, мед в эмалированной миске, скворчала сковорода горячей яичницы на свином сале. Демин окинул все это быстрым взглядом.

— Это вы на спиртное намекаете? — усмехнулся он.— Во благовремении, как говорится, почему же! Ее же и монаси приемлют. А мы, коммунисты, не монахи, Аникей Панфилыч. Запрещения нет! Но лично я — непьющий.

— Вот, стало быть, как! А я думал, партейным нельзя к ней прикладываться, хотя того в уставе вашем не сказано.

— Вы знаете устав партии?

— Читал. Из любопытства. Сыны-то у меня партейные. Не подумайте, что сам собирался вступать.

— Почему нельзя так думать?

— Да кто же тут меня примет? Я же, по-ихнему, «бывший»!

— По-чьему это «по-ихнему»?

— Руководов наших разумею.

— А на самом деле?

— А на самом деле, Лексан Егорыч, какой же я бывший? Жил, правда, хорошо, не жалуюсь. Земли Советская власть давала вволю. Только трудись. Но ничего особо лишнего, Лексан Егорыч. Ну, было у меня в ту пору две коровенки, десяток овечек, две лошадки... вот и все мое богачество. Насчет работников попреки тоже. А я их не держал, случалось только — иное лето возьмешь на недельку-другую в страдную пору, ежели неуправка... Это же и Советской властью дозволялось.

— А за что же вас раскулачивали?

Травушкин развел руками:

— А бог их знает! Погорячились, видно. Благодарение господу, областные власти разобрались быстро, а то бы мне Сибири или Соловков не миновать.

— Говорят, вы до сих пор злитесь на колхозников за раскулачивание?

— Мало чего не наплетут на человека. Зачем бы я злиться стал? И какой в той злости толк?

— А почему же вы пищу на стане портили?

Травушкин чуть блюдце не выронил из руки. «Вот оно что! Вишь, с какого боку подъехал! Ну и хитер. Нет, не простят они мне пересолы эти! Как же быть? Вразуми, господи! Сознаваться не надо. Нельзя! Хватит и того, что с жалобой промахнулся...»

— Наветы, Лексан Егорыч, наветы! — сказал он. — Ничего такого с моей стороны не было. Поверили Кулькову А он, Кульков-то, либо по злобе, либо ему померещилось. Ну, подумайте сами: для чего бы я стал займаться таким делом? Смеху подобно, Лексан Егорыч. Ребячья затея. А дело-то простое: стряпуха в том повинна. Помощницы у ней нету, все делать ей приходится своими руками. А дел уйма. Одной картохи ведра два надо начистить. Вот она замотается да раза два, а то три посолит! По забывчивости! А они давай виновного искать. Обидно даже слушать такое на старости лет, Лексан Егорыч. Мужики смеются, проходу не дают.

В голосе Травушкина появилась неподдельная дрожь, глаза заволокло влагой.

Демин сочувственно сказал:

— Ну, вы не расстраивайтесь, Аникей Панфилыч. Обойдется. Зачем же так близко к сердцу принимать! Важно, чтоб вы против колхозного строя не шли, а наветы все развеются, раз вы правы.

— Против колхозного строя! — горестно покачал головой Травушкин.— Скажут же! Это либо Митрий Ульяныч вам доложил? Да господи, да как же я могу против? Сыновья партейные, сам в колхозе... Не скрою: было время, говорил слова́ разные, нехорошие слова про колхозное житье... так это же больше десяти лет назад! А теперича я разве не вижу, к чему дело двигается? Чай, не слепой! Счастливая, можно сказать, жизня зачинается... и вдруг я стал бы перечить. Ведь это так надо понимать, Лексан Егорыч, я не только колхозникам на́шим наперерез пошел бы, а и партии всей, и государству, и самому аж товарищу Сталину! Мысленное ли дело? Не такой я древний старик, из ума еще не выжил!

Весь этот разговор произвел на Демина благоприятное впечатление. Задушевный тон, дрожь в голосе, слезы, не однажды набегавшие на глаза Травушкина не оставляли сомнения в искренности его сло́в и наводили на мысль, что в отношении к нему в селе и районе допускается какая-то ошибка, несправедливость. И теоретически он так осмыслил создавшееся положение: Травушкин был когда-то середняком, причем, видать, зажиточным. В дни коллективизации его «подстригли» под одну гребенку с кулаками... Перегнули. Сверху перегиб исправили, высылку отменили. Но у колхозников создалось убеждение, что Травушкин выкрутился каким-то неправильным способом. Не зря же и до сих поговаривают, что его спас старший сын — коммунист. Но, спрашивается, как бы сыновья его могли вступить в партию, если бы он сам был кулаком? Ведь старший, говорят, давно в партии.

## 6

Распрощавшись с Травушкиным, поблагодарив его за чай, Демин заехал в правление, чтобы поговорить с председателем о несправедливом отношении к старику и о предоставлении ему работы, о чем особенно настойчиво просил Травушкин.

— С тоски можно помереть без дела, Лексан Егорыч,— говорил он.— Я же могу еще пользу приносить. Скажите Митрию Ульянычу, пусть он пошлет меня в бригаду.

В правлении Демин высказал все свои соображения насчет Травушкина. Свиридов пытался возражать, но Демин отмахивался. Ему уже трудно было отказаться от взгляда на Травушкина как на середняка, нечаянно пострадавшего во время коллективизации. В районе это был не первый случай. Лес рубят — щепки летят! Но пора, пора уже и щепкам лад дать!

— Вы уж, пожалуйста, не тесните старика,— убеждающе говорил он председателю.— Мы с вами не имеем оснований лишить его права на труд. Конституцию читали? Это во-первых. Во-вторых, предположим, ты верно рассуждаешь. Травушкин является носителем пережитков капитализма...

— Чего предполагать, Алексан Егорыч,— горячо перебил Свиридов.— Настоящий носитель и замаскированная контра! Мы-то знаем его сколько лет!

— Все равно, Дмитрий Ульяныч. Надо перевоспитывать человека. Легче всего голову отрубить, если эта голова думает не так, как мы с тобой. Но надо убеждением... Добейся, чтобы эта голова думала заодно с нами. Вот была бы победа!

— Голову ему рубить не собираюсь,— угрюмо и раздраженно сказал Свиридов.— Но и перевоспитывать не намерен. Да разве его перевоспитаешь? У него все мозги леший знает чем понабиты: и библия там, и псалтыри разные, и евангелие! Да что мне, только и делов с Травушкиным возиться? Пускай уж он сам перевоспитывается. А меня от такой обязанности увольте! Я уже докладывал вам... Или нехай его перевоспитывает секретарь нашей парторганизации.

— Половнев?

— Вот именно,— сказал Свиридов.— Его кровное дело перевоспитывать всяких.

— Ты же сам говорил, что между ними давнишние нелады.

— А я с Травушкиным тоже никогда в ладах особенных не жил, а теперь и подавно не собираюсь.

— Ну хорошо. А насчет работы как?

— Пускай работает. Только как Огоньков? Примет ли он его?

— А больше некуда?

— Куда же его? Сторожем разве? Ток новый готовим. Машины туда скоро посвезем.

— Вот и великолепно,— обрадованно сказал Демин, довольный тем, что наконец намечается выход из острого положения с Травушкиным. На том и порешили.

А Травушкин, проводив Демина, вошел в «келью», стал

перед иконостасом на колени и, размашисто крестясь, выдохнул:

— Пронесло, кажись! Благодарю тя, господи! Не оставил еси раба твоего грешного. Под корень же могли подрезать!

История с пересолами стала понемногу забываться. Только в бригаде Огонькова иногда вспоминали о ней, да и то больше с шутками, со смехом.

— Эх, тетя Луша! Скушно как без Аникея Панфилыча! Так хочется просоленных щец! У тебя что-то насчет пересолов слабо получается. Скупишься, наверно, соли тебе жалко!

За столом смеялись. Луша махала рукой:

— Хватит вам. Чего вы его поминаете? Я без него вздохнула хоть!

Сторожем на ток Травушкин пошел охотно. Работа нетяжелая, народу на току покамест мало, он больше будет в одиночестве. После всех передряг и страхов, пережитых им в последние дни, это было как раз то, что ему и нужно. Тут будет спокойней и богу помолиться, и священное писание почитать. Одного он никак не мог забыть и понять: почему Ведмедь не тронул Демина, который гладил собаку, словно овечку? А может, и вправду пес остарел совсем и на свалку его пора?

«Да и сам я — того... старею! — с грустью и горечью подумал вдруг Травушкин.— Ничего уж я не могу... и ничего не сделать мне с ними... Не дождаться, видно, мне настоящей, хорошей жизни... Нет, не дождаться».

И на глазах у него выступили скупые слезы обиды на судьбу свою и на всю жизнь, сложившуюся совсем не так, как он когда-то мечтал.

---

# ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

## 1

Пелагея Афанасьевна Половнева проснулась от пения старого петуха. В избе было темно, едва заметно серели окошки. Вслед за петушиным криком на насесте зашевелились, загомонили куры.

Петр Филиппович лежал навзничь и слегка всхрапывал; не то в горле, не то в груди у него что-то шумно хрипело и свистело.

Пелагея поняла, что приближается утро. И сразу ее осади-

ли думы о разных домашних делах, которые надо успеть переделать до ухода в поле: истопить печку, начистить и сварить картошки, проводить в стадо корову и овечек, дать корм поросенку, помыть горшки, простирнуть мужнину рабочую рубаху. И как только обо всем этом вспомнила, так почувствовала, что больше уже не заснет, хотя по времени с полчасика, а то и больше можно бы и вздремнуть. Но и вставать неловко, жалко мужа, спавшего с краю: станешь спускаться на пол, через него,— обязательно нарушишь ему предутренний сон.

Глядя в потолок и сдержанно дыша, она стала думать о замужней дочери Клавдии, живущей в Александровке, о старшем сыне Грише. И с дочерью и с сыном Пелагея давно не видалась, а сами они не навещают что-то родительский дом. Гриша хоть изредка письма пишет, а от Клавдии ни слуху ни духу. Недавно Галя ходила в Александровку, но Клавдию дома не застала, она уехала в город. Понятно, не зря, по делу, гляди, чего-нибудь продавать повезла. Клавдия — хозяйственная, у нее копейка из рук не вывернется.

Не переставало беспокоить и недавнее письмо Григория, в котором он извещал о рождении мальчика и приглашал к себе. Пелагея готова была тотчас же поехать, да Петр Филиппович просил подождать. У него, вишь ли, работы много. А в кузне ее всегда полно. Захотел бы — урвал два-три дня, отпустил же своего напарника Ершова, мог бы и Ершов тогда поработать один.

И Пелагея чувствовала, как в ней нарастает раздражение против мужа: никогда его не уговоришь сделать так, как надо, постоянно упрямится.

Правда, после, по прошествии времени, согласится, но как часто бывает уже поздно! Вот и насчет Гали Филиппыч никаких резонов не признает. А ведь права Пелагея, ой как права! Девке девятнадцатый, а она не замужем! Учиться, дескать, надо. А зачем? Десять лет проучилась — и хватит. Сколько их, Галиных ровесниц, семилетки пооканчивали и больше не учились. Зато, почитай, все уже замужем.

Пелагея бесшумно вздохнула. «Не понимает мой Филиппыч в житейских делах, как есть ничегошеньки не смыслит. Надо же додуматься дочку в ученые выводить! Будь бы уж девка какая-нибудь неудалая, нездоровая или страхолюдная, куда ни шло, пускай бы училась, а то краля писаная! Ну, я не уступлю, все равно на своем настою!»

Завозилась кошка, лежавшая на кровати возле стенки, затем мягко прошлась по ногам, спрыгнула на пол и замяукала у двери. Хошь не хошь — надо подниматься!

Пелагея осторожно высвободилась из-под одеяла, прикрыла получше мужа и, чтоб не разбудить его, потихоньку стала спускаться с кровати.

— Да замолчи ты, окаянная! — шепотом ругалась она на мяукающую кошку.

Но ни кошка, ни она сама, ни легкий скрип двери не разбудили Петра Филипповича. «Вот и хорошо, пускай маленько поспит! — Пелагея постояла возле кровати, послушала все такое же неровное, с шумным хрипом и присвистом дыхание мужа.— В грудях у него — от табачища. Не зря всех табакуров ругает Лаврен Евстратыч! Вишь, насвистывает, словно мехи у него там!»

Отойдя на цыпочках, Пелагея зажгла лампу, затопила печку и принялась чистить картошку. Когда рассвело и проснулся Петр Филиппович, на столе уже стояла вареная картошка, хлеб, кислое молоко.

Половнев сел завтракать, а Пелагея погнала корову и овечек в стадо. На обратном пути ей встретилась Настасья, жена Аникея Травушкина. Несмотря на то что их мужья на протяжении долгих лет враждовали между собой, обе женщины жили в мире и добром согласии.

Сдружились они давно, еще в годы гражданской войны. Настасья Травушкина тайком от мужа частенько помогала Пелагее, чем было возможно: и хлебом, и мукой, и дровами, и даже одежонкой для детишек. Время было тяжелое, сам Половнев воевал с белыми, а семья бедствовала. Да и после, когда Половнев работал в кузне Травушкина, Настасья не оставляла семью подруги своими заботами, она была женщина добрая и жалостливая, может потому, что сама родилась и выросла в бедности.

— Здорова была, Полюшка! — ласково сказала Травушкина, останавливаясь.

— Твоими молитвами, Настасьюшка, живу, топчусь! — сердечно ответила Пелагея.

И заговорили о том о сем, о разных домашних делах, о соседях. Потом, понизив голос, Травушкина сообщила, что на днях снова приедет Андрюша.

— Пишет, милая, будто совсем сна и покоя лишился,— с ласковой доверительностью говорила она.— Поедом ест его тоска по твоей Галюше. Приеду, грит, хоть издаля погляжу! — Травушкина улыбнулась, тонкие морщины возле носа и глаз углубились, стали резче. Лицо ее, обычно озабоченное, хмуроватое, подобрело, повеселело.

— Поди же ты! — нараспев сочувственно сказала Пела

гея, отвечая улыбкой на улыбку.— У молодых так бывает, бывает, родная! И чем она ему приглянулась, Галка-то наша? Ничего же нет в ней такого... особенного. Найдутся девки и получше,— скромничала она.

— Что ты, что ты, голубушка! Такой и во всей округе не найтить. Девушка при всех статьях. Как же «чем приглянулась»? Кабы дело-то у них с Андрюшкой сладилось, лучшего я и не хотела бы! Не говорила со своим мужиком?

— Говорила, родная, как не говорить!

— И что ж он?

— Ай ты не знаешь моего медведя! Ни мычит ни телится. Да что он? Не в ем загвоздка. Согласится Галя — он слова не молвит. Любимица, души в ней не чает.

— А Галя как?

— Не насмелюсь, родная, поговорить, не насмелюсь. Девки-то теперь ндравные пошли... не знаешь, с какого боку и подъехать. Не в тот час сунешься — и все испортишь.

— Что верно, то верно,— согласилась Настасья все тем же ласковым голосом.

— Да ты не сумлевайся, родная! Уломаю я Галю-то, уломаю! — уверенно пообещала Пелагея, уголком платочка вытирая тонкие губы.— Не сегодня-завтра уломаю. Уговорила же прошлый год не ехать на ученье, уговорю и замуж выйти за Андрюшку. Мне он дюже по душе. И учен, и собой видный, и обходительный, не то что наши деревенские охломоны, что ни слово, то мать-перемать. Опять же трезвый. Какого же рожна ей, Галке-то, нужно? Не сбрешу, скажу: твой Андрюшка мне милей своих ребят! Такого парня поискать да поискать!

— Да ить ухажер вокруг Гали, кажись, увивается,— сказала Настасья.

— Крутояров-то? Волочится за ней. Ну и что! На то девка, чтоб парни в хвост ходили! А чтоб чего-нибудь сурьезного у них — ни вот столечко,— Пелагея показала свой суховатый, немного сморщенный мизинец.— Ну, сама посуди, на ляд он ей! Девка не сказать там какая-нибудь... но без изъяна... образованная. А Крутояров кто такой? Ить за него выйти — всю жизнь портки его грязные полоскать! Нет, моя родная, того я не допущу, пока жива! Да будто и поссорились уж они намедни. Отбой дала ему Галка-то! — доверительно сообщила Пелагея.

— Ох, пошли господь, по-нашему с тобой чтоб вышло! Уж я как рада была бы. Сто благодарственных молебнов отслужила бы, если б у Андрюши с Галей сладилось!

— Сладится, родная, сладится! Они что, Галя с Андрюшей? Они — дети! От нас с тобой зависимо. Твой-то не против?

— Да что ты! Галка всегда по ндраву была Панфилычу. Может, насчет приданого у тебя сумление? То я так скажу — за ним ни мы, ни Андрюша не гонимся.

— Насчет приданого чего же... Люди мы не богатые, а девке кой-что справлено... Моими заботами, родная... Ты не думай, девка не голая. И пальтушки, и постель, и сундук снаряжен. Все честь по чести.

Так две матери все обговорили, все заботливо предусмотрели, решая судьбу своих детей.

## 2

Когда Пелагея вернулась домой, Петр Филиппович ушел уже в кузню. Галя спала в горнице. Пелагея посмотрела на ходики. Маятник поскрипывал, бойко отсчитывая секунды. «Пусть еще поспит»,— подумала она о дочери и понесла корм поросенку. На обратном пути обыскала корзины, в которых куры откладывали яйца, сыпанула в сенях для цыплят горсть пшена. Теперь все домашние дела как будто были справлены, пора идти в поле.

Пелагея вошла в горницу. У дочериной кровати остановилась и загляделась.

Галя спала вверх лицом на подложенных под голову руках, до самых локтей закрытых густыми черными волосами, завивавшимися в кольца. Лицо девушки было безмятежно. Небольшой рот с четко очерченными губами чуть приоткрыт. Пелагея покачала головой. «Вся в Филиппыча, и нос такой же с горбинкой, и мастью в него, как цыганка. Только рот... рот как есть мой. У Филиппыча губы-то куда толще,— подумала Пелагея.— А хороша девка! Что хороша, то хороша,— восхищалась она дочерью.— Много красивей Клавдии!»

Самой Пелагее неловко было хвалить родную дочь, но в душе она была согласна с Травушкиной. И разве же порядок, чтобы такую красавицу заставлять учиться. Ей детей рожать пора. Вовремя замуж не вышла — в подоле принесет. По нынешним временам все может случиться.

Пелагея присела на краешек кровати, погладила дочь по смуглому лбу, провела пальцами по черным тонким бровям, словно расправляя их.

— Пора вставать, доченька!

Не открывая глаз, Галя слабо проговорила:

— А я не сплю, маманя. Я все слышу. И как ты ставни открывала, и как шептала что-то.

— Не спишь, а проснуться не можешь.— Пелагея усмехнулась, принимая руку с дочериного лица.

— Ну сейчас встану, одну минуточку! — прошептала Галя.

— Опять, наверное, книжку читала до полночи! — с ворчливой ласковостью молвила Пелагея.— Вставай, вставай!

За завтраком она исподволь повела разговор о том, как дальше быть. Неужели Галя и вправду осенью в «ниверситет» этот поедет? Ученье, конечно, дело неплохое, да до коих же пор учиться? Это же так и в вековухах можно остаться.

Галя молчала.

— Настасью Травушкину встрела утресь,— закончив «подходы», раздумчиво продолжала Пелагея после минутной паузы.— Бает, без памяти влюбился Андрюшка ее! И не мудрено. Разве не в кого влюбиться? Девка ты хоть куда, и не какая-нибудь, а с образованием. Чай, перед градскими-то в грязь лицом не вдаришь ни в речах, ни в наружности. Я, доченька, обеими руками благословила бы... Да ить с Илюшкой, кажись, чего-то у тебя. Гуляешь ведь с ним?

Галя недовольно посмотрела на мать:

— Откуда ты взяла? Ни с кем я не гуляю!

Пелагея поджала губы, понимающе качнула головой:

— Слыхала я — поссорились вы... Что ж, оно, может, и к лучшему. Чего в ем, в Крутоярове? И какая с ним будет жизня? Керосин, масла всякие, грязь, одна стирка замучает. Не затем же ты училась, чтоб в нашей деревенской грязи ковыряться. В городе тебе надо жить. У Андрюшки, бают, квартира-то прямо господская: там и ванная, и радиво, и телефоны, и шкапы полны книжек. Выйдешь за него — можно и учиться опять, если тебе такая уж охота. Чай, он там не последняя спица в колесе: жену устроит!

Пока мать говорила, Галя не торопясь продолжала есть молоко с пшенной кашей из эмалированной металлической миски.

Было похоже, что она слушает не только внимательно, но и благосклонно, как бы соглашаясь с материнскими доводами. Да и как не согласишься! Мать же тебе всю правду истинную говорит. И, поглядывая изучающе на дочь, Пелагея радовалась. Раз дочь не перечит, значит, согласна!

И Галя действительно слушала мать и невольно думала: «Жихарев в город звал, и мама хочет, чтоб я в городе жила. Почему они считают, что тут, в Даниловке, не место мне?

Лучше всего бы, уж если выходить замуж, выйти за Илюшу. А Илюша... насмеялся надо мной».

С новой силой обида вдруг захватила дыхание, слезы навернулись на глаза. Галя бросила ложку на стол, закрыла лицо руками и кинулась в горницу, словно прячась от кого-то. Пелагея, ничего не понимая, в испуге заспешила вслед. Повалившись на кровать лицом в подушку, Галя рыдала.

— Что с тобой, доченька? — плаксивым голосом спросила мать.— Аль я чего обидное сказала?

Галя не ответила. Все тело ее содрогалось.

— Что же такое, господи милостивый! О чем ты, донюшка? Скажи хоть словечушко.

Материнским сердцем Пелагея почуяла, что у дочери какое-то большое горе. Но какое? Так плачут, только если теряют родного человека — мать или отца! Она подошла вплотную, положила на плечо дочери свою руку. Галя продолжала плакать навзрыд.

Страшная догадка молнией ударила в голову Пелагее: не обманул ли Илюшка Крутояров девку? Вполне такое возможно! Время жаркое, весеннее. Вспомнила, как в прошлое воскресенье Галя пришла чуть не на восходе солнышка, и все ей стало понятно. «Ах, дура, дура старая, проглядела девку! А все Филиппыч с упрямством своим! Он, он виноват. Прошлый год говорила, пора девке замуж, а он: учиться ей надо! Вот и доучилась».

— Доченька! — жалостливо простонала мать.— Что же он с тобой изделал, зачем надсмеялся! Да как же ты обмишулилась, как доверилась такому шалопуту?

Галя вскочила с кровати, безумными заплаканными глазами гневно посмотрела на мать:

— Ах, отстань ты, мама! Ничего ты не понимаешь! И что тебе от меня нужно? — звонко вскрикнула она и выбежала из избы.

### 3

Слух о том, что Галя просватана, пошел от Пелагеи Половневой и Настасьи Травушкиной. То одной, то другой куме они при встрече нет-нет да и шепнут на ухо «по секрету»:

— Слажено, милая, все слажено. Когда свадьба? Да поглядим, може, летом, може, осенью... Андрюха-то занятой шибко... От него зависимо· как ослобонится, так и свадьбу сыграем.

У обеих матерей был умысел. подготовить почву для благополучного исхода задуманного ими дела.

И зашумело все село: Галя Половнева просватана за Андрюху Травушкина. Когда об этом спрашивали самого Петра Филипповича, он угрюмо отвечал:

— А кто их знает! Теперь с отцами да матерями не советуются.

Пелагея же, чтоб склонить его на свою сторону, чуть не каждый день долбила и долбила в одну точку. Ничего плохого, дескать, в том нет, лишь бы у парня с девкой обоюдное согласие и расположение было. А про то, что Аникей кулак бывший, и вспоминать не стоит. Эвон сколь времени с той поры прошло! Он теперь простой колхозник, вроде даже пониже Половневых: Петр-то Филиппыч кузнецом работает, по два трудодня на круглую вырабатывает, а Панфилыч сторожем за один трудодень. Опять же и то надо понять, будь Панфилыч какой-нибудь супротивный колхозу мужик — разве стал бы водиться с ним сам секретарь райкома партии? А то, говорят, в гости заезжал, да чай с Панфилычем пил, и разговоры разные разговаривал, и совет держал с ним насчет колхозных дел! Так сказывала сама Настасья.

Последний довод Пелагея припасала на конец. И действительно, он производил впечатление на Петра Филипповича. В самом деле, разве прошлое должно мешать молодым устраивать свою жизнь, как им желательно, тем более что Андрей к этому прошлому и касательства почти не имел: мальчонкой был, когда Половнев работал на Травушкина. И невольно припомнились слова о том, что сын за отца не ответчик, и тогда Петру Филипповичу начинало казаться, что ничего плохого в том нет, если дочь его станет женой Андрея Травушкина, ведь она и после замужества, живя в городе, может продолжать ученье. Все-таки мысль о том, чтобы Галя вышла в ученые, не покидала Петра Филипповича.

Однажды в середине дня приехал сам Андрей Травушкин. Вечером он зашел к Половневым и смело предложил Гале пойти с ним на улицу. Галя согласилась, и они пошли. Петр Филиппович и Пелагея сидели на крылечке. Пелагея полушепотом заметила:

— Ну, чем не пара?

Андрей Травушкин неказист был с лица, но со спины выглядел сравнительно стройным молодым человеком. Ростом он не вышел, но рост — это еще не все. На нем хороший пиджак и широкие брюки, так отутюженные, что сзади кромки штанин выступали отчетливо, как лезвия ножей.

Петр Филиппович посмотрел вслед молодым и ничего не сказал, но про себя подумал: «Видно, нравится он ей, раз она

с ним пошла! Малый-то ученый, с умом, что ни говори!»

А на другой день спозаранку в кузню завернул председатель колхоза. Хмуро поздоровавшись, он принялся распекать Половнева за то, что тот хочет выдать Галю замуж за сына Травушкина.

— Или ты их не знаешь, Травушкиных этих? Не ты разве хребтину гнул на них чуть ли не до коллективизации?

— На самого гнул-то. Дети при чем? — попробовал защищаться Петр Филиппович.— Андрюха же пацаном еще был. И сын за отца не ответчик...

— Есть еще и другая пословица: какие березки, такие отростки. Ты лучше скажи, за чьи денежки Андрюшка университет кончил? Ты что же думаешь, на одну стипендию он в городе жил? Не ты Аникею капиталы-то сколачивал молотком своим?

— Давно ж то было. Сколько годов уж... Простой колхозник... сторожем теперь,— повторял Половнев слова жены, хотя для самого эти слова не были убедительными. Видно, не убеждали они и Свиридова.

— «Сторожем»! «Простой колхозник»! — вскипел Свиридов, передразнивая Половнева.— Не слыхал разве, чего вытворяет твой простой колхозник? Всю посевную людей изводил пересолами. Отчего бы это? От зловредства, конечно. Зрить не может досель ни нас с тобой, ни детей наших. Будь его воля — в бараний рог согнул бы. Я, брат, очень отлично чувствую и понимаю эту скотину. А тебе глаза чем-то застило. Забывчив больно, отходчив! А между прочим, ты секретарь у нас по партийной части. Не к лицу тебе забывчивость такая. Рано нам классовую линию на нет сводить.

— Так я что же... я ничего...— в замешательстве промолвил Половнев.— В семейном деле если... так это еще не значит... Опять же и то надо принять во внимание: Алексан-то Егорыч вроде мирволит Аникею... а райкому, чай, видней!

— Вот-вот! Еще и на райком будем кивать. Во время раскулачивания побоялись области, не захотели против идти... теперь на райком будем ссылаться.

— Да не побоялись, а доверяли! — угрюмо возразил Половнев.

— Мне тоже Алексан Егорыч советовал перевоспитывать Аникея, а я ему отпел напрямую, что не мое это дело и я не стану его перевоспитывать. Ну, Алексан Егорыч всего не знает, свежий человек, кроме того, политику в этом деле наводит. А ты? Почему ты былую злость утратил, словно никогда и не сидел на твоей шее, не ехал на тебе этот мироед, не

морил твою жену и детей твоих голодом... Ты уж готов породниться с ним!

Половнев не выдержал и, побагровев, выпалил:

— Да на кляпа он мне сдался! И что ты ко мне пристал? Ничего я не знаю и родниться с Аникеем не собираюсь.

— А люди говорят.

— Мало чего говорят! Никакого сватовства не было. Мне самому поперек горла все это встало!

Свиридов разбередил душу Половневу, поднял в нем беспорядочный рой воспоминаний о прошлом. Особенно ярко встали в памяти первые годы после гражданской войны, когда от великой нужды приходилось денно и нощно работать у Аникея буквально за кусок хлеба. Это после, когда кулаки слишком распоясались, Советская власть установила законом твердый рабочий день и заработную плату для батраков и сельских рабочих.

И с обновленной силой застарелая ненависть прихлынула к сердцу Половнева. Глаза его засверкали мрачным огнем, он вынул кисет и заскорузлыми дрожащими пальцами начал набивать трубку.

Заметив, что допек Половнева, Свиридов встал и с обидной снисходительностью медленно заключил:

— Конечно, дело щекотливое... семейное. Возможно, напрасно я и встреваю.— Помолчал и угрожающе сурово добавил: — Одначе запомни: станешь сватом этому зверюге — мне ты тогда ни сват ни брат! И дружбе нашей конец! Вот и весь мой сказ!

И, не взглянув на Половнева, не попрощавшись, Свиридов сел на велосипед и запылил посреди улицы.

Половнев шевельнул было рукой, хотел остановить председателя, сказать что-либо в свое оправдание, но не успел: Дмитрий Ульяныч был уже далеко.

Присутствовавший при этой сцене и все время молчавший Ершов сказал:

— А ведь Ульяныч прав. Видал я Андрюху в городе, даже слышал речь его на одном собрании — не понравился он мне. Зазнайка, ученого из себя корчит... а между тем речь его была совсем плохая, какая-то сомнительная.

— Разве я сказал, что Митрий Ульяныч виноват? — раздумчиво молвил Половнев.— Но дело, друг Алексей, сурьезное больно. Не знаешь, как и поступить.

— На твоем месте, Филиппыч, я бы и тете Поле и Гале просто запретил не только говорить, но и думать об Андрее Травушкине.

Половнев взглянул на Ершова, криво усмехнулся:

— Грозен ты, Алеша! Погляжу, что ты запоешь, когда дочке твоей пойдет девятнадцатый... Может, доживу!

Но, говоря так, Половнев про себя решил круто поговорить и с Пелагеей и с Галей. Нет, нет! Не может он и не имеет права стать сватом Аникея Травушкина. К черту эти бабьи бредни! Тут дело политическое. Секретарь парторганизации колхоза — и вдруг, извольте радоваться, сват бывшего кулака! Да хоть он, Аникей этот, расколхозником стань или самым передовым стахановцем — нельзя Половневу родниться с ним. И если бы Пелагея и Галя были дома, Петр Филиппович, наверно, пошел бы сейчас же и напрямую все сказал им. Но они на свекловичной плантации, за три километра от Даниловки. «Ну, вечером я поговорю с ними по душам! Я им покажу Андрюху Травушкина! Ишь, нашли жениха! Будто земля им клином сошлась. А чем же хуже Илюха Крутояров? Он же за Галей целый год ходит. А она нос задрала: ученого ей подавай!» Петр Филиппович слыхал, что между Галей и Ильей получился какой-то разлад, хотя отчего и почему — не знал. Попробовал однажды поговорить об этом с Галей, но она заявила, что разговаривать об Илье у нее нет никакой охоты.

4

В то время, когда Свиридов разговаривал с Половневым, к плантации, на которой работали Пелагея и Галя, подрулил газик и остановился почти против Половневых. Вышедший из газика человек некоторое время постоял рядом с машиной, потом замахал рукой и закричал:

— Галя-а! Половнева-а! Поди-ка сюда!

— Тебя кличет, доченька,— вполголоса проговорила Пелагея, приподнявшись и удивленно рассматривая человека из-под ладони, сложенной козырьком.— Кажись, Иван Федосеич... Зачем же ты ему понадобилась?

Галя тоже поднялась и, когда Иван Федосеевич еще раз позвал ее, сорвалась с места и побежала между зелеными, вытянутыми в струнку рядками нежных ростков прореженной свеклы, легко перепрыгивая через небольшие завядшие кучки выполотой молодой ботвы и сорняков.

— Садись в машину,— мягко пригласил Зазнобин, когда раскрасневшаяся и запыхавшаяся Галя с ходу едва остановилась у машины.— Здравствуй,— ответил он на ее приветствие и, пристраиваясь к рулю, добавил: — Рядом со мной садись! Поговорить надо.

Ничего не спрашивая, Галя послушно села на указанное место, громко хлопнула дверцей. Зазнобин нажал ногой педаль, газанул и круто вывернул на грейдер. Мимо медленно поплыли зеленые ряды плантации, пестревшие белыми, красными, голубыми косынками, платьями. Газик шел тихим ходом в сторону Александровки. Галя в окошко увидела мать, продолжавшую следить за машиной из-под ладони, женщин, девушек, с повернутыми в сторону грейдера лицами.

— Куда вы меня? — недоуменно спросила она.

Зазнобин мельком взглянул на нее.

— В МТС!

— Зачем?

Зазнобин не сразу ответил, а с минуту помолчав.

— Человек один скучает там по тебе,— вкрадчивым ласковым голосом проговорил он.

Лицо Гали мгновенно сделалось бордовым.

— Какой человек? — смущенно спросила она, хотя отлично понимала, кого имеет в виду директор.

В начале посевной как-то при встрече с Галей Иван Федосеевич в шутку говорил, что собирается гулять на ее свадьбе, что-де выбор ее одобряет, Илья парень славный. Теперь этот славный парень находится в Александровке. Значит, Иван Федосеевич намерен отвезти ее к нему.

— Так уж и не догадываешься? — Зазнобин весело улыбнулся.

Галя еще сильней покраснела. Директор, видимо, не знает о ссоре между Ильей и ею, и ему ничего не стоит домчать ее до бригады, в которой работает Илья.

— Да вы что?! — испуганно вскрикнула она.— Никуда я не поеду. Остановите машину! — И судорожно ухватилась за ручку дверцы.

Газик птицей рванулся вперед.

— Спокойно, Галя! — ровным, почти официальным тоном произнес Иван Федосеевич.— Ты не желаешь видеться с Ильей?

— Да, не желаю! — сердито ответила Галя.

— Почему? Ведь вы же дружили. В чем дело? Какая кошка вам дорогу перебежала?

Галя резко повернулась, метнула на директора гневный взгляд своих черных глаз:

— Вы сами все это затеяли или чье-либо поручение выполняете?

— Сам. Никто ничего мне не поручал.

— В таком случае и вовсе напрасно... не ваше это дело!

— Значит, правда, что ты за Андрея Травушкина собираешься выйти?

— Правда! — решительно отрезала Галя.— Вы остано́вите машину?

Зазнобин молчал. Он немного растерялся, но ему не хотелось отпускать Галю, не поговорив с нею как следует. Впереди уже виднелись верхушки деревьев Александровки, купол церкви, колокольня без креста. До села оставалось километра два. Сбавив скорость, Иван Федосеевич негромко, раздумчиво сказал:

— Ты напрасно кипятишься, Галюша! К Илье тебя насильно не повезу. Я же все-таки не дикий половец, а коммунист... И как коммунист заинтересован в твоей судьбе... потому мне и хочется поговорить с тобой. Можно?

Галя тряхнула головой, словно от чего-то отмахиваясь.

— Говорите! — недружелюбно разрешила она, глядя на дорогу, серой лентой бежавшую под машину.

Зазнобин передернул плечом, искоса взглянул на девушку.

— Как же говорить, если ты не в себе, если ты злишься?

— Нисколько я не злюсь.

— Не злишься, а со мной драться готова, не смотришь на меня.

— А чего мне на вас глядеть? Вы меня от работы оторвали. Везти куда-то собрались... К чему все это? Если посмеяться надо мной вздумали...

— Да ты в уме! — возмутился Зазнобин.— Посмеяться! Вышел я уж из того возраста, когда смешки строят... Удумала тоже!

Он развернул машину. Ехали теперь совсем тихо, почти со скоростью пешехода. И оба молчали. Потом Зазнобин снова заговорил. Он рассказал Гале о том, как и почему Илья попал в Александровку, как он, Иван Федосеевич, разозлился было и хотел даже наказать Илью, а потом ему стало жалко парня. Вспомнил свою молодость. У него самого вся любовь с супругой чуть не расстроилась из-за пустяков, из-за женских сплетен.

Машина тем временем приближалась к Даниловке.

— И ты понимаешь, Галя,— говорил Зазнобин, поворачивая газик снова на Александровку,— такая любовь, как у вас с Ильей, бывает раз в жизни, и из-за какой-то ерунды все может разлететься в дым. Вы же оба потом до гробовой доски раскаиваться будете.

— Ну и будем! — неожиданно прервала его все время

молчавшая Галя.— Вам-то что за дело до нас? Чего вы вмешиваетесь в чужую жизнь, Иван Федосеевич? Вы директор МТС, и вам совсем не к лицу роль свахи! Вы лучше бы смотрели за тракторами и трактористами своими!

Зазнобин с кривой усмешкой покачал головой:

— Экая ты! В чужую жизнь! Да, может, для меня дороже своей иная чужая жизнь! Зеленая ты и ровным счетом ничего не смыслишь! Ты диалектику учила? Нет! А я ее и горбом и умом проходил. Известно тебе, что по законам диалектики есть случайность и необходимость? Не известно, конечно. А если бы известно было, то ты понимала бы, что дружба твоя с Ильей есть железная необходимость. Она порождена, так сказать, коренными условиями нашего социалистического общественного бытия! И в силу этой необходимости ты должна выйти замуж за Илью, а не за Травушкина, который в нашем обществе есть не больше как случайность! Почему случайность? Потому что его не должно быть на твоем пути, а он есть, есть благодаря нашей оплошности... И вот поэтому я и хотел, чтобы ты прямо сказала Андрею...

Они снова ехали мимо свекловичной плантации, и опять Пелагея Афанасьевна, поднявшись с земли, следила за машиной из-под ладони.

Галя грубовато прервала Зазнобина:

— Случайность... необходимость... диалектика! Иван Федосеевич, вы плохой сват! И доложите тому, кто вас послал, что он чудак и... как бы вам сказать... словом, настоящий парень сам должен был бы, а не подсылать сватов, да еще таких неумелых!

И она вдруг весело засмеялась. Совершенно расстроенный Иван Федосеевич желчно проворчал:

— Ты определенно невозможная девушка! И напрасно Илья страдает по такой... у тебя же камень вместо сердца! И не приведи господи иметь этакую жинку! — Он резко остановил машину.— До свиданья! Но запомни, Галя, буду ехать по грейдеру — не «голосуй». Никогда не подвезу.

Открыв дверцу, Галя вышла из машины.

— И не надо! Пешком спокойней, чем с этаким сватом! — сказала она и снова засмеялась.— Тоже мне сваток! — И с силой захлопнула дверцу.

— Вот бисова девка! — растерянно бормотал Иван Федосеевич.— Даже диалектикой не пронял ее. Беда с этой молодежью! Не знаешь, с какого боку и подойти, на какой козе подъехать. Не иначе, придется с отцом и матерью поговорить.

# ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

## 1

Давно уж так повелось, особенно после службы в Красной Армии: с вечера до рассвета просиживал Ершов за небольшим обеденным столом, накрытым клеенкой, кое-где «украшенной» мелкими пятнами чернил.

Сидя на табурете, Ершов ставил ноги на рейку стола и читал или, если «накатывало» вдохновение, сочинял стихи, согнувшись в три погибели. Сгибался он потому, что и стол и табуретка были ему не по росту. Слева на тонкой металлической ножке по-гусиному шипела большая керосиновая лампа. Справа стояла простая ученическая чернильница. Писал он пером, вдетым в тонкую школьную ручку. Ноги его то и дело смурыгали подошвами кожаных опорок, отчего рейка из ребристой сделалась полукруглой. Сравнительно слабое при чтении, смурыганье становилось исключительно беспокойным и сильным при сочинении стихов. Тогда ноги его то отбивали такт, то ритмично скользили туда-сюда. Стороннему могло показаться, что писание стихов для Ершова близко к физическому труду. Порой он вскакивал с табуретки и начинал ходить по избе: три коротких шага к порогу, три назад. Шагать он старался бесшумно, иногда прислушиваясь, что творится за перегородкой. Там спали жена и дочурка.

Стихи никогда не давались ему легко, исключая моментов какого-то радужного озарения, когда целые страницы исписанной бумаги то и знай белыми птицами отлетали из-под руки. Но подобное озарение не так часто посещало его. Обычно же слова и фразы осаждали голову в хаотическом беспорядке. И все просились на бумагу, и все казались хорошими, и он не знал, что с ними делать. Но стоило их написать такими, какими они складывались, как появлялись иные, как будто лучшие и более точные, более правильные. Он перечеркивал строку, надписывал новые слова. И так повторялось много раз. Потом, уже не спеша, переписывал он сочиненное в клеенчатую тетрадь, выводя буквы возможно разборчивей, чтобы любой мог читать свободно, хотя до самого последнего времени тетради его имели всего лишь двух постоянных читательниц: Галю Половневу и жену Наташу. Гале Половневой он давал читать потому, что она хорошо чувствовала стихи и разбиралась в них, Наташе — как самому близкому человеку. Галя нередко подмечала какие-либо промахи или ошибки, но

в общем стихи Ершова нравились ей, она восторженно хвалила их, дивилась его умению и с некоторых пор, сама того не подозревая, стала чуть ли не главным авторитетом для него.

Наташа не была большой поклонницей стихотворного таланта мужа, да и в стихах не очень разбиралась. В ней Ершов видел простую читательницу из той массы, из которой главным образом состояло село и ради которой он, собственно, писал. Все сочиненное за ночь Ершов всегда первой давал прочитывать Наташе. И может быть, для нее и старался писать как можно ясней и разборчивей.

Не все стихи доходили до Наташи, но некоторые она сдержанно хвалила.

— Я не очень смыслю, Алеша, но мне кажется — это хорошо!

В таких случаях Ершов бурно радовался и, схватив жену в охапку, носил по избе, как ребенка, приговаривая:

— Спасибо! Я рад, когда стихи мои тебе по душе!

И мягко, нежно целовал ее в закрытые глаза, в лоб.

— Но какой от них толк, Алеша? — грустно спрашивала Наташа, не открывая глаз.— Зачем по ночам сидеть, зачем изводить себя?

Она ревновала мужа к стихам, не понимала, как можно проторчать всю ночь над бумагой, сочиняя стихи, которые редакция не печатает и которые никому не известны и никому не нужны.

— Погоди, будет толк! — бодро возражал Ершов.

— Из газеты опять вернули,— подавленным тоном напомнила Наташа, не скрывая огорчения.

— Вернули,— со вздохом хмуро подтверждал Ершов. Наташа советовала:

— В Москву бы попробовал послать.

— Что ты! — почти испуганно восклицал он.— Как можно! До Москвы я и подавно не дорос!

— Такой большой? Куда же тебе еще расти? — шутила Наташа, плотней припадая к обширной груди мужа, в которой ровно и гулко стучало его большое, сильное сердце. Она была довольна, что муж приласкал ее.

И вот наконец стихи Ершова напечатаны. Вся Даниловка теперь знает, что он «талантливый, многообещающий поэт». Так написано в предисловии к его стихам. И Наташа теперь уже не осмелится сказать ему, что он зря тратит время и силы.

И снова Ершов сидит за своим столом в привычной позе, и снова пишет, и длинный чуб светлых волос, свесившись надо лбом, дрожит и покачивается, словно повеваемый ветерком, а

с правой стороны на стене перегородки — огромная черная тень. Она все время в движении и похожа на медведя, который силится встать с четверенек на задние ноги, но не может, будто ему кто-то или что-то мешает.

Уже два часа ночи. Тьма за окнами начинает редеть. Петухи горланят все веселей. В открытое окно доносится гулкий шум поезда. До линии железной дороги километра четыре с лишним, а кажется, что поезд проходит совсем рядом, за околицей Даниловки. Протяжный гудок: поезд перед семафором. Ершов поднялся с табуретки, присел на лавку, высунулся в окно. Эхо гудка перекатывалось по полям и оврагам и замирало в Князевом лесу. А на деревне еще тихо, все спят.

Отчего же и почему ты не спишь, дорогой Ершов? Что тебе надо, чего ты добиваешься? Все у тебя есть для хорошей жизни и счастья: изба, жена, дочь, работа, корова, овцы, огород и прочее. Поднять бы отца твоего и мать, поглядели бы они, как ты живешь, какая красивая у тебя жена, какая славная дочурка. Как бы они рады были! И наверняка позавидовали бы твоей жизни. И тоже не поняли бы, зачем ты надрываешься, по ночам не спишь, мучаешься над словами. Ведь слова есть слова, как ты их ни складывай, а жизнь есть жизнь, и все соседи твои живут просто и по ночам крепко спят.

Закрыв окно, он машинально стал свертывать цигарку. На полу ворох бумаги. Это отходы стихотворного «производства». Они всегда были у Ершова. Испещренные поправками листы он комкал и левой рукой с силой отшвыривал, и они, шурша, словно белые мыши, шмыгали к порогу. А перед тем как лечь спать, он ногой или веником подвигал их к печке: Наташа не нуждалась в растопке после ночных трудов мужа. Но вот штука: никогда этой растопки не было так много, как в последнее время!

Прошло уже несколько дней после возвращения из города. Ершов вернулся тогда домой в приподнятом настроении. Что там ни говори, а он признан. Значит, еще больше писать, читать, работать. И он все ночи напролет сидел, только под утро ложился на два-три часа. Проснувшись, бежал на речку, окунался, затем наспех завтракал и шел в кузню.

Половнев был теперь с Ершовым исключительно добр и ласков и уже не подтрунивал над его страстью к стихосложению. Более того, он несколько раз к слову и не к слову принимался извиняться:

— Ты, Алеха, не сердись, пожалуйста. Иной раз насмехался я. По старости это и недомыслию. Чего я в этом деле понимаю? Образованности-то у меня маловато. И потом. быва-

ло жалко тебя. Придешь ты утром, вид у тебя, прямо сказать, малахольный, то ли ты больной, то ли еще чего. Глаза будто у рака, щеки ввалились, бледный. Зачем, думаю, мучается парень, ведь этак, мол, недолго и до умопомрачения дойти. А оно, вишь ты, какое дело: на всю область прогремел. И стихи, скажу тебе, как будто стоящие. Я даже обиделся на тебя. Почему же, мол, он мне не показал их? Особено насчет щуки, что косарь поймал. Просто здорово, брат! И об нашем колхозе тоже хорошо. Как у тебя там:

Нам огнем грозили и железом,
Нам враги кричали: «Не пройти!»
С черным словом и обрезом
Кулачье вставало на пути...

Это, брат, очень верно, в аккурат оно так и было! Батю-то твоего тоже из обреза... А теперь что же получается? Из нашей Даниловки может выйти настоящий, значит, поэт, вроде Пушкина или Кольцова... и не дворянского или иного роду, а крестьянского. Вот бы батька твой жив был — сколько радости-то! Ну, ты пиши, Алеха, пиши, не бросай этого дела. Стихи, друг, тоже народу нужны, об том чего и толковать! И не стесняйся, по утрам в кузню не торопись. Горно я и сам развести могу, и вообще, пока придешь, поработаю один по мелочам. Да и под вечер — нужно тебе, иди, пожалуйста, безо всяких! Чего там!

Ершов и без того любил Половнева, а после таких слов старик становился вдвойне родней и дороже ему. Однако о том, что его зовут на работу в областную газету, Ершов не решался сказать, и все бумажки, привезенные из города, лежали пока во внутреннем кармане выходного пиджака. Даже Наташа не знала еще о них. И ему начинало уже казаться, что переезд в город — несерьезное и необязательное дело. Невольно вспоминались слова Рославлева об отрыве от родной почвы, о том, что стихи можно писать и в деревне. Поэт Бернс и наш Дрожин пахали землю и писали стихи.

Вообще Ершов не мог представить, как он будет жить не в Даниловке, а где-то еще. Он же с тоски пропадет. В армии служил и знал, что отслужит — и снова вернется в родные места. И все же тосковал! А если покинет свою деревню навсегда? По-видимому, Рославлев прав также и в том, что у Ершова никакого особенного таланта нету.

Так размышлял теперь Ершов почти каждый вечер, когда оставался один перед чистым листом бумаги. А то, что в последние дни стихи ему или совсем не давались, или давались

туго, укрепляло его решимость не покидать родное село. О чем говорить, о чем мечтать, коли за пять ночей ничего путного не написал!

## 2

Ершов вышел на крыльцо, закурил. На селе еще было тихо: люди спали крепким предутренним сном. Только соловьи в колхозном саду проснулись и уже отщелкивали свои замысловатые трели.

Он сидел на лавочке и, пыхая дымом, все думал, думал. Что делать, как быть? Насчет города он решил: не ехать! Нечего ему там делать. Но вот со стихами... Как с ними? Пять ночей просидел, и ничего не выходит. То есть так, как раньше, написал бы и теперь. Но так писать он уже не хочет. Глагольная рифма, которой он, бывало, не замечал, теперь приводит его в бешенство. Шипящие и свистящие звуки вгоняют в дрожь. Размеры, ритм стихов заставляют часто задумываться — подходят ли они для того или иного стихотворения. А в результате ничего у него не клеится, словно у ткачихи, у которой стан испортился и бедра повреждены: вместо чистого тонкого полотна получается какая-то дерюжка. Значит, к черту! Бросить надо и не рыпаться!

— Алеша!

Сказано было полушепотом, а Ершов аж подскочил. Перед ним стояла Наташа в длинной ночной рубашке, с распущенными волосами, светлыми куделями упавшими на плечи.

— Испугала до смерти! — тихо проговорил Ершов.— Ты что словно привидение?

— Не ложился еще? — озабоченно спросила она.

— Нет,— глухо, отрывисто ответил Ершов.

— Да ты с ума сошел! Котору ночь не спамши... В гроб себя загонишь.

Ершов смял пальцами окурок, нервно швырнул наземь.

— Туда мне и дорога! — раздраженно проворчал он.

— Ой, чего такое ты мелешь! Разве так можно? Пойдем, пойдем, поспи хоть чуток. Тебе же в кузню скоро.

Она взяла его за руку и потащила в избу. Ершов послушно, словно лунатик, брел за ней и с горечью в голосе негромко бубнил:

— Бездарен я, Наташка! А заносился, воображал... горы сверну... Разве я не мечтал? Мечтал, да еще как! Буду писать, учиться, стану культурным человеком, настоящим поэтом. Мне, мол, только культуры недостает и тому подобное. А до

дела дошло — и выходит, что ни черта я не стою, грош мне цена. Только людям, да и себе голову замутил. Другой бы на моем месте действительно ухватился за это предложение. И в люди вышел бы. А я не могу, потому что не имею права, раз нет способностей. И надо было сразу отказаться.

— От чего отказаться, Алеш? — спросила жена.— Ты ложись к стенке. Я немножко подремлю да встану... Чего же ты молчишь? От чего тебе надо отказаться?

— От работы,— вяло ответил Ершов.

— От какой работы?

Ершов помолчал, думая, как отнесется Наташа к возможному переезду в город. Ведь он без совета с нею чуть не решил было покинуть Даниловку. А может, Наташа будет против? Да не может, а наверняка она не захочет расставаться с Даниловкой. Тут же у нее отец, мать, сестры, братья, тут выросла...

— Меня, Наташа, зовут в газету работать,— нахмурив брови, проговорил он наконец.

— В районную?

— Кабы в районную, а то в областную!

Они разговаривали все время полушепотом, остерегаясь разбудить дочурку, но тут Наташа не выдержала и удивленно вскрикнула·

— В областную?!

— Ну да, в областную. А я хочу отказаться.

— Почему?

— Неохота мне. И потом... Они ведь берут из-за стихов. Дескать, способный поэт и тому подобное, а это неверно. Никаких способностей нет у меня... и газетчик из меня не выйдет.

— Ну и дурак ты, Алешка,— с нескрываемой досадой сказала Наташа.

— Почему дурак?

— Иные сами рвутся в город, а ты упираешься.

— А ты бы хотела жить в городе?

— А чем же плохо? Лишь бы квартиру подыскать.

— Квартиру обещали.

— Так зачем отказываться, Алеша? Поедем, поедем, родной! — Она соскочила с кровати.— Стихи, скажем, надоест писать — будешь еще что-нибудь делать,— тихо и рассудительно говорила Наташа, надевая сарафан.— Ведь в городе только зацепиться, работа всегда найдется какая ни на есть. На завод, в крайности, поступишь, если в газете не захочешь. Говорят, рабочие тоже хорошо нынче зарабатывают.

Оказывается, Наташе не только не жаль расставаться с Даниловкой, а, наоборот, хочется скорей покинуть ее. Это было ново, неожиданно и почему-то горько и обидно. Как же он плохо знал свою супружницу! Да и она никогда до сих пор не говорила ему, что мечтает о жизни в городе. Он даже привстал.

— А Даниловки тебе не жаль? — приглушенным голосом спросил Алексей, пристально вглядываясь в жену и сожалея, что в утреннем сумраке не видит выражения ее лица.

Наташа, засунув в чело бумаги, начала затапливать печку, чиркая спичкой по коробку. С минуту она молчала, потом небрежно-холодноватым тоном ответила:

— А чего ее жалеть?

— Как чего? Мы тут родились, росли... у тебя мать, отец, родня...

— Ну и что же... Они будут в Даниловке, а мы — в городе.

Ершов снова порывисто лег навзничь, забросил руки за голову. На душе у него стало нехорошо, мутно.

— Не знал я, что ты такая,— уныло протянул он.

— Какая?

— Никого и ничего тебе не жаль.

— Да чего же всех жалеть, Алеша! Нам с тобой об своей жизни думать. Мы же молодые, у нас дети будут, их учить надо. Средняя школа тут есть, а институтов-то нету. Мне хочется, чтоб дети мои были образованные.

— Не обязательно в городе жить, чтоб детей учить,— сухо сказал Алексей.— И потом, до тех пор, когда у нас с тобой такие дети будут,— ой, далеко. Стоит ли загадывать?

— Живой о живом думает, Алеша. И мой совет тебе — не отказывайся ты.

— Да ведь мне сперва одному придется...

— Ну и что же! Поезжай пока один... а потом и мы с Катей (так звали их дочурку).

— Хватит тебе,— с раздражением проворчал вдруг Ершов.— Говорила, спать, а теперь бубнишь и бубнишь.

Наташа подожгла бумагу в печке, потом вымыла руки, вытерла их и подошла к кровати.

Слышно было, как постреливают дрова, от печки на стенку падало желтое дрожащее пятно света. Дочурка посапывала в плетенной из ивовых прутьев кроватке.

Ершов не спал и тоскливо глядел в потолок. В избе становилось совсем уже светло. Он повернул голову, отсутствующим взглядом, холодно посмотрел на жену. Глаза их встретились. Он подумал: «Разные мы с ней... не поймет она меня,

нет, не поймет!» За всю их совместную жизнь впервые пришла ему в голову эта горькая мысль. Лицо Наташи как-то странно дернулось и вдруг засветилось веселой, жизнерадостной улыбкой, которая всегда так нравилась Ершову, перед которой он был совершенно бессилен.

Обнимая за шею и целуя его в глаза, Наташа, стоя на полу, грудью упала на него. И тогда тихая, сладкая нежность вдруг всколыхнула его душу. «Любит она меня!»

— Натик мой! — пролепетал Ершов, гладя ее по голове, с волнением ощущая ее мягкие, льняные волосы, заплетенные в косы.

— Ты не сердись, Леня... я глупая... ничего не понимаю. Ты у меня большой, умный, сильный... делай так, как тебе нужно. Вот и все! И спи. Спи, пожалуйста.— Наташа высвободилась из его рук.— Спи. Пойду корову подою.

## 3

В кузню Ершов пришел часам к восьми утра. Было тепло, но пасмурно. Небо закрыло серыми сплошными облаками.

Половнев встретил Ершова вопросом:

— Опять всю ночь просидел?

— Всю.

— По-моему, так нельзя. Голове тоже отдых нужен, не то психом станешь.

— Верно, Филиппыч.— Ершов ухватился за рычаг и начал раздувать горн.— Ну, все! Кончено. Больше не буду! — веселым голосом сообщил он.

— Чего не будешь? — недоумевая спросил Половнев.

— Стихи писать,— каким-то отчаянно-озорным голосом ответил Ершов.

В горне сильно шипело, голубоватые языки пламени переплетались, словно змеи, порываясь кверху.

Половнев держал в клещах кусок железа, сунутый в огонь.

— Потише дуй,— буркнул он, искоса взглянув на Ершова, и, помолчав, снова спросил: — Что ты так обозлился на них?

Ершов не понял.

— На кого?

— Да на стихи? Аж бросать собрался.

— А чего же? Побаловался — и хватит.

— Они, стало быть, у тебя вроде баловства? Зачем же тогда в газету было лезть?

— Да я и не лез,— простодушно улыбнулся Ершов.— Силком втащили.

— Эка ты какая девка красная,— иронически протянул Половнев.— Изнасильничали тебя! Дури в тебе, Алеха, по самые уши! Газета пишет, что ты способный, а теперь что же выходит? Этот способный порешил на стихи наплевать. И писать больше не будет. Либо мне ты голову морочишь, либо себе — я уж и не пойму, а только несерьезно это.

— Вполне серьезно, Филиппыч. Писал я их... потому — выходили. А теперь не выходят. Выдохся. Вот и все мои способности. Ну, и довольно!

Половнев вытащил железо, положил его на наковальню, стал потихоньку отбивать небольшим молотком. Это был обыкновенный костыль для деревянной бороны. Подправив, Половнев отшвырнул его в сторону.

— Ну и дурак! — сказал он беззлобно.

— Кто дурак? — спросил Ершов.

— Ты! Кто же еще!

Ершов усмехнулся, продолжая раздувать горн.

— Второй раз меня сегодня дураком обзывают.

— Заслужил, стало быть. Да и как же не дурак? Чего ты горно раздуваешь впустую? Пойдем-ка перекурим. Я уж наморился.

Когда они вышли из кузницы, к ним подошел Свиридов, поздоровался.

— Ты что же это, друг любезный, получил назначение и помалкиваешь? — обратился он к Ершову, окидывая его с головы до ног испытующим и недовольным взглядом своих серых стальных глаз.

— Какое назначение? — с наивным видом спросил Ершов.

— Не знает какое! — кивнул в его сторону Свиридов, с наигранным удивлением глядя на Половнева.— Звонили сегодня из райкома. Набросились на меня: почему не отпускаю. Оказывается, тебе выдана бумага о том, что ты назначен на работу в газету. Куда ты девал эту бумагу? — жестко обратился он к Ершову.

— Дома.

— Видали! Дома! А мне головомойку устраивают. Почему же она дома? Какое ты имеешь право этакие бумажки по целой неделе у себя держать? Ведь она райкому адресована?

— Райкому,— подтвердил Ершов.— Но тут дело в том, Дмитрий Ульяныч, что я раздумал.

— Чего раздумал?

— В город ехать.

— Во-первых, это еще надо посмотреть, как это ты разду-

мал, а во-вторых, все равно бумагу надо было отдать по адресу. За это, братец, взгреть тебя могут.

Половнев насмешливо сказал:

— Он, вишь ли, испугался города и теперь придумывает всякое... и стихи, говорит, разучился писать и так далее.

— И ничего я не испугался,— сердито возразил Ершов.— Просто не хочу жить в городе... я там от народа оторвусь...

— Как это ты от народа оторвешься? Чего городишь-то! — возмутился Свиридов.— В городе народа нет, что ли? Там, братец, рабочий класс, народ посильней нас с тобой, а он — «от народа оторвусь»! Ты не выдумывай-ка. Раз партия тебя выдвигает — должен радоваться и всеми силами стараться. Мне срок дали еще неделю. Ты в самом деле испугался? Напрасно! Помогут тебе там. Я понимаю, из кузни и прямо в газету — трудновато и боязно. Однако труса праздновать нечего. Мы ведь все гордимся тобой, и ты это понимать должен. Ты теперь не кто-нибудь. Тебя по всей области знают, стихи твои читали. И вот что — потихоньку да полегоньку собирайся и поезжай. Как соберешься — скажи, дадим лошадь.

— Ульяныч! — проговорил Половнев.— Мне бы к сынку денька на три съездить до тех пор. Алеха-то может обойтись и без меня, а если новенького взять, тогда мне и отъезжать нельзя будет. А у Григория сын родился... зовут они нас с Пелагеей.

— Ну что же, давай езжай покамест.

Ершов нервно пыхал дымом. В его присутствии решали его судьбу, совершенно не считаясь с ним. Что же делать? Пожалуй, и вправду нехорошо на попятную идти. И Наташа хочет в городе жить. Видно, никуда не деться, придется ехать, как ни тяжело расставаться с Даниловкой, с ее людьми.

---

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

### 1

Вечером Петр Филиппович сказал жене, что завтра надо поехать в город к Григорию. Как же ехать, возразила Пелагея, в воскресенье обещались прийти Травушкины свататься за Галю. Петр Филиппович строго сверкнул черными глазами.

— Какое такое сватанье? — гневно вскрикнул он, и лицо его побагровело, глаза налились кровью. Обычно молчали-

вый, мягкий и податливый, в гневе он становился неузнаваемо страшен.— Чего городишь? Какие сваты нам с тобой Травушкины? Курам на смех! Митрий Ульяныч говорит — дружба врозь, если что... Или, говорит, Травушкин, или я! А ты — сватанье!

— Да ведь намедни вроде согласен был.

— Уговорам твоим поддался. Ты же мне уши прожужжала с Травушкиными своими. А подумать — на кой ляд они нужны?

Пелагея добилась-таки откровенного разговора с дочерью и поняла, что ничего страшного между Ильей и Галей пока не стряслось. Но именно потому ей и хотелось поскорей просватать дочь за Андрея Травушкина. В то же время знала, что перечить мужу сейчас бесполезно. «Попрошу Настасью еще недельку подождать, авось ничего не случится».

— В город так в город,— примирительно проговорила она.— Мне и самой охота... На внучка бы взглянуть.

Встав в три часа ночи, Пелагея замесила на молоке, сметане, яйцах и соде пресное сладкое тесто, истопила печь, напекла пышных вкусных коржей и насыпала их в белый холщовый мешок; другой мешок, поменьше, набила соленым свиным салом, уложила в корзину сотню яиц, постелив солому между рядами, и, наконец, зарезала двух куриц, переставших нестись, ощипала их, выпотрошила и тоже засунула в мешок.

Проснулся Петр Филиппович. Увидел на лавке мешки и корзину, спросил:

— Это чего?

Пелагея ставила на стол фыркающий самовар.

— Гостинцы Гришутке.

— Нужны ему гостинцы твои! Слыхала — пишет: живу хорошо! — Половнев дотронулся пальцами до мешка, который побольше.— Ха! Коржиков напекла! Ох и чудная! Кто их есть будет?

— Поедят! Коржи-то славные, рассыпчатые,— певуче молвила Пелагея.— В городской булочной таких ни за какие деньги не сыщешь.

— Сама все понесешь,— усмехнулся Половнев.— Помогать не стану.

— И не помогай, донесу,— смиренно согласилась Пелагея.— Только с чаем-то хоть попробовай — ей-пра, вкусные!

— С чаем — другое дело, с чаем можно.

Часов в семь утра к избе Половневых подкатил сам старший конюх Родион Яковлевич Крутояров на паре сытых гне-

дых лошадей, запряженных в бричку с крашеным задком. Пелагея выбежала ему навстречу.

— Доброе утро! — не слезая с брички, приветствовал ее Крутояров. Он был в черном пиджаке, таких же брюках, в начищенных хромовых сапогах.— За вами приехал. Готовы?

— Утро доброе, Яклич,— поспешно ответила Пелагея.— Мы давно готовы. Сам знаешь: ранняя птичка носик прочищает, а поздняя — глазки продирает.

— Значит, я поздняя! — усмехнулся Крутояров.

— Да нет, я не к тому... ты в самый раз приехал. Небось и поесть не успел. Слазь-ка да зайди в избу, чайку испей с горячими коржиками.

Пелагея была совсем уже одета в дорогу и вид имела праздничный. Синяя понева, светло-голубая ситцевая кофта, выпущенная поверх, на голове коричневый с белыми и розовыми цветочками платок, на ногах до блеска начищенные полусапожки.

Крутояров осмотрел ее с ног до головы, улыбнулся, сияя из-под светлых усов белыми крепкими зубами.

— Спасибочка, Афанасьевна! Хоть и поздняя птичка, а чайку успел попить, правда, не с коржами, а с оладушками.

Вышел Петр Филиппович в костюме из темно-серого материала, в жилетке и тоже в начищенных до сияния сапогах. Подавая Родиону Яковлевичу руку, спросил:

— Аль сам повезешь?

— Сам! — Родион Яковлевич опять заулыбался.— Хочу прокатить с ветерком. Видал, какие коняшки? — Он кивнул на гнедых жеребчиков с подвязанными хвостами, похожих друг на друга словно близнецы, нетерпеливо махавших головами и бивших копытами оземь.— Таких и у Шевлягина не было! Сейчас с Аникеем повстречался — он в поле, видать, побрел,— глаза вылупил и рот разинул! Завидно ему, печенка ноет небось. Он ведь любитель хороших лошадей, а эти от его жеребца. Помнишь, забрали мы у него, он его Тигрой звал? Это тот, что совхозу потом променяли.

— Помню, как не помнить,— сказал Половнев и серьезным тоном добавил: — А что же ты бубенцов не подвесил? Форсить так форсить!

Родион Яковлевич тыльной стороной правой руки важно провел по светлым усам и весело воскликнул:

— Это можно! Было бы желание, подъедем к конюшне и подвесим. Бубенцы имеются... Старинные, валдайские! Сам земский когда-то, говорят, ездил с ними.

— Не вздумай и вправду,— сказал Половнев.— Шучу насчет бубенцов-то.

Пока они разговаривали, Пелагея с Галей погрузили мешки, корзину, какие-то узелки. Крутояров, разговаривая, то и дело посматривал на Галю: но она скоро ушла в избу вместе с матерью. Половнев сел в бричку и недовольно проворчал:

— Можно бы и на одной, а то пару запряг. Ну к чему? Что мы с тобой, помещики какие-нибудь?

— Тут я не причинен, Филиппыч, председателем велено. Ты же у нас лицо почетное — стахановец, партийный секретарь,— объяснил Крутояров.— А потом и так посмотреть: чем же мы с тобой хуже тех помещиков? Почему им можно было на тройках, а нам и на паре нельзя?

Петр Филиппович сумрачно насупил брови:

— Да ведь будний день, а мы на рысаках... чего люди скажут?

— Ничего не скажут, Филиппыч! Аль нас с тобой не знают? Полюбуются лошадками — и только!

Из избы опять вышли Пелагея с Галей.

— Так ты тут следи за несушками,— на ходу наказывала Пелагея дочери.— За наседками поглядывай, желтенькая-то суматошная, соскакивает иной раз. Поросенка не забывай кормить.

С помощью Гали она уселась на покрытое попоной сено рядом с мужем и, перекрестившись, деловито скомандовала:

— Трогай, Яклич!

До Родиона Яковлевича не сразу дошла эта команда. Повернувшись вполоборота, он внимательно разглядывал Галю, словно давно не видел ее или не узнавал. Потом шевельнул вожжами, и кони так дружно и резко рванули, что Пелагея чуть не опрокинулась навзничь.

Галя до тех пор смотрела вслед бричке, пока краска, прилившая к лицу под взглядом Родиона Яковлевича, не отошла совсем. А сердце еще и в избе долго колотилось взволнованно и тревожно. И что такое? Как только она вышла и поздоровалась, Крутояров не сводил с нее глаз. Почудилось в его взгляде что-то похожее на упрек: «Эх, Галя! Как же так получается?» Не знает же он, что не она виновата в размолвке с Ильей.

А Родион Яковлевич отбросил уже те мысли, которые проницательно угадывала Галя, и, пустив коней полной рысью, сидел на передке, словно заправский кучер или наездник, слегка расставив локти в стороны. Любуйтесь, дорогие колхозники, своими лошадками! Вон они как землю рубят! Эй

вы, моторные! На таких только призы брать. Отпустил бы Дмитрий Ульянович в город на бега — старший конюх показал бы, почем сотня гребешков!

Чтобы не растрясти своих седоков, он мчался не по шоссе, а обочь, по укатанной пыльной дороге.

Половнев тихонько толкнул Крутоярова в спину:

— С ума спятил, Яклич! Чего гонишь так-то? На пожар, что ли?

Но Крутояров оставил толчок без внимания.

Мимо пролетали избы, ребятишки, куры, женщины, мужчины. Собаки, срываясь с места, со злобным визгом кидались вслед за бричкой и в ту же секунду отставали. Прохожие невольно останавливались и смотрели на мчавшуюся повозку, хотя за пылью, серым облаком взвихривавшейся сзади, ничего уже не было видно.

Половневы и моргнуть не успели, как вымахнули за околицу Даниловки. Тут дорога пошла на взгорок, Крутояров переехал на шоссе и пустил коней шагом.

— Слезай, пройдемся,— предложил он Половневу, передавая Пелагее пахучие ременные вожжи.— Подержи-ка, Афанасьевна,— и спрыгнул. Половнев тоже слез.

## 2

По утрамбованной тропке, вьющейся рядом с шоссе (между Даниловкой и железнодорожной станцией издавна пролегала шоссейная дорога), они шли плечо к плечу — Петр Филиппович поплотней, пошире в плечах, поосадистей, а Родион Яковлевич повыше и постройней — и курили: один — трубку, другой — махорочную самокрутку.

— Зря ты гнал эдак по селу,— с упреком сказал Половнев.

— Люблю, Филиппыч, пыль за собой пустить. Это уж у меня с детства, сам должен знать. Помнишь, как мальчонками, бывало, наперегонки... Лошадки, брат,— моя слабость, тут ничего не поделаешь, с тем и помру.

— Все это мне известно, потому тебя и приставили к ним. Однако поимей в виду, лошадкам твоим туго скоро станет... Отсталый транспорт теперь тройки, пары, брички, телеги. Так что ты не шибко задавайся.

Крутояров с недоумением посмотрел на Половнева:

— Это как же понимать?

— А так и понимай: на легковой будем ездить. Машину Митрий Ульяныч собирается купить.

— Ну и что? Машина машиной. А по мне, лошадка лучше,— уверенным тоном проговорил Крутояров.— В начале мая шел я из Александровки, ну и «проголосовал»... Посадил меня шофер в кабину... Километра три проехали — стоп! Испортилось что-то. Он и туда, и сюда, и под кузов подлезет — ни в какую! Вижу такое дело, говорю: «Спасибочко, друг, пойду-ка я потихоньку на своем одиннадцатом номере».— «Иди, догоню — опять посажу».— «Ладно, мол». Да так и не догнал. Мотор, наверно, сломался. Вот те и машина! А на лошадке иная статья. У лошадки мотор всегда исправный, только вовремя и получше корми, пои, ухаживай за ней. Нет, лошадь в нашей колхозной жизни куда ловчей.

— А трактор?

— Против трактора поспорю. Но чтоб груз, людей на машинах — такое у нас пока немыслимо. Ну, по соше куда ни шло. А много у нас соши? Возьми дорогу на Александровку. По ней в сушь трудно ехать, а после дождя и вовсе не проедешь на твоей машине...

— Дороги — дело поправимое,— важно и деловито сказал Половнев, будто дороги от него зависели.— Придет пора — настелем, каких твоей душе угодно: все это в наших руках. А на машину обязательно пересядем. Иначе для чего ж мы автомобильных заводов настроили? Мы теперь всего можем достигнуть, абы войны не было, Яклич.

— Бог с тобой! Откуда война?

— Оттуда, с Запада.

— Так там же они друг с другом... Пусть дерутся, как те глупые петухи. Наше-то дело сторона. С какой же стати нам в ихнюю свалку встревать.

— Сами мы, конечно, не встрянем, на нас полезут.

— Кто полезет! Не до нас им. Я даже так смекаю: и хорошо, что они сцепились!

— Гитлер полезет,— угрюмо проворчал Половнев.

— Не осмелится. Глеб Иваныч говорит — совсем же ума лишиться надо, чтоб на нас... И я согласен с Глебом Иванычем.

— Осмелится! Аль ты немцев не знаешь! Насмотрелся я на них в царскую войну. Они, дьяволы, спят и видят нашу пшеницу, наше сало, уголь, нефть. Не скажу, что все... но кулачье ихнее и вообще которые побогаче... те мечтают... Они нас, русских, считают дикарями. В семнадцатом довелось мне говорить с одним баэром ихним, то есть с крестьянином, из кулачков, наверно. В плен мы его забрали. Здоровенный такой

белобрысый верзила, усищи — во! Как у нашего Лаврен Евстратыча. Вы, говорит, азиаты, монголы! Вам, дескать, место не в Европе, а в Азии. Вы землю обрабатывать не умеете. Русь на триста лет отстала от Дойчлянда, от Германии, стало быть. Мы, говорит, вас все равно за Урал загоним, в Сибирь, к медведям и к волкам, там ваше место. А все, что по сю сторону, будет наш фатерлянд... по-ихнему значит отечество. Видал, мерзавец какой! И разве ж он один такой?

Алеха Ершов где-то прочитал: Гитлер даже целую книгу написал о том, что немцам обязательно надо на восток, на Россию.

— Договор-то он с нами подписал?

Половнев поморщился:

— Что договор! Он тебе все может подписать. Нельзя ему верить ни на грош. Договор — для отвода глаз.

— Опять же два фронта у него получится,— упорствовал Крутояров. Ему очень не хотелось соглашаться с Половневым.— Неумно с его стороны нападать на нас,— попытался он отстоять свою мысль словами, услышанными от Бубнова.

— Каких же два фронта,— возразил Половнев.— В Европе он всех уже подмял под себя. Я, Родион Яклич, старый солдат, знаю, где раки зимуют, и чует мое сердце: неспроста он всех завоевал, он силу на нас, на Россию, сколачивает, как Наполеон. Одному-то ему, может, и правда боязно. А теперь как всех сгрудит да как двинет... Попомни мое слово: не осенью — так будущей весной кинется Гитлер и на нас.

Крутояров, тяжело вздохнув, встревоженно сказал:

— Оборони бог, Филиппыч, от такой беды. Не нужно нам войны. Мы только-только на пригорочек всходим, настоящую жизнь видеть начинаем. Ты откуль знаешь-то... может, как секретарю, по партейной линии сказывали?

— Никто не говорил... Сам... потому слежу, газеты читаю, думаю... все время думаю. И вижу: к войне дело подвигается... И тоже боюсь ее, не хочу... да что мы с тобой сделаем?

Лошади все время шли шагом, тем не менее были уже далеко впереди.

Когда бричка выбралась на холм, Пелагея остановила лошадей и, обернувшись, помахала рукой:

— Эй, мужики! Хватит вам курить, поехали, а то запоздаем.

— Не запоздаем! — откликнулся Половнев, однако, уско-

рив шаг, добавил: — Давай догоним, Яклич! Об делах об этих три дня и три ночи говори — не переговоришь.

И оба побежали трусцой. Догнав бричку, сели каждый на свое место. Крутояров помахал в воздухе кнутом, и лошади потрусили небольшой рысью. Петр Филиппович оглянулся. Окрест — поля, поля! С одной стороны они прислонились к Князеву лесу, с другой — терялись в синей дымке окоема. Там и сям зеленели огромные площади озимых и яровых. По обе стороны шоссе тоже росли озимые. Они пошли уже в былку, но колоса еще не было. Вверху звенели жаворонки, покачиваясь, словно черные мячики, подвешенные на резинках. Порой резинка обрывалась — и мячик стремглав падал наземь, в колеблющуюся под ветром матово-серебристую гущу зеленей. И ласточки вились вокруг брички.

Петру Филипповичу было приятно смотреть на поля, на пташек, дышать свежим полевым воздухом, приятно ощущать свет и тепло солнышка, которое припекало все сильней. Вдали, чуть не у самого леса, он увидел тракторную будку и синюю полоску дыма, ручейком текущую над черной, недавно вспаханной землей. «Пары поднимают. И Вася мой там... Славный малый он у меня, трудящий...»

### 3

На станцию прибыли задолго до поезда. Привязав лошадей к пряслу, Крутояров и Половнев оставили Пелагею на бричке со всеми ее мешками, узелками и корзинами.

— Пойдем с Филиппычем пивка выпьем, Афанасьевна,— подкупающе просительным тоном вполголоса проговорил Крутояров.— Посиди, пожалуйста. Тут хорошо, прохладно.

В самом деле бричка стояла в тени пристанционных тополей и берез. Пелагея окинула мужиков подозрительным взглядом.

— Знаю я ваше пиво! — ворчливо пробормотала она.— Ты, Филиппыч, смотри мне... а то нахлещешься. К сыну-то лучше трезвым приехать.

— Не бойсь,— успокоил ее Половнев.— Сам понимаю, не маленький.

— Мы по кружечке,— виновато улыбнулся Крутояров.

В буфете Родион Яковлевич заказал пива, раков, две порции селедки и черного хлеба.

Выпили, закусили, заговорили о делах своего колхоза. Крутояров был недоволен председателем. Слабоват в руководстве. Разве дело, Лаврен Евстратыч на виду у всех гнет свою

линию, не подчиняется даже районным властям,— табак не желает сеять. Нам спущают планы, а он против.

— Так разве же он один? Большинство против,— сказал Половнев.

— Большинство-то за Лавреном тянется. А почему? Потому что Митрий Ульяныч волю ему дал... не пресекает. А теперь вот, ты говоришь, затевает легковую машину купить. Нет чтоб об лошадях побеспокоиться! Третий год галжу: надо строить новую конюшню. Подожди да подожди! Понятно, отчего «подожди». Он об машине задумался! Ты думай об чем хочешь, а коня не забывай! Как ты, Филиппыч, сказал об машине, у меня сердце так и екнуло. Вот, думаю, почему на лошадей нуль внимания и фунт презрения... Поэтому он и на своей лошади не ездит, а все на лисапете... Но так нельзя! Буденному напишу. Для армии-то кони нужны! Пожалуюсь, ей-бо, пожалуюсь.

— А что же! И пожалуйся. Буденному можно, отчего не написать? Пускай он его проберет,— улыбался Половнев.— Машина машиной, а о лошадях тоже забывать нельзя.

— Стало быть, согласен со мной? — В голосе Крутоярова прозвучало явное удовлетворение.— Вот и хорошо. Тогда, может, мы и без Буденного обойдемся. Ты же партийный секретарь. Нажми на Ульяныча. И еще вот что: насчет Аникея. С какой стати его в сторожа тока? Какой из него сторож? Там хлеба будет тыщи пудов, когда молотьба начнется... Это же козлу капусту доверять! Почему ты-то молчишь?

— Говорил я Ульянычу,— пожал плечами Половнев.— А он на секретаря райкома ссылается.

— При чем тут секретарь райкома,— не соглашался Крутояров.— Мы-то лучше знаем Аникея. А почему Митрий Ульяныч сразу послушался? Раз ты председатель, народом выбран, обязан твердую линию держать... И с секретарем райкома, если что, не соглашаться.

— Точно! — сказал Половнев.

Это еще сильней ободрило и обрадовало Крутоярова.

— Спасибо, Филиппыч! — он пожал Половневу руку повыше локтя.— В таком разе надо нам с тобой повторить... единомыслие наше скрепить.

— Хватит,— решительно заявил Половнев.

Крутояров засмеялся:

— Пелагеи боишься?

— А что же... И побаиваюсь. Верней, не то что боюсь, а не люблю, если меня пилить начнут, как бревно, да еще деревянной пилой.

— И я не люблю,— смеялся Крутояров.— От моей мне тоже может влететь... Только моя не пилит, а бросает разговаривать, ежели я пьяный заявлюсь. И молчит дня три, а то и с неделю. Тогда уж к ней ни на каком коне подъехать невозможно. Сурьезная женщина.

— Вот видишь! Значит, довольно.

Крутояров поднялся.

— Ну, еще по кружке — и баста!

Половнев вынул бумажник из кармана пиджака. Крутояров протянул вперед обе ладони, как бы защищаясь от нападения.

— Нишкни, Филиппыч, угощение сегодня мое!

— Почему? Я должен угощать, ты же вез...

— Ни при чем, что вез!

Крутояров подошел к буфету и громко попросил:

— Нацеди-ка нам, молодочка, по кружке пивца.

Вернувшись к столу с пивом, Крутояров сел на стул и снова негромко заговорил:

— Я тебя, Филиппыч, не то что уважаю, я тебя люблю. Ведь с коих лет друг друга знаем! С детства! И царская война, и гражданская, и коллективизация — все нами с тобой пройдено, пережито. Пускай в разных частях служили... то неважно. А когда колхозы зачинались, мы ж с тобой нога в ногу, можно сказать. Было разве такое, чтобы Филиппыч в одну сторону, а Крутояров — в другую? Такого не было. Потому — мы с тобой трудящие бедняки были! И терпеть не можем, которы паразиты. Так ведь?

— Правильно! — кивнул Половнев с серьезным выражением лица.

— А помнишь,— продолжал Крутояров,— ты первый выкрикнул на сходке: «Раскулачить Травушкина — и на высылку!» Кто тебя тогда сразу поддержал? Крутояров и Ершов... Вот мы какие были! Не наша вина, что Травушкин извернулся. Одного, Филиппыч, забыть не могу: как мы с тобой дружка нашего Василия Ершова не уберегли?

— А как можно было уберечь? По нас тоже ведь палили, да промахнулись. Могли и не промахнуться, будь мы ростом с Василия.

Крутояров качнул головой:

— В аккурат могли! Это нам с тобой повезло. Рост ни при чем. Под счастливой звездой родились. В царскую войну оба ранетые были, но уцелели. В гражданскую тоже! И кулацкая пуля не взяла. Словно мы с тобой заговоренные... А Василия жалко! Останься он живой — быть бы ему председателем до

сих пор. Он бы куда ладней дела вел, чем Митрий Ульяныч.

— Напрасно ты, Яклич, на Ульяныча обижаешься,— миролюбиво промолвил Половнев.— Неплохой он мужик. Горяч, грубоват — то правда. Об том я так и Алексан Егорычу сказал. Но об колхозе-то заботится.

— Не могу я ему простить, зачем он с Травушкиным нянчится. Изловили гада во вредстве — к чертям, вон из колхоза! Паршивая овца стадо портит.

— Наверно, нельзя так-то... первое — не пойман как следует, а второе — политика не дозволяет.

— Да при чем политика, Филиппыч! — с жаром воскликнул Крутояров теперь уже громко.— Аникей — гад! Ты согласен, что он гад?

— Об чем и говорить, тут двух мнениев быть не может.

— Тогда почему же Аникею мирволят, почему снисхождение такое? Не потому ли, что он скоро сватом Половневу станет? — язвительно вдруг выпалил Крутояров и уставился своими светло-серыми глазами на друга.

Петр Филиппович нахмурил брови, не отводя глаз от взгляда Крутоярова, мрачно и жестко спросил:

— Откуда тебе известно такое? Я тебе говорил?

— От тебя не слыхал.

— Тогда, стало быть, и не того... не мели языком,— раздраженно сказал Половнев, повышая голос.— Мало чего сорока на хвосте носит!

— Да ты не серчай, Филиппыч... Должен я всю правду выложить, как ты мне друг и я тебя люблю... Но раз это от сороки, то и слава богу! — облегченно вздохнув, примирительно сказал Крутояров.— Сильно я растревожен был теми слухами... Как же, думаю, так? Филиппыч — и вдруг сват Аникею! Оттого сам и повез вас... Стало быть, все это сущая брехня!

— Да еще какая брехня-то!

Крутояров взял свою кружку с недопитым пивом, стукнул ею о кружку Половнева, приподнял вверх.

— Тогда выпьем, Филиппыч, дорогой ты мой! Ты и подумать не можешь, до чего я рад.

Половнев посмотрел на большие круглые часы, висевшие над дверью зала. До поезда оставалось еще с полчаса.

— А нехорошо у нас с тобой получается,— сказал он, почесывая затылок.— Сидим тут, бражничаем, а Пелагея на возу, одна.

— Хай посидит! — простодушно заулыбался Крутояров.— Она ж хотела пораньше на станцию приехать, а не мы

с тобой... Там, на воле-то, ничего. Бричка в тени... Еще чуток посидим и пойдем... хочется мне все высказать... Дело, понимаешь, сурьезное, детей наших с тобой касаемое.

— Говори.

— Не будешь ругаться?

— Смотря чего скажешь.

— Дело такое, Филиппыч... Ты уж извиняй, пожалуйста. Значит, Илюхе моему Галка твоя приглянулась... Знаешь ты об этом?

— Слыхивал,— неопределенно отозвался Половнев.

— И насчет разлада между ними слышал?

— Тоже слыхал.

— Кто в разладе повинен — не знаю,— понизив голос, таинственно произнес Крутояров, невольно оглянувшись на соседний стол.— Только мой из-за этого разлада аж в Александровку зафитилил... Кумекаю так: прослышал парень, что Галю сватают за Андрюшку... и глаза у него на лоб! Парень горячий, не приведи бог. А выходит, что же? Никакого же сватанья, стало быть! Понапрасну Илюха запсиховал-то Вот я и соображаю... не заехать ли мне в Александровку да все рассказать Илюхе? — заговорщически заключил он и снова оглянулся.

— Твое дело,— рассеянно и холодновато сказал Половнев.— Смотри сам.

— Нет, ты погоди! Ты мне так не отвечай, ты говори прямо: может, тебе и мой Илюха не по нраву?

— Чудак ты, Яклич! При чем тут я? Пусть они сами.

— Ну, а ты против Илюхи не будешь, если мы посватаемся?

— Илюха твой — парень хоть куда! Только, вишь ли, Галя-то совсем еще девчонка. Ей учиться бы... в университет она осенью собирается.

— Университет не помеха, Филиппыч. Ты не увертывайся! Мой Илюха тоже возьмет да и поедет... И пусть бы учились себе совместно. Мне охота знать, как ты... родитель то есть?

Половнев отвел глаза в сторону, хмуро проговорил:

— Рановато, Яклич, Гале об замужестве думать. Какое же ученье, если замуж...

— Не обязательно замуж, помолвку сделаем. А поженятся опосля, годика через два-три. Я почему хлопочу?.. Знаю: души не чает Илюха мой в твоей Гале.

Половнев хотел что-то сказать, но не успел. К ним незаметно подошла Пелагея.

— Да вы что же это, мужики! — с укоризной заворчала она.— Поезд скоро придет, а они сидят себе...

Крутояров быстро встал с места.

— Садись и ты, Афанасьевна. Извиняй, пожалуйста... Только-только собирались к тебе пойти... Но ты не беспокойся, мы тут для разговору только пивка маленечко...

— Знаю я ваше пивко...— Пелагея присела на подставленный Крутояровым стул.— О господи! — нараспев протянула она.— И какие же разговоры у вас тут? Битый час сидите... Я уж вздремнуть успела. Жара, совсем разморило... и в горле все жилочки пересохли.

— А мы их сейчас промочим,— обрадованно молвил Крутояров.— Пивка тебе, Афанасьевна, или ситреца?

— Давай пива, ситро сладкое, им не напьешься,— заявила Пелагея серьезным тоном.— На возу я оставила Мишку Плугова... Зачем-то он приезжал на лисапете,— добавила она, обращаясь к мужу.

Втроем они посидели еще с четверть часа, выпили по кружке пива и раков доели, к ужасу Пелагеи, которая раков не только есть — видеть не могла. Разговора о детях своих больше не заводили.

Провожая Половневых, Крутояров помог им внести в вагон мешки с гостинцами, корзину, а на прощанье спросил:

— Ну что ж, Филиппыч, поехать мне сейчас в Александровку?

— Поезжай! — решительно ответил Половнев.— Съезди... Расскажи ему, как и что... пускай ворочается.

Пелагея, укладывавшая мешки на полку, насторожилась:

— Об чем вы?

Половнев небрежно ответил:

— Свои у нас дела...

Крутояров, совсем развеселившийся, улыбающийся, довольный тем, что Половнев понял его, пожал им руки и даже поцеловал обоих, словно они уезжали бог весть куда и надолго, потом, слегка пошатываясь, направился к тамбуру. Паровоз уже дернул потихоньку, и поезд тронулся. Крутояров сошел на ходу и долго стоял на платформе, глядя вслед поезду.

## 4

— Садись, батя, тут вот, в центре,— говорил Половневу сын, Григорий, вводя его в продолговатую просторную комнату, посреди которой стояло несколько столов от стены до сте-

ны, накрытых белоснежными скатертями, уставленных всевозможными яствами.

Отец, мать и сын вошли первыми, позади, в дверях, теснилась кучка гостей — празднично одетых мужчин и женщин — друзей и знакомых Григория и его супруги.

— А рядом с тобой сядет мама,— продолжал Григорий.— Вы у нас самые дорогие и самые почетные гости.

Григорий был похож больше на мать: и нос такой, как у матери, широкий и немного курносый, и волосы посветлей, чем у отца, и брови совсем материны — редкие, белесые, в особенности же он был похож на мать глазами — светло-голубыми, немного прищуренными, с хитринкой.

Петр Филиппович, улыбаясь в усы, шутливо промолвил:

— За почет спасибо, сынок. Только зачем же нас сюда? Тут надо вам с Лизаветой сидеть, а мы вот здесь, сбоку. Так оно и будет в самый раз: старикам почет, молодым дорога!

Григорий возражать не стал.

Пелагея, поджав губы, чинно опустилась рядом с мужем почти на углу. Больше всего ее заботило сейчас не то, где сесть, а то, как держать себя, чтобы не ударить лицом в грязь перед городскими, показать, что она хоть и деревенская, а порядки и всякое обхождение интеллигентное понимает.

Вдоль стола стояли стулья с кожаными сиденьями и с кожаными плоскими спинками. Но кожа на стульях была разная: у одних черная, у других желтая. И Пелагея знала, что с желтой кожей, поновей,— стулья Григория, а с черной — взяты на время у соседей. На столе против каждого стула — тарелка, на ней — нож с вилкой. «Не забыть бы,— думала Пелагея,— вилку надо держать в левой руке, а ножик в правой. И хлеб руками не брать, а вилкой». Эти наставления ей давала сватья — мать Елизаветы, невестки.

«Скажи на милость, хитрость какая! Будто я сама того не знала! — неприязненно подумала она о сватье, поучения которой были ей не совсем приятны, хоть и приняла их со смиренным видом.— Учительша какая нашлась! Взяла себе в голову, что она городская и умней меня. Это, матушка, еще посмотреть надо, которы умней — городские или деревенские! Вилку ты держать умеешь, а вот попробовала бы вилы или тяпку! Поглядела бы я на твое проворство!»

Она прислонилась головой к плечу мужа и таинственно, шепотом сообщила:

— Тридцать восемь стульев! Батюшки мои, такая орава гостей! Одного хлеба сколь надо! С ума сошел Гриша. Это же разорение, Филиппыч! А все сватья эта. Она тут ими коман-

дует. И все затем, чтобы пыль в глаза пустить. Антиллегентка какая нашлась!

— Перестань. При чем тут сватья? Выдумываешь!

Между тем гости шумно усаживались, гремя стульями. Петр Филиппович с невольным любопытством окинул взглядом бесконечность богато убранного стола Чего тут только не было! Колбасы разные, в том числе и любимая Петра Филипповича копченая, нарезанная продолговатыми кружочками, тоненькие ломтики сыра, ветчины, открытые банки консервов, кусочки жареного мяса — все это на тарелках, расставленных по всему столу. Здесь же большие блюда с заливным судаком, с заливной телятиной и блюда поменьше — с селедкой, присыпанной зеленым луком, и с жареной рыбой в маринаде, хлебницы с черным и белым хлебом.

Все было приготовлено чисто, по-культурному. «Богато они тут живут,— подумал Половнев не столько о сыне своем, сколько о рабочих вообще,— побогаче, чем мы, деревенские!»

Впрочем, о том, что в городе люди живут лучше, нежели в деревне, Петр Филиппович заключил не только по убранству стола, но и по квартире сына, которая особенно нравилась ему. Две большие комнаты, обширная кухня, паркетные полы, крашеные стены, ванная с кафельными стенками, теплая уборная... Чего еще! Ведь это же по сравнению с избой Петра Филипповича хоромы барские!

«Но и работают они тут не нам чета, не вразвалочку! — продолжал он свои размышления.— У них все по плану, а планы разве такие, как у нас с Ершовым?»

5

В том, что работают здесь здорово, Половнев убедился вчера, обойдя с сыном чуть не весь паровозоремонтный завод. Везде было занятно, интересно и поучительно, тем более что за всю свою жизнь он впервые знакомился с работой огромного заводского коллектива. Его восхищали станки, автоматы, слаженность всего производства. В каждом цехе хотелось бы потолкаться не час и не два, а несколько дней. Но это невозможно. Спасибо Григорию — догадался хоть наскоро познакомить с заводом.

Побывал Половнев и в кузнечном цехе, проявив к нему особенный интерес.

Гул паровых молотов был слышен еще со двора.

— Вот и кузня наша,— сказал Григорий, подходя к воротам цеха.

Петр Филиппович приготовился увидеть помещение значительно больше своей кузни (это было ясно уже и снаружи), в котором десятка два-три, а то и полсотни кузнецов, хорошие, новые мехи, а не такие старые, как в Даниловке. Завод же!

Но увидел совсем другое.

Длинное, широкое и высоченное здание со стеклянной, сильно запыленной и закопченной крышей, от которой через весь цех тянулись голубые дымные столбы солнечных лучей. И нигде никаких мехов и наковален, никаких кузнецов с молотками. Вдоль двух стен стояли какие-то машины и большущие печи. Посреди цеха — две линии узкоколейки для автовагонеток.

Григорий с отцом прошли внутрь цеха по правой стороне и остановились поодаль одной машины, возле которой стоял человек в кожаном фартуке и в полумаске с темными очками. В простенке между двумя окнами — колоссальных размеров печь с десятью отверстиями (Петр Филиппович сосчитал их). Сказочный дракон с разверстой пастью, пышущей нестерпимо ярким огнем! Вот к этой печи, словно карлик, подбегает человек в фартуке и маске, с длинными, метра в полтора, клещами. Слегка отвернувшись, он быстро выхватывает из огня раскаленный добела железный прут и стремительно, будто с кем-либо соревнуясь в беге, мчится к машине (Григорий объяснил: это поковочная машина-автомат), вставляет деталь в форму, нажимает ногой еле заметную педаль, выступающую у основания машины. Раздается страшной силы хруст со звоном. Кусок металла спрессовывается механизмами, секунда — и деталь готова. Человек клещами вынимает ее наружу, отбрасывает в сторону, в гору таких же деталей, и снова — к печи.

Петр Филиппович прикинул на глаз расстояние между машиной и печью.

— Шагов пятнадцать, не менее,— раздумчиво сказал он Григорию.

— Точно, батя! Около десяти метров.

— Что же так далеко? Ведь этак человек за день километров тридцать набегает.

— Как бы не побольше, батя,— возразил Григорий с улыбкой.— Сорок километров за восемь часов нормальным шагом можно одолеть, а он все время почти бегом.

Петр Филиппович с любопытством наблюдал за кузнецом, который, кажется, не замечал их, а если и заметил, то не обращал на них внимания. Что за человек, сколько ему лет?

— Работенка только для молодых! — Петр Филиппович хмуро сдвинул брови.— В мои годы не того... Я бы уж не смог так-то.

— Смог бы,— с ласковой почтительностью отозвался Григорий.— Втягивается человек. Вот он же работает,— Григорий кивнул на кузнеца, снова мчавшегося от печки к автомату с куском горящего металла в клещах.— А он, кажется, немного помоложе тебя.

— Не может быть,— усомнился Петр Филиппович.

Кузнец, бегущий с клещами, опять показался ему карликом, сражающимся с драконом.

Григорий шагнул в сторону поковочной машины, говоря:

— Увидишь сейчас.

Петр Филиппович остановил его.

— Погоди. А почему машину не подвинуть поближе к печи? — спросил он.

— Наверно, нельзя, батя. Вот когда все механизируем... а пока приходится бегать,— ответил Григорий.— В печи-то знаешь какая жара? Тысяча двести градусов!

— Ох ты-ы! — удивленно протянул Петр Филиппович.

Григорий пояснил:

— К ней, черту, на секунду подбежишь — и то всего так и охватывает, а постоять вблизи — за день весь по́том изойдешь и высохнешь, как щепка...

Разговаривая, они подошли к кузнецу, как раз в момент, когда тот, швырнув деталь в металлический ворох, снова ринулся на дракона. Григорий на ходу схватил его за плечо. Кузнец обернулся, сердито спросил:

— Тебе чего?

— Отдохни, давай покурим,— тепло и просто предложил Григорий.

— Здравствуй, Григорий Петрович! Покурить, говоришь? На, кури! — Кузнец вынул из кармана брюк кисет и подал его Григорию.— Бумажка внутри. Закуривай, пожалуйста.

— Куда торопишься! — Григорий не отпускал его, продолжая держать за плечо.— Земляк вот хочет повидаться.

— Какой такой земляк? Откуда?

— Из Даниловки.

Кузнец, бросив клещи наземь, снял сначала кепку, затем полумаску с очками, пристально посмотрел на Половнева.

— Ты, что ли, Филиппыч? — обрадованно воскликнул он и протянул руку, добродушно улыбаясь всем своим заросшим лицом.

— Наверно, я,— усмехнулся Петр Филиппович.— А ты, похоже, Никанор Панфилыч?

Петр Филиппович и Никанор Панфилович Травушкин не видались больше десяти лет и теперь с трудом узнавали друг друга.

Травушкин — мужчина ниже среднего роста. Круглое лицо его в красноватой щетине было мокро от пота, словно человек только вышел из бани. Влажны были и медного оттенка волосы, курчавившиеся на висках и за крупными, как лопухи, слегка оттопыренными ушами. Он был очень похож на брата своего, Аникея. Рубашка на груди, плечах и спине — хоть выжми. «Вот это работают люди!» — восхищенно подумал Петр Филиппович, а вслух с грубоватой иронией спросил:

— Ты чего так стараешься, Панфилыч? Аж взмок весь. Сдельно? Побольше заработать хочешь? Здоровье пожалел бы! Чай, не молоденький.

И вновь осуждающе, с чувством глухой враждебности подумал: «Определенно за деньгой гонится! Брат Аникею-то, от отца у них жадность на деньги. И этот, хоть и рабочий, а туда же! Вишь, упарился! И покурить ему некогда. Небось злится на нас, что помешали!»

Половнев посмотрел на земляка из-под насупленных густых бровей. А тот, положив на пол серые брезентовые рукавицы, свертывал цигарку, дружелюбно улыбаясь. Видать, был рад встрече.

— Давненько мы с тобой не встречались, Филиппыч. В Даниловку-то я теперь не езжу... не к кому, после того, как мать померла.

— А к брату? — спросил Петр Филиппович.

— Ха! К брату! — Никанор Панфилович весело осклабился.— Будто ты не знаешь братца моего. Чего мне с ним делать? Разные мы люди.

— Так уж и разные! — недоверчиво произнес Петр Филиппович.— Все-таки родня, от одной матери, отца.

— Эх, Филиппыч! Разве только в отце и матери дело? Аль забыл, как оно было: сын на отца шел, а не только брат на брата.

— Да бывало оно всякое,— согласился Петр Филиппович.— Однако я думал, что вы, как братья, встречаетесь. Стало быть, и он к тебе не заходит, ежели в городе бывает.

— Он бы, может, и не прочь по хитрости своей, да мне-то на кой леший сдался такой гость!

— Вона что! Да ты, видать, зол на Аникея побольше, чем я! Насолил он тебе чем-нибудь?

Никанор Панфилович махнул рукой:

— Длинный разговор, Филиппыч. Еще при покойном папаше мы с ним насмерть поссорились. Они ведь с папашей в одну дудку дули... Батрака из меня сделали было. За человека не считали.

Все трое закурили — Григорий и Никанор Панфилович цигарки, а Петр Филиппович — трубку. Синий дым облачком завился вокруг них. Некоторое время помолчали.

— А насчет заработка ты, Филиппыч, напрасно подумал,— снова доверчиво заговорил Никанор Панфилович глуховатым голосом.— Не в заработке соль. На что мне деньги, куда девать их? Домов строить не собираюсь, имею коммунальную квартиру. Детей всех в люди вывел: один — инженер по электричеству, другой — фрезеровщик на нашем заводе. Дочка — врач, замужем. Последний сынок учится в строительном институте. А двоим со старухой нам не много нужно. Это одно. А другое — Григорий вот знает, насчет заработка я не жадный. Много выработаю — расценку снизить попрошу. Мне от государства лишнего не надо, абы сыту, обуту, одету быть. Вот так-то!

«Чудно́!» — подумал Петр Филиппович.

На прощание Григорий пригласил Травушкина в гости. Никанор Панфилович, надевая полумаску и рукавицы, пообещал прийти.

Не менее, чем печь, похожая на дракона, и машина-автомат, удивили Петра Филипповича паровые молоты, к которым Григорий привел его после разговора с Травушкиным. От работы этих молотов колебался глинобитный пол, как от землетрясения. Казалось, того гляди, рухнет все здание. А когда стоишь рядом, то у тебя и внутренности все дрожат и ноги подкашиваются. Тоже работа нелегкая. Да и где она тут, легкая работа? В сборочном? В литейном? В котельном? Нигде не видел Петр Филиппович легкой работы. Разве только токарям да фрезеровщикам полегче малость, да и то не особенно.

«Завидуют некоторые наши колхозники рабочим. Отработал, дескать, свои часы — и домой. А главное — в месяц две получки! А чему тут завидовать. Попробуй-ка заработай две получки!» Такие мысли пришли в голову Петру Филипповичу, когда он наблюдал, как работают люди на паровых молотах.

— Сила удара — пять тонн,— крикнул Григорий в ухо отцу.— Или триста пудов!

Петр Филиппович удивленно покачал головой. Вот это куз-

ня так кузня! И показался он сам себе со своей деревенской кузницей и с молотком своим, по сравнению с печами и машинами, у которых работал Никанор Травушкин и другие, по сравнению с паровыми молотами, маленьким-маленьким и... бедным. Ничего же нет в его кузнице, кроме меха да наковальни.

Когда вышли во двор, задумчиво сказал Григорию:

— В жизни ничего подобного не видывал.— Помолчав, мечтательно добавил: — А такой автоматик, как у Никанора, не худо бы к нам в деревню.

— Тогда и печь такую надо,— усмехнулся Григорий.— Но чем ты ее топить там будешь? Древесным углем?

— А чем она топится?

— Газом.

Петр Филиппович протяжно вздохнул.

— Да это я так... Куда нам! Да и не нужна, пожалуй, у нас такая печь и такая машина.

На выходе из завода возле перекидного моста Петр Филиппович увидел большую витрину с портретами рабочих-стахановцев и заинтересовался ею. Тут оказался портрет и Никанора Панфиловича Травушкина. Под ним было написано: «В счет плана 1944 года».

Петр Филиппович тронул сына за плечо:

— Это как же понимать? Еще нет и половины сорок первого. Описались либо?

— Все правильно, батя,— сказал Григорий.— Панфилыч уже на четвертую пятилетку работает. Понятно?

— Понятно-то понятно... но почему же он так старается? Неужели не из-за денег? Не верится все-таки. Хоть ты и сказал, но я подумал, что ты просто по-приятельски поддержал его передо мной.

— Ну, что ты, батя! Не из-за денег — это факт! — горячо проговорил Григорий.— Это мне хорошо известно, потому как мы с ним дружны и я всю его жизнь досконально знаю. О Никаноре Панфиловиче и в заводской писали, и в «Гудке» по весне целую полосу поместили. Впрочем, он ведь не один, таких на заводе теперь много. И дело тут не в деньгах, батя, и не в славе. Просто иначе нельзя... само дело подталкивает все вперед и вперед! Возьми меня... разве слава и деньги только прельщают?

— Ну, ты — иное дело... ты член партии.

— А Панфилыч тоже партийный.

— Неужели? — удивился Петр Филиппович.

— С тридцатого аж! — сказал Григорий.

— Вон оно что! А все-таки непонятно мне, почему он так уж очень сильно нажимает. Может, чтоб не придрались к нему, что он из кулацкого рода? Или он скрывает, кто был его папаша?

— Нет, этого он никогда не скрывал. Ну и нажимает, конечно, не поэтому. Да ты завтра поговори с ним, прощупай, так сказать... он будет у нас.

Обо всем этом Половнев вспомнил, когда Никанор Панфилович подошел к нему, поздоровался и сел рядом.

## 6

Все наконец уселись. Григорий попросил налить рюмки и дал слово директору завода — товарищу Птицыну Виктору Акимовичу.

Директор, румяный, с седой головой, лет пятидесяти, в русской белой рубашке с расшитым воротом, произнес небольшую речь. Он поздравил слесаря Григория Петровича Половнева с новорожденным сыном Владимиром и выразил надежду, что продолжение последует, поскольку квартира Половневу предоставлена приличная, с расчетом на приумножение семьи. В заключение объявил, что дирекция завода преподносит новорожденному гражданину качалку на колесах. При последних словах моложавая, светловолосая, в коричневом платье женщина — работница завода — вкатила в комнату голубую коляску с открытым верхом. Раздались дружные веселые рукоплескания. Все встали. Кто поближе, тянулись рюмками к Григорию и его супруге, чтобы чокнуться.

Затем выступил с поздравлением председатель завкома, мужчина с небольшими черными усиками, с глубокими морщинами на открытом широком лбу. На нем была светлая рубашка с малиновым галстуком, за который он, произнося речь, то и дело хватался пальцами. От завкома председатель преподнес теплое одеяло цвета весенней травы и уверенно сказал, что новорожденный Владимир Григорьевич со временем пополнит ряды рабочих завода и по примеру отца своего будет стахановцем.

Гости еще сильней зашумели, захлопали в ладоши. Кто-то даже «ура» крикнул, но его не поддержали. Женщины потребовали показать виновника торжества, хотя многие из них успели уже посмотреть его в спальне. Григорий взял мальца из коляски, освободил от пеленок и поднял его над столом для всеобщего обозрения. Ребенку было уже больше месяца. Полненький, мордастый, он равнодушно смотрел на

своего папашу, державшего его под мышки, и слегка шевелил пухлыми пальчиками. Белая рубашонка была ему коротковата и едва прикрывала розовые ягодицы. Гул восторженных восклицаний огласил комнату:

— Хорош!

— Ай да малый!

— Силен, бродяга!

— В папашу.

— Нет, в мамашу. Приглядись получше.

Пелагея Афанасьевна чувствовала себя сидящей на угольях.

— Филиппыч,— шептала она, толкая мужа в бок,— что же это деется-то! Разве можно младенчика эдак выставлять? Сглазят же его.

— Ну, понесла! — оборвал ее Петр Филиппович приглушенным голосом.— И когда ты в разум войдешь? Сколько разов я тебе растолковывал, нету на свете никакого сглазу. Бредни бабьи, и больше ничего. Постыдилась бы хоть при чужих людях темноту свою показывать.

Последние слова для Пелагеи были самыми убедительными, они охладили ее.

Петр Филиппович заметил вскоре, что Никанор Панфилович наливает себе ситро.

— Панфилыч, ты чего же фальшивишь? — насмешливо заметил он.

Никанор Панфилович не носил ни усов, ни бороды, и сегодня на лице его не было седой щетины, оно чисто выбрито, наодеколонено и немного блестело. На замечание Петра Филипповича он улыбнулся, полные румяные щеки его раздвинулись. Ткнув пальцем в бутылку с водкой, покрутил головой и ответил:

— Я ее не того... не особенно обожаю.

— Совсем не пьешь? — удивился Половнев.

— Нельзя сказать, чтоб совсем, но редко... По большим праздникам иногда, если дня два-три гулять. И то понемногу. А сегодня совсем нельзя.

— Почему?

— Работать завтра с утра.

— Ну и что?

— Какая же с похмелья работа? Руки, ноги дрожат, голова мутная. А у меня видал как бегать приходится? И часа не выдержишь, ежели не в форме.

— Боишься отстать? — с подковыркой спросил Петр Филиппович.

Панфилович не заметил подковырки или не придал ей значения и серьезно ответил:

— Боюсь. Отставать мне никак нельзя.

— От кого? Там, где портрет твой выставлен, я не видал, чтоб кто перегнал тебя.

— Те, которых ты видел, вместе со мной бегут. Но и от них отставать неохота. Главное же, кого догонять надо, это, брат, немцы, англичане, французы. От них мы с тобой отстали сильно. О том товарищ Ленин еще говорил. Ты — секретарь парторганизации, сказывал мне Григорий. Должен знать. На пятьдесят — сто лет мы от некоторых позади, сказано было на съезде партии. И это расстояние мы должны пробежать в десять — пятнадцать лет. Мне знаешь как в голову шибануло, когда прочитал! Похлеще всякого вина! Вот с тех пор и бегаю. Вчера ты посмотрел маленько... и намекнул насчет заработка. Я не обиделся. Сразу трудно понять, чего человек носится не до седьмого, а до десятого пота. Но, Филиппыч, не в заработке суть. Я уж говорил тебе, что денег мне мало нужно.

— А я, грешный человек, увидал твой портрет и определил: если, мол, не за деньгами, то за славой гонится Панфилыч.

Травушкин грустновато покачал головой.

— Эх, Петро Филиппыч! Слава завлекательна молодому, а нам с тобой чего с ней делать? Ты из-за славы хлопочешь, когда к посевной или уборочной спешишь все починить?

— Об нас что же говорить,— промолвил Петр Филиппович.— Какая в деревне слава... Ну, и потом, верно, в наши лета не до славы.

— Вот именно!— с удовлетворением согласился Никанор Панфилович, видимо довольный тем, что земляк понимает его.

Петр Филиппович наполнил сперва свою рюмку, потом Никанора Панфиловича. Тот запротестовал, но было уже поздно. Петр Филиппович приподнял большую шершавую руку.

— Ты вот что, Панфилыч... десять или одиннадцать годов с тобой не видались. Кто его знает, когда мы опять сойдемся за одним столом. И потом вот еще чего... по душе ты мне! И тем, как работаешь, и тем, как говоришь. Согласен я с тобой насчет того, как ты сейчас сказал. Догонять обязательно их надо. Не догоним — амба нам будет! Проглотят они нас со всей требухой — и только оближутся! Скажу по совести, не ожидал я, что ты такой... Братца твоего, Аникея, во

как знаю! И батю знал. Злодеи, драконы! Правда? И думал: от вредного роду не жди хорошего приплоду. Ушел, дескать, Панфилыч на завод... По какой такой причине ушел, кто его знает. Но все-таки он Аникею-то брат. А получается — враг ты ему, а мне друг! Ну и давай мы с тобой выпьем. Хоть одну чекалдыкни. За смычку рабочих и крестьян. Ты ведь теперь уже не крестьянин, а рабочий. В каком году на завод ушел? В одиннадцатом? Помню, мне — в армию, а ты — в город. Ну, а я так и остался крестьянином. Вот и смычка у нас с тобой.

Петр Филиппович слегка притронулся рюмкой к рюмке Никанора Панфиловича и стал ожидать, возьмет ли тот свою. Травушкин покачал головой, добродушно хмыкнул.

— Припер ты меня! Придется стукнуть,— размягченным голосом проговорил он, сдаваясь.— Но если завтра норму не дам — ты в ответе!

— Ладно,— довольным тоном проговорил Петр Филиппович.— Запишем где-нибудь. Опосля рассчитаюсь, если что...

За столом стало шумно. Гости разговаривали друг с другом, шутили, смеялись, курили. В солнечном свете, врывавшемся даже сквозь тюлевые гардины, густыми облаками плавал синий табачный дым. В комнате было душно, несмотря на открытые окна. Лица гостей блестели от пота. Лишь Никанор Панфилович не чувствовал жары, и лицо его было сухо: по сравнению с жарой печи, у которой он работал, такая температура была для него вполне приемлема.

— Ну, как живешь, как дети?— спросил Никанор Панфилович Половнева.

Петр Филиппович рассказал. Поделился своими сомнениями насчет замужества Гали.

— Мне-то хотелось, чтобы Галя училась. Учитель наш говорит — способная она. А эта вот,— Петр Филиппович кивнул на жену,— заладила: надо выдать девку замуж!

— А жених есть?

— Вот я и хотел с тобой посоветоваться. За Андрея Пелагея ее прочит. За племянничка твоего. Так что, того гляди, породнимся. Ты знаешь Андрюху-то? Как он?

— Был у меня года два назад, перед вступлением в партию. Одет чисто, в желтых ботиночках, надушенный... Живет, стало быть, в достатке. А что он такое из себя — кто его знает. На взгляд не особенно понравился, да с первого взгляду много ли увидишь?

Пелагея Афанасьевна все время прислушивалась, о чем

разговаривали мужики, тем более что место у нее выдалось такое — и погутарить не с кем. Слева — муж, справа — сын. Услышав, что речь зашла об Андрее Травушкине, она навострила уши.

— И совсем напрасно ты так говоришь, Панфилыч,— решительно встревая в разговор, недовольным голосом заметила она.— Почему ж это не понравился тебе Андрюша? Насчет достатку правильно... Ну он и парень хоть куда! Правда, ростику незавидного, да это уж по природе. Ростом-то и ты не больно взял. Так не в росте же дело. Велик Иван, да дурак. Андрюша же человек с понятием, ученый... не нам, лаптям, чета. И я простофиле своему говорю,— она кивнула на мужа,— лучшего жениха Галке нашей и не придумаешь! А он уперся как бык — и ни в какую! Что из того, ежели когда-то мы с Аникеем Панфилычем в ссоре были...

— Ну что ты понимаешь!— сердито перебил ее Петр Филиппович.— Заталдычила! Ссора, ссора... И совсем не ссора. Никанор Панфилыч брат ему, и то согласен со мной, а ты свое.

— Так опять же не за Аникея Галку выдаем, а за сына,— не унималась Пелагея Афанасьевна.

Петр Филиппович хотел сказать: «Яблочко от яблони недалеко падает», но, сообразив, что эти слова могли быть обидными для Никанора Панфиловича, который примером своей жизни как бы опровергал эту пословицу, вовремя остановился.

— Знаешь что, Афанасьевна, давай не будем тут семейные дела разводить,— резонно сказал он.— Сиди и кушай себе на здоровье да не мешай нам, мужикам, об своих делах толковать.

Никанор Панфилович примирительно заметил:

— Не спорьте вы. Не старое время... Пускай Галя ваша идет за того, кто по сердцу ей.

— Он правильно говорит, Афанасьевна,— смягчившимся тоном кротко вымолвил он.— Разберемся мы с тобой со своими делами дома.

Пелагея Афанасьевна понимающе глянула на мужа.

Петр Филиппович нагнулся к Никанору Панфиловичу и продолжал вполголоса, чтоб не могла услышать жена:

— Я ведь, Панфилыч, чего хочу? Я хочу, чтобы Галка и вовсе замуж подождала выходить. Пускай бы она училась, а там видно будет. Тут, вишь ли, какое дело... Всю жизнь одна мысль сверлила мою голову — выучить сыновей... Чем они хуже других, и того ж Андрея? Не ради богатства, о чем день

и ночь хлопочет моя благоверная. Мы с тобой знаем, что оно такое, богатство,— тьфу! Побольше своих людей рабочим и крестьянам надо иметь и в науке. Так ведь?

— Так,— кивнул Никанор Панфилович, внимательно слушавший земляка.— Об этом и в газетах писали и партия все время заботится.

— Вот я и думаю: сыновей не удалось, потому что в технику они вклюнулись, один — на заводе, другой — в трактористах... так дочку, может, удастся выучить как следует.

— Гриша-то все же учится,— заметил Травушкин.

— В вечернем институте... какое уж это ученье,— с сожалением сказал Половнев.

Пированье длилось до полуночи. И все время Петр Филиппович и Никанор Панфилович были вместе. О чем они только не переговорили. Под конец они стали совсем закадычными приятелями.

---

# ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

## 1

Уже на второй день после ухода из своей бригады Илья понял, что погорячился. Верно, ему было бы нелегко ежедневно встречаться с Огоньковым, работать вместе с ним. Еще трудней увидеть женитьбу Андрея Травушкина на Гале Половневой. И все же уходить не следовало. Что подумают о нем ребята? Федосеич пообещался сделать так, будто Илью перевела МТС, а не сам он ушел из бригады. Но Миша Плугов знает, как Илья уходил, и, конечно, расскажет Огонькову, а тот всей бригаде. То-то похохочут! «Из-за девки парень запсиховал!»

«Да! Из-за девки! Ну и что же? Любого из вас коснись — вы не запсиховали бы?»

Однако что сделано, то сделано! Задом наперед только раки ходят. Отца и мать жалко, они скучать будут по нем. Надо хоть открытку послать. Так, мол, и так... переведен. Может, и Гале написать? А зачем, к чему? На кой Илье эта малосмысленная девчонка? Погналась за легкой городской жизнью? Ну и гонись! Таких только презирать. В случае придется встретиться, он так глянет на нее, что у нее душа в пятки запросится. «Ах, это, кажется, вы, Галина Петров-

на! А я вас и не узнал, вернее, не заметил. Как вам живется с вашим ученым муженьком?»

Вот эдак он и отбреет. Пусть почувствует — в ней не нуждаются!

Написал родителям открытку. Хотел все же и Гале написать, что-нибудь злое, оскорбительное. Раздумал. Лучше отчитать при встрече. Много чести — письма ей писать. Еще вообразит чего-нибудь такое. «Отпрошусь у Федосеича, бельишко, дескать, сменить. Вечером встрену ее и все выскажу».

Попросить бы Алешку Ершова сочинить на Галю частушки позлей, позанозистей и с баяном пройтись по тому порядку, где Половневы живут. Против их избы баян приглушить, чтоб все до слова было слышно. Вот здорово получилось бы!

От Александровки до Даниловки Илья решил идти пешком. Куда торопиться? Чтоб избежать лишних встреч и расспросов, лучше прийти в село позже, в сумерках. Шел не по грейдеру, а лугом, по берегу реки, погруженный в думы. А думы были разные и набегали одна на другую, как вон те облака в небе. Скоро уборка. Работать придется не на даниловских полях, а на александровских. Ну, это неважно. Хорошо бы попался боевой комбайнер. Можно так поднажать, что в газетах шум поднимут. Вот тогда-то уж и Огоньков, наверно, пожалел бы, что лишился такого тракториста. Да и Галя прочитала бы. Впрочем, зачем ей? Она теперь делами деревенскими совсем интересоваться перестанет. Иная статья — Вася. Этот, если услышит что-нибудь хорошее об Илье, обрадуется. Дружок!

Несмотря на то что сестра Васи оказалась такой легкомысленной, Илья не утратил к нему дружеских чувств и всю неделю скучал по нем. «Может, сегодня увидимся». Илье теперь начинало казаться, что, собственно, и в Даниловку он идет главным образом затем, чтобы с другом повидаться. Более близкого и дорогого человека среди сверстников у Ильи нет. Из-за одного Васи он не прочь теперь возвратиться в бригаду Огонькова. Но как? Приказ о переводе вывешен. Придется, видно, жить в Александровке. Ну ничего! Может, удастся поступить на штатную должность в МТС. Дадут квартиру. Возьмет Илья к себе отца с матерью. Женится. Года такие подходят. Жениться обязательно нужно. Батя по весне говорил:

— Пора, пора, сынок! Находи девушку хорошую. Аль нашел уже? Говори, не таись! Может, помочь? Может, сосватать?

Илья отрывисто и грубовато ответил:

— Сам управлюсь!

— Сам так сам! — обидчиво согласился батя.— Теперь такая мода. Без родителев, стало быть... Хоть показал бы, какая она из себя.

Илья промолчал. Всему селу известно, с кем гулял Илья, кого по вечерам из хоровода до дому провожал. Знал и батя. Чего же спрашивать?

Но теперь нет у Ильи невесты. Ладно! Не пропадем! Найдем девушку не хуже, и если не в Даниловке, то в Александровке.

И вдруг стали рисоваться светлые, приятные картины счастливой семейной жизни. Вот он возвращается с поля. Не спеша подходит к небольшому белому домику на усадьбе МТС. На крыше — антенна. Перед окнами — палисадник, в нем — вишни, сирень, черемуха. Все в цвету. А у крылечка — жена! На руках у нее мальчонка. Этакий голубоглазый, мордастый бутуз.

Илья идет медленно, еле передвигая ноги. И все, что когда-то будет, так явственно видится ему, только руку протянуть — и вот оно, счастье его!

Почти в сумерках, когда по деревне уже гнали стадо поднявшее клубы пыли над улицей, Илья огородами и задворками пробрался домой. Мать ничуть не удивилась. Зажгла лампу, насмешливо спросила:

— Насовсем или на побывку?

Илья сумрачно ответил:

— Белье сменить. А где батя?

— Батя дрыхнет в горнице. Половневых возил сегодня на станцию... в город поехали. Потом за тобой в Александровку заезжал, да не нашел.— Она вынула из сундука, стоявшего возле печки, свежее белье, завернула его в широкое холщовое полотенце, подала сыну.— Сейчас поужинаешь или после бани?

— После. А разве баню топили?

Илья не рассчитывал на баню и собирался вымыться в речке.

— А как же,— проговорила мать.— Чай, мы ждали тебя. Батя-то примчал и говорит, что должен ты прийти домой.

У Ильи захолонуло сердце от благодарности.

— Спасибо, мам! — проговорил он, принимая белье. Хотел спросить: «И Галя поехала в город?» — но не хватило духу.

Молча вышел из избы с бельем под мышкой. На крыльце остановился. Половневы в городе. Наверно, свадьбу там будут играть. Вот тебе и частушки! Не придется Алешу беспокоить. Для кого их петь?

Возле правления шумел хоровод. Скрипела гармошка. По всему видать, играл Огоньков.

После бани Илья поужинал, надел выходной костюм, обул ботинки, причесался перед зеркалом. Из-за перегородки доносился храп отца. «А здорово батя заложил. По какому случаю и с какой радости?» Он знал, что без серьезного повода отец водки не пил.

— Мам, я пойду к хороводу.

— Ступай! Без баяна?

— Ага!

— Чего так?

— Надоел!

Ребята были рады приходу Крутоярова.

— Здорово, Илья!

— Чего тебя не видно?

— Он же теперь в Александровке!

— Почему?

Илья, пожимая протягиваемые ему руки, говорил с улыбкой:

— Понравился Федосеичу, вот и перевели. Для укрепления, так сказать.

Огоньков сидел на бревнах, держа на коленях небольшую гармошку. Была как раз передышка в танцах. Он покосился на Илью, но ничего не сказал. Илья тоже не стал с ним здороваться. Среди ребят был и Вася Половнев.

— Ну, как ты там? — спросил он.

— Да ничего, — сказал Илья. — Работаю. Приехал вот побаниться.

Когда Огоньков заиграл очередной вальс, Вася оттащил Илью от хоровода, полушепотом спросил:

— Слушай, Илья... чего ты сестренку мою обижаешь?

— Как обижаю?

— Хоть бы открыточку написал, а то смылся — и ни гугу!

— А для чего писать?

— То есть как для чего? У девки глаза не просыхают, а он — для чего!

— Почему же не просыхают? По Андрюшке Травушкину тоскует, наверно, — со злой иронией выпалил Илья. — Мои открытки тут не помогут.

— Дура ты стоеросовая, — добродушно и насмешливо про-

изнес Половнев.— При чем Андрюшка? Чего ты выдумал?

— Ты мне буки не забивай, Вася. Все мне известно. Ваши-то в город уехали... а зачем? Наверно, и Галя с ними. Если не свадьба, то заручение будет.

— Наговорил сто верст до небес — и все лесом! Мать с отцом к Григорию в гости поехали... мальчонка у них родился... А Галя сидит дома и горюет... по тебе, орясине такой, скучает. Звал ее на улицу — не пошла. Ясно! Чего ей делать на улице без тебя? Я говорю: может, Илюша придет. Привести? Приведи, говорит. А он мелет чепуху какую-то.

Насчет того, что Галя просила привести Илью, Вася присочинил из сочувствия к другу.

Илья натужно переступил с ноги на ногу, сердито засопел.

— Не надо меня разыгрывать, Вася!— угрюмо пробурчал он.— Ни к чему... Что с возу пало, то пропало...

Вася решительно взял Илью под руку.

— Айда! Разыгрывать!.. Зачем мне тебя разыгрывать, коли я за вас, чертей, обоих душой страдаю? Думаешь, я не знаю, как и почему ты ушел? Может, кто и не догадался, а я-то сразу понял! Но ведь глупо, Илюша! Надо было все-таки с Галей сначала выяснить, а потом уж с ума сходить.

Илья покорно шел, куда его тянул друг.

— Так она же не захотела выслушать меня после того вечера, когда Огоньков идиотскую шутку сшутил,— грустно и подавленно оправдывался Илья, чувствуя, что в данном случае Вася прав: объясниться с Галей надо было...— А потом слух пошел, что Травушкин сватается за нее... Тут уж какие объяснения могут быть!

Вася рассказал, что насчет сватанья одни слухи. Никакого сватанья не было и быть не могло.

— Разве батя станет сватом Травушкина? Да и Галя... На что ей Андрюшка, если она по тебе сохнет? Тетка Настасья по селу раззвонила...

Илья некоторое время молчал. В голове у него начинало все путаться. Что же это такое?

— А ты правду говоришь?— недоверчиво спросил он.— Может, утешаешь... надеешься помирить... На самом же деле Галя и разговаривать со мной не захочет?

— Ну ты и чудак, ей-богу!— возмутился Вася, видимо теряя терпение.— С какой стати мне врать и утешать тебя? Дело-то ведь не шуточное... Разве я не понимаю? Сам такой же... на днях с Веруնькой своей поссорился неизвестно из-за чего.

## 2

Окна избы Половневых слабо светились желтым светом. У крыльца Вася тихо сказал:

— Ты постой.

— Может, Андрюшка там?— язвительно заметил Илья.

— Не дури!— резко оборвал его Вася. Он быстро взошел на крыльцо и скрылся за дверью. Не прошло и минуты — вернулся.— Одна,— прошептал он.— Читает книжку. Ну, ступай... Миритесь поскорее да приходите к хороводу... а я пойду.

Илья схватил его за рукав:

— Погоди! Как это «ступай»! Ты Гале что-нибудь сказал?

— Ничего не говорил.

— Она знает, что я тут?

— Нет. А зачем ей знать? Так лучше. Не ждала, не гадала, а ты вот он!

— Без тебя не пойду,— решительно заявил Илья.

— Хочешь, чтоб я вас мирил? Извини-подвинься! Сами ссорились, сами и миритесь!— с издевкой проговорил Вася.

— Ну слушай, ну пойми,— просительно, каким-то дрожащим, сдавленным голосом залепетал Илья.— Ну как я один? Откуда взялся? Зачем пожаловал?

— Эх ты! Тоже мне ухажер! Девки испугался! Пошли! Так и быть.

В это время открылась одна створка окна.

— Кто тут?— спросила Галя.

Вася спокойно ответил:

— Это я, Галка.

— А с тобою кто?

— Парень один,— сказал Вася.— Стоит и в окна заглядывает. Спрашиваю: тебе чего? Мне, говорит, Галю надо повидать. Важное дело есть. Он из Александровки. Можно ему к тебе зайти?

— Пожалуйста, заходите.

Вася подхватил Илью под руку и повел на крыльцо, затем в сени.

Илья упирался, шепча:

— Куда ты меня? Постой!

— Иди, не упирайся, а то я тебя стукну, ей-богу!— возмущенно бормотал Вася.— Невозможный ты человек, честное слово!

Подойдя к двери, он раскрыл ее и, втолкнув Илью в избу,

быстро захлопнул. Илья метнулся было обратно, но Вася предупредительно придержал дверь всем корпусом. Он неплохо знал характер своего друга.

### 3

Изба освещена десятилинейной лампой, накрытой белым бумажным абажуром с темно-желтой кромкой, нагоревшей по краям вокруг стекла. На столе развернутая книга. Галя стояла посреди избы в ожидании человека из Александровки, которому она понадобилась по какому-то серьезному делу. Не письмо ли от Илюши привез? Увидеть же самого Илью никак не ожидала. Она шагнула было вперед и остановилась в нерешительности.

Ситцевый темно-синий сарафан, светлый платочек с мелкими зелеными и малиновыми цветочками, простые черные тапочки. Значит, никуда не собиралась, все будничное, все давно знакомое. Илья не видел ее с того памятного утра, когда пытался объяснить ей, как Огоньков помешал ему прийти на свидание.

Несмотря на будничный наряд, Галя показалась еще лучше, чем была. Хотелось подойти и поздороваться за руку, как делал всегда, когда заходил к Половневым. Но сил не хватало сдвинуться с места. Если бы знать, как она настроена... может, и руки не подаст и разговаривать не станет.

Понимая, что Вася все равно теперь не выпустит его отсюда, Илья переступил с ноги на ногу, не снимая кепки, глухо проговорил:

— Здравствуйте, Галина Петровна! — Иначе он назвать ее не мог. — Это Вася ваш подшутил... — объяснил Илья свое вторжение в избу.

Галя робко подняла на него свои черные глаза и еще сильней покраснела.

— Здравствуйте! Проходите, садитесь, — и показала на табуретку.

Илья медленно, словно с трудом приходилось отрывать от пола ноги, подвинулся к столу, где стояла табуретка, но не сел. Галя прошла к лавке и вяло опустилась на нее возле окна, на свое всегдашнее место. В таких случаях Илья когда-то подсаживался рядом. Теперь об этом и речи быть не могло. Мельком взглянув на нее, он уныло спросил:

— Вы сердитесь на меня?

Галя нервно поправила платок на голове.

— А как вы думаете?

— Так получилось. Слухи разные пошли о вас,— несвязно бормотал Илья каким-то упавшим голосом, словно каждое слово давалось ему с огромным трудом.

Галя насмешливо перебила его:

— А вы и поверили?

Илья неопределенно развел руками, кривя губы в жалкую улыбку.

— Как не поверишь? Все село загудело от мала до велика. А вы со мной в тот раз и разговаривать не захотели.

— И решили бежать?

В черных терновых глазах Гали блеснули веселые искорки. Но Илья не заметил этого и уже значительно громче возразил:

— Никто не бегал! Перевели меня. Федосеич откомандировал... Приказом.

Пот выступил у него на лбу от стыда за вранье. Но не сознаваться же, что он действительно сбежал.

— Ах, Федосеич перевел! Понятно,— иронически протянула Галя.— Ваш покровитель и ходатай.

— Какой же он мой покровитель или ходатай?

— Будто не знаете?

Илья энергично закрутил головой:

— Ничего не знаю... где он за меня ходатайствовал?

— Не знаешь? А не ты его подослал? Подъехал, хитрец, к плантации, взял в машину и давай меня агитировать, чтоб за Травушкина замуж не выходила!

— Честное слово, Галя, я тут ни при чем!— вырвалось у Ильи.— И ни слова он мне об этом не говорил. Наверно, по своему почину.

Вася приоткрыл дверь, просунул голову и негромко сказал:

— Ну, вы тут миритесь поскорее. Чего дурака валяете?

Илья хотел попросить его войти в избу, но Вася захлопнул дверь. Послышались его удаляющиеся шаги, вот он прогрохотал по ступеням крыльца. Ушел. Илье тоже захотелось кинуться за ним, но что-то удерживало. Скорее всего, то, что понимал: это тоже было бы бегством, и совсем уже постыдным. Надо выдержать до конца трудное свидание, хотя упрек в бегстве, тон, в каком вела с ним разговор Галя, не обещали ничего хорошего. «Уеду завтра в Александровку и до осени в Даниловку ни ногой. И я Галю больше не увижу, и она меня... и забудем друг друга... Да она уж и теперь, похоже, не очень-то рада видеть меня!»

Но не уходил. Наоборот, с расстроенным видом сел на

стул. Начал шарить по карманам, вытащил папиросы, но тут же вспомнил, что Галя еще по весне уговаривала его бросить курение, и сунул пачку обратно в карман брюк. Снял кепку с головы и стал ее теребить в руках. Вася нарушил ход их разговора, и теперь они оба молчали. Илья сидел так с минуту, глядя в пол. Молчание становилось уже невыносимым, но он не знал, о чем говорить. Если бы знал, что у Гали осталась хоть капелька того хорошего расположения к нему, которое было раньше и в котором до того дурацкого вечера он был совершенно уверен, подошел бы к ней и, протянув руки, сказал: «Галя, давай помиримся. Вышло недоразумение!» Но он чувствовал другое и потому не решался даже посмотреть на нее, ждал, что она продолжит разговор, а она тоже молчала. И вдруг ему показалось, что Галя плачет. Он быстро повернулся на табуретке. Нет, не показалось, в самом деле плачет! По щекам ее текут ручьи, она сдержанно всхлипывает! Нестерпимым жаром обдало всего Илью. И, ничего не говоря, ни о чем не думая, он сорвался с места, подбежал к ней, обнял.

— Галя, Галюша! Обидел я тебя... Прости, прости!— растроганно говорил он, целуя ее.

Не раз уж он целовал Галю и раньше, но то были поцелуи на прощание, когда провожал ее к крыльцу, поцелуи наспех, после которых она мгновенно убегала домой. Теперь же он целовал ее в мокрые щеки, в глаза, в губы, горячие и влажные, и она не только не вырывалась и никуда не убегала, но вдруг обхватила его за шею и плотно прильнула к нему головой.

### 4

На другой день в сумерки Илья и Галя пошли вдвоем к хороводу. Вася ушел раньше их. Порядочно времени миновало с тех пор, как Илью и Галю видели вместе. Но ни ребята, ни девчата не удивились их появлению. Более того, многие чистосердечно радовались, что Илья и Галя помирились. Все считали их женихом и невестой. Слухам же о том, что Галя выходит замуж за Андрея Травушкина, верили больше взрослые, чем молодежь. Но о ссоре между Ильей и Галей знали все. Об этом позаботился Огоньков. При всяком удобном и неудобном случае он обязательно рассказывал, как, поссорившись, Илья «улепетнул» в Александровку. И при этом всячески чернил Илью: и невыдержанный, и расхлябанный, и работал в последнее время из рук вон плохо, и насчет

девчат нехороший, неверный: то за одной ухаживает,— назначит свидание, а сам не приходит,— то за другой... Словом, парень шалтай-болтай.

Все это Огоньков делал в расчете, что слова его через девчат дойдут до Гали, хотя самой ей никогда не осмелился бы говорить плохое об Илье. Втайне ему хотелось бы, чтобы ссора затянулась надолго. В таком случае Илья не будет появляться в Даниловке и понемногу охладеет к Гале, да и она к нему. Слухам о женитьбе Андрея Травушкина на Гале он тоже не верил, потому что знал о застарелой вражде между Петром Филипповичем и Аникеем Панфиловичем. Вряд ли они могут породниться. Таким образом, Галя могла оказаться свободной, и тогда... тогда Огоньков снова «атакует» ее. И как знать, может, после таких ссор и передряг, охладев к Илье, она станет подобрей и поуступчивей. Года-то идут! В Даниловке же не принято, чтобы девушка засиживалась дольше девятнадцати лет. А чем Огоньков не жених? Хромой на одну ногу? Подумаешь, беда какая! Хромота не мешает ему ни жить, ни на тракторе работать. В остальном он ничуть не хуже других.

Вот почему Огонькова покоробило, когда он увидел Илью и Галю вместе. Он едва не выпустил гармошки из рук. Однако, быстро овладев собой, сделал вид, что ему эта пара совершенно безразлична, и продолжал играть.

Возле хоровода Илья и Галя разошлись: он направился к группе ребят, а она — к девушкам. Ее шумно обступили, стали полушепотом расспрашивать:

— Помирились, Галка?

Она с улыбкой кивала головой.

— Ой, как хорошо-то!— говорили девчата, радуясь за подружку.

— А он насовсем из Александровки?

— Нет еще,— тихо отвечала Галя.

Она смеялась, шутила... и танцевала со всеми, кто бы ни пригласил.

Огоньков не сводил глаз с Ильи и Гали. Но его связывала гармошка. Надо было играть. Он пытался передать ее Васе Половневу, но тот наотрез отказался, заявив:

— Какой же я гармонист?

В самом деле, Вася играл слабо, и то преимущественно аккомпанементы к частушкам. Огоньков знал об этом и настаивать не стал. Его мог заменить Миша Плугов, но парня не нашли в хороводе. А бросить совсем гармошку нельзя: рассердятся и девчата и ребята. Пришлось играть. Поэтому,

как ни следил, он все-таки прозевал Илью и Галю: они покинули хоровод не замеченные им. Ушли порознь и встретились у того же Марьина дуба, у которого когда-то им не удалось увидеться.

Сидя в обнимку на широкой лавочке, они то молчали, то обсуждали свое будущее. Решили родителям пока ничего не говорить.

— Я боюсь за маму,— сказала Галя.— Она у меня хорошая, но ничего не понимает, как маленькая. Ей так хочется выдать меня за Андрея, чтоб я жила в городе и в довольстве. А на что оно мне, это довольство? Но мне ее жалко. Если же ты вернешься в Даниловку, мы будем часто видеться, вместе гулять... Ты станешь к нам приходить... И мама постепенно привыкнет... Я буду исподволь ее агитировать...

— Ну, смотри сама,— сказал Илья.— За своих родителей я ручаюсь — они против не будут. Батя уже говорил. Он всей душой. Ты ему очень нравишься. Чудесная, мол, невестка будет!

— Небось батя твой так и не говорил, сам ты придумал!— Галя тихо засмеялась и уткнулась лицом в плечо Ильи.

— Честное слово, не вру!— Илья обрадованно еще крепче прижал ее голову к себе, зарывшись лицом в ее густые волосы.

Галя с минуту молчала, потом задумчиво молвила:

— А мой батя расстроится.

Илья встрепенулся и слегка отстранил ее от себя.

— Почему? Тоже против? Или он за Андрюшку?..

— Ну что ты!— Галя поправила волосы.— Он насчет учения больше. Хочет, чтобы я училась.

— И будем учиться,— взволнованно и уверенно проговорил Илья.— Вместе поедем. Ты — в университет, а я — в сельхозинститут.

— Когда?— спросила Галя.— Учеба начинается с первого сентября. Ты готов, чтобы экзамены держать?

Илья невольно вздохнул.

— По математике, наверно, выдержу, а по остальным не знаю. Готовиться надо.

В саду установилась такая тишина, что слышно было шуршание козявок и жучков в прошлогодней листве, кучкой валявшейся возле лавочки. На пасеке кто-то разговаривал. Наверно, к деду Афанасу зашел какой-нибудь ночлежник. Дед любит привечать людей и беседовать с ними. Об этом на селе знали и в летнее время запоздалых прохожих направ-

ляли на пасеку. Тут они и ночевали в омшанике, если была плохая погода, или под яблонями, прямо на земле, постлав немного соломы, если погода была теплая и сухая.

На дальнем конце села скрипела гармошка, и Огоньков хриплым голосом кричал песню «Когда я на почте служил ямщиком». Наверно, он искал Илью и Галю.

Илья мечтательно заговорил:

— Выучимся мы с тобой, Галка, и вернемся сюда. Будем жить в Александровке... Я поступлю в МТС, а ты будешь учительницей. Согласна?

5

И опять они просидели до рассвета.

Когда темные стволы деревьев отчетливо выступили из сумерек, Галя решительно поднялась.

— Пора, Илюша!

Илья проводил ее до дому.

Галя переоделась в будничное платье и объяснила, что еще с вечера договорилась с девушками после гулянья идти на плантацию. Илья зашел за перегородку горницы. Там спал Вася, лежа навзничь, в ботинках и брюках. Илья шепотом спросил Галю:

— А Вася не проспит?

— За ним, наверно, Миша Плугов зайдет. Ты иди, Илюша, домой. Может, поспишь еще...

— Я тебя провожу,— сказал Илья твердо.

— А зачем? Не надо... Скоро коров погонят. Увидит кто-нибудь нас вместе...

— Ну и что, если увидят?

— Неловко как-то в такое время.

— Очень даже ловко.

И они пошли по селу, но ни под руку, ни за руки взяться все же не решались, шли рядом, бок о бок.

Звезды уже погасли, небо над головой стало ясным, а по краям, особенно на севере, темно-фиолетовым, постепенно переходящим в лимонно-зеленоватую лазурь.

Илья и Галя вышли в поле. Когда проходили мимо пасеки, видели, что дед Афанас стоит возле омшаника, но он их не заметил.

Они все еще шли рядом, не касаясь друг друга. Илья, как бы спохватившись, взял Галю под руку и, слегка пригнувшись, крепко прижался к ней плечом.

В нескольких шагах темнел парк, тихий, спокойный,

словно зачарованный. Верхушки дубов, тополей, кленов не шелохнутся. И в поле тихо. Узкая тропинка серой ящерицей скользила вниз по небольшому склону. По обеим сторонам пары́, пестреющие ромашкой, золотистой сурепкой, донником. На цветах и листьях трав свинцовые капли росы. И таким покоем и миром, такой красотой веяло от парка и поля, от чистого неба, так хорошо было вокруг, что не хватало сил расстаться друг с другом. Взяться бы за руки и идти все вперед и вперед, по тропе, а потом по дороге, все дальше и дальше, минуя овраги, речки, сады, перелески. Долго-долго идти вместе рука об руку, любуясь небом, землей и всем, что на ней растет, живет.

Но нужно было расставаться. Обоих ждала работа.

— Иди,— тихо, повелительно-мягко сказала Галя.— Тебе ведь далеко. Хорошо, если попутная машина попадется... Но откуда она в такую рань?

— Успею!— Илья посмотрел на наручные часы.— Только половина третьего. К пяти, не спеша, буду в бригаде.

Они нехотя разошлись. Галя — в сторону плантации, к едва видневшемуся вдали серому шалашу, возле которого, медленно колеблясь, струилась вверх голубая, словно шелковая, ленточка дыма. Должно быть, там уже топилась печурка. Илья медленно, вяло побрел обратно. Ему надо было зайти домой и тоже переодеться в рабочий костюм. Вдруг он круто повернулся, громко крикнул:

— Галя!

Она испуганно оглянулась. Илья торопливо шагал к ней. Синий новый пиджак висел на одном плече. Брюки галифе, сапоги, сдвинутые гармошкой, белая рубашка с вышитым открытым воротом. Лицо сердитое, светлые брови сошлись у переносья, из-под кепки, сдвинувшейся на затылок, выбился хмелевидный чуб, нависший на лоб. Галя оторопела. Что случилось? Почему Илюша такой сумрачный и даже как будто злой?

Подойдя к ней вплотную, он, ни слова не говоря, обхватил ее своими длинными сильными руками и, крепко стиснув, начал торопливо и жадно целовать. Пиджак свалился с плеча наземь. Выпустив ее из объятий и резко оттолкнувшись от нее, Илья поднял пиджак и угрюмо пробормотал:

— Все! Теперь ступай!

Некоторое время Галя стояла, ошеломленно глядя ему вслед. Илья ни разу не обернулся. Скоро деревья сада скрыли его. Тогда она рванулась с места и побежала по тропинке к шалашу. Она бежала и бежала, не в силах оста-

новиться, и ей чудилось, что не она бежит, а сама земля под ней все ускоряет свой неощутимый бег, как то колесо, на котором ей довелось кататься в городском парке: ты остаешься на месте, а оно вертится под твоими ногами.

Когда Галя пришла на стан, Вера и Лена спали в шалаше. Жалость к своим подружкам почувствовала она и раскаяние: подбила их идти в ночь на плантацию, а сама пришла только перед восходом солнца. Не позови она их, они гуляли бы до рассвета, а не валялись тут. Постояв немного, Галя осторожно легла рядом с Леной на соломенный тюфяк.

Вверху над шалашом звенели жаворонки, будто там кто-то весело тряс бубен с серебряными колокольчиками. У печурки повариха с треском ломала хворост. В соломе у стенки шалаша пищали мыши, как бы чему-то радуясь и резвясь. Километрах в двух по железной дороге с веселым грохотом, звучно оглашавшим всю окрестность, торопился куда-то скорый поезд, и колеса его с необычайной быстротой внятно отстукивали: тра-та-та, тра-та-та. Под такую музыку только «барыню» отбивать.

Нет, спать Галя не могла. Она встала и вышла наружу.

На востоке уже блестел полукольцом золотисто-красный ободок солнца. На него свободно можно было смотреть, ничуть не щурясь. Маячившая в просветленной дали Даниловка курилась жидкими сизыми дымками. Над речкой неровной зубчатой грядой стоял розоватый туман. Медленно, с трудом выбираясь из-за степных увалов, солнце наконец выкатилось и повисло под тонкой длинной полоской охваченного малиновым пламенем облака, словно большое яблоко на розовой ветке.

Солнышко! Милое солнышко! Это ее, Гали, золотое, радостное солнышко! Оно встало и идет навстречу ее любви, новой жизни, счастью, оно освещает мягким милым светом и ее надежды и мечты.

И ей захотелось сказать, нет, не сказать, а крикнуть во весь голос что-нибудь такое, что услышали бы все живущие на земле и почувствовали бы и поняли, как прекрасна, как чудесна жизнь!

Но Галя ничего не сказала и не крикнула, только подняла вверх руки, как бы готовая обнять и солнце, и далекий сад, и весь родимый край.

Грубоватый надтреснутый голос поварихи Луши привел ее в себя.

— Чего тянешься-то? — сердито проворчала Луша.— Спала бы да спала. Ночь-то, поди, прошаталась?

Галя опустила руки, тихая, улыбающаяся, подошла к печурке. Над огнем на палке висел большой закопченный котел, прикрытый деревянной крышкой.

— Не спится, тетя Луша,— сказала она, подсаживаясь к огню.

— Какой же это шалман тебя сна-покою лишил? Не Андрюха Травушкин, случаем?

— Да что ты, тетя Луша!

— Я пятьдесят годов тетя Луша! — ледяным тоном проговорила повариха.— Зря, что ль, слух по селу идет? И Пелагею спрашивала, а она говорит, вот-вот дело уладится. Как же это так? Гуляла ты с Илюхой, и вдруг... С ума спятила, что ль, ты, девка?

— Да нет же, тетя Луша,— горячо возразила Галя.— Я и не думала насчет Андрея. Одни пустые разговоры. Ну, ходила я с Андреем вместе к хороводу, и то так, от нечего делать. По правде тебе сказать, обозлилась на Илюшу, вот и пошла. Пусть, думаю, помучается.

— А теперь-то помирилась?

— Помирилась.

— Стало быть, с ним ты сегодня проворковала?

— С ним.

Галя покраснела и опустила глаза.

— Вот и слава тебе господи! Вот и хорошо. Ну, ступай, ступай в шалаш, поспи чуток,— сказала повариха.

— Нет, тетя Луша, не усну я все равно.

— Как хочешь.— Голос у Луши теперь совсем иной, какой-то особенно ласковый.— Тогда посиди, погрейся. Хочешь, чаю дам? Он уже поспел.— Луша встала, налила в кружку янтарно-желтого кипятку, всыпала в нее две столовые ложки сахарного песку, тщательно помешала и подала Гале.— Пей, доченька, пей. Есть тебе неохота, знаю, а чайку выпьешь. Скоро и трактористы мои начнут подходить. Будка-то сегодня пустая. Все загулялись. Да и когда же гулять, как не по такой погоде. Тут сама с вечера маленько прикорнула, а ночь пришла — не спится, да и только...

Рядом со свекловичной плантацией были пары́, которые трактористы недавно начали поднимать. И Галя подумала: «Если бы не уходил Илюша в Александровку, мы виделись бы с ним хоть пять раз на день!»

После минутного молчания Луша таинственно прошептала:

— Ну, расскажи, Галка, чего тебе Илюха-то говорил?

— Да замуж предлагает,— деланно равнодушным голосом ответила Галя, держа обеими руками коричневую эмалированную кружку.

— Ну, а ты? — заинтересованно допытывалась Луша.

Галя, обжигаясь, хлебнула чаю, с улыбкой сказала:

— Ладно, говорю, замуж так замуж!

Луша весело и душевно засмеялась.

— Чудачка,— сквозь смех сказала она.— Разве ж так можно? Разве ж так отвечают?

— А как же? — с наивным видом спросила Галя.

Луша перестала смеяться и растроганно заговорила:

— Не знаю уж, как по-вашему, по-теперешнему... только, думается, не так, Галюшка, ты ему сказала... По-иному надо бы... потеплеича! Ты бы ему так: милый ты мой, драгоценный Илюшенька, люблю я тебя навечно, и бери ты меня к себе, буду я жить у тебя с твоими батюшкой и матушкой, как со своими родными, потому как родней тебя нет у меня теперь никого на свете! От таких-то слов парень, гляди, совсем размяк бы! А ты — замуж так замуж! Небось он и скис. Их, мужиков-то, ублажать надо. Сама знаю. И скажу тебе правду истинную: ты не гляди, что они злые да грубые. Дюже они на ласку падки, ну чисто дети малые или телята! Запомни это и поласковей, поласковей с Илюхой обращайся. Парень стоящий. С малых лет слежу за ним. Двиствительно ребятенком шаловливый был до невозможности... но безвредный. Не как некоторые охлынники. И уважительный такой да ласковый: «Здрасте, тетя Луша!» Никогда не пройдет, чтобы не поклониться, и досе. Да в нашем колхозе, хоть по работе, хоть по поведению, лучше Ильи и нет парней, ей-богу. Оно конечно, и Вася ваш, и Огоньков — тоже ребята славные, но до Илюхи не дотянут. Счастливая ты будешь с Илюхой, вот что я тебе скажу.

Галя пожалела, что разоткровенничалась: теперь как бы не пошел звон по селу о помолвке с Ильей.

— Тетя Луша,— просительно проговорила она,— я пока не хочу маме и бате говорить... Мы потом оба придем и скажем. И я тебя очень прошу... никому не говори... Пусть это будет в секрете до осени... А когда решим свадьбу играть, тогда все и узнают.

— Ну что ж, ну что ж, миленькая. Помолчу. Коли вам так надо, помолчу. Илюха не обманет, на него можно положиться. Не сомневайся. Это он тебя просил помолчать?

— Нет, не он, это я сама так хочу, тетя Луша.

— Ну что же... Ладно, Галюша, ладно. За меня не беспокойся. Ты сама-то, раз такое дело, никому не говори... особенно подружкам своим, а то живо разболтают, как сороки. А что мне доверилась — спасибо. И дай тебе бог счастья!

— И тебе спасибо, тетя Луша,— сказала Галя, отдавая поварихе пустую кружку. И получилось так, что она поблагодарила Лушу сразу за все: и за пожелание счастья и за чай.

---

# ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

## 1

Ершову предоставили номер в гостинице. Платил он только тридцать процентов суточной стоимости, остальные взяла на себя редакция.

Недели за две Ершов освоился с обстановкой, перезнакомился с сотрудниками газеты. Большинство относилось к нему по-дружески тепло, видя в нем обещающего молодого поэта.

В редакции работа его заключалась в чтении писем и заметок, поступающих из сел и районных центров почтой, в литературной правке тех из них, которые были достойны опубликования. Более сложных поручений пока не давали, только один раз редактор попробовал силы его в стихотворном фельетоне: вызвал к себе, дал письмо о растрате в сельском магазине, сказал:

— А ну-ка, Алексей Васильевич, прохвати этого жулика в стихах! Может, из тебя Демьян Бедный получится.

И отпустил домой.

Придя в номер, Ершов заперся и, добросовестно изучив письмо, принялся сочинять фельетон. Часа три спустя вернулся к редактору и положил ему на стол исписанные листки.

Редактор усадил его возле себя. Ершов только теперь разглядел его как следует. Это был плечистый человек с крупными руками рабочего. В нем чувствовалась недюжинная физическая сила. Лицо широкое, чисто выбритое, без усов, с кирпичным румянцем. На носу большие очки в роговой оправе. Густые, зачесанные назад каштановые волосы.

Редактор долго читал рукопись, словно с трудом разбирая ее, несмотря на то что почерк у Ершова был исключительно удобочитаемый. Потом снял очки, положил их на стол, провел рукой по волосам.

— Не получилось, Алеша,— вздохнув, с сожалением проговорил он.— Длинно. Ведь тут строк полтораста! Куда же это? Надо бы строк с полсотни, не более... и разделать его так, чтобы у читателя на него зубы заскрипели и кулаки сжались. А это что же?

За твои безумные растраты
Ждет тебя законная расплата.

Слабо, вяло, Алешенька! — мягко заключил он. Помолчав немного, словно заправский актер, грубоватым басом продекламировал:

Ты лежишь, веселая, большая,
Вся в цветах, садах и тополях.
Золотое пламя урожая
На твоих колышется полях!

Не плохо ведь! Можешь же. И образно, и волнует. Или вот еще:

Простоволосые травы
Вставали у рек на часы
В серебряной тонкой оправе
Из самой прозрачной росы.

И поэтично и свежо!

Ершов медленно краснел: редактор привел выдержки из его стихов, напечатанных в той памятной газете, с которой, по словам Жихарева, историки будут начинать литературную биографию «поэта Ершова». И было неловко, досадно, что не смог написать приличного фельетона и тем причинил неприятность редактору, так сильно поверившему в него, так хорошо отнесшемуся к нему.

Лицо Ершова было грустно, растерянно.

Редактор мельком взглянул на него, более бодрым голосом проговорил:

— Да ты не расстраивайся! Не сразу... постепенно научишься. Тут, понимаешь, помимо всего прочего, газетчиком надо быть, а газетчик ты еще молодой. Ну ступай. Да не падай духом. Пиши побольше стихов, какие удаются. Набьешь руку — тогда, может, и фельетон получится.

И приветливо заулыбался во весь рот, сверкая тремя верхними из нержавеющей стали зубами.

Жихарев, узнав о случившемся, возмутился.

— Тебя хотят испортить, Алеша! — возбужденно и гром-

ко кричал он, когда они остались в отделе вдвоем.— Ты — лирический поэт, а не сатирик. Зачем же тебе какие-то дурацкие фельетоны? Ведь это все равно что скаковую лошадь запрячь в ломовую повозку или охотничью собаку низвести до дворняги. Глупо! В следующий раз откажись. Меня они тоже хотели обработать, но я прямо заявил: не в моем жанре! И все. Наше с тобой дело — большая, настоящая поэзия, лирика, эпос. И пусть эти сирены очкастые не зазывают нас в грязную гавань мелочей и будней. Довольно с них и того, что мы, люди талантливые, одаренные, работаем в газете.

2

Рабочий день в редакции оканчивался в пять-шесть вечера, но заведующий отпускал Ершова и Жихарева почти всегда раньше.

Черноволосый, со впалыми смуглыми щеками, с растрепанным хохолком, нависшим на высокий лоб, он производил на первых порах впечатление человека мрачного, злого на весь мир, особенно когда был в очках, таких же больших, как и у редактора, без которых читать не мог; и фамилия у него немного странная — Стебалов. В действительности это был чудеснейший, немного сентиментальный добряк. Он любил стихи и многие знал наизусть. Но разбирался в них слабо. Ему нравилось все, что написано в ритме и зарифмовано. На вид Стебалову было лет сорок с лишним. Из типографских наборщиков он был выдвинут на газетную работу еще в двадцать девятом году.

Отпуская Жихарева и Ершова, Стебалов, хмурясь, шутливо-строгим тоном говорил:

— В погребки не заходить! Отпускаю для повышения культурного уровня и чтения книг и журналов, а главное, для сочинения стихов!

Голос у него был звонкий, но какой-то не мужской, а вроде юношеский: то басивший, то вдруг срывавшийся на альт.

Заведующий был очень доволен, если на другой день Жихарев или Ершов приносили что-нибудь свое, свеженаписанное и читали вслух. Он закрывал дверь на ключ, чтобы не мешали, и внимательно, восторженно слушал, и лицо его делалось каким-то ласковым и просветленным, а на глаза порой навертывались слезы, которые он тщательно скрывал, опуская голову или отворачивая лицо в сторону. Читал чаще Жихарев, и не только новые, но и давнишние стихи.

— Надо, чтобы Александр Степанович был уверен, что

мы с тобой следуем его совету и творим,— объяснял он Ершову.— Ты бы тоже давал из старья чего-либо, у тебя ведь его порядочно. Он все равно не разберет.

Но Ершов не мог так поступить.

— Это же нехорошо. Нечестно.

— А почему нехорошо? — И полные красивые губы Жихарева кривила ироническая усмешка.— Человек испытывает эстетическое удовольствие от наших с тобой опусов... Ну и пусть! И не все ли равно в таком случае, когда мы их сочинили? И наконец, Алеша, ты не маленький, пора тебе понимать: ино и ложь во спасение.

Однажды, когда Жихарева не было в отделе, Стебалов подошел к столу Ершова и негромко, заговорщически сказал:

— Ты бы, Алеша, поэму соорудил... строк эдак на пятьсот, шестьсот. Утер бы нос Егору, а то он задается и все грозится о рабочем классе написать. Я, мол, рабочий, мне о рабочих и писать. А ты — о крестьянстве! Вполне мог бы. Родился и вырос в деревне, вся подноготная небось известна. Таланта тебя не менее, чем у Егора. Ей-право, рвани! Немедленно опубликуем, хоть всю полосу дадим. Сам договорюсь с Федором Федоровичем. Как ты смотришь на такое дело? — Стебалов помолчал, серьезно вглядываясь в лицо Ершова.— Можно дать тебе денька два в неделю совсем свободных,— добавил он, уловив колебание в выражении лица Ершова.— Мы тут вполне справимся вдвоем с Егором.

Ниже среднего роста, щуплый, узкоплечий, он стоял рядом со столом, запустив руки в карманы брюк, покачиваясь на носках желтых, с тупыми носами полуботинок, и был похож на деловитого, боевого подростка.

Предложение это застало Ершова врасплох.

— Не знаю, смогу ли,— застенчиво проговорил он, взволнованный такой горячей и дружеской заинтересованностью в его творческих делах.— Я пока не думал о крупной вещи.

— А ты подумай, подумай. Сможешь, ей-право!

Ершов обещал подумать.

Но работать как следует над стихами ему не удавалось. Дело в том, что, как только ему дали в гостинице отдельный номер, к нему присоединился Жихарев, заявив, что ушел от жены и разводится с нею. Ершов предвидел, что такой беспокойный сожитель не к добру: трудно будет и писать, и читать, и учиться. А ему именно хотелось учиться, и он уже подал заявление на второй курс заочного литфака. Но как откажешь в приюте другу?

Жили они по-холостяцки. Жихарев договорился, чтобы обед, завтрак и ужин подавали им из ресторана гостиницы в номер. Так было удобней, в ресторане приходилось долго сидеть, пока тебя обслужат, а тут стоило нажать кнопку, как в номере появлялась девушка лет девятнадцати в белом передничке и белом чепчике (Жихарев уверял, что такую молодую и красивую поставили обслуживать их номер исключительно по его личной просьбе) и все нужное доставлялось незамедлительно прямо из кухни и буфета. Жихарев с первых же дней начал «утрепывать» за девушкой. Ершову это не нравилось.

— А как с Варей? — спросил он.— Ты ведь не петух, а человек.

— Дорогой Алеша! — Жихарев сделал покаянное лицо, поднял глаза горé.— Что же я могу с собой поделать, если девушка произвела на меня сногсшибательное впечатление, если она ужасно нравится мне?

И, встав в позу, с пафосом произнес:

...Хочу,
Всегда хочу смотреть в глаза людские
И пить вино и женщин целовать!

Вообще ко всем красивым женщинам я неравнодушен, и с этой моей слабостью тебе придется мириться: таким создала меня природа, и я тут ни при чем! Бороться же с природой считаю излишним и... глупым, а посему:

Красивой женщине смотрю в глаза
И говорю: «Сегодня ночь. Но завтра —
Сияющий и новый день. Приди.
Бери меня, торжественная страсть.
А завтра я уйду — и запою...»

Жихарев поднял обе руки кверху, потряс ими, потом, опустив их, плюхнулся на диван и добродушно осклабился. Ершов сидел на своей кровати с книжкой в руке и следил за ним, не понимая, шутит он или говорит всерьез, и, качнув укоризненно головой, насмешливо сказал:

— Ты силен! «...уйду — и запою...» А как же она? Ей тоже запеть? Или заплакать?

— А почему заплакать?

— Да ведь у нее от твоей «торжественной страсти» младенчик может получиться! Куда же ей тогда?

— Во-первых, если она не дура,— не получится. Во-вторых,— Жихарев сердито нахмурился,— ежели ты сам мона-

шеского ордена, это совсем не значит, что имеешь право портить мне поэтическое настроение проповедями целомудрия и нравственности. Послушать тебя — так от любви и поэзии ничего не останется, кроме скучной супружеской лямки. Любовь, верность во что бы то ни стало, и непременно до гробовой доски, и прочая мещанская дребедень! Нет, друже, это не по моей части, не для меня! Пока молод, пока кровь кипит в жилах, я буду пить и жизнью наслаждаться. Одну заповедь исповедую: что мне приятно, то и хорошо, то и нравственно. Я не метафизик какой-нибудь, не идеалист, а материалист!

— Любопытное понимание материализма! — сдержанно и немного сухо молвил Ершов.— Ты думаешь, девушке этой уж очень полезны и приятны твои эгоистические поползновения?

— Насчет пользы не знаю, а что приятны — за это я ручаюсь.

— Циник, неисправимый циник ты, Георгий! — грустным и подавленным тоном заключил Ершов, с укором глядя на друга.— Придется предупредить девушку... чтобы она была начеку и не доверяла твоему краснобайству.

— Ну, ты эти шутки оставь! — угрожающе сказал Жихарев.— Не суй свой длинный нос, куда тебя не просят!

— А я ей только стишок один прочту или перепишу и дам «на память», и она поймет, в чем дело.

— Какой такой стишок?

— А вот послушай.— И Ершов медленно прочел:

Ты перед ним, что стебель гибкий,
Он пред тобой, что лютый зверь.
Не соблазняй его улыбкой,
Молчи, когда стучится в дверь.
А если он ворвется силой,
За дверью стань и стереги:
Успеешь — в горнице немилой
Сухие стены подожги.
А если близок час позорный,
Ты повернись лицом к углу,
Свяжи узлом платок свой черный
И в черный узел спрячь иглу.
И пусть игла твоя вонзится
В ладони грубые, когда
В его руках ты будешь биться,
Крича от боли и стыда.

Стихотворение, видимо, озадачило Жихарева. Прослушав молча, со вниманием, он изумленно воскликнул:

— Ты что — подсмотрел?

— Чего подсмотрел? — не понял Ершов.

— Ну, на днях... было вроде этого. Она убирала соседний номер... и я действительно ворвался, как ты пишешь... и она не пускала... отбивалась... но игла? Игла придумана. Когда же ты успел написать? Тебя же в тот раз и в гостинице, кажется, не было, откуда ты узнал? Стихотворение, вообще-то говоря, ничего... Может, она пожаловалась тебе... может, сам за ней ухаживаешь?

Ершов загадочно улыбнулся:

— Стихотворение нравится?

— По содержанию — ханжеское, а впечатление производит. Но рифмы, рифмы! Когда я тебя научу избегать тривиальных и глагольных рифм? Что это такое: стереги — подожги, вонзиться — биться, зверь — дверь, когда — стыда!!! Однако ты не вздумай в самом деле давать его этой девушке, да еще со своими морализаторскими предисловиями... Лютый зверь! Надо же так! Какой же я зверь? И уж во всяком случае не лютый!

Ершов швырнул книгу на стол, схватился за живот, заливаясь смехом.

— Ой, не могу! — вскрикивал он.— Держи меня, Георгий, иначе со мной будет плохо!

Жихарев никогда не видал друга в таком веселом настроении.

— Ничего смешного... Что ты ржешь, мой конь ретивый?

— Да ведь стихотворение не мое! — немного успокаиваясь, вытирая платком выступившие слезы, сказал Ершов.

— А чье же?

— Того поэта, которого и ты только что цитировал.

— Блока?! — недоверчиво произнес Жихарев.— Не морочь мне голову! У Блока таких нет и не могло быть. Блок на эти вещи смотрел иначе... он поэт, а не ханжа!

— А хвастался, что любишь и знаешь его! — совсем успокаиваясь, проговорил Ершов с усмешкой.— Ладно, завтра я тебе достану в библиотеке... покажу. Что касается твоих взглядов на девушек и женщин, скажу откровенно, Георгий, они мне просто противны,— вдруг погрустнев, заключил он.

— Взгляды или девушки и женщины? — иронически спросил Жихарев.

— Именно взгляды, взгляды, Георгий! Ты аморальный тип, оказывается. До сих пор я думал, что ты только болтаешь

всякую чепуху насчет женщин, а ты и в жизни нехороший... и уже атаковал эту милую девушку... Не знал я, что ты такой.

— А если бы знал? Не связывался бы, так я тебя понимаю?

— Пожалуй!

— Развяжись, пока не поздно... пока совсем не загубил этот аморальный тип,— и он, ткнув себя в грудь, указал затем пальцем на Ершова,— такого чистого и непорочного барашка. Ага, не можешь?

— Почему не могу?

— Потому, что крепко связан уже... заинтересован во мне и... заинтригован мною. Потому, что пройдет еще не очень много времени, и ты сам станешь таким же, как я, и так же не будешь давать спуску ни девушкам, ни женщинам... Ты же истинный поэт, а поэт иным не может быть. Поэт выше мещанских понятий о любви и вечной верности. И наконец, тебе от меня не отделаться еще и потому, милый мой Алешенька, что отныне связал нас с тобой господь одной веревочкой, и довольно крепенькой... и без меня тебе теперь не обойтись, мой славный и пока безгрешный друг.

— Это в каком же смысле понимать? Какой веревочкой я связан с тобой?

— Ну, возьмем хотя бы такой вопрос: издание твоей книги стихов. Не хвалясь скажу: без моей протекции у тебя ничего не получилось бы. Дальше Глафиры Павловны стихи твои не пошли бы.

— Кто такая?

— Сравнительно незаметная особа — литературный сотрудник издательства. Но стоит ей сказать: «Слабо» — и крышка! Будь твои стихи лучше пушкинских — к типографскому станку им не пробиться в нашем издательстве. У нее приличный авторитет. Она умна, хитра, образованна. Два языка знает — немецкий и французский, а главное, во время гражданской войны покинула мужа эсера-белогвардейца и добровольно перешла на сторону Советской власти, а поэтому пользуется доверием... Но ты не пугайся, этот подводный камешек твоя книжка уже миновала при умелом и умном содействии аморального типа, твоего верного, закадычного друга Георгия Жихарева! Скажу правду: усилий стоило немалых. Вкус у Глафиры Павловны в основном декадентский, воспитанный на Сологубах, Мережковских и подобных. Она даже Бальмонта не всего признает. Стихи же вроде твоих, с политикой, с ненавистью к кулакам и любовью к простым

людям, к колхозам, она буквально не выносит. Еле уговорил ее сделать для тебя исключение. Не обошлось, Алешенька, без подхалимства, причем довольно тонкого, но осознанного и вполне сознательного. И знаешь, чем я ее взял? Продекламировал ей Бальмонта:

Заводь спит, молчит вода зеркальная,
Только там, где дремлют камыши,
Чья-то песня слышится печальная,
Как последний вздох души!

Как я прочел это стихотворение, так она и обомлела. И говорю ей: вот, мол, как бы писать нужно, но что же делать, если у нас так не умеют, да и не принято. Ну, она и подобрела сразу. Сейчас ты опять начнешь мораль читать. Но, милый мой, иначе нельзя в этом прекраснейшем из миров. Глупа та рыба, которая сама лезет в хайло щуке, хотя и называется премудрым карасем. Ты этого пока не понимаешь, потому что не отрешился еще от патриархальщины и деревенского идиотизма. Думаю, уверен, что со временем поймешь. Да, да! Поймешь и тогда не только перестанешь меня осуждать, а и сам будешь поступать так же, как я.

### 3

Такие и подобные им разговоры и столкновения возникали нередко и кончались обычно тем, что Ершов брал книгу и уходил в красный уголок гостиницы и там читал, Жихарев же тем временем ложился и спал дотемна. И все чаще Ершов начинал задумываться, кто такой, что за человек Жихарев, ниспосланный ему судьбой в «друзья», человек, благодаря которому его собственная жизнь буквально перевернулась. Он отлично понимал, что, если бы не Жихарев, ему не только не быть бы сотрудником областной газеты, но и в городе не жить, по крайней мере в ближайшие два-три года. И невольно вспоминалась первая встреча в кузнице, ловля рыбы туманным прохладным утром на Приволье, страх, когда Жихарев утонул, и как он и Петр Филиппович с тревогой и надеждой глядели на широкую, полную грудь утопленника, медленно поднимавшуюся от первого вздоха; вспоминался вечер в хороводе, ухаживание Жихарева за Галей, песни, которые хором пели по просьбе Ершова, ради гостя из города, и грустные слова: «Венок потонул, милый обманул!»

И все это было совсем-совсем недавно.

И порой, сидя в красном уголке, Ершов, охваченный воспоминаниями, обводил отсутствующим взглядом стены, украшенные диаграммами, цветными плакатами. Среди последних выделялся один очень большой, чуть не во всю стену, с изображением строящегося здания. На возводимой стене — усатый рабочий, в мускулистой руке его, обнаженной по локоть, увесистый красный кирпич. И казалось странным, непонятным, зачем здесь, в этом уголке, он, Ершов, тогда как Даниловка, кузница, жена, дочь его, Петр Филиппович, Галя и многие другие родные и близкие сердцу его люди — там, на степных просторах?

Особенно не по себе становилось Ершову, когда Жихарев вовлекал его в попойки, что случалось довольно часто и почти всякий раз, когда Стебалов отпускал их для творческой работы и самообразования.

Обычно, выйдя из помещения, Жихарев начинал ворчать:

— А все-таки Стебалов странный человек!

— Чем странный? Что отпускает нас?

— Нет, не этим. Моралист он, а к моралистам у меня отношение плевое. Ну подумай: зачем ему обязательно предупреждать: «Не заходите в погребки!» Что это такое? Это грубейшее вмешательство в мою личную жизнь и посягательство на свободную волю сотрудника областной газеты! И наконец, это полное игнорирование основных положений гениального физиолога Ивана Петровича Павлова об условных рефлексах.— Жихарев делал небольшую паузу, лицо его становилось нарочито серьезным и глубокомысленным.— Подумай,— продолжал он,— что означает напоминание о погребках? Разве оно укрепляет тормозящие центры? Совсем наоборот, оно возбуждает во мне активные условные рефлексы. При слове «погребок» воображение мое рисует завлекательную картину: «Маяк», столик, бутылки... Во рту я ощущаю уже вкус портвейна или коньяка, ноздри мои раздуваются, и я не в силах победить чудодейственный, неотразимый рефлекс: мне хочется выпить. А посему пошли, Алеша! У меня тут немного имеется.

И он пухловатым пальцем тыкал в верхний кармашек своего пиджака, хватал Ершова за руку и вел в сторону винного погребка «Маяк». В иных случаях Жихарев придумывал еще что-либо шуточное или даже вполне серьезное, что могло быть поводом к выпивке.

Обычно Ершов упирался: ему хотелось работать, писать стихи, читать, а не пить вино или коньяк, от которых к вечеру

наступала какая-то путаница в мыслях, а утром он просыпался с туманной головой. Но оторваться от Жихарева было невозможно, он крепко держал Ершова, прижав его руку к своей груди, и тянул за собой. Затевать возню на улице неудобно, и без того прохожие оглядывались на двух рослых парней, о чем-то громко разговаривавших. И Ершов сдавался.

В «Маяке» их уже дожидались редактор художественной литературы Бронислав Юльевич Лисовский и художник-график Леонтий Ипполитович Юшков. И тут выяснялось, что встреча эта не случайна, что Жихарев еще поутру условился с ними увидеться в погребке.

Бронислав Юльевич был коренастый, тучный мужчина лет сорока пяти, с квадратным лицом мопса. У него полные, мясистые щеки, толстые, выпуклые, четкого рисунка губы и какие-то водянистые круглые, как у сыча, глаза с желтыми белками, а на голове жесткий ежик с редкой проседью.

Леонтий Ипполитович совсем иного склада: худощав, приподнятые узкие плечи, продолговатое лицо, реденькая бородка цвета побуревшей травы и небольшие с прозеленью глаза, постоянно горевшие каким-то мутноватым пламенем. Волосы на голове длинные, давно не стриженные, расчесаны на прямой пробор. На плечах пиджака перхоть, словно снежинки. Он окончил отделение графики при Академии художеств еще до революции. Отец у него был мелкий лавочник и хотел сделать из сына крупного купца, но сын не подчинился ему и ушел в академию, учился в ней на деньги, которыми тайно от отца снабжала его мать, мечтавшая, что Леня ее станет крупным художником. Но Леня смог стать лишь посредственным графиком.

Леонтий Ипполитович гордился, что в шестнадцатом году не однажды видел Репина в каком-то ресторане. Разговаривая, махал непомерно длинными руками и раскачивался из стороны в сторону всем своим непрочно-гибким корпусом. Речь его, уснащенная метафорами и эпитетами древнерусского стиля, вращалась преимущественно вокруг искусства и личной жизни знаменитых художников и скульпторов, о которых он знал массу анекдотических фривольных подробностей. Он считал, что русская живопись в Репине поднялась до Гималаевых высот, а дальше идти ей пока некуда, потому она и прозябает в скудных и горестных долинах эпигонства и декадентства. Нужен гений, который дал бы новый толчок движению вперед и выше. Вот для гения и живем! Горьков-

ский старик Лука прав: для лучшего живем, для него стараемся и трудимся.

Юшков любил показать знания по истории европейского и русского искусства, и они у него, эти знания, действительно были. Ершов порой с удовольствием слушал его, узнавая много интересного, нового, о чем доселе не читал и не слышал. Юшков часто возбуждал в нем жажду чтения литературы об искусстве. Так он прочитал «Воспоминания» Репина, двухтомник Вазари о художниках, решив, что ему необходимо знать эти произведения хотя бы для того, чтобы не сидеть бессловесным пнем, когда идет разговор о художниках Ренессанса и о русских передвижниках.

И вновь и вновь Ершов удивлялся и завидовал энциклопедичности Жихарева, который, оказывалось, был в курсе всего, о чем бы ни зашла речь, будь то живопись, скульптура, политика, философия. Трудно было понять, когда и как Жихарев столько мог узнать при его образе жизни. Напрашивалась мысль: наверно, он не всегда был таким забубенным выпивохой, готовым целые дни проводить за пьяными беседами.

Впрочем, в вопросах литературы все же первенство оставалось за Лисовским, знавшим наизусть массу стихов Некрасова, Фофанова, Апухтина, Анненского, Мережковского, Бальмонта и других.

Споры на все эти темы велись горячо и сумбурно. Юшков и Лисовский обычно поднимали такой гвалт, что посетители погребка начинали следить за ними с откровенным любопытством: а может, сейчас драка заварится? И некоторые, наверно, того и желали. Но драка не заваривалась, дискуссия прекращалась так же неожиданно, как и начиналась. Юшков вдруг поднимался и резким тоном говорил:

— Пошли, Бронислав! — И было похоже, будто он так рассердился на всех споривших, что не желает больше с ними ни сидеть за одним столом, ни разговаривать. Потом в сторону Жихарева мрачновато добавлял: — Извини, Георгий, у нас дело. Срочная работа.— И Ершову, уже совсем мягко: — Обложка на твою книжку готова. Приходи завтра, посмотришь, может, понравится. Впрочем, обязательно понравится! Лучше не сделают ни в Москве, ни в Питере,— он упорно называл Ленинград Питером,— не говоря о какой-нибудь Казани или Рязани. А за угощение спасибо! — Юшков пожимал руку Ершову и уходил, уводя за собой Лисовского.

Расплачиваться обычно приходилось Ершову, потому что

у Жихарева в кармашке почти всегда оказывалось всего на два-три стакана портвейна.

Уезжая из Даниловки, Ершов взял с собой триста рублей из гонорара, который ему выдали за стихи, помещенные на «Литературной странице». Остальные деньги он употребил так: купил в раймаге материал на платья жене и Пелагее Афанасьевне, которую любил так же, как и Петра Филипповича, и считал ее второй матерью. Рублей двести оставил Наташе. Оставил бы больше, но она не взяла.

— Я — дома, мне они на что? А ты едешь в город, там без денег шагу не шагнешь.

Спустя две недели ему выдали зарплату и гонорар за два стихотворения, снова опубликованные благодаря стараниям Жихарева и Стебалова. И все эти денежки «просвистели», как говорится, в трубу! Остались в погребке, потому что вокруг Жихарева постоянно, словно оводы вокруг коня в жаркий летний день, вилась компания жаждущих выпить за чужой счет. Но Ершова мало тревожило быстрое «таяние» денег, и он чувствовал себя крезом: платил за все и за всех безотказно, что некоторым нравилось и принималось как должное.

Однако такая пьяная жизнь скоро опротивела ему. Время проходило бесплодно. Вернувшись из погребка в свой номер, они с Жихаревым не в состоянии были уже не только писать, а и читать, порой даже и разговаривать. Не раздеваясь, с трудом сняв лишь полуботинки, они, словно подстреленные, падали на кровати и тотчас засыпали. На другой день просыпались вялые, разбитые и оба вслух горько раскаивались, клялись друг другу, что это уже в самый наипоследний раз.

Ершов же при этом всегда вспоминал предостережение студентки Ольги насчет опасности быть втянутым в круг богемствующих, и ему становилось жутко. Именно все так и получалось, как она говорила! Но как вырваться из этого порочного круга? «Пропаду я тут! — с тревогой и страхом думал он иной раз.— От Жихарева мне теперь не отвязаться, а с ним нельзя не пить. Каждый раз он находит какой-либо благовидный предлог для выпивки, а я не могу сопротивляться. Характером, видать, слаб! Нет, назад, назад в Даниловку!» — восклицал он про себя, и его охватывала жгучая тоска по жене, дочурке, по своему селу. Чудилось, что только там он сможет опять жить хорошо, трезво, по-человечески. Помимо всего прочего, там же Галя Половнева.

Да, Галя! Вот кого ему недостает. Некому показать новые

стихи, не с кем посоветоваться, несмотря на то что каждый день он встречается с писателями, журналистами, художниками. Сам он стесняется обратиться к кому-либо, а люди не догадываются послушать его. Он помнит, как о чудесном празднике, о вечере, когда большое собрание слушало его стихи. Но ведь по каждому новому стихотворению не будешь обращаться к собранию, да и мало новых стихов, очень мало! Кроме того, он нуждался в слушателе или читателе, который был бы душевно близок ему. Таких в городе пока не встречалось. Правда, первое время он пробовал читать Жихареву, почудилось, он может стать близким. Но, увы, скоро убедился, что ошибся. Обыкновенно, выслушав, Жихарев рассеянно бормотал:

— Гениально, Алеша, гениально!

Или приходил в беспричинный восторг:

— Замечательно! Это новое слово в советской поэзии! Но печатать не станут: не поймут!

И Ершов чувствовал, что восторг у друга не искренний, а хвалит, чтобы отвязаться.

Иногда стихотворение вполне удовлетворяло, по мнению Жихарева, требования печати, и он деловито произносил:

— Годится! Напечатаем в газете.

И стихотворение действительно печаталось.

Но Ершову нужны были не похвалы, не публикация. Ему хотелось, чтобы указывали на недостатки, всяческие слабости, на неправильные обороты речи, как нередко это делала Галя. Короче, Жихарев был не тем слушателем, в каком нуждался Ершов. Некоторые злободневно-политические стихи он показывал Стебалову, как бы отчитываясь ими за уход с работы раньше срока. Заведующий отделом тоже лишь восхищался. Вообще на обоих поэтов он смотрел как на какое-то чудо.

— Ловко! — потирал он свои маленькие ручки и радостно смотрел то на Ершова, то на Жихарева.— И как это у вас обоих получается — уму непостижимо! Я смолоду пробовал — ни черта не выходило из-под пера моего. Ну, пишите, пишите да помяните меня во царствии своем, когда станете знаменитыми!

Наверно, серьезную помощь можно было бы получить от Лубкова, судя по тому разбору, которому тот подверг в свое время тетрадки Ершова, но Лубков — человек слишком занятый, и Ершов не отваживался беспокоить его.

«Назад, назад в Даниловку! Там моя почва! Рославлев прав! Тут я засохну!» И рисовалось, как он снова работает

в кузнице, беседует с Петром Филипповичем, с колхозниками, узнаёт, что творится в селе, а по ночам сидит над серьезными стихами. И часто видится с Галей, показывает ей все написанное...

Но... Галя ведь с осени приедет в город учиться!

Тогда напрашивался другой вывод: немедленно и резко порвать, разойтись с Жихаревым!

## 4

За время жизни в городе Ершов послал большое письмо Петру Филипповичу с подробным описанием, как и чем занимается, умолчав, разумеется, о выпивках. Послал две открытки жене, одну председателю колхоза. Хотелось написать еще Гале, но не решался. О чем написать, как написать? Что он скучает по ней? Но что она подумает? Влюбился, дескать, малый! Наконец нашелся предлог — на обе открытки жена не отвечала: «Напишу Гале, мол, так и так, узнай, в чем дело». Отпросился у Стебалова, пошел в редакционную библиотеку и написал такое письмо:

«Здравствуй, Галя!

Извини, что беспокою тебя. Дело в том, что я писал своей Наташе два раза, а она не отвечает. Если тебе не трудно, узнай, пожалуйста, в чем там дело, и сообщи мне: здорова ли Наташа и как чувствует себя Катюша. И еще у меня вот какая просьба: я буду присылать свои стихи почтой, а ты прочти их и сделай свои замечания. Я прошу об этом потому, что привык к твоим советам и тут мне их определенно недостает. Ведь в последний год ты была в какой-то степени соучастницей в моей творческой работе. Ты, возможно, станешь возражать. Не возражай, это так. Почти все, что мне более или менее удавалось, я показывал тебе. Выражаясь пушкинским языком, ты была как бы моей музой. Этого я тебе не говорил и, наверное, не сказал бы, а вот в письме признаюсь. И я благодарен тебе за то, что ты была правдива и никогда не скрывала своих истинных впечатлений.

Еще вот что: узнай, пожалуйста, о Жучке́, вернулся ли он домой? Я в тот раз поехал не с дневным, как обещался, а с утренним. Хотелось уехать без провожатых и без провожаний. Признаться, меня напугало обещание Дмитрия Ульяныча устроить мне торжественные проводы. Может, он и пошутил, но ты знаешь, что мог и в самом деле отмочить такое. Пригласил бы двух баянистов, собрал молодежь, речи начали бы произносить. Стать участником такой сцены у меня

не хватило духу, и я вышел на рассвете и на станцию направился не по улице, а огородами, боялся попасться на глаза все тому же Дмитрию Ульянычу. Он же встает ни свет ни заря. Наташе я тоже не дал провожать меня, да ей и нельзя было уходить далеко от дома, дочка еще спала. И вот за мной увязался Жучок. Он провожал меня до самой станции. Скажу: «Жучок, пошел домой!» — а он отбежит в сторонку, и виляет хвостом, и смотрит таково умильно да грустно, аж у меня слезы навертывались. Пойду, а он снова за мной. И бредет поодаль с виноватым видом. А потом за поездом бежал больше километра. Боюсь, не пропал ли он? Наташе я писал дважды, а она ничего не отвечает. Наверно, некогда ей. Какое ни есть, а хозяйство.

Покидать Даниловку мне было трудно, гораздо трудней, чем когда уезжал на службу в армию. Тогда думал: «Отслужу — и снова домой». А теперь были мысли о том, что, возможно, навсегда расстаюсь, покидаю родимое село! Сколько на моей памяти уезжало в город на работу или учиться — и мало кто возвращался. Так может и со мной быть. И когда я вышел на шоссе и поднялся на пригорок, с которого, ты знаешь, видна вся наша Даниловка, остановился и оглянулся — у меня упало сердце. Утро было теплое, тихое. Солнышко еще не всходило. И я увидел избы, школу, парк, антенну над правлением. Увидел кузницу свою, ветряк, речушку нашу, вспомнил, как ты полоскала белье, пела, а мы с батей и Жихаревым возвращались на лодке, и мне захотелось вернуться и остаться в Даниловке до гробовой доски. Но тотчас понял, что такое желание неуместно. От малодушия! По-моему, Галя, надо всегда идти вперед, как бы ни было тяжело и трудно! Правда? И тебе рекомендую: не раздумывай приезжай осенью в город. Будем тут учиться вместе, набираться ума-разума. Я подал уже заявление на заочный. Я слышал, что ты помирилась с Илюшей и, возможно, выйдешь за него замуж, но все равно, по-моему, тебе надо учиться дальше. Родион Яковлевич как-то говорил нам с Петром Филипповичем, что Илья тоже собирается учиться. Вот вы вдвоем и приезжайте. Это было бы здорово! Мы тут организовали бы тогда настоящее землячество и даже что-нибудь вроде коммуны. Дело в том, что мне обещают квартиру из двух комнат. Одну из них мы с Наташей охотно уступили бы вам. Наташа у меня добрая, она не будет против. Напиши, как ты думаешь насчет этого.

Чуть было не забыл. Есть еще интересный факт, о котором хотелось рассказать тебе. По пути на станцию у меня была

одна не очень приятная встреча. В двух километрах от Даниловки устраивается новый ток. От шоссе до него метров сто. Там уже был построен навес, подвезены веялки, молотилки, стоял шалаш для сторожа. Я знал, что сторожем назначен старик Травушкин. Знал от бати, который, между прочим, недоволен этим и собирался даже поговорить с т. Деминым.

И вот я иду и думаю, хорошо, мол, что время раннее, Травушкин меня не увидит и не остановит. В последние дни он что-то при всякой встрече липнул ко мне как смола. Заведет разговор, начнет хвалить председателя нашего, Петра Филипповича и даже колхозной жизнью восхищаться! «Легче, дескать, вольготней живется теперь народу, не то что в старое время. А ведь боролись же люди против артельной жизни, то-то дураки были!» И все в таком духе. Зачем, почему он мне все это говорил — до сих пор не пойму. Может, надеялся, что я передам его речи бате?

Иду — и вдруг слышу:

— Здравствуй, Алексей Васильич! Погоди-ка!

Заметил меня. Стало быть, уже не спал. Если бы позвал к себе, я отмахнулся бы и дальше: некогда, мол. А то сам ко мне спешит. Неудобно убегать от старика, стою, жду.

— В город, что ли? — спрашивает.

— В город.

— Слыхал, слыхал. Ты вот что... Найди-ка там Андрюху моего... он в ниверситете. Помогёт тебе в люди выйти. Поступишь в тот ниверситет и станешь, как Андрюха, ученым. А ученым деньги платят хорошие. Будешь паном жить, а не как иные — горб гнуть неизвестно за что.

Ну, что ему сказать? Пожилой человек и такой отсталый и глупый! Бесполезно разубеждать и спорить, слушаю молча. А он либо решил, что я согласен с его речами, и понес, и понес! Нахваливает Андрюху своего, какой он умный да образованный, образованней, дескать, прежних господ. Одно плохо — холостой до сих пор, хотя ему уже тридцать лет. Никак не найдет по себе невесты в городе. Тут беда, говорит, еще в том, что влюбился он в Галку Половневу... Она, конечно, девка хоть куда, но боюсь, говорит, что прозевает он. Кабы здесь все время находился, другое бы дело. Ты, говорит, Алексей Васильич, скажи ему, чтобы он не тянул, а приезжал поскорее да сватался. Может, пока еще не поздно.

Тут я не вытерпел.

— Поздно, Аникей Панфилыч! Они уже сосватались.

— Кто — они?

— Илья и Галя.

— Откуда знаешь?

— Знаю! — засмеялся я и пошел.— Спешу на поезд. Может, я и не имел права так говорить о вас с Ильей, но сказал. Очень мне хотелось чем-нибудь огорошить старика. Хотя мне он никакого зла не сделал, я почему-то не люблю его. Наслышался, что ли, как он и его отец в старое время эксплуатировали и Петра Филипповича, и моего отца, и других.

И насчет этого факта ты тоже напиши, то есть действительно вы с Ильей помирились? Кроме того, сообщи, что есть интересного в нашем колхозе. Вообще мне хочется все время иметь связь с Даниловкой и знать, что там творится. Учти это в своих письмах и пиши подробней обо всем.

И еще вот что: Жихарев договорился с руководителем областного народного хора т. Масленниковым о тебе. Масленников пообещал принять тебя в хор, если у тебя окажется хороший голос. Он был в нашем отделе. Я ему сказал, что ты приедешь учиться в университет. По-моему, хор — хорошо, а главное, надо тебе учиться. А петь можно и в хоровом кружке при университете.

А пока до свидания! Привет Петру Филипповичу, и Пелагее Афанасьевне, и Васе вашему, и вообще всем-всем привет!

А. Ершов».

---

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

### 1

В дверь просунулась небольшая головка с пышной прической светлых волос.

— Ершов, к редактору!

И скрылась. Это секретарь редактора. Жихарев оторвался от рукописи, насмешливо посмотрел на друга:

— Что такое, Алеша? Ты что-нибудь натворил? По опыту знаю: вызов через секретаря — неспроста.

— Как будто ничего такого... Ты-то должен знать, я же все время с тобой — и на работе и с работы... Может, насчет квартиры?

— А-а! — протянул Жихарев.— Наверно, так оно и есть. Желаю успеха!

Он встал и, сделав левой рукой «открытый семафор», правой показал «путь свободен».

Стебалов, все время старательно писавший, вдруг уставился на Ершова. По-видимому, он что-то хотел сказать, но не решался. Махнув рукой, пробормотал:

— Ну ладно! Ступай, ступай! Придешь — расскажешь, в чем дело.

Когда Ершов вошел в кабинет, редактор кивком указал на стул. Он просматривал гранки, попыхивая синим дымом папиросы. «Наверное, опять о фельетоне в стихах»,— подумал Ершов, разглядывая крупные костистые руки редактора, покрытые редкими темными волосами. Дочитав гранки, редактор снял свои большие очки, близоруко вгляделся в Ершова, слегка прищуриваясь, словно не узнавая его. Скороговоркой спросил:

— Как дела?

— Ничего,— ответил Ершов.

— Что значит — ничего? — отрывисто и сердито произнес редактор.

— Вообще не жалуюсь, Федор Федорович,— уточнил Ершов.— Только вот семья. Она там, я тут... как-то не того.

Редактор резко оборвал:

— О семье после. Стихи пишешь?

— Пишу.

— Когда же?

— В свободное время... больше вечером, ночью,— ответил Ершов, полагая, что до редактора дошло, как Стебалов отпускает их с Жихаревым до срока, и теперь придется за это отвечать.

— Когда же, когда? — переспросил редактор, немного повышая голос.

— Я же говорю — в свободное...

Федор Федорович оборвал Ершова на полуслове:

— Где оно, твое свободное время? Откуда оно? Сегодня выпил, завтра похмелился... Муза-то, она ведь не дура: пьяных вряд ли посещает!

Кто-то, значит, сообщил редактору о выпивках. Оправдываться? Это было не в характере Ершова, и он молча смотрел в глаза редактору, будто загипнотизированный.

— Молчишь? — с легкой издевкой протянул редактор.— Хорошо хоть, не вывертываешься, как другие, вроде Жихарева — дружка твоего.

«Кто же это мог наябедничать?» — думал Ершов. Помолчав немного, тихо вымолвил:

— Чего же вывертываться? Сам собирался поговорить с вами, Федор Федорович.

— О чем? О пьянстве?

— О выпивках... Мне они самому осточертели.

— Зачем же со мной говорить, если они тебе осточертели? Их надо прекратить, и — немедленно! — Федор Федорович встал и, заложив руки за широкую покатую спину, медленно стал прохаживаться вдоль стены. Потом, остановившись и глядя в упор на Ершова, ворчливо добавил: — Осточертели! А сам с Жихаревым глушишь это зелье чуть не каждый день! Но с Жихаревым у нас будет особый разговор. А вот от тебя не ожидал я такой прыти, нет, не ожидал. Колхозник, можно сказать, от сохи или от молотка, это все равно, человек труда — и вдруг... Теперь понятно, почему у тебя стихотворный фельетон не вытанцовывается!

— Не поэтому,— угрюмо возразил Ершов.— Не такой уж я пьяница, как вы думаете.— Губы его передернула гримаса обиды.— Просто не умею.

— Оттого и не умеешь, что не о деле думаешь, а черт-те о чем! — холодно сказал Федор Федорович.— Если я чего-нибудь не умею, то стараюсь научиться. А ты? И не думаешь! Имей в виду, работник печати должен постоянно учиться... и моральный облик его небезразличен... Короче говоря, пьяницам в газете не место!

Ершов теперь был совсем не таким, каким приходил с Жихаревым к редактору в первый раз. Свои светлые усики он сбрил, волосы подстриг, и они уже не курчавились на затылке и за ушами. На ногах вместо черных ботинок желтые полуботинки с узкими носами. Кремовая рубашка с длинным голубым галстуком, новые из синего бостона брюки, хорошо отутюженные. Это был уже не деревенского вида простоватый и наивный парень, а вполне городской щеголеватый молодой человек.

Всем этим преображением Ершов обязан был Жихареву, заставившему купить и брюки, и рубашку с галстуком и постричься. «Ты должен выглядеть интеллигентом, а не деревенским жлобом!»

Федор Федорович, разумеется не подозревая об этом, заключил, что молодой его сотрудник видоизменился по собственному почину и вкусу. И теперь, окинув Ершова изучающим взглядом, он покачал головой и с неодобрением подумал: «Пижоном вырядился! А был ведь таким простым и симпатичным! Неужели я ошибся в нем? И это менее чем за месяц! Что же будет дальше? Пьет горькую, форсит, стихов

не пишет... Или «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в забавах суетного света он малодушно погружен»? Леший их знает, поэтов, что они за публика. Маркс считал, что с ними надо вести себя, как с детьми. И Ленин мирволил Демьяну Бедному. Однако хорошо дитя!— Редактор недружелюбно покосился на смиренно сидевшего Ершова.— Сажень ростом. Дитя, если шалит, отшлепать можно. А этого попробуй отшлепай! И что мне с ним делать? Искра-то божия в нем, кажется, есть. Попытаюсь наставить на путь истинный... И хотя поэты не любят морали — прочту! Пускай слушает, бабушке его черт! А не послушается — выгоню... Нам шалопаи не нужны!»

— Вот что, Ершов,— усаживаясь за стол и мрачно глядя на собеседника, серьезно и сухо заговорил редактор после длительной паузы.— Дальше так продолжаться не может. Разве тебя затем перевели в город, чтобы ты тут разлагался и терял облик трудящегося человека, становился каким-то деклассированным прощелыгой? Куда это годится? Чуть не каждый день тебя видят в «Маяке» в компании забулдыг и пьяниц...

Чистое, свежевыбритое лицо Ершова с золотистыми, как зернышки проса, веснушками на скулах и возле носа сохраняло удивительное спокойствие. И ни намека на протест или раскаяние! Только по яркому румянцу, выступившему на щеках, можно было догадаться, каких усилий стоило ему это спокойствие.

Но на румянец редактор как раз и не обращал внимания, и потому, все более возмущаясь, что парня «пробирают» и «учат», а он сидит как истукан, Федор Федорович наконец не выдержал:

— Что же ты молчишь, Ершов? Не согласен?

— Согласен, Федор Федорович. Потому и молчу,— упавшим голосом промямлил Ершов.— Все правильно вы говорите, как же можно не согласиться... Потому-то я и хотел к вам прийти... что понял и сам...

На этот раз редактор заметил, что голос молодого человека подрагивает. «Ага! Значит, переживает!» И тогда Ершов опять стал казаться симпатичным, как в первое посещение. «Боже мой! Он совсем еще мальчишка! Его учить да учить! Ведь и сами мы в такие годы не ангелами были!»

— Но я не пойму, зачем же ты хотел прийти ко мне, если сам понял? — смягченно проговорил Федор Федорович.— Что же я могу? Тут дело в тебе самом. Надо иметь волю к жизни... к труду... надо ненавидеть пьянство, как безумную

и дикую растрату сил и времени, не говоря уже о деньгах!

— В том-то и дело, Федор Федорович,— сказал Ершов,— что одно время мне показалось, не смогу я оторваться от компании забулдыг, как вы сами их называете. Ну и решил было вернуться в Даниловку. Испугался, что пропаду тут. И хотел посоветоваться с вами.

Такое признание понравилось редактору.

— Это уже хорошо, что испугался! — совсем миролюбиво заметил он.— Ну, а потом испуг миновал? И пошла писать губерния? Так, что ли?

— Нет, не так! Просто понял: возвращаться домой мне нельзя... это было бы вроде бегства от опасности. И решил, что надо самому все перебороть... и взяться за ум.

— Тем лучше,— проговорил редактор.— Значит, оторвешься?

— Оторвусь! — уверенно пообещал Ершов.— Я же отлично понимаю: богема как чаруса... и цветисто и на вид красиво, так и манит к себе, а ступишь — и пропал... засосет.

— Что такое чаруса? Первый раз слышу.

— Болото. У нас тут таких нет. Я узнал, когда служил в армии.

— Ну что же! Если сам видишь, куда тебя может завести эта компания,— тем лучше. В таком случае у меня все! Ступай! И как говорится, больше не греши. Но запомни: если ступишь и станешь тонуть в этой чертовой чарусе — пеняй на себя. Вытащить, возможно, и вытащим, но пощады тебе не будет! — Когда Ершов, уходя, был уже у порога, Федор Федорович добавил: — А насчет семьи немножко потерпи: в августе или сентябре получишь квартиру.

## 2

Вернувшись в отдел, Ершов сказал, что редактор вызывал его насчет квартиры и пообещал предоставить ее в августе или сентябре.

Часа за два до окончания работы, когда Жихарев пошел в машинное бюро продиктовать статью, Ершов отпросился у Стебалова и торопливо покинул отдел. Сделал он это с той целью, чтоб «оторваться» от Жихарева и избежать открытой борьбы с ним против выпивки, которую тот наметил уже с утра по случаю предполагаемого получения гонорара из молодежной газеты.

Был субботний день. Улица пестрела летними одеждами

мужчин и женщин, громыхали трамваи, один за одним проносились автомобили.

Ершова всегда удивляла многолюдность городских улиц. В любое время с утра до вечера куда-то идут, спешат. Создавалось впечатление, что город населен праздными людьми. Как-то он высказал такую мысль Стебалову, и тот объяснил, что на железной дороге и на заводах работают посменно, поэтому на улицах как раз те, кто в дневной смене не занят. Такое объяснение для Ершова было ново, оно до известной степени удовлетворяло его. Но все же он иногда думал, что по улицам бродят не только те, кто свободен от смены, немало, наверно, и таких, которые вроде его самого покидают учреждения по своим надобностям в рабочее время или, может, совсем нигде не работают.

Идти в гостиницу не было смысла. Жихарев хватится и обязательно зайдет за ним. Направился на почту узнать, нет ли писем «до востребования» (по совету Жихарева он сообщил в Даниловку, что, пока у него нет квартиры, ему надо писать «до востребования»). Получив два письма: одно — от Наташи, другое — от Гали, свернул в сторону от центра города, решив прочесть их где-нибудь в глухом переулке.

Город он знал еще плохо и шел наугад. Узенькая кривая улочка вывела его на обрывистый бугор. Вершина бугра оказалась Детской площадью. На ней двумя стройными аллейками росли молодые топольки. Чудесный вид открывался отсюда: внизу — узенькая голубая лента реки, дальше — широкий луг, за ним какая-то деревенька, за деревенькой степь и синяя даль. Правее — новый городок с трех- и четырехэтажными домами, трубы завода, издали похожие на кегли.

Ершов присел на одну из скамеек и распечатал сперва Галино письмо. Галя писала:

«Здравствуй, Алеша!

Спасибо тебе за хорошее письмо. Я сходила к Наташе и узнала, что и она и Катюша здоровы, что Наташа собирается тебе написать, да все времени не найдет. А Катюша просто прелесть какая славненькая, только не пойму, на кого она похожа. Глаза голубые, как у тебя, но круглолицая в мать, и носик, кажется, материн — курносенький. В общем, она очень понравилась мне, и вид у нее здоровый. Я спросила, скучает ли она по папе, она ответила: «Скучаю». И таким тихеньким, грустным голоском, что мне жалко ее стало. Ну,

словом, Наташа тебе скоро сама напишет, и ты не беспокойся о них, все тут в порядке.

Узнал батя, что я тебе пишу, и просит передать поклон и благодарность за письмо. И еще, говорит, напиши ему, чтобы он сам приехал. Не так уж далеко, и можно бы чуть ли не каждое воскресенье бывать дома. Неужели же у него (это у тебя) там так много дел, что он никак не выберется.

А насчет того, что я вроде музы для тебя была, не знаю, что и сказать. Мне думается, ты преувеличиваешь. Какая польза от моих замечаний по твоим стихам? Ты же сам в десять раз больше моего понимаешь, что хорошо и что плохо. Но если желаешь — стихи присылай, я буду читать их с удовольствием и свое мнение напишу откровенно.

А Жучок в тот раз благополучно вернулся. О твоем приглашении жить с вами, когда тебе дадут квартиру, я Наташе ничего не сказала. Я, конечно, благодарна, и Илюша тоже благодарит тебя и говорит, что было бы хорошо жить вместе, как ты пишешь, но все же предварительно ты договорись с Наташей. Верно, она добрая, хорошая, а вдруг будет против?

Аникею Панфиловичу ты ответил правильно. Скоро мы с Илюшей и в самом деле запишемся. Вот пока и все. О том, что делается в колхозе, напишу в другой раз, сегодня некогда. Одно скажу: у нас вовсю идет подготовка к уборочной. Теперь уже ясно, что урожай в этом году невиданный...

А насчет хора — не знаю, что и сказать. Перееду в город — тогда решу. Но кажется, что в народный хор вряд ли я гожусь. Одно дело петь на улице что и как вздумается, а другое — в хоре.

До свидания.

Галя Половнева

*18 июня 1941 года.*
*Даниловка».*

Ершов дважды прочел письмо, вздохнул, свернул его вчетверо, задумался. «Галя, Галя! Нет, не преувеличиваю я, когда считаю тебя своей музой!»

Он положил в карман Галино письмо и прочитал Наташино.

«Милый Лешенька!

Прости мене, пожалуйста, что я не ответила тебе на твои открытки. Все некогда и некогда, делов у мене по горло. Сам

знаешь, и в поле не хочешь отставать от других, хотя трудодни для нас уже не очень нужны, раз ты возьмешь нас осенью в город, как ты пишешь. Да и дома, какое ни на есть, а хозяйство, с одной коровой сколько возни: и подоить надо вовремя, и в стадо проводить, и подкормить. Спасибо, мама моя помогает по дому. Катюшу почти каждый день к себе берет, и даже ночует она у нее частенько.

Я радуюсь, что у тебя там в газете все идет по-хорошему и что ты твердо решил оставаться в городе. Было бы очень хорошо и нам с Катей в город перебраться поскорей, без тебе мне тут жизнь не в жизнь. А если квартиру тебе дадут из двух комнат, то это очень хорошо: в одной комнате и кухне мы сами пока будем жить, а в другую комнату пустим жильцов каких-нибудь, может студентов. Мама моя говорит, в городе так делают, и лучше взять студентов, потому что они отучились и уедут, да и летом у них каникулы. И я с мамой согласна насчет этого. Нам с тобой нужно будет много денег на городское обзаведение, а на одно жалованье широко не разойдешься. А нам нужно будет покупать и кровати себе и Катюше, и стулья, и столы, и посуду всякую, да и с одеждой и обувью у нас с тобой пока неважно дело. Ну, да это все видно будет потом. Ты хлопочи там получше, чтобы поскорей давали квартиру. Как только дадут, мы с Катькой одним ментом соберемся и приедем, а может быть, ты и сам за нами отпросишься у своего начальника, чай отпустит дня на два для такого дела. А если нельзя тебе будет приехать, ты не горься, мы и сами сможем, в крайнем случае мои мама и батя помогут. Только вот не знаю, чего сделать с нашей избой. Скотину-то и кур я договорилась передать покамест матери, а посля их продадим. Избу тоже можно бы продать сразу, и деньги порядочные за нее дали бы, да боязно. Вдруг не заладится чего-нибудь у нас с тобой в городе и надо будет ворочаться назад. Куда денешься без избы? Думаю, с продажей избы с год, а то и два придется погодить. Продать всегда успеется.

Лешенька! Ты спрашиваешь об Жучке нашем и уж писал Галке Половневой. Он в тот раз возвернулся только к вечеру, и скучный такой. Лег у крыльца и пролежал там дня три либо четыре и почти не ел ничего, а по ночам так выл, ажно страшно становилось и за сердце хватало. Я выду, закричу: «Замолчи, чего тебе черти ломают?» А он воет. Замахнусь, чтоб ударить, а он отбежит и опять воет, окаянная душа! Только на четвертую или пятую ночь угомонился. Правда, с вечера немножко повыл, а потом затих и теперь уже не воет. А как те-

бе позову: «Леша!» — так он вскочит, уши навострит и глядит кругом. А если увидит на улице высокого мужчину, бежит к нему, думает — ты. Подбежит, глянет, понюхает с ног — и назад. Ты бы хоть разок приехал, Лешенька! А то ведь я по тебе с тоски и скуки скоро завою, как тот Жучок! Право слово! Худо мне без тебе жить, только тем и утешаюсь, что разлука наша на время, а не навечно. А иной раз подумаешь, а вдруг не на время? Вдруг навсегда? Бывает же так, что покамест жил в деревне — жена хороша, а как попал в город — она уж и негодна. Я ведь простая, деревенская, необразованная, может, ты стыдиться станешь такой жены. И я как подумаю об ентом, таково муторно станет на сердце, кажется, побежала бы да вниз головой в Приволье — речку нашу! Пропаду же я, Лешенька, совсем, если ты бросишь мене, не вынесу я такого горя-беды! Да нет, того не может быть! И Галка Половнева говорит, чтобы я не сумлевалась: она говорит, что ты честный и не позволишь бросить жену с дитем. Ино и я так думаю, а ино сумление берет. И ты уж не обижайся, Лешенька, на дуреху твою неразумную. Вот переедем в город, подучусь и я немного и стану лучше, образованней, хотя, может, до городских и не дотянусь, а все-таки поумнею.

А покамест до свиданья, мой родной! Жду от тебя доброй весточки или тебе самого. Приезжай хоть на денек. И дочурка по тебе скучает. Она целует тебе на карточке и лопочет: «Папка мой, папка мой!» Приезжай. Баню истоплю половневскую, на рыбу с Петром Филиппычем съездишь. Он тоже за тобой скучает. Обнимаю тебе и крепко, крепко, несчетно раз целую в твои голубые глазки.

Твоя Наташка».

И это письмо Ершов прочитал дважды. Оно взволновало его больше, чем Галино. Стало жалко жену, и даже то, что она беспокоится — не бросил бы он ее,— не рассердило. Всякое можно подумать в ее положении. И пока читал письмо и когда кончил читать, перед глазами ярко вставало миловидное курносенькое лицо жены, с завитками льняных волос возле ушей и на затылке, небольшие, плотно сжатые красивые губы, маленькая, еле заметная морщинка над переносьем, серые улыбчивые глаза, иногда настороженные и недоверчивые, и гибкий стан ее, на котором любое платье прилегает плотно, подчеркивая красоту крепкого, здорового тела. В особенности же ему нравились Наташины руки с цепкими, сильными пальцами, слегка утонченными у ногтей, малень-

кие руки, всегда готовые что-либо делать: шить, мыть, полоть, рубить, подметать пол, месить тесто... И эта постоянная ее готовность в любое время трудиться, быстро и аккуратно выполнять всякую работу — хоть чистую, хоть грязную — всегда была приятна ему и создавала в нем настроение бодрости, как бы заряжала его свежестью. Да и приласкать, потрепать за волосы умеют ее хлопотливые, работящие руки. Нет, нет! Он любит Наташку свою, и ее ему недостает в его сумбурной и пока неорганизованной городской жизни. Совсем иной станет эта жизнь, когда он привезет сюда и Наташу и Катю. «Хозяюшка моя, ласточка-касаточка, хлопотунья милая! Не брошу я тебя, нет, не брошу!» — с чувством теплой и тихой нежности думал Ершов. Но тут он вспомнил ее планы насчет квартиры и квартирантов и невольно поморщился. Это что-то уж очень практично, хотя в то же время и наивно. «Ну ничего! — решил он.— Уговорю. Будут у нас жить Илья и Галя... и обязательно бесплатно. Разве можно с них брать плату? Дико. Несуразно!»

3

По узенькой кривой улочке Ершов спустился вниз. В гостиницу он все еще не решался идти, хотя было уже около шести вечера. Солнце стояло довольно высоко. Небо над головой чистое, светло-голубое, а на северо-западе, казалось прямо над городом, кучевые облака сгущались в темную грозовую тучу. «Дождя давно не было, дождь нужен хлебам»,— подумал Ершов, по привычке деревенского жителя воспринимать погоду преимущественно с практической стороны.

Улочка была малолюдная, попадались лишь редкие прохожие. Зато много было ребятишек, которые либо играли в жохи, либо бегали за бумажными змеями, оснащенными тряпичными хвостами. Ершов был спокоен: тут-то Жихарев и не догадается искать его. И вообще хорошо идти по улице, где тебя никто не знает, можешь предаваться своим мечтам и размышлениям сколько тебе угодно. И Ершов медленно брел и думал о Наташе, о Катюше, мечтал о том, как он выучится, окончит университет, станет вполне образованным человеком, изучит английский и немецкий языки, чтобы в подлинниках читать Мильтона, Бернса, Байрона, Гёте, Гейне. И разумеется, еще учась в университете, напишет хорошую поэму о деревне, как советует Стебалов. Недурно бы написать так, как написана «Страна Муравия», но о другом,

нынешнем времени, о том, что колхозный строй стал для всех родным, что все увидели и поняли теперь, что жить стало легко и свободно и что уже в помине нет на земле ни мироедов, ни захребетников. А героями взять бы Петра Филипповича, Илью Крутоярова, Галю Половневу, показать, как они трудятся, как Илья и Галя поедут учиться и станут образованными строителями социалистического общества. Показать, что вообще таких мужиков, какие были раньше, не найдешь, а люди в деревне в десять раз культурнее старых крестьян. И даже старики теперь уже не те. Взять Глеба Ивановича Бубнова. Это же профессор, а не мужик. А ведь революция застала его неграмотным.

— Алексею Васильевичу! Вот где бог привел свидеться!

Ершов вздрогнул: перед ним стоял Аникей Травушкин, в начищенных сапогах, в новой черной паре и синей в белую полоску рубахе. Откуда он взялся? Словно во сне, вдруг вынырнул из-за угла!

Нехотя протянул старику руку, спросил:

— Как вы сюда попали?

— Иду вот и сам не знаю куда. Макарка мой на работе, а с невесткой и внуками сидеть устал. Пойду, думаю, поброжу маленько, город посмотрю. Меняется он, город-то, меняется. На Дворянской улице пожарной каланчи нету, дом какой-то построили огромадный, в шесть этажей. Ночлежки нету, соляных рядов тоже. И все дома, дома строят... Хотел сходить к Андрюхе, да толку мало. Одинокий он и непьющий, скупой. Половинки не поставит. Тебе, говорит, батя, вредно в твои годы. А какие мои годы? Пять годов на шестой десяток только... Просто от скупости. И в кого такой? А то еще придут к нему ученые разные и ну балакать по-своему, по-ученому, а ты сидишь и глазами хлопаешь. Однако сходить все же придется. Надо проведать: сын, что ни говори. Ты не виделся еще с ним? Повидайся. Может, все же он и тебя к науке той пристроит. А я отпросился у Митрия Ульяныча денька на три. Пойдет уборка, тогда, считай, до осени в город не выберешься. Уж очень мне внуков хотелось повидать!..

Ершов стоял, широко расставив длинные ноги, засунув руки в карманы брюк, и снисходительно смотрел с высоты своего саженного роста на разговорившегося старика, голова которого приходилась ему чуть повыше пояса. И со стороны было похоже, будто он ждет, когда Травушкин пройдет у него между ног. Потом медленно пошел крупными шагами. Травушкин засеменил рядом, не отставая.

В Даниловке поговаривали, что у него в городе есть «мадама», к которой он время от времени ездит. Ершов подумал: «Наверно, сплетни. К сыну Макару старик ездит, внуков, видно, любит!»

— Да, меняется вся жизнь кругом, куда ни глянь. Тебе-то это непонятно, а я вижу очень даже хорошо, потому знаю, что раньше было и что — теперь. Вот бы батя твой поглядел! Он, бывало, выйдет орательствовать — и начнет, и начнет! Придет, мол, пора, что мы домов больших понастроим, дороги везде проведем... и все будем жить безбедно. Жалко мужика, убил кто-то ни за что ни про что. Помнишь отца-то?

— Помню,— сказал Ершов.

— Могутный был мужик,— продолжал Травушкин.— Богатырь. Смолоду до солдатчины на кулачках против него никто не выстаивал. В старину у нас в Даниловке на масленой неделе, бывало, сойдутся стенка на стенку и ну чихвостить друг друга... батя твой всегда попереди. Махнет — и люди как снопы наземь. И когда колхозы зачинались, он опять первый. И убили его... Зря, конечно. Все равно вышло, как он предсказывал: утвердились артельные порядки... Как думаешь, навсегда?

Ершов живо вспомнил: темная ночь, стук в дверь. Мать поспешно зажигает лампу, и отца, грузного, большого, вносят в избу Половнев и Крутояров и кладут прямо на пол. Лицо у отца белое, спокойное, большие светлые усы словно обвяли, и рот слегка открыт, а на щеке коричневая змейка запекшейся крови.

— Навсегда,— твердо ответил он.

— Я тоже так думаю,— согласился Травушкин.— А некоторые болтают, что можно опять вернуться к единоличной жизни... Мысленное ли дело! Привыкли уже люди.

Ершов знал, что весной на севе Травушкин что-то натворил, пищу, говорят, пересаливал не то по злобе, не то чтобы повариху Лушу заменили. Одно время хотел даже частушки сочинить на эту тему, но Свиридов сказал: не надо, райком партии, дескать, советует не раздувать этого случая. Но он тогда верил, что Травушкин мог назло колхозникам сделать что-либо и похлеще пересолов. А вот теперь, слушая старика, вдруг подумал: не напрасно ли на него наговаривали, потому что он когда-то был богатым? Не похоже, что Аникей Панфилович зловредный человек. И об отце правильно говорит, жалеет его, и насчет колхозов. Это же верно, привыкли люди. А если бы Травушкин злился за то, что его когда-то раскула-

чили и чуть не выслали, он разве стал бы так говорить? И в душе Ершова шевельнулось что-то вроде сочувствия. Что ни говори, а к Травушкину многие односельчане относились до сих пор не совсем справедливо, с недоверием. И он, Ершов, вел себя как и все, и даже хуже: писал на старика едкие частушки и для девчат, и для стенгазеты. Получалось похоже на травлю человека. Но Петр Филиппович! Не напрасно же он ненавидит Травушкина.

— Верно, привыкли,— подтвердил Ершов.— Да и что может быть лучше колхозного строя? Ведь жить стало легче, чем раньше жили... Тракторы, машины... Пашем-то теперь не на сивке-бурке и не сохой Андреевной...

— Это что и говорить,— кивнул Травушкин, беспокойно замигав глазами.

Некоторое время шли молча. Потом Травушкин сказал:

— А насчет Галки Половневой правильно ты тогда говорил: помирились они с Илюшкой-то. Ну дело тут не в этом... усматриваю я, что Галя-то, может, и не прочь за Андрюху мово, кабы не Петро Филиппыч. Злобится он досе на меня, а чего? На твоих же глазах... ты уж сколь живешь как взрослый самостоятельный человек. Когда и что я ему плохое не то сделал, а пожелал даже? Ну, в старину — там всяко бывало. Так об этом же теперя позабыть пора. Правильно, Алексей Васильич?

— Смотря что,— уклончиво ответил Ершов.— Есть такие вещи — никак невозможно забыть, даже если бы и захотел.

— Это верно ты говоришь,— поспешил согласиться Травушкин.— Не все можно забыть. Но я же и в те поры больше добра желал. Пришел он с войны-то гол как сокол, одна хатенка и ни щенка, ни куренка. Взял его в работники... всю семью хлебом снабжал, картохой. Вроде как за свово почел. И опять же и сам рядом с ним работал... все тогда трудились... и я пахал, косил, не как другие: наймут и только указывают, что робить, а сами пальцем не шевельнут. Или взять ту же кузню. Она же все село обрабатывала... И жалованье платил по совести. Одно сказать: горяч я был смолоду... иной раз и прикрикнешь... не без того... Дак нельзя же век злобиться за это... А Галя что же! Дай бог счастья, как говорится,— вроде бы с грустью заключил старик.

На углу они распрощались. Травушкин свернул налево, а Ершов пошел вниз, к реке.

## 4

Оба берега заполнены людьми в купальных костюмах, в трусиках. Кто стоял, кто лежал, подставляя солнцу либо спину, либо грудь; река кишела купающимися.

«Полежу-ка и я, позагораю!» — решил Ершов и, выбрав свободное место на примятой траве, стал раздеваться. Лежавшие и сидевшие вокруг не обращали на него внимания. А он, раздеваясь, с любопытством окидывал взглядом пляжи обоих берегов. От разноцветья трусиков, костюмов пестрило в глазах.

Он был здесь впервые, и никогда еще не доводилось ему видеть так много полунагих людей. Тут были и крепкие загорелые парни, и девушки, и средних лет мужчины и женщины, и пожилые — либо полные чересчур, либо худощавые. Среди темных от загара светлели белые, цвета капустного листа, были и слабо загорелые, и совсем черные, словно облитые нефтью.

А туча стояла пока в стороне и не торопилась закрывать солнце, будто в угоду людям, и оно грело еще сильней.

Ершов про себя поблагодарил Жихарева, который заставил его купить трусы, уверяя, что летом в городе никто не ходит в кальсонах. Без трусов на пляже нельзя. И все же ему стало как-то неловко и стыдно, когда он разделся и увидел свои бледные ноги и руки, тоже белые до кистей. В Даниловке ему некогда было загорать. Раздевшись, он лег вниз животом, подставив спину солнечному теплу. Было очень хорошо, приятно. Невольно подумалось: «Чем проводить целые часы в прокуренном и пропахшем вином «Маяке», разве не лучше было бы приходить сюда? Погрелись бы, поговорили... и домой, а там — за работу!»

— Привет Ершову! — услышал он сбоку. Повернулся — Лубков. Коренастый, широкогрудый, в черных длинных, почти до колен, трусах, с легким загаром всего мускулистого тела.— Я давно вас заметил... да и невозможно не заметить! Что-то вы долго не появлялись на нашем горизонте,— говорил Лубков глуховатым голосом, подходя и подавая Ершову свою сильную теплую руку.

Ершов обрадованно заулыбался: видеть Лубкова ему было приятно.

— На каком горизонте, Марк Герасимович? — спросил он, пожимая пальцы Лубкова и пытаясь встать.

— Лежите, лежите! — приказал Лубков, устраиваясь рядом.— На литературном, конечно! — пояснил он.— Даже сти-

хи посылаете в редакцию через Жихарева. Надо поближе к Союзу писателей, к альманаху.

— Так я же не член союза,— сказал Ершов, не переставая улыбаться.

Лубков нахмурил свои черные лохматые брови.

— А при чем тут членство? В союз и в альманах может приходить любой...

— Да все некогда и не с чем,— смущенно проговорил Ершов.

— Не верю, что некогда и не с чем. Ну, хотя бы те же стихи, что мы приняли к печати... почему не сами принесли?

— Думал, они плохие,— откровенно признался Ершов.— И не собирался их предлагать редакции... Георгий сам, без моего ведома. Поначалу я рассердился и потребовал, чтобы он взял их обратно, а он говорит, что вы будто уже в набор сдали... и убедил. Но мне все же казалось, что стихи так себе.

— Нет, почему же! Хорошие,— сказал Лубков, срывая стебелек дикой тимофеевки и кончик его кладя в рот.— Напрасно скромничаете. Ничуть не хуже тех, что мы печатали в предыдущем номере. И даже, пожалуй, получше. Отделанней!

5

В город Ершов возвращался вместе с Лубковым. Он предложил было ехать трамваем, полагая, что Лубкову трудновато будет подниматься в гору, но тот наотрез отказался, заявив, что любит ходить пешком.

— Дождь если и пойдет, то не скоро, а может, и вовсе его не будет.

Но в природе была такая тишина, какая обычно бывает перед грозой. Деревья стояли как завороженные, и листья на них как бы замерли. Воробьи барахтались в пыли. Ласточки мелькали низко, почти касаясь земли. И дышать было трудно от духоты. Люди медленно брели, словно полусонные, вытирая на ходу потные лица, шеи. Какие-то прелые запахи струились из некоторых дворов. У ворот одного небольшого одноэтажного домишка сидел на лавочке длиннобородый седой старик со взлохмаченной головой без фуражки. Покосившись на идущих, он громко и протяжно зевнул, перекрестив рот:

— Ох, господи! Хоть бы дождичек пошел!

Все время, с тех пор как покинул редакцию, Ершов чувствовал себя не в своей тарелке. Ему было совестно и перед редактором газеты, и перед самим собой, а теперь и перед Лубковым.

«Я не оправдываю надежд обоих редакторов. Я веду себя по-свински, безобразно, особенно в последние дни. А ведь ко мне так дружески, так тепло и благожелательно все отнеслись и в Союзе писателей, и в газете, а обком партии помог мне переехать в город... назначил работать в редакцию... А я? Чем я занимался? Даже домой не нашел времени съездить... Нет! Хватит! Начну жить по-другому. Сегодня вечерним поездом — в Даниловку. Привезу Наташу с дочкой. Будем жить пока в номере!» — так думал Ершов, шагая рядом с Лубковым.

— Вы чем-то расстроены? — спросил вдруг Лубков.

— Нет, ничего,— невнятно пробормотал Ершов.

— Какое там ничего! Вижу, вижу! Кто вас расстроил?

«Наверное, Федор Федорович рассказал ему все»,— подумал Ершов и после некоторого колебания решил быть откровенным. Он рассказал Лубкову, как Жихарев привез его в город, как они пили на вокзале, как потом стали пить чуть не каждый день в погребках и ресторанах, в номере, или в компании, или вдвоем. Не скрыл и сегодняшнюю беседу у редактора газеты.

Выслушав его, Лубков грустным тоном сказал:

— Прискорбно, что так получилось! Но вина тут не только ваша, но и наша, в частности и моя и Реброва.

— Помилуйте, Марк Герасимович! При чем же вы и товарищ Ребров?

— Мы руководители. Должны были подумать, поинтересоваться, как вы живете, как устроились, что поделываете. А мы того... запамятовали! Ну ничего! Пока еще не поздно... тем более что вы и сами осознали опасность. И первое, что вам надо сделать,— это действительно от Жихарева оторваться. Вы с ним все-таки разные. Он весь какой-то странный... все у него от рассудка, и стихи рационалистичны. Правда, они технически часто выглядят вполне удовлетворительно... но в них нет той простоты, естественности, что чувствуется в каждом вашем стихотворении, хотя и в нем есть искорка таланта. Но лишь искорка, и маленькая, тогда как вы по-настоящему талантливы... если, разумеется, судить по тем стихам, которые я знаю.

Ершов угрюмо возразил:

— Вы меня извините, Марк Герасимович, но насчет

таланта я не согласен с вами. Что такое талант? Почему я сам не чувствую его? Мне и Жихарев уши прожужжал, что я — талант. Но должен же я сам хоть чуть ощутить этот дар природы или не должен? Взять Жихарева того же. Вы говорите — искорка, а он убежден, что гениален. И несколько раз не шутя говорил мне об этом. Стало быть, он сам чувствует в себе силу, гениальность.

— Неужели сам так и говорит, что он гениален? И не в шутку, а всерьез?

— Зачем же я стал бы выдумывать такое? — сказал Ершов.— Тут дело в том, что, когда он так говорит, я тоже начинаю думать, что в нем что-то есть.

Лубков покачал головой и негромко засмеялся:

— Ах он хитрец! А со мной ведет себя более чем скромно. Гм... гений областного масштаба! Впрочем, вопрос не простой. Парню нет еще и тридцати. Чем черт не шутит — возьмет да и развернется годам к сорока! Раздует искру таланта! Уитмен после тридцати лет проявил себя во всем блеске. А потом и то надо сказать: один чувствует свою гениальность, другой не чувствует. Взять Пушкина и Маяковского... Они тоже чувствовали... Но вопрос — как? Одно дело чувствовать, другое — хвастаться, походя выставлять себя перед другими... По-моему, всякому гению присуща смелость в делах и скромность в личной жизни. Но может быть и наоборот. Не в том суть, дорогой Ершов! Гений, талант, дарование — все это подчас неуловимо и различимо. Важно все же не то, что человек чувствует и что думает сам о себе, важно, чтобы он самоотверженно трудился на избранном поприще... И труд свой любил... до самозабвения. Тогда обязательно будет толк, если даже он не особенно талантлив. Но без труда талант — почти ничто, красивая вспышка, фейерверк! Блеснет — и нет его! Горький где-то сказал, что, возможно, талант и есть любовь к труду. В самом деле, талантливый лентяй кому нужен и на что нужен? Да и нельзя представить лентяя талантливым. Талант мы узнаем прежде всего по делам. И вот еще что мне хочется сказать вам: кроме таланта и способности к труду необходима еще вера в себя, уверенность, что делаешь что-то нужное для своего класса, для народа. Только тот, кто одержим такой уверенностью, оказывается способным на большие дела, даже в случае, если уверенность не всегда совпадает с реальным положением вещей. Лев Толстой говорил: нужна энергия заблуждения. И сам он был убежден, что от его писаний зависит судьба всего человечества. Вот и нам с вами нужно бы выработать подобную

уверенность в полезности своих писаний! Тогда со временем вы, безусловно, достигнете больших успехов, тогда все ваши природные задатки (а они у вас налицо) развернулись бы и расцвели пышным цветом. Все это я говорю вам потому, что еще при первом знакомстве меня встревожила ваша неуверенность в себе, в своих силах и способностях. С неуверенностью в себе надо бороться самым решительным образом, ибо она ведет к потере энергии, характера, к пассивности, к утрате интереса в деле и в жизни, к поискам утешения в наркотиках, будь то водка, гашиш, сладострастие, наконец, религия — это почти все равно. Беда в том, что нередко пассивностью заболевают люди способные. Конечно, плыть по течению легче, нежели делать какие-то усилия... Очень заманчиво также искушение сказать себе: «Я — простой смертный, никаких особых данных у меня нет, а поэтому подите вы все подальше и не ждите от меня ничего выдающегося». Такое настроение, пожалуй, хуже даже того, когда человек явно себя переоценивает. Возьмите, например, Жихарева. Он, безусловно, преувеличивает свои способности. Но у него уже одна книга стихов издана и вторая готовится. Вы способней его, и стихи ваши лучше. А у вас книги пока нет. Между тем, будь вы менее скромны, вернее, более уверены в своем таланте, вы могли бы давно иметь ее, и она приносила бы немалую пользу народу. Но, повторяю, это ваша беда, а не вина, беда, происходящая от ложного понимания некоторых вещей. Запомните: простых смертных среди нормальных людей нет или их очень мало. Почти в каждом есть к чему-нибудь талант, способность что-либо делать с особенным увлечением, с азартом. Почти в каждом нормальном человеке есть Прометеев огонь, и потому каждый не прост. Огонь этот мы обязаны не угашать в себе сомнениями, неуверенностью, недостойными гомо сапиенса пороками, вроде пьянства, разврата, а всячески раздувать его, чтобы горел человек ради блага общества на весь запас отпущенного ему природой горючего, а не чадил и не дымил, как сырая осиновая головешка. Мы даже и представить не можем, что было бы на земле, если бы в каждом раздуть как следует этот огонь! Какой получился бы расцвет способностей, талантов в хозяйстве, в науке, в искусстве, в литературе. Во всем! В старом обществе, которое держалось, а за рубежом держится и поныне, на угнетении народа, такой расцвет просто немыслим и нежелателен для правящих классов. Там расцвет личности заранее предполагает и означает подавление и убожество многих. У нас, при социализме, когда эксплуатация человека

человеком уничтожена,— такой расцвет не только возможен, но неизбежен. Об этом очень хорошо писал еще Владимир Ильич Ленин. И недалеко уже то время, когда расцвет способностей среди массы людей труда станет реальностью, повседневностью. К сожалению. пока не все мы еще понимаем возможности, предоставленные нам Советской властью, социализмом, и не все ценим эти возможности. Взять то же литературное дело. Мы имеем не только в столицах, но и во многих краевых и областных городах Союзы писателей, печатные органы, субсидируемые государством. В некоторых буржуазных странах начинающий сам платит, чтобы напечататься на первых порах своей литературной деятельности. У нас же установлен приличный гонорар для всех, в том числе и для начинающих. Казалось бы, только жить, да трудиться, да совершенствовать свои способности, свое мастерство. А между тем в нашем городе некоторые бездельничают, не учатся, пишут от случая к случаю, импровизируют, а не работают, и потому в большинстве все ими созданное слабо и посредственно. Отсюда — неудачи в жизни, нужда, стремление «подработать» какой-нибудь халтурой, тяга к забвению. Вот на какой почве вырастают мухоморы богемщины, пьянства, «веселого» бездумья. Все это, конечно, пережитки. Но тем хуже. И особенно печально, что ими одержимы бывают иногда и талантливые люди. А самое важное, чего нам всем недостает,— это ясного понимания одной очень простой вещи: талант, способность — не личное достояние, они от народа и для народа. И они не столько дают пра́ва, сколько налагают на человека большие обязанности и большую ответственность и за себя, и за дело, за которое ты взялся.

Лубков и Ершов теперь шли посреди булыжной мостовой. Улица была узкой, похожей на канаву, на берегах которой по обеим сторонам стояли одноэтажные домики с калитками, с красными, зелеными, синими ставнями на маленьких окнах. На некоторых калитках надписи: «Осторожно! Во дворе злая собака!»

Это была старинная часть города, внешне почти не тронутая новым временем, и можно было подумать, что идешь по улице захолустного мещанского городишка старой России. Однако ни Лубков, ни Ершов не замечали ни домишек, ни надписей на калитках, ни даже садов и палисадников, заросших яблонями, грушами, вишнями, акациями, чистый и приятный дух которых боролся с тлетворными запахами помойных ям и клозетов, находившихся во дворах.

Оба были увлечены разговором. И слова Лубкова производили на Ершова невероятно сильное впечатление. Может, потому, что до сих пор так горячо и убежденно никто не беседовал с ним о литературе, о назначении писателя, о таланте, о труде, об ответственности всякого взявшегося за перо перед народом. И, слушая, он снова и снова мысленно давал себе клятву круто изменить свою жизнь, учиться, читать, работать до исступления, до упаду, не щадя сил своих. И как можно больше писать! Ни одна минута не пропадет у него теперь даром! «Привезу Наташу, Катюшу... составлю план... И Наташу втяну в учебу!»

---

# ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

## 1

Наступал уже вечер, когда, проводив Лубкова и с полчаса побродив по переулкам, Ершов подходил к гостинице. Грозовая туча так и не дошла до города, хотя солнце закрыла задолго до захода. На северо-западе, где-то очень далеко, изредка погромыхивал гром, еле слышный в шуме улицы. В окнах домов вспыхивали огни. Но уличные фонари еще не зажигались. В окне номера гостиницы, где жил Ершов, сиял яркий свет. Что такое? Либо Жихарев дома? Ладно, пусть! Надо полагать, выпивка уже состоялась, и теперь Георгий, наверно, спит нераздетый, а свет он никогда не выключает, если ложится, может беспробудно спать прямо под лампочкой.

Дверь в номер не заперта. Ершов потихоньку вошел. Жихарев сидел за столом боком к двери и разговаривал по телефону. По жестам и голосу его Ершов с удивлением догадался, что он совершенно трезв.

— Марк Герасимович, очень прошу! — почтительно-задушевным тоном говорил Жихарев, прижав трубку к уху, а согнутой ладонью надставляя ее снизу, чтобы его лучше было слышно.— Без вас никак невозможно. Вы — мой крестный в литературе... Первый печатали мои незрелые вирши. Ну хотя бы на полчасика. Ничего не поздно, завтра же выходной. Отдохнете. Обязательно с супругой приходите. Все ждут. Я не только от себя. Кто есть? Рославлев, Теплов, Лисовский,

Юшков... и Ребров обещал. Днем звонил не однажды, но вас не было. Ершов? — Жихарев, мельком взглянув на стоявшего у порога Ершова, заулыбался.— Да, да! Прибыл! Ну конечно же будет, как же иначе! Мы с ним друзья, можно сказать, до гроба. Значит, придете? Благодарю. Без жены? Жаль. Ждем! — Жихарев повесил трубку.— Ты что же это, Алеша? — сердито сказал он, круто повернувшись к двери.— Нельзя же так подводить! Куда ты девался? Я обегал весь город. А Марк Герасимович говорит: «В таком случае и я приду!» То есть если будешь ты. Видал, как твой престиж поднимается! Редактор альманаха на тебя равнение держит.

Ершов медленно, словно ему приходилось с трудом отрывать ноги от пола, прошел к своей кровати, сел на нее.

— В чем дело? Для чего я тебе понадобился? — сухо спросил он.

— Я же тебе с утра говорил.

— Насчет обмывки гонорара? Не выйдет. Довольно. Больше я в таких делах не помощник. Берусь за работу. Так жить, как мы с тобой живем, нельзя. Сегодня выпили, завтра похмелились, а дни летят. Разве я за этим сюда приехал?

Ершов неторопливо стянул с ног желтые полуботинки и ленивым жестом швырнул их под кровать, затем снял с головы кепку и осторожно положил ее на стол. На лице его было выражение не то раздумья, не то равнодушия ко всему на свете.

— Да ты погоди, зачем разулся? — громко вскрикнул Жихарев.— Чего в бутылку лезешь? Какая муха тебя укусила? Почему такой резкий поворот на сто восемьдесят градусов?

— Потому что пьянство — это свинство! — Ершов угрюмо посмотрел на Жихарева.— Да, да! Свинство и безобразие! Граничащее с преступлением! — раздельно произнес он.— И если ты задался целью превратить меня в такого же алкоголика, каким стал сам, то и это свинство с твоей стороны. Но совершенно напрасно! Ничего у тебя не выйдет, не на такого напал! — Ершов всунул ноги в серые войлочные туфли и, взяв со стола томик Пушкина, не спеша, вразвалку направился к двери, на ходу бормоча: — Пей сам, сколько тебе влезет, но от меня отвяжись.

Жихарев забежал вперед, загородил ему дорогу:

— Постой, постой! Объяснись!

Ершов остановился, сердито и пристально глядя на него, сдержанно проговорил:

— Ладно! Можно и объясниться, если тебе не все еще понятно. Дело, видишь ли, в том, что надоел ты мне хуже горькой редьки со своими выпивками... и вообще надоел! А потому — катись куда подальше, а меня оставь в покое! Теперь понятно?

— То есть как в покое? — растерянно пробормотал Жихарев.

— А так! Хочу привезти семью... жену, дочку. Хочу жить, как живут порядочные, нормальные люди, а не как некоторые... женятся, обзаводятся детьми, потом покидают жену и ребенка ради сомнительных удовольствий с сомнительными особами.

В огород Жихарева был запущен увесистый булыжник. Но Жихарев совершенно спокойно и даже с некоторым удивлением миролюбиво спросил:

— Ты выгоняешь меня из номера, так надо понимать? Благодарю, не ожидал! Впрочем, ты, наверно, шутишь, Алеша?

— Какие могут быть шутки! — криво усмехнувшись, возразил Ершов и отвел глаза в сторону, пытаясь в то же время обойти Жихарева. Но тот не пропускал его.

— Здóрово! Выгоняешь из номера, который получил благодаря моим хлопотам.

— За хлопоты спасибо,— угрюмо пробубнил Ершов.

— Что за чепуха, Алеша? Какой-то новой стороной ты ко мне поворачиваешься. Говорил бы ты все это спьяну — куда ни шло! Но трезвый? Что случилось? Ведь еще сегодня утром ты был такой славный... и вдруг? Может, узнал что-либо обо мне? Говори! Откуда и почему такой непримиримый тон? Кто тебя настроил против меня?

Они стояли посреди номера друг перед другом, словно боксеры или борцы, готовые к схватке.

— Никто меня не настраивал,— сказал раздраженно Ершов.

— Значит, своим умом дошел? — В голосе Жихарева прозвучала откровенная ирония.

— Своим,— серьезно ответил Ершов.

— Ну и прекрасно! Ты делаешь успехи! Стало быть, решил вести трезвый и добропорядочный образ жизни? Приветствую! И поздравляю! Но зачем и к чему такая неприязнь ко мне, твоему единственному другу в этом шумном Вавилоне?

— А затем и потому, что ты главный закоперщик,— жестко проговорил Ершов.— Если бы не ты, я бы и капли в

рот не брал никогда! А ты прилип ко мне, словно банный лист... И все время и втягиваешь, и втягиваешь...

— Любопытно, как же это банный лист может втягивать? — Жихарев насмешливо скривил губы.— Этакого-то верзилу! Ты вот что, вернись, остынь. И давай поговорим спокойно.— Он решительно взял Ершова под руку и, подведя к дивану, накрытому белым чехлом, насильно усадил его и сам сел рядом.— Если у тебя есть что-либо дельное против меня — говори! — продолжал Жихарев.— И говори прямо, без всяких обиняков и намеков. Мешаю тебе, потому что хочешь привезти жену и девочку? Пожалуйста! Завтра Жихарев исчезнет аки дым. Я ведь живу тут не почему-либо... Просто приятно жить с тобой, видеться каждый день, разговаривать и тому подобное. Необходим ты мне, вот что! Симпатичный, умный, талантливый, оригинальный. И поэт... Настоящий поэт. Понимаешь? Душевно необходим! — подчеркнул Жихарев, приложив к груди обе ладони, и лицо его сделалось печальным и скорбным.— Думаешь, такое простое дело — разойтись с женой, от которой у тебя есть сын... и ты любишь его больше всех жен на свете. А ты вон что! «Сомнительные удовольствия с сомнительными особами!» Разве в особах дело? И вообще ты задумывался, почему я пью? «Задался целью превратить меня в алкоголика!» Для чего же такая цель? Эх ты! Как можно этак думать о человеке, который, кроме добра, ничего тебе не делал и не желал никогда? Который, можно сказать, полюбил тебя? И наконец, неужели ты думаешь, что меня не волновал вопрос, как мы с тобой живем в последнее время? Тут у нас разногласий не предвидится. Мне тоже такая сумбурная жизнь не по душе... И на днях мы сообща покончим с нею. Действительно, пора за ум взяться. Но сегодня ты должен. Непременно и обязательно! Ужин я устраиваю,— тоном, не допускающим возражений, заключил Жихарев.

— Какой такой ужин? — угрюмо спросил Ершов.

— День рождения отмечаю. Двадцать восемь стукнуло.

— Ты всегда находишь какой-либо благовидный предлог: мы ни разу не пили без повода и причины.— Ершов сердито сдвинул свои белесые брови, по лицу его прошла тень раздражения.— Вот и теперь придумал. Почему же утром прямо не сказал? Почему заранее не пригласил того же Лубкова? И почему сейчас не сказал ему, что у тебя такой день?

— Да потому, что, если сказать,— начнут соображать, что купить, где купить да какой подарок. А мне подарки не

нужны... я бездомный пес. Куда их девать? Да и вообще, зачем они? Зачем людей вводить в расход? Это во-первых. Во-вторых, утром я еще и не уверен был, получу ли гонорар. А без него и гостей не на что было бы звать. Когда же получил — хватился, тебя уж нет. Ты почему-то тайком улизнул. И я пригласил, кого успел. И Реброва с Лубковым тоже не оказалось дома. Те же, кого нашел, уже сидят в отдельном кабинете и ждут нас с тобой. И если ты, не скажу — друг, а просто хороший товарищ, то сейчас же пойдешь со мной туда. Об остальном дотолкуемся после.

— А день рождения — не очередная выдумка? — недоверчиво глядя на приятеля, спросил Ершов, видимо начинавший колебаться.

— Алеша! — добродушно улыбаясь и хлопая Ершова по плечу, вскричал Жихарев.— Ты меня удивляешь! Разве я тебе когда-нибудь врал? С тобой всегда предельно откровенен! Не понимаю, откуда такое недоверие! Вот смотри! — Он встал, быстро подошел к столу, вынул из ящика метрическое свидетельство и, вернувшись, протянул Ершову.— До какого унижения ты меня доводишь — документы приходится показывать.— Жихарев с притворным сокрушением покачал головой.— Только по дружбе прощаю. Читай: год рождения 1913, месяц июнь, 8-е число... это по старому стилю. А по новому как раз сегодня! Видишь, в одном месяце с Пушкиным родился... Что-нибудь да значит!

— По старому стилю Пушкин родился в мае,— строго возразил Ершов, как будто рождение в одном месяце с Пушкиным в самом деле имело какое-либо значение, и заглянул в метрику.— Верно! — проговорил он.— А я и не знал, когда ты родился.

Жихарев засмеялся:

— Не было повода сказать тебе... Ну вот теперь знаешь! И пошли, милый Алешенька, пошли! Люди ждут. Неудобно. Я сказал, что скоро приду, и вот минут двадцать точу с тобой балясы.

Ершов медленно поднялся с дивана, вяло промолвил:

— Хорошо. Коли день рождения — пойду. Но предупреждаю: это в последний раз.

## 2

Большая, просторная комната с картинами на стенах. Люстры под потолком. За сдвинутыми вплотную несколькими столами более двух десятков мужчин и женщин, одетых

по-праздничному. На белоснежных скатертях — бутылки вин, тарелки с заливной осетриной, тонко нарезанной бужениной, ломтиками сыра, колбасы. И все стояло нетронутым. Слышался легкий гул разговоров. Войдя, Жихарев громко возгласил:

— Еще одного поймал! Ершов Алексей Васильевич! Мой друг, прошу любить и жаловать. Товарищ Ребров и Лубков — в пути. Придется еще немного подождать.

— Подождем! — отозвался Юшков.— Что ни говори, а руководящие товарищи. Без них — нельзя. Без руководства мы тут пропадем!

Подталкиваемый Жихаревым, Ершов начал здороваться с гостями за руку. Из мужчин многие были ему известны, среди женщин знакомыми оказались только студентки Варя и Ольга. За столом сидел и Стебалов, с которым он никак не ожидал тут встретиться, и потому смутился. Стебалов, очевидно, заметил это и тихо пробубнил:

— Ничего, Алеша! Не стесняйся. Дело-то понятное и привычное! — И указал на свободный стул, подморгнув заговорщически: — Седай рядком, поговорим ладком.

Скоро прибыли Ребров с Лубковым. Они тоже со всеми поздоровались за руку. Усадив их на заранее предназначенные места, Жихарев подал знак Лисовскому. Тот поднялся и, окинув столы плотоядным взглядом своих серых с желтоватыми белками глаз, предложил наполнить бокалы. В наступившей тишине деловито забулькало вино. Когда бульканье замолкло, Лисовский по-ораторски, словно тут было официальное собрание, обратился к гостям с речью.

— Товарищи! — произнес он повышенным голосом.— Нашему молодому уважаемому поэту Георгию Георгиевичу Жихареву сегодня исполнилось двадцать восемь лет, о чем он скромно умолчал, приглашая нас на этот ужин. Но я-то знаю, потому что редактировал и первую книжку его стихов, и редактирую вторую, которая на днях сдана в производство, и знаком с его биографией.— Теперь многие не без удивления посмотрели на Жихарева. Выдержав небольшую паузу, словно бы дав возможность повнимательней разглядеть виновника торжества и как следует осмыслить происходящее, Лисовский с важным видом деловито продолжал: — Давайте же поздравим его и пожелаем ему здоровья, счастья и больших творческих успехов. Что касается долголетия, то о нем Георгию Георгиевичу при его физической и творческой юности и свежести и думать не приходится! Ему «лет до ста расти без старости»!

Товарищи! Я полагаю, все знакомы с прекрасными, многообещающими поэтическими произведениями Георгия Георгиевича и нет нужды здесь распространяться о том, что в его лице наша общественность видит талантливого поэта, которого хорошо знает и любит наш читатель. Стихотворения Георгия Георгиевича печатались не только в областных изданиях, а и в столичных. Его книжка «Зори вечерние», изданная нашим издательством, без преувеличения можно сказать, является приятным и знаменательным событием как в областном, так и во всесоюзном масштабе. Побольше бы таких чудесных книжек! Творите на благо трудящихся, дорогой Георгий Георгиевич, на благо советской литературы.

Раздались шумные аплодисменты. Похлопав вдосталь вместе со всеми, Ершов положил себе кусок заливной осетрины и стал есть, поглядывая искоса на Жихарева и дивясь, какое смирение, какую скромность тот напустил на себя, как неторопливо отпил немного, словно бы дегустируя вино, потом медленно опорожнил до дна и красивым жестом опустил бокал на стол. Сам Ершов не прикоснулся к своей рюмке. Минуту спустя, показав на нее кончиком ножа, Жихарев нагнулся над столом и полушепотом спросил:

— Что сие значит, Алеша?

— Пить я не буду! — небрежно и тоже полушепотом ответил Ершов.

— Ну, это же черт знает что! — Жихарев возмущенно вздернул плечи.— Почему?

— Не могу,— сказал Ершов.

— Вчера мог, а сегодня не можешь?

— А сегодня не могу.

Они разговаривали теперь уже громко, и на них начали обращать внимание. Тогда Жихарев встал, подошел к Ершову сзади и положил ему на плечи свои крупные пухловатые, мягкие руки.

— В чем дело, Алексей? — наклонившись, приглушенным голосом, чтобы его не было слышно, вкрадчиво-ласково заговорил он.— Ты за что-то на меня сердишься?

— При чем тут «сердишься»? — холодно возразил Ершов.— Просто я с сегодняшнего дня решил бросить.

— А ты реши не пить с завтрашнего, а сегодня выпей за мое здоровье, за нашу с тобой дружбу.

Ершов отрицательно покачал головой:

— Нет!

— И за дружбу не желаешь?

Стебалов, слышавший их разговор, толкнул Ершова в бок.

— День рождения ведь! — примирительно молвил он.— Ради такого случая можно. И редактор не осудит за это.

«Значит, Александру Степановичу известно о беседе со мной Федора Федоровича!» — догадался Ершов, и потому замечание заведующего отделом обидело его. Что, в самом деле, маленький он, что ли! Захочет — будет пить, не захочет — не будет, и никакому редактору нет до этого никакого дела.

Жихарев, видя, что друг уговорам не поддается, недовольно процедил:

— Что же! Вольному — воля, спасенному — рай! Но это... нехорошо с твоей стороны... неуважение. Ты все настроение мне испортил, Алексей!

И, помрачневший, вернулся на свое место.

Тогда Ершова начал уговаривать Ребров, сидевший слева.

— Рюмочку надо пропустить,— бурчал он.— Это же действительно неуважение. Ты же славный, добрый, Алеша! Я слыхал о тебе... Ну что тебе стоит одну рюмку выпить за дружбу? А у парня настроение поднимется.

— Ладно! — сдался Ершов и, взяв наполненную рюмку, слегка приподнял ее.— За твое здоровье и за творческие успехи! — обратился он к Жихареву.

Георгий обрадованно заулыбался и тотчас налил себе вина. И они оба, чокнувшись, выпили.

За столом между тем становилось все шумней. Лисовский подал команду наливать и пить без всяких тостов и приглашений, что некоторых, кажется, вполне устраивало. Батарея пустых бутылок стала быстро увеличиваться.

Ершов больше не пил, невзирая на то что и Стебалов и Ребров не однажды порывались налить ему и что самого его все время подмывало напиться вдребезги «напоследок», а с завтрашнего дня начать уже новую, совершенно трезвую жизнь. И потому перевернул рюмку вверх дном, после чего никто уже не приставал к нему, и он сидел вполне трезвый среди постепенно пьянеющих. И было странно и даже смешно наблюдать захмелевших с их оживленными лицами и нечетко выговариваемыми сумбурными словами, с развязными, но расслабленными, неверными жестами, с их блаженными, в сущности, глуповатыми улыбками.

«Нет, кончено! — думал Ершов.— До чего же некрасиво смотреть со стороны на пьяного человека! Ведь и я, наверно, таким бывал! Ни сегодня, ни завтра, никогда больше — ни

капли! Зачем? Разве плохо быть трезвым, все ясно видеть вокруг себя, все понимать как надо!»

В то же время его не покидала мысль: с какой целью Жихарев устроил этот Валтасаров пир?

И Ершов стал прислушиваться, о чем Жихарев разговаривает с секретарем отделения Союза писателей Ребровым. Оказывается, Ребров рассказывал о своей недавней поездке в Москву.

— Показывал твою книжку,— вполголоса говорил Ребров, с благожелательной улыбкой глядя на Жихарева своими узкими глазами, зеленоватыми, как морская вода.— Стихи твои особенно понравились Володе Ставскому... Так что почва подготовлена, подавай заявление. Насчет нашей организации можешь не сомневаться, тебя уважают, и большинство видит в тебе настоящего поэта.

В порыве благодарности Жихарев вдруг обеими руками бережно взял голову Реброва, начинавшую с затылка лысеть, и с повлажневшими глазами прильнул к его лбу.

И тогда Ершову стало ясно: Валтасаров пир ради Реброва прежде всего и устроен. Впрочем, и остальные позваны не зря: надо всех расположить в свою пользу, чтобы возможно верней и легче пройти на общем собрании. И чудно! На этот раз у Ершова не нашлось слов осудить поступок Жихарева. «Прослезился даже от радости! Что же! Вступление в союз — не шуточное дело. Случись такое со мной, наверно, и я расчувствовался бы. Но со мной такое ежели и будет, то не скоро! Да и не таким путем я буду вступать в Союз писателей!»

## 3

Постепенно нарастал бестолковый гул разговоров, затрагивавших самые серьезные вопросы литературы, политики, жизни. Так, сидевший по другую сторону рядом с Лубковым Андрей Травушкин, держа в правой руке нож, а в левой вилку, размахивая ими, доказывал, что программы наших вузов мало уделяют внимания таким писателям, как Бунин, Леонид Андреев, Федор Сологуб, Мережковский, Арцыбашев, Бальмонт, хотя писатели эти — значительные звенья в цепи русской культуры. Оставляя их произведения в тени, мы обедняем духовный мир советских студентов. Травушкин говорил горячо, убежденно. На скулах его выступил лихорадочный румянец. Студентки Варя и Оля не сводили с него востор-

женных глаз. Художник Юшков захлопал в ладоши, выкрикнув:

— Правильно, Андрей!

— Нет, неправильно,— сдержанно и суховато возразил Лубков, насупив свои густые черные брови, и, поднявшись, произнес целую речь против декадентской литературы, и в частности против названных Травушкиным литераторов, выделив среди них лишь Леонида Андреева и особенно Бунина, который, по его мнению, действительно является достойным продолжателем русского критического реализма в своих дореволюционных произведениях. Но закончить Лубкову не дали. Его начал сбивать ядовитыми и обидными репликами Юшков: «Ты хочешь уложить всю русскую литературу в прокрустово ложе партийности! Не выйдет! Литература должна быть свободна, а писатель при любом режиме имеет право писать о чем ему вздумается и как захочется».

Юшкова поддержал Рославлев, громко заметив:

— Напрасные потуги, Лубков. Никому и ничего не докажешь!

Лубков вдруг безнадежно махнул рукой и сел, подумав: «Бесполезно сейчас спорить с ними, они же пьяные. Как-нибудь в другой раз поговорим, когда придут в редакцию альманаха».

Спустя некоторое время он вместе с Ребровым незаметно вышел. За ними последовал и Жихарев.

«Повел руководителей в номер для «специальной беседы»!» — догадался Ершов.

Разговор с литературы перекинулся на политику. Лисовский горячо и взволнованно доказывал, что война, развязанная Гитлером, неминуемо приведет к пролетарской революции во всей Европе. Тогда с войнами раз и навсегда будет покончено. Голос Лисовского звучал уверенно, безапелляционно. Он говорил, как страстный, убежденный в своей правоте трибун. Худощавый, со впалыми щеками писатель, фамилии которого Ершов не знал, перебил Лисовского и начал возражать с не меньшим пафосом и горячностью. Его речь сводилась к тому, что войны не прекратятся до тех пор, пока человечество не поймет, что убийство на войне не менее, а в тысячу раз более ужасно, гнусно, дико, чем обычное, с целью грабежа или из-за ревности. Почему за убийство одного человека судят, а за убийство тысяч и тысяч выдают кресты, ордена и прочие награды? Да потому, что со времен Гомера в сказках, сагах, поэмах прославляются доблесть, мужество.

храбрость воинов. Пора прекратить это безобразие! Пора начать создавать действительно новую литературу, новое искусство, прославляющие доблесть труда, воспевающие мирную жизнь и тех, чьими руками и умом творится прогресс,— героев труда, ученых, врачей, общественных деятелей. И мы, советские писатели, должны показать пример, увлечь за собой писателей всего зе́много шара. Литература — огромная сила, отныне она призвана коренным образом изменить психику и мышление человечества. Тогда будут созданы законы, запрещающие восхвалять полководцев, солдат, тогда в глазах общественного мнения все военные станут обыкновенными преступниками, и то́лько, а не какими-то героями! И никто уже не захочет быть солдатом или генералом, и армии сами собой распадутся, а на земле воцарятся вечный мир, в человецех благоволение! Произведения же прошлого, в которых прославляются доблесть и храбрость военных, чтобы они не сбивали людей с толку, немедленно надо повсеместно предать анафеме и сжечь!

— Начиная с Гомера! — ядовито подсказал кто-то.

— Да, начиная с Гомера! — уверенно и страстно выкрикнул худощавый писатель.

Раздался общий смех, послышались возгласы:

— Жги его!

— Долой его, слепого чудака! Больше двух тысяч лет морочит людям головы!

— Позвольте! — вытянул свою женски маленькую руку Стебалов.— Разрешите слово! Хочу возражать. Товарищ Дарский,— обратился он к худощавому писателю,— вы говорите политически неграмотные вещи. Научить человечество смотреть на войну как на преступление невозможно, пока существует капитализм. Вы проповедуете пацифистские взгляды. Они нам чужды. Надо заменить капитализм социализмом, тогда действительно войны прекратятся. Вот мы, русские, не воюем теперь ни с казахами, ни с таджиками, ни с кавказцами. А ведь не так давно воевали, пока у власти были помещики и капиталисты. Свергли их, и оказалось, что и казах, и таджик, и грузин, словом, все народы — братья! И воевать нам незачем и не за что.

— Еще один шибко партейный,— съязвил Юшков.

Стебалов воинственно выпрямился и тряхнул головой.

— Да, партийный! — запальчиво крикнул он, срываясь на фальцет.— Откуда и почему у тебя такое отношение к партийным? Почему, например, ты мешал говорить товарищу Лубкову совершенно правильные, бесспорные вещи? Ведь

твои реплики обидны для Лубкова, который всем известен как хороший, политически подкованный, выдержанный коммунист? Что все это значит? Я правду скажу, товарищи: не пойму, куда я попал — в среду советских писателей или богемствующих декадентов? — И Стебалов недоуменно развел свои короткие руки.

— Он оскорбляет нас! — яростно закричал Юшков.— Защитник какой нашелся! Я не люблю правоверных.

Лицо Юшкова побагровело, в уголках губ выступила пена. Сидевшие рядом с ним Лисовский и Рославлев начали уговаривать его.

— Леонтий, не кричи! Чего шумишь! — урезонивал его Лисовский.— В споре надо соблюдать тактичность.

— Не могу молчать! — еще громче возмущался Юшков.— Меня тут врагом народа скоро объявят. Вишь, что он говорит: «Не пойму, куда попал». А здесь советские писатели, советские люди. Он не имеет права так говорить! Я ему морду набью за такие слова! — не унимался Юшков, пытаясь вырваться из рук державших его Рославлева и Лисовского.

Стебалов молчал, сердито глядя на беснующегося Юшкова.

Ершов примирительно проговорил:

— Не обращайте внимания, Александр Степаныч! Товарищ Юшков просто немного перехватил... он всегда скандалит, когда перепьет лишнего.

— Нет, это не простой скандал,— возразил Стебалов.— Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке!

Юшкова наконец успокоили.

Стебалов вдруг встал.

— Мне пора, Алеша! Проводи, пожалуйста,— негромко сказал он.— Не могу я тут сидеть, слушать всякую чертовщину.

4

Стебалов тоже был нетрезв, и Ершов, следуя за ним, видел, как он слегка пошатывался. Но самое ужасное и смешное было в том, что только теперь Ершов заметил на своих ногах войлочные туфли-шлепанцы. Второпях и за спором с Жихаревым забыл переобуться! Казалось, все смотрят на его ноги. Страшно неловко, впору хоть побежать, чтобы скорее скрыться с глаз. Успокоился, лишь когда вышли в коридор.

— Зайдемте, пожалуйста, в наш номер: неудобно идти по городу в этой обувке,— попросил Ершов Стебалова, чуть приподняв ногу.

— Ничего,— сказал Стебалов.— Какое кому дело до твоих шлепанцев.

— И как я забыл переобуться! — сокрушался Ершов.— Наверно, все заметили, смеяться будут.

— Можешь быть спокоен, никто не обратил внимания, и я тоже, если бы ты сам не сказал,— утешил его Стебалов.— И вообще, Алеша, что такое туфли? Ерунда! Не переживай. Проводи меня, я малость подвыпивши сегодня... и потому хочу с тобой поговорить. Трезвый не решусь, а сейчас вполне могу сказать все, что надо... что думаю. А на туфли твои и на улице никто смотреть не станет. Пошли!

На улице Стебалов, хмыкнув, добродушно сказал:

— А здорово тебя редактор пропесочил сегодня, аж ты сразу пить бросил.

Он шел, игриво пошаркивая подошвами по асфальту тротуара, выбрасывая короткие ноги вперед.

— Ни при чем редактор! — отозвался Ершов мрачновато.— Сам понял, что пора остановиться.

— Сам? — Стебалов слегка отстранился и недоверчиво посмотрел на Ершова.— Возможно, возможно! — И, немного помолчав, тихим и каким-то ласково-задушевным голосом продолжал: — Ты просто замечательный человеческий экземпляр. И сам, наверно, не подозреваешь, какой ты милый и славный! Хорошо, что я тебя увел вовремя. Там ведь скоро до танцев дойдет. Что ты тогда делал бы в своих войлочных шлепанцах?

— А я не танцую,— серьезно ответил Ершов.

— Зря. Поэт должен танцевать. Пушкин, Лермонтов умели. А между прочим, поэт ты настоящий, и случай с туфлями — лишнее доказательство тому,— с какой-то необычайной веселостью говорил Стебалов.— Все-таки, наверно, истинный поэт — существо особенное, со всякими странностями. Жихарев, например, не мог бы пойти на такой ужин в домашних туфлях.

Ершов стал горячо защищать друга, доказывать, что Жихарев именно настоящий, культурный поэт.

Стебалов перебил его:

— Ну ладно, ладно! Понимаю: не хочешь давать товарища в обиду! Тогда довольно о Жихареве, поговорим о тебе. Но для этого нам надо уединиться. Пойдем в сквер.

Несмотря на то что шел уже двенадцатый час ночи, на

улицах было еще порядочно народу, преимущественно молодежи. Слышались разговоры, шутки, смех, шуршание подошв, похожее на легкий шум морской волны. Ярко сияли фонари. И было очень тепло.

Ершову вспомнилась Даниловка. Там нет фонарей и вечерние гулянья проходят в потемках. Но зато какие там пляски, какие хороводы! А звонкие девичьи голоса! Как все это далеко. И ему стало грустно. И зачем он остался на этом дурацком ужине? Надо было идти на вокзал и ехать в Даниловку с первым попутным поездом.

В сквере они нашли свободную скамейку, сели, закурили. Рядом стоял столб с двумя круглыми светящимися плафонами. Стебалов спросил:

— Не догадываешься, кто настроил редактора пробрать тебя за пристрастие к спиртному?

— Нет,— ответил Ершов.— Да и неважно, кто настроил.

— Очень даже важно.— Стебалов дружески положил свою маленькую горячую руку на плечо Ершова.— Тебе надо это знать. Так и быть, скажу. Ты не рассердишься на того человека? — И, не дожидаясь ответа, доверительно сообщил: — Я, братец, я редактора науськал на тебя.

— Вы? — Ершов невольно высвободился из-под руки Стебалова, удивленно посмотрел на него.— Не может быть! Не поверю. Разыгрываете! Зачем вам?

— Вот именно: зачем? Подло? До известной степени, конечно! — Стебалов криво усмехнулся, качнул своим смоляным чубом (он был без фуражки).— Но имей в виду: с благими намерениями, а главное — не по своей инициативе... меня тоже натравили на тебя.

— Кто же это? — заинтересовался уже теперь Ершов, подумав: «Не из сотрудников ли газеты кто-либо?»

— Орлову знаешь?

— Такой не знаю.

— Ольгой звать. Ну, та, что недалеко от Травушкина сидела.

— Оля! — воскликнул Ершов.— С ней знаком. Но фамилии как раз не знал. Так что же ей нужно? Почему? Тоже с благими намерениями?

Задавая все эти вопросы, он уже догадывался, почему она пошла на такую «кляузу». И только теперь начинал понимать ее пристрастные вопросы, когда он с ней здоровался, войдя в комнату с гостями: «Как ваши творческие дела, Алеша? Почему к нам не заходите? Некогда? Чем же вы так заняты?!» То-то она и улыбалась ему издали почти весь ве-

чер, пока он там был! И казалось, все время следила за ним, пьет он или не пьет.

— Абсолютно с благими,— сказал Стебалов.— Подозреваю, что неравнодушна к тебе эта студентка... какие-то, похоже, виды на тебя имеет, что ли. Уж очень она душой болеет за твое будущее... и вообще, мнения о тебе самого высокого... Поймала на днях на улице и говорит: «Александр Степанович, извините, есть серьезный разговор». Откуда-то узнала, как меня зовут. До тех пор я никогда не встречался с ней. Ну и пошла, и пошла! У вас, мол, в редакции очень талантливый поэт, Ершов Алексей Васильевич. Он в большой опасности, может совсем погибнуть. Сдружился с вашим Жихаревым, а тот втянул его в богемную среду. И вот, дескать, Ершов изо дня в день пьянствует. Понятно, когда в прошлом гибли от алкоголя поэты и писатели. Но зачем же им гибнуть в наше время? Мы обязаны уберечь, если человек начинает катиться вниз. Ну и так далее. Сначала я хотел с тобой поговорить, да не решился. Посоветовался с Федором Федоровичем. А он: «Сам займусь!» Так что ты не сердись, прошу тебя. Не совсем хорошо получилось, мне бы не лезть к редактору-то.

— Чего же сердиться,— задумчиво сказал Ершов.— И Ольга права, и вы правы, и Федор Федорович.

— Ну и замечательно! Ей-право! — обрадованно воскликнул Стебалов мальчишеским голосом.— Я верю, что опасения наши напрасны... не свихнешься ты... возьмешь себя в руки. Сегодня я особенно убедился в этом. Ну, и довольно! Собственно, поговорить я хотел с тобой о другом. Ты слышал сегодня рассуждения Травушкина, Рославлева, Юшкова и Дарского. Откуда подобные, мягко выражаясь, незрелые мысли? Прежде всего от теоретической слабости. Видно же сразу, что Рославлев и Дарский Маркса и Ленина не читают. Дарский развез какую-то пацифистскую чепуху... Юшков насчет свободы творчества не по-марксистски рассуждает. Наши братья писатели, да и художники, тоже весьма беззаботны по части марксистской науки. Отсюда и разброд в мыслях, и ереси всякие, и богемщина отсюда. Ты человек свежий среди них... нетрудно попасть под влияние... Вот я и хотел тебе посоветовать: если хочешь стать поэтом нашей эпохи — а ты им хочешь стать,— то позаботься о расширении своих знаний, не будь кустарем. И в первую очередь изучай Маркса, Энгельса, Ленина, диалектический и исторический материализм. Учиться поступил — хорошо сделал. Но это не все. Читай как можно больше.

Стебалов долго говорил наставническим тоном, и Ершов внимательно слушал его, не перебивая, не возражая. Впрочем, возражать и нечему было: заведующий отделом излагал общепринятые положения, читанные Ершовым в статьях газет и журналов. Тем не менее он терпеливо выслушал его. Уж очень трогательна была озабоченность заведующего судьбой молодого поэта! Под конец Ершов и сам разоткровенничался и подробно рассказал о своем сегодняшнем столкновении с Жихаревым.

— Решение правильное,— одобрил Стебалов.— Привези семью. И будешь жить как семейный человек. Недолго ведь и по другой линии свихнуться.

— По какой еще? — спросил Ершов.

— По женской.

— Вряд ли. Женщины меня не интересуют.

— А девушки? А студентки? Поэты народ влюбчивый. Видал, как Ольга сегодня глаз с тебя не сводила.

— Не замечал,— соврал Ершов.— Вообще-то она милая, но не на мой вкус. И не из тех я, кто влюбляется в первую встречную. Кстати сказать, это меня смущает: вы говорите, поэты влюбчивы, а я вот женился — и больше ни в кого не влюблялся... Значит, я не поэт!

— Так уж ни разу и не влюблялся? — усомнился Стебалов.

Ершов вспомнил свои чувства к Гале Половневой, хотел было сознаться в них, но тотчас передумал. Зачем? Ничего реального нет и быть не может, просто сердечное влечение, о котором никто не знает и знать не должен. «Галя — моя Беатриче!» — усмехнулся он про себя.

Стебалов начал доказывать, что Ершов до сих пор не влюблялся потому, что не в кого было. А в городе много красивых девушек и женщин... всякое может случиться. Та же Ольга завлечет. Она неспроста им интересуется и болеет за его будущее.

В сквере по листьям деревьев зашумели крупные капли дождя. Ершов и Стебалов за разговорами не заметили, как сверкала молния, как слегка гремел гром и на город надвинулась гроза.

— Дождь, Александр Степанович!

— Да, дождик,— сказал Стебалов, вставая.— Пошли-ка, братец, ко мне, а то ты в своих шлепанцах пропадешь. Я вон там живу,— показал он на большой дом. Ершов снял туфли, взял их в руки и босиком зашлепал по мокрой дорожке. Но не успели они выйти из сквера, как дождь с шумом накрыл

их, словно волной, и промочил до нитки. Они бегом кинулись в подъезд.

Стебалов жил на четвертом этаже. Отомкнув потихоньку дверь ключом, вынутым из кармана, он попросил Ершова соблюдать тишину.

— Жена и детишки спят,— шептал он, включая свет в прихожей и воровски пробираясь на кухню.— Посиди, я сейчас,— указал он на табуретку сбоку стола, видную от света из прихожей, и, включив свет в кухне, вышел. Скоро вернулся с парой черных ботинок.

— Обувай, они еще довольно крепкие,— сказал Стебалов, ставя ботинки на пол, рядом с босыми ногами Ершова.

Алексей положил на пол свои мокрые шлепанцы, начал обувать ботинок.

Не налезал.

— Странно! — Стебалов передернул плечами.— Не подумай, что я тебе дал свои,— это жениного брата, сорок третий номер. Думал, тебе как раз. Ну и ножища у тебя! Как же быть? Может, переночуешь у меня? Неудобно босиком по городу. Милиционер задержать может, да и простудишься, гляди. Оставайся, а утром позвоним, и Жихарев принесет тебе твою обувь.

Сверкали молнии, гремел гром, в стекла окон напористо хлестал дождь.

— Нет, я пойду,— сказал Ершов.— Не простужусь. А милиционер небось спрятался от дождя где-нибудь.

— Пережди хотя бы, пока дождь перестанет.

— Вам же спать пора.

— Завтра выходной. Высплюсь. Посиди, поговорим. Чайку попьем.

Стебалов засунул ботинки под стол, прикрыл поплотней дверь и принялся разводить примус.

— Ладно, посижу,— покорно проговорил Ершов. Немного помолчав, добавил: — А дождик славный! И кстати. Как раз рожь наливает.

— Как это он рожь наливает? — не понял Стебалов.

— Не дождь ее наливает, а зерно в колосе растет, наливается, что ли,— пояснил Ершов.

— Вон что! Я ведь городской с детства... слабоват в сельскохозяйственной терминологии.— Стебалов развел примус, но не успел тот зашуметь — потушил его.— Разбужу этак всех,— сказал он.— Мы сейчас лучше самоварчик.— Он вышел куда-то на цыпочках и вернулся с небольшим самоваром в руках.— Не совсем остыл еще, чуточку подогреть толь-

ко,— озабоченно сказал он и начал ножом колоть лучинки. Затем добавил угля в самовар, зажег лучинки, бросил их вслед за углем и поставил коленчатую трубу. Все это Стебалов делал быстро, привычно-ловко. Самовар сейчас же тоненько запел.

— Не дай боже, проснется моя благоверная — будет мне на орехи! — Стебалов присел у другого конца стола.— Терпеть не может алкогольного духу. Правда, пил я сегодня исключительно портвейн, но все же на взводе, и на приличном... Не утаишь.

Наступило молчание. Ершов сидел и думал теперь об Ольге. Зачем она проявляет этакую заботу о нем? Что ей нужно? Неужели неравнодушна к нему, как говорит Александр Степанович? Во всяком случае, что-то тут не так, не зря. Не заботится же она о Жихареве, хотя он, пожалуй, еще в большей опасности.

Посидев немного, Стебалов достал из небольшого шкафчика, стоявшего в углу кухни, две чашки с блюдцами, вазу с вишневым, вероятно еще прошлогодним, вареньем, чайные ложки, печенье на мелкой тарелке.

— Знаешь, как Маркс смотрел на писательское дело? — тихо, почти полушепотом доверительно заговорил он, не то размышляя вслух, не то как бы продолжая давнишний спор.— Не знаешь?

— Нет, не знаю,— в тон ему так же полушепотом ответил Ершов.

— Плохо, что не знаешь. Обязан знать. Вот слушай. Маркс писал, что литератор или поэт не должен смотреть на свою работу, как на средство к жизни. Она сама себе цель, и писатель приносит в жертву ее существованию, когда это нужно, свое личное существование. Он, как и религиозный проповедник, только в другом смысле, исповедует один принцип: «Повиноваться больше богу, чем людям», среди которых живет и он сам со всеми своими человеческими потребностями и желаниями. Его труд не должен быть для него простым ремеслом. То есть он не должен писать ради заработка. Понял? Писатель, конечно, должен зарабатывать, чтобы иметь возможность существовать, писать, но он ни в коем случае не должен существовать и писать для того, чтобы зарабатывать. Все это я вычитал в книжке М. Лившица «Маркс и Энгельс об искусстве». Но цитирую по памяти, может, что и неточно. Мог бы прочесть, да боюсь заходить в комнату, разбужу всех. Впрочем, я подарю тебе эту книгу. Она вот такая толстая.— Стебалов показал пальцами, какой толщины книга.—

Цитату эту я нарочно заучил и при случае донимаю ею некоторых журналистов и писателей, склонных к халтуре. А такие у нас не перевелись еще. Взять Рославлева. Пишет исключительно ради денег. До литературы, до искусства ему нет никакого дела. Да и наш с тобой друг Жихарев небезгрешен... Эти люди и сами не скрывают того. Рославлев, например, прямо говорит: «Моя цель — заработать миллион! Потом я положу стило и буду разводить розы в палисаднике!» Получается Остап Бендер от литературы. Однажды он заявил, что не согласен с Марксом: это, мол, писал молодой Маркс, когда был гегельянцем. Конечно, безобразие и клевета. Маркс до конца дней своих именно так и смотрел на литературное дело, то есть как на святое дело! А ты как смотришь? Согласен с Марксом или с Рославлевым?

Ершов улыбнулся.

— Ну что вы, как я могу быть не согласен с Марксом?

— Я к чему все это объясняю тебе? Хочу, чтоб ты морально не поддался влиянию Георгия, потому что Георгий, хотя он вслух этого не скажет, по настроениям ближе к Рославлеву, чем к нам с тобой. И еще говорю потому, что ты нравишься мне больше, чем Жихарев. Он тоже способный малый, слов нет. Но он не то... в тебя я больше верю. Ну и вот, не хуже этой Ольги Орловой, тревожусь за тебя. Трезвый бы я не смог... а выпивши могу... И я прошу и советую тебе: не пиши никогда ради денег! Пиши только то, что велит совесть. Писать же для денег — это хуже проституции. Проститутка продает тело, пишущий же для денег — душу!

Стебалов разошелся, вскочил с табуретки, заходил взад-вперед по кухне, забыв уже о самоваре. Смуглое лицо его было вдохновенно, карие небольшие глаза сияли. Говоря, он то и дело поправлял свой черный чуб, падавший на лоб. Ершов никогда не видал своего заведующего в таком оживленном, боевом состоянии.

— Да, да! Душу! — повторил Стебалов.— Он теперь уже говорил не полушепотом, а громко, словно перед аудиторией или с кем-то споря. Глянув на закипевший самовар, он быстро снял трубу и поставил его на стол.— Попьем чайку — и в мыслях посветлеет! Имею в виду себя: у тебя-то и без того, наверно, светло. Ей-право, ты — молодец! Выдержал, а! Просто замечательно. Я сам почти непьющий, но так бы не смог... Пей, пожалуйста, чай. Потом я тебя провожу, если не захочешь ночевать у нас. Дождь, наверно, скоро перестанет.

Дождь действительно затихал, и гром слышался уже не над городом, а где-то далеко и изредка.

Отпив с полчашки чаю, Ершов сказал:

— Я собирался с вечерним в Даниловку... за семьей. Да не удалось. Теперь каюсь: и зачем было идти на этот вечер?

— Не кайся. На вечер надо было. Все-таки вы с Егором друзья, и, в сущности, он тоже неплохой парень и к тебе относится по-дружески... Он только с загибами... Его можно перевоспитать. Он ведь молод еще. Что такое двадцать восемь лет? — Стебалов уже опорожнил свою чашку и снова налил ее.— Тебе налить погорячей? Я люблю горячий.

— А я, наоборот, похолодней.— Ершов допил чай и отодвинул чашку на середину стола.— Насчет того, что Георгий молод, вы не совсем правы, Александр Степанович. Лермонтов в двадцать семь погиб, а сколько оставил по себе! Четыре тома! Да каких! А у Георгия только вторая книжка в полсотни страниц.

— Это вот ты правильно,— согласился Стебалов.— Почти то же самое и я ему говорил, а он отшучивается: «Лермонтов из дворян, я же пролетарского происхождения!» Жихарев правда из кочегаров, когда-то на паровозе ездил. Но имеем ли мы теперь право кивать на рабочее происхождение? Высшее-то образование ты получил? Получил! Ну, значит, и пиши, да побольше, да получше! Ведь дар-то у него имеется. Может за час стихотворение на любую тему накатать. Но лень! И разгульная жизнь! Мало пишет, совсем мало! Старые стишки мне читает, вот, мол, сегодня ночью сочинил! Я молчу, похваливаю. Неловко мне, стыдно за человека, а сказать не могу. Вот если бы он сегодня мне попался, я бы ему все выложил, так же как и тебе. Ну, посмотрю, что дальше будет... а то напущу и на него Федора Федоровича. Федор Федорович — он строгий. Он его...

Стебалов не окончил фразы: на пороге появилась полная круглолицая блондинка со вздернутым носом, с заспанным лицом, с голубоватыми, чуть припухшими веками, в белом ночном чепце, в домашнем цветастом халате. Она с сердитым удивлением посмотрела сначала на Стебалова, потом перевела взгляд на Ершова.

Ершов смутился. Он догадался, что это жена Александра Степановича.

— Саша! Что это значит? — В сипловатом спросонья голосе женщины звучало угрожающее раздражение.

— А ничего особенного, Танюша, ничего особенного! — веселой скороговоркой ответил Стебалов.— Сидим вот с товарищем Ершовым... помнишь, я тебе рассказывал о нем... пьем чай, беседуем. Тихо, мирно. Обсуждаем, так сказать, текущие задачи литературы и искусства. Познакомься. Алексей Васильевич! — указал он быстрым жестом своей короткой руки на Ершова.

Танюша, как ее назвал Стебалов, еще раз окинула Ершова подозрительным взглядом, но познакомиться желания не проявила.

— Ты врешь, Саша! Какой же это Ершов? Ершов же поэт, как ты говорил, а этот босой, в одной рубашке...

Ершов поднялся.

— Ты сиди, сиди! — остановил его Стебалов.— А ты, Танюша, ступай спать. Все будет в порядке, не беспокойся. Нас застал на улице дождик, вот мы и пришли. Попьем чайку и разойдемся.

— Но, Саша! Так же нельзя! — простонала Танюша.— Что скажет твой врач, если узнает? Ведь строгий режим, диета — единственное твое спасение. А ты? Что ты делаешь? По ночам не спишь. Пьешь какую-то гадость.

— И вовсе не гадость, Танюша,— перебил ее Стебалов.— Гадость я не позволю себе пить. Портвейну немного... и очень даже немного.

— Вижу я, как немного,— полные губы жены Стебалова передернула кривая усмешка.— Но, главное, тебе пора... давно пора спать. Нормальный сон необходим как воздух... Это единственное твое спасение.

— Ну, иди, иди, Танюша... не расстраивайся. Ну так случилось... после я тебе все объясню. А пока не мешай... дай нам поговорить.

— Но до каких же пор! Ведь первый час,— недовольным голосом сказала Танюша, однако все же удалилась, сердито пристукнув дверью кухни.

— Все в порядке! — повеселев, сказал Стебалов.— Теперь мы можем сидеть хоть до утра. Это она беспокоится за мое сердце... У меня небольшой невроз. Ты на нее не сердись, она славная женщина, только чуточку строговата. Но я ее уговорю, она постелет тебе на диване, а я рядом лягу на раскладушке... и мы с тобой поговорим всласть. Мне многое хочется тебе сказать... есть такое настроение. На работе-то некогда и мешают. А утром тебя Танюша разбудит своевременно, и ты поедешь в свою Даниловку.

— Нет, я пойду,— сказал Ершов.— Спасибо, Александр

Степанович. А поговорим когда-нибудь в другой раз. Я тоже хотел кое-что рассказать вам... посоветоваться.

— Жаль,— сказал Стебалов.— Ну иди, если такое дело. Правда, поздновато. Погоди-ка, я тебе книжку отдам, а то забуду.

Стебалов сходил за книгой и, вернувшись, сделал в ней авторучкой дарственную надпись:

«Дарю милому Алексею Васильевичу Ершову, чудесному человеку нашей эпохи, талантливому поэту, в знак любви и уважения.

А. Стебалов».

— Ну, будь здоров, до свидания. Проводил бы тебя, да сам видишь, теперь уже я в себе не волен. А в Даниловку ты обязательно поезжай... привози семью. Так оно лучше. Семья, братец, крепенькая узда для нашего брата мужчины. Отпуск даю тебе на три-четыре дня... редактор не будет возражать, можешь быть уверен. Таня! — крикнул он вдруг.— Иди попрощайся, Алексей Васильевич уходит.

Таня тотчас же пришла на кухню.

— Как прощаться! — встревоженно проговорила она.— Разве же так можно? Куда ты гонишь человека? Ночь на дворе, дождь... и он разутый, раздетый... Пусть переночует у нас... я уже постелила вам в столовой,— обратилась она к Ершову.— Оставайтесь, а утром во что-нибудь вас обуем, оденем.

— Я же тебе говорил! — обрадованно воскликнул Стебалов.— Ночуй, чего там... мы еще побеседуем, а утром поедешь.

— Большое спасибо,— переступив с ноги на ногу, сказал Ершов застенчиво и учтиво.— Я уж пойду, а то Георгий будет беспокоиться, скажет, куда я девался... Розыски, гляди, начнет... в милицию позвонит... пропал, мол, человек,— с мягкой улыбкой пошутил Ершов.

— Ну, пусть идет,— махнул рукой Стебалов, обращаясь к жене.— Егор и вправду может панику поднять... он такой!

Ершов попрощался со Стебаловым и его супругой за руку, всунул свои босые ноги в туфли, взял под мышку толстую подаренную Стебаловым книгу, завернутую в газету, и вышел.

# ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

## 1

Думал ли когда-нибудь Ершов, мечтал ли, что будет жить в городе? Нет, не думал и не мечтал. В юности жизнь его рисовалась ему так: вот работает он молотобойцем, подручным у Петра Филипповича, а придет пора — и Петр Филиппович состарится совсем. Тогда Ершова поставят кузнецом. Но это не скоро, к тому времени и сам Ершов станет уже немолодым, у него вырастут сыновья, и одного из сыновей он тоже приспособит к кузнечному делу — самому интересному, самому почетному в селе. И его, Ершова, со временем будут любить и уважать так же, как любят и уважают Петра Филипповича, и его, возможно, тоже выберут секретарем партийной организации, и к нему будет наезжать секретарь райкома партии, чтобы поговорить о делах колхоза, посоветоваться. Наверно, так бы оно и было. По крайней мере, до службы в армии он порой мечтал именно о такой жизни. Но стихи! Они повернули и перевернули всю его жизнь! Как и когда он увлекся ими? Началось еще до призыва в армию, но он не придавал никакого значения своей тяге к ним. Впрочем, он и писал-то редко тогда. Он просто сочинял частушки в стенгазету или для девчат, а записывали под его диктовку другие. И частушки получались очень простые, даже примитивные, вроде вот таких:

Паровоз пары пущает,
По дороженьке бежит.
Собирайтеся, ребята,
В Красной Армии служить.

Говорят, платки горят —
Коймы остаются...
Нам не надо тех девчат,
Которы зазнаются.

Девчата пели:

Нам не надо тех ребят,
Которы зазнаются.

Подобные частушки складывались без особого труда, как бы сами собой. Однако еще до службы в армии он написал

и несколько стихотворений. Тетрадки с этими стихами потерялись: у него украли сундучок, когда он ехал на военную службу после призыва. Некоторые стихи он помнит до сих пор.

Сад зеленый, сад густой,
Не шуми своей листвой,
Не рассказывай сельчанам,
Как я летнею порой,
От любви и счастья пьяный,
Прихожу в избу с зарей.
Это знают лишь тропинки
Да помятые травинки.
Но за них не беспокоюсь,
Хоть и мокрый я по пояс.
Не шуми лишь ты, мой сад,
Не расстраивай девчат.

Оно написано еще до женитьбы, когда ухаживал за Наташей. Слабо, очень слабо. Впрочем, до службы в армии он больше читал, и читал запоем, по целым ночам. Жил в своей избе один, никто ему не мешал, и он никому. Бывало, поспит часа два-три — и за стол. Сколько тогда перечитал книг! Кажется, чуть не всю библиотеку. А библиотека в Даниловке была довольно богатая. По количеству и разнообразию своего фонда она могла соперничать с библиотеками уездных и губернских городов. В ней были старинные фолианты по философии, истории и другим наукам, тома русских и зарубежных классиков, в большинстве в прекрасных кожаных переплетах. Все эти богатства умственного труда поколений лежали в шкафах помещика Шевлягина втуне, никому из простых людей не доступные, никем другим не читаемые.

А по зиме восемнадцатого года все книги вместе со шкафами были конфискованы и из них создана волостная библиотека (Даниловка в то время была волостным селом).

Чтение классиков, в особенности Пушкина, Лермонтова, Некрасова, и пробудило в подростке Алеше поэтическое чувство и желание самому складывать слова в звучные, певучие строки. Но по-настоящему сочинением стихов он увлекся уже на военной службе.

Случилось так: враги убили одного красноармейца, с которым Ершов дружил. Гибель хорошего товарища, друга произвела на него сильное впечатление, и рука Ершова потянулась к перу. За ночь было написано стихотворение «Молчание».

Лежал он, большой и строгий, в веселых цветах, как в раме.
Спокойно смотрело в небо простое его лицо,
Свисали над ним знамена одетыми в креп краями,
Недвижно, безмолвно стыли у гроба ряды бойцов.
Им тяжко и горько, высоким, суроволицым,
С товарищем расставаться, в прощальном стоять строю.
В безлунную ночь враги перешли границу,
Безумная, злая пуля сразила его в бою.
Сверкают штыки на солнце, и шашки пылают грозно.
Оратор смахнул слезинку, прошли журавли на юг.
Он честно стоял на страже заводов, полей колхозных
И, как подабает сыну, за Родину пал свою.
И траурный марш ударил стремительно и напевно,
И лица бойцов печальны, но плакать бойцам нельзя.
Вздыхает в знаменах ветер, и трубы рокочут гневно,
Тревожа большое горе, розданное по друзьям.
Затихли, замолкли трубы, и все мы стояли молча.
И с нами на карауле — военная тишина.
И все мы туда глядели, откуда, таясь по-волчьи,
Огнем и железом рухнуть готова на нас война.

Оно вылилось как бы из сердца и всему взводу понравилось. О стихотворении скоро узнал редактор дивизионной многотиражки, вызвал Ершова в редакцию.

— Да ты что, парень, скрываешься? Ты же поэт! — горячо говорил редактор, протягивая ему руку.

И поместил стихотворение в газете. Потом без ведома Ершова послал в журнал «Красноармеец». Там тоже напечатали. В роте и в полку заговорили о новом поэте. Ершову было радостно и приятно, его все больше тянуло к перу. Но в армии все же много не напишешь, от строевой службы мало оставалось времени для творчества. Редактор хотел забрать Ершова к себе, но Ершов наотрез отказался: в таком случае его могли повысить в звании и оставить на сверхсрочную, а ему хотелось поскорей отслужить и — домой, где он надеялся целиком отдаться поэзии. Он тогда уже почувствовал, что может и знает, о чем надо писать: он будет певцом новой, колхозной деревни, за которую его отец отдал жизнь, которой нет пока нигде на свете, кроме нашей великой страны. И он будет жить простой трудовой жизнью, как все, со своими земляками, подобно шотландцу Бернсу или нашему русскому Дрожжину. И стихи его узнает сначала область, потом страна, а затем они разнесутся по всему миру и помогут понять людям труда, как чудесна, как прекрасна жизнь советского земледельца без помещиков и кулаков. Люди обязательно поверят им, узнав, что их писал человек, живущий и работающий в колхозе, а поверив, добьются и у себя — в Китае ли, Индии, Гер-

мании, Египте — таких же порядков, порядков без кровопийц и тунеядцев.

Возвратившись в Даниловку, Ершов ощутил новый прилив творческих сил. Все свободное время отдавал теперь стихам. Но ему часто казалось, что они написаны не так, как надо, что есть в этом деле какие-то секреты, которых он не знает, а секреты известны настоящим мастерам стиха, живущим в городах.

Видя, что областная газета изредка выпускает литературные страницы, стал посылать туда свои стихи, не затем, чтобы напечатали, а чтобы получить указания, как писать. И до самого последнего времени, до приезда Жихарева, город представлялся Ершову очень красивым и почти недоступным. Именно оттуда исходит яркий свет всяческих знаний. Свет этот распространяют особенные, добрые и высокоразвитые, образованные люди, интеллигенты, которых с детства обучают всему самому лучшему. Правда, в городе есть и рабочие, но они шлют в деревню железо, мануфактуру, машины, своих дельных уполномоченных и руководителей для помощи в строительстве социализма, знания же, книги, культура — от интеллигентов.

И вот неожиданно, не думая и не гадая, он оказался в городе, в котором за всю свою жизнь бывал лишь наездом, с ночевкой в Доме колхозника.

Первое время все ему было странно тут: и шум, и колготная спешка, и многолюдство улиц, и пестрота празднично чистых одежд, и булыжные мостовые, и асфальтовые тротуары, подметенные тщательней, чем деревенские полы, и обилие легковых и грузовых машин. Особенно же донимал его грохот трамваев. Они гремели и звенели всю ночь. Если переставали ходить пассажирские, то дребезжали какие-то дежурные с груженными чем-либо платформами. Железный звон и грохот их по утрам был гораздо громче, нежели днем, и Ершов часто просыпался, а после уже не мог заснуть. И тогда он вспоминал о своей тихой Даниловке, по улице которой когда-когда протарахтит трактор или грузовик! И душу начинала щемить нудливая тоска, близкая к ностальгии, будто он уехал от родной деревни невесть куда, на край света, в чужедальнюю страну. В таких случаях он силился превозмочь себя, убедить, что, оставаясь в деревне, он не достигнет той культурности, какая необходима поэту нашего времени, что в городе он живет временно, пока не окончит, хотя бы заочно, университет. Окончив же, вернется в село. Смущало Ершова только

одно: какая-то неопределенность его положения в газете. Он был настолько грамотен, что мог выправить какую-либо заметку, к тому же ему все время помогали советами и наставлениями Жихарев и Стебалов. Но написать самостоятельно статью или рецензию он не умел и потому среди сотрудников, то и дело выступавших в газете, чувствовал себя вроде белой вороны, хотя никто не ставил ему в укор его неуменье. Очевидно, все надеялись, что Ершов с течением времени научится. Сам же он не верил, что когда-нибудь такое время наступит. Теперь и стихи давались ему тяжело, когда он пытался писать их в моменты просветления и кратких перерывов между попойками. Это заставляло его серьезно задумываться над своим будущим, и не менее чем за неделю до того, как его вызвал к себе Федор Федорович, он твердо решил изменить жизнь, совсем бросить пить, боясь, что если он вовремя не остановится, то может в самом деле загибнуть, как предостерегала его Ольга.

И сейчас, размышляя над своей жизнью и судьбой, шлепая по асфальту своими промокшими туфлями, ощущая ступнями и пальцами ног освежающую влажность, он невольно вспоминал, как вел себя на вечере, устроенном Жихаревым, и был доволен собой, что хватило у него силы воли не пить, несмотря ни на какие уговоры и Жихарева и других.

Тротуар был мокр от дождя, а в выемках между мостовой и тротуаром хлопотливо и деловито побулькивали ручейки остатней воды, еще не успевшей схлынуть в водосточные трубы. Улица выглядела пустынной, нежилой, мокрая, она была похожа на тусклое зеркало, в котором слабо маячили перевернутые вниз крышами дома с темными окнами. И от этой пустынности было грустно. Но вдруг где-то кукарекнул молодой петушок — и раз и два, и Ершову сразу стало уютней, и грустное настроение начало понемногу таять. В центре города — петух! Днем никогда он не видел и не слыхал тут ни петухов, ни кур. Петушиный голосок этот как-то вроде одомашнил все вокруг — и высокие кирпичные здания не выглядели уже такими мрачными и нежилыми. «В конце концов, это же город, в котором мне придется долго жить. Надо мне привыкать к нему».

## 2

Возле трехэтажного здания банка Ершову встретились Жихарев, Варя и Ольга Орлова.

— А-а! Вот он где, пропавшая душа на костылях! —

громко, на всю улицу, закричал Жихарев, державший под руки обеих девушек.

Ольга тотчас отделилась от Жихарева и стремительно, словно на крыльях, будто не касаясь земли своими маленькими желтыми туфельками на низком каблуке, понеслась на Ершова, выбросив руки вперед. «Да ведь она же на мою Наташку похожа! — вдруг подумал Ершов.— Только Наташка постарше и у нее теперь уже редки подобные вспышки... Но это и понятно: она мать, а эта совсем еще девчонка... наверно, и двадцати нет».

— Алеша, где вы были? — обрадованно и в то же время как-то встревоженно спросила Ольга.— А мы вас искали.

— Где был, там нет! — шутливо ответил Ершов.

Подошли Жихарев с Варей. Жихарев сказал:

— Все сердишься на меня...

— Почему и за что я могу сердиться?

— Но пить-то не стал и с вечера сбежал.

— И совсем не сбежал... нужно было, вот и ушел.

— Ну ладно, после обжуем эту тему,— миролюбиво проговорил Жихарев.— Поворачивай оглобли, проводим девушек.

— Давай проводим,— охотно согласился Ершов.

Ольга взяла его под руку. Жихарев с Варей перешли на тротуар и двинулись впереди. От Ольги веяло приятным теплом, лицо ее (заметно было даже при свете фонаря) пылало румянцем.

— Что у вас за сверток? — спросила она.

— Книга,— ответил Ершов.

— Какая?

— «Маркс и Энгельс об искусстве и литературе».

— О, вы читаете такие серьезные книги!..

— А почему бы мне их не читать?

— Извините, вопрос, конечно, странный: я сегодня тоже «на взводе», как говорят наши студенты,— поспешила она объяснить свое состояние.— Вам не дико?

— Не дико, но немного того... непонятно.

Ершов как бы пришел в себя от своих одиноких раздумий и веселыми глазами оглянулся вокруг. Ночь была удивительно тихая, теплая, воздух влажный и чистый, с запахами тополевого листа и цветущей липы. Небо совсем прояснилось, неожиданно погасли фонари, стали видны звезды... Наступал рассвет. Вероятно, время двигалось к двум часам после полуночи. «Ах, как хорошо, как чудесно жить на свете!» — подумал вдруг Ершов, сам не ведая почему. Просто на него

вроде бы беспричинно снизошло ощущение полноты сил, здоровья. Такой подъем душевный всегда у него был предвестником вдохновения, когда стихи начинали плавно и вольно литься строка за строкой.

— Почему же непонятно? — все более оживляясь, спросила Ольга.

— Хотя бы потому,— смеясь, ответил Ершов,— что девушка, которая дает советы молодым людям остерегаться зеленого змия, не должна была бы сама...

Ольга быстро перебила его:

— Вы до сих пор помните мои наставления?

— Не только помню, но и следую им,— полусерьезно-полушутя сказал Ершов.— Сегодня вы могли убедиться.

— Да, верно! Вы не пили. Но потом ушли куда-то. Может, в другом месте... впрочем, вы, кажется, совершенно трезвы. Просто удивительно! Получается, что мне надо с вас пример брать, а не вам с меня!

— Но почему же удивительно?— возразил Ершов.

— Потому что удивительно... Я ведь следила за вами и кое-что знала... Неважно вы вели себя в последнее время... неважно! И я так боялась за вас.

— Знаю, что вы боялись и следили,— сказал Ершов.

— Откуда же вы знаете?

— Интуиция!

— Ну и что же вам подсказывала ваша интуиция?— ребячливо спросила Ольга.

— Что за мной следит одна добрая душа... девичья душа... и даже активные меры принимает по спасению молодого, неопытного поэта, одной ногой уже ступившего в болото богемы.

— Батюшки! — воскликнула Ольга.— Неужели он вам рассказал?

— Да, рассказал... и не более как с полчаса назад.

— Александр Степанович?

— Конечно. Кто же еще? Или, может быть, вы кому-нибудь и другому жаловались?

— Нет, нет, больше никому! — поспешно и как-то испуганно проговорила она.— Ах, как нехорошо получилось! Я же просила не говорить. Теперь вы возненавидите меня.

Ершов посерьезнел.

— Наоборот,— суховато сказал он.— Я благодарен. Ведь вы же из высоких и добрых побуждений... так сказать, движимая заботой о молодом человеке, который во цвете лет может погибнуть.

— Благодарны, а сами иронизируете,— упавшим голосом заметила Ольга.

— Нисколько.

— Тогда вы просто злитесь на меня.

— Если бы я умел злиться! — грустно сказал Ершов.— Нет, я не злюсь. Но если сказать правду, то и удовольствия не испытываю... и будь вы не девушка...

— Побили бы меня?

— Ну, зачем же... я не драчлив.— Ершов замолчал.

От приподнятого настроения не осталось и следа. Ольга выпустила его руку и отстранилась, заподозрив, что он не очень-то расположен к ней, и они пошли рядом и не в ногу.

Минуту спустя она заметила, что он в войлочных туфлях.

— Батюшки! — воскликнула она, всплеснув руками и еле удерживаясь, чтоб не расхохотаться.— Что это за обувь?

— Самая модная,— степенно ответил Ершов.

— И вы в дождь ходили в них по городу?

— По городу не ходил, сидел у Александра Степановича на кухне. Я предполагал вернуться на вечер, но дождь помешал.

— И товарищ Стебалов все рассказал вам?

— Мне рассказал — это полбеды. Редактора на меня натравил. Теперь вся редакция будет знать, что Ершов такой-сякой, непутевый алкоголик.

— Неужели? — встревоженно вскрикнула Ольга.— Ой, как нехорошо...

— Вот видите! — укоризненно сказал Ершов.— Спасать человека можно и нужно только на воде, когда он тонет. Во всех иных случаях лучше предоставить его самому себе. Не надо думать, что истинный талант при Советской власти может погибнуть от водки. Это неверно. От водки могли погибнуть и погибали Помяловский, Решетников, другие, потому что им не было ходу... У нас же если кто спивается, гибнет, значит, он или не талант, или несозвучен нашему строю всем складом своей души, или пустышка, надутое ничтожество.

— Боже мой! Как умно вы рассуждаете, Алеша! Мне теперь просто стыдно: и какое я имела право вмешиваться? Вы простите меня. Ведь мне что в голову взбрело: парень вы вроде деревенский. Жихарев привез вас тогда к нам в бесчувственном состоянии. А стихи ваши понравились мне, да и вы сами понравились в то утро, помните, мы разго-

варивали с вами... Вот я и подумала, что вы можете спиться... и тогда решила...

— И в основном-то правильно решили,— не дав договорить, перебил ее Ершов.— Конечно, я не спился бы... такого не допускаю. Но ваше вмешательство ускорило мое освобождение от злых чар зеленого змия. Поэтому, хотя мне и не очень-то приятно, все же я должен быть благодарен вам. Но наперед не советую так делать. Мне вся эта история, наверно, сойдет с рук. Во-первых, меня считают талантом, во-вторых, в газету я пришел недавно, и меня поначалу будут учить и перевоспитывать. А другому и при иных обстоятельствах ваше вмешательство могло бы выйти боком.

— Да я никогда такого и не делала! — искренне созналась Ольга.— Сама не знаю, почему я за вас так болела душой.

— Вы уже сказали почему,— засмеялся Ершов.— Потому что и стихи понравились вам, и автор их. Все ясно!

— А вы не смейтесь, Алеша.

— А я и не смеюсь, Оля! Вот, кажется, мы и пришли.

Жихарев и Варя стояли у калитки и поджидали их. Было все так же тихо, восток начинал светлеть. Отчетливо выделялись кудрявые кусты акации, нависшие на серый дощатый забор.

— Оля, пошли, пошли, спать пора! — говорила Варя.— Вы, мальчики, тоже идите спать.— И она протянула руку сперва Ершову, потом Жихареву. Тот грубовато схватил девушку, приподнял и начал целовать, невзирая на то что она всячески отбивалась.

— Ершов, нагнитесь-ка, пожалуйста, я вам что-то скажу,— попросила Ольга с серьезным видом и, когда он наклонился, чуть подпрыгнула и, обхватив за шею, прильнула губами к его рту.— Сегодня мне все можно, сегодня я пьяная,— отпустив Ершова и становясь наземь, скороговоркой сказала она и вдруг громко-громко рассмеялась. Потом ухватила Варю за руку и быстро потащила ее во двор.

Хлопнула калитка, стукнула щеколда.

Ольга крикнула из-за калитки:

— Простите меня, Алеша, за все, за все простите!

Ершов некоторое время остолбенело стоял на одном месте, ощущая какое-то томительное, приятное кружение головы. Передернув плечами с видом недоумения, тряхнул мокры и волосами, но не сказал ни слова.

Жихарев подошел к нему.

— Идем, что ли! Какой-то ты... словно в воду опущенный. Чем недоволен? И почему с вечера ушел?

— Говорю же, не думал уходить, просто так получилось. Александр Степанович попросил проводить, и нас дождь застал.

И оба молодых человека неторопливо двинулись обратно.

### 3

Минуты две друзья шли молча. По улице прогрохотал трамвай, груженный шпалами. В воздухе, на большой высоте, приглушенно гудел мотор самолета. По-видимому, начались учебные полеты. Но город спал.

Жихарев заговорил первым.

— Видал? — усмехнулся он.— Оленька-то неравнодушна к тебе. Сама поцеловала. Как ты сие расцениваешь?

— А никак,— равнодушно ответил Ершов.— Выходка немного захмелевшей девушки. Захотелось подшутить над простоватым деревенским парнем... именно таким я ей кажусь...

— Это напрасно. Дело гораздо серьезней, чем ты думаешь. Я-то знаю. Вообще, Алеша, ты имел бы у девушек успех, если бы не был таким рохлей.

— А для чего мне успех? Я человек семейный, не как некоторые вольные казаки,— уныло и нехотя молвил Ершов.

— Затвердил: семейный! Будто тебе лет пятьдесят. Неужели сердце не екнуло, когда она повисла на шее? Ты же мужчина, а не чурбан с глазами.

— А если екнуло — что я должен делать, по-твоему?

— Лично я такого случая не упустил бы. Девка ладная и неглупая.

— На свете много девушек и ладных и умных. Что же, на всех и кидаться? Ты отлично знаешь, как я смотрю на эти вещи. Зачем же снова с таким разговором?

— Да как же! Вот уже месяц ты живешь без жены и ведешь себя как рыцарь в тигровой шкуре или толстовский отец Сергий, только пальцы себе не рубишь... Девушка его целует, а он стоит как столб. Не могу я примириться с этим!

Опять порядочное время молчали, неспешно вышагивая по тротуару. Ершов теперь казался мрачным, сосредоточенным. Жихарев принялся было насвистывать из «Евгения Онегина»

Чайковского: «Что день грядущий мне готовит?» — но, не окончив, задал вопрос:

— В самом деле, что готовит нам с тобой грядущий день? Ничего интересного. Скучно мы живем, ой как скучно. Часов до двенадцати дня проспим. Пока позавтракаем — глядь, уж два часа.

— А чего бы ты хотел?

— Многого я хотел бы... хорошую квартиру, роскошно обставленную, свой автомобиль... и побольше денег!

Ершов махнул рукой:

— Чепуха все это! Я хотел бы одного: писать.

— Это само собой разумеется.

— Это должно быть главным в нашей с тобой жизни.

— Не совсем согласен. Главное все-таки — сама жизнь... она ведь один раз дается... не жизнь для поэзии, а поэзия для жизни!

— А мне хочется только писать и писать, — снова сказал Ершов. — Давеча, когда шел один, такое радостное настроение было и так хотелось все это в стихи перелить... и кое-что даже складывалось. Жаль, некогда, утром еду в Даниловку, а то целый день просидел бы над стихами.

— Писать и мне в последнее время все чаще хочется... и тоже, когда с девушками шел, стихи в голову лезли... Одно четверостишие даже недурно получалось, и я его продекламировал девчатам... Оно относится непосредственно к Варе. Вот, слушай:

Глаза твои — бездонные озера,
Однажды я в них утону.
И рыбищей красноперой
Проплыву по души твоей дну.

Правда, образно? «По души твоей дну»... Дно души! Это ново. Такого я никогда не встречал.

— А девушкам понравилось?

— Очень. Особенно Варе.

— Жаль!

— Почему жаль?

— Потому что плохо... и у твоих студенток, очевидно, неблагополучно с эстетическим вкусом.

— Но, но! Ты потише! — сказал Жихарев. — Чем плохи эти строки?

— Плохи они уже тем, что ничего нового в них нет. Подумаешь, ново: «Дно души». Это же непережеванный имажинизм... Шершеневич! Безвкусица! И бессмыслица.

«Бездонные озера». Сказано о глазах. Но в глазах ведь душа! Обычно говорят и пишут: «Глаза — зеркало души». И получается, что ты собираешься проплыть по бездонному дну.

— А если так:

Глаза твои — черные озера!

— Так верней, пожалуй,— лениво проговорил Ершов.— Но все равно плохо. Завтра, протрезвев, ты сам в этом убедишься.

— Ты находишь, что я безнадежно пьян? — спросил Жихарев.— Но смотри: я твердо стою на ногах.— Он отошел немного в сторону и, сдвинув ноги, по-военному стукнул каблуками, став «смирно».

— Ноги у тебя устойчивые! — усмехнулся Ершов.

— Намекаешь, что голова слабей ног? — продолжал Жихарев.— Это надо еще доказать! Но ты все же молодец, Алеша! Раньше ты приводил меня в восхищение своей простотой и непосредственностью, а теперь — необычайно быстрым ростом. Мы начинаем меняться ролями. То я тебя консультировал, теперь ты меня... и довольно квалифицированно...То я острил и подшучивал над тобой, теперь ты надо мной. Насчет устойчивости ног один — ноль в твою пользу. Ты сам не замечаешь, как быстро растешь. Ты уже не тот, каким приехал из Даниловки своей. Впрочем, так оно и быть должно: ученик начинает опережать учителя.

— Учитель — Жихарев, а ученик — Ершов?

— Разумеется. Разве не так? Разве месяц назад ты заметил бы «бездонное дно»?

— Все это чушь,— мрачновато сказал Ершов.— Никакого роста нет у обоих, и учитель и ученик разводят пальцами по песку, а воображают, что рисуют красками.

— Гм!— Жихарев удивленно качнул головой.— Опять здорово, черт возьми. Получается что-то библейское: красками по песку. Священное недовольство собой, окружающим... замечательно! Именно такое недовольство отличает гения от простых смертных...— Он сделался вдруг очень серьезным и, немного помолчав, глубокомысленно добавил:— И знаешь что? На меня благотворно начинает действовать такое твое настроение. Вчера вечером меня потрясли твои покаянные речи. Живем мы с тобой действительно разгульно, нехорошо. И я полностью согласен: надо немедленно менять образ жизни. Но что мне еще кажется? Ты ведь вообще

что-то имеешь против меня лично. Похоже, как будто ты узнал что-то нехорошее обо мне или о чем-то догадываешься, да не хочешь прямо сказать и потому говоришь обиняками. А почему прямо не сказать? Не бойся, не обижусь.

— Ничего я не узнал и ни о чем не догадываюсь,— пробурчал Ершов.— Просто невмоготу мне стала такая жизнь, а тебе она нравится.

— Понятно кое-что, но еще не все! — сдержанно проговорил Жихарев.— Учтем на будущее. И постараемся исправиться.

Больше он ничего не сказал, и до самой гостиницы они шли молча. Войдя в номер, Жихарев включил свет, достал из гардероба бутылку коньяка, штопором коричневого карманного ножика откупорил ее и поставил на стол, на котором уже стояли две рюмки и ваза с конфетами и двумя крупными апельсинами.

— Давай попрощаемся с разгульной жизнью да заодно и с юностью,— грустно сказал он, садясь к столу.— Впрочем, с юностью тебе прощаться рановато. Что касается моей, то она, увы, пролетела! Как это у Кольцова:

Соловьем залетным
Юность пролетела...

Между прочим, у греков, разумеется у древних, до тридцати лет мужчина считался юношей, а мне уже около этого. И выходит, что мне пора и с юностью прощаться... Итак, прощай и юность и жизнь разгульная! А потом завяжем узелки, и ни капли в рот аква вите. Работа и еще раз работа! Иначе в самом деле мы с тобой не выбьемся в люди. Помнишь у Брюсова:

Еще я долго поброжу
По бороздам земного луга,
Еще не скоро отрешу
Вола усталого от плуга.
Вперед, мечта, мой верный вол!
Неволей, если не охотой!
Я близ тебя, мой кнут тяжел,
Я сам тружусь, и ты работай.

Насчет труда в нашем поэтическом деле хорошо сказано,— пояснил Жихарев:

Вперед, мечта, мой верный вол!
Неволей, если не охотой!

Вообще Валерий Яковлевич — сильный поэт и неглупый был человек.— Жихарев раздумчиво продолжал:— О труде у него еще есть стихотворение, которое я знал наизусть. Выступал с ним на школьном вечере. Хочешь, прочту? Может, ты его знаешь? Оно называется «Труд».

— Такого не помню,— сказал Ершов.

— А вообще Брюсова читал?

— Читал кое-что.

— Ну и как?

— Не все нравится. Иногда как-то слишком сложно, будто не по-русски... и с какой-то чудно́й философией. И чаще он пишет как сторонний зритель, а не как участник жизни.

— Остановись, Алеша, перехватил! Мы с тобой не доросли до того, чтобы судить и критиковать Брюсова. Ты вот послушай. Такое же дай бог любому из современных поэтов написать.

В мире слов разнообразных,
Что блестят, горят и жгут,—
Золотых, стальных, алмазных,—
Нет священней слова «труд».
Троглодит стал человеком
В тот заветный день, когда
Он сошник повел к просекам,
Начиная круг труда.
Все, что пьем мы полной чашей,—

Жихарев широким жестом показал на стол,—

В прошлом создано трудом;
Все довольство жизни нашей,—

взмах руки на диван, на гардероб и стены, затем размашистый жест на стол с коньяком, рюмками, апельсинами,—

Все, чем красен каждый дом...

Тут я немного забыл... Дальше как?..

Все искусства, знанья, книги —
Воплощенные труды!
В каждом шаге, в каждом миге
Ясно видны их следы.

Жихарев остановился, потер лоб ладонью.

— Ах, черт возьми! Забыл! В восьмом классе еще читал.— Он взял рюмку в правую руку.— Так что, как видишь,

я не только эротические стихи люблю... А ты, похоже, Блока лучше знаешь, чем Брюсова.

— Обоих плохо знаю,— несколько раздраженно произнес Ершов, разбирая свою кровать.

— Но Блока-то наизусть.

— Довелось как-то прочесть... стихотворение понравилось... оно против нашего мужского зверства. Ну и запомнил. С одного раза.

— У тебя замечательная память, Алеша,— не без зависти сказал Жихарев.

— Не жалуюсь. Три-четыре раза прочесть — даже пять-шесть страниц прозы слово в слово запоминаю.

— А ты не хвастаешься?

— А зачем хвастаться? И что тут особенного? Каждый так может, если внимательно и не спеша прочтет.

— Нет, не каждый,— возразил Жихарев.— Сильная память — признак гениальности.

— До сих пор я был талантлив, сегодня второй раз ты производишь меня в гении,— насмешливо сказал Ершов.— Что это значит, Георгий?

— Это значит, что только сегодня я могу высказать всю правду... по ряду причин именно только сегодня... Да ты прибирайся поскорее и садись, я же жду тебя,— с досадой добавил Жихарев.— Чего ты копаешься?

— А ты не жди.

— То есть как не жди?

— А так! С юностью прощаться, ты сам сказал, мне еще рановато. До тридцати-то лет эвон сколько!

— А с разгульной жизнью?

— Вчера простился... и навсегда... без всяких отступлений и послаблений.

— Не верю,— повышенным тоном произнес Жихарев.— Тут что-то не то.

— Верить или не верить — это твое право.

— Или ты обладаешь действительно твердокаменным характером, или так враждебно настроен против меня, что не хочешь и не можешь не только пить со мной, но и сидеть за одним столом.

— И не то и не другое. Просто считаю, что если бросать, то уж бросать как следует. На вечере я сделал уступку тебе... ну и хватит, а то ведь так никогда не бросишь. Ты же готов потчевать меня хоть каждый день.

Жихарев поставил рюмку на стол.

— Чудно́!— с сомнением проворчал он.— Мне все это

непонятно. Зачем же я в таком случае брал эту бутылку? Зачем раскупоривал ее? Знал бы, не раскупоривал, можно было бы в буфет вернуть... А теперь — куда ее? Мне ведь показалось, что на вечере ты стеснялся Александра Степановича... ну вот и припас. Думаю, придет Алеша, мы вдвоем дербалызнем без всяких оглядок и стеснений. А выходит, мне одному бороться с этим зеленым, нет, не зеленым, а коричневым змием? А ведь он, коричневый змий-то, ничуть не слабей зеленого, и даже градусов на десять посильней. Нехорошо, Алеша, оставлять товарища один на один с таким страшным чудовищем.

— Георгий! — серьезным тоном проговорил Ершов.— Не трать красноречия, бесполезно. У меня правило: сказал — отрезал.

Он снял свои мокрые туфли, поставил их возле гардероба, затем разделся и лег в кровать, прихватив со стола книгу, подаренную Стебаловым.

Жихарев неотрывно следил за ним и, когда он улегся, тяжело вздохнул.

— Чего ты спешишь? — сказал он.— Боишься — не выспишься? Завтра же, то есть сегодня,— воскресенье. Будем дрыхнуть хоть до вечера.

— Ты забыл, что я собираюсь в Даниловку. Так что спать не буду.

— За семьей все-таки едешь?

— Да.

— Значит, ты всерьез? А как же мне? Куда прикажешь?

— Потеснимся,— миролюбиво ответил Ершов.

— Нет! Тесниться — не резон. Ну да ладно. Устроюсь где-нибудь, а к осени, может, комнатенку или квартиренку отхлопочу... Будем друг к другу в гости ходить... как порядочные жители! Но к своей благоверной не вернусь. Ни за какие коврижки!

Ершов промолчал, уткнувшись в книгу. Жихарев снова вздохнул.

— А может, и дружбе нашей конец? Может, и в гости ко мне не захочешь?

— А разве дружить можно, только живя в одной комнате или в одной квартире? — возразил Ершов.— Ты пойми, не могу же я тут все время по-холостяцки. Кроме того, и Наташе очень хочется в город.

— Да, я понимаю! — с оттенком обиды протянул Жихарев.— Пеший конному не товарищ. Ты человек семейный, а я соломенный холостяк... вольный казак... по-твоему.

Ладно! — Жихарев решительно выпрямился, сидя за столом, будто собирался что-то невозможное совершить или сказать: — Будем сражаться в одиночку!

И залпом опрокинул одну за одной обе рюмки. Затем очистил апельсин, разломил его пополам и одну половинку подал Ершову, а от другой отделил дольку и кинул себе в рот. Ершов принял апельсин и не спеша съел его.

В номере было тихо. С улицы доносился шум дворницкой метлы. В открытое окно тянуло влажной прохладой, продирался сквозь шторы рассвет. Жихарев опять налил себе обе рюмки и опять выпил их подряд, молча, в настороженной тишине, и, не закусывая, быстро зашагал взад-вперед. Сделав несколько концов от стола до порога и обратно, остановился против невозмутимо лежавшего Ершова, многозначительно сообщил:

— Пить, конечно, можно и одному. Говорят, англичане если спиваются, то преимущественно в одиночку. Запрется такой гиблый субъект — и глушит перед зеркалом свою эту, как ее... виски... Ну и аллах с тобой! Я тоже могу и один. Впрочем, почему один? Хочешь, сейчас позвоню некоторым, скажем Лисовскому, и через полчаса здесь будет целый колхоз. Есть, брат, у меня друзья-товарищи, не тебе чета. Но ты не пугайся... не позову. Никто мне сегодня не нужен.

Один, как перст, пред бурей
Жизни я стою...—

продекламировал Жихарев.— Лисовский и прочие тоже так себе... они сильны, если выпить.— Он опять кинулся к порогу, вернулся, стал у кровати Ершова и неожиданно вскрикнул: — Чего ты лежишь этак? Неужели не видишь, не чувствуешь, что тяжело человеку от одиночества? Я русский, славянин... а не англосакс какой-нибудь! Мне страшно становится мое одиночество!

Что-то больное, надрывно-искреннее почудилось в его почти истеричном выкрике, и Ершов приподнялся, сел на кровати, прислонившись спиной к стене, и вытянул свои длинные худощавые голые ноги, поставив могучие босые ступни на пол. Подложив под спину подушку, внимательно вгляделся в Жихарева, растерянно пробормотал:

— Почему ты одинокий? Одинокому — нехорошо. Одиноким не надо быть.

— Эх, что ты понимаешь, чистая, святая душа! Да и не можешь ты понимать, потому что ничего не знаешь,—

с грустью и горечью в голосе проговорил Жихарев, отходя от Ершова и опускаясь на свой стул.— Ты слишком прост, Алеша, и гениально наивен... Веришь всему и всем... а верить надо с разбором. Всем верить нельзя... рано. В том числе и мне. Да, да! И мне, брат.— Жихарев налил рюмку, выпил.— Я сегодня почему-то не пьянею,— продолжал он, переходя на диван, стоявший против кровати Ершова.— Помнишь, мы с тобой бражничали в ресторане вокзала, когда я тебя привез первый раз в город. Я там чуточку разоблачился и немного неглиже перед тобой пощеголял, хотелось понаблюдать, как ты будешь реагировать... а потом сказал, что всю правду о себе выложу, когда пробьюсь в большую литературу. Меня тогда знаешь что в тебе удивило? Полное отсутствие интереса, о какой правде я говорю. Вот и теперь, видно, тебе все равно. А может, перед тобой какой-нибудь несоветский тип! Почему тебя не интересует, кто я такой? Где твоя бдительность?

— Несешь ты спьяну какую-то чепуху,— молвил Ершов.— Почему я должен проявить особый интерес к той правде, которую ты сейчас не можешь или не хочешь сказать? Если ты за собой что-либо знаешь — это твое дело, а не мое. Хочешь сказать — скажи, не хочешь — не надо.

— Тут, видишь ли, очень сложная ситуация... Сегодня после нашего разговора перед ужином я вдруг почувствовал зависть к тебе, к твоей цельности, простоте... А самое главное, я понял, что ты недолюбливаешь меня и, как тебе сказать, смотришь на меня как на какого-то чуждого. Правда ведь, признайся?

— Ничего, брат, я не понимаю. Ложился бы ты лучше спать. Если я кое в чем с тобой бываю не согласен — совсем не значит, что вижу в тебе какого-то чуждого.

— Не видишь, так чуешь,— поправил Жихарев.

— И ничего я не чую, не выдумывай.

— Ладно. Еще вопрос: почему, по-твоему, я пью?

— Наверно, потому, что любишь пить... Потом сам не однажды говорил: семейные неприятности влияют.

Жихарев поднялся, махнул рукой:

— А-а-а! Что там семейные неприятности!— И снова начал вышагивать туда-сюда по комнате, то опуская руки в карманы, то ероша ими свои длинные золотистые волосы.— Бывают, Алеша, причины поважней семейных,— продолжал он, не переставая ходить.— Но кому... кому скажешь? Кому повем печаль мою? Ты допускаешь мысль, что есть вещи, о которых трудно и страшно, а главное, и стыдно говорить

даже самым близким? Нет, ты этого не допускаешь... ты не поймешь... потому что у тебя ничего подобного и быть не может. А у меня такое есть. И вот подошло время... не могу больше молчать, не могу! Может быть, еще и потерпел бы, но я ведь кандидат партии! Александр Степанович и Федор Федорович говорят: кому же и быть в партии, как не тебе? Отец — рабочий, сам — бывший кочегар... с высшим образованием, в комсомоле состоял. Ах, если бы они знали да ведали! Но я тогда не смог... не нашел в себе мужества сказать всю правду, несмотря на то что я не трус, Алеша, хотя и не из храбрецов. Кстати, ты ведь тоже кандидат...

— Да.

— Но у тебя совсем, совсем иное дело! — вздохнул Жихарев. — У тебя отец был коммунистом, погиб за колхозы... он был партийный. А у меня? У меня одна сплошная ложь! И никакой я не кочегар, не сын рабочего. Я — попович, сын попа. И фамилия моя не Жихарев, а Воздвиженский.

Жихарев остановился и, повернувшись, вперил в Ершова испытующий взгляд.

— Фантазируешь? — насмешливо сказал Ершов. — Проверяешь, как отнесусь? Не убегу ли немедленно от тебя, как от зачумленного?

— А разве я похож на кочегара? Разве ты всему так-таки и верил, что я тебе трепал о своей биографии?

— У тебя же документы! Справки... метрическая, паспорт... ты в партии, как же я мог не верить?

— То-то и оно, что не верить действительно трудно. — Жихарев с размаху плюхнулся на диван. — Алеша! — простонал он. — Все это фальшивки! На паровозе, правда, я работал, но всего около года, пока не добился путевки на рабфак. И метрика поддельная... папаша сработал. Он у меня эдакий благообразный попище, вроде протоиерея Савелия Туберозова из «Соборян» Лескова. Читал?

— Читал, — машинально ответил Ершов, пораженный: неужели это правда, что говорит Георгий? «Не может быть! Разыгрывает меня!» За Жихаревым водилась привычка подшучивать.

Вероятно, Жихарев по выражению лица уловил, что Ершов сомневается.

— Не веришь? — скривил он свои полные губы. — Со мной получается, как с тем пастушонком из хрестоматии, который врал насчет волка. Я столько и так искусно лгал, что мне уже не поверят, когда стану говорить правду. Но, милый мой Алешенька, это горькая и страшная правда. Чувствую, что теперь-

то уж наверняка ты будешь меня презирать и дружбе нашей конец. И прав... я достоин презрения. Однако сегодня все же выслушай. Мне необходимо исповедаться... и именно перед тобой... потому что я полюбил тебя, можно сказать, с первой встречи... полюбил за душевную чистоту, за одаренность, за то, что ты совсем не такой, какой я. Ты — из одного куска... из одного куска мрамора и и, вернее, огнестойкого металла. А я... я весь из противоречий... амальгама... Ах, как бы мне хотелось стать таким, как ты,— честным, стойким, искренним, добрым... готовым за другого человека кинуться в огонь и в воду... как кинулся ты, когда я тонул! Ты знаешь, я ведь до того случая не верил, что могут быть на свете такие люди. Читал в книгах, в газетах о разных героических личностях и всегда думал: «Агитация! Не может быть, чтобы человек рисковал собою ради ближнего».

— Да я же тогда ничем не рисковал,— спокойно и рассудительно заметил Ершов.

— Погоди, не перебивай!— широко отмахнулся Жихарев.— Как не рисковал? Лазил по дну. Ты ведь тоже мог захлебнуться... Но я что хочу сказать? У меня была уверенность, что от природы все наделены инстинктом самосохранения. Отсюда и поговорка: «Своя рубашка ближе к телу». Чего, мол, ни пиши, а человек прежде всего о себе заботится. А все эти героические штучки — просто маскировка. И вдруг — ты! И я на собственной, можно сказать, шкуре убедился, что есть на свете героические личности.

— Значит, по-твоему, я — героическая личность?— насмешливо спросил Ершов.

— Безусловно!

— Не городи чепухи!

— Может, по-твоему, все, что я говорю тебе,— чепуха? Плод пьяной фантазии? Может, и тому не веришь, что я — попович?

— Конечно, не верю!— самым серьезным тоном ответил Ершов.— Напился ты сегодня до зеленых чертиков. Ложился бы спать.

Жихарев молча встал, очистил последний апельсин, разломил пополам и одну половину поднес Ершову, а другую стал есть сам, снова усевшись на диване. Доев, вытер носовым платком руки, закурил папиросу и, пуская струей дым изо рта, наконец с усмешкой проговорил:

— Силен ты, Алексей, силен! Прямо богатырь духа! Ничем тебя не собьешь и не пробьешь. Я ведь почему затеял этот спектакль: показалось, что ты смотришь на меня как на

какого-то чуждого разложенца... потому, думаю, и пить со мной не хочет и из номера выселить задумал... под тем предлогом, что семью надо привезти и тому подобное. Ну и решил, как, дескать, он, то есть ты, посмотришь, ежели я и вправду оказался бы чужаком? Ты не рассердишься на меня за такие фокусы?

— Был бы трезвым, а с пьяного — какой спрос! — добродушно ответил Ершов.

— Алешенька! Дорогой ты мой человек! Друг мой единственный! Ты и представить не можешь, до чего я благодарен судьбе, что она свела меня с тобой! Конечно, насчет поповского происхождения я тебя разыгрывал. Но что я — амальгама, увы, это так! Отец-то у меня хоть и рабочий, а кустарь... не промышленный рабочий. А Ленин знаешь что говорил? Десять лет, не меньше, надо вариться в котле промышленного пролетариата, чтобы выварить из человека мелкобуржуазность всякую. А я что? Нюхнул только чуточку паровозного дыму! Я, брат, чувствую сам, что мелкобуржуазный тип... а вот ты цельный... ты из крестьян, но в тебе пролетарского духу во сто раз больше, чем во мне. За это я тебя и люблю! — Жихарев встал и, пошатываясь, подошел к Ершову, сел рядом. — Ты веришь, что я тебя люблю?

— Верю, верю, — скороговоркой ответил Ершов.

Жихарев обнял его.

— Дай я тебя поцелую, друг мой единственный! Друг до гроба, правильно? — бормотал он, целуя Ершова то в лоб, то в губы. — И ты не подумай, что я так говорю только потому, что выпивши. Нет, это вполне серьезно. Хочешь, поклянусь? Давай оба поклянемся в дружбе навек?

— Давай поклянемся, — добродушно сказал Ершов.

— Итак, дружба до гробовой доски! Согласен?

— Безусловно! — Ершов осторожно высвободился из объятий друга. — Тебе теперь не вредно бы прилечь немного поспать.

— Поспать? Пожалуй, пора. Ну, спокойной ночи.

Жихарев снова поцеловал Алексея и встал. Покачиваясь, подошел к своей кровати, снял одеяло, отшвырнул его в сторону, потом разулся, повалился навзничь, закинул на кровать сперва одну ногу, затем другую. Минуты через две он уже спал, изредка тяжело, со свистом, всхрапывая.

Ершов некоторое время читал, борясь с дремотой, потом и он уснул.

Проснулся, когда в номере свет лампочки беспомощно боролся с солнечным.

«Проспал! — испуганно подумал он. — Поезд мой, наверно, уже ушел!»

Жихарев лежал на своей кровати лицом к стене, лежал тихо, мирно, поджав колени чуть не к подбородку. И было в его позе что-то мальчишеское, трогательное.

Ершов вспомнил, как они клялись в дружбе, невольно улыбнулся. «Друг до гробовой доски!» Ну что же! Пусть будет так! Друзей иметь хорошо!

# ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

## 1

Аникей Травушкин доволен был, что попал в сторожа: полное одиночество до самой молотьбы (а до нее оставалось еще порядочно), уйма свободного времени — что хочешь, то и делай, хоть обувь починяй, хоть священным писанием наслаждайся, хоть на солнышке грейся, а то завались и спи в прохладе шалаша; никто ничего тут не украдет, да и красть покедова нечего — ни хлеба, ни мешков, — стоит лишь соломенный навес на восьми неоструганных сосновых кругляках. Под навесом конная молотилка, две ручные веялки. Кстати сказать, молотилка-то давнишняя, старинная, бывшая собственность самого Травушкина, которую он вовремя успел сбагрить за приличную цену товариществу по совместной обработке земли. Да что теперь уж о том толковать! Пущай пользуются до поры, хотя, конешно, сердце иной раз так и защемит, когда взглянешь на эту несчастную молотилку. Может, Митрий Ульяныч нарочно приволок ее сюда, чтобы растравливать ему душу? Нехай! Этим-то Аникея Панфиловича не проймешь: можно плюнуть да растереть и отвернуться и в шалаш податься. А шалашик хорош! Притулился вблизи навеса — новенький, из тонкого длинного камыша и таково домовито, укромно сооружен. Специально для сторожа. В шалаше два соломенных мата, ватное лоскутное одеяло, тулуп, две табуретки, оцинкованное ведро, жестяная кружка, медный чайник, чугунок, солдатский алюминиевый котелок, деревянная ложка вятской работы с золотистыми и темно-зелеными разводами. Сбоку шалаша — с кубометр березовых чурачков для варки пищи. Все это обзаведение —

колхозное и доставлено сюда самим кладовщиком Енютиным Милашкой, иначе Милентием, сыном друга Травушкина. Отец Милашки в тридцатом был выслан из Даниловки вместе с женой, а по отбытии высылки устроился в областном городе на должность дворника. Милашка же, своевременно отказавшись от родителей, втянулся в колхозную жизнь и работал более или менее добросовестно. К Травушкину он всегда относился с особенным почтением и душевной теплотой, хотя и скрытно, чтобы людям в глаза не бросалось. Он же обеспечил Аникея Панфиловича и продуктами — пшеном, ржаной и пшеничной мукой, картошкой, луком, подсолнечным маслом. Все это было выписано из кладовой самим Дмитрием Ульяновичем. Сверх выписанного Милашка осмелился привезти килограмма два свиного соленого сала и горшочек топленого коровьего масла. Готовить пищу вплоть до молотьбы Травушкину предоставлялось самому в печурке, вырытой в земле поодаль от навеса. Так что жить было можно, живи не унывай, а трудодень и двадцать пять соток за сутки пиши — и никаких гвоздей!

Травушкин захватил с собой несколько пар валенок и кожаной обуви для починки, библию, евангелие, часослов и приступил к исполнению служебных обязанностей.

Первые дни жизнь на току пришлась ему по душе. Это же сущий курорт! Умиляли неумолчный звон жаворонков, посвистывание перепелов во ржи. А вечернее небо, полное звезд, настраивало на божественный лад, на мудрые размышления о бренности всего земного. И он ехидно похохатывал: «Что, Митрий Ульяныч? Хотел прижать Травушкина? Но Травушкин сам не дурак, не такое было время, и то выкрутился. Конечно, не сообрази я во благовремении пожаловаться прокурору — неизвестно, как бы могло дело обернуться. А теперь накося выкуси! Сам партейный секретарь на защиту мою встал!»

Но постепенно, потихоньку стала к Травушкину подкрадываться скука. Думал — вот хорошо-то, один поживу. А оказывается, одному тоже скверно, тоскливо. Правда, в последние годы он и на селе жил замкнуто, друзей у него не было, но одно — в селе, где все-таки видишься с людьми, поневоле разговариваешь с ними о чем ни на есть, и совсем иное — в шалаше, посреди полевой бескрайности, где куда ни глянь — только степь да степь, да зеленая рожь колышется на ветру, не твоя, а чужая рожь горестно колышется! «Опять огромадный урожай у них!»

Иногда подолгу стоял у шалаша, глядя вдаль или на

дорогу, идущую к станции, и был рад, если показывался какой-нибудь пешеход из-за бугорка. А чаще смотрел на синеющий в мареве шевлягинский лес, с которым когда-то связывал лучшие надежды свои и который вот уж сколько лет стоит, растет, будто ничейный, будто заколдованный. Неужели же не придет, не наступит та пора, когда Князев лес вновь обретет настоящего рачительного хозяина, такого, как Аникей Панфилович? Неужели же никогда не загудят в нем лесопилки, не заскрегочут пилы лесорубов? Сколько бревен, досок пропадает зазря, сколько мебели — стульев, столов, шкафов разных — можно было бы наделать! По всей округе гул и стон пошел бы, доведись дорваться Травушкину до этого заколдованного леса. Он бы расколдовал его!

Часто вспоминалась Глафира. Месяца полтора уже не был он у нее. «Надо бы съездить, пока нет молотьбы»,— думал он. К скуке прибавлялась тоска по любовнице. Тогда и поле, и ток, и шалаш становились противными, в душе вспыхивала обида. «Что же это деется? Спихнули меня сюда вроде как за наказание! Сами позанимали разные почетные должности: один — председатель, другой — бригадир, третий — секретарь, а я сторожи тут ихнее добро! Дудки! Не желаю! В город подамся. Ничего путного не высижу я тут. А в городе куда-нито пристроит Макарка. Найду хватеру либо у Глафиры приживусь. Настасью с собой брать не стану, нехай она корень соблюдает, домашность берегет до времени».

Как-то утром пришли женщины расчищать место для тока, потом приехал Свиридов на велосипеде. И Травушкин отпросился у него в город дня на три.

## 2

Глафира Павловна была несказанно рада милому другу. Между ними издавна сложились самые близкие отношения. Когда он заявился спозаранку к ней прямо с поезда, она кинулась к нему на шею и жарко расцеловала, по-молодому расцеловала! От такого приема он даже растерялся немного, а потом очень приятно ему стало. Глафира уже не молода, но гораздо моложе Настасьи, неужто и впрямь она такую сердечность возымела к нему, человеку, в сущности, пожилому?

Тотчас же она позвонила своему начальнику по телефону и сказала: сегодня задержится и на работу припоздает часика

на два. И задержалась. Домашнюю работницу свою, Марфу, спровадила на базар, а сама вскипятила кругленький, пузатый самоварчик, поставила на стол старинный граненый графинчик с настойкой рябиновой (знала — обожает мил друг настоечку эту), яишню с салом зажарила на примусе.

Хорошо они посидели за мирно воркующим самоваром, душевно беседуя, старину вспоминая. Конечно, Травушкин у нее был не единственный, как она уверяла, были дружки и помимо него, но Аникей Панфилович до сих пор не придавал этому большого значения. И в минуты, когда она своими медоточивыми устами заверяла, что всю жизнь никого так не любила, как его, ему иной раз хотелось стукнуть ее кулаком по голове или шибануть пинком, как Ведмедя: не бреши! Но к чему и зачем? Не жена ему Глафирка, а полюбовница! Нехай выстилается, чай, не задаром.

Он был непоколебимо уверен, что любовь ее небескорыстна, и потому, ради поддержания и подогрева той любви, никогда с пустыми руками не приезжал. Вот и на этот раз привез две николаевские золотые пятерки. Смолоду еще он утвердился в мысли, что все люди жадны, загребущи, а бабы в особенности. Исключением, как это ни странно, из всех ему известных была только его жена, Настасья. Но об ней чего и говорить! Темнота непроходимая, к тому же и самая настоящая дурость его собственной жизни. Когда был парнем, втюрился по самые уши в Настасью и ни о ком другом ни думать, ни слышать не мог и не желал... С отцом чуть совсем не рассорился из-за нее. Сказать правду, завлекательна была Настасья в девках до умопомрачения. О характере же ее он меньше всего думал в те поры; только спустя порядочное время, поживши с нею, убедился, до чего же она нехозяйственна и простовата. Но жил с ней мирно. Не без того, случалось, согрешал на стороне, однако постоянных любовниц не имел до самого девятнадцатого года, пока не свел его бог или нечистый с этой Глафирой Павловной. На первых порах, впрочем, он думал только о том, что, возможно, и у него получится, как у бати, и он через эту дворяночку в большие люди вылезет. Не вечно же будет кавардак на русской земле (этак называл Травушкин сумятицу гражданской войны). Но если бы не деникинское отступление, вернее, бегство, наверно, ничего бы особенного между ним и Глафирой и не возникло бы. Случилось же так: дней за пять до прихода красных муж Глафиры, Николай Александрович Веневитин, председатель губернской земской управы, прислал

Травушкину телеграмму: «Немедля приезжай на двух подводах есть срочное дело».

Аникей Панфилович знаком был с Веневитиным с лета семнадцатого года, когда тот проводил выборы в Учредительное собрание и с неделю прожил у Травушкина на квартире, опасаясь находиться у помещика Шевлягина, своего приятеля, чтобы не уронить популярности среди мужиков. Веневитин называл себя социалистом-революционером. Много беседовал с Травушкиным. Выяснилось, что они единомышленники. Веневитин считал, что в сельском хозяйстве главенствовать должен состоятельный крестьянин. Травушкин думал точно так же. Веневитин пришел к мысли, что не в Советах беда, а в коммунистах-большевиках, и Травушкин на практике убедился в этом.

— Да вы, Николай Александрович, будто в душе у меня ночевали!

Дело, по которому Веневитин вызвал Аникея Панфиловича телеграммой, оказалось простым: надо было погрузить что поценнее из имущества Веневитиных и отвезти в Даниловку, пусть оно там сохраняется до лучших дней, а то, не ровен час, нагрянут красные, начнутся бои, и все может полететь в тартарары.

— Возьмешь с собою и Глафиру Павловну,— сказал Веневитин.— Не потому, что я тебе добра своего не доверяю, нет, а просто ей тоже лучше переждать в глуши, пока не уляжется все и не окончится эта катавасия. А когда жизнь придет в норму, я сам приеду.

Но так оно и не улеглось, и в Даниловку Веневитин не успел выбраться: пришлось ему вместе с губернатором улепетывать за границу. А жена — он или забыл о ней вгорячах, или не управился захватить с собой — осталась на попечении Аникея Панфиловича. Жила Глафира Павловна у Травушкиных в горнице на положении барыни: ничего не делала, читала книжки из библиотеки Шевлягина да, на удивление даниловцам, прогуливалась по затихшему и замершему барскому парку. А Настасья два раза в неделю мыла в горнице полы, обметала пыль со стен, стирала Глафирино «дворянское» белье, варила ей отдельный обед с мясом или курицей, как распорядился Аникей Панфилович, и, прислуживая, отвешивала «барыне» поклоны по обычаям старины.

Поначалу Травушкин тоже относился к Глафире как к барыне. О чем-нибудь таком он и помышлять даже не мог: дворянка же! Но дальше — больше, пространство между ними стало постепенно укорачиваться и, что самое примечатель-

ное, по почину не Травушкина, а Глафиры Павловны. Она запросто, по-свойски разговаривала с ним, шутила, потом стала заигрывать. Аникей был мужик хотя и низкорослый, но в те времена крепкий, полный и румяный и, несмотря на рыжие волосы, на вид довольно приятный, к тому же и обхождения деликатного: чувствовал и понимал, как следует себя вести с образованной женщиной — не нахрапом, а вежливо, наглядно не оказывая своих затаенных помыслов, словом, вести себя, как опытный кот, подкрадывающийся к птичке. И кто знает — поведением своим, наружностью ли,— покорил-таки он барыню: поздней осенью девятнадцатого года Аникей и Глафира так «сблизились», что не только Настасья стала примечать, а и соседи загалдели — балуется, мол, мужик с барыней-то!

Тогда Травушкин, в полном согласии с Глафирой, погрузил ее манатки и отвез обратно в город вместе с их хозяйкой.

О самом Веневитине не было ни слуху ни духу, да Глафира и не очень-то печалилась и тревожилась о нем.

Устроившись с квартирой (собственный дом Веневитиных был национализирован и заселен рабочими), она пошла к председателю губисполкома.

— Вы теперь губернатор?— спросила она его и, получив ответ, что он не губернатор, а предгубисполкома, напористо продолжала:— Я — Веневитина Глафира Павловна, супруга председателя губернской земской управы. Мой муж — эсер и белогвардеец, он эмигрировал за границу. Но я за границу не поехала и не собираюсь. Я — русская и люблю Россию. Вас, то есть большевиков, не понимаю и вообще в политике не разбираюсь. Но я готова с вами работать. Мне надо как-то жить, у меня никаких средств существования. Все, что было, муж увез с собой.

Председатель спросил:

— А что вы умеете делать?

— Ничего,— наивно и несколько игриво, хотя и вполне верно, ответила Глафира Павловна.

— Образование?— поинтересовался председатель.

— Петербургский институт благородных девиц. Знаю французский и похуже — немецкий.

— О!— не без удивления воскликнул председатель.— Куда же мне вас определить? Надо полагать, и русский язык вы хорошо знаете? Декрет об изменениях в правописании читали?

— Читала.

— Согласны? Усвоили?

— Насчет твердого знака вполне. В остальном — не совсем. Как, например, без ятя быть? Получаются какие-то совсем другие слова: белый, бледный, бедный... некрасиво без ятя. Но я все усвоила и могу писать без ошибок.

Председатель немного подумал, потом деловито сказал:

— Пойдете в газету корректором. Народ у нас там славный, но не весьма грамотный, ошибки бывают. А это губернской газете не к лицу. Отныне за все ошибки по грамматике отвечать будете вы.

— Как отвечать? — на лице Глафиры Павловны изобразилось недоумение.

Председатель с улыбкой пояснил:

— Будем сажать в карцер, на хлеб и воду.

— Ну, это мне не страшно, — почувствовав крупицу юмора в ответе председателя, заулыбалась Глафира Павловна.— Сейчас я сижу на одной воде, — в свою очередь сострила она.— У меня ведь нет карточки... и вообще ничего... Нетрудящийся элемент.

Хотя председатель и не поверил, что она сидит на одной воде, — самый вид женщины наглядно опровергал такое признание (Травушкин в Даниловке откормил ее, да и на жизнь в городе обеспечил соответственным провиантом чуть не на полгода, и насчет работы Глафира Павловна хлопотала отнюдь не потому, что ей нечего было есть, а чтобы обезопасить себя от всяких подозрений и случайностей, которым в те времена подвержены были так называемые бывшие), — он к ее заявлению отнесся серьезно и с полным пониманием.

— Теперь будете иметь карточку, как трудящийся элемент, — заверил председатель и дал ей записку к редактору губернской газеты.

И Глафира Павловна Веневитина стала корректором. В конце двадцатых годов ее перевели в книжное издательство литературным сотрудником. В этой должности она проработала уже больше двенадцати лет.

### 3

Квартира Глафиры Павловны состояла из спальни, столовой и небольшой кухни, в которой помещалась Марфа — шустренькая, худенькая старушонка лет под семьдесят из бывших монашек. По существу, домашней работницей ее нельзя было и считать, потому что она в профсоюзе не со-

стояла и не стремилась в него, заработной платы не получала и не претендовала на нее, а жила в согласии с евангелием, вполне довольствуясь крохами, падающими со стола и из рук госпожи своей в виде остатков пищи и старых платьев, поношенных шляпок, туфель, платков, чулок и даже пальто и прочего добра, часть которого истово донашивала, а остальное сбывала на толкучке. Платья и пальто старушке, разумеется, приходилось перешивать по причине того, что была она во всех направлениях вдвое меньше госпожи своей.

Травушкин любил и уважал старушонку за широкую осведомленность в священном писании и в богослужениях, часто беседовал с нею о вере православной, и беседы эти приносили ему сердечное утешение, успокоение и укрепляли в нем веру в господа и его святых угодников.

Вечером пришли приглашенные Травушкиным, конечно с согласия Глафиры Павловны, кум Енютин и Варнакин. Они бывали тут не впервые, нередко Травушкин приглашал их сюда во время своих наездов в город для дружеского разговора и отдохновения. И всякий раз в комнаты Глафиры Павловны они входили, как в храм: осторожненько ступая, осеняя себя широким крестным знамением, хотя никаких икон на виду не было, да и не полагалось им быть у советской служащей.

Вот и теперь они длинно махали руками с плеча на плечо навстречу вышедшим из «покоев» Глафире Павловне и Аникею Панфиловичу. Оба осведомлены были о тесной связи их приятеля с бывшей дворянской женой и относились к этому не только не осудительно, но с наивозможной доброжелательностью, с полным уважением и с небольшой долей скрытой зависти. Промеж себя они считали: «Аникушка весь в отца пошел. Тот через ухажерство за барыней в люди вылез, и энтому фартит по любовной части. Худо только то, что энтой барыне самой большого размаху нету пока... но вернись все на старое — Аникушка так в гору попрет — на рысаках не догонишь!»

А что на старое может еще повернуться, они — и Варнакин и Енютин — тоже нет-нет да и подумывали.

Енютин был среднего роста, немного сутулый старик с худым желтоватым лицом и с длинной узкой бородой пепельного цвета. Темноватые, с сильной проседью волосы его подстрижены по-старинному, в кружок. Он был в серой паре, в простых, но хорошо начищенных ваксой сапогах. По внешнему виду напоминал церковного старосту царских времен.

Варнакин выглядел совсем иначе. Во-первых, он казался гораздо моложе своего друга, хотя стриженная клинышком бородка светилась у него чистейшим серебром. Молодили его гладко выбритые, лоснящиеся щеки с ярким, свежим румянцем и очень живые, с хитрецой, водянистые небольшие глазки, внимательно, как бы изучающе глядевшие из-под бугроватых надбровий. Во-вторых, одет он был совершенно по-городскому: рубашка с отложным воротом, коричневый в белую горошинку галстук, синий костюм, а на ногах — черные полуботинки. По виду это был уже вполне городской человек. И Травушкин не без зависти посмотрел на него: если бы Варнакин не жил в городе, разве он смог бы так одеваться!

— Проходите, проходите! Милости прошу, присаживайтесь! — приятно улыбаясь, говорила Глафира Павловна, а они, не осмеливаясь здороваться с нею за руку, отвешивали поясные поклоны.

Стараниями Марфы и самой хозяйки скоро на столе водружена была еда — жирный поросенок, студень, вареная свинина, маринованная рыба, и все это — на больших блюдах и крупными порциями. Глафира всегда старалась угодить вкусам друзей Аникея Панфиловича, а вкусы эти за многие годы она узнала хорошо и всякий раз принимала гостей с неослабевающим радушием, надеясь, что при случае они могут еще пригодиться ей когда-нибудь. Правда, таких случаев пока не выпадало, но ведь могут же и выпасть. Кроме того, сам Аникей Панфилович был для нее полезным и прибыльным человеком, почему же не принять его друзей так, чтобы они остались довольны?

Вслед за едой были поставлены графины с наливками, среди которых была и любимая Аникеем Панфиловичем рябиновая. «Постаралась Глафирушка!» — подумал Травушкин с удовольствием.

Когда все было готово, уселись за стол по приглашению хозяйки. Сама она села на «красном» месте, как и полагалось, справа от нее — Аникей Панфилович, рядом с ним — Енютин, по левую сторону Глафиры Павловны устроилась Марфа, возле нее — Варнакин. Остались свободными еще два места: должны были прийти сын Аникея Макар и немец — инженер авиационного завода — Август Фрей. Но они что-то сильно задержались, а может, и совсем не придут, потому и решено было не дожидаться их.

Прежде чем приступить к трапезе, Глафира Павловна распорядилась:

— Читай, Марфа!

Все встали с серьезными, нахмуренными лицами. Марфа, истово крестясь, сипловатым голосом медленно, проникновенно прочитала молитву «Отче наш». Все истово, торжественно крестились. Аникей Панфилович под конец даже вздохнул, сокрушенно пробубнив: «Ох, грехи наши тяжкие!» К чему этот вздох относился — он и сам не мог бы определить. Просто нашло вдруг какое-то странное, грустноватое настроение.

Глафира Павловна мельком взглянула на милого друга, приветливо улыбнулась, и Аникей Панфилович, сразу повеселев, приободрился и, когда Марфа кончила читать, по-хозяйски произнес:

— Ну что же! С верою и надеждою приступим!

И налил рябиновки сперва Глафире Павловне, потом Енютину, Варнакину, Марфе и себе. Марфа запротестовала было, но Глафира Павловна осадила ее.

— Не юродствуй, Марфуша, выпей, ты ведь любишь рябиновочку,— сказала она добродушно.— Выпей во славу божию. Пейте, дорогие гостечки, кушайте на доброе здоровье,— добавила она, беря свой бокал и поднимая его осторожно над столом.

Бокалы у всех были приличных размеров и призывно розовели под ярким светом электрической люстры, наполненные до краев наливкой. После приглашения хозяйки Варнакин и Енютин дружно потянулись к ней чокнуться, затем к Аникею Панфиловичу, тем самым как бы признавая его по меньшей мере за второе лицо после хозяйки, чокнулись и с Марфой и друг с другом и, сладострастно причмокивая, не спеша выпили.

После первого бокала и хозяйка и гости молча закусывали, насыщались чем придется, но больше налегали на поросенка, так что перед вторым бокалом Глафира Павловна полушепотом приказала Марфе принести из кухни жареную баранину в поддержку убывающему поросенку. С беспрекословной проворностью Марфа выполнила распоряжение хозяйки, и на столе появилось новое блюдо, на котором умещалось не менее полбарана, хорошо поджаренного и разрезанного на безобидные щедрые доли.

Варнакин растроганно, размягченно, сердечным тоном заметил:

— Голубушка ты наша, Глафира Павловна! У тебя только и душу отводим. Смотрите, милые мои, как хорошо-то! И все по-православному, по-старинному, а не по-бусурмански.

И с молитовкой! И всего вдосталь! Дозволь же теперь, голубушка, за твое драгоценное здоровьице!

Варнакин протянул свой полный бокал к Глафире Павловне, и она чокнулась с ним. Лицо ее сияло радостной удовлетворенностью. Примеру Варнакина последовали и Енютин с Травушкиным.

Никто не удивился такой горячей вспышке у Варнакина верноподданнических чувств: всем было известно, что именно Глафира Павловна помогла ему устроиться заведующим складом коопторга, а за подобное благодеяние человек должен быть благодарен.

По осушении второго бокала начали развязываться языки.

Енютин все доказывал Аникею Панфиловичу, что надо тому, не раздумывая, покидать Даниловку. Пора, пора! «Ну, чего в ней теперь, в Даниловке энтой?»

Травушкин крутил головой, насмешливо подтверждал:

— Ничего нету, куманек! Одни колхозы! Аж три колхоза в одной Даниловке! А в колхозах что? Трудодни! Вот заработал я, к примеру, всего со старухой своей триста трудодней. Придет осень — и дадут нам с ней по три килы зерна. Сколь энто будет? Скажем, полсотни пудов. Ну, чего в них? Може, энто и удивленье какому-нибудь Половневу Петрушке или Крутоярову Родьке, а Травушкину? Травушкину, куманек, сам знаешь, энто тьфу! В двадцать шестом, помнишь, все закрома, всю ригу завалил хлебом. Около тыщи пудов! Вот энто я понимаю! А то полсотни! И скажу так: хотя должность мне теперича предоставили нетяжелую, а впоследствии, возможно, и прибыльную,— все равно не желаю! Они там все, голоштанники наши, начальниками поделались, а я девять годов в рядовых... куда сунут, туда и иди. Не желаю!

— Я же и говорю: ну ее к ляду, Даниловку энту!— талдычил Енютин.— Переезжай, кум, переезжай! Мы с тобой тут такую кадилу раздуем — нечистому тошно станет, ейбогу! По совести сказать, с энтим-то,— приблизившись к уху Травушкина, он снизил голос до шепота, кивнув в сторону Варнакина,— с ним неможно хорошее дело иметь... того гляди, подведет либо надует... неверный стал человек и хитрющий до невозможности.

Травушкин кивнул:

— Он и раньше не того... легкомысленный был.

— Вот я же и говорю. И приходится одному, потому — других пособников никак не подыщу. Нужны ведь верные люди. А дело, скажу тебе, дюже прибыльное... На «толпе» есть

кое-какие знакомые... и через них продавай смело... больше лахматурой промышляю, потому как ее мало и она всегда в цене.

Не заметили, как вошел Макар Травушкин. Двери ему открыла Марфа. Низкорослый, полный до квадратности, с крупной темноволосой головой, начинавшей с затылка плешиветь, свежевыбритый, пахнущий одеколоном, фигурой он явственно походил на папашу своего, но обличьем был в мать: что нос, что рот — все было в норму и гораздо приглядистей, чем у отца. Кому-кому, а Енютину и Варнакину это было особенно видно, они-то знали, какими были в молодости и Аникей Панфилович и Настасья.

Макар довольно развязно, но приветливо поздоровался сперва с хозяйкой, потом с остальными за руку и, сняв с себя пиджак, повесив его на спинку стула, сел подле Енютина.

— Извините, Глафира Павловна, жарковато,— сказал он.

— Пожалуйста, Макар Аникеич, пожалуйста,— заулыбалась та.— Чувствуйте себя как дома. Налейте-ка ему штрафную, Флор Анисимыч!— посоветовала она Енютину.

Енютин немедленно налил. Макар, не жеманясь, решительно «хлопнул» бокальчик и весело крякнул. Енютин поспешил налить второй. Не закусывая, Макар «хлопнул» и второй, а затем уж, понюхав кусочек черного хлеба, начал вилкой тыкать в баранину, ища кусок побольше и помягче. Сосредоточенно жуя, он прислушался к разговору отца с Енютиным и важно вставил:

— Вы, батя, не того! Дядя Флор — человек к городской жизни уже привычный, вот ему и кажется, что вам переехать — раз плюнуть. А вы житель все время сельский, вам надо подумать, прежде чем решиться. Возьмем такой вопрос — квартера. С виду очень простой вопрос: человек одинодинешенек где-нибудь да пристроится. А промежду прочим, вовсе это и не так.

И Макар глубокомысленно нахмурил черные брови, приподнял указательный палец. К отцу он обращался на «вы», желая показать всем тут сидевшим, что он, Макар Травушкин, вполне культурный человек.

Аникей Панфилович не без обиды в голосе отозвался:

— А ты, Макарушка, не тревожься шибко, к тебе же я не навязываюсь.

— Обо мне и толковать нечего: сами видали, две комнатенки, общая кухня и двое детей плюс домашняя работница.

— У меня поживет покамест,— примирительно сказал Енютин.— Тесновато, да потерпим, в тесноте — не в обиде. Правда, кум?

— Ну-к что ж, ну-к что ж,— согласился Травушкин.— Можно на время и у тебя.

— Опять же другой вопрос: пачпорт!— строго возгласил Макар.— У вас, папаша, его нету. Значит, нужны всякие справки от вашего правления колхоза и от сельсовета. А какие справки они вам дадут? Вы подумали? А без справок паспорта вам тут не полагается.

— И чего вы спорите?— вмешалась в разговор разрумянившаяся, повеселевшая от рябиновки Глафира Павловна.— У нас с Марфой будет жить Аникей Панфилович. Человек эвон в какие годы меня, буржуйку-дворянку, пригрел-приютил, не побоялся. Неужели же я позволю ему по каким-то углам шататься? Живи у меня, Аникей Панфилович, сколько тебе вздумается, вот и весь мой сказ.

Аникей Панфилович несколько сконфуженно промолвил:

— Благодарствую, спасибо, Глафира Павловна.

Варнакин льстиво заметил:

— Ангельское сердце у нашей Глафиры Павловны! Благодетельница!

Но Макар не унимался:

— А пачпорт, пачпорт, Глафира Павловна! Как быть с пачпортом?

— Устроим и паспорт,— решительно заявила она.

Макару пришлось сдаваться. Он провел ладонью по тому месту своей головы, где намечалась порядочная прогалина, и солидно заключил:

— Это другой вопрос, Глафира Павловна. Как вы, так сказать, умная и практическая женщина, то покорнейшее вам спасибо. Но как я человек партейный, сами понимаете, то поимейте в виду — мое положение в данном вопросе стороннее. И вы, папаша, не обижайтесь и не сердитесь на меня. Вы помните, когда была возможность, я помог вам, и благодаря мне вы, так сказать, свободно по сегодняшний день существуете. Теперя время пришло другое, и нам с вами приходится ухо держать востро, особенно же мне.

Макар с достоинством замолчал и потянулся к графину. Разговоры на время затихли. Все почувствовали себя как-то не особенно ловко после речи Макара. Принялись с новой энергией пить и есть. Постучал кто-то в дверь. Марфа пошла открывать и вернулась в сопровождении инженера Фрея. Инженер поздоровался сначала с Глафирой, объяснив свое

опоздание тем, что не было тока и трамвай стоял, а больше не с чем было ему приехать с другого берега реки, где он жил в новом городке. Потом с улыбкой обошел всех гостей, каждому по-дружески пожимая руку, и сел на свободный стул.

Фрею, как и Макару, Варнакин налил «штрафную». Отпив половину, инженер поставил бокал.

— Большое спасибо! — сказал он, улыбаясь и кивая то в сторону Глафиры, то в сторону гостей.

Его темные густые волосы были расчесаны на косой пробор слева направо. Узкие черные усики под мясистым носом растягивались при улыбке, словно резиновые. Фрею было за пятьдесят, но он выглядел свежо, моложаво, и его чисто выбритые, с кирпичным румянцем щеки лоснились и сияли завидным здоровьем.

Поглядывая искоса на немца, Енютин, немного захмелевший, говорил Травушкину:

— Уж как там у вас в деревне — не знаю, давно не был и не тянет туда... Ну, а в городе у них гайки завинчены крепко. Макар верно бает, и ты на него не обижайся. Трудно стало... и царствию ихнему не видно конца... а ежели оно и убудет, то нам с тобой не дождаться. А мне ждать уж надоело. Сколько лет ждем, подумай! И чего дождались? Стало быть, что же? Одно я вижу решение: не рыпаться нам с тобой и изловчиться получше жить и при теперешних порядках. В писании сказано: несть власти аще не от бога. Значит, они угодны богу. А писание ты знаешь похлеще, нежели я. Опять же, единожды живем на свете-то! Так что давай, куманек, мы с тобой выпьем в честь твоего присовокупления к городской жизни.

— Давай выпьем, — охотно согласился Аникей Панфилович, а про себя думал: «Правильно кум бает. Надолго, видать, они укрепли, а може, и насовсем! И чего я сидел в деревне, как бирюк? Чего высидел? Сами они не уйдут, а прогнать некому. Всех они расчепушили в пыль. Кабы со стороны кто-нибудь помог! Но кто? Кому мы нужны? Да и много ли нас теперича осталося?»

Ему вдруг стало тяжело и тоскливо. Никакого же просвета впереди! Невозможно дальше так жить и терпеть, гнить в безделье. Одна утеха — Глафирка. «Вот и буду жить с ней тут, — продолжал свои размышления Аникей Панфилович, выпив и закусив. — Но немчура энтот! Откуда его нечистый принес? Года два уже увивается вокруг да около нее. Неспроста! Ну ничего! Стану тут жить — отошью его к чертени

матери»,— решительно заключил он, уничтожающим взглядом пронзая инженера.

Такое заключение несколько успокоило Травушкина, и ему начали рисоваться уже другие, совсем противоположные картины, радужные, как они с Глафирой Павловной устроят жизнь совместную. Работать, возможно, он и не будет. Зачем она ему, работа? Средств у него хватит прожить лет на двадцать, а то и поболее. Вот и заживет он в свое удовольствие на склоне дней и Глафире прикажет работу бросить, и станут они с ней жить, как живали встарь господа, ничего не делая. Будут по городу прогуливаться, в церковь ходить, чаи распивать. И ну их к лешему, все леса и лесопилки и все земли! Ничего ему теперь не нужно. Для кого стараться? Для сыновей? Но Макарка вон отпихивается от него, Андрею же и подавно все богатства, наверно, ни к чему.

Когда рябиновой не осталось в графине, хозяйка сама сходила на кухню и принесла опять полный; она, видать, подметила, что Аникея Панфиловича все сильней тянет к наливке, и не намерена была противиться этой тяге. А он действительно то и дело наливал бокальчик и, ни к кому не обращаясь, опрокидывал его под скрипучие речи кума Енютина.

За столом внимание всех переключилось теперь на Августа Фрея. Он говорил, жестикулируя и то и дело улыбаясь всем своим широким румяным лицом, и почти не спускал глаз с Глафиры Павловны. Получалось так, что речь его обращена главным образом к ней. Вслушиваясь и очень мало понимая, о чем балакает немец, Аникей Панфилович с неприязнью думал: «Вишь, как жрет глазищами Глафирку! Ну погоди, я с тобой поговорю, дай мне тут осесть, укрепиться!»

Наконец Аникей Павлович все-таки понял, что немец недоволен русскими, считает их неумелыми управителями. «Что же, может быть, касательно большевиков и так, но не все русские неумелы! Нет, не все!» — подумал Травушкин.

— Вам нужень наш культур, инаще ничего не путет.

Несмотря на то что Аникей Панфилович кое в чем был согласен с немцем, его начинала разбирать злость. Неприятно было уже то, что все не просто слушают немца, а прямо в рот ему смотрят, а еще неприятней, что сам Фрей не сводит взгляда с Глафиры. Никогда до сегодняшнего вечера Травушкина не захватывала с такой силой ревность. Если

раньше он смотрел сквозь пальцы на неверность своей «полюбовницы», то теперь его бесило от мысли, что она могла целоваться с этим Фреем и тоже называть его «милым другом».

— Ты погоди-ка!— остановил он вдруг Фрея.— По-твоему, что же выходит? Мы, русские, без вас, без немцев, никуды не годимся? Ах ты немчура чертова!— Аникей Панфилович встал со своего стула и направился к немцу, покачиваясь, словно матрос на палубе во время шторма. Возле его стула остановился, для верности ухватился одной рукой за спинку.— Ты это брось!— сумрачно сказал Травушкин, грозя указательным пальцем.— Мы, русские, все можем! И получше вашего! Говорите спасибо, что большевики помешали, а то мы вас расколошматили бы в семнадцатом году!

— Польшевик и наш враг,— сказал Фрей.— Но ви нас не побиль бы, нет!

— Если большевики и ваши враги, почему же не поможете нам свалить их?— заплетающимся языком спросил Травушкин.

— Тише, тише! Чертова голова!— закричал Варнакин, весь вечер сидевший смирно и больше слушавший. Подбежав к Аникею, он обнял его за талию и потащил от немца.— Мы политикой заниматься не должны,— шептал он на ухо.— А ты в присутствии партейного товарища мелешь бог знает что! Неважно, что энтот партейный — твой сын. Мы не знаем, как он на это посмотрит.

Аникей Панфилович замолчал, он совсем опьянел и раскис и еле держался на ногах. Варнакин с помощью Глафиры Павловны отвел его в спальню и там уложил на просторном кожаном диване. Почти тотчас же Травушкин уснул.

Утром Глафира Павловна разбудила его часов в одиннадцать и сообщила, что Гитлер напал на Россию. Травушкин по-ребячьи протер затекшие с перепоя глаза, пробормотал:

— А ты не шутишь, Глафира Павловна?

— Какие уж тут шутки!

— А как же теперича с Фреем? В ту войну убирали немцев отовсюду.

— Не знаю. Даст он о себе знать, если что-либо такое. А может, прибежит еще сегодня вечером.

— А нам с тобой как от энтой войны, хорошо или плохо?

— Бог ведает,— раздумчиво ответила Глафира Павловна.

Фрей не появлялся больше у Глафиры, и она не знала, что

с ним. Только в следующее воскресенье Фрей прислал письмо, что он выслан из России через Турцию в Германию и что попрощаться не имел возможности. А еще дня через три Глафира сказала Травушкину, что лучше ему пока вернуться домой: время военное, с получением паспорта и пропиской теперь будет трудно. Травушкин понял это по-своему: «Наверно, надоел я ей. Староват становлюсь». Но спорить не стал. Война смешала и спутала все его планы, и он не знал, как теперь быть и что делать. Распрощавшись с Глафирой Павловной по-хорошему, пообещав вскорости снова навестить ее, он уехал в Даниловку.

---

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

### 1

В то воскресенье работали на прополке свеклы. Ночью где-то грохотал гром, сверкали молнии, но дождь прошел стороной. А утром небо расчистило, только кое-где, как бы застывшие, стояли ребристые светлые облака. Блестела на солнышке зеленая ботва молодой свеклы. Вся плантация пестрела разноцветьем платочков и платьев женщин и девушек. Слышались разговоры, смешки, а иногда раздавалась и песня — какая-нибудь старинная, тягучая: это пели пожилые женщины.

Пелагея работала рядом с Галей, старалась не отставать от нее. Но Галя сразу же вырвалась далеко вперед, так что даже подружки ее Вера и Лена, работавшие по соседству, не могли угнаться за ней.

Солнце поднялось уже довольно высоко, когда на дороге, ведущей в Александровку, неожиданно показался верховой. Он птицей пластался над землей, казалось не касаясь ее, летя от Даниловки, припав к гриве коня и махая согнутыми руками в такт бега, словно крыльями. Некоторые заметили всадника, лишь он показался из-за бугорка и замельтешил вдали маленькой черной точкой. А Лена Бубнова разогнулась и, стоя с тяпкой в руке, следила за ним неотрывно, не замечая того, что безнадежно отстает от подруг. Ей почудилось: едет Огоньков, к которому она в последнее время была неравнодушна, потому что он начал всерьез ухажи-

вать за ней. Но куда он и зачем? И почему так гонит лошадь?

Возле шалаша всадник чуть не на ходу соскочил с коня, подбежал к столбику, на котором висел кусок рельса, и начал заливисто, словно на пожар, звонить часто-часто.

Галя бросила тяпку и с криком: «Мама, это же Вася наш!» — понеслась по междурядью. Впереди мелькали ноги других полольщиц. Вот девчата окружили уже Васю. Он что-то сказал им торопливо, тряхнув черными длинными волосами. Галя услышала только одно слово: ВОЙНА! А когда подбежала к столбику, Вася уже скакал наискосок к дороге в сторону Александровки.

Подбегали другие отставшие полольщицы, спрашивали, что случилось, с кем война.

— С фашистами!— вразнобой отвечало несколько голосов.

Галя, с трудом переводя дыхание, стояла и смотрела на мчавшегося брата. «В район! Совсем загонит коня!» — подумала она, бессильно опустив свои черные, загорелые руки.

Война!

Шумя и громко разговаривая, девчата плотной кучкой двинулись на дорогу. Вскоре вслед за ними пошли и женщины, и Пелагея с Настасьей.

Всем казалось, что раз война, то теперь не до работы, надо скорее бежать в свое село, чтобы там, вместе с мужиками, что-то немедленно делать, как-то артелью встать против надвинувшейся беды.

## 2

На второй день с утра все село пришло в движение. По улице тянулись подводы, груженные сундуками, мешками. Возле правления толпился народ. Слышались сдержанные разговоры. Секретарь райкома партии товарищ Демин в защитного цвета гимнастерке стоял у запыленной легковой машины в кругу колхозников. В широком стекле открытой дверцы автомобиля пылало второе солнце, заливая дрожащим жаром побеленную теневую сторону дома правления.

Галя вместе с подругами Верой и Леной находились в самой людской гуще. Они молча, потерянно смотрели на все вокруг, прислушивались к разговорам старших. А те говорили больше о войне, так внезапно вспыхнувшей... Пожилые мужчины вспоминали четырнадцатый год.

— Тогда мы первые объявили.

— Мы объявили, а он вот без объявления, как разбойник.

— Да, гад! Подкрался.

— Мы им дадим землицы!

Вспоминали и восемнадцатый, когда немцы, забрав Украину, протягивали лапы к Центрально-Черноземной полосе.

— Вольные земли наши уж очень нравятся им!

— Мы им дадим землицы!

— Аршина по три на душу!

О том, что такое война, Галя знала по книгам, кинокартинам, по скупым рассказам отца. Она умом понимала: это что-то страшное, грозящее жизни прежде всего тех, кто в ней непосредственно участвует, но живого представления у нее не было, и поэтому ей больше вспоминались сражения по фильмам, с лавинами красной конницы, преследующей бегущих белых. Она пыталась вообразить, какое место займут в событиях, подобных виденным в фильмах, Вася, Илья, которые уже были призваны, и не могла. Знала только одно, что они могут быть убиты, но сердцем не верила в это.

Между тем народ все прибывал.

Но вот на крыльце появились Свиридов, Тугоухов. Они торопливо спустились вниз и подошли к Демину, стали что-то говорить ему.

Никогда Галя не видала такого множества людей на этой площади. Вон и отец ее рядом с Родионом Яковлевичем, оба мрачные, нахмуренные, стоят молча. И Лаврен Евстратович, и Демьян Фомич, и Глеб Иванович, хотя последнему провожать некого: кроме дочери Лены, у него никого нет.

Возле дощатой красной трибуны стояли призванные парни. Среди них Галя отыскала глазами брата Васю, Илью. Она привстала на цыпочки. Илья и Вася о чем-то разговаривали между собой, смеялись. «Илюша! Милый! Неужели я вижу тебя в последний раз?» Она так и не поговорила с матерью о замужестве, и в загс съездить, как собирались с Ильей, они не успели.

Вдруг Илья покинул Васю и направился прямо на трибуну вслед за Свиридовым, Деминым, дедом Афанасом. Галя решила протиснуться поближе. Лена и Вера потянулись за ней. Женщины сердились на них:

— Чего толкаетесь? Куда вас несет нелегкая?

— Не все равно им, где стоять!

Наконец девчата вынуждены были остановиться: дальше

пройти не было никакой возможности. Но все же они довольно близко подошли: Гале теперь отчетливо видны были все стоявшие на трибуне. Дед Афанас без фуражки. Крупными жесткими ладонями он поправил свои взлохмаченные седые волосы, строго глядя куда-то вдаль. Широкой белой бородой его поигрывал легкий ветерок. Отец суровый, насупленный. Между дедом и отцом — Илья. Держась обеими руками за перильца, он искал кого-то глазами в народе. Может, ее, Галю? Она нарочно вынула белый платочек и стала обмахиваться им, чтоб Илье легче было отыскать ее. Но нет, он не замечал, не находил Галю свою.

Высокая, стройная Вера была деловито-сосредоточенна. Белая косынка ее съехала на затылок, обнажив каштановые волосы, заплетенные в косу. Она тоже не сводила глаз с трибуны, хотя Васи там не было. Она, видимо, сильно волновалась, лицо ее пылало.

Лена ни на шаг не отставала от Гали. И на улице, когда шли сюда, и здесь она не переставая тараторила, то рассказывая что-нибудь, то высмеивая кого-либо. Вот и теперь дергала Галю за рукав кофточки, тихо прыскала от смеха.

— Глянь, глянь! Твой-то на трибуне! В ответственные попал! Наверно, речугу сейчас закатит. Послушаем, какой такой оратор любезный наш Илюшенька.

Галя с досадой отмахнулась от нее:

— Замолчи, Ленка! Ты мне уже надоела со своими подковырками.

Митинг начался речью Демина. Он говорил негромко, без выкриков, без жестов, говорил, словно беседовал.

— Гитлер напал на наши границы, не объявляя войны, вероломно нарушив договор с нами. Он намеревается разгромить Советский Союз, захватить наши земли, поработить народ. Но это ему не удастся, товарищи! Мы землю свою, политую нашим потом и кровью, землю дедов и прадедов наших, никому не отдадим, мы будем биться за нее и за нашу Советскую власть, не щадя жизни своей. Под руководством нашей славной Коммунистической партии мы разобьем гитлеровскую армию и прогоним от наших священных рубежей. Смерть фашистским извергам! Да здравствует Коммунистическая партия! Да здравствует могучий советский народ!

Как во сне Галя слушала речи Демина, деда Афанаса, Дмитрия Ульяновича и вместе со всеми кричала:

— Ура! Смерть фашистам!

Особенно шумно и горячо аплодировали деду Афана-

су.. Галя видела, как он волновался и как его колени дрожали.

— Бейте немца крепче! — насупив седые брови, гневно, но внятно, неторопливо говорил он.— Надо его навсегда отвадить от наших ворот, чтоб он и дорогу к нам запамятовал на веки вечные! Ить энто что же такое получается — второй раз на моей памяти немец рушит нашу мирную жизню. Остервенел совсем Гитлер ихний. Вы там проучите его как следует, ребята! — И дед поворачивался лицом к призванным парням, группой стоявшим вблизи трибуны.— Жаль, староват я, а то бы тоже с вами!

После выступления деда раздались голоса:

— Позвольте слово!

— Запишите меня... добровольно иду на фронт! — выкрикнул грубоватый мужской голос.

Демин поднятой рукой установил тишину и пояснил, что насчет записи добровольцев пока никаких указаний нет, и предоставил слово от мобилизованных Крутоярову Илье, трактористу-стахановцу.

Илья начал ровным, спокойным тоном, похоже, подражая секретарю райкома партии:

— Насчет нас можете быть уверены, товарищи колхозники,— спуску мы врагу не дадим. Мы постоим за Родину как полагается. И вы, дедушка Афанас, не сомневайтесь — фашистам мы всыплем по первое число. Мы их навсегда отучим воевать! — не выдержав тона, выкрикнул Илья.— Мы их расшибем в пух и прах, так что они и костей своих не соберут! И потом скажем: хватит! Сидите смирно и никого не трогайте! На земле должен быть мир. Зачем людям понапрасну убивать друг друга? — После небольшой паузы Илья опять негромко и спокойно продолжал: — До свиданья, товарищи, отцы, матери, деды и бабушки наши! До свиданья, дорогие девушки! Не скучайте, мы скоро вернемся. Вернемся с победой! Ура, товарищи!

Народ дружно подхватил «ура», так дружно, что площадь загудела, как лес в бурю, а повариха Луша, даже когда все уже затихли, еще раза два крикнула.

Галя пристально наблюдала за Ильей. На какую-то долю секунды он показался ей совсем иным человеком, непохожим на того простого и веселого деревенского парня, которого хорошо знала и любила, который играл на баяне, гулял с ней, обнимал, целовал ее. Он будто сразу недостижимо возвысился над ней, стал как бы в один ряд с такими людьми, как секретарь райкома Демин.

Между тем Илья, видать так и не нашедший Галю в толпе, продолжал водить глазами во все стороны. Конечно, он ищет ее! У Гали вдруг сжалось сердце, на глаза навернулись слезы. Близятся прощальные минуты! Ей захотелось крикнуть: «Илюша! Здесь я!» — но не осмелилась.

Свиридов торопливо сбежал вниз, за ним сошли остальные. Трибуна опустела, хотя никто не объявил о закрытии митинга, как это всегда делалось. Наверно, забыли.

Демина внизу обступили мобилизованные. Дружелюбно улыбаясь и щуря свои монгольские глаза, он пожимал им руки, подвигаясь от одного к другому и на ходу говоря:

— Надеюсь на вас, дорогие! Не посрамите нашего района и земли русской. Воюйте храбро, мужественно. Почаще пишите с фронта и родным своим и нам — райкому партии и комсомола. А ты, Илья, хорошо, правильно сказал!

Илья смущенно улыбнулся, все еще продолжая искать Галю, и именно в этот момент увидел ее. Наспех попрощавшись с Деминым, он поспешил к ней. Галя была рядом с братом Васей, державшим на ремне баян Ильи. И когда Илья подошел к ней, она почувствовала, что он — ее, родной, любимый, а то, каким он показался ей на трибуне,— просто что-то чудно́е, померещившееся, вроде как во сне. Она застенчиво подняла на него свои светящиеся черные глаза и робко улыбнулась какой-то особенной печальной и будто виноватой улыбкой. Взгляд этот был так нов и необычен, столько в нем было чего-то такого, что никакими словами не выразишь и не объяснишь, что Илья не выдержал, и все в нем дрогнуло, затрепетало, наполняя душу тревогой. И чтоб заглушить это свое непонятное состояние, он весело и громко выкрикнул:

— Ну, поехали, Вася!

И с шутливой небрежностью взял Галю под руку.

Обоз тронулся. Зашуршали, заскрипели, затарахтели колеса по мощенной булыжником улице. По бокам с обеих сторон около телег шли мобилизованные и провожающие — матери, отцы, дети, бабки, девушки, парнишки лет пятнадцати-шестнадцати.

### 3

Пелагея Афанасьевна брела рядом с телегой, на которой лежали вещи Васи, Ильи, Вани Тугоухова и других. Она то и дело прикладывала к глазам скомканный бордовый плато-

чек. Вася подошел к матери и тихо-тихо стал уговаривать ее, чтобы она не беспокоилась, обещая скоро вернуться.

— Ох, сыночек! Знаю, какое это скоро! Отца твоего вот так же проводила, да более семи годочков и не видала. Хорошо еще, живым вернулся.

— То было одно время, теперь — другое,— серьезно возразил Вася.— Мы их, фашистов паршивых, живо расчихвостим. Мы им покажем, где раки зимуют!

— Помоги вам господь, хорошо бы оно так-то,— сквозь слезы плаксиво говорила Пелагея Афанасьевна.— А ну-ка не вы их, а они вас?

— Да ты что, маманя! Как же это может быть? Ты такое лучше и не думай и не говори.

— Я, сынок, к тому, что не надо говорить гоп, пока не перепрыгнешь. И пуля, она ведь дура... всякое может случиться...

К ним подошел Петр Филиппович.

— Ну чего ты, мать?— с теплотой в голосе глухо сказал он.— Утри слезы. Не надо... Не один же наш — все идут. Что ты, всамделе, словно по покойнику.

Лошади шли медленно, лениво махали хвостами, крутили головами, отбиваясь от нахально нападавших оводов и мух. Жара была нестерпимая. Собаки лежали в тени строений, часто дыша открытыми ртами, и длинные розовые языки их были высунуты до отказа.

Илья крепко сжимал руку Гали и задумчиво говорил:

— Ты, Галюша, не печалься, мы быстро домой возвратимся. Помнишь, в тридцать девятом белорусский поход был — месяца за два все прикончили. Так и теперь. Самое позднее — осенью будем дома. Тогда и свадьбу сыграем.

Галя слушала внимательно, и ей было странно, что в такую минуту он напомнил о свадьбе. Может, он хочет этим утешить ее?

— Я тебя не понимаю, Илюша, о чем ты беспокоишься?— рассудительно сказала она.— Свадьба какая-то! Пустяки все это!

Илья вспыхнул, бурно покраснел и обидчиво проворчал:

— Не знал, что для тебя это пустяки. Что же... тебе видней. Андрюшка Травушкин ученый, его, гляди, не пошлют воевать.

Галя плотно прижалась к нему плечом и взволнованно, ласково сказала:

— Да ты с ума сошел, Илюша! При чем тут Травушкин?

Ты не так меня понял. Пустяки в том смысле, что момент же неподходящий говорить о своем, о личном. Но ты верь... Нет у меня на свете никого и не будет...— После небольшой паузы полушепотом добавила:— Кроме тебя!

Губы ее мелко задрожали, глаза затуманились слезой.

От этих слов и от того, как они были сказаны, Илью бросило в жар. Нежное чувство радости и благодарности затопило его сердце, и он с трудом удерживался, чтобы не схватить Галю на руки и не расцеловать ее тут же, принародно. И, немного склонившись, не отрывая глаз, жадно смотрел на нее. Как она ему мила, как дорога! Если бы можно было всю жизнь не расставаться с ней ни на минуту!

— Галчонок мой любимый! Родная моя!— горячо зашептал он, сжимая ее руку с такой силой, что она чуть не вскрикнула.— Прости меня насчет Андрюшки. Вгорячах... Никогда больше не буду. Очень трудно мне расставанье... вот в голову и лезет всякое.

Обоз потихоньку выбрался за село. Старшие Половнев и Крутояров шли вдвоем сбоку шоссе по той самой тропке, на которой месяца полтора назад разговаривали о войне, а Пелагея ехала впереди.

Да, тогда они хотя и говорили о войне, но почти не верили, что она возможна.

И теперь об этом своем разговоре оба не могли не вспомнить.

— Ошибся ты, Филиппыч,— сказал Крутояров.— Ждал войну осенью или будущей весной, а она подкараулила нас с тобой средь лета.

— Да-а!— неопределенно и мрачно протянул Половнев.— Так скоро не ожидал я ее... Заспешил Гитлер... Похоже, хочет помешать нам урожай убрать как следует... А урожай-то видишь какой!

Обоз ехал как раз мимо высокой колосистой ржи.

Половнева и Крутоярова догнал Свиридов. Он был в белой рубашке с вышитым воротом, в серой кепке, сдвинутой набекрень. По бритому раскрасневшемуся лицу его струился пот.

Взяв Половнева под руку, Свиридов спросил:

— Об чем толкуете, мужики?

— Да о войне все, будь она неладна!— ответил Крутояров.

— Что же об ней толковать теперь! Воевать надо!— со вздохом сказал Свиридов.

— А может быть, Гитлер испугается, когда увидит, что

наш народ, как один человек, поднялся?— предположил Крутояров.

Половнев отрицательно покачал головой:

— Навряд! Не шутка — начать такую катавасию от Черного моря до Балтийского. Теперь он не остановится, если мы сами не остановим его.

Свиридов сказал:

— Перед митингом я сводку прослушал. Бомбит, мерзавец, Одессу, Минск, Ригу и даже Киев.— Помолчав немного, он приглушенным голосом продолжал:— Иду я, мужики, и какие же думки мне в голову лезут? Не вовремя эта война, ох как не вовремя! Годочков с десяток бы мирно пожить нам.

— Вот и мы об этом думали,— сказал Половнев.

— И еще какая мысль мне пришла,— снова заговорил Свиридов.— Жив был бы Ленин, может, войны-то и не было бы?

— А что же мог бы сделать товарищ Ленин, если они давно зубы точат на нас?— возразил Половнев.— Войны от буржуев. Гитлер тоже не кинулся бы на Советский Союз, если бы ихние кулаки и капиталисты не зарились на наши богатства.

— А помнишь, как в восемнадцатом Владимир Ильич взял да и заключил Брестский мир? А мы ведь тогда совсем ослабели. Кабы не мир — немец до Урала мог бы допереть. Нет, что ни говори, а товарищ Ленин был очень сметливый. Возможно, он и теперь оттянул бы войну годочков на десять. А там мы посмотрели бы... Нас тогда голыми руками не взять бы.

— Нас и теперь голыми руками не взять,— заметил Половнев.

А Крутояров назидательно произнес:

— Товарищ Сталин тоже себе на уме.

— На уме-то на уме, да ум у Сталина больно прямой, далеко ему до Владимира Ильича.

Половнев сердито оборвал Свиридова:

— Замолчи, Дмитрий Ульяныч! Разве можно подобное говорить? Не ко времени такие речи и не об том теперь думать!

— Да я ничего,— виновато пробормотал Свиридов.— Я не хаю товарища Сталина. Но все ж таки с Владимиром Ильичем, сдается мне, нам было бы легче.

Половнев снял кепку, вытер ладонью вспотевший лоб и твердо сказал:

— Теперь для нас самое главное — отбить и сокрушить эту окаянную силу, что навалилась на нашу Родину. Чую, повозиться нам придется с Гитлером этим. Ведь он, гад, чего задумал! Совсем Россию к рукам прибрать. Но не выйдет, нет, не выйдет!— уверенно заключил он, надевая кепку.

Немного впереди сбоку подводы шли Тугоухов и Бубнов. Вдруг они остановились. Бубнов стоял с незажженной папиросой во рту, у Тугоухова была его знаменитая трубка с предлинным мундштуком. Демьян Фомич чиркал спички одну за другой, но они гасли, задуваемые ветерком. Наконец Бубнов взял у него коробок и, спрятав огонек между ладонями, прикурил свою папиросу и всунул ее в трубку счетовода. Тот почмокал-почмокал, и трубка задымилась. Пуская дым колечками, Демьян Фомич подошел к Пелагее Афанасьевне, приподнял свою фуражку.

— Здравия желаю, Афанасьевна!— почтительно поклонился он.— Трудное дело, Афанасьевна, трудное! Однако плакать не будем... не надо.— Немного пошатываясь, Демьян Фомич вполголоса затянул:

Настал, настал тяжелый час...

Оборвав песню, снова серьезно заговорил:

— Война — нехорошая штука, Афанасьевна. Но слезами беде не поможешь! Впрочем, ты плачь, тебе можно, как ты женщина. А вот мне нельзя, я мужчина... и должен крепиться. И креплюсь! А сына, единственного сына убить могут проклятые фашисты. Это как же понимать? Для чего жил, для кого жил, трудился Демьян Фомич? Вот то-то и оно!

Шли и ехали по шоссе и по наезженным колеям сбоку. Рожь стояла с обеих сторон зеленая, густая, в рост человека, печально склонив свои крупные, длинные колосья, которые от движения воздуха слегка покачивались, будто кланялись тем, кого провожали на войну. И запах от нее шел духмяный, пряный, как от печи, в которой хлеб выпекается. Поодаль от дороги все время свистел перепел, и было похоже, что он скрыто сопровождает обоз. И такая тишина стояла кругом в поле, так дышало все миром и спокойствием, и все было так просто и обычно — и слабо волнующаяся рожь, и васильки у дороги, и свист перепела, и чистое небо, на котором лишь кое-где светлели маленькие облачка, и яркое солнце,— что и не верилось, будто где-то гремит уже война и льется человеческая кровь.

## 4

Площадь перед вокзалом была запружена телегами, лошадьми, людьми из окрестных сел и деревень, и от нее несло горьковатым запахом лошадиного пота. Люди возбужденно разговаривали, перекликались. Слышались сочные грубоватые шутки.

У самого вокзала собрался кружок человек в пятнадцать и пел:

**Прощай, любимый город,**
**Уходим завтра в море...**

И молодой парень, очень похожий на Васю, махал руками, управляя хором. Пелагея Афанасьевна с тревожным чувством смотрела на веселящуюся молодежь. Что же это они так-то поют да пляшут, будто перед бедой! Разве ж так надо провожать на войну? И невольно вспомнила, как она провожала Петра Филипповича в армию в одиннадцатом году. Тогда все село ревмя ревело по новобранцам, хотя и войны еще никакой не было, и сама Пелагея все глаза выплакала, пока дошла до станции, а на станции Петруша еле оторвал ее от себя перед посадкой в поезд. Зато вот и жив остался. А не поплачь да попляши — неизвестно еще, как оно обернулось бы. И, вспомнив прошлое, она сказала мужу:

— И что же это деется, Филиппыч! Будто они на праздник собрались. Война ведь, какое же тут веселье.

— Ничего, ничего, пусть повеселятся,— негромко говорил Петр Филиппович.— Веселье делу не помеха.

Демьян Фомич взмахнул руками и надсадно закричал:

**Последний нонешний денечек!**

Его сын Иван, невысокий чернобровый парень, подбежал к нему и остановил его. Демьян Фомич шутливо пожаловался:

— Что же это такое, Филиппыч? Плакать не разрешается, потому как мы не женщины, и петь тоже не дают. Что же нам, мужикам, делать?— И, покачиваясь, поднял кверху палец, многозначительно сам ответил:— Нам остается только водку пить. Пойдем, Филиппыч, сыновей ведь провожаем. Я тебя хочу угостить.

Половнев отказался, и Тугоухов один поплелся к вокзалу, с трудом пробираясь между возами.

Возле телеги с вещами остались Петр Филиппович,

Пелагея Афанасьевна, Вася, Илья, Галя, Вера, Бубнов. Лена присоединилась к группе молодежи из другого села и, что-то болтая, смеялась с ними, потом плясала. Свиридов и Крутояров ушли узнавать, когда, как и где будет посадка в вагоны.

— Что делать с баяном?— в раздумье спрашивал Илья, ни к кому не обращаясь.

— Обязательно с собой бери,— сказал Вася Половнев.

— Придется,— сказал Илья и, помолчав, спросил:— А где же наш Огоньков? Почему не провожает своих трактористов?

Вася ответил:

— Его вызвали в МТС. Там теперь переполох: надо заново бригаду создавать. А из кого? Утром я виделся с ним: расстроен страшно! Неловко ему, вишь, что нас взяли, а его оставили. Я, говорит, на тракторе могу? Могу! А почему на танк не гожусь?

## 5

Вдруг на платформе дали несколько протяжных сигналов горном, и сразу вся площадь зашевелилась, закачалась, пришла в суматошное движение. Шумя и толкаясь, люди двинулись к товарным красным вагонам. Послышались вскрики, всхлипывания, плач женщин, девушек.

Илья подошел к Пелагее Афанасьевне, неловко поцеловал ее в лоб и тихо-тихо проговорил взволнованным голосом:

— До свидания, тетя Поля. Скажите моей маме, чтоб она не журилась. Поговорите с ней.

Мать не провожала Илью: ей нездоровилось.

— Ладно, ладно, сынок, поговорю,— обещала Пелагея Афанасьевна, в свою очередь целуя Илью.

А он, глянув в сторону Петра Филипповича, покраснел, неловко переступил с ноги на ногу и совсем шепотом добавил:

— Галю берегите... Вернусь — мы с ней поженимся. Так мы договорились.

Всю дорогу он обдумывал, как сказать Пелагее Афанасьевне о том, что Галя ему теперь уже больше чем невеста. Он чувствовал и понимал, что, уходя на войну, обязан сказать и своим родителям и Галиным всю правду, но так и не осмелился до сих пор. «Подробней я им всем напишу с дороги»,— решил он, испытывая некоторое облегчение оттого, что хоть Пелагее Афанасьевне о главном наконец сказано.

— Ох, Илюшенька,— горестно вздохнув, протянула Пела-

гея Афанасьевна.— Чего уж теперича! Ворочайся только, ворочайся, сыночек!

— Вернемся!— бодро сказал Илья и, приблизившись к Гале, обнял ее и трижды поцеловал в губы.

Провожающие прощались с мобилизованными, торопливо говорили бессвязные слова. Вася, поцеловав мать и Галю, порывисто обнял Веру и, крепко прижав ее голову к своей груди, взволнованно выдохнул:

— До свидания, Верунчик! Не тревожься!— И, обернувшись, поцеловал за компанию и Лену, только что подошедшую к возу, которая на все глядела спокойными глазами, с наивным любопытством постороннего человека: она никого не провожала. Но когда ее поцеловал Вася, она сразу погрустнела и растроганно проговорила:

— До свиданья, Васечка! Пиши, не забывай нас, осиротелых!

Илья и Вася взяли свои чистые белые мешки с домашней провизией и, уже больше не прощаясь, направились к вокзалу. Пелагея Афанасьевна первая заторопилась за ними. Загорелое лицо ее тонкими морщинками возле глаз сжурилось, по щекам потекли крупные слезы, и она не вытирала их. Петр Филиппович взял ее под руку, озабоченно и ласково упрашивая:

— Не надо, мать, не надо! Крепись!

Вышли на платформу, сдавливаемые и теснимые людской массой. Тут Илья и Вася снова со всеми расцеловались. Подошли и Ваня Тугоухов с отцом, видать изрядно захмелевшим, Родион Яковлевич Крутояров. Родион Яковлевич рассказал, что ребятам из колхоза «Светлый путь» садиться в вагоны от двадцатого номера по двадцать третий включительно, а номера написаны мелом на дверях. Ваня тоже попрощался со всеми, а Демьян Фомич не вытерпел и пустил слезу.

— Сыночек мой!— бормотал он.— Единственный мой! Ты там того... этого... и пиши, пожалуйста.

— Ладно, ладно,— небрежно сказал Ваня, взял свой красный сундучок и пошел к вагону с огромной цифрой «20». Демьян Фомич рванулся за сыном, стремясь не отстать.

Илья и Вася вслед за Ваней тоже полезли в вагон, уже полный парней. Большинство были в одних рубашках, в старых, поношенных брюках. Все знали, что в областном городе получат обмундирование, и потому одевались и обувались кое-как.

Не успели Илья и Вася подняться по железной висячей лестнице, послышались возгласы:

— Ого! Нам повезло! С баяном.

— Да это Илья Крутояров!

— А ну, рвани, Илюша, «Последний нонешний»!..— весело крикнул кто-то.

Илья уселся на свежей, пахнущей сосной доске, положенной между нарами, взял у Васи баян, широко развернул мехи, пробежал пальцами по клавишам. Но играть не пришлось: раздался свисток паровоза. Вагоны крякнули, громыхнули сцеплениями и поплыли, неторопливо выговаривая колесами: «Мы поехали-пошли! Мы поехали-пошли!»

И вокзал, пестрая толпа народа, белые березы посадок поплыли назад.

— Васенька!— вскрикнула Пелагея Афанасьевна истошным голосом и, протянув вперед руки, вся сотрясаясь, зарыдала.

Если бы подоспевший вовремя Петр Филиппович не подхватил ее, она упала бы тут же, на платформе, усыпанной песком и морскими ракушками.

А Галя не замечала, что делается с матерью, она не сводила глаз с вагона, в котором были Вася и Илья, стоявший теперь у двери и махавший старенькой, выцветшей кепкой. Светлые вихры его раздувал ветер. Над вагонами, словно флаг, струился серой полосой паровозный дым.

— Прощай, Илюша!— Галя подняла кверху платочек, размахивая им.— Прощай, Вася!

И Вера кричала что-то, и Лена кричала, и все провожающие кричали. Духовой оркестр играл марш, трубы ослепительно блестели на солнце. Парни, стоявшие на платформе, громко орали:

— Смерть Гитлеру!

— Долой фашистов!

Из вагонов им дружно отвечали:

— Смерть!

— Ура!

В длину всего поезда, то затихая, то усиливаясь, неслось протяжное:

— А-а-а!

Держась за двери, высунулся всем туловищем Ваня Тугоухов.

— До свидания! До свидания!— улыбаясь и сияя белыми крупными зубами, повторял он и махал одной рукой.— Мишка, не забудь, об чем просил!

Это он увидел в толпе провожавших Мишу Плугова и напоминал ему о своем каком-то наказе.

Мелькнул последний вагон, умолк оркестр. Дежурный по станции, небольшого роста, худощавый, с черной бородкой, постоял, пока задний вагон миновал последнюю стрелку, поправил одной рукой свою красную фуражку и, ни на кого не взглянув, удалился в вокзал с таким видом, будто провожать шумные и полные эшелоны на войну для него обычное, простое дело. Вот уже и задранное вверх крыло семафора опустилось, приняв горизонтальное положение, а Пелагея Афанасьевна, поддерживаемая мужем, все стояла и смотрела вслед уменьшавшемуся поезду, чувствуя, как ноги ее подгибаются, словно восковые...

Народ стал расходиться, платформа пустела. Галя подхватила мать с другой стороны.

— Пошли, мам! — дрожащим голосом сказала она.

На площади их уже ждал Демьян Фомич. Волосы и густая темная борода его были встрепаны. Он объявил, что Свиридов распорядился всех лошадей гнать зачем-то в Александровку и сам туда уехал, а домой придется идти пешком.

— А я вот фуражку где-то посеял! — заключил он. Последнее сообщение никого не тронуло, никто не посочувствовал ему.

## 6

По сухой, утоптанной тропе, виляющей обочь шоссе, даниловцы пешком возвращались домой, грустные, озабоченные тем, что так много молодых ребят проводили на войну. Все понимали, что иначе нельзя, и все знали, что на нелегкое дело поехали ребята, что война будет посерьезней, чем у Халхин-Гола или с финнами. И чтобы заглушить тоску и душевное беспокойство, старались теперь говорить не о войне, а о чем-либо другом, а некоторые поругивали председателя, что угнал коней. Можно было бы отвезти людей, а потом уж ехать в Александровку.

Миновали пристанционный поселок, крахмало-паточную фабрику, дымящую узкой железной трубой, похожей на мундштук.

Солнышко лишь чуть свалило с полудня. В небе громоздились крупные лиловые облака с краями, похожими на огромные куски ваты, подмоченной слабым раствором марганцовки. Воздух звенел от беспрерывного стрекотания кузнечиков. С полей веяло легким теплым ветерком, пахнущим

пылью, васильками, рожью. Взорам открывался широкий вид на окрестность. В прозрачной синеве марева виднелись дальние села — Чернояры, Волчий Кут, Никольское — с зеленеющими садами, темно-голубые холмы, белые церкви с острыми шпилями колоколен, будто воткнутыми в кучевые облака. Вскоре показались и крыши Даниловки — бурые, красные, зеленые, двухэтажное здание средней школы. Ветряк стоял с неподвижными распростертыми крыльями, словно богатырь, приготовившийся к единоборству. Обширный колхозный сад ласкал глаза крупными верхушками столетних дубов, промеж которых выделялся один, и люди знали, что это Марьин дуб.

И все это — Даниловка, окрестные хуторки, села с садами и ветряками, с соломенными и железными крышами изб и домов,— все нерушимо покоилось среди беспредельных сплошных массивов озимых и яровых хлебов, изумрудных лугов, пересеченных узкими лентами речушек, заросших ивняком, тальником и кугой, среди мирной сельской тишины, никем и ничем не нарушаемой. Родное, привычное с детских лет — все показалось теперь Гале каким-то новым, по-особому дорогим и красивым, и в то же время на все вокруг будто пал туманный налет невыразимой грусти и печали.

И нет рядом с Галей брата Васи, и, может, не будет уже радостных встреч с Ильей — ни вечерних, загодя намеченных, ни случайных — дневных. Увез Илью красный поезд, и гул колес не слышен уже, и поезда самого не видно, только вьется сиреневый дымочек величиной с носовой платок над телеграфными столбами, вытянувшимися солдатской шеренгой вдоль линии. И всему конец, и счастью больше не быть! Зачем же Галя идет домой? Что ее ждет там? Не лучше ли бы сесть вместе со всеми в вагон и рядом с Ильей ехать навстречу тревожной боевой судьбе?

Впереди, поперек шоссе, под яркими солнечными лучами то и дело возникали волнующиеся, дрожащие ручейки воды, а когда подходили поближе — там ничего, кроме горячих камней, не было. Ручей — это лишь мираж! Не так ли и счастье человеческое: ты за ним гонишься, оно видится вдали, вот уж ты к нему подходишь, протягиваешь руки и... обнимаешь пустоту. «Нет, нет! Не так,— запротестовало все существо Гали.— Счастье было... и счастье вновь будет, когда вернется Илья, а он вернется, он обязательно вернется!»

Пелагея Афанасьевна понемногу успокоилась, перестала плакать, но все время слабли и подкашивались у нее ноги.

И Петр Филиппович с Галей по-прежнему поддерживали ее. От горя она совсем обвяла.

— Ноженьки мои не слушаются,— слабым голосом говорила она, чуть улыбаясь.— Что же это со мной?

— Потерпи, Полюшка, потерпи,— просил ее Петр Филиппович,— скоро придем.

Поодаль шли Бубнов, Лена, Демьян Фомич, Вера, ее отец, Лаврен Евстратович, тоже провожавший старшего сына своего. Вдруг Демьян Фомич остановился, хлопнул себя ладонью по лбу.

— Трубки нет!— испуганно и горестно воскликнул он.— Либо я забыл ее в буфете? Наверно, и фуражка там. Но фуражка — леший с ней, она старенькая, а без трубки никак невозможно мне!

— Ничего! Не помрешь!— пробасил Плугов.— Давно тебе потерять ее пора.

— Тебе что? Ты, конечно, рад!— обиделся Демьян Фомич.— А мне каково!

Бубнов посочувствовал:

— Трубку жалко! Она у него прокуренная.

— В том-то и дело! Чего он понимает, кулугур энтот,— кивнул Демьян Фомич на Плугова.— Десять лет я пользовал ее, да до меня из ней курили. Без трубки я не жилец! Бумажные цигарки терпеть не могу.

И Демьян Фомич поплелся обратно на станцию, как ни уговаривал его Лаврен Евстратович «наплевать» на трубку.

---

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

### 1

Услышав, что началась война, Наташа тотчас подумала: «Алешу призовут немедленно».

Он сам говорил ей, что в первый же день войны должен явиться в военкомат, не дожидаясь повестки. Так как военный билет свой он взял с собою, сказав, что там станет на учет, то Наташа решила: призовут Алешу в городе. И все же весь день в то воскресенье она ждала мужа домой: ведь, наверно, можно сначала приехать попрощаться, потом уж идти в военкомат.

К вечеру всей Даниловке стало известно, что большинство ровесников Ершова мобилизовано, и Наташа поняла: не сможет, не успеет Алеша в Даниловку.

В понедельник до свету она отнесла Катю своей матери, а сама заспешила на рабочий поезд, проходивший станцию в четвертом часу утра. Подходя к станции, Наташа услышала отдаленный гул колес, увидела серые клубы паровозного дыма и припустилась бегом. Наверно, опоздала бы, если б побежала к кассе за билетом, но о билете она вгорячах даже не подумала и на ходу вскочила на подножку, обронив при этом свой небольшой узел, покатившийся по платформе рядом с вагоном, словно футбольный мяч. К счастью, проводник следующего вагона, мужчина лет тридцати пяти, спрыгнул и поднял его, а когда поезд миновал стрелки, принес Наташе, стоявшей в тамбуре, еще не отдышавшейся и не опомнившейся от страха: могла и сама под колеса угодить. Она приняла узел и поблагодарила проводника. Видимо, он был хороший и добрый человек — даже билета не спросил, чего особенно боялась Наташа: без билета могут высадить на следующей станции, и тогда в город попадешь только к вечеру,— он лишь пожурил ее, очень деликатно объяснив, что не умеючи нельзя на ходу садиться в вагон,— счастье ее, что поезд только тронулся.

Ей удалось занять место у окна. Узел свой она обмахнула от пыли и положила рядом с собой, к стенке, чтобы кто-нибудь по ошибке или по глупой привычке «путать свое с чужим» не стащил его: после того как она чуть не лишилась узла, он стал ей еще дороже, хотя, в сущности, ничего дорогого в нем не было: десятка три яиц, сваренных вкрутую, пара чисто вымытых и отутюженных носков, четыре носовых платка и две пары новеньких портянок из замашного полотна. Все это было, по мнению Наташи, крайне необходимо для Алеши на первых порах его боевой красноармейской жизни, не говоря уже о том, что с пустыми руками ей было бы просто неловко встретиться с мужем. Посидев, она проверила, не побились ли яйца, оказалось, только у некоторых скорлупа немного помялась.

Вагон представлял собой простой зал с сиденьями по обе стороны и проходом посередине. Под потолком тускло светились две электрические лампочки. Едва поезд проследовал за выходной семафор, лампочки, немного поморгав, погасли. И тогда Наташа увидела: далеко-далеко, над темно-синими увалами степи, всходило солнце — мутно-красное, невеселое, какое-то недоспавшее.

Скоро поезд вошел в Князев лес, тянувшийся почти до самого города, километров на пятьдесят с лишним. В вагоне стало сумрачно, тоскливо.

Народу было еще немного, обычно пассажиров прибавлялось на следующих станциях.

Наташе не раз приходилось ездить этим поездом. Бывало, люди ехали молча, дремали, а некоторые, растянувшись на свободных лавочках, крепко спали, используя утренние часы для отдыха,— возил-то поезд главным образом рабочих.

Сегодня никто не спал, слышались разговоры о войне, о разбойничьих налетах фашистов на такие тыловые города, как Одесса, Киев, Минск, о мобилизации. Кое-кто высказывался в том смысле, что немца скоро остановят и погонят назад. Были и такие, которые уверяли, что это не война, а пограничный конфликт. Но их резко обрывали: какой же это конфликт, если они на много километров по всей линии, от моря до моря, продвинулись и далекие от границы города бомбят?

Наташа жадно вслушивалась. Ей особенно по душе было соображение, что это не война, а конфликт. Она повернулась лицом к говорившему, сидевшему позади нее, чтобы получше послушать и разглядеть его. Но разглядеть в сумраке невозможно было, угадывалось только, что человек это немолодой и с усами.

Поезд, гулко грохоча, все шел и шел сквозь лес. Солнце еще не проникало в чащу деревьев, устойчивый мрак чем дальше от опушки, тем был непроницаемей и казался загадочным и жутким, как в сказках с Бабой Ягой и Соловьем-разбойником.

Мысли одна тяжелей другой осаждали Наташу: возьмут Алешу на войну — и прощай хорошая, счастливая жизнь в городе, о которой неотступно мечталось в последние дни, которая вот-вот должна была наступить. На войне Алешу могут и убить. Тогда они с Катей станут совсем несчастными, сиротами. Правда, у Наташи есть отец и мать, но она уже как-то отдалилась от них, срослась душой с мужем и считала, что родней и ближе его нет у нее никого на свете и быть не может.

И вдруг подумала: а где она будет искать его? Куда идти? В военкомат, в редакцию? Из писем знала, что работает Алеша в газете, а живет в гостинице. Но в какой гостинице? На какой улице? Зачем она едет? Всего две открытки и одно письмо написал он ей, и адреса точного не сообщал, и сам глаз не показывал уже больше месяца. Ой, неспроста это! Разве так не могло случиться, что приглянулась ему в городе какая-нибудь девушка с образованием, красивая, которая по-городскому разговаривает и одевается, у которой чистень-

кие, мягкие ручки, не то что у Наташи — в мозолях, потрескавшиеся от прополки и прочих грязных работ деревенских. И когда она так подумала, ей захотелось вернуться домой. Она же не перенесет, если увидит, что Алеша будет недоволен ее неожиданным приездом.

После третьей остановки в вагоне народу стало уже полным-полно. Солнце теперь поднялось и жарко нагревало стекла. Пооткрывали окна, в них потянуло свежим ветерком, разгонявшим табачный дым и духоту.

Наташа по-прежнему смотрела в окно, и уже не мрак был между деревьями, а голубоватые полосы света, медленно завивавшиеся шелковыми лентами между темных стволов сосен и ярко-белых берез, тихо кружившихся словно девки в танце. Сидевшая рядом с ней пожилая женщина прислонилась головой к ее плечу и спала. Наташе было жалко женщину, и она боялась пошевелиться, чтоб не разбудить ее. Женщина в годах, наморилась, похоже; пускай поспит и силенок наберется для городской колготы и хождения по магазинам в поисках ситца и сатина.

Когда женщина проснулась, Наташа спросила, зачем она едет в город. Та поправила на голове черный в белую горошинку платок, сбившийся, пока она спала, и сказала, что в городе живет ее сын, которого, наверно, мобилизуют, и она едет повидаться с ним, так как сам, конечно, он приехать в деревню не сможет — не пустят его в такое время. Проклятый фашист топчет уже нашу землю, солдатам надо торопиться на сражение с неприятелем.

И белесые брови женщины сердито сдвинулись, а над переносьем резко обозначились две глубокие морщины, простершиеся чуть ли не до половины крутого загорелого, с желтизной лба.

Наташе было приятно, что ошиблась в своих предположениях, зачем ехала женщина в город, но еще приятнее то, что ее собственные мысли и чувства касательно войны в точности совпадали с мыслями и чувствами опытной, любящей и доброй матери, едущей провожать сына в страшные сражения с фашистами, и она призналась, что едет провожать мужа.

— Это ты очень хорошо поступаешь, милая моя,— одобрила женщина.— А мой сынок холостой еще. Он только по весне вернулся из армии... чернорабочим работает на чугунном заводе. Ухажерка-то есть у него, да это совсем другое дело, не сравнить с женой. Ухажерок много, а жена одна. Иному мужику она матери дороже.

С вокзала Наташа поехала в трамвае, решив идти в редакцию.

В редакции за небольшим столиком при входе сидела девушка-швейцар и смотрела в развернутую, видать свежую, газету. Она сказала, что Ершов работает на втором этаже, в пятой комнате, но самого его сегодня не заметила: может, пришел, а может, еще и нет его.

С бьющимся сердцем Наташа открыла дверь в пятую комнату. За двумя столами сидели два человека и что-то читали, а третий стол был свободен — наверно, это Алешин, но самого Алеши не было.

В одном из сидевших она узнала того самого молодого парня, который приезжал в Даниловку, а потом перетянул Алешу в город. К сожалению, фамилию его она никак не могла вспомнить и в растерянности остановилась у входа, не зная, как и к кому из двух обратиться.

Вдруг этот парень поднял глаза от бумаги, которую читал, и, уставившись на вошедшую, суховато спросил:

— Что вам угодно, гражданка?

— Ершов тут работает? — тихо спросила Наташа.

Она первый раз в жизни была в редакции и оробела до невозможности.

— Тута, тута! — развязно и несколько насмешливо сказал молодой человек (а второй так и продолжал сидеть, уткнувшись в бумагу и чиркая по ней большим синим шестигранным карандашом). — Вернее, работал. Но уже не работает. А вам он для чего? Что-нибудь писали или принесли в наш отдел?

— Я жена Ершова, — проговорила Наташа, по-девичьи краснея и опуская глаза.

— Жена?! — удивился молодой человек, сразу посерьезнев. — Наташа? Как же я вас не узнал? Мы ведь знакомы. Вы меня помните? Жихарев... Георгий Георгиевич Жихарев, — отрекомендовался он. — Был у вас в начале мая.

— Помню... как же! — Наташа открыто посмотрела на него серыми ясными глазами, преодолевая робость и довольная, что он сам назвал себя и тем вывел ее из затруднения.

Жихарев встал, подошел к Наташе, с легким наклоном головы поздоровался с ней за руку и пригласил садиться на стул, стоявший сбоку его стола, по всему видать — специально для приема посетителей.

— Да что же сидеть, — сказала Наташа. — Мне бы Алешу. Не знаете, где он?

— Как не знать! Чай, вместе жили все время. В воен-

комате он. Спозаранку ушел. Пожалуй, пойдемте туда... может, застанем...

Двор военкомата был запружен людьми разных возрастов, но Алеши тут не оказалось. В углу двора средних лет военный с небольшими черными усиками строил в одну шеренгу молодых ребят.

Жихарев, оставив Наташу, пошел в помещение узнавать, где Алеша. Вернувшись минут через пять, он сказал:

— Пошли! Алеша на складе, обмундирование получает.

На трамвайной остановке, в ожидании трамвая, Жихарев говорил:

— Поступок, конечно, героический... но слишком поспешный. Вчера сразу он (речь шла о Ершове) направился в военкомат. К чему такая торопливость? Пришлют повестку, тогда иное дело. Я ему говорю: мы — газетчики, мы на особом положении. Нас если и призовут, то не в пехоту, а как работников печати. «Нет, говорит, я должен... Я не газетчик, а пулеметчик». Ну что с ним сделаешь? Вообще он у вас норовистый, вернее, с характером. Вы любите его?

— Люблю,— не задумываясь, попросту ответила Наташа.

— Сильно?— с оттенком шутливости спросил он.

— Сильно,— серьезно и все так же просто сказала она.

— Мда-а!— промычал Жихарев.— Это хорошо... очень здорово, должен я вам сказать. Он вас тоже любит... и все собирался поехать за вами, но не успел. Вчера утром совсем уж было собрался, а тут — война! Я ему: ты поезжай, повидайся с женой, дочкой, с Даниловкой своей... А он: какое я имею право? Чудак!

У ворот военного склада стоял часовой с винтовкой. Он не пропустил Жихарева и Наташу во двор. Жихарев начал было уговаривать часового, пуская в ход свое красноречие. Часовой мрачно поглядел на него и решительно проговорил:

— Гражданин! Вам сказано — нельзя, ну и нечего тут рассыпаться. Отойдите подале, вон туда!

Минут пятнадцать Наташа и Жихарев стояли на другой стороне улицы, ожидали, не выйдет ли Ершов вместе с обмундированными. Наташа не выпускала из рук свой узел, и, когда Жихарев из джентльменской вежливости хотел помочь ей, она решительно запротестовала.

— Он не тяжелый,— сказала она.— И потом — своя ноша не в тягость.

Ершова они так и не дождались, несмотря на то что, пока

стояли, прошли две роты красноармейцев в новых гимнастерках, сапогах и фуражках.

— Неужели его уже отправили? — сказал Жихарев, когда прошла третья рота, обдав его и Наташу пылью и терпким дегтярным запахом новых сапог. — Он же обещался забежать в редакцию, попрощаться. А может быть, он уже в редакции, нас ищет? Пойдемте скорее.

В редакции Стебалов сообщил: Ершов заходил минут десять назад и сказал, что будет ждать Жихарева и Наташу в номере.

Действительно, Алеша был в номере. Он встал навстречу Жихареву и Наташе — высокий, стройный, весь в военном, но без фуражки, остриженный наголо, неузнаваемый, совсем иной по сравнению с тем, каким уезжал из Даниловки. И все же Наташа сразу признала его, родного, незаменимого. Она сунула куда-то в сторону — не то на стол, не то на какую-то тумбочку — свой так бережно хранимый все время узел и, обеспамятев, кинулась к мужу и замерла, припав головой к груди, обхватив его своими жестковатыми руками.

Ершов, улыбаясь, медленно и нежно гладил жену по голове, прикрытой белым платком с синими и розовыми цветочками.

— Ты одна?

— Одна, — прошептала Наташа, чувствуя, что от волнения потеплело в ее груди и на глаза навертываются слезы.

— А Катя? — спросил Ершов, не сходя с места и продолжая гладить платок жены своей длиннопалой крупной ладонью.

Он понимал, почему она приехала, и внутренне одобрял ее приезд, но ему хотелось бы и с дочкой попрощаться, уходя на войну.

— Катю я у мамы оставила, — сказала Наташа, слегка отстраняясь от мужа и поправляя платок на голове. — Маленькая она... Куда ее...

— Жаль, — вздохнул Ершов.

— Ты надолго? — спросил его Жихарев, стоявший поодаль от обнимавшихся мужа и жены и все время пристально и завистливо наблюдавший за ними.

Ершов вскинул руку и посмотрел на часы, купленные им на толкучке вместе с Жихаревым всего неделю назад.

— Ровно два часа в моем распоряжении, — ответил он.

— Тогда я пойду в редакцию, сдам статью... а проводить тебя приду.

— Ладно, — согласился Ершов, поняв, что друг хочет

оставить его наедине с женой, и про себя поблагодарил Жихарева за такую деликатность, которой до сих пор не наблюдал за ним и, по совести говоря, не ожидал.

Когда он, закрыв за другом дверь на ключ, возвращался обратно, Наташа снова бросилась к нему. Она была в летнем голубом платье, всегда нравившемся Ершову, от нее веяло теплом ее разгоряченного ходьбой и жаркой погодой тела и привычным запахом ее любимых духов «Ландыш». Он молча взял ее на руки, как ребенка, жадно целуя в сухие горячие губы.

## 2

Потом они сидели рядом, обсуждали, как им дальше быть. Ершов был уверен, что война долго не продлится и он, самое позднее к зиме, вернется. Тогда они переедут в город. Квартиру ему, конечно, дадут и после войны, как обещали. С фронта он будет регулярно писать ей письма. За него она может быть спокойна: он пулеметчик, а у пулемета есть броневой щиток, обороняющий голову, так что пулеметчик почти неуязвим в боевой обстановке. Пусть она бережет Катюшу и ближе держится не только к своим родителям, но и к Половневым: они люди хорошие и всегда помогут, если что.

Наташа слушала Алексея внимательно, не спуская с него восторженно-влюбленных глаз, и все, что он говорил, казалось ей абсолютно правильным, нужным, умным. Она поняла, что ревность, испытанная ею с особенной остротой сегодня утром в вагоне, ее подозрения насчет какой-то красивой городской девушки совершенно напрасны. По тому, как Алеша встретил ее, как целовал, она убедилась, что его отношение к ней осталось прежним, неизменно любовным и теплым. А ей больше ничего и не нужно было, и она ни разу не упрекнула его ни за то, что он долго не приезжал домой, ни за то, что он не послушался Жихарева, не стал ждать, когда его призовут, не согласился на роль газетчика в начавшейся войне, хотя и думала, что эта роль была бы гораздо безопасней, чем роль пулеметчика.

То, что она одобрила его решение, приятно удивило Ершова. Он как раз опасался, что она будет против: ведь в последнее время, особенно в недавнем письме к нему, она проявила себя излишне практичной и даже эгоистичной. И оттого, что в трудные минуты расставания она оказалась сознательной и разумной, он почувствовал вдруг такую большую любовь к ней, какой, пожалуй, раньше у него и не было.

Потом Наташа развязала узел и показала, что привезла ему в дорогу. Ершов понимал всю наивность и никчемность привезенных ею вещей, но сама забота ее о нем растрогала его, и он сказал, что все это ему очень и очень кстати, горячо расцеловав ее.

— Женушка ты моя любимая,— приговаривал он.— Ласточка, касаточка, хлопотунья милая!

Все, что она привезла, он запихал в свой вещмешок и, вытащив из него белье, ботинки, костюм, сказал:

— Все это возьмешь домой, когда меня проводишь.

Жихарев появился минут за двадцать до того, как Ершову нужно было уходить. Поставив на стол принесенную им бутылку полусухого азербайджанского вина «Барзак», он грустно произнес:

— Надеюсь, на прощание ты не откажешься?

Ершов усмехнулся:

— Пожалуй, напрасно надеешься.

— Как?!— ужаснулся Жихарев.— В такой исторический момент? Ты с ума сошел! И слушать не хочу!

— Тем более,— насмешливо сказал Ершов.— В такой исторический момент надо поглядеть друга на друга трезвыми глазами, чтоб хорошенько запомнить все.

— Ну, знаешь ли... это уж слишком серьезно... я таких твоих соображений не понимаю. И наконец, я же принес не коньяк и не водку...

На станции, откуда отправлялась часть Ершова, была суматоха. По путям быстро туда-сюда сновали военные, бродили штатские. Милиционеры, пытавшиеся освободить пути от штатских, ничего не могли поделать: среди штатских преобладали девушки и женщины, а на них никакие уговоры не действовали.

Алеша вместе с Наташей и Жихаревым быстро нашел свой состав, стоявший на первом пути. Вагоны были уже заполнены мобилизованными. Когда пошли вдоль состава, молодой парень, стоявший у открытой двери одного вагона, окликнул Ершова. Они познакомились друг с другом в военкомате, вместе ходили за обмундированием, и теперь парень издали узнал его. Это и был вагон, в котором находилось отделение рядового Ершова, отпущенного командиром взвода под честное слово на три часа. Ершов, увидев командира, доложил, что прибыл, потом передал окликнувшему его парню вещмешок и вернулся на платформу. Ему хотелось бы теперь сразу сесть и уехать, потому что стоять и ждать отправления поезда — занятие нестерпимо нудное. И все же минут пят-

надцать пришлось ждать. Стояли, почти не разговаривая, казалось, все нужное уже переговорено, а о пустяках болтать Ершов не привык. Да и Жихарев вел себя необычно сдержанно.

Молчала и Наташа. Лицо ее было задумчиво-сосредоточенное, губы плотно сжаты.

— Не подумай, Алеша, чего-нибудь плохого, скоро и я буду там,— сказал Жихарев, не смея взглянуть на друга прямо и отводя глаза в сторону.— Мы увидимся, я обязательно найду тебя.

— Буду ждать,— недоверчиво улыбнулся Ершов.

— Нет, ты не улыбайся так... я совершенно серьезно говорю.

— Да я ничего,— смутился Ершов.

— Поверь, искренне жалею, что не пошел с тобой в военкомат. Поехали бы вместе... Просто не представляю, как я теперь буду без тебя... Так привык к тебе... кажется, ты мне родней брата родного.

Ершов промолчал. Ему почему-то было неловко, хотя не новое уже признание Жихарева в любви и дружбе в этот момент было для него приятно.

Наташа смотрела и смотрела на мужа, вернее, на его лицо, на голубые, милые для нее глаза, светившиеся сейчас как-то необычно: и строгостью и добротой. Она чувствовала, что Алеша не с полным доверием относится к словам своего товарища, но в то же время почему-то и возражать ему не хочет. И чем дальше, тем все сильней и сильней волнение и боль расставания с мужем туманили ей голову. А когда после бодро-призывного сигнального рожка раздалась команда: «По вагонам!» — и Ершов, приблизившись, обнял ее и пригнулся для прощального поцелуя, она крепко обхватила его шею своими маленькими, но сильными руками и повисла на нем почти без чувств. Ершов выпрямился и несколько мгновений поддерживал жену руками, прижимая ее к своей груди.

— Натик мой!— шептал он.— Что с тобой, Натуся? Не надо, не надо так, милая! Возьми себя в руки. Ты же у меня умница... Все будет хорошо. Успокойся, родная!..

— Ой, Лешенька!— выдохнула Наташа.— Не могу я... Миленький ты мой, ненаглядный ты мой! Как же я без тебя жить буду?.. Осиротеем же мы с доченькой совсем,— бессвязно бормотала она.

Ершов насильно развел ее руки, поставил наземь.

— Все, Натуся, все! Мне пора,— сказал он, повернулся

к безмолвно стоявшему тут же Жихареву, обнял и поцеловал его.

— Если бы меня любила так жена! — горестно прошептал Жихарев другу в ухо. — Какой ты счастливый! — И громко добавил: — Будь здоров! До свидания! Ты напрасно не веришь мне, я серьезно говорю, найду тебя.

— Да я ничего, — смутился Ершов и еще раз торопливо поцеловал жену, потерянно глядевшую на него снизу вверх полными слез глазами, и твердым, быстрым шагом направился к своему вагону. Черная недлинная тень его скользила по земле вслед за ним.

Солнце давно уже сдвинулось с полудня книзу, но светило все еще жарко. Люди не замечали ни солнца, ни жары: им не до того было.

Минуту спустя прогудел гудок паровоза, и вагоны тихо тронулись с места. И тогда стоявшим на платформе почудилось, что не поезд двинулся вперед, а они вместе с платформой поплыли назад.

— Лешенька! — вскрикнула Наташа истошным, не своим голосом и протянула обе руки к уходившему вагону. Ершов испуганно следил за нею, и ему показалось, что она сейчас упадет на перрон или бросится под поезд. Но к ней подскочил Жихарев и поддержал ее, что-то говоря ей. Потом он взял Наташу под руку и повел к вокзалу.

КНИГА
ВТОРАЯ
Они
шли
на фронт

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### 1

агон до отказа набит солдатами. Петр Филиппович Половнев вместе с сыном Васей сидит на полу в проеме дверей, свесив ноги. Едут на фронт. Мимо проносятся телеграфные столбы, поля, деревни. Вдруг Вася падает и катится под откос по крутой песчаной насыпи. Половнев выпрыгивает и бежит вслед. Бежит, бежит... совсем уж догоняет сына, а Вася, подняв руки, погружается в землю, как в воду. Весь, с головой и с поднятыми руками.

Петр Филиппович подбегает к тому месту. Пусто. Парня как не бывало...

...Пелагея толчком будит мужа.

— Чего кричишь-то? Приснилось что-нибудь?

Половнев просыпается. Фу, какой дурной сон! Рассказать Поле? Но она же запричитает: «Ой, к худу!»

Сам он не верит ни в приметы, ни в сны. Зачем же ее расстраивать?

А однажды приснилось еще страшнее и... правдоподобней. Будто наша рота пошла в атаку на немцев. Петр Филиппович и Вася в первом ряду атакующих. И вот прямо на Васю, выставив вперед штык, похожий на кинжал, мчится здоровенный красномордый немец с вытаращенными глазами. «Вася! Не зевай!» — предупреждает Петр Филиппович сына и бросается к нему на помощь. Но не успевает. С проколотой грудью Вася падает навзничь. «По неопытности погиб малый!»

...Опять жена толкает:

— Не стони!

...С тех пор как проводили молодежь на фронт, Половнев не знает покоя. Ночью иногда снились несуразные военные сны с боями, как в первую мировую войну, днем — тяжелые, мрачные думы: «До коих пор будем отступать?»

Но внешне он выглядел как всегда: уверенным, спокойным. По-прежнему вставал вместе с солнцем, наспех брился

старой, источенной бритвой, завтракал и шел в кузницу с таким видом, будто у него самого и во всем мире все обстояло вполне благополучно. Нельзя, невозможно было ему — секретарю партийной организации — показывать перед людьми тоску по сыну, беспокойство за его жизнь, свои тревоги за события на фронте.

Подручным у Половнева теперь был колхозник Блинов Арсений Архипович — человек лет сорока пяти, малорослый, худощавый, с узкой козлиной бородкой. Работник старательный, нрава веселого, любит пошутить. Но Половневу в последнее время не до шуток, и он частенько останавливает его:

— Хватит, Арсей! Что-то мне не по нутру шуточки твои. Пора бы тебе посерьезней становиться. Молотком знай поприлежней и поточней орудуй!

С первых дней войны кузницу стали чаще навещать люди. Заходили как бы ненароком, без особого дела, вроде бы перекурить. Поздоровается такой посетитель, постоит минуту-другую и начнет крутить цигарку. Крутит медленно, не спеша, пристально наблюдает за работой кузнецов. Потом прикурит от уголька горна, попыхает синим дымком и будто невзначай спросит:

— Ну, какие т а м дела, Филиппыч?

Вопрос — о ходе войны.

Половнев, не переставая работать, рассказывал, что знал по газете «Правда» и сводкам Совинформбюро. А сводки каждый день Левитан своим гулким приятным басом читал неутешительные.

Старший конюх Родион Яковлевич Крутояров, выслушав Половнева, иной раз трудно вздыхал:

— Прет, окаянная сила!

— Нахально прет! — угрюмо соглашался Половнев, и темные, с проседью, подстриженные усы его нервно подрагивали. Немного помолчав, твердым, уверенным тоном добавлял: — Думаю, однако, недолго е м у переть. Угомонят е г о!

Спокойнее, терпеливее других вел себя огородный бригадир Лаврен Евстратович Плугов. Он вопросов никаких не задавал, волнения заметного не проявлял. Обычно, зайдя и поздоровавшись с кузнецом, долго наблюдал, как искры окалины, сверкая, летят во все стороны из-под молота Блинова. Время от времени похваливал молотобойца:

— На вид ты, Арсюха, совсем-таки щуплый... в чем душа держится, а гвоздишь крепко! И проворность в тебе, прямо

скажу,— молодецкая! От горна до наковальни словно лешак носишься.— А минут пять спустя, понаблюдав, рокочущим басом гудел: — Но до Алешки Ершова тебе, брат, далеко! Тот, бывало, как вдарит — вся кузня ходуном заходит.

— Погоди, наловчусь — и у меня ходуном заходит! — посмеивался Блинов, не переставая гвоздить молотком по куску железа, который Половнев держал клещами на наковальне, поворачивая с боку на бок.

Постояв минут двадцать, а то и все полчаса, Плугов проводил тыльной стороной ладони по своим непомерно длинным, густым усам табачного цвета, успокоительно басил:

— Я так думаю, Филиппыч, цыплят по осени считают! Того же не может быть, чтоб фашист верх взял над нами. Мы ему не Румыния и не Чехия... Мы — Советская Россия! Нас эвон сколько!

— Ни в жисть! — весело откликался Блинов.— Слаба у него гайка, у колбасника.— И худое, со впалыми щеками, лицо его сияло озорной улыбкой.

Плугов, поплотней надвинув свой большой картуз с широким козырьком, прощался и неторопливым, но решительным шагом покидал кузницу.

Старый друг Половнева, почтальон Глеб Иванович Бубнов, любитель покурить на «чужбинку» и поспорить по злободневным вопросам политики, с первых дней войны встреч с Половневым избегал и в кузню не заворачивал, обходил этот порядок села стороной. Газеты Половневу доставлял теперь не на работу, а на дом, когда там никого не было, просовывая их поверх двери в сенцы. Петр Филиппович понимал: Бубнов чувствует себя неловко, потому что пророчества его, будто Гитлер не собирается воевать против Советского Союза, не сбылись.

Однажды застал Глеба Ивановича у счетовода.

— Что же не заходишь погутарить? — спросил Половнев.

— Да как-то, видишь ли, не приходится... нету почты в тот порядок.

— А по огородам позади кузни чего же шастаешь? Значит, бывает почта! — добродушно усмехнулся Петр Филиппович.

Бубнов совсем смутился.

— Померещилось тебе...

— Подвел тебя Гитлер, подвел! — В черных глазах Половнева блеснула усмешка.— Вот ты и обходишь меня... Но зря! Такого и я не ожидал... Так что ты не обходи кузню, а то

я по тебе скучаю. Опять же газетку мне лучше с утра посмотреть, а не в обед или вечером.

— Ладно-ть,— торопливо согласился Бубнов.— А Гитлер? Гитлер — дурак и идиот форменный,— вдруг вспылил он.— Обман этот боком ему вылезет. Он еще покается, да поздно будет.

— Может, и покается, а покамест жмет да жмет! — вставил счетовод Тугоухов, оторвавшись от книги учета трудодней и кладя на стол свою монументальную трубку.

Она таки нашлась, Демьян Фомич действительно забыл ее в буфете во время проводов сына на войну — спасибо буфетчику, взял и сохранил, а то ведь мог кто-нибудь из другого села подобрать, тогда ищи-свищи!

— Недолго ему жать,— возразил в сердцах Бубнов, взмахнув небольшим загорелым кулачком.— Скоро, скоро соберутся наши с силами... и придется ему пятки солидолом подмазывать... солидолом, а не маслом! До сала, до масла украинского мы его теперь не допустим. Не восемнадцатый год!

Половнев нахмурился:

— Опять ты за пророчества, Глеб Иваныч!

— При чем тут пророчества! — фистулой задорно вскрикнул Глеб Иванович.— Не пророчества, а научный прогноз! И самый правильный расчет. Сила наша больше? Больше!

— Ну, захаживай, захаживай в кузню-то,— дружелюбно сказал Половнев.— Потолкуем поподробней... а то мы тут мешаем Демьяну Фомичу.

## 2

Каждый день по утрам возле правления колхоза спозаранку толпились люди, нетерпеливо поглядывая на серый раструб запыленного репродуктора: ожидали сводок Совинформбюро. Огонь войны полыхал уже вовсю от Балтики до Черного моря. И хотя полыхал он где-то в отдаленности и никто из даниловцев и в мыслях не допускал, что языки его буйного пламени могут досягнуть и до здешних мест,— все волновались и горько переживали неудачи советских войск.

Прослушав сводку, долго не расходились, обсуждали ее. Некоторые были настроены очень мрачно и говорили, что, видно, дело пахнет табаком. Бьет немец наших, как волк ягнят.

Старик Голиков, приходивший к правлению чуть не раньше всех, обычно вступал в спор.

— Это как же понимать? — раздраженно говорил он.

— Понимай, как знаешь,— уныло отвечал ему пожилой колхозник Чекмасов, с темными, длинными, как у попа, волосами и пепельно-серой бородой.— Только дела у Советской власти — труба.

Наслушавшись мутных споров, Голиков однажды направился в кузницу, к зятю.

— Сурьезный разговор у меня, Филиппыч,— поздоровавшись, заявил он решительным тоном.

— Секретный? — спросил Половнев, заметив, что тесть покосился на Блинова.

— Да секрета большого нет, а все же...

— Тогда пойдем наружу.

Вышли, сели на дубовый кругляк. Голиков, пристально вглядываясь в зятя, с пристрастием спросил:

— Партейный секретарь по колхозу — ты у нас?

— Я. А что такое?

— Тебе известно, что на деревне деется?

— Чего же на ней деется?

— Смущение в народе, вот что! — проворчал Голиков. И рассказал о разговорах, какие ведутся у репродуктора.

— Так что же, по-твоему, запретить разговоры?

— Не запретить, пресекать, которые вредные,— сурово сказал Голиков.

Половнев пожал плечами:

— Но при чем же тут партийный секретарь?

— Я к тому, Петр Филиппыч, что ты партейный секретарь, а ничего не знаешь... и не вникаешь.

— Да все мне известно, все! — досадливо поморщился Половнев.— Но что я могу? Дела-то на фронте всамделе плохие.

— А почему плохие? — Голиков опять требовательным взглядом уставился на зятя.

— Вот уж чего не знаю, того не знаю! И по совести сказать, батя, и не понимаю.

— Ты это брось! — Голиков строго погрозил желтоватым, как восковая свеча, пальцем.— Как это не понимаешь? Должон знать и понимать и народу растолковывать — отчего и почему война и что на фронте деется! Пришел бы к тому лепродуктору, ну хотя бы когда сводку читают... да и сказал: так, мол, и так, дорогие гражданы! Помнишь, как говорил в старину, когда с белыми воевали или когда кулаков раскулачивали?

— Да все некогда,— неуверенно оправдывался Половнев.— Это ты правильно... объяснять бы надо... Но с другой стороны, что я скажу?

— Ну, если сам не знаешь — пошли кого пограмотней... к примеру, учителя, который у Поли молоко берет... как его — Владим Сергеич или Сергей Владимыч.

— Тоболина? Сергея Владимировича?

— Его самого... Человек с понятием, и народ его уважает... пускай к сводкам пояснения делает.

— Мысль твоя верная, батя. Спасибо за подсказку.

Когда тесть ушел, Половнев задумался. Объяснять надо... Но что скажет народу и товарищ Тоболин? Кроме сводок, ему ведь тоже ничего не известно. «Товарища Демина спросить бы... Он-то, наверно, побольше нас знает».

## 3

И на другой день, ранним утром, оставив в кузнице одного Блинова, Петр Филиппович Половнев отправился в Александровку, к первому секретарю райкома партии Демину.

До станции железной дороги пошел пешком. Конечно, председатель колхоза дал бы ему лошадь, можно было в Александровку поехать на ней, а не поездом, но тогда Дмитрий Ульянович и сам наверняка увязался бы. Половневу же хотелось поговорить с секретарем райкома без свидетелей, с глазу на глаз, потому что, кроме общего, был у него к Демину и личный вопрос.

Колосистая рожь, поверху уже сильно пожелтевшая, тихо покачивалась, отливая тусклым золотом под косыми лучами восходящего солнца.

Половнев высмотрел покрупней четырехгранный колос, сорвал его,— крупный, длинный и усатый, как ячмень. Вылущил несколько зерен на ладонь, бросил их в рот. Полные, но мягковатые еще! А вкус какой! Дух какой! Потом осторожно вылущил из колоса остальные, сосчитал. Вместе со съеденными получалось около полсотни в колосе. Высокий урожай будет в этом году! Убрать бы его без потерь! Но как, с кем? Народу-то в колхозе ой как здорово поубавилось.

Вились вокруг белогрудые ласточки, стрижи, черные как уголь.

Обочь дороги лопушились зеленые крупные листья подорожника, белела ромашка, и приятный дух ее, смешанный с запахом полыни, тревожил душу.

А в небе стыли легкие фарфоровые полоски нежных ребристых облаков, чуточку розовевших на солнце. Спокойно, тихо и удивительно хорошо было кругом, и Половнев был доволен, что пошел пешком: не часто ему доводилось бывать на полях,— в кузне всегда есть такая срочная работа, которая мешает вырваться. В то же время не покидали его тревожные мысли о войне. Здесь тихо, а где-то, за сотни километров отсюда, льется кровь.

«Двадцать четыре года назад Советская власть призвала все государства и народы к миру. И как в стенку горох! Не хотят буржуи мирной жизни. Опять задумали Советскую власть свалить!»

## 4

Когда вступил на тропинку, со всех сторон окружила его высокая рожь и скрыла, и сам он теперь ничего, кроме ржи, впереди не видел, и его не было видно. Поэтому и не заметил, как столкнулся с Аникеем Травушкиным носом к носу. Тропиночка была очень узенькая, и, чтоб разминуться, кому-то надо было хоть на полшага ступить в сторону, в рожь.

Половнев от удивления чуть не вскрикнул: никак не ожидал в такой ранний час встретиться тут с этим человеком.

Травушкин тоже с растерянным видом остановился, а потом заулыбался, приветственно снял черную старинную фуражку. Наверно, с древних царских времен она и сохранилась. Бережет. Надевает, лишь когда в город едет.

— Вот не чаял встретиться,— радушно улыбаясь, заговорил Травушкин.— Здравствуй, Петр Филиппыч!

И, надев фуражку, протянул руку.

— Здравствуй! — глуховато сказал Половнев, чувствуя себя не совсем ладно.

В жизни никогда они не здоровались друг с другом этакто, а тут вишь как получилось — он протягивает, а тебе вроде и деваться некуда.

— Из города приехал... у сыновей был,— развязно продолжал Травушкин.— Да задержался маленько... ругать, наверно, будет Митрий Ульяныч, хотя на току делов-то особенных, поди, и нету покамест. А тут — война! Ждал, что сыновей возьмут. В городе столпотворение. По улицам — солдаты, на вокзале — солдаты. И все призывают и призывают. Но моих в военкомат пока не звали... Хотя взять могут только Ма-

кара, Андрюха же, наверно, освобождение получит. Он ведь ученым стал, а ученых, говорят, не будут призывать. Закуривай! — Вытащил из кармана черного пиджака коробку папирос «Беломорканал».— Макар снабдил в дорогу. На, говорит, папаша. Хотя я теперь до курева не особенный охотник, но взял... Думаю, хорошие папироски... пригодятся... Может, угостить кого... Вот и довелось.

Половнев не нашел в себе силы и папироску оттолкнуть. Взял тремя пальцами, слегка помял ее, пристально разглядывая, потом вынул свою самодельную зажигалку из винтовочного патрона, нажал на колесико. Вспыхнул еле заметный голубоватый огонек. Закурили. Можно было бы теперь и разойтись.

— Ну, а твой Василий — как? — спросил Травушкин, пустив тонкой струйкой дым сложенными в трубку полными губами, не уступая дороги. Он явно настроен был на «дружественный» разговор.

— Давно проводил,— Половнев махнул рукой.— У нас тут всех парней взяли, да и мужиков тоже берут.

Травушкин старше Половнева лет на шесть, на семь, но вид у него моложавый, лицо полное, свежее, румяное, с густым ровным загаром, с тонкими, еле заметными морщинками возле зеленоватых глаз, слегка прищуренных. Коренастый, плотный, малорослый — он стоял перед Половневым, как в сказке мужичок-лесовичок, с благожелательной улыбкой.

Петр Филиппович, пыхнув дымом, выжидательно смотрел на него, думая про себя: «Сейчас, гляди, начнет балакать о своем Андрюшке, со сватовством подъезжать...»

Но Аникей Панфилович повел речь совсем о другом.

— Беда-то, Филиппыч, какая свалилась на Расею: наступает и наступает герман! — сказал он, щурясь от солнца, которое уже поднялось над дальним краем поля и светило Травушкину прямо в лицо.— А Красной Армии, похоже, и остановить его нечем. Что же это такое? — Лицо Травушкина сделалось вдруг очень скорбным.— Минск, говорят, захватили... Ведь этак гитлер и Москву заберет, как тот Наплевон. Тогда чего же получается? Какое твое партейное мнение насчет фронта?

Половнев глубоко затянулся папиросным дымом, задумчиво глядя на новые, немножко запыленные сапоги Травушкина. «Отмахнуться, не отвечать? Сказать, что спешу к поезду? Но до поезда еще больше часа. Надо ответить... о б я з а н я ему ответить».

— А если я вот сейчас двину тебя по уху,— после длительной паузы проговорил он, выпрямляясь и хмуро глядя на Аникея Панфиловича черными, мрачно заблестевшими глазами.— Ты, пожалуй, на ногах не устоишь.

— Да за что же меня? — оторопело посмотрел на него Травушкин.— Я же ничего такого... За Расею душа болит. Каким бы ты меня ни считал, Филиппыч, я же русский все-таки... не англичан и не француз какой-нибудь.

— Не понял ты меня! Я к примеру... Идешь ты, скажем, по улице ночью, в темноте... а я из-за угла налетаю — и раз тебя, раз! Нежданно-негаданно. Натурально — ты с катушек долой. Станешь подниматься — я снова. Так вот и на фронте сейчас. Он же не объявляя войны, втихомолку, бандит!

— То верно, то верно! — поняв сравнение, поспешно согласился Травушкин.— Только вот горе: так, поди, и не даст подняться! Будет и будет гвоздить и гнать нас до самой аж Москвы, а потом и Москву заберет.

Он испытующе посмотрел на Половнева. Видимо, его особенно интересовало, как Половнев относится к судьбе столицы.

Петр Филиппович скомкал недокуренную папиросу, рывком швырнул ее наземь, сердито насупился.

— Москвы не отдадим. Об этом и думать нечего. Все силы соберем, отразим!..

— Дай бог, дай бог! — скороговоркой забормотал Травушкин.— Тебе, партейному человеку, конечно, видней... А я, признаться, загорюнился было... А ты, Филиппыч, далеко собрался-то?

— В район.

— Ну, извиняй, что задержал.— Травушкин осторожно посторонился на шаг, чтоб рожь не помять, уступая Половневу часть тропинки.— Всего тебе хорошего, Филиппыч По партейным делам, видно?

— Да! — суховато ответил Половнев.

И они разошлись. «Почему он завел разговор о войне? Почему насчет Москвы допытывался? — размышлял Петр Филиппович, убыстряя шаг.— А и трусоват же ты, Аникей Панфилов, трусоват, хоть и русский. Показалось, что хочу ударить,— так аж побледнел. На кой леший мне теперь бить тебя! Встретились бы мы этак-то на узкой тропинке один на один в тридцатом, когда ты народ мутил и пугал, что при колхозах все будут спать под одним одеялом, из одного корыта есть, как свиньи,— может, и не утерпел бы, саданул раза два-три!»

## 5

В Александровку Половнев приехал на тормозной площадке товарного поезда и в половине восьмого подходил уже к райкому партии — кирпичному двухэтажному зданию под железной зеленой крышей, с большими, в сажень, окнами. Стояло оно на пригорке, немного в стороне от одноэтажных небольших домов степного села. Широкие стекла райкома полыхали, переливались золотыми огнями отраженного солнца. Перед зданием, привязанные к пряслам, махали хвостами три лошади — одна буланая, две гнедые, на всех лошадях — темно-желтые седла. Наверно, люди приехали по делам из дальних сел.

...Хотя было рановато, рабочий день еще не начинался, в приемной первого секретаря уже сидела незнакомая Половневу румяная, круглолицая девушка с кудрявыми каштановыми волосами и стучала на пишущей машинке. Раньше тут была другая — женщина средних лет.

Половнев снял свою темно-серую кепку, поздоровался, спросил:

— Товарищ Демин не приходил еще?

— Товарищ Демин давно у себя,— ответила девушка, перестав стучать клавишами.— Проходите, пожалуйста.

— Я ненадолго,— сказал Половнев.

Демин был один.

— Садись, Петр Филиппович! — привычно прищуриваясь, с улыбкой пригласил Демин, показывая рукой на стул сбоку стола.— Рассказывай, как работа, какое настроение у колхозников?

— Сенокос кончаем,— поздоровавшись с секретарем за руку, деловито доложил Половнев и сел на указанный стул.— Ну, а настроение? Настроение неважное, Александр Егорыч. Смущение в народе,— повторил он слова Голикова.— Потому и приехал к вам.

— Какое такое смущение? — насторожился Демин.

— Сводки-то что ни день, то хуже,— озабоченно проговорил Половнев.— И люди тревожатся. Требуют — объясни. А что я могу сказать? Объясняю, конечно, как сам разумею. Временно, дескать, отступаем... от неожиданности... и тому подобное. Да боюсь, что неправильно. Может быть, дело не в неожиданности, а просто наше командование с умыслом заманивает немца, чтобы он увлекся, а потом как трахнут... как саданут! И побежит фашист восвояси... Но как говорить об этом народу? Мне же ничего не известно.

Демин встал, медленно прошелся с заложенными за спину руками.

— Правильно, что не говоришь насчет заманивания. Дело, брат, не в заманивании,— насупив черные, будто надломленные, брови, говорил Демин.— Так что ты все верно понимаешь... за исключением заманивания.

И, прохаживаясь, начал спокойно разъяснять, что война эта не на живот, а на смерть, что нам не до того, чтоб заманивать врага. Слишком дорого стоила бы такая стратегия.

Демин будто изменился, стал каким-то иным, более строгим на вид, как бы по-военному подтянутым. Может, такое впечатление создавалось новой, цвета хаки, командирской гимнастеркой, туго подпоясанной широким темно-коричневым ремнем.

Половцев сидел смирно и, не спуская глаз с Демина, внимательно слушал, однако не без опасения, что пропагандистская речь эта может затянуться. Он знал слабость Демина к длинным «вразумлениям». Воспользовавшись небольшой паузой, во время которой Демин приостановился, словно обдумывая или припоминая что-то, Половнев несмело проговорил:

— Еще один вопрос, Александр Егорыч...

Окинув Половнева недоуменным взглядом, Демин холодновато разрешил:

— Давай, какой такой вопрос!

И вернулся в свое большое черной кожи кресло, видимо несколько недовольный тем, что его прервали.

Половнев положил на стол обе свои большие, корявые руки в трещинах, с толстыми полусогнутыми пальцами, напряженно всем корпусом подался вперед.

— Дело такое, Александр Егорыч, сомнения у меня есть... Разве так можно, как сделал наш райвоенкомат? Всю молодежь до тридцати лет уже мобилизовали, а ведь война только началась. Нельзя разве постепенно бы? Работать же в колхозе некому. С уборкой как справиться? Не говоря, что необстрелянная она, молодежь-то! Как о н а там воевать будет? И как воюет? Вишь, немец лезет нахрапом. Не лучше бы разве взять сначала старшие возраста, которые пороху в свое время нюхнули изрядно... и с германом и с белыми воевали, вроде вот меня хотя бы... Да нас таких порядочно набралось бы... Мы бы, старшие, скорей немца угомонили, не пустили бы его гулять по нашей советской земле... А пока мы воевали бы,— молодежь можно было подучить как следует... Вот какие дум-

ки не дают мне покоя, Александр Егорыч. Детей жалко, молодые, неопытные... ну, какие из них воины? Вот я и прошу... отпустите меня на фронт! — неожиданно и для секретаря и даже для самого себя заключил Половнев. Это, собственно, и был тот личный вопрос, ради которого он хотел встретиться с Деминым с глазу на глаз. Но он собирался поставить этот вопрос в конце встречи, а не в середине, как получилось.

— Подожди, подожди! — прищуривая свои узкие глаза, сердито остановил его Демин.— Что ты за чушь городишь, товарищ Половнев? Пожилой, разумный человек, старый коммунист... а несешь какую-то околесицу! Во-первых, да будет тебе известно, что райвоенкоматы мобилизацию проводят не по собственному соображению, а по приказам сверху... и этого ты не можешь не знать... не имеешь права не знать; во-вторых, как это так — взять старшие возраста, даже стариков, вроде тебя, а молодежь оставить дома? Да этого никто никогда нигде не делал! Войны всегда велись здоровыми молодыми людьми, способными на большие физические напряжения, а не стариками. Ну какой толк в бою от такого, как ты? Примерно, атака... надо бежать, может, с километр, а то и больше. А ты? Сто метров — вот твоя дистанция! Да и не сто! Пятидесяти не пробежишь, выдохнешься.

— Не выдохнусь, километр и больше пробегу! — мрачно, но уверенно возразил Половнев, чувствуя, что Демин не только не понял его, но и понять не может или не хочет.— Бегать и воевать я еще вполне способен. И потом примите во внимание, Александр Егорыч, совесть! — проникновенным, чуточку вибрирующим голосом добавил он, с намерением повлиять на чувства секретаря.— Нет сил сидеть сложа руки, когда т а м кровь льется... кровь сыновей наших... молодых, малоопытных. Перебьет он всю молодежь...

— Не перебьет! — сердито, резко остановил его Демин.— Не дадим перебить. Но почему ты сказал, что сложа руки? Ты же в кузнице работаешь... ты секретарь парторганизации. На тебе ответственность за колхоз, за все дела в нем — и хозяйственные, и культурные, и политические. С тебя и раньше был спрос немалый. А теперь, в военное время, будем спрашивать вдвое, втрое больше и... строже, чем с председателя колхоза. А он, видите ли, сложа руки сидит! На фронт его отпустите! Работать нам с тобой надо, Петр Филиппович, дорогой мой. Работать на всю катушку! Не можем никуда тебя отпустить.

И снова Демин своим глуховатым окающим голосом долго

разъяснял «недопонимание» Половневым задач, вставших перед парторганизацией, перед секретарем ее, перед каждым колхозником в связи с войной, пока не раздался телефонный звонок. Демин извинился и взял трубку.

— Хорошо! — сказал он.— Благодарю.— И, повесив трубку, объявил: — Сейчас мне сообщили, что речь товарища Сталина будут передавать.— И включил репродуктор, черный круг которого висел на стене возле окна.

## 6

С минуту слышалось шипенье с сухим потрескиванием, затем голос диктора возвестил, что выступление товарища Сталина начнется через десять минут.

И опять шипенье и потрескивание.

Демин открыл дверь в приемную, попросил девушку оповестить сотрудников райкома, пришедших уже на работу. Кабинет вскоре наполнился людьми. Стульев для всех не хватало, и многие приготовились слушать стоя.

И вот наконец голос Сталина:

— Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!

К вам обращаюсь я, друзья мои!..

Не впервой Половнев слышал голос Сталина: несколько лет назад была в ходу патефонная пластинка с речью Сталина о новой Конституции, и Петр Филиппович не один раз слушал ее в колхозном клубе. Но все равно, услышав сейчас этот, уже знакомый, с грузинским акцентом глуховатый голос, он почувствовал, как забилось сильней сердце.

Спокойным, ровным голосом говорил Сталин о том, что вероломное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину продолжается, что, несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, враг захватил Литву, Западную Белоруссию, часть Западной Украины, бомбит Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь... «Над нашей Родиной нависла серьезная опасность».

В этом месте речи голос Сталина немного дрогнул и умолк. Звякнул графин о край стакана, забулькала наливаемая вода... и почудилось, будто Сталин не за сотни километров, а незримо присутствует здесь, в этом небольшом кабинете, переполненном затаившими дыхание людьми.

После короткой паузы Сталин опять заговорил спокойно и уверенно.

Со всем, что было им сказано, Половнев полностью соглашался. Сомнительными для Петра Филипповича были только слова о выступлении Черчилля. Тут он недоверчиво покачал седеющей головой. «Не подвох ли?» Особенное недоверие он питал к Черчиллю, потому что знал, как люто этот англичанин ненавидел большевиков, Советскую власть, что он был одним из ярых интервентов в восемнадцатом и девятнадцатом. Гитлер явно вознамерился уничтожить Советы и восстановить помещичью и буржуазную власть, об этом Сталин правильно сказал, так почему же Черчилль собирается помогать нам, а не Гитлеру?

Когда передача выступления Сталина закончилась и все сотрудники райкома с выражением встревоженности на лицах покинули кабинет Демина, Петр Филиппович опять остался один на один с секретарем райкома партии.

— Ну, теперь тебе все ясно и понятно? — спросил Демин, вставая и подходя к Половневу.

— Ясней некуда,— ответил Петр Филиппович.

## 7

Домой Половнев возвращался с Зазнобиным, который усадил его рядом с собою в кабину. Некоторое время ехали молча. Зазнобин не сводил глаз с дороги, и голова его была окаменело-неподвижна. Не спеша катился газик по мягкому грейдеру. Мимо проплывали яровые и озимые хлеба. Вдали поперек дороги, словно вода, текли голубоватые струи знойного марева. Изредка Половнев посматривал на приятеля, но видел только одну его щеку с синими крапинками возле большого, картофелеподобного красного носа.

Когда отъехали от Александровки с километр, Зазнобин, не поворачивая головы, спросил:

— Речь Сталина, значит, слушал?

— Слушал,— ответил Половнев.— А ты?

— И я слушал, но не в райкоме, а в своей конторе. Между прочим, насчет сроков Иосиф Виссарионович — ни слова.

— Каких сроков? — не понял Половнев.

— Сколько воевать придется.

— Так ведь это трудно сейчас... разве угадаешь.

— Тут не гадать — знать надо.

— Да как же это можно?

— Приблизительно, конечно.— Зазнобин шумно сморганул своим крупным красным носом.

— Нет, это ты того... неверно говоришь. Война, брат, дело

серьезное... и как она обернется — никому не известно, по-моему.

— То есть как же это неизвестно? — воскликнул Зазнобин, мельком окинув Половнева сердитым взглядом своих медвежьих маленьких глаз.— Это и товарищем Молотовым сказано: «Наше дело правое, победа будет за нами!» А ты — неизвестно!

— Я насчет сроков. Ну, как тут узнать? Помню, в ту войну с Германией мы ехали на фронт и думали, что к Новому году Берлин возьмем, а что получилось? Больше трех лет в окопах просидели, а до Берлина так и не добрались.

— То было время, теперь другое! — Зазнобин круто повернул руль, чтобы объехать выбоину.— Теперь обязательно доберемся... Только вопрос — когда. Вот мне и хотелось услышать хоть намеком.

— Думаю я, Иван Федосеич, откровенно говоря, не очень скоро.— Половнев покачал головой.— Смотри, сколь земли нашей он оттяпал... и еще, наверно, оттяпает. Обратно ее отбить не легко. Знаю я его, немца... жадный он и упрямый. Бывало, в ту войну, если отойдем, то после никак не вышибешь его с занятых им позиций.

— Это, конечно, так... и я немца знаю.

Снова установилось молчание. Зазнобин по-прежнему держал руки на руле, внимательно следя за дорогой, изредка посмаргивал носом.

— А ты зачем приезжал? — спросил он задумавшегося Половнева.

— За разъяснением,— ответил Половнев.

И подробно рассказал о беседе с секретарем, умолчав о том, что просился на фронт.

— Насчет молодежи законно осадил тебя Александр Егорыч,— сказал Зазнобин, усмехаясь.— На стариках далеко не уедешь. А боевой опыт молодежь в боях и получит, как мы с тобой когда-то. Тоже ведь молодыми воевали. Да и не только молодежь призывают. У меня одному слесарю более сорока, а его хотят взять. Мастер первой руки. Трактора, комбайны знает не хуже иного инженера. Без него наша мастерская, почитай, осиротеет. А военком одно: фронту мастера тоже требуются. Обойдетесь, говорит. Пожаловался я Александру Егорычу... Обещал попросить военкома. «Попросить»! Понимаешь? Так что вряд ли чего выйдет. Придется, похоже, самому старинку вспоминать, в мастерскую спускаться до самого аж верстака. Вот, друже, какие дела. Война! Да и у тебя, наверно, не одних молодых берут.

— Пока до тридцати лет включительно.

— Вот видишь. А это уже не зеленая молодежь — тридцать лет!

Опять помолчали.

— А все-таки жалко таких, как Вася мой,— грустновато вдруг сказал Половнев.— Двадцать три года... и жизни не видал и не почувствовал. Холостой еще...

Вынул трубку, набитую табаком еще в райкоме, закурил.

— Значит, ему немножко полегче,— спустя некоторое время рассудительно откликнулся Зазнобин.— Женатому тяжелей. Жинка, детишки, а у Васи их нет... стало быть, смелости у него будет побольше... Ну, а как там Галя? — видя, что Половнев совсем закручинился, спросил он, чтобы переменить разговор.— Слыхал я, помирилась она с Ильей.

— Да, кажись, помирилась.— Половнев пустил густую струю дыма в открытое окошко дверцы кабины.— Но что толку теперь!

— Как же что толку? — удивился Зазнобин.— Все ж таки... Илья парень славный. Работяга. Учиться собирался... Инженером со временем станет. Вернется — женится на Гале.

— Дай бог,— вздохнул Половнев.— Только ведь может и не вернуться. По сводкам судить — там такая заваруха... Гиблое дело! Эта война, брат, не то что царская или гражданская... теперь бьются и на земле, и в небесах...

— Это уж ты совсем не из той песни! — заметил Зазнобин.— Надо верить, что вернется.

— Да я верю, правильней сказать, хочу верить... но во́йны без крови и жертв не бывают, Иван Федосеич.

— Это правда, конечно,— согласился Зазнобин.— А как Пелагея? Небось все за Травушкина Андрея мечтает Галю выдать? Его, возможно, в армию не призовут...

— Как началась война, насчет замужества Гали молчит моя благоверная,— ответил Половнев.— И Травушкин — ни гугу. Сегодня поутру встретились мы с Аникеем на тропинке во ржи. Ну, думаю, сейчас со сватовством привяжется. Начал он было с того, что Андрея от призыва, наверно-де, освободят. А потом, гляжу, о войне заговорил. Русский он, мол, то есть Аникей, и душой болеет, как бы Гитлер Москву не взял.

— А ты и поверил, что он душой болеет?

— Кто его знает. Чужая душа — потемки.

— По-чудному говоришь. Как мужик в старину. По-моему, посматривать за Аникеем надо.

— Да ведь, помнишь, по весне товарищ Демин указание давал: нельзя, дескать, к Аникею со старой меркой подходить... колхозник он теперь... Согласен я с Александром Егорычем. Почти десять лет Аникей в колхозе.

— А пересолы — это что, по-твоему? Из любви к России? Сколько раз трактористы голодными оставались!

— Да ведь это дело какое-то темное. И мелкое. Может, они были по вине кухарки, пересолы те. Хочется мне думать, что повыветрился из Аникея кулацкий дух за десять лет.

— Ну что ж, думай,— угрюмо, недовольным тоном сказал Зазнобин.— Но все-таки послеживай за ним, послеживай.

---

# ГЛАВА ВТОРАЯ

## 1

Андрей Травушкин слабо верил в благополучный исход сватовства, затеянного матерью. «Напрасно я сказал ей, что Галя нравится мне. Хлопоты ее могут даже помешать. Самому надо объясниться...»

Он знал, что у него есть соперник — Илья Крутояров, и это тревожило его. Правда, в последний раз, когда Андрей был в Даниловке, мать заверила его, что Галя окончательно рассорилась с Ильей и тот из-за этого в Александровку перевелся, но все же...

...Прослушав по радио заявление В. М. Молотова о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз, Андрей решил дня через два съездить в Даниловку. Но 24 июня его вызвали в горком партии и поручили организовать агитационные выступления на предприятиях города силами коммунистов университета. План этих выступлений он выполнил недели через три с половиной и лишь тогда собрался наконец и поехал с твердым намерением повидаться с Галей.

Из письма Тоболина, бывшего товарища по курсу, Андрей знал, что даниловская молодежь мобилизована в первые дни войны, и поэтому чувствовал себя уверенней: Ильи Крутоярова теперь уже нет.

Со станции в село шел пешком с желтым кожаным саквояжем в руке. В саквояже — новый костюм для встречи с Галей и подарок для матери.

Было около пяти часов дня. Солнце давно уже свалилось с зенита. Изредка, совсем рядом, свистели суслики. От Князева леса поднялся коршун. Взлетев чуть не под облака, расправил свои длинные темные крылья и стал медленно парить, постепенно снижаясь, кружиться над полем и вдруг, сложив крылья, черным камнем ринулся вниз.

Андрей остановился. «Перепела или суслика выследил, стервятник!»

Подождал, не поднимется ли хищник с добычей. Можно было свистнуть, испугать его. Не дождался. «Терзает свою жертву там, где настиг». Живо представилось, как трепыхается перепелка в черных жестких, словно железных, когтях. Готов был побежать на помощь, но далековато. Пошел дальше. Подумал: «Дарвин прав: закон борьбы за существование... Коршун-то зерном питаться не может... Но все равно почему-то жалко, будь то перепел или даже вредный суслик!»

Затянутые легкой голубой дымкой, еле видны дальние деревушки, пирамидальные тополя. С детства знакомая, родная картина, но всякий раз волнует, когда приезжаешь из города. Вот она и сама, Даниловка — огромное село, разбросанное в долине, вдоль правого берега реки. С пригорка почти вся видна со множеством улиц, переулков. Сады, огороды, ветлы, тополя. Три колодезных журавля в разных местах села стоят неподвижно, а четвертый, который поближе, то и дело наклоняется, будто приветствует Андрея. Кто-то черпает воду.

Милая Даниловка! Не напрасно ли ты, Андрей Травушкин, не поехал в нее преподавателем средней школы, как это сделал Тоболин? Но что было бы, если бы поехал? Не только не защитил бы, но, гляди, и не написал кандидатскую диссертацию, не стал бы кандидатом наук... С тобой было бы то же, что и с другом твоим Тоболиным.

Вспомнились детство, отрочество. Жилось ему тут тогда неплохо. Полный достаток, хотя и грубоватый по-деревенски, но такой, что ни нужды, ни голода он не знал, как сверстники его, которые переносили и голод и холод, и всякие болезни, особенно в годы гражданской войны; и по хозяйству работали с малых лет. Андрея же и трудом не нудили. Не было надобности нудить, потому что до середины двадцатых годов у Травушкиных зиму и лето работали батраки.

До пятнадцати лет прожил Андрей в Даниловке. Семилетку окончил отличником. По совету директора школы и учителей, видевших в нем очень способного мальчика, Андрей хотел продолжать образование. Средней школы тогда в Даниловке еще не было. Матери хотелось отправить его учиться в областной город, но отец решительно воспротивился:

— Нет у меня средствий, чтоб учить его. Макарка пять классов только прошел, и то на хорошую службу в городе пристроился. И Андрюшка пристроится.

Настасья стала упрашивать мужа: пускай поучится, тогда и работу подходящую скорей найдет. Но Аникей Панфилович и слушать ничего не хотел. Шутка сказать — еще три года учить его. Где же денег набраться?

— Не сын он мне с этой минуты! — визгливо кричал отец, наскакивая с поднятыми кулаками на Настасью.— Что хочете, то и делайте. Хоть в ниверситете пускай учится... только моей помощи не ждите, гроша ломаного не дам!

Тогда Настасья сама поехала в город и упросила своего брата Акима, токаря завода имени Ленина, взять Андрея к себе. С осени 1927 года Андрей поступил в городскую среднюю школу. Зимой учился, а летом приезжал домой и жил в небольшом омшанике, стараясь не попадаться на глаза отцу, читал по целым дням разные книги своей сельсоветской библиотеки, в большинстве те, которые остались от помещика Шевлягина. Особенно полюбились ему старые журналы в чу́дных твердых переплетах с кожаными корешками: «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское богатство» — издания конца девятнадцатого и начала двадцатого века. А по утрам и вечерам ходил купаться на речку Приволье, повесив через плечо большое холщовое полотенце материнского изделия с вышитыми гладью на обоих концах красными и голубыми цветами.

Среднюю школу Андрей окончил тоже с аттестатом отличника. В Даниловке к тому времени уже прошла сплошная коллективизация, но Аникей Панфилович оставался еще в единоличниках. Если бы поступать в университет со справкой сельсовета или колхоза о том, что отец Андрея — единоличник, подвергавшийся раскулачиванию, но восстановленный (а иной справки ему не дали бы), то неизвестно, приняли бы его или нет, невзирая на аттестат отличника. И дядя Аким посоветовал не обращаться в Даниловку. Он сам взял в домоуправлении бумагу о том, что племянник его, Андрей Травушкин, порвавший с отцом в 1927 году,

проживает у него, рабочего завода, как иждивенец и воспитанник. И Андрей Травушкин стал студентом государственного университета, по-прежнему живя у дяди.

Ему везло в ученье. В школах его любили учителя за способности, прилежание и хорошее поведение и в университете выделяли из общей массы студенчества за эти же качества. А профессор, ведающий кафедрой русской литературы, Павел Гурович Булатников, человек старинного склада, полюбил его как родного сына, выдвинул в аспирантуру, помогал в работе над диссертацией. Привязанность и расположение Павла Гуровича достигли такого сильного накала, что он вознамерился женить Андрея на своей единственной дочери Матрене, полагая, что таким образом окончательно и прочно устроит жизнь любимого воспитанника и любимой дочери. Но, к счастью Андрея, оказалось, что дочь профессора была влюблена в другого студента, за которого вскоре и вышла замуж. Не случись этого, не миновать бы Андрею жениться на ней, несмотря на то что она не нравилась ему. Он просто не смог бы, наверно, противиться воле профессора, которого и уважал и... побаивался.

Избежав нежелательных брачных уз, Андрей надолго оставил думы о женитьбе. Но когда получил звание кандидата наук и двухкомнатную квартиру (и тоже при содействии профессора Булатникова), он почувствовал, что настает пора жить жизнью солидного семейного человека, то есть жизнью, о которой он с юных лет мечтал. Нужна была подходящая невеста. Девушек в университете много,— значит, как будто и невесту нетрудно было найти. Но не встречал он среди них достойных внимания, хотя не однажды пробовал «искать». Познакомится поближе, присмотрится: не та! Внешность привлекательна — характером несерьезна; характер подходящий — внешность неприглядна. А в последнее время дело осложнялось еще и тем, что у него была тайная связь с одной молодой женщиной, которая по многим причинам в жены ему никак не годилась. Давняя и несколько странная история. С женщиной этой познакомился он в актовом зале университета, на новогоднем вечере, еще будучи аспирантом. К добру или худу это знакомство, Андрей до сих пор не поймет, но иногда ему кажется, что было бы лучше, если бы он не пошел на тот вечер. Он вообще редко бывал на шумных студенческих сборищах и вечеринках, считал их напрасной, пустой тратой времени, и в тот раз не собирался идти, несмотря на персональный пригласительный билет, но уговорил приехавший из Даниловки Тоболин.

## 2

На вечере Андрей обратил внимание на девушку в голубой маске, прочерченной белыми продольными тонкими полосками. Маска была не магазинная, а самодельная, она плотно закрывала все лицо до ушей и подбородка, зияли только небольшие отверстия для глаз и рта. Но не столько маска заинтересовала Андрея, сколько внешность. Девушка была гибкая, стройная, с умеренным бюстом и маленькими ногами в белых бальных туфельках. Стоя в сторонке, он исподтишка следил за нею и любовался ею. И вдруг она подходит к нему и приглашает его на вальс.

Андрей смущенно признался, что танцевать не умеет. Он считал танцы чем-то недостойным серьезного человека.

— Давайте попробуем,— сказала она, протягивая ему руку.— Мы потихонечку.

И мягко, но умело вовлекла его в пеструю толпу танцующих, празднично одетых — преимущественно студентов и студенток, в масках и без масок.

Ростом она была чуть пониже Андрея. Он пытался сквозь щели маски рассмотреть выражение и цвет ее глаз, но тщетно.

«Потихонечку» они протанцевали далеко за полночь. Под конец Андрей начал овладевать вальсом, по крайней мере даме своей на ноги уже не наступал, как было поначалу. А в свое оправдание припоминал, что даже философы древности, не то Сократ, не то Платон, скорей всего Платон, не чурались танцев.

В половине первого ночи маска попросила проводить ее домой. Андрей уже окончательно был пленен и очарован ею, хотя разговаривали они мало и больше о пустяках или о том, что видели и слышали на маскараде. Судя по грамотной речи новой знакомой, он предполагал, что это — студентка первого или второго курса. Разумеется, проводить ее с удовольствием согласился, однако поставил условие:

— Снимите, пожалуйста, маску.

Хотелось скорей увидеть, с кем он танцевал, с кем так хорошо провел весь вечер.

— Не сейчас и... не здесь,— мягко проговорила маска ласково-просящим тоном.

Внизу, на вешалке, девушка переобулась в черные с галошами валенки, завернув белые туфли в газету. Однако маску не сняла ни здесь, ни на улице.

Была чудесная новогодняя ночь. Легкий морозец, безветренно. Снег большими хлопьями медленно, будто нехотя,

устилал белым пухом улицу, роями серебристых бабочек вился вокруг фонарей.

Пришли на какую-то глухую улочку возле реки, где Андрею никогда и бывать не приходилось. И хотя в окнах домов светились еще огни, тут было по-деревенски глухо: ни прохожих, ни проезжих. «Куда она привела меня?»

Остановились у двухэтажного дома, сияющего верхними и нижними окнами.

Сняв перчатку, девушка протянула ему руку.

Не выпуская пальцев ее горячей руки, Андрей сказал:

— Не могу расстаться с вами, пока мы как следует не познакомимся. Как вас зовут?

— Маша. А вас?

— Неужели вы так-таки и не знаете меня?

— Фамилию знаю, но имени, отчества не знаю.

«Знает она меня... студентка!»

— А я вашей фамилии не знаю,— сказал он.

— Не нужна вам моя фамилия,— холодновато проговорила Маша.

— Ну как же! Лица не видел... фамилия неизвестна. Завтра встретимся, и я не узнаю вас и найти не смогу.

— А вам и не надо узнавать меня, искать.

— Нет, надо! — горячо возразил Андрей.— Скажите хоть, на каком курсе вы учитесь?

— Я не студентка.

— А кто же?

— Не все ли вам равно! До свидания! — Она с усилием высвободила свои пальцы из сжимавшей их его руки.— Спасибо за чудесный вечер, за то, что проводили,— мягко добавила Маша.

— Я не уйду и вас не отпущу, пока не снимете маску или не скажете своей фамилии,— заявил Андрей решительным и твердым тоном, становясь между Машей и входной дверью дома.

— Но это уже нехорошо с вашей стороны,— упавшим голосом сказала Маша.— Пропустите, пожалуйста!

— Ладно... но я и сам с вами...

— Вы совсем с ума сошли! — полушепотом проговорила Маша, гремя ключом. Открыв, попыталась ускользнуть, но Андрей, ловко подставив ногу, не дал закрыть дверь и вошел вслед за Машей.

— Тише! — прошептала девушка, закрывая ключом дверь.— Раз вам так уж хочется увидеть меня — пойдемте. Но ни слова! — вновь предупредила она.

На площадке второго этажа, слабо освещенной тусклым светом маленькой лампочки, молчком отряхнули друг с друга снег перчатками.

Войдя в комнату, Маша закрыла дверь на крючок и включила свет. Зажглась яркая лампа в матовом колпаке под невысоким белым потолком.

Слева от входа — металлическая кровать с подушками под вышивной розоватой накидкой, темно-зеленое ватное одеяло. У единственного окна, занавешенного тюлевой шторой, столик, два деревянных жестких стула. На стене, над кроватью, фотографии: в темной раме мужчина с женщиной, прислонившей голову к его плечу. Мужчина с прической на косой пробор и с небольшими усами, женщина — в светлой косынке, повязанной по-грузински. «Неужели это — она? Значит, замужняя... Значит, правда не студентка». Андрей шагнул было, чтобы поближе разглядеть фото, но остановился. Постеснялся.

— Напою вас чаем,— говорила Маша, снимая с себя и вешая пальто возле двери.— Раздевайтесь. Будьте моим новогодним гостем.

Андрей запоздало подумал. что надо бы «поухаживать» за ней, помочь раздеться... Но Маша, по-видимому, не замечала его нерасторопности, скованности. Вставила в розетку штепсель электроплитки, стоявшей справа у стены на табуретке, но маску все еще не снимала.

Дело оборачивалось весьма странным приключением, каких с Андреем в жизни не бывало: замужняя молодая женщина довольно ловко завлекает его в свою квартиру в отсутствие мужа.

— Какой же чай теперь,— с усмешкой сказал Андрей, вешая свое пальто и шапку на крючок рядом с пальто Маши.— Второй час ночи.

— Ничего. Он быстро поспеет.— Маша поставила на плитку небольшой синий чайничек.— Проходите, пожалуйста, садитесь.

Андрей причесал расческой свои длинные волосы, обнажив высокий выпуклый лоб, прошел по серому половику к столу, сел на стул, спросил:

— Почему же вы не снимаете маску?

— Напрасно торопитесь.— Маша протяжно вздохнула, поправила на столе скатерть.— Вы ведь думаете, что я девушка, но вас ждет разочарование: я страшная, некрасивая старуха...

— Неважно — старуха или молодуха, красивая или не-

красивая...— суховато проговорил Андрей.— Но я обязательно должен увидеть ваше лицо.

Маша сдержанно засмеялась.

— Не ожидала, что вы такой настойчивый. Ну хорошо. Маску я сниму... но не раньше чем напою вас чаем, а то вы испугаетесь и убежите.

И снова засмеялась.

Голос у нее был чистый, грудной, отнюдь не старушечий. «Конечно, она шутит, что старуха». Однако ее нежелание снять маску начинало раздражать его.

— Зачем вы потешаетесь надо мной? — угрюмо сказал Андрей.— Понимаю: на улице... но здесь... когда мы вдвоем... к чему такая игра! Снимите маску, и я оставлю вас в покое... не нужно мне никакого чая.

Маша остановилась, очевидно разглядывая его, потом отошла к порогу, повернулась лицом к Андрею, рывком сняла маску и швырнула ее на сундук, стоявший у стены и прикрытый бордовым ковриком.

Овальное, немного скуластое румяно-свежее лицо, коротко подстриженные русые волосы, округлый небольшой подбородок с ямочкой посредине. Узковатые полумонгольские глаза, цвет которых при вечернем освещении трудно было определить. Возле носа, на щеках, еле заметные следы оспы... И четкого рисунка красивые губы.

Андрей поднялся со стула, не двигаясь с места, молча смотрел на нее. Самое странное было в том, что она показалась ему знакомой, он где-то видел ее. Где же и когда?

— Ну что? — с иронией спросила Маша — Понятно, почему я не снимала маску? — И пояснила: — Хотелось, чтоб у вас и у меня осталось неплохое воспоминание... Мы так славно потанцевали, а потом вы проводили меня... Расстались бы внизу... и все было бы очень, очень хорошо! А теперь вы будете сожалеть и злиться,— закончила она печальным тоном.

— Нет, нет! Совсем наоборот! Я благодарен... и буду с удовольствием вспоминать и маскарад и вас...— сбивчиво забормотал Андрей.— И не только какой видел там... но вот такую... без маски. У вас же очень милое и совсем юное лицо... а вы говорили — старуха! Побольше бы таких старух...

— Благодарю за комплимент,— недоверчиво усмехнулась Маша.— В таком случае будем пить чай!

Она бурно зарделась и начала проворно ставить на стол чашки, блюдца, фаянсовую с розовыми и голубыми цветоч-

ками сахарницу, печенье в стеклянной вазе и все это делала с опущенными глазами.

За чаем он узнал, что она уроженка Мордовской АССР, была замужем за литейщиком паровозоремонтного завода Лутовиновым.

— На этой карточке вы с ним?

— Да.

— Разрешите взглянуть.

Андрей подошел и некоторое время молча рассматривал фото. Маша тут была еще моложе, совсем девчушка. И муж — красивый, на вид старше ее лет на пять.

— Где же вы познакомились? — спросил Андрей, вернувшись на свое место.

— В Горьком. Я работала там рассыльной, а он приезжал со своей бригадой на горьковский завод заключать договор о соревновании. И мы понравились друг другу.

— Вы сказали: «Была замужем». Почему была? Где сейчас ваш супруг?

— Нет у меня мужа,— ответила Маша дрогнувшим голосом.

И вдруг заплакала тихо, неутешно, как плачут дети... Успокоившись, рассказала, что муж с год назад упал в опоку с расплавленным чугуном и умер в страшных мучениях.

Андрей с болью в сердце смотрел, как по ее румяным, с крапинками следов оспы, щекам снова текли светлые слезы. Надо было что-то сказать, как-то утешить женщину, но он не знал, что сказать и как утешить.

Уходил он в четвертом часу ночи. Надевая пальто, вспомнил:

— А ведь я вас видел... и именно в университете... наверное, все-таки вы студентка.

— Правильно... В университете. Но все же я не студентка, к вашему огорчению.

— Почему — к моему огорчению?

— Вам, конечно, было бы приятней, если бы я была студенткой.

— Ну, это уж вы совсем напрасно... Однако кто же вы, если не студентка? Что делаете в университете?

— Уборщица... Я тоже частенько видела вас... но вы всегда такой занятый и серьезный и, конечно, не могли обращать внимания...

— Не надо меня обижать, Маша,— строго прервал ее Андрей.— Зачем же считать меня каким-то бездушным

бюрократом? Дело в том, что я просто человек рассеянный. Но на вечере разве я не обратил на вас внимание? Вы же говорили, что сами заметили, как я слежу за вами.

— Да, заметила. А почему следили? Наверно, из любопытства, а может, потому, что на мне была чудна́я маска... она бросалась в глаза.

Накинув пальто на плечи, она проводила его по лестнице, потихоньку открыла дверь. На прощанье он крепко пожал ее руку.

### 3

После этого знакомства, встречаясь в университете, он всегда приветливо здоровался с Машей, спрашивал, как ее дела, как жизнь.

— По-старому,— коротко отвечала она.

Иногда ему хотелось пойти в ее маленькую, незатейливую, но такую чистую, уютную комнатку, посидеть, поговорить, попить чаю, как в новогоднюю ночь. Но как это сделать? Самому напроситься — неудобно, а она не приглашала. И тогда он придумал предлог.

— Маша,— сказал он однажды,— вы не могли бы постирать мне простыни, наволочки?

— Пожалуйста,— сказала она. Немного помолчав, добавила: — С удовольствием...

— Вечером будете дома?

– Буду.

— Я принесу.

— А зачем? Принесите завтра утром сюда... заверните в газету.

— Нет. Я к вам... Мне это не трудно... вроде прогулки.

С тех пор так и повелось: он приносил белье в коричневом фибровом чемодане, приходил за постиранным. Маша всегда встречала его с веселым оживлением, старалась чем-нибудь угостить: то каким-либо вареньем, то пирожками или тортом своего приготовления. Потом иногда он стал просто так, без всякого дела, в вечернее время заходить к ней, говоря, что дома ему одиноко и скучно. Если было поздно, она пыталась провожать его, но он решительно возражал:

— Неприлично женщине провожать мужчину... не ей неприлично, а мужчине, которого провожают. И потом, если вы меня проводите до главной улицы, то разве я могу отпустить вас одну обратно? Так и будем провожать друг друга.

Такое объяснение вполне удовлетворяло ее. Она не догадывалась, что Андрей отчетливо сознавал большую разницу между своим и ее положением и что ему не хотелось, чтобы кто-либо из знакомых увидел его идущим с уборщицей под руку. Да и с ней он пока вел себя несколько сдержанно, вернее, как-то связанно. Первое время их разговоры при встречах сводились к простым будничным делам, причем говорила больше Ма́ша, Андрей же слушал, изредка поддакивая или вставляя свои замечания. Часто она рассказывала ему о том, что видела и слышала в университете. Его поражали ее наблюдательность и меткость характеристик на некоторых хорошо известных ему преподавателей, доцентов и даже профессоров. Иногда она делилась с ним своими впечатлениями от прочитанной книги, от того или иного фильма. Она очень любила читать (но читала лишь художественную литературу) и ходить в кино. К сожалению, он не мог посещать с нею кинотеатры, все из той же боязни встречи со знакомыми, но старался в одиночку посмотреть фильмы, о которых она отзывалась с похвалой. А посмотрев, не без удовольствия убеждался, что многое она схватывала верно. И о книгах у нее были свои оригинальные суждения. Узнав, что она ушла из школы, не закончив седьмого класса, он иногда думал: «Ей бы высшее образование!» Попробовал говорить с ней об этом, но Маша смеялась:

— Да вы что! У меня на десятилетку терпения не хватило! А это же лет девять-десять учиться. Мне и так уж скоро тридцать... До сорока сидеть за партой! Не смогу я...

Такой ответ удручал Андрея. У него были-таки иногда мысли о том, чтобы сделать ее образованным человеком. Тогда бы он мог, невзирая на ее скуластость и рябоватость — впрочем, совсем незначительную, еле заметную,— не стыдясь людей, и гулять с ней, и... возможно, вступить в брак. Он все больше и больше привязывался к Маше. Скучал по ней и даже тосковал.

«Чудно́ получается. Меня тянет к этой молодой мордовке точь-в-точь как горьковского Макова. Но тот искал утешения, убежища от несчастливой семейной жизни и сочувствия своей революционной борьбе, а я чего ищу? Я ведь холостой, никакой подпольной борьбы не веду. И чего я прилепился к ней?»

Однажды, по осени, он принес Маше свое белье довольно поздно, почти в полночь. Посидел, поговорил, собрался уходить, а на улице начался проливной дождь. Хотел переждать, но дождь не прекращался и не ослабевал, все хлестал и

хлестал в окно комнатки, ручьями растекаясь по стеклам.

Маша ласково предложила:

— Ночуйте у меня. Ляжете на моей кровати... а завтра я пораньше разбужу вас.

— Да уж не завтра, а сегодня,— смеясь, сказал Андрей.— Второй час. А где же вы сами будете спать?

— Постелю на полу.

Он остался.

Маша потушила свет. Он разделся и лег на приготовленную постель. Ему вдруг стало неловко: он — на кровати, а женщина — на полу. Следовало бы наоборот. А минуты две спустя Маша пришла к нему, легла рядом.

— Не стала я стелить... Жестко на полу,— виновато, как показалось Андрею, шептала она, дрожа и прижимаясь к нему.— А тут места хватит... Кровать большая... Двуспальная.

...Около двух лет прошло с той ночи. По-прежнему Маша стирает белье Андрея, и теперь уже не одни наволочки и простыни, а все подряд. Он обращается к ней на «ты», а она к нему — на «вы», несмотря на его просьбы и даже требования говорить ему «ты», если они остаются вдвоем.

Два раза в неделю Маша убирает его квартиру — протирает окна, двери, моет полы. Не однажды предлагала готовить обед, но он не разрешил: люди могут догадаться о его близких отношениях с уборщицей. Для уборки его квартиры она обычно приходила в дневное время, когда его самого дома не было: он дал ей запасной ключ. А виделись они, как и прежде, в маленькой комнатке Маши.

Однако о браке с ней Андрей и не помышлял. Супруга ему все-таки нужна была не менее чем со средним образованием.

...Если Галя даст согласие стать его женой, он женится не позднее августа, потому что в сентябре начнутся занятия в университете. А война? Во-первых, она где-то далеко от Центрально-Черноземного края; во-вторых, он получил уже броню, освобождающую его от фронта. «Но Маша? Как же с Машей? — снова и снова задавал он сам себе вопрос и тотчас отмахивался: — После, после... Когда здесь все устроится, пойду и скажу: Маша, так и так...»

Пока вспоминал и обдумывал жизнь — подошел к селу. У околицы свернул на тропинку и к своему дому направился берегом реки, по-за огородами, чтобы на улице не встречаться с односельчанами.

## 4

Мать не ждала Андрея и очень обрадовалась ему. Она обхватила его своими жилистыми, загрубелыми в труде руками за шею и, обомлев, повисла на нем, обливая слезами его грудь. Она любила младшего сына больше, чем старшего. И Андрей любил мать. Он не замечал корявости ее крупных работящих рук, а покрытое мелкими морщинками, обветренное лицо ее всегда казалось ему очень милым.

Мягким движением высвободившись из рук матери, Андрей взял в ладони ее небольшую с седеющими висками голову и с улыбкой посмотрел в ее добрые светло-серые заплаканные глаза.

— Ну, чего же ты плачешь, родная! — ласково проговорил он, целуя ее в лоб, в худощавые загорелые щеки, взмокшие от слез, слегка зарумянившиеся от волнения.

— Не думала, не гадала, что приедешь... Макара ждала... Чтой-то ты, сынок, стал забывать нас...

— Занят был, мам, сильно занят...

— А уж я, грешница, думала — в армию тебя забрали. Теперича берут в одночасье, не то что приехать — и написать не успеешь.

— Меня, мамочка, не возьмут. Я — забронированный...

— Это как же? По здоровью либо? — обеспокоенно вглядываясь в сына, спросила Настасья.— Да ты садись, садись, сынок, чего же мы стоим!

Настасья кончиком коричневого с белыми цветочками платка, сдвинувшегося с головы на плечи, вытерла лицо и глаза и сама села возле стола. Андрей присел напротив нее.

— А у нас весь старший преподавательский состав с учеными званиями забронирован, то есть освобожден от призыва,— пояснил он.

Настасья смотрела на сына с нескрываемым восхищением. Мечтала видеть его учителем, а он, поди-ка ты, каким большим ученым стал! Таким сыном любая мать гордиться может!

Между сыном и матерью завязался обычный при неожиданных встречах беспорядочный разговор о здоровье, о делах и прочем.

Настасья рассказала, кого из молодых ребят и мужиков забрали, как плакали матери, молодые бабы и девки по своим близким.

— А насчет Гали — наш с Пелагеей уговор нерушим, сы-

нок,— сказала она.— Я все ждала тебя, насилу дождалась! Ты-то как? Не передумал?

— Ну что ты, мам! Как же я могу передумать? Наоборот... за тем и приехал.

— Вот и хорошо! И хорошо! Тогда я схожу поговорю с Пелагеей... чтоб она подготовила и Галю и Петра Филиппыча.

Андрей досадливо сдвинул брови.

— Нет уж...— сказал он.— Я хочу сам встретиться с Галей... Без всякой подготовки.

— Ну-к что ж! — кивнув, согласилась Настасья.— Можно и так. Твоя воля, сынок. Как твое желание... как сердце подсказывает, так и делай.

Андрей поставил саквояж на стул, раскрыл его. Костюм, рубашку и галстук, аккуратно свернутые, положил на кровать, застеленную бордовым одеялом, потом со дна чемодана вынул отрез синего в белую горошинку ситца.

— А это тебе, мам! — с веселой улыбкой сказал он, поднося матери отрез на вытянутых руках.

— Ой, господи! — застеснялась Настасья.— Да зачем же мне! Немолодая уж я. Больно он нарядный, матерьял-то!

— Ничего, ничего, как раз по твоим годам... синий. Специально искал такой.

— А горошек-то, горошек-то! Мне теперь уж только сплошь синий либо черный. Старухой становлюсь, сынок... пятьдесят годочков стукнуло. Отец меня старой каргой величает.

— Сам он — старый хрыч! Что он понимает, наш отец! Ненормальный он и, прости, мамочка, глупый человек. И тебя не ценит. Ему невдомек, какая ты хорошая! Ведь ты же золото, мам! Ты чуткая, добрая... тебя на деревне все любят и уважают, а его не любят и многие даже ненавидят. И потом, мам, ты очень, очень красивая! Ты сама не представляешь, какая ты красивая! И на вид тебе совсем не пятьдесят, а не больше сорока!

И, положив ситец на стол, он обнял ее и снова принялся целовать в лоб, в голову.

— Так уж и красивая! — растерянно бормотала Настасья.— Ты наговоришь! Разве такие красивые бывают? Вот Галка Половнева — верно, красавица... красивше ее во всей Даниловке, да что в Даниловке — в округе не сыщешь,— не без умысла, чтоб «подогреть» сына, говорила она.

— Галя — девушка! — резонно заметил Андрей, отходя от матери.— Ты девушкой наверняка не хуже была!

— А ну тебя! — опять засмеялась Настасья, видать довольная, что сын у нее такой славный и так по-хорошему любит ее. Помолчав, она серьезно добавила: — Я вот что хочу тебе сказать. С отцом помягче, поласковей будь. Помириться бы вам как следует... Мало чего раньше было. Все уж прошло, все миновало, и он вроде бы злобы на тебя не имеет. И скучает, видно, по тебе. Ты вот не приезжал долго, а он то и дело вспоминал: «Не едет чтой-то Андрюша!» И обижался, когда из города вернулся. Сумный такой приехал. Андрюша, говорит, совсем зазнался. Квартира, мол, барская, из двух комнатей, а ночевать не оставил, даже чаем не попотчевал, не то что водкой. Повидались, дескать, насухую. Вот Макарка, говорит, совсем другой. Тот пол-литра поставил, обедом угостил.

— Врет он,— раздраженно проговорил Андрей.— Ночевать и не просился.— Хотел сказать, что ночует отец всегда у Глафиры Веневитиной, но вовремя спохватился, умолчал. Знал, что мать давно догадывается о связи отца с этой бывшей дворянкой, когда-то ревновала, а потом смирилась и ревновать перестала. Но все равно ей будет неприятно напоминание о Глафире.— А угощать же — некогда. Он пришел не вовремя. Мне нужно было в университет. Я попросил его зайти на другой день, назначил час, а он не пришел. Небось жаловался, что жадный я и тому подобное.

— Сквалыгой обзывал! — тихо засмеялась Настасья.— И еще сказал: «Это Андрюха в меня. Я ведь тоже кого попало угощать не стану!»

— Не приведи бог, чтоб я был в него.— Андрей отрицательно качнул головой.— Это он ошибается. Я весь в тебя, мамочка! И наружностью, и душой. Он же рыжий, а я шатен... и глаза у меня серые, почти голубые, как у тебя, и ростом я выше отца.

— Да я-то знаю,— вздохнула Настасья.— С малых лет на меня был похож. За то и недолюбливал тебя отец. Ты мой сын, а его — Макар. Энтот вылитый батя! Что наружностью, что повадками. И хитрющий такой же. Телеграмму отбил: приеду, мол, в субботу. Я потому и дома-то... Приказал отец подготовиться к приезду Макара.

— Чего это он вздумал? Года два или все три не бывал тут.

— Да уж наверно неспроста... Не иначе, дело какое-нибудь к отцу есть... а може, в армию берут, попрощаться едя. Ой, что же я забалакалась! — спохватилась Настасья.— Ты ж, поди, голодный. Сейчас я тебе поесть соберу. У меня все сва-

рено, все сготовлено... Наварила всего, напекла, нажарила... А за подарок тебе спасибочко, сынок, большое... Дай бог тебе за доброту твою в жизни твоей всего хорошего, во всех делах твоих удачи. Только вот насчет отца: ему бы тоже чего-нибудь надо было привезть, а то опять обидится. Либо уж мне спрятать твой подарок, не говорить ему покамест.

— Ничего я не мог ему найти. На него готовое трудно подыскать без примерки.

Говорил он неправду: ему и в голову не приходило, чтоб отцу подарок покупать. Не любил он отца.

— На рубашку бы чего ни на есть,— сказала мать.

— А ты сшей ему рубаху из этого материала. Тут ведь двенадцать метров. Хватит вам обоим.

Настасья обрадованно согласилась:

— Ну-к что ж! Скажу ему: нам с тобой, мол, ситец сын привез. То-то доволен будет. Половинку бы рябиновки ему еще. Дюже он любит ее. Совсем отмяк бы. Ты дай-ка деньжонок — я сама куплю. В кооперативе нашем энта гадость имеется, а он пока не закрылся. Отцу похвалюсь, сын, мол, привез.

---

# ГЛАВА ТРЕТЬЯ

## 1

Пообедав, Андрей подремал немного на небольшой старинной кушетке. Потом пошел в баню, натопленную и приготовленную матерью. Баня находилась в противоположном от избы углу сада. Ведмедь узнал Андрея, бросился к нему, звеня цепью, скользившей по проволоке. Завизжав от радости, встал на задние лапы, а передними уперся ему в грудь и несколько раз лизнул в подбородок. Андрей потрепал пса по жирному загривку. Приятно! Пес не забывает его.

Из бани возвратился уже на заходе солнца. Макар еще не приехал, и отца не было. Хотел пойти в отцову «келью», но мать отговорила. Ключ от «кельи» отец теперь не доверяет ей. И хотя она знает, куда он его прячет,— лучше все-таки не ходить туда.

— Ну его к лешему с его «кельей».

Андрей недоуменно поднял брови:

— Чего там в ней, в «келье» этой, почему не доверяет?

— А бог его знает,— сказала Настасья.— Он ведь у нас трудный.— И, помолчав, спросила: — С Галей-то когда же повидаешься?

— Завтра вечером.

Андрей подсел к столу, положил перед собой в голубом коленкоровом переплете книжку, привезенную из города в кармане пиджака. От сиреневых кустов, густо разросшихся в палисаднике, в горнице было сумрачно. Настасья, видя, что Андрей собирается читать, зажгла лампу, которую Аникей Панфилович разрешал зажигать только в особых случаях, и поставила на стол. Лампа была редкостная, с белым абажуром, в нее входило литра полтора, ежели не два, керосина. Светло от нее было, как от электричества. Затем Настасья начала занавешивать окна широкими дерюжками.

— Затемнять велят,— пояснила она, видя, что Андрей смотрит на нее непонимающе.

— Затемнение! — удивился он.— Почти за тысячу километров от фронта?

— Ничего не поделаешь, сынок, велят. Село наше огромадное,— говорят, с городом фашисты попутать могут. Да и сел они не щадят — слух такой идет. Комсомольцы вечером проверяют, а наутро Митрий Ульяныч в правление зовет и ругает, если кто не завешивал окошек. На улицах у нас теперь темно-темно по вечерам и ночам, будто оно и нежилое. Ажно страшно становится, особливо когда одна идешь. Ну, читай, Андрюшенька,— ласково заключила Настасья, покончив с окошками.

С минуту постояла рядом. Хотелось обнять, поцеловать сына, такой он у нее милый да желанный, такой тихий, скромный и... чистый после бани. Но не осмелилась. Переступила с ноги на ногу, вздохнула, тихо проговорила:

— Пойду свинюшек покормлю... и корова скоро придет. Ты не скучай тут.

Оставшись один, Андрей стал перелистывать книгу. Блок! Любимый поэт! Все созданное им было близко Андрею, волновало. Но сейчас он искал главным образом стихи о любви, о женщинах.

Твое лицо мне так знакомо,
Как будто ты всегда со мной...

У Блока — «жила со мной». Андрей мысленно прочел иначе. Ему нужны были строки, которыми можно было бы выразить свои чувства к Гале, и не только выразить для себя,

а и ей прочесть. Понятно, прочесть так, как написано у Блока, было вроде бы неудобно. Что значит «жила со мной»? Гораздо лучше и «пристойней»: «всегда со мной»! В таких словах выражено лишь духовное отношение к женщине или девушке.

...В гостях, на улице и дома
Я вижу тонкий профиль твой,
Твои шаги звенят за мною,
Куда я ни пойду, ты там,
Не ты ли легкою стопою
За мною ходишь по ночам?

Андрей опять запнулся. «Не ты ли легкою стопою за мною ходишь по ночам?» Нереально! По ночам я сплю. Строки поэтичны, но прочесть их в таком виде для Гали... нет, не то! А может, так:

За мною ходишь по пятам?..
Не ты ль проскальзываешь мимо,
Едва лишь в двери загляну,
Полувоздушна и незрима,
Подобна виденному сну?

— Очень хорошо! — воскликнул Андрей, встал и начал ходить по горнице.— Это стихотворение в точности выражает мое теперешнее душевное состояние.

Шагая из угла в угол, закрыв книжку, прочел стихотворение наизусть и раз и два. «Все помню до строки! Вот что значит гениальные стихи! Со студенческих лет не забываются».

Опять сел за стол. «Скрывать не буду,— думал он.— Скажу — стихи Блока. Но надо продекламировать так, чтобы она догадалась, что я этими стихами выражаю свои чувства к ней».

Открылась дверь, и в горницу тихо вошли Макар и отец. У Макара в руке — небольшая кожаная кошелка.

— А-а! — игривым тоном протянул Макар.— И братень здеся! Здоро́во, здоро́во, Андрюша! Очень, очень кстати ты приехал!

Андрей невольно поднялся, отодвинул книгу в сторону и молча слегка пожал теплую руку брата.

Аникей Панфилович тоже поздоровался с сыном, заметив ворчливо:

— На дворе еще светло, а ты уж окна занавесил и с лампой сидишь. Керосин понапрасну жгешь.

— Окна мама занавесила,— сказал Андрей.

— Читать-то в потемках трудно, папаша! — сказал Макар в защиту брата.— А керосин — вещь недорогая.

— Покамест недорогая. А по военному времени к осени не пришлось бы опять с лучиной сидеть, как при Николашке сидели в ту войну, да и при Советской власти в первые годы.

— Напрасные ваши опасения, папаша,— сказал Макар.— К осени война кончится, и у нас с вами все будет, кроме птичьего молока.

Появилась Настасья. Она поздоровалась с Макаром, но целовать его, как недавно целовала Андрея, не стала.

— Ужинать собрать? — спросила она Аникея Панфиловича.

— Ужинать посля́,— отрывисто ответил Травушкин все так же ворчливо.— Сперва в баню сходим. Баню-то истопила?

— А как же! Давно истопила. И сейчас дровишек подбросила. Пару много!

— Белье давай,— грубо перебил Настасью Аникей Панфилович.

— А вот оно... лежит, тебя дожидается,— слегка улыбаясь, указала Настасья на кровать, где, свернутые, лежали рубашка и кальсоны белого полотна.

— Ужинать мы с Макаром в «келье» будем, приготовь все как полагается,— суровым, приказным тоном распорядился Аникей Панфилович.

— Мамаша,— в противовес отцу ласково сказал Макар,— вот кошелочка. В ней выпивон и закусон. Так вы потрудитесь, пожалуйста, сделайте все как следует. Порежьте, на тарелочки разложите.

С тех пор как стал работать в городе, Макар отца называл папашей, а мать мамашей и к обоим к ним обращался на «вы», тем самым подчеркивая свою «благовоспитанность». Аникею Панфиловичу такая «благовоспитанность» была по душе. Настасье же всегда не нравились ни «мамаша», ни «вы», однако сказать об этом сыну она стеснялась. И теперь ее тоже покоробил неестественный и будто насмешливый тон Макара, но она только досадливо махнула рукой и шутливо проговорила:

— Ладно, ладно уж... Чего учишь-то? Аль сама не знаю? Чай, не впервой благородных гостей принимать!

— Это я в благородные попал! — весело захохотал Макар.— Вы у нас шутейница, мамаша!

Когда Макар с отцом ушли, Настасья раздумчиво сказала:

— Вишь, алахари! Выпивать собираются, а тебя и не позвали.

— И хорошо сделали! — откликнулся Андрей.— Чего мне с ними? Водки не пью, разговаривать не о чем.

— Ну и почитай пока, а я пойду в «келью». Ты давеча сказал: отец наш неумный, и верно! Да и Макар не умней его. Бог с ними. Не серчай на них, сынок. Родные же они!

И, захватив кошелку Макара, мать снова ушла.

## 2

Некоторое время Андрей сидел задумавшись, под впечатлением короткой и такой странной встречи с отцом и братом. Вошли, наспех поздоровались... и ушли. Ничего не спросили, не поинтересовались, когда и зачем Андрей приехал, только Макар почему-то сказал: «кстати». А почему кстати? Если кстати, то почему же не пригласили, хотя бы из приличия? Он, конечно, и не пошел бы в эту «келью» дурацкую, где полно икон и пахнет какими-то травами, ладаном и воском. Но все ж таки. Мать говорит: родные. Верно. Чай, и он не чужой им. А может быть, чужой? И отец и брат люди некультурные. Правда, Макар член партии, но что в том толку? Политически он неграмотный, в чем Андрей не раз убеждался при случайных встречах и разговорах с братом. Непонятно, как и зачем такого в партию приняли.

Все эти мысли освежили давнишнюю неприязнь к Макару, которого Андрей не любил с малых лет. Да и как было любить? Подзатыльники, зуботычины, насмешки... Лет до двенадцати Макар иначе и не называл Андрея, как «пискленок», «сопляк», «бестолочь пузатая», а то и похуже. Как часто отравлял он ему детское существование, несмотря на то что и отец в те времена не давал Андрея в обиду, даже иногда наказывал старшего брата, ежели тот слишком обижал младшего. Да и ко взрослому Андрею Макар относился свысока, с насмешкой.

Андрей крутнул головой, как бы отмахиваясь от неприятных воспоминаний, и стал перелистывать книжку, теперь уж не ища стихотворений о любви и женщинах.

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи...
Россия, нищая Россия...
Мне избы серые твои,

Твои мне песни ветровые,
Как слезы первые любви.

К горлу подступила теплота.

«Россия! Это сильней, чем лермонтовская «Родина». Я тоже люблю Россию! — думал Андрей.— Да и как не любить! Что такое я, мы все без нее? Павел Гурыч научил меня любить Россию и все русское. Спасибо ему за это».

И Ачдрей негромко продолжал:

Я слушаю рокоты сечи
И трубные крики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар...

---

Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла
И словно облаком суровым
Грядущий день заволокла...

. . . . . . . . . . . . . .

Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались...
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. Молись!

«Опять над полем Куликовым... широкий и тихий пожар! — шептал про себя Андрей.— Теперь не татары, а немцы. И вечно мы меж двух огней. То с востока орды дикарей, то с запада. И что им нужно от нас? За что они ненавидят Русь? Не за то ли, что мы добрый и мирный народ? «Теперь твой час настал. Молись!» Чей час? Каждого русского... а значит, и мой! А я? Что делаю? О чем думаю? О чем угодно, только не о доспехе!»

Андрей откинулся на спинку стула, и поплыли думы, но уже совсем о другом: поэт разворошил в нем до поры дремавшие большие мысли и чувства.

— Андрюша! Андрюшенька, сынок! Что же ты не откликаешься?

Мать! Подошла, положила на плечо худощавую руку, желтоватую от загара.

— Что такое? — встрепенулся Андрей, словно спросонья.— Извини, мамочка. Задумался.

— Вижу, вижу, что задумался. А ты, сынок, не кручинься. Все уладится. Надо только по-хорошему, с подходцем, а не

впрямую. Подход, сынок, большое дело. Я вон намекнула им, что, мол, вы тут сидите, а он, ты, стало быть, один. Отец и говорит: «Зови. Пусть придет. С ним нам есть о чем побалакать. Так он же, говорит, гордый... не пойдет к нам». Пойдет, говорю, обязательно пойдет. Рябиновку-то, мол, Андрюша купил. А скажи я погрубей — ничего бы, может, и не вышло. Ты сходи, сынок, посиди с ними. Одних же кровей все вы. Сердце-то у отца, чую, отошло. И ты тоже подобрей будь с ним.

— Не хочется мне, мам. Ну что я там буду делать? Сами-то они не позвали.

— Ой, нехорошо так, сыночек, нехорошо. Пора, пора тебе помириться с отцом. Не пойдешь — он злобиться на меня будет. Он же думает, что я тебя против него настраиваю... Пожалей мать, сыночек! — со слезами в голосе упрашивала Настасья.— Вся душа моя изнылась. Эвон сколь годов ты словно сирота при живом отце.

«А может, сходить? Мириться-то, пожалуй, не стану. Да и почему мне мириться? Я же с ним не ссорился. Отец сам отказался от меня,— значит, он виноват... он и мириться должен».

— Хорошо, мам. Раз ты считаешь нужным, пойду.

— Вот и славно! — обрадованно сказала мать.— Давно бы так-то.

### 3

За столом, у небольшого окна, занавешенного плотной серой дерюжкой, такой же, какими мать занавесила окна в доме, друг против друга на венских стульях сидели отец и Макар, в одних нижних рубашках с воротниками нараспашку, обнажавшими их обширные груди, заросшие густым золотистым волосом.

В «келье» было тепло, даже душно. Смесь разнообразных запахов пахнула Андрею в лицо, как только он открыл дверь: жареного мяса, керосиновой гари, лампадного масла и человеческого пота. И он невольно задержался у порога.

На столе — початые бутылки водки, рябиновки, яичница на сковороде, в керамической эмалированной миске — мясо крупными кусками, на белых тарелках — нарезанные колбаса и сыр («Макар привез!» — подумал Андрей о колбасе и сыре), ломти белого и черного хлеба — прямо на столе, покрытом клетчатой розоватой клеенкой. В углу, перед образом богоматери с младенцем на руках, как всегда, синий свет

«негасимой» лампады. А над столом — большая висячая лампа, ярким светом освещающая всю «келью». «У себя керосину не жалеет!» — подумал Андрей об отце и негромко произнес:

— Мать говорила, звали вы меня.

— А-а! Братень! — радушно улыбаясь, весело вскрикнул Макар.— Проходи, проходи, чего стал? — повернувшись всем плотным, широкоплечим корпусом в сторону пришедшего гостя, говорил он с видом человека, очень обрадованного. Потом встал — малорослый, коренастый, большеголовый, с выдававшимся животом — и медленно двинулся навстречу Андрею, по-гусиному переваливаясь с ноги на ногу.— Давно ждем. А тебе, оказывается, особое приглашение требуется. Это уж совсем лишнее между родными.

Макар взял Андрея под руку и повел к столу. Полное, круглое, чисто выбритое и немного потное лицо его багровело то ли после бани, то ли от выпитой водки, «букетом» которой потянуло от него, когда он приблизился к Андрею. Рыжеватые волосы, расчесанные на косой пробор, немного лоснились,— они были еще влажными после бани, в маленьких глазках посверкивали зеленоватые, как у отца, хитрые огоньки.

— Садись рядком, поговорим ладком,— усаживал Макар брата на темно-коричневый стул, очевидно специально для Андрея загодя подготовленный.— Извиняюсь, мы с батей только что из бани... потому не по форме одеты... Ну да ведь мы же свои.

— Садись, ежели не брезгуешь нашей кумпанией,— негромко добавил отец, застегивая воротник сорочки, как бы из приличия.

Андрей и сам был без пиджака, в верхней светлой рубашке, заправленной в брюки. Он сел, сказав, что совсем неважно, как они одеты. На столе перед ним были пустая тарелка, вилка, нож, стеклянная стопка.

Макар, усевшись на свое место, проворно схватил поллитровку с водкой.

— Не надо... не пью,— сказал Андрей.

— Ты что! Не понимаешь? — серьезным тоном упрекнул Макара отец, все время не сводивший с Андрея пытливого взгляда.— Ученый человек, а ты ему водку суешь! Не полагается ихнему брату. Ученые теперича вроде дворян, а те редко к водке прикасались, больше наливки, вина разные потребляли. Может, рябиновочки? — услужливо предложил он.— Она, конечно, куда приятней. И градусами послабше.

— Да зачем? Ничего не надо,— нахмурясь, сказал Андрей.— Я та́к посижу.

— Ну нет! — решительно заявил Макар.— Так нельзя. Так не годится. Как же это? Стало быть, ты и вправду брезгуешь нами! И мной то есть, и папашей. У нас так, братень, не водится. Будь ты совсем непьющий — куда еще ни шло, но ты вполне пьющий. Помнишь, однова мы с тобой на вокзале...

— Тогда мы сухое виноградное пили,— сказал Андрей, дивясь, что Макар запомнил их случайную встречу в тридцать восьмом году.

— Не знал, что застану тебя здеся, привез бы и виноградного. Надо, братень, от старшого не отрываться. Задумал поехать — пришел бы и сказал: так, мол, и так... Вместе бы и приехали и, чего потребно, купили. Думаю, однако, что русская рябиновая ничуть не хуже виноградного.

И Макар быстро наполнил янтарной жидкостью стопку Андрея.

— За компанию, Андрюша,— гостеприимно и простодушно улыбаясь, сказал он.— Хоть немного, а надо обязательно выпить. Пожалуйста, будь ласка, не чурайся нас. Давай как свои родные, а не как чужие! Выпей, закуси. Потом поговорим. Ну, будь здоров!

Макар налил рябиновки отцу, взял свою стопку, видимо раньше водкой налитую, чокнулся сперва с отцом, потом с Андреем. Тогда отец тоже слегка притронулся своей к стопке Андрея, все еще стоявшей на столе, и сказал с такой теплотой в голосе, с какой никогда не говорил с младшим сыном:

— Благодарствую тебя, сынок, за матерьял на рубашку и за рябиновочку. Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь, как говорится. Похоже, сердца на отца не имеешь теперича... Ну и у меня отлегло. Давно отлегло. И вправду сказать, рад я, что ты в ученые выбился. Самостоятельно выбился, без моей помощи. Тебе-то я не говорил, что рад, а перед людьми — горжусь. Имею законное право гордиться... у глупых отцов умных сыновей не рождается. Не правда, что ли? Ну, чего ж ты сидишь, ровно девка красная! Давай выпьем!

«Мировую, значит, предлагает. Это все мамина забота! Доложила уж и насчет рубашки, и рябиновку поднесла... Очень ей хочется помирить нас».

— Ну что же... будем здоровы! — сказал Андрей и медленно, маленькими глотками, выпил рябиновку.

— Так-то оно лучше, братень! — поощрил Макар, вглядываясь в лицо брата, будто пытаясь что-то угадать.— Теперь закуси. Вот колбаска, вот сырок. Я привез... Мясца отведай — мамаша специально для нас нажарила. Вкусная свининка, свойского откорму.

— А за рябиновку, сынок, особенное спасибо тебе,— размягченно продолжал отец.— Знаешь и помнишь, значит, мою пристрастию. Впервой ты этак-то спомянул обо мне. А то, бывалоча, приедешь — чужак чужаком. Не то что поговорить — не замечаешь даже отца родного. И глаза в сторону воротишь.

— Давайте, папаша, не будем,— миролюбиво вмешался Макар.— Кто старое помянет — тому глаз вон. Мало ли чего между своими не бывает. Забыть все надо, папаша. Нам, родным людям, теперь содружество потребно, потому что война идет, и неизвестно, куда она потянет нас. Вообще, что она такое, война,— это большой вопрос, папаша, об этом нам с вами не мешает подумать.

Он снова налил — себе и отцу водки, Андрею — рябиновки.

— За содружество, значит, за согласие! — торжественно произнес он, чокаясь с братом и отцом.

Андрей и на этот раз выпил, и тоже не спеша. Некоторое время длилось молчание. Закусывали. Макар ел мясо, разрезая его на своей тарелке на мелкие куски. Аникей Панфилович с жадностью налегал на колбасу. Он брал вилкой сразу по два и по три кружка и энергично, торопливо жевал их своими крепкими зубами (Андрей знал, что у отца, несмотря на пожилой возраст, были еще целы все зубы).

Закусив как следует, Аникей Панфилович, глядя на Макара, сказал:

— Ты говоришь, война — большой вопрос... И никакой не вопрос. В наказание она. Бога прогневали. Все, сынок, идет по древнему писанию. Это были два города таких... и в них жили одни грешники. Бог разгневался на них и проливным дождем сыпанул серу и огонь, и городов этих как не бывало, словно корова языком слизнула, и людишки все погибли. Живой остался только один праведный Лот с дочерьми. Понимаешь? Из тыщ — три-четыре человека! Потому что Лот праведно жил.

Макар вдруг дернулся на стуле и, приложив руку к открытой волосатой груди, решительно остановил отца:

— Погодите, погодите, папаша! Чего вы мелете? Бросьте свою библию! При чем тут Содом и Гоморра! Это одни ваши

невежественные понятия. Читал я библию эту, хотя и не всю... и про Содом и Гоморру вполне знаю. Лот этот был такой же праведник, как и мы с вами, папаша, а то и похлеще... С дочерями родными жил, спал с ними, и те рожали детишек от него, старого черта. Кровосмеситель он, значит, Лот ваш, и нечего на него оглядываться. Не в праведниках и грешниках дело в нашу эпоху, папаша. А если взять войну, то ее совсем не так понимать надо, как вы понимаете. Чего Гитлер хочет? Он хочет убрать большевистскую партию и Советскую власть... Зачем убрать? Чтоб дать людям полную свободу. Как это понимать, что такое полная свобода по-ихнему, по-фашистски, стало быть? А это надо понимать так: не хочете вы в колхозе работать — выходите из него, вот вам ваша бывшая или другая какая землица — пашите, сейте, чего душеньке вашей угодно. Не можете сами — попросите того, кто может. Лошадки у вас нету — продайте земельку свою тому, кто имеет лошадку или трактор даже. Теперь возьмем город. Вам хочется торговать — торгуйте, пожалуйста, если деньжонки завелись. Хочете завод, фабрику иметь? Имейте! Хватило бы вашего капиталу. Ну, а если по части капиталу слабо — не прогневайтесь! Ступайте работать к тому, у кого капиталу хватает. Вот чего задумал Гитлер. Вопрос теперь так стоит: кому такая программа выгодна, а кому она хуже ножа. А Содом и Гоморра, папаша, это сущая ерунда. Это детские побасенки,— заключил Макар, с усмешкой поглядывая то на отца, то на Андрея.

Окончив речь, он неторопливо налил себе водки, отцу рябиновки. Хотел налить и брату.

— Не нужно,— сказал Андрей,— непривычен я.

— Брось, братень! — воскликнул Макар.— Давай еще по одной... под разговор! Вишь, как он серьезно поворачивается-то, разговор наш!

— Да! Очень серьезно,— мрачно насупливаясь, сказал Андрей, почти враждебно глядя в насмешливо прищуренные глаза старшего брата.— Только насчет свободы я тебя не пойму... То есть сказал ты правильно, что Гитлер несет свободу капиталу... хотя это не все... его тянут в Советский Союз еще наши богатства, земли...

— Ну, это само собой,— поспешно перебил его Макар, приподнимая свою наполненную стопку. Резким броском опрокинув ее в черный провал большого рта, он крякнул, весело поглядел на Андрея.— Чудно, братень! Водки не пьешь, не куришь... Холостой досе ходишь. Для чего же ты живешь?

«Уводит от острого разговора,— догадался Андрей.— Может, ему самому на руку фашистская программа покорения нашей страны во имя свободы капитала?»

— Что значит — для чего? — серьезно сказал он.— Живу для общества, преподаю... вооружаю молодежь знаниями, культурой.

— А для чего они теперь — знания, культура? — Макар с улыбкой умильно склонил голову к плечу.— Какой в них толк? Лучше бы вооружали молодежь винтовками, танками, пулеметами, а то вон как гонит Гитлер Красную Армию... Говорят, нечем ей отбиваться от него.

— А зачем и почему красные армейцы отбиваются? — встрял в разговор братьев Аникей Панфилович.— Послушаешь радиво или в газету заглянешь — все одно и то же: оказали сопротивление, нанесли большие потери... А сопротивляться-то совсем бы и не нужно. К чему оно — кровопролитие напрасное? Все равно не выстоять нам против немца. У него же всякого оружия уйма. А у Советов чево? Лучше уж руки кверху, чем попусту погибать. Может, по-мирному договориться с Гитлером этим. Ты как думаешь, сынок? — обратился Аникей Панфилович к Андрею.

— Я думаю так, как партия,— приподнимаясь со стула, глухо, взволнованно проговорил Андрей.— А вот вы... ну отец, известное дело, старый человек... ему не понять... но ты... ты, Макар? — голос Андрея дрогнул.— Ты же член партии!

На худощавых щеках Андрея выступила густая краска.

— А я ничего такого и не сказал,— спокойно, с невинным видом возразил Макар.— Я только сказал, что винтовок, танков и пулеметов побольше бы нашей молодежи, которая сражается сейчас на фронте, не щадя живота. Совсем напрасно ты чего-то такое подумал, братень. Насчет оружия, наверно, и партия такого же мнения, что их надо побольше, и, конечно, меры принимают самые решительные.

— Выкручиваешься! — язвительно произнес Андрей, продолжая стоять и чувствуя, что захмелел немного.— Отлично понял я, куда вы оба с батей гнете. Фальшивый ты коммунист, Макар Аникеич. Впрочем, ну вас к черту обоих! Мировую с Гитлером задумали. Руки кверху! Напрасное кровопролитие! Оба вы заматерелые контрики, предатели.— Он махнул сердито рукой и, резко, с грохотом отодвинув стул, направился к двери.

— Погоди, постой, Андрюша! — Голос Макара слегка дрогнул.— Ты нас не понял.

Андрей не остановился. Дверью стукнул так, что с притолоки побелка сыпанулась легким снежком.

— Чего же это получается? — сказал Макар, недоумевающе глядя на отца.— Я ехал договориться с вами, папаша... как нам быть... И зачем вы его позвали?

— Так разве ж я? Ты же сам был не против. Да и как же не позвать? Настасья уши прожужжала: помиритесь, помиритесь! А он вишь как завернул! Попробуй помирить с таким!

— Надо же было мириться. А вы аллигурию про Содом и Гоморру завели, потом на Гитлера свернули... Никак же невозможно такие речи сразу вести... Надо было прощупать сперва.

Аникей Панфилович виновато оправдывался:

— Об Гитлере ты первый начал... Ну и я... как бы следом за тобой. Мне именно и хотелось прощупать... какое у Андрюхи понятие...

Макар презрительно скривил свои полные губы, лоснящиеся от жирной свинины, которой закусывал.

— Следом за тобой! Прощупать! Разве так прощупывают! — непочтительно, грубо передразнил он отца.— Надо же соображение иметь. Андрюха — партейный человек. «Как партия, говорит, так и я!» Как бы он нас с вами в тюрьму не запрятал. Возьмет да и донесет, куда полагается. Не понапрасну контриками и предателями обозвал.

Аникей Панфилович растерянно моргнул небольшими зеленоватыми глазами:

— А чего он может донести?

— Вы, папаша, будто маленький! Донесет, что мы с вами руки кверху собрались перед Гитлером поднимать и его, то есть Андрюху, агитировали. За такие штучки Советская власть по головке не погладит при данном текущем моменте и международном положении. Не прощупывай! Не лезь в воду, не узнавши броду.

— Как он докажет, что мы агитировали? Мы ж не дураки, чтобы признаться. Ничего такого не говорили, мол. Нас двое, а он один. К тому же ты — партейный...

— Так-то оно так,— немного успокаиваясь, вздохнул Макар.— Но надо бы потоньше, похитрей. А вы напрямую: руки кверху.

Вошла Настасья.

— Чего у вас тут вышло? — озабоченно спросила она, подходя к столу.— Опять поцапались, что ли?

Макар настороженно уставился на мать:

— А чего Андрей вам говорил?

— Говорит, зря пошел к вам. Чем вы тут обидели его? Я же тебя просила, Панфилыч... помягчея бы.

— Никто его не обижал, мамаша,— смелея, заговорил Макар, поняв, что Андрей не рассказал ей, о чем тут шла речь.— Воображения, фанаберии много у Андрюшеньки вашего. Как же — ученый! Где же ему с простыми людьми знаться! С нами ему ни пить, ни курить! Ноздри раздул, встал и ушел... да еще дверью хлопнул. Спрашивается, мамаша, при чем же тут мы с папашей?

— Ох, господи! — скорбно вздохнула Настасья.— И чего же вы друг с другом этак-то? Вы на него, он на вас... Нельзя разве по-хорошему, по-родственному? И чего вы тут с ним не поделили?

— Тут дело такое, Настя,— серьезно и важно заговорил Аникей Панфилович.— Образованность! Попа грамота замучила, а нашему Андрюхе — большая образованность покоя не дает. Она мешает ему и знаться с нами. Но ты поимей в виду: ни Макар, ни я на Андрюху не сердимся. Хорошенько пробери его, пусть он нос кверху не дерет.

Настасья сокрушенно покачала головой. Немного успокоили ее слова Аникея Панфиловича, что они с Макаром не сердятся на ее младшенького.

— Ладно, поговорю с ним,— пообещала она.— Горе мне с вами, никак не помирю вас. Ровно козлы — все бодались бы!

Взяла со стола тарелку, нож и вилку Андрея и хотела уйти, но Макар остановил ее.

— Не торопитесь, мамаша,— мягко сказал он.— Тарелочку, ножичек и вилочку оставьте... и подите позовите Андрюшу. Скажите — брат с отцом просят. Надо нам договориться с ним по-хорошему. А сами подождите, покамест не заходите, помешать можете. Вы, мамаша, на все глядите по-женскому, а промеж нас дела сурьезные, мужские. Так-то!

Настасья наставительно возразила:

— По-божьему я гляжу, а не по-женскому. Господь наш Исус Христос всех велит любить... и своих и чужих, а вы ро́дные и никак не сговоритесь.

— Сговоримся,— заверил Макар бодрым голосом.— Идите, идите, позовите. Скажите — просим его.— повторил он.

Минут через пять Андрей пришел, остановившись у порога, натянуто, холодно спросил:

— В чем дело?

Макар встал, неспешными шагами вразвалочку подошел к

брату. Приподнял широкие полные плечи и, раскинув руки в стороны, вкрадчивым мягким голосом сказал:

— Что это ты, братень? Осерчал? Мы же с папашей хотели откровенно поговорить, не по шпаргалке, а по-родственному, а ты вдруг запылил, зафыркал, словно мотоцикл.

— По-родственному поговорить о том, как руки поднимать перед фашистами? — угрюмо спросил Андрей, не двигаясь с места, жестко, в упор глядя на брата.

— Да не смотри ты на меня такими страшными глазами! — Добродушно улыбаясь, Макар ловко пристроился к брату сбоку, взял его под руку.— Глядишь, как на врага народа. Не понял ты нас с папашей. Я тут стал пробирать его за такие необдуманные слова, а он говорит: «Прощупать хотел, как он военное положение наше понимает». То есть ты. А разве сам папаша захочет руки поднимать перед Гитлером? Правда, папаша?

— Чай, русский я,— отозвался Аникей Панфилович, насупливая рыжие брови.— Немцев сам давно не люблю. Шутейно сказал... ради затравки.

— Понял? — Макар осторожно попробовал сдвинуть брата с места.— Пойдем, пойдем к столу, побеседуем...

Некоторое время Андрей упирался, соображая, с чего брат с отцом снова позвали его. С испугу или еще почему-либо?

— Приходила мамаша,— как бы угадывая мысли брата, продолжал Макар.— Что это вы, говорит, грызетесь, чего не поделили? В самом деле, чего нам делить? И зачем мамашу расстраивать? — Макар знал, что Андрей сильно любит и уважает мать, и потому умышленно ссылался на нее.

Андрей молчал. «Наверно, и вправду мать пробирала их. Для нее наш раздор — большое огорчение. Но как же быть? Не могу я с ними ладить. А может быть, отец и в самом деле испытывал, проверял меня?»

— Ну, пошли, пошли, книжка твоя никуда не денется,— тянул Макар теперь уже слабо упиравшегося брата.— В городе читаешь и сюда приехал — читаешь. Надо же и мозгам отдых давать. Посидим немного, потолкуем, и мамаша успокоится.

И Андрей сдался наконец. «Ради матери!» — подумал он, садясь на стул.

— Полстопочки рябиновочки,— сказал Макар и налил полную, не дожидаясь ответа.— Поговорить надо, братень, верней — договориться. Не поняли чегой-то мы друг друга. И получается ерунда какая-то. Назвал ты нас обоих контриками,

предателями, поднялся и ушел. Не годится этак-то. Какие же мы контрики? Какие предатели? Я — член партии, как и ты, папаша, хотя и беспартейный, но колхозник. Слова у него сорвались с языка неудачные, даже вредные, но ведь шутейно же он, чтоб подзудить нас с тобой. А ты? Ну, будь ты пьяный, а то ведь совсем трезвый, а подумал бог знает чего, ты уж, наверно, в НКВД собрался. Так ведь?

И Макар сдержанно засмеялся.

— Да нет! — Андрей вяло, но отрицательно качнул головой.— В НКВД я не собирался. Но вообще-то резануло меня... особенно насчет мировой с Гитлером. Он напал на нас, а мы, выходит, и сопротивляться не должны. Речь товарища Сталина вы же оба знаете. Разве он к этому народ призывает?

— Понятное дело! — поспешно, с удовлетворением согласился Макар, перебивая брата.— Кто же станет спорить? И мы с папашей, конечно, за войну до победы. Вот мы и дотолковались. А папаша тоже нехорошо о тебе подумал. Это вы, папаша, совершенно напрасно. Андрюша наш не из таких. Я же его знаю... он у нас добрый, славный, умный, образованный, понапрасну зла чужому не сделает, не то что своим родным.

Аникей Панфилович часто-часто заморгал. У него просто слов не находилось. Его не только удивляла, но восхищала резиновая гибкость старшего сына, весь опасный разговор, неудачно затеянный ими, перевернувшего вдруг вверх тормашками, да так здорово, так ловко, что и придраться не к чему, а главное, все у него получалось складно и мирно, как по писаному. «Ох и хитер же! Пожалуй, похитрей меня!» — думал Аникей Панфилович, испытывая удовольствие и гордость за старшего сына.

## 4

Посидев с полчаса, выпив еще стопку рябиновки, Андрей решительно поднялся, сославшись на усталость и позднее время. Уходя, пожелал отцу и брату спокойной ночи.

Когда он вышел и стукнула входная дверь сеней, Макар облегченно вздохнул.

— Пронесло, кажись! — полушепотом проговорил он и перекрестился, хотя в крест и в бога давно уже утратил веру. Покачав укоризненно головой, пристально посмотрел на отца.— Горе мне с вами, папаша,— немного погромче добавил Макар.— Разве можно этак-то прямо в лоб: Содом и Гоморра!

С Гитлером мириться! Конечно, мы с вами будем ему, Гитлеру этому, помогать, а вот что перед Андрюшей враспояску пройтиться хотели — это наш с вами обоюдный ляпсус. «Как партия!» Вишь, папаша, какой он партейный! Да чего же ему не быть партейным? Около трех тысяч, если не все три, заколачивает в месяц — и работка не пыльная. Потрепался языком с кафедры — и домой! Попробовал бы он встать на мое место. Цельный день как белка в колесе... Слов нет, пост и у меня ответственный: завотделом промартели. Но жалованьишко не ахти какое. Действительно, всеми правдами и неправдами натягиваю иной раз тыщ до двух, но это же, можно сказать, незаконным путем, за это, того и гляди, за решетку попросят. А у меня двое детишек, их обувать, одевать... прокормить... Или взять к примеру ваше положение и подобных,— наклонился Макар в сторону отца, понижая голос.— За что вам сражаться против Гитлера? Чего вот вам, папаша, дала Советская власть? В нищего она вас обратила!..

— Истину говоришь... в нищего, как есть в гольтепу! Чего у меня теперича? Ничего нету! — уныло согласился Аникей Панфилович.

— Вот то-то и оно! — все тем же пониженным голосом продолжал Макар.— А разве вам, папаша, по вашему уму и расторопности сторожем быть? Вы грамотный человек, священное писание знаете назубок, любому протопопу сто очков вперед дадите по этой части. При другом режиме вам повсюду почет и уважение оказывали бы, хоть в деревне, хоть в городе... в передний угол сажали бы. А теперь, промежду прочим, вами командует какой-нибудь Свиридов. Кто он такой, этот Свиридов? Я и то помню: голодранец!

— Голодранец, самый настоящий голодранец! — подтвердил Травушкин, пьяно качнувшись всем корпусом.— И батька его шантрапой был, даже лошаденки не имел, и самому ему бедный комитет выдал в восемнадцатом. Кабы не бедный комитет — Митьке этому пахать бы не на чем было... А он тоже горло драл насчет земли: давай ему по закону, сколько полагается! В одну дудку они тогда с Петрухой Половневым дули. А зачем им нужна была земля, ежели они ее обработать не могли? С того времени все и пошло не как надо... шинтер-навынтер... с восемнадцатого году! И теперича изволь называть их: Митьку — Митрием Ульянычем, Петруху — Петром Филиппычем. Это бывшую-то гольтепу!

Макар досадливо сморщился.

— Да подождите вы, папаша! — сердито остановил он отца.— Мало толку восемнадцатый теперь вспоминать. Сами

виноваты, что вожжи тогда выпустили из своих рук. Надо бы об том теперь хорошенько подумать, что сейчас делать, чем и как Гитлеру помогать. Какое ваше соображение на этот счет?

— Да что же я могу тута, в сторожах сидючи? Вы должны, которы помоложе и в городе живете.

— Нет, все-таки вы подумайте,— настаивал Макар.— В городе само собой, но надо же и в деревне...

— А чего в деревне сделаешь? Мое понятие такое: тут мы ничего не в силах. Помогать Гитлеру надо прежде всего в городах и на фронте. Уговаривать красных армейцев, чтоб они не сопротивлялись.

— Это, конечно, тоже правильно, папаша! Но этого недостаточно.

Макар вдруг встал, подошел на цыпочках к двери, резко открыл ее, вышел в сени. Там посветил карманным фонариком, закрыл наружную дверь сеней на щеколду. Вернувшись, сел на прежнее место, вразумляюще пояснил:

— Мы с вами, папаша, должны быть умными и осторожными. И боже упаси нас от таких промахов, какой получился у нас с вами сегодня. Не вздумайте на селе с кем-либо откровенничать так-то, как с Андрюшей... В одночасье сгибнете! Мы с вами теперь подпольщики, как в старое время большевики были. Они ведь поначалу тоже не числом брали, а уменьем и хитростью. Слыхал я, в нашем губернском городе человека четыре было поначалу. Нас тоже пока немного, и нам не мешает ихний опыт перенять. А это значит — говори, да оглядывайся, не подслушали бы. Так-то! И опять же — понимай, с кем разговариваешь,— Макар перевел дух и понизил голос.— Теперь насчет фронта... Вполне возможно, что там этак-то и действуют, как вы говорите. Есть у меня в городе верный дружок... Ответственный пост занимает, повыше моего... Полторы тысячи оклад, да хабара перепадает солидная. У него по-над речкой, за городом, избушка на курьих ножках. Он вроде любитель рыбу ловить. А какую рыбу — большой вопрос. Берег речки, кругом лес, глушь. Понимаете? И в той избушке у него радиоприемник и передатчик. Он с давних пор на Гитлера трудится и связь с Германией держит по радио. Третьего дня зазвал он меня на ночь, и мы с ним слушали... что бы вы думали? Немецкую передачу, аж из самой Германии! Он и по-немецкому понимает. Ну, передачи были не только на немецком, а и на нашем,— Макар наклонился ближе к уху отца и перешел на шепот.— Так вот, немцы прямо заявляют: красные бегут и сдаются в плен, то есть, по-

вашему, поднимают руки, а в августе — сентябре Москву они, то есть немцы, возьмут. И это папаша, точно! Возьмут обязательно. Наполеон за два с половиной месяца пешком от Вислы до Москвы дошел, а эти на танках да грузовиках. Если же Москву Гитлер возьмет, тогда большевикам крышка! Выходит, папаша, такая картинка, что Советы последние деньки доживают! Дождались мы с вами, скоро и на нашей улице праздничек начнется!

Травушкин, все время внимательно слушавший сына, чуть ли не с разинутым ртом, истово, медленно, трижды перекрестился.

— Дай-то бог! — с придыханием взволнованно проговорил он. Усиленно и бодро забилось его сердце, трезвела, прояснялась голова.— Хорошо бы этак-то! Твоими бы устами, Макарушка, да мед пить. Поднаторел ты в городе, чего и баить. Только так ты хорошо все обсказал, что аж не верится. Словно во сне иль в сказке получается!

— Почему же не верится? При чем тут сон или сказка? Тут простая арихметика, папаша. Вот, смотрите! — Макар правой рукой загнул на левой палец.— Европу Гитлер забрал? Забрал. Во всех странах, которые взяты им, заводы имеются? Имеются.— Макар загнул еще один палец.— Масса заводов,— пояснил он.— На кого заводы те работают? Ясное дело — на него, на Гитлера! Разве же может Красная Армия отбиться от этакой силищи! Никак это невозможно для Красной Армии. Опять же и то надо понять, что немец идет на Россию не один, а со многими язы́ками, как и Наполеон ходил.— Макар пригнул третий палец.— А против всех народов Советская власть не устоит, факт! — Макар принял обе руки со стола, сунул их в карманы брюк и, важно отвалившись на спинку стула, продолжал: — Так что сумление ваше совсем лишнее, ни к чему оно. Вернемся теперь касаемо нашей помощи. Почему мы должны и обязаны? Очень обыкновенная причина: заберет Гитлер Россию, на кого ему в ней опереться? Вы, известное дело, понимаете: она огромная, Россия-то! За вычетом большевиков и прочих заступников Советов, которых он всех на тот свет отправит, останутся еще миллионы. Ими управлять надо, чтоб они работали. Вот он на таких, как мы с вами, и обопрется. И на подобных нам, конечно. А прежде чем опереться, спросит: а чего вы тут делали? Как ожидали меня? А мы с вами тогда и ответим: вот листовочки, агитацию, мол, вели, воинские поезда под откос спущали... большевистские то есть поезда, и так далее и тому подобное.

Аникей Панфилович ажно в затылке почесал. Недоверчиво спросил:

— А не лишнее насчет поездов-то? Не загибаешь, сынок? К примеру, как я могу?

— Не об вас речь, папаша,— скороговоркой перебил Макар.— Не об вас. Имеется в виду тайная организация... в городе она будет... А вам посильное задание и тут найдется. Об этом договоримся после. Согласны вы вступить в такую нашу организацию?

— А чего же все-таки от меня нужно? Чего потребуется?

— Покамест — одно ваше желание, больше ничего от вас не требуется. Заявлений о вступлении писать не надо... билетов у нас нет, анкет и списков не ведем. Все держим в памяти. И в тайне. И членских взносов не берем. Никаких чтоб письменных следов! Понятно?

— Понятно,— согласливо кивнул Аникей Панфилович.— Придумано разумно. А кто же у вас за главного? Случаем, не ты?

— Что вы, папаша! Хотя я и не последняя спица в колеснице, но такой образованности у меня нет. Для этакого дела образованность большущая требуется. Даже этот дружок мой, с которым мы немецкую передачу слушали, и то не годится, хотя он и по-немецки читать, писать, разговаривать умеет. За главного у нас — из бывших дворян... Замаскированный, конечно. Ух и головастый мужик! На трех языках, окромя русского, свободно балакает. Сочинения Маркса, Ленина — назубок! Ну, папаша, как же?

— И много вас таких в городе?

— Покамест пять членов.

— Ну ладно, считай меня шестым,— каким-то очень серьезным, даже торжественным тоном проговорил Травушкин.

В «келье» было тихо. Оба помолчали. Неторопливо отстукивали секунды ходики, висевшие на стене, и маятник качался с каким-то пронзительным железным звяканьем, вроде бы с насмешливым присвистом.

Аникей Панфилович подошел, подтянул гирьку часов, неожиданно подумал: «Ежели обернется так, как Макарка бает, часы с кукушкой заберу из правления».

Снова заговорил Макар:

— Есть небольшая поправочка, папаша. Я сказал, членских взносов не берем. Это верно. А все же посильная денежная помощь организации нашей впоследствии времени, наверно, потребуется от каждого. Не сейчас, не сейчас, а впос-

ледствии времени,— пояснил Макар, заметив, что отец, как-то потерянно взглянув на него, нахмурился.— К примеру, скажем, листовочку выпустить. Бумага нужна? Нужна. Ее доставать придется по блату. Значит, платить повышенную цену, потому как в магазинах такой бумаги днем с огнем не сыщешь. Печатать листовку тоже задарма никто не станет. И снова не миновать платить не по государственным ставкам. Ведь тот, кто печатать возьмется, считай, чуть не головой будет рисковать... бесплатно он не согласится. Понятное дело, твердого взноса не будем назначать, от каждого по силе-возможности.

Аникей Панфилович каким-то жалобным, слабосильным голосом проговорил:

— Насчет денег, сынок, сам знаешь: у меня теперича доходов никаких. Обувишку починяю иной раз, так разве же это заработок? А на трудодни чего? Кукиш с маслом. Абы с голоду не подохнуть.

— Да это не сейчас, папаша, это впоследствии времени,— успокоил Макар.— Сейчас наш главный поручил мне узнать, может ли наша подпольная организация надеяться на ваше личное участие и поддержку. Ваше полное согласие — этого покамест вполне достаточно для организации.

Макар налил отцу рябиновки, себе водки:

— За успех нашего общего тайного дела, папаша,— солидно произнес он, поднимаясь и чокаясь с отцовской стопкой.

Аникей Панфилович раздумчиво закрутил головой.

— Дело очень сурьезное задумали вы там, в городе,— двигая рыжие густые брови, глубокомысленно сказал он, беря свою стопку.— Смотри, сынок, не засыпаться бы вам! Ты говоришь — «тайная», «подпольная» организация... и так легко выговариваешь! А ведь это все равно что по канату над пропастью... Советская власть — очень сильная власть, сынок. Она сильней во сто крат Николашки Последнего... Она беспощадна к врагам. Мы и пикнуть не успеем. Тут ведь какое дело получается: одно — если я сам чего-нито сболтну, и совсем другое — ежели от организации.

— Говорю же, никто знать не может... все у нас в секрете,— пояснил Макар.

— В секрете-то в секрете... и что бумажек не пишете — все это хорошо. Но вот ты приедешь в город и скажешь своему главному: есть, мол, такой Аникей Панфилов, проживает там-то, дал согласие... А надежный он, ваш главный-то? Не может так быть — нарочно он вас подбивает, чтоб выведать? Маркса,

Ленина читает... А ну как он большевик в душе и к вам подослан?

— Ну что вы, папаша! — сказал Макар укоризненно.— Вы мне-то верьте. Совсем напрасное ваше беспокойство. Маркса, Ленина он читает затем, чтоб ловчей среди коммунистов орудовать. Так же как и я, грешный. Тоже кое-что читал и Маркса, и Ленина. Зачем? Да чтоб при случае словцо ввернуть такое, по которому видно было бы, что я — большевик. Всерьез же говорить — на кой ляд они мне сдались, ихние книжки! Так и главный наш. Он человек вполне надежный, дворянин, из бывших полковников. Не сумлевайтесь, папаша. Приедете в город — сами увидите, сведу вас и с главным и с другими.

— Страшновато все-таки,— сказал Аникей Панфилович.— Может быть, подождать мне вступать в вашу организацию?

— Ну, а как же тогда вы думали помогать Гитлеру? Или вы на других будете надеяться, а сами в сторонке стоять?

— Да нет... не то чтобы в сторонке... Но надо это дело както обмозговать. Ты у Глафиры Павловны был? Она-то знает об этой вашей организации?

— А как же! Конечно, знает... и членом нашим числится.

— Ну, вот и подождем. Приеду, с ней посоветуюсь, тогда и решу. Тогда, ежели что, и насчет средствий можно подумать... А пока не говори обо мне главному вашему.

— Чудной вы человек, папаша! Не говори! Как же теперь не говорить, если я об вас уже рассказал ему. Ведь я приезжал к вам по его заданию, и, если хотите знать, мне поручено завербовать вас, чтоб впоследствии времени вы стали опорой нашей подпольной организации в деревенских мероприятиях.

— И об этом Глафира Павловна знает?

— Обязательно. Она-то и посоветовала главному вас втянуть. У них же давно все договорено... Еще до войны. Фрея помните? Он в гостях у Глафиры Павловны бывал. С него ведь все и началось. Он-то теперь в Германии уже... А за себя оставил человека... и Глафира Павловна в курсе... Я-то об этом недавно узнал.

— Ой, подведешь ты меня под монастырь, Макар! Как же это вы там обо мне говорили без всякого моего согласия? И почему же Глафира Павловна-то ни разу не обмолвилась даже... не доверяла?

— Не бойтесь, папаша. Ваш сын дураком не был никогда. Все будет в порядке. И Глафира Павловна не дура — это вы

сами отлично знаете. А вам не говорила потому, что не велено... Теперь же пришло такое время...

— Ну и ну! — Аникей Панфилович усмехнулся.— Стало быть, дело мое конченое? Завербованный?

Про себя подумал: «Вот почему Глафирка вожжалась с немчурой этим, Фреем... а мне — ни словом... Не доверяла, стало быть».

— Значит, завербованный,— важно ответил Макар.

— Тебе что же, платят за такие дела?

— Что вы, папаша! Какая же плата? И кто платить будет? Впоследствии времени, возможно, и заплатят, когда наша возьмет, а покамест без всякой платы... поручения выполняю по идейности.

В саду залаял Ведмедь. Аникей Панфилович прислушался.

— По улице кто-то прошел,— сказал он.

— А может, в сад залезли? — предложил Макар.

— Если бы в сад, он бы знаешь как брехал! И забегал бы так, что цепь зазвенела бы.

Ведмедь вскоре перестал лаять, но в ту же минуту запел петух.

— Уж за полночь! — сказал Аникей Панфилович.— Давай-ка спать.

Макар не возражал.

Спать легли во втором часу ночи, отец на своей кровати, Макар — на полу, на соломенном матраце, постеленном матерью еще с вечера.

Перед сном Аникей Панфилович разделся и, оставшись в длинной рубахе и подштанниках, стал молиться богу, шепча какие-то слова, истово крестясь и кланяясь в угол, заполненный иконами. Синий свет лампады слегка заколебался, то ли от дыхания Травушкина, то ли от движения воздуха, производимого его старательными поклонами.

Макар снял брюки, повесил их на спинку стула. Глядя на отца, шутливо заметил:

— Пустая трата времени, папаша... Бога нету, можете не сомневаться. Большевики правы в этом вопросе.

Не переставая креститься, Аникей Панфилович досадливо отмахнулся: не мешай, дескать. Кончив молиться, убежденно сказал:

— Не было бы бога, не было бы и Гитлера. Господь — он видит. Про Содом и Гоморру не дал ты мне договорить давеча... Я ведь как понимаю: Советская Россия — это вроде Содома и Гоморры, только во много раз больше. Тут уже не два

города, а тыщи городов и сел, целое государство... непомерной огромности. Такое государство огнем и серой не накроешь. Вот бог и напустил на него Гитлера.

— Чепуха все это, папаша! И Содом и Гоморра тут ни при чем... и бог ваш ни кляпа не видит,— сказал Макар, лениво зевая и ложась на постель, хрустко зашумевшую под ним: матрац был свежий, недавно набитый и никем еще не обмятый.— Бога все-таки нету. Чепуха, чепуха, папаша!

— Ой, не чепуха, сынок. Напрасно ты веру в бога потерял. Без бога ни до порога. А мы с тобой эвон какое дело-то затеваем... Как же без его святого благословения?

Аникей Панфилович привернул фитиль лампы, потом шумно дунул. Огонь колебнулся, но не потух. Дунул еще сильней. Потух. В «келье» образовался синеватый полумрак от малого огня лампадки.

Улегшись, покряхтев немного, Аникей Панфилович негромко заговорил:

— Весь вечер об том, об другом толковали, а про внуков я так и забыл спросить. Как они там?

— А чего им? Растут,— полусонно ответил Макар.— Федька в пионерских лагерях, а Сенька — дома.

— Мне старшой больше нравится,— сказал Аникей Панфилович.— В нашу породу. А младший точь-в-точь супружница твоя. Ты старшого береги. Зачем в эти ихние собачьи лагеря отпустил? Чему его научат там? Привез бы его к нам. Я взял бы к себе на ток. Вольный воздух, полная свобода. Лучше всяких лагерей.

— Ничего, папаша! Отдохнет и в лагерях. А касаемо ученья — не беда. Чему б ни научили — придет пора, переучим по-своему.— Немного помолчав, Макар добавил: — Наговорились мы с вами, папаша, по самую завязку. Теперь давайте спать!

---

# ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

## 1

— Ну что, сынок, помирились? — спросила Настасья, когда Андрей вернулся из «кельи».

— Помирились.

— А что же ты скоро пришел... и сумный какой-то? Почему не посидел с ними?

— Да чего же сидеть? Время позднее.

— Верно, позднее. Ну, ложись спать, а я пойду в сени. Постельку тебе я приготовила.

— Может, я в сенях?

— Зачем же! Тут тебе удобне́я. Окошечки закрыты, мухи утром не будут беспокоить... Поспишь подольше.

Когда мать ушла, Андрей сел за стол, придвинул к себе книгу. Хотел еще немного почитать, но не мог сосредоточиться. Волновало столкновение с отцом и братом. Хотя он вроде бы и помирился с ними, и матери так сказал, но на душе было смутно, тревожно. «Может, и в самом деле отец «шутейно» говорит? Ох, нет! Не шуточный тон у него тогда был. Да и Макар... заодно с отцом, он только похитрей».

Андрей потушил лампу и лег спать. Мягкая старинная перина, застеленная льняной простыней, легкое пикейное одеяло. Хорошо, уютно! Как в детстве.

Попытался представить себе встречу с Галей. Продумывал и взвешивал слова, которые скажет ей завтра. Снова и снова произносил вслух (но потихоньку, чтобы не слыхала мать, находившася по соседству, в сенях, и, возможно, еще не уснувшая) стихи Блока. Потом нахлынули сладкие, теплые мечты о будущей жизни.

...Город. Он идет по улице с Галей под руку, и прохожие с восхищением оглядываются: «Какая хорошая пара!»

...Вечер у кого-либо из профессоров. Андрей вводит по-модному разодетую Галю в просторную столовую и знакомит с ней профессоров, доцентов. И все с тайной завистью думают: «Красивая у Андрея Аникеевича жена».

...Парк культуры и отдыха. Тусклые огни фонарей. Андрей с Галей бродят по аллеям, потом садятся на скамью. Андрей нежно целует Галю...

Начал было задремывать. И вдруг... именно вдруг: «А Маша? Что будет с ней? Когда и как сказать ей, что я женюсь?»

Тоскливо заныло сердце. Сон пропал. Проворочался до самого утра. Слышал: за стеной кряхтела и вздыхала корова; несколько раз принимался петь петух, сонно, лениво взбрехивал Ведмедь. А в памяти все повторялись и повторялись слова: «Опять над полем Куликовым... доспех тяжел... твой час настал!»

«Поле Куликово — древняя старина. Теперь все, все другое, все по-иному. Ни доспехов, ни молитв. Ужасное уничтожение людей, разрушение сел, городов. Отец говорил: напрас-

ное кровопролитие... надо, мол, руки поднимать. Но разве можно поднимать? Это же означало бы гибель нашего государства и русского народа... Нет, нет! Не советские у бати мысли! Но что же мне-то, мне что делать?»

Заснул неожиданно и неизвестно во сколько. Когда проснулся, в горнице было темно, лишь чуть-чуть просачивалась тоненькая, как серебряная нитка, ровненькая струйка света сквозь щель из-за неплотно прилегавшей к стене дерюжки.

Встал, отодвинул дерюжку, посмотрел на часы. Восемь!

Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла...
...твой час настал. Молись!

«Да что я никак не могу отделаться от этих слов? Почему они так впились в мою душу?»

Тихо скрипнула дверь. Мать.

— Проснулся? Что же рано? Поспал бы еще часочка два,— ласково, нараспев проговорила она.— Отец с Макаром дрыхнут. Заперлись на щеколду. Сквозь окно слышно, как храпят.

Глядя на мать, снимавшую дерюжки с окон, Андрей раздумчиво проговорил:

Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла...
Не может сердце жить покоем...

— Чего, чего? — Настасья непонимающе посмотрела на сына.

Без дерюжек в горнице стало светло и весело. Хотя солнечные лучи не проникали сюда, но видно было, что утро погожее, теплое.

— Стихотворение такое есть,— улыбнулся Андрей.— Забыть никак не могу. А почему не могу — вот вопрос, как говорит мой братец Макар.

Настасья свернула снятые дерюжки, положила их на стул, стоявший в углу.

— А чего он понимает, Макар-то,— сказала она.

— Это верно, ничего не понимает он в этих делах. Ничего не понимает и ничего не знает... и батя тоже...— Андрей улыбчиво смотрел на мать.— Невежественные, дикие люди! Правда, мам?

— Правда, правда, сынок. А ты брось, не думай об них.

Помирился — и ладно. Пускай они сами по себе, а ты сам по себе.

— Не выходит что-то, чтоб они сами по себе, а я сам по себе. Не миновать схлестнуться нам. Не сегодня, конечно, а впоследствии времени, как выражается иногда все тот же мой старший братец Макар.

— Ой, сыночек, ни к чему это,— обеспокоенно взглянув на сына, увещевающим, ласковым тоном заговорила Настасья.— Отец вроде бы хорошо теперича об тебе думает, даже хвалится тобой иной раз. Да и Макар... он хучь суматошный какой-то и все форсит, дескать, городским человеком стал, а характером не очень злой.

— Но и не добрый.

— Ну и господь с ним, с Макаром этим. Чего тебе расстраиваться-то? Не вместе живете, и работа врозь. Ты сам-то попусту не злись... Нехорошо злобиться даже на чужого человека, а не только на брата родного. Не по-божьему это.

Надо бы объяснить матери, почему он вчера поссорился и как «помирился», но поймет ли она? «Не поймет! Темная, неграмотная она у меня, мамочка моя. Не втолкуешь ей. Отец знал, что делал, когда запрещал ей в ликбез ходить».

— Ладно,— вздохнув, сказал Андрей.— Ты не волнуйся, мам. Во всяком случае, здесь, дома, ссориться с ними больше не буду.

— Тебе поесть бы пора. Чего дать? У меня ничего еще не готово, думала, ты поспишь...

— Ничего не надо. Дай молока стакан.

Настасья налила Андрею эмалированную большую полулитровую кружку кремового топленого молока, отрезала от краюхи ломоть черного ржаного хлеба.

Андрей ополоснул лицо студеной колодезной водой, утерся широким домотканым полотенцем, сел за стол.

— Позавтракаю и пойду к Тоболину. Проведать надо.

— Сходи, сходи,— сказала Настасья, не сводившая с сына умильного, любящего взгляда.— Он частенько спрашивает, нет ли писем от тебя.

## 2

Но к Тоболину он шел не столько ради того, чтобы «проведать» друга, сколько из желания узнать, помирилась ли Галя с Ильей. Андрей плохо верил в ссору Ильи с Галей. «Милые бранятся — только тешатся». Не зря народ создал такую

пословицу. Но если они поссорились, а потом помирились, то ему, Андрею, возможно, незачем и встречаться с девушкой. «Сергей связан с семьей Половневых, наверняка он все знает».

Тоболин жил в двухэтажном доме рядом со школой, построенном в начале тридцатых годов для преподавателей.

Взойдя на второй этаж, Андрей постучал в дверь.

— Входите! — послышался голос Сергея.

Андрей вошел. Тоболин в одних трусиках лежал навзничь на бордовом шерстяном коврике, делая круговращательные движения задранными кверху мускулистыми босыми ногами.

— Здоро́во живешь! — шутливо приветствовал Андрей, остановившись у порога.

— Здравствуй! — Тоболин, перестав кружить ногами, быстро встал.— Проходи, садись.

Слегка вздернув брюки на коленях, Андрей присел на стул возле небольшого круглого стола. Обе створки оконной рамы были раскрыты настежь, и в комнату врывались чириканье воробьев, крики грачей и галок, расположившихся на тополях и березах школьного двора. Хотел было рассказать о своем столкновении с отцом и братом, но раздумал. Ему самому было еще неясно, как к этому столкновению отнестись.

Комната у Сергея была просторная, больше двадцати метров, но выглядела довольно уютной, непохожей на холостяцкое жилье. У одной стены стояла полуторная деревянная кровать, покрашенная под цвет зрелого каштана и покрытая лаком. На стене, над кроватью,— цветной ковер. Кровать и стулья, которых в комнате было полдюжины, письменный стол возле окна и круглый — обеденный, стоявший почти посреди комнаты, два широких стеллажа — все это было сделано Тоболиным собственноручно, чему Андрей не верил первое время. Но однажды застал друга в сарае за столярным станком: Сергей обтачивал ножки для стульев. Спросил, где и когда он успел обучиться столярному мастерству. Сергей ответил, что нужда научила. В сельском кооперативе никакой мебелью не торгуют, если же купить ее в городе и везти в Даниловку — и хлопотно и накладно. Вот он и решил уподобиться князю Болконскому. Почему князь мог владеть пилой, рубанком, работать на станке, а он, потомок мужиков, не может?

Уменье друга делать нужные вещи вызывало в Андрее чувство невольного удивления и уважения к нему. Поражали

также постоянная чистота и порядок в его комнате. Кровать всегда (как и на этот раз) застелена лазоревым одеялом, на двух подушках — вышивная белая накидка. И ни на столах, ни на книгах, ни на полу — нигде нет и следов пыли. Это казалось странным. У самого Андрея когда-то было иначе — вечно незастланная кровать, немытый и даже неподметенный пол, пыль на столах и на книгах — пока за уборку его квартиры не взялась Маша. «Такой порядок, как у Сергея, не без участия женской руки!» Однако Тоболин уверял, что все делает сам, и, судя по тому, что иногда Андрей заставал его за подметанием и даже мытьем полов, похоже, так оно и было.

Сергей свернул половик, положил его под кровать. Немного выше среднего роста, с торсом атлета, плечистый, он смахивал на циркового борца. Крупная голова, открытый большой лоб, коротко подстриженные темные волосы, черные брови... Он и внешностью своей всегда нравился Андрею. Они дружили с первого курса университета, невзирая на различия в характерах и даже во взглядах на жизнь. Была у них одна общая любовь, которая и объединяла их, и дружбу делала прочной,— это любовь к литературе.

— Ты что же... зимой и летом каждый день гимнастику делаешь? — спросил Андрей друга, когда тот подошел и протянул ему большую, сильную, теплую руку.

— Обязательно,— улыбался Сергей.

— Ты не нарушай свой режим из-за меня,— сказал Андрей.— Я ведь, наверно, не предусмотрен в твоем сегодняшнем расписании,— шутливо добавил он.

Он знал, что Тоболин соблюдает строгий распорядок всех своих дел, будь то школьные, домашние, чтение, работа над диссертацией.

Тоболин весело посмотрел на него:

— Не так часто друг мой посещает меня, чтобы цепляться за режим. Я очень рад тебе, Андрюша. Сейчас я оботрусь, потом посидим, попьем чайку, побеседуем.

Он обтерся до пояса сперва мокрым концом полотенца, потом сухим, надел белую с вышитым воротом рубашку, брюки, босые ноги всунул в ременные желтые сандалии, нарезал ржаного, деревенской выпечки хлеба, поставил на круглый стол фаянсовую масленку со сливочным маслом, дотоле стоявшую под столом в кастрюле с холодной водой, сходил в общую кухню (в доме была коридорная система), принес оттуда два чайника — один большой, медный, другой маленький, фарфоровый с розовыми цветочками, налил Андрею и себе по стакану крепкого темно-коричневого чая.

— Давай немного подзаправимся,— гостеприимно сказал Сергей, одной рукой пододвигая к Андрею сливочное масло, другой — стакан с чаем.

Андрей намазал ломтик черного хлеба маслом.

— А как у тебя с защитой диссертации? — спросил он.

— На осень назначили... Но теперь не знаю... война...

Раздался слабый стук в дверь.

— Пожалуйста! — крикнул Тоболин.

Дверь не открывалась. Сергей поднялся, сам открыл ее. За нею оказался писатель Дарский в коричневом костюме, светлой рубашке с серым галстуком, с портфелем в руке и со свернутым черным плащом на плече.

— А, Борис Дмитрич! — радушно воскликнул Тоболин.— Милости прошу к нашему шалашу! Какими судьбами?

### 3

Дарский не спеша переступил порог, остановился, поздоровался с Тоболиным за руку, вежливо ответил:

— По командировке газеты в ваше село. А к вам специально... по поручению редактора альманаха. Оказывается, и вы тут? — добавил он, обращаясь к Андрею.— Здравствуйте! Вы-то зачем и как попали?

— А я здешний... у меня тут мать, отец.

— Вон что! — удивился Дарский.— А я считал вас коренным горожанином.

Тоболин поставил возле круглого стола третий стул.

— Прошу! — пригласил он Дарского, стоявшего поодаль от порога с портфелем и плащом.— Садитесь с нами чай пить.

— Чайку с дороги можно.— Мягкая, добрая улыбка не сходила с худощавого лица гостя.— Его же и монаси приемлют.

— Монаси совсем иной напиток приемлют,— улыбнулся Тоболин.— Но у нас такого напитка, увы, нет... не обессудьте, Борис Дмитрич.

— Ну что вы, что вы! Не сочтите за намек. Насчет монасей я ведь просто так, ради красного словца,— смущенно сказал Дарский.

Тоболин взял у него портфель, положил на подоконник, а плащ повесил на крюк возле двери.

— Умыться не желаете? — спросил он гостя.

— Конечно, конечно. В поезде ехал, а от станции пешком... подзапылился.

Тоболин сводил Дарского на кухню. Вернувшись, Дарский

поздоровался с Андреем за руку и сел к столу, но тотчас же встал, вынул из портфеля узкие длинные полоски бумаги, передал Тоболину.

— Гранки вашей статьи, Сергей Владимирович. Должен огорчить: альманах наш приказал долго жить, ввиду военного времени. Так что статья ваша не успела появиться в печати. Товарищ Лубков просил сказать вам, чтобы вы духом не падали и послали ее в один из московских журналов. Написана, говорит, превосходно.

Тоболин прочел записку от Лубкова, отложил ее и гранки в сторону.

— Неважно теперь! — махнул он рукой.— Я это предчувствовал.

— Пожалуй, я не совсем точно выразился. В сущности, альманах лишь временно приостановлен,— пояснил Дарский, беря двумя худыми, тонкими пальцами кусочек хлеба.

— Но что означает «временно приостановлен?» — сказал Тоболин.— Это может быть и год, и два, а то и больше.

— Ни в коем случае не два,— уверенно проговорил Андрей.— Современная война не может быть длительной.

— Я не столь оптимистично настроен.— Тоболин нахмурил свои черные брови, почти смыкавшиеся над переносьем.— Чтобы разгромить фашистские полчища, нужны и время и силы.— Он подвинул масленку к Дарскому: — Кушайте, пожалуйста!

— Но разве у нас мало сил? — возразил Дарский, глядя на Тоболина и беря нож в руку.— И потом, я думаю, что еще Третий Интернационал не сказал своего слова. Он может все народы, и в первую очередь немецкий народ, призвать к прекращению кровопролития, к братанию.

Дарский намазал масло на хлеб, откусил и запил чаем.

— Между прочим, такие же мысли и мне приходили в голову,— вставил Андрей.

Тоболин криво усмехнулся, качая головой.

— Интересное единомыслие. Но я держусь иной точки зрения.

— Какой же? — как-то нервно, встревоженно спросил Дарский.

— А той самой, что изложена в речи товарища Сталина.

Дарский неопределенно пожал плечами:

— Ну, это официальная позиция партии и правительства... и я не против.— И снова, взяв в правую руку стакан, начал запивать чаем хлеб с маслом с видом проголодавшегося.

Тоболин сердито сдвинул широкие брови:

— Как же не против, если думаете, что Третий Интернационал еще не сказал своего слова!

— А разве Третий Интернационал не может обратиться к народам с призывом о прекращении войны? — миролюбиво спросил Дарский.

— Значит, не может.

— Я человек беспартийный и всех тонкостей не знаю...— Дарский осторожно поставил на стол свой опорожненный стакан.— Но Третий Интернационал не может остаться в стороне, когда идет война.

— Он и не останется. Но призыва к прекращению войны и к братанию не ждите, Борис Дмитрич. Его не будет.

— Почему же?

— А с кем брататься? С современными гуннами? С фашистскими ордами?

— Как это — с кем? — Дарский весь возмущенно передернулся, и худощавое лицо его порозовело.— Немцы не гунны, а высококультурная нация, давшая миру Шиллера, Гёте, Гейне, Канта, Гегеля.

— Маркса, Энгельса, двух Либкнехтов, Фейербаха, Бебеля, Тельмана и многих, многих других,— с жаром выпалил Андрей.

Подогретый этой поддержкой, Дарский сорвался со своего стула и заметался по комнате, размахивая худыми руками. Он называл имена ученых, социологов, литераторов, композиторов прошлого и современных, доказывая, что нация, давшая таких великих людей, не может стать поголовно фашистской. Через головы фашистских заправил надо обратиться к немецкому народу... Все силы употребить, чтобы остановить войну. Война — гнусность, дикое варварство.

Андрей с напряженным вниманием слушал Дарского, который кое-что повторял из своего выступления на именинах Жихарева накануне войны. Этот худощавый литератор, своими впалыми щеками и высоким лбом с залысинами так похожий на Достоевского (для большего сходства недоставало ему только бороды), и тогда, на вечере Жихарева, понравился ему своей горячностью и оригинальностью мыслей, и теперь все, что он говорил, Андрею было созвучно.

Тоболин, повернувшись на стуле лицом к Дарскому, молча, спокойно наблюдал за ним, словно выжидал, когда он кончит. Но Дарский, казалось, завелся надолго. Он говорил горячо, убежденно, то и дело вспоминая факты из истории 1914—1918 годов. Приводил по памяти выдержки из решений Кин-

тальской конференции, лозунги большевистской партии о борьбе против империалистической войны, о превращении ее в гражданскую.

— Все, что вы говорите, Борис Дмитрич, абсолютно верно,— не утерпев, заявил Андрей.

— Наоборот, абсолютно неверно,— сурово, твердо сказал Тоболин.— Вы не понимаете главного, Борис Дмитрич,— обратился он к Дарскому, скользя взглядом мимо Андрея, хотя именно на его реплику возражал.

Дарский сразу умолк и остановился.

— То есть чего же главного я не понимаю? — стоя посреди комнаты, удивленно спросил он, нервически дернув своими узкими худыми плечами.

Тоболин медленно, негромко ответил:

— Того вы не понимаете, что сорок первый год — не четырнадцатый и не семнадцатый. Никакие воззвания в настоящее время уже не могут остановить войну. Поздно!

— Нет, главного не понимаете вы, дорогой Сергей Владимирович,— насмешливо перебил Дарский.— Ваши мысли вращаются в рамках и масштабах газетных передовиц. Но надо знать и понимать историю Германии! Гитлер всего восемь лет у власти...

— Беда в том, дорогой Борис Дмитрич, что фашизм и Гитлер не с неба упали. Идеи фашизма «выработаны», если можно так выразиться, именно самой историей Германии, деятельностью десятков, сотен политиканов, ученых, публицистов, военных, философов, литераторов... буржуазных, конечно... Фашизм и Гитлер — продукт мелкобуржуазной реакционной идеологии.

— Но Маркс, Энгельс, Либкнехт, Бебель! — опять вмешался Андрей, перебивая Тоболина.

— Они тоже выдвинуты историей немецкого народа,— сказал Тоболин.— Но это означает только одно: во всякой национальной культуре есть две — демократическая и реакционная. Надеюсь, это ленинское положение вам обоим известно. Известно должно быть и то, что эти две культуры развиваются не в мирном сожительстве, а в непримиримой борьбе, в борьбе же бывают и победы и поражения. На данном этапе демократическая культура в Германии потерпела поражение, как бывало и в нашей родной истории. Достаточно вспомнить столыпинщину и реакцию после пятого года. Но я о чем хочу сказать: идеология фашизма отнюдь не есть что-то новое в истории Германии. Столетиями мракобесы и реакционеры всех мастей и оттенков твердили немцам, что они самый луч-

ший народ на земле, воспитывали в нем ненависть и презрение к другим народам, особенно к русскому. Да вот я сегодня случайно натолкнулся на статью в одном старом журнале.

Тоболин встал, взял со стеллажа книгу в старинном твердом переплете с кожаным корешком, развернул ее и, став рядом с Дарским, прочел:

— «Уже более полутора столетий открыта Россия для европейской культуры и испробовала себя на всех поприщах, но что она возвратила Европе в обмен из своей национальной природы? Америка в короткое время своего существования создала уже многое новое с гениальной силой, как в области идей, так и в области техники; даже турки при появлении в Европе научили нас своей военной музыке, пехотному строю и т. д.; Россию же можно без малейшего ущерба для цивилизации совсем вычеркнуть из списков народов»... Видали, какое тупое, невежественное национальное чванство! И разве это не то же самое, что пишет Гитлер в «Майн кампф»? — с возмущением проговорил Тоболин, закрывая книгу и кладя ее на полку стеллажа.— Это пишет некий Виктор Ген, немец. В середине девятнадцатого столетия он жил в России около двадцати лет, жрал, сукин сын, русский хлеб, и, конечно, с маслом, занимал видную должность и вел дневник своих наблюдений над русскими людьми различных классов и сословий. А потом, вернувшись в Германию, написал книгу.— Тоболин сел на свое место и продолжал: — Этот паршивый, тупой немец считает всю русскую нацию во всех сословиях и классах совершенно бездарной, он поносит Пушкина, Гоголя. Произведения Пушкина, по мнению Гена, смесь всякого рода подражаний, им недостает, дескать, глубины мысли и в особенности души и чувства. Вот какой идиот! Как видите, Борис Дмитрич, Гитлер с его идеей дранг нах остен, с идеей, что Россия не представляет никакой ценности в области культуры и цивилизации, отнюдь не новатор. А вы говорите — история! И Гитлер, дескать, всего восемь лет у власти! Идеология фашизма, с ее презрением к людям труда, к массам, к народам, и в особенности к русскому народу, имеет порядочную историю, дорогой Борис Дмитрич! Вы же знаете, конечно, таких, как Шопенгауэр, Штирнер, Фогт, Ницше, Шпенглер, ряд других. Все они немало усилий приложили к разработке и утверждению идеологии индивидуализма и фашизма.

Дарский некоторое время слушал стоя. Молчал. Потом сел, нахмурился, почесал пальцем кривую реденькую бровь, круто загнутую книзу.

— Насчет идеологии, может, вы и правы,— сумрачно проговорил он.— Но что такое идеология? Это мысли, чувства, убеждения... И всякий имеет право говорить и писать сообразно своим убеждениям. У большевиков тоже были предшественники. Но оформлен в четкую политическую партию большевизм только Лениным. Я не думал о предшественниках фашизма и Гитлера, не изучал этого вопроса. Возможно, даже наверное, предшественники были, хотя Шопенгауэра и Ницше лично я не могу причислить к таковым. Скажу откровенно: в студенческие годы я сам увлекался этими философами, читал их в переводах и подлинниках. Однако же фашистом не стал. И вообще я не нахожу ничего общего между Гитлером и Ницше. Ницше эрудированный философ с острым мышлением, у него есть интересные, парадоксальные, но глубокие мысли, а Гитлер — невежественный ефрейтор, солдафон.

— А культ силы, «белокурая бестия» у Ницше — это что, по-вашему? Глубокие мысли? К чему ведут подобные «глубокие» мысли? Разве не к фашизму? А «падающего подтолкни»?

— Так у Ницше это все в философском плане... я бы сказал, даже в романтически-поэтическом.

— Уверяю вас, Борис Дмитрич, если бы этот полоумный философ встал из гроба, он с удовольствием облобызал бы ефрейтора Гитлера.

Тоболин поднялся, снял с полки толстую тетрадь в черном клеенчатом переплете, подошел к Дарскому и медленно, негромко прочитал:

— «Только мечтатели и люди простодушные могут утверждать, что человечество создаст все лучшее, если разучится воевать. В настоящее время нет иного средства, которое может внушить упадочным народам мужественную энергию... глубокую и безличную ненависть, хладнокровную жажду истребления, совершаемого с чистой совестью, гордое презрение к собственной жизни и к жизни близкого, так хорошо, как это делает война». Это я выписал из произведения Фридриха Ницше «Человеческое, слишком человеческое». По-вашему, это тоже в романтически-поэтическом плане?

Дарский молчал.

Видно было, что возражения Тоболина охладили его полемический пыл, нарушили ход мыслей.

— Но мы с вами отклонились от главного пункта нашего спора, Сергей Владимирович,— после небольшой заминки

проговорил он.— Вы ставите немецкий народ на одну доску с фашизмом и потому считаете бесполезным обращаться к нему с призывом о прекращении братоубийственной войны. Так ведь?

— Далеко не так, дорогой Борис Дмитрич. Откуда вы взяли, что я ставлю немецкий народ на одну доску с фашизмом?

— Ну как же! Вы считаете, что войной на нас идут фашистские орды. Но солдаты — немцы, венгры, итальянцы, другие... Что же они — все фашисты?

— Конечно, не все. Но творят-то они то, что нужно Гитлеру, Муссолини, фашистам... и по-фашистски ведут себя на войне. В этом смысле идут на нас именно фашистские орды. Пусть солдаты введены в заблуждение, обработаны, распропагандированы... от этого нам с вами не легче!

— Вот, вот! Распропагандированы! Значит, обратного содержания пропагандой можно и нужно подействовать на немецкую армию и народ. И не только немецкий... Надо призвать к прекращению бойни все народы, втянутые в эту войну... Объяснить всем, что война в наш век — дело, противное разуму.

— Вы неисправимый пацифист, Борис Дмитрич. Мы с вами на эти темы не раз уже спорили. Пацифизм, призывы к миру в то время, как гитлеровцы лезут напролом...

Дарский снова перебил:

— Но что же делать, по-вашему? Признать, что войны неизбежны, что их никто и ничто не может предотвратить, остановить?

— Признать, что мы, Советский Союз, ведем войну справедливую против агрессора, и биться с фашистами до последней капли крови! — напряженно глядя на Дарского, ответил Тоболин.— Вы же поймите: если мы, русские, вернее Советский Союз, не дадим отпор, начнем колебаться, Гитлер может победить. Представляете, что тогда будет? Он превратит и нашу страну, и всю Европу, а то и весь мир в застенок, и на земле воцарится такой мрак, по сравнению с которым мрак средневековья покажется солнечным утром. Фашисты сожгут всю русскую литературу. Не говорю уж о марксистской литературе,— ее они сожгут в первую очередь. Имена Маркса, Энгельса, Ленина и других марксистов они постараются на века вытравить из памяти народов. Заодно с книгами уничтожат миллионы советских людей под предлогом расовой неполноценности. Оставшихся от уничтожения трудящихся ввергнут в такое беспросветное рабство, перед которым раб-

ство Древней Греции, Древнего Рима покажется пастушеской идиллией.

— А ну вас! — встревоженно произнес Дарский.— Вы таких ужасов наговорили... неизвестно, что и думать. Разве возможно такое в наш век?

— Почему же невозможно? Костры из книг они у себя уже жгли. Тысячи коммунистов уничтожены без суда и следствия,— сказал Тоболин.

Симпатии Андрея почти все время были на стороне Дарского, хотя его смущала общность слов писателя со словами отца насчет напрасного кровопролития. Но отец предлагал поднимать руки кверху, а Дарский надеется иными средствами остановить войну, что было бы очень хорошо, если бы удалось. Когда же Тоболин нарисовал, что может получиться, если Гитлер победит, Андрею стало страшно, будто все, что говорил его друг, вот-вот может свершиться. Он давно знал, что фашисты жгли книги, убивали коммунистов, но все это они делали где-то далеко, там, в своей Германии. Никогда и в мыслях он не допускал, что они могут прийти к нам, в Советский Союз, и тут творить то же самое, что творили у себя, во Франции, Чехословакии, Польше. Он всегда был уверен, что Красная Армия не пустит фашистов в нашу страну. «Но Красная Армия пока отступает... Значит, всякое может быть... Сергей прав: нам колебаться нельзя. Отечество, культура, все народы в опасности. «Доспех тяжел, твой час настал...» Опять нам выпала доля спасать не только себя — все человечество, и в первую очередь Европу. Нет, не до пацифистских размышлений и разговоров теперь. И что же это я — с отцом и Макаром спорил, а Борису Дмитричу поддакиваю!»

И когда Тоболин, выпив свой чай, поставил стакан на блюдце, Андрей тихо, взволнованно вдруг заговорил:

— Ты меня убедил, Сергей. Войну, увы, не остановить ни Коминтерну, ни правительствам, ни даже народам. Они же, гитлеровцы, как бешеные. Какой же с ними мир, какое братание? И вы, Борис Дмитрич, подумайте... У вас действительно очень шаткая позиция. Конечно, войны — дело тяжелое... нехорошее... и мы все противники войн... Но если враг топчет наши поля, разрушает города, убивает наших людей, мучает их, издевается над ними... нам же ничего не остается...

Дарский нервно встал. Худощавое лицо его как бы заострилось, стало сердитым.

— В ту войну все соглашатели и шовинисты говорили

точно так, как вы оба сейчас говорите, Андрей Аникеич. В особенности французские социалисты и русские меньшевики. Раз, дескать, война началась,— надо защищать свое отечество от варварского нашествия немцев, хотя немецкие солдаты были тогда не бо́льшими варварами, чем все остальные. Вы читали Роже Мартен дю Гара о войне тысяча девятьсот четырнадцатого года?

— Читали,— холодновато ответил Тоболин.— Ну и что? Не собираетесь же вы повторить или разыграть заново роль Жака Тибо? — Тоболин строго поглядел на Дарского.

— Жак Тибо — героическая личность! — запальчиво, патетически воскликнул Дарский, пророчески подняв кверху худую руку с вытянутым указательным тонким пальцем.— Такие, как Жак Тибо,— единственная надежда на земле, что человечество не погибнет и рано или поздно освободится от зверства. А вы, Сергей Владимирович, да и вы, Андрей Аникеич, неудержимо катитесь в бездну этого зверства. В сущности, вы оба самые примитивные шовинисты. И вы меня простите, мне с вами просто неприятно оставаться дольше.

Дарский надел свою белую полотняную шляпу, взял портфель, плащ и, не попрощавшись, ушел.

Травушкин и Тоболин переглянулись.

— Видал, какой чудак! — усмехнулся Тоболин.— Но роль Жака Тибо ему не сыграть, и не потому только, что время другое. Он минимум на две головы ниже Тибо,— сказал Тоболин.— Жаку оставалось сделать один шаг... и он стал бы настоящим марксистом и ныне защищал бы и Францию свою, и Страну Советов как антифашист. А Борис Дмитрич до сих пор твердит азы пацифизма..

Андрей согласился, чувствуя, что в нем самом происходит какой-то решительный перелом в мыслях и чувствах. Ведь всего полчаса назад он внутренне приветствовал Дарского с его ненавистью к войне и кровопролитиям, а теперь видел, что с одной этой ненавистью человеку нечего делать в настоящее время, что ненавидящий войну должен, обязан воевать против тех, кто ее разжег.

Потом друзья завели разговор о колхозных делах, которыми Травушкин всегда интересовался и которые Сергей знал во всей их простой обыденности.

Андрею все время хотелось спросить об Илье и Гале, но он не решался. Серьезность беседы с Дарским, последующий разговор об общественных делах создали такое настроение, что о своих личных чувствах и переживаниях как-то неловко

было и думать и разговаривать. Молчал о Гале и Тоболин, хотя он отлично знал о намерении Андрея жениться на ней, и раньше, по весне, как будто сочувствовал ему, да и теперь, наверно, понимал, ради чего Андрей приехал в Даниловку. Наконец, поднявшись, Андрей сказал:

— Пойду домой. Будь здоров. «Опять над полем Куликовым взошла и расточилась мгла»,— улыбнулся он, пожимая руку друга.

— Верно,— поняв намек, задумчиво сказал Тоболин.— Но на поле Куликовом вопрос, кто кого, был решен за трое суток. Теперь мгла погуще... и не над полем Куликовом, над всем миром нависает.

## 4

«Люблю ли я Галю так, как надо любить девушку, на которой задумал жениться?» — такой вопрос снова встал перед Андреем Травушкиным, когда он вечером собрался идти к зданию правления колхоза, где надеялся встретиться с невестой. Мать сказала, что по воскресным вечерам девчата и молодые, не призванные в армию, парни по-прежнему собираются там, хотя хороводов и плясок таких, какие были, теперь уж нет.

Андрей всегда чувствовал, что в нем вмещаются два разнородных существа: одно — увлекающееся, мечтательное, даже сентиментальное; другое — спокойное, уравновешенное, реалистично-трезвое. Первое легко поддавалось непосредственным впечатлениям, обманчивым ощущениям, несбыточным мечтаниям, второе ко всему относилось критически, даже иногда скептически. И эти два существа были в постоянном боренье. Сам же он был вроде бы третьим. Он взвешивал, оценивал сложившуюся обстановку, принимал решения, чаще всего не становясь на сторону ни первого, ни второго, а избирая середину, убежденный, что поступает правильно и мудро. Обычно, после того как он принимал решение, оба внутренних существа затихали. Но когда он задумал жениться на Гале, между ними мира не наступило, наоборот, голоса их временами просто не давали ему покоя. Один говорил: «Она тебе очень нравится, ты влюблен в нее так, как никогда ни в кого не был влюблен. Она будет тебе хорошей женой, лучше ее ты нигде не встречал». Другой холодно и трезво возражал: «Тебя увлекает внешность. Но внешняя красота — не все... она бывает обманчива. И потом, ты связан с Машей... ты без Маши жить не сможешь. А Галю ты и не знаешь еще как

следует. Жениться ты должен был бы на Маше, если бы не был трусливым обывателем. Добился бы, чтоб она учиться начала, получила среднее, а потом и высшее образование. Лучше и верней подруги тебе не найти. Она искренне и сильно любит тебя». «Но я-то люблю Галю... Маша — это временно... это не любовь, а привязанность!» — решительно и убежденно сказал сам себе Андрей, выходя из дому на улицу.

Наступили уже сумерки, но в окнах ни одного огонька: затемнение! Возле правления, наверно, уже собрались девушки, шестнадцати-семнадцатилетние парни, оттуда доносились звуки гармоники — скрипучие и нескладные, совсем не похожие на плавные, мягкие звуки баяна Ильи Крутоярова, которые были так хорошо знакомы Андрею и которые, бывало, волновали его не только своей музыкальностью: он знал, что Илья ухаживает за Галей. И хотя мать уверяла, что это ничего не значит, что Пелагея и слышать не хочет об Илье и никогда не выдаст дочь за чумазого тракториста,— все равно Андрей всегда тревожился, заслышав баян, несмотря на то что присутствие Ильи, поскольку он сидел с баяном или на сцене, или на бревнах, не мешало ему танцевать с Галей, обычно предпочитавшей Андрея даниловским ребятам.

«Сегодня Ильи не будет»,— с чувством облегчения подумал вдруг Андрей, шагая по улице.

Вспомнилось, как зимой, во время каникул, брел по этой же улице в колхозный клуб. Тогда он совсем не думал о Гале, шел из любопытства: хотелось посмотреть, как развлекается колхозная молодежь. В клубе был вечер, посвященный Лермонтову. Небольшой доклад сделал Тоболин. С декламацией произведений поэта выступили Алеша Ершов, Галя Половнева, два десятиклассника.

Вечер был продуманно подготовлен, очевидно, благодаря участию Тоболина, и хорошо прошел. Особенный успех имели Ершов, с чувством продекламировавший «Смерть поэта», «Родину», несколько глав из «Мцыри», и Галя, читавшая наизусть отрывки из «Песни о купце Иване Калашникове». И Ершову и Гале долго хлопали, кричали «бис».

Андрей не ожидал в сельском клубе столкнуться с таким хорошим чтением. Например, Галя так ярко и убедительно рисовала и царя Грозного и купца Калашникова, что у Андрея от восторга холодок пробегал по голове и лицу. А когда, закончив «Песню», своим мягким, но сильным девичьим голосом негромко, чуточку нараспев Галя произнесла:

И бугор земли сырой здесь насыпали,
И кленовый крест тут поставили.
И гуляют, шумят ветры буйные
Над его безымянной могилкою...—

у Андрея навернулись слезы.

С этого вечера, в сущности, все и началось. До того Галю Половневу он знал как одну из многих деревенских девушек Даниловки, до которых ему, городскому интеллигенту, очень мало было дела.

Бывая в Даниловке, он изредка встречался с ней на улице или в клубе. Она первая здоровалась с ним, похоже, как со старшим по возрасту, и он вежливо отвечал ей, точно так же, как и всем односельчанам.

Декламирование ею произведений Лермонтова буквально потрясло его, взбудоражило. Он был поражен, как безошибочно тонко Галя чувствовала и понимала поэта, его прозрачно чистый русский язык. И его потянуло к ней, захотелось поближе познакомиться, и еще на вечере пришла мысль: «Жениться бы на такой!»

Он знал, что между его отцом и отцом Гали была давнишняя вражда, и, по привычке к литературным реминисценциям, иронически-шутливо подумал в тот раз: «Ну что же! Повторим историю Монтекки и Капулетти! Впрочем, матери-то наши, кажется, состоят в давней дружбе. Они договорятся и отцов помирят».

И когда после декламации начались танцы, Андрей подошел к Гале и пригласил ее на вальс. К тому времени он умел уже танцевать и еще два танца — давно научила Маша, когда он навещал ее. Но больше ему нравился вальс. Положив руку на тонкую гибкую талию девушки, он умело и бережно повел ее по залу меж танцующих пар.

Танцевали под баян, на котором играл Илья Крутояров, сидевший возле суфлерской будки. Потом Андрей танцевал с Галей краковяк и тустеп.

По окончании вечера они вместе вышли из клуба. Он хотел проводить ее, но подошел Илья, и, сказав Андрею «до свидания», Галя покинула его, взяла Илью под руку. «Ухажер,— иронически подумал он.— Но ничего, мы еще посмотрим!»

Андрею во время танцев почудилось, что Галя была хорошо расположена к нему. С тех пор он зачастил в Даниловку, а потом признался матери, что Галя Половнева сильно нравится ему.

## 5

Молодежь располагалась на всегдашнем своем месте — возле правления. Андрей в последний раз был здесь больше месяца назад. Ему вдруг стало не по себе, когда он приблизился к кучке людей, тихо разговаривающих. Село, погруженное во тьму, призрачно черневшие избы, тишина кругом. В темном небе уйма звезд. Было похоже, будто он в этой тьме и тишине крадется, идет на какое-то недоброе дело. Вспомнил утренний спор Тоболина с Дарским, свое настроение и мысли в конце этого спора о том, что о своем, личном как-то неудобно теперь и думать и разговаривать. «Куда я иду! Зачем? И что подумают обо мне девушки? Обрадовался, мол, что Ильи нету. Наши ребята давно воюют, а ты тут околачиваешься».

На бревнах сидел один Федя Огоньков. «Он хромой... потому и не призвали».

Пройти сторонкой, прямо к правлению, будто по какому делу, а потом кружным путем, по другой улице, вернуться домой? Наверно, так и сделал бы, но в это время от группы девушек отделилась одна и пошла ему навстречу. По росту и очертаниям головы и фигуры, несмотря на темноту, Андрей узнал издали: Галя. Замедлил шаг.

— Здравствуйте, Андрей Аникеич! — сказала Галя, подойдя и подавая ему руку.— Мама говорила, что вы хотите повидаться со мной.

Пожимая ее маленькую упругую руку с жестковатой ладонью («От полевых работ»,— подумал он), глухо проговорил:

— Здравствуйте.— «Она ждала меня. Это моя мамочка уже постаралась столковаться с тетей Полей!» — Да, действительно, я хотел...— пробормотал Андрей, чувствуя, что сразу берет не тот тон, какой нужно, а какой-то суховатый, полуофициальный.— Но не здесь,— добавил он, выпуская ее горячую руку из своей холодноватой.

— Тогда пойдемте в сад,— сказала Галя.

И, повернувшись, медленно направилась в сторону сада. Андрею ничего не оставалось, как следовать за ней. Сперва он шел позади, потом, прибавив шаг, поравнялся с нею и пошел рядом.

В мае, в первых числах июня не однажды ему доводилось провожать девушку из хоровода домой, и обычно он брал ее под руку. Хотелось бы и теперь так. Но по тому, каким тоном она с ним заговорила при встрече, как пошла одна,

не дожидаясь его, почувствовал, что так в данную минуту нельзя.

Молча они вошли в сад. Очевидно, Галя ждала, что Андрей начнет разговор. А он растерялся, словно мальчишка, вышедший на первое свидание с девушкой. И все получилось совсем, совсем не так, как он задумывал, как предполагал. Продолжительное молчание для обоих становилось томительным и тягостным.

— Я хотел поговорить о вашей учебе,— наконец озабоченно заговорил Андрей, и опять официальным тоном, который показался ему самому неестественным и противным.— Мне известно, что прошлый год вы собирались поступить в университет, но почему-то отложили. А нынче как? Не подавали заявление?

— Заявление подала, но учиться не поеду,— тихо ответила Галя.

— Почему?

— Война!

— При чем же война?

— Война при том, что брата Васю призвали и родителям очень тяжело одним...

— Да, это, конечно, верно. Мать и отца жалко,— важно, рассудительно согласился Андрей.— Но все же вам следовало бы учиться. И не обязательно же ехать. Можно заочно... Вы на историко-филологический подавали?

— Да.

— Очень хорошо! Напишите в канцелярию университета второе заявление, что просите принять вас на заочное. Хотите — передам. Либо зайду к вам, либо маму попрошу зайти.

— Зачем же заходить,— сказала Галя.— Я могу и сама принести.

— Значит, договорились.

«Так вот о чем он хотел поговорить со мной!» — подумала Галя. А между тем к иному разговору готовилась и она. Ей известно было, что еще весной Настасья Травушкина заводила речь о каком-то сватовстве. И теперь она ждала, что Андрей поведет разговор именно о своих чувствах. Возможно, он молчал о них до сих пор потому, что знал об ухаживании за нею Ильи. Теперь, когда Ильи нет, наверно, он и объяснится. «Разве так не может быть, что он в самом деле влюбился в меня? А может, и не влюбился, да хочет «дурака повалять» с деревенской девушкой!» Поэтому она и ждала его с нетерпением, и быстро вышла навстречу ему, когда увидела его в

сумерках. А он завел речь об учебе, о подаче заявления на заочный.

Галя почувствовала себя несколько разочарованной. Само собой разумеется, на его объяснение в любви она ответила бы отказом, но все же было бы интересно и занятно послушать, как объясняются люди с высшим образованием. Наверно, не так, как Илья, который без слов крепко сжимал ее и начинал целовать в лоб, в глаза, в губы, и с такой силой, что голова кружилась и сердце замирало.

Договорившись о заявлении, Андрей и Галя опять долго шли молча. Не было между ними того душевного контакта, при котором сами собой льются слова.

«Может, он стесняется? — мелькнула у Гали мысль.— В сущности, он неплохой... даже хороший... но очень скромный, не то что наши ребята». И она сама попыталась наладить разговор. Спросила:

— Как жизнь в городе?

Андрей был обрадован, что она первая нарушила молчание, и начал пространно рассказывать об университете, о том, какие картины идут в кино.

Они давно уже повернули назад, не заметив этого. Разговор снова оборвался. «Нелепость какая-то! — думал Андрей, тихо шагая рядом с Галей.— Блоковские стихи о любви, коленопреклонение... объяснение на дворянский лад! Мальчишество! Разве время строить планы личного счастья, когда «над полем Куликовым взошла и расточилась мгла»?

Оба, не сговариваясь, покинули сад. Огоньков продолжал пиликать. Девчата пели какую-то песню — тоскливую и протяжную. Галя сказала, что ей тут делать нечего. Андрей пошел провожать ее. По дороге он собрался с духом, спросил, помирилась ли она с Ильей. Она тихо и спокойно ответила, что давно помирилась.

— Он пишет вам?

— Прислал одно письмо с дороги.

Андрей сразу почувствовал какое-то удивительное облегчение. Они помирились! Теперь ему не надо притворяться перед Машей и о женитьбе на Гале не нужно не только говорить — думать даже.

Расстался он с Галей тепло, по-дружески. Она обещала завтра принести заявление. Однако ранним утром заявление принесла сама Пелагея. Она долго о чем-то вполголоса разговаривала с Настасьей в сенях, но Андрей не мог разобрать ни одного слова. Он только догадывался, что матери обсуждают вчерашнюю встречу своих детей. Когда Пелагея, очень

ласково попрощавшись с Андреем, ушла, он неожиданно решил, что нужно сейчас же уехать в город.

— Ты же хотел погостить денька два,— сказала мать.

— Не могу, мам. Дела есть... Время не такое, чтоб гостить.— И по тому, с каким угрюмым и замкнутым видом сын укладывал свои вещи в саквояж, поняла — упрашивать бесполезно.

— Ну, а с Галкой как же? — задумчиво глядя на сына, спросила Настасья.— Не договорились вчерась?

— О чем?

— Как о чем? Ты же мне сам позавчера сказывал...

— Ерунда все это,— нахмурившись, деловито и строго произнес Андрей.— Война! О какой женитьбе может идти речь, мама? Раздумал я. Меня ведь со временем тоже могут призвать, а там и убить... пуля — она дура. И останется на земле еще одна вдова...

— Ты же освобожден.

— Сегодня освобожден, завтра — возьмут...

— Не говоришь ты мне правды,— печальным голосом сказала Настасья.— Наверно, Галя отказала тебе.

— Да я даже речи не заводил! — нервно воскликнул Андрей.— Как ты не понимаешь, мама! Нелепо это сейчас... Об учебе мы... вот и все.

— Галя тоже своей матери говорила: об учебе, мол, беседовали,— сказала Настасья поскучневшим голосом.

— Правильно. Вишь, она и заявление прислала.— Андрею вдруг стало жаль мать: она так мечтала женить его на Гале! — Да ты не горюй, мам! Кончится война — женишь ты меня, если жив буду. А пока война — и Галя ведь замуж не выйдет: не за кого.— Он говорил матери совсем не то, что думал, но зачем огорчать ее? Пусть она продолжает лелеять свою мечту до поры до времени.

...На большак Андрей опять шел не по улице, а за огородами, по берегу речки Приволье. Было раннее теплое, но несолнечное утро. Небо от края до края закрывала неплотная, как старое рядно, наволочь. Тропинка, по которой шел Андрей, пролегала мимо огородов Половневых. Поравнявшись с этими огородами, он невольно остановился и посмотрел на красную знакомую крышу, на кудрявую ветлу, простиравшую ветви до трубы, из которой струился жидкий голубоватый дымок. Выходной день. Галя, наверно, еще спит. А может, уже ушла на работу. Она ведь ударница! Стахановка полей! О ней Жихарев по весне восторженный очерк писал.

«Прощай, Галя! Будь счастлива! Прощай, Даниловка!»

# ГЛАВА ПЯТАЯ

## 1

В тот самый день, когда Андрей Травушкин, отказавшись от мысли жениться на Гале Половневой, уехал в город,— часов в десять утра почтальон Бубнов Глеб Иванович зашел в кузницу и принес Петру Филипповичу два письма — одно от Алеши Ершова, другое — от Ильи Крутоярова. Глеб Иванович к тому времени перестал уже обходить кузницу и попрежнему навещал Половнева, и по-прежнему они беседовали, курили, обсуждали разные дела колхозные, мировую политику, больше же всего говорили теперь о войне, за ходом которой оба следили изо дня в день. Добрых вестей, которых они с нетерпением ждали, то есть что Красная Армия не только остановила противника, но и погнала его с русской земли взашей, пока не было. Глеб Иванович по небольшой карте Советского Союза, которую носил с собой в почтовой сумке, показал Половневу, где примерно находятся передовые позиции нашей армии, отмеченные им красной линией, и гитлеровские войска — черной. Оба тяжело вздыхали, озабоченно качали головами: эвон сколь земли нашей уже оттяпал фашист!

Когда Бубнов ушел, Петр Филиппович вынул письма из кармана. Оба были без обратных адресов. Распечатал сперва письмо Ершова.

«Дорогой Петр Филиппович! Пишу с дороги. Еду на фронт. Мне очень хотелось перед отъездом повидаться и с тобой, и с тетей Полей. Вы оба много значили и значите в моей жизни, вы заменили мне родителей моих, поэтому я считаю тебя, дорогой, родной Петр Филиппович, вторым своим отцом, а тетю Полю — второй матерью. Но вам я об этом не говорил ни разу. Если бы довелось перед призывом свидеться, сказал бы, а так как свидеться не удалось, то я решил написать, чтобы вы об этом знали.

Едем мы шестые сутки. Иногда подолгу стоим. Железная дорога забита воинскими эшелонами, идущими на запад. Куда нас везут — не знаем, и нам ничего об этом не говорят.

Больше писать некогда. Скоро, наверно, доедем. До свида-

ния. Обнимаю крепко тебя и тетю Полю. Наташе своей я тоже написал.

Привет Гале. Ваш А. Ершов.

*29 июня, 1941 г.».*

Половнев прочел письмо, вложил его в конверт, сунул в карман. «Больше двух недель шло! Может, парня ранили уже, а то и совсем укокошили за это время».

Распечатал второе. Оно умещалось на одной страничке ученической тетради в клетку. Но если письмо Алеши вызывало в душе беспокойство и тревогу, то коротенькое письмо Ильи совсем ошеломило. Этот писал, что Галя является его женой, что война помешала им сказать об этом родителям и записаться в загсе. В письме не было ни числа, ни места, где оно написано. Заканчивалось так:

«Простите нас, дорогие батя, Петр Филиппович, и мама, Пелагея Афанасьевна. При первой возможности приеду в Даниловку, и мы с Галей оформим наш брак. Тете Поле, когда нас провожали, я намекнул, но она, кажется, не поняла. Ввиду войны я решил, что скрывать не имею права.

Ваш нареченный зять Илья Крутояров».

— Вот чудотвор,— угрюмо и тихо пробубнил Половнев, закончив чтение письма.— Нареченный зять! Ну и ну! А я, значит, тесть!

— Чего такое? От кого письмо-то? — поинтересовался Блинов, не расслышав слов, но заметив, что Петр Филиппович расстроился.— Не с фронту?

— Нет, не с фронту,— отрывисто ответил Половнев.— С дороги.

— От кого же? От Васи?

— От Алеши.

А вечером, когда Пелагея пошла доить корову, Половнев сел за стол и позвал Галю:

— Ну-ка, садись... поговорить с тобой надо.

Галя села на табуретку напротив отца.

Петр Филиппович пододвинул к ней письмо Ильи.

— Читай,— угрюмо сказал он.

Галя взяла письмо и, держа его в руке, стала читать про себя; и по мере чтения все сильней дрожали ее пальцы, все больше темнело загорелое лицо. Окончив, положила листок на стол, робко взглянула на отца.

Над столом висела семилинейная лампа. Но и при ее слабо-

ватом свете Галя отчетливо увидела каждую морщинку на милом отцовом лице, которое было сейчас холодно, замкнуто-хмуро. Отец молчал. Седоватые брови его совсем нависли над глазами, сердито блестевшими и сверлившими ее. Встретившись с его взглядом, она вдруг почувствовала себя страшно, непоправимо виноватой.

— Ну что же молчишь? — строго, но негромко спросил отец глуховатым голосом, отводя взгляд в сторону.

— А чего говорить? — еле слышно, с трудом вымолвила Галя.

Отец сдержанно, суховато спросил:

— Это правда?

— Правда.— Голос Гали дрогнул. Она готова была заплакать, но сдерживалась.

Половнев отвернулся, полез в карман за трубкой. Достав ее, начал неторопливо набивать табаком. Глядя в кисет, спросил:

— И давно вы?

Галя не ответила.

— А как же с учебой? — после продолжительной паузы снова задал вопрос Петр Филиппович.— Ведь ты же хотела осенью в город ехать... учиться. А вместо учебы — вы собрались в загс.

Галя опустила глаза, тихо ответила:

— Мы договаривались на учебу ехать вместе. Я — в университет, Илья — в сельхозинститут.

— Ну, а теперь как же? Будешь учиться-то?

— Не знаю... война же. И вы с мамой тут одни. Не могу я бросить вас.

— Об нас не думай. О себе думай,— немного смягчившимся тоном сказал Половнев.— Наше дело стариковское, а тебе — жить!

— Я и подумала, и уже подала заявление, чтобы меня приняли на заочный.

Галя совладала с охватившим ее волнением и последние слова произнесла более спокойно.

— И давно ты так решила?

— Вчера вечером.

— Почему же не сказала мне?

— Ты уже спал, когда я пришла с улицы. А утром не успела.

— А мать знает?

— Знает. Она сама и отнесла заявление Андрею Аникеевичу... он передаст его в канцелярию университета и пого-

ворит там, если понадобится. Объяснит причину, почему я прошу перевести меня на заочный.

— Чего же объяснять? В заявлении бы и написала.

— Я коротко и написала... а он подробней расскажет.

— Стало быть, вчера ты с Андрюхой виделась?

— Да.

— Либо снова мать затевает чего-нибудь насчет сватовства?

Галя тряхнула отрицательно головой:

— Нет. Просто я просила Андрея Аникеевича помочь мне поступить на заочный.

Петр Филиппович предупреждающе сказал:

— Смотри не вздумай сама чего... Держись одного берега, туда-сюда не кидайся.

Зажег набитую трубку, пыхтя дымом, посмотрел на дочь подобревшими глазами. На этот раз и Галя взгляда не опустила.

Смущенно улыбаясь, часто моргая длинными черными ресницами, она заверила:

— Ну что ты, бать! Как же это можно! Будь спокоен.

Петр Филиппович одними полными губами своими криво улыбнулся.

— «Будь спокоен». Я был спокоен, а получилось вон что! Ну, да ладно,— вдруг как бы спохватившись, примирительно проговорил он.— Значит, так тому и быть. Я не против Ильи. Такого зятя хоть кому. И семья хорошая. С отцом его, Родионом Яковлевичем, мы всегда в мире жили. И мать у него славная, степенная... все это ничего, кабы немного по-иному... Оно конечно, война... Впрочем, что же теперь толковать о том, чего не поправишь. Матери-то не признавалась?

— Нет.

Галя зарделась густым румянцем.

— Что же делать? О письме я ей пока ничего не говорил. Может, и не надо говорить? А?

— Не знаю, батя.

— Пожалуй, не будем,— доверительным, почти просящим тоном сказал Петр Филиппович.— А то она расстроится, кричать на тебя начнет, да и мне может влететь: вот, скажет, полюбуйся, чего натворила доченька твоя любимая! Пожалеем ее... она и так по ночам вздыхает да плачет. Васю жалко ей. А тут еще и Гриша... тоже — я молчу... а он письмо прислал: добровольцем ушел в армию. Так что ты и о Грише помолчи... до поры до времени.

Только вышел отец (сказал, что пойдет в правление), пришла мать и стала цедить молоко.

— Ну, чего же ты Андрюхе-то своему вчерась сказала? — спросила она.

— Да что ты, мама, с Андрюхой пристала ко мне? Какой же он мой? Сама ты все навыдумывала.

Пелагея поставила ведерко с молоком на пол и округленными глазами ошеломленно уставилась на дочь:

— Я навыдумывала? А кто с ним плясал по зиме? Кто в хоровод ходил весной? Кто мне говорил, что Андрей Аникеевич умный, обходительный, лучше всех наших деревенских ребят, что он слова грубого не скажет? Может, я с ним плясала, я в хоровод ходила? Я его нахваливала? Да я его и знать-то не знаю, я только и вижу его, когда он по селу проходит мимо, и разговору-то у меня с ним всего — «здравствуй» да «прощай»!

— Ну и что из того, что танцевала и в хоровод ходила? — спокойно возразила Галя.— Ничего это не значит.

— Как же не значит, если девка с парнем гуляет и тот парень с улицы ее провожает? Это значит, что он жених!

— Это, мама, по-старому так было, а теперь все иначе.

— Как же это иначе? Сегодня с одним, завтра с другим, так, что ли?

— И совсем не так,— вспылила Галя.— С Андреем Аникеевичем я ходила, когда с Илюшей ссорилась... и ты отлично знаешь об этом и должна помнить и понимать, наконец!

Галю подмывало сейчас же все сказать матери начистоту, в том числе и о письме Ильи, но удержалась: батя рассердится, что она без его разрешения выдала их «общую» тайну.

— Чего я должна понимать? — недовольным голосом проговорила Пелагея и сердито посмотрела на дочь. Взгляды их скрестились.— Ох, девка! Морочишь ты мне голову. То Андрюшка, то Илюшка... а теперь, гляди, еще чего-нибудь надумаешь.

— Сама себя ты морочишь, мама,— взволнованно сказала Галя.— Честное слово. Ведь я не собиралась замуж за Андрея, а ты начала... и тете Насте чего-то наговорила, наобещала... и с батей пробовала говорить.

— Стало быть, я во всем виновата? Да? Я вру, а ты не говорила, что Андрей нравится тебе?

— Он мне как человек нравится, понимаешь! — с досадой сказала Галя.— А ты и давай бог знает что выдумывать!

— А как же еще он может нравиться? Понятное дело, как хороший человек. И я это очень даже понимаю и помню... Не такая уж я дура, чтоб этаких делов не понимать. Завлекла малого, а потом назад! Вот почему он тебе ничего и не сказал! А ведь собирался сказать... Настасья мне прямо так намекнула. Ну и леший с тобой, милая моя! Сиди в девках хучь до сорока годов! Я теперича палец о палец не ударю!

## 2

Наступила пора уборки хлебов. Вечером накануне выезда в поле Свиридов созвал правление с активом и бригадиров, зачитал план, утвержденный уже правлением и общим собранием колхозников. На заседание были приглашены некоторые девчата и молодые женщины, в том числе и Галя. В активе колхоза она до сих пор не числилась, поэтому была удивлена, что ее сюда позвали. Но раз позвали, значит, она нужна тут. Пришла вовремя, села в уголке поближе к двери, чтобы, если скучно станет, поскорей и незаметней уйти. На общем собрании, где утверждали план уборки, Галя уже была — и теперь, когда этот же план Свиридов начал зачитывать, сердито подумала: «Делать им нечего, что ли,— одно и то же талдычат!»

Заседание проходило в клубе. На столе стояла большая никелевая лампа, внутри стеклянного пузыря которой горело стойкое желтоватое пламя, слегка раздвоенное вверху. Четыре огромных окна клуба были закрыты снаружи плотными, недавно специально сделанными дощатыми ставнями. Затемнение!

— План вы уже в основном знаете,— сказал Свиридов, окончив чтение.— Но надо нам еще разок сообща проверить его. Может быть, мы чего-нибудь упустили, недодумали.

Были внесены небольшие дополнения. Бригадир Мурашкин Антон Прокофьевич стал было жаловаться, что у него не хватает людей, что план по его бригаде он считает завышенным даже против прошлогоднего. Голос у Мурашкина был тонкий, плаксивый, не то женский, не то мальчишеский, с каким-то надрывным дребезжанием.

— Не могли подождать с мобилизацией,— фистулой выкрикнул он в заключение.— Призвали бы половину, а остальных после уборки.

На Мурашкина зашумели, зашикали. Огородный бригадир Плугов внушительно пробасил:

— Тебя не спросились, кого когда призывать! Неумно говоришь, Антон. Как же это после уборки? Война-то вон какая разгорается, а ты — после уборки!

— Да пойми ты, голова садовая,— не сдавался Антон Прокофьевич.— Хлеба-то какие! Древние старики таких хлебов не помнят. Дядя Гаврилы Чекмасова — а ему более девяноста годов — и то говорит, что подобных не видывал. Если б даже вся сила колхозная в наличности была, и тогда незнамо как управиться!

Свиридов сердито оборвал бригадиров:

— Вы что! Спорить сюда пришли? Ты чего, Антон Прокофьевич, панику тут нагоняешь? Хлебов хороших испугался?

Затем председатель заставил бригадиров огласить списки распределения работ. Слово было предоставлено сначала Мурашкину. И тут Галя поняла, для чего была приглашена. Многие молодые свекловичницы на время уборки переведены в полевые бригады. В их числе оказались и Наташа Ершова, и Галя с подругами Верой Плуговой и Леной Бубновой. Но подруг и Наташи почему-то на совещании не было,— наверно, сами не захотели прийти.

Плугов громко заявил:

— А скирдоправом меня пошлите, товарищи. Дмитрий Ульянович! — обратился он к председателю.— За меня пускай Пелагея Половнева побригадирствует. Она по огородному делу не меньше меня смыслит.

— Спасибо, Лаврен Евстратович. За сознательность твою спасибо. Так и сделаем,— сказал Свиридов.

Галя и Лена назначались на лобогрейку, а Вера Плугова и Наташа Ершова — на вязку снопов. Галя хотела сказать, что никогда не работала на лобогрейке и не умеет с нею обращаться, но не решилась. «Как другие, так и я»,— подумала она. В конце совещания и этот вопрос был разъяснен. Свиридов объявил, что не умеющих работать на лобогрейках завтра будет обучать возле кузницы Петр Филиппович Половнев. Явиться нужно не позднее шести часов утра.

### 3

На другой день рано утром девчата в синих комбинезонах (в юбках работать на лобогрейке неловко и небезопасно), выданных кладовщиком, верхами на лошадях, атаковали Половнева. Лобогреек было четыре — по две на полевую бригаду.

К каждой лобогрейке и паре лошадей прикреплялось по две девушки.

Петр Филиппович приказал запрячь лошадей в лобогрейки, стоявшие возле кузницы. Когда девчата запрягли и выстроились пара за парой, стал обучать их, начав с последней. Галя, стоявшая впереди, негромко заметила:

— Надо по очереди, батя!

— А я и так не всех сразу,— не глядя на дочь, шутливо отозвался Половнев.— Имей терпение,— добавил он, подходя вплотную к лобогрейке, на которой гордо восседала Ксения Рыбалкина, плотная, грудастая девушка с овальным загорелым лицом, в коричневой с розовыми цветочками косынке. Она два лета уже работала на этой машине и в обучении не нуждалась. Однако все наставления Половнева слушала внимательно.

Девушки, побросав свои лобогрейки и лошадей, тесной кучкой обступили Петра Филипповича, стараясь не упустить ни одного его слова, с любопытством и завистью следили за его умелыми руками.

Из кузницы вышел Блинов, с измазанными носом и щеками, в грязном кожаном фартуке, в засаленных брюках. Намереваясь приступить к обучению, он приблизился к следующей паре. Половнев остановил его:

— Не мешай, Арсей, я сам.

— Ловко,— озадаченно проговорил Блинов.— Забрал всех девчат под свою власть, а меня, значит, в сторонку. Ох и хитрый же народ старички эти.

— Ты на кого намекаешь? — усмехнулся Половнев.

— Без всяких намеков, Филиппыч, напрямик говорю. Нехорошо так. Монополия получается. Мне, между прочим, тоже хотелось бы позаниматься с ними. Смотри, какие они сегодня все интересные, хотя и закутались в мешки,— шутил Блинов, толкаясь между девушек.— Почем материя?— спрашивал он, ощупывая новенькие комбинезоны.

Девушки смеялись, хлопали его ладонями по спине. Лена Бубнова грубо прикрикнула:

— Чего лапаешь грязными ручищами-то!

На хлопки Блинов не сердился, только громко покрякивал, словно они доставляли ему невесть какое удовольствие.

— Еще, еще разок. А ну, вдарь по правой лопатке. Во-во! Ай, здорово! Теперь с месяц можно в баню не ходить.

— Утихомирься ты, за-ради бога, Арсей! — останавливал его Половнев.— У девчат мысли путаются от твоей болтовни.

— А у меня от них, думаешь, не путаются? — не унимался Блинов, и все худощавое, измазанное лицо его сияло.— У меня и вовсе голова кругом пошла. Что ни девка, то красавица! А я — грязный, физия как у кочегара в аду. Мне бы помыться, костюмчик новенький, белую рубашку с красным галстучком во всю грудь. Тогда бы они не били, а целовали меня.

Половнев, нагнувшись было, чтобы показать ножи лобогрейки, строго посмотрел на своего помощника.

— Ты долго будешь тут балабонить! — сердито сказал он.— Чего ты болтаешься? Дела не найдешь?

На лице Блинова появилось нарочито испуганное выражение.

— Филиппыч! Не смотри на меня этак! Я страшно нервенный, могу в обморок свалиться.

И подпрыгивающей походкой, выворачивая ноги, как Чаплин, направился в кузницу.

Глядя на него, девушки громко смеялись.

Ксения Рыбалкина серьезным тоном заметила:

— Веселый у вас помощник, дядя Петро. Куда веселей Алешки Ершова!

— Да,— с добродушной улыбкой согласился Половнев.— С ним не заскучаешь. Алеша, девушка, воюет. Письмо недавно прислал.

— Чего же пишет? — спросила Ксения.

— Многое пишет... бьют они там немца в хвост и в гриву,— приврал Половнев.— И об Иване Тугоухове пишет. Неслыханной, мол, храбрости парень!

Рыбалкина покраснела и ничего больше не сказала: Иван Тугоухов последнее время считался ее женихом.

— Ну, ты все поняла? — спросил ее Половнев.

— Все! — тихо ответила она, явно погрустневшая и расстроенная.

«И зачем я об Иване-то!» — покаянно подумал Половнев.

— Езжай с богом! — ласково произнес он, показывая рукой в сторону дороги, и подошел к следующей лобогрейке. Снова стал объяснять, показывать. Он отпускал лобогрейщицу не раньше, чем убеждался, что все премудрости управления, в общем-то не очень сложной, машиной и обращения с ней усвоены.

Наконец остались Галя и Лена. У них были неплохие сытые кони — один пегий, с большим белым пятном на широком лбу, другой мухортый с тонкими ногами.

— Что же ты с нами сделал, батя! — с досадой заговорила

Галя, устроившись на сиденье лобогрейки.— Мы же отстанем от всех сегодня.

Половнев спросил:

— Следила, как я другим объяснял? То-то! Подними ножи. Опусти. Так. Правильно.

Он задал дочери несколько вопросов, объяснил кое-что, затем заставил сесть к рычагам Лену.

— Ты погонщицей будешь? — спросил он ее и, получив утвердительный ответ, пояснил: — Все равно должна уметь с машиной обращаться.— Закончив с нею, добавил: — Вот видите, не зря вы тут задержались. Пока я других учил, вы обе не дремали. Можете ехать,— мягко разрешил он.

Галя сама взяла кнут и вожжи, оставив у рычагов подругу, и погнала лошадей с места в карьер во весь опор.

— Тише ты! — взмолилась Лена.— Всю растрясла, ажно зубы стучат.

Серая пыль облаком поднялась за ними и скрыла их. Петр Филиппович постоял, посмотрел им вслед, покачал головой. «Кипяток, а не девка»,— подумал он о дочери.

Когда подъехали к стану бригады, на поле уже стрекотали лобогрейки, волоча за собой серые шлейфы пыли. Вдали, у самого леса, покачивался комбайн, будто корабль на волнах. На специально отведенных загонах работали косари, некоторые из них без рубашек. Чуть поодаль от косарей гнулись жницы с серпами, в белых косынках.

Галя остановила коней возле будки. К ним подошел Антон Мурашкин с треугольником саженки из обструганных ореховых палок. В негустой округлой бороде его, запутавшийся в табачного цвета волосах, светлел один маленький колосок.

— Милые девушки! — воскликнул он не то ласково, не то насмешливо своим тонким, почти женским голосом.— Что же это вы припоздали? Аль чего случилось?

Галя бойко ответила:

— Ничего не случилось, товарищ бригадир! — Она глянула на свои наручные часы и доложила: — Опоздали ровно на десять минут. Готовы к выполнению ваших заданий, товарищ бригадир. Укажите нам загон.

— Вон он, ваш загон, дожидается вас,— показал Мурашкин саженкой на стоявшую невдалеке длинную полосу желтой ржи.

Галя, передавая Лене вожжи, приказала:

— На-ка, правь!

И подруги поменялись местами.

## 4

С никогда не испытанным волнением въезжала Галя на свой загон. Одно дело действовать и управлять ножами на пустом месте, и совсем иное, когда въезжаешь в густую колосистую рожь. А вдруг ножи застопорятся, начнут не резать, а мять? Но машина сразу заработала отлично. Как только Лена завела лошадей с левой стороны загона и пустила их вдоль некошеной ржи, Галя толкнула вперед рычаг управления, и лобогрейка громко и бойко застрекотала, затрещала, схватывая острыми ножами золотистые крупные стебли и мгновенно срезая их. Срезанная рожь негустым рядком быстро двигалась на полок, слегка подрагивая на ходу. Галя спокойно, уверенно вилами сваливала ее налево, невольно изредка оглядываясь: небольшие кучки отмечали на земле путь лобогрейки. «Ой как здорово!» — с удовольствием думала она. Наташа Ершова и Вера Плугова соломенными перевяслами связывали скошенную рожь в снопы.

В обеденный перерыв возле полевой будки, прямо на лужайке, Свиридов провел собрание двух бригад. Приняли договор о социалистическом соревновании. Было объявлено, что передовая по уборке бригада получит переходящее Красное знамя и премии на весь рабочий состав мануфактурой, деньгами и скотом-молодняком.

— Конечно, внутри бригады распределение премий придется провести не всем поровну, а по выработке,— пояснил Свиридов.— А для этого надо наладить в бригадах строгий учет. Правление назначает учетчиком в обе бригады товарища Тоболина Сергея Владимировича. Вы все знаете его. Вопросы есть?

— Есть! — отозвалась Галя.

— Давай, пожалуйста! — пригласил Свиридов.— Подойди сюда,— показал он на покрытый выцветшим до белизны кумачом небольшой деревянный столик, за которым сидели бригадиры, обливаясь потом: вовсю жарило солнце.

— Я отсюда! — крикнула Галя.— По-моему, соревнования между бригадами мало. Надо еще внутри бригад чтобы соревновались друг с другом. Вот я и вызываю Ксению Рыбалкину.

— Ты что, рехнулась?! — насмешливо выкрикнула Ксения, надменно кривя красивые губы и прищуривая глаза.— Она меня вызывает! Гляньте, девки, на нее! Научись сперва работать, а потом уж вызывай. Это тебе не травку щипать на свекле, тут попотеть придется.

— А на свекле не потеют разве? — заметила Галя.

— Потеют, да не так,— сказала Рыбалкина.— Научишься работать, тогда — пожалуйста, а пока я не принимаю твоего вызова.

— Неправильно, Ксения,— увещевающе сказал Свиридов.— Раз тебя вызывают, обязана принять. Колхозное сознание должна ты иметь.

— А я что — совсем несознательная, по-вашему? Плохо работаю? Вам надо обязательно бумагу составить и подписать ее да начальству показать. Пускай без всякого соревнования догоняет... а бумаг подписывать не стану с такими неумехами. Вы смотрели, как они до обеда работали? — обратилась Рыбалкина к Свиридову.— Ага! Не смотрели, не поинтересовались. А я смотрела. За ними еще машину посылать надо, огрехи докашивать.

Правда, огрехи были! Не справлялась Лена с лошадьми. То оводы их донимают, то сама она вожжи потянет не туда, куда надо, и лошади сбиваются в сторону. Но Свиридов все же взял Галю и Лену под защиту.

— Это, Ксения, не причина,— мягко, примирительно проговорил он.— Огрехи, наверно, и у тебя случаются, хотя, конечно, поменьше, ты поопытней. Но соревнование затем ведь и устраивается, чтобы подтягивать дружка дружку и чтобы огрехов не было. Вот и научи их, подтяни!

Ксения опять скривила свои румяные губы:

— Нет уж! Они вызывают, а я их учи! Нехай сами учатся...

Неожиданно и странно выступил бригадир Мурашкин.

— Зачем это дружка с дружкой наперегонки? – говорил он своим тонким дребезжащим голосом Бега у нас или спортивные игры? У нас уборочная кампания, и пускай каждый по силе-способности.. А начнем состязаться — неминуче вражда пойдет... либо которые и красоваться будут я, мол, больше и лучше тебя исделал Нам же не вражда и не красованье нужны в труде нашем, а дружелюбность и полюбовное согласие... Потому что война идет с фашистами... и мы все должны как один!

После такого выступления Ксению и совсем уж невозможно было урезонить, а Свиридов только руками развел. Он стал было объяснять, что Антон Прокофьевич совсем неверно понимает социалистическое соревнование, но люди зашумели:

— Довольно, Дмитрий Ульяныч!

— Перерыв кончился!

— Работать пора!

— И без вызова можно потягаться в любой работе...

Собрание пришлось закрыть.

5

По пути к лобогрейке Лена подтрунивала:

— Молодец Ксюша, что отбрила тебя... а то ты настырно в передовые активистки рвешься.

— Не одну меня отбрила, а и тебя, милая Аленушка,— усмехнулась Галя.— Огрехи-то у нас с тобой по твоей милости. Не умеешь ты с лошадьми управляться.

— Чего же с ними сделаешь, если они от оводов этих бешеными становятся! — оправдывалась Лена.— Посади тебя — и ты с ними не сладишь.

— Может, и не слажу,— согласилась Галя.— Я тебе сочувствую. Ты вот что,— озабоченно продолжала она, беря подругу под руку,— давай не ссориться. Лучше подумаем, как нам с тобой оставить с носом гордячку эту. Надо обязательно доказать, что мы умеем не хуже ее работать.

— Докажешь ей! — неуверенно сказала Лена.— Она третье лето на лобогрейке. А мы с тобой без году неделя.

— Все равно докажем, если захотим.

— Я не против,— согласилась вдруг Лена.— Но лошади! Они меня замучили, Галечка, ничего я с ними не сделаю, пока такая погода стоит.

— Управимся и с лошадьми. Тут главное — желание наше с тобой.

В этот день Галя отстала от Ксении почти на целый гектар. На второй — немного поменьше. Это огорчало ее чуть не до слез. Хотелось не только не отставать, а и перегнать. Но было ясно: даже догнать Ксению можно лишь удлинением рабочего времени, потому что Галя действительно не умела еще так проворно работать, как работала Рыбалкина, а Лена по-прежнему не управлялась с лошадьми, и позади оставались огрехи, хотя и не столько, сколько в первый день. Особенно плохо получалось на поворотах. Нередко приходилось снова заезжать и подкашивать.

Галя ругалась.

— Ленка! — кричала она истошным голосом.— Ты что, окосела? Или спишь на ходу? Куда тебя леший несет?

– А чего я с ними сделаю?— ворчала Лена.—Лезут черт-те к да. Возьми сама и правь!

Лошади действительно плохо слушались Лену, особен-

но мухортый, идущий возле ржи. Он то и дело рвал на ходу колосья. Лена в наказание изо всей силы стегала его ременным кнутом. Конь шарахался в сторону: получался огрех.

Галя сменяла Лену и сама садилась погонщицей.

— Надо внимательной быть, милая Аленушка, и кнутом не махать понапрасну,— учила она подругу.

Лошади у Гали шли ровней, спокойней и... побыстрей. Но Лена не успевала сбрасывать.

— Ты куда погнала этак? — протестовала она.— На пожар, что ли? Все равно Ксению не догоним.

— Перегоним,— упрямо твердила Галя.— Ты только орудуй попроворней.

Однако «попроворней» Лена то ли не умела, то ли сил у нее не хватало, и скошенная рожь наползала на полок огромной живой кучей, тесня саму лобогрейщицу и угрожая совсем завалить ее.

— Не могу я так! — вопила Лена со слезами в голосе.— Останови, останови!

Приходилось останавливаться.

Наконец они решили поменять местами лошадей. Пегий оказался выдержанней и способней мухортого, он старательно держался около ржи, но не хватал ее губами. В обеденный перерыв Лена смазала лошадей тряпкой, намоченной в керосине, и оводы почти не садились на них, а лишь роями вились вокруг. Лошади пошли лучше. В этот день Галя с Леной отстали от Ксении всего на четверть гектара.

На третий день, чтобы опередить Рыбалкину, Галя встала затемно, сама забрала лошадей из табуна и уж тогда разбудила крепкую на сон Лену.

— Вставай, поехали,— шепотом говорила она, тряся Лену за плечи.

Все лобогрейщицы, погонщики и вязальщицы ночевали на толстых соломенных матах в большом шалаше, загодя специально для них сделанном по распоряжению Свиридова. И все они еще крепко спали, когда Галя начала будить Лену.

— Куда поехали? — бормотала Лена, протирая глаза кулаками. Спросонья она ничего не понимала.

— Работать, работать! — шептала Галя.— Да поживей же ты!

— Спят же все,— недовольно ворчала Лена.— Коней-то еще не пригнали, а ты — работать!

— Сама я за ними сходила, сама!

Некоторые девушки зашевелились. Спавшая в задней половине шалаша Ксения Рыбалкина привстала.

— Зря ты, Галка, ерепенишься,— позевывая, сказала она хриплым спросонку голосом.— Хоть всю ночь работай — не обгонишь. Думаешь, я не слыхала, как ты за лошадьми пошла? Но лошадок и мне Мишка Плугов скоро пригонит. Далеко не ускачешь. Лучше вот что: смени эту дурочку толстомясую, Аленушку свою. Она же нетрудоспособная... и страшная, как ведьма. От нее лошади шарахаются, потому у вас и огрехи.

— Сама ты дурища страшная и неспособная! — вдруг вскочив, громко и визгливо вскрикнула Лена. Она вытащила из-под подушки коричневую юбку и быстро накинула ее через голову на себя.— Мы еще посмотрим, кто из нас трудоспособней,— сердито бубнила Лена, торопливо застегивая пуговки юбки дрожащими от волнения пальцами.— Дай-ка я три года проезжу на лобогрейке — да я вдвое больше тебя...

— Давай, давай! — насмешливо проговорила Ксения, вставая и начиная одеваться.— Грозилась синица море поджечь!

В это утро настроение у Гали было приподнятое. Радовала густая высокая рожь, радовали редкие оранжевые облака, яркое горячее солнце, оживленный, какой-то вроде бы веселый стрекот лобогрейки, и особенно радовало то, что они с Леной выехали на загон раньше всех, когда поле было еще безлюдно. Правда, утро выдалось росистое, и первое время ножи с трудом брали чуточку влажные внизу стебли, но когда взошло солнце, быстро подсохло, и лобогрейка пошла легко, без натуги. Галя и Лена так увлеклись, что не замечали, как мимо них, по пути на свои загоны, проезжали и чего-то кричали им лобогрейщицы, выехавшие сегодня позднее их почти на час.

Время летело быстро. Не успели оглянуться — на стану зазвонили в рельс: перерыв на завтрак. Лена тотчас остановила лошадей.

— Ой, как я проголодалась! — быстро и громко сказала она, намереваясь покинуть свое сиденье.

— Ты чего остановилась? — спросила Галя.

— Перерыв звонили. Не слыхала разве?

— Надо кончить круг. Давай, поехали! — приказала Галя.

Они находились на средине загона. К великому неудовольствию Лены, пришлось ехать до конца. Оставив лошадей нераспряженными, дали им заранее приготовленную охапку

свежей травы и побежали на стан бегом, наперегонки. На этот раз Лена проявила неожиданную прыть и почти не отставала от Гали.

Когда доели пшенную кашу на молоке и собирались выйти из-за стола, к стану на стареньком велосипеде подкатил Глеб Иванович с черной потертой сумкой за спиной. Он привез газеты и около десятка писем, в том числе и письмо Гале от Ильи.

Галя глянула на конверт без марки, с овальной печатью п/п 12378. Есть обратный адрес! Значит, теперь можно написать ответ. Но вскрывать письмо не стала, сунула в карман комбинезона и поспешно зашагала к лобогрейке.

— От Ильи? — спросила Лена, притрушивая сбоку. Комбинезон был не по ней, и она выглядела мальчиком-подростком в одежде старшего брата.

— От дяди чужого,— грубовато ответила Галя.

— Почему же не прочитала? Не рада разве?

— Некогда читать, кони как бы в рожь не залезли,— сказала Галя, надбавляя шаг.

Но кони еще не съели травы и о ржи пока не помышляли по своей недогадливости, хотя она стояла почти рядом. А может быть, девушкам удалось уже перевоспитать их за четыре дня?

— Смотри, какие они у нас с тобой стали умные! — сказала Галя.— Жуют себе травку, а ржи будто и не видят. Аленушка, за такую сознательность попоить их надо. Сгоняй-ка к ручью.

— А ты письмо будешь читать? Да? Подсади-ка, а то я не взлезу,— сказала Лена.

Галя молча подсадила ее на мухортого, отстегнула постромки обеих лошадей, сняла с них хомуты, подала Лене повод пегого, но насчет письма ничего не сказала.

— Письмецо-то потом покажешь? — улыбчиво подмигнув, просительно сказала Лена и стукнула в бока лошади своими короткими ногами, обутыми в бледно-желтые поршни из сыромятной кожи.

— Покажу,— пообещала Галя и многозначительно добавила: — Если можно будет.

— А почему же нельзя? — обернулась Лена.

— А может, в нем военная тайна! — строго, делая серьезный вид, ответила Галя.— Поняла? Да ты поживее, а то, если шагом, до вечера проканителишься.

— Знаем мы эти военные тайны! — с шутливой иронией сказала Лена и погнала лошадей трусцой.

Илья сообщал, что находится в танковом училище. «Сколько продлится ученье, пока неизвестно,— писал он.— Ребята советуют мне отпроситься домой на трое суток. Особенно — Вася ваш. Но мне как-то неловко. Может, когда закончим курс обучения — наберусь смелости. Могла бы ты сюда приехать, но не велено в письмах называть город, в котором мы находимся».

Все письмо было выдержано в серьезном тоне. Илья сожалел, что вместо фронта попал в училище, сожалели и многие другие, по его словам, и Вася, но ничего не поделаешь. Говорят, приказ Верховного Главнокомандования. «Мы боимся, что, пока нас тут будут учить, война кончится — и мы приедем к шапочному разбору».

В конце письма он просил Галю не горевать, не скучать, понять, что их разлучила война, что после войны они всегда, всегда будут вместе. «Я крепко, крепко обнимаю тебя и несчетно раз целую. Пиши скорей ответ. Навеки твой Илья Крутояров».

Внизу приписка: «Баян мой мы вместе с Васей отнесли к Григорию Петровичу — твоему брату, когда мы были в нашем городе. Напугали меня ребята, что с баяном я не попаду на фронт, что меня могут оставить где-нибудь в тыловой музыкантской команде. В письме Петру Филипповичу я забыл об этом написать. Так вот знай. Случится тебе быть в городе (а может, ты все-таки поедешь учиться?), то захвати его. После войны он нам пригодится».

Сидя на полке лобогрейки, Галя два раза прочитала письмо и вложила его обратно в конверт. Оно возбудило в ней массу воспоминаний, особенно о последних встречах с Ильей, о проводах.

Явственно представился митинг возле правления колхоза. На трибуне дед Афанас, Демин, Свиридов, и среди них Илья. Слабый ветерок слегка шевелит его светлый вьющийся чуб. Вот он взмахнул рукой, заговорил. Отчетливо зазвучал в ушах звонкий голос Ильи:

— Мы их, фашистов, в пух и прах разобьем!

И последнее прощание на железнодорожных путях перед вагонами, заполненными молодыми парнями, шумно разговаривающими, отпускающими острые шутки... Вагон, в который влезли сперва Вася, потом Илья, предварительно подав другу баян... Кислый запах зеленоватого паровозного дыма... и мотив песни, оборванной гудком.

# ГЛАВА ШЕСТАЯ

## 1

На одной небольшой станции эшелон поставили в тупик, а бойцов высадили и повели в интендантские склады, находившиеся в лесу, недалеко от железной дороги. Там всем выдали винтовки, подсумки с патронами, каски, суточную норму НЗ, черные пластмассовые медальоны, в которые вкладывались маленькие, свернутые в трубочку бумажки с домашним адресом.

Когда Ершов с задумчивым видом стоял в очереди за винтовкой и патронами, к нему подошел молодой человек в военном и весело сказал:

— Здравствуйте, Ершов! Издали узнал! — И подал руку.— Вас выдал богатырский рост. Вы, пожалуй, чуть ли не выше Маяковского! Ростом, конечно,— с улыбкой добавил он.— Узнаете меня?

Ершов вторые сутки жил под впечатлением последних минут прощания с женой. Воображение неотступно тревожила Наташа с простертыми вверх руками, и истошный голос ее: «Ой, Лешенька!» — все звучал и звучал в ушах. Он вздрогнул и смущенно ответил подошедшему:

— Узнал, конечно, Александр Михайлович!

— Я сильно изменился?

Ершов отрицательно крутнул головой:

— Я бы не сказал. Пополнели немного.

— Полнота — явление временное. Соцнакопление! Надеюсь, война освободит меня от нее.

Это был писатель Гольбах. В тридцать восьмом году он приезжал с бригадой поэтов в часть, где Ершов проходил военную службу. Политрук роты показал Гольбаху стихи Ершова. Они понравились и Гольбаху и другим членам бригады. На литературном вечере Ершов прочитал несколько своих стихотворений. Его, как и московских поэтов, красноармейцы наградили шумными аплодисментами. Вечер тот поднял настроение Ершова, укрепил его веру в себя, в свои способности.

«Неужели он помнит меня?» — подумал теперь Ершов, глядя на Гольбаха, полное, с небольшим загаром лицо которого простодушно сияло благожелательной улыбкой. На нем было новенькое с иголочки командирское обмундирование,

блестящие хромовые сапоги, планшет, фотоаппарат на узком ремешке, накинутом на плечо... И на воротнике бордовая шпала. Старший политрук.

Несмотря на то что Гольбах поздоровался с ним попросту, Ершов с трудом удерживался, чтоб не козырнуть.

— Вы почему же рядовым едете? — спросил Гольбах.

— Не воевал еще,— ответил Ершов.— Возможно, там присвоят какое-нибудь звание.— Он кивнул в сторону запада.

— Рассуждение правильное,— серьезно сказал Гольбах.— Каждый солдат в своем вещмешке маршальский жезл носит. Но все же думаю, что с вами простое недоразумение. У вас же среднее образование, вы уже служили в Красной Армии. Я ведь тоже еще не воевал, а мне старшего политрука присвоили.

— Вы — совсем другое дело,— почтительно произнес Ершов.— Писатель!

— А вы — поэт!

— Какой же я поэт? Откуда это видно?

— Бросили стихи писать?

— До войны писал, а теперь не до стихов.

— Отсталая и даже вредная мысль! — черные тонкие брови Гольбаха чуть дрогнули.— Надо и теперь писать. Мечта Владимира Владимировича, «чтоб к штыку приравняли перо», в нашей стране давно осуществилась.

— Нет, Александр Михайлович, сейчас не до стихов. Мне сподручней все-таки штык.

— Совсем, совсем примитивное рассуждение, Ершов, страшно примитивное! — помрачнев, с сожалением проворчал Гольбах.— А я подумал было, не поговорить ли с начальством, чтобы вас в газету направили.

— Не надо, Александр Михайлович. Я убежден, что до - жен сражаться не пером, а штыком. Мое перо еще слабо. . не отточено... Кто будет читать слабые вирши никому не известного пиита? Может ли быть польза от моих незрелых творений? Не подумайте, что недооцениваю... «Я знаю силу слов, я знаю слов набат» и отлично понимаю роль поэзии в войне с фашизмом. «Певцы в стане русских воинов» нужны будут и в наше время. И они найдутся, они у нас есть... но я?! Нет и нет! Мое место только там, на передовой! — Ершов опять решительно качнул головой в сторону запада.— Хочу именно — штыком! Штыком и пулей... И сам... сам. Понимаете?

— Ну, если так, то это, конечно, другое дело,— смягчаясь, проговорил Гольбах.— Но насчет газеты мы после поговорим.

Я постараюсь еще повидаться с вами... на фронте! А пока будьте здоровы! Желаю вам всего, всего хорошего.

Гольбах с чувством пожал руку Ершова и не спеша пошел через большую поляну в сторону приземистого одноэтажного здания, загороженного, как и склады, свежесрубленными ветками деревьев, очевидно в целях маскировки.

...До Брянска ехали мирно, хотя медленней, чем хотелось бы. Часто приходилось стоять на станциях, пропускать поезда. Ершов, глядя на обгонявшие платформы с орудиями и грузовыми машинами, невольно думал, что на фронте, наверно, нужда в орудиях и машинах больше, чем в людях. Но поезда, идущие навстречу, наводили на совсем уж мрачные мысли. Платформы и вагоны этих поездов были с заводскими станками, с людьми — мужчинами, женщинами, детьми. Их увозили на восток. Значит, дела наши на фронте неважные. Каковы же они, эти дела,— бойцам не объясняли, а от эвакуированных узнавали они не много: наступает немец! А где, как наступает — никто толком не знал и рассказать не мог.

## 2

По обеим сторонам тихий, зеленый лес. Место ровное, без насыпей. Одноэтажный деревянный вокзал с красными стенами и красной крышей, несколько такого же цвета одноэтажных домов, за семафором — путевая будка в зеленых кустах защитных посадок.

Поезд остановился. Паровоз дал два коротких гудка. Послышалась команда:

— Выходи!

Командиры взводов выстроили людей и мимо вокзала вывели к лесу, а затем по лесной наезженной дороге вольным шагом повели пешим ходом в глубь леса. Куда? Зачем? Неизвестно. Наверно, на фронт.

Бойцы все были в полном снаряжении — в хомутах шинельных скаток, с вещмешками, в темно-зеленых стальных касках, с саперными лопатками в зеленоватых чехлах. На поясных ремнях — гранаты и подсумки с боевыми патронами, противогазные маски. Винтовку каждый нес на ремне, накинутом на правое плечо.

Ершов шел впереди отделения. В этом же взводе был и еще один даниловец — Иван Тугоухов. Шел он где-то позади.

Плечо в плечо с Ершовым справа шагал колхозник Скиба

Кузьма — круглолицый, курносоватый, с густыми русыми бровями, надвинутыми на глубоко сидевшие маленькие глаза. Украинец из южного района области, лет двадцати восьми, чуть пониже Ершова ростом, он был длиннорук, толст и неуклюж. В поезде почти ни с кем не разговаривал. Обладал неуемным аппетитом и мог есть и до обеда и после обеда. А в вагоне, пока у него была домашняя снедь, весь день, с небольшим перерывом, что-нибудь жевал: либо баранку, либо вареное мясо, либо сало с черным ржаным хлебом.

Когда вошли в лес, в лицо повеяло влажной прохладой, запахами еловой хвои, грибной сырости, смешанными с запахом пыли, поднятой идущими впереди. Вскоре стало сумеречно, солнце зашло, стволы деревьев теперь не различались в отдельности, а выступали сплошной черной стеной. Дорога была неширокая, люди натыкались на ветви и суки. Отделения сбились со строя. Иван Тугоухов, догнав Ершова, пошел рядом. Не отставал и Скиба. Раза два он спотыкался о корни деревьев, протянувшиеся через дорогу, выступавшие на поверхность земли, и падал, гремя пустым котелком. Над Скибой смеялись:

— Держись за землю, земляк!

— Зачем нырять торопишься! До воды еще далеко!

Скиба молча подхватывался и сравнительно проворно догонял Ершова, учащенно дыша.

Судя по тому, что все время был слышен отдаленный глухой гул орудийной стрельбы и взрывов, очевидно, передовые позиции были уже недалеко.

Командир отделения Миронов — единственный кадровый во всем отделении, остальные все из запаса. Ему было по виду за тридцать. Держал он себя строго и немного замкнуто. Шагал молча впереди Ершова. Ростом он был со Скибу, но гораздо худей и стройнее.

Иван Тугоухов негромко спросил:

— Куда же нас ведут, Алеша?

— Думаю, что идем прямо в пекло войны, Ванюша!

— Сразу в бой, что ли? — недоверчиво проговорил Иван.

— Вполне, брат, возможно.

Все время молчавший Скиба хриплым голосом мрачно заметил:

— Того не может бути, шоб сразу. Ежли в бой — упредить должны... а то ж мы все злякаемось и побежим кто куды.

Скиба разговаривал на смешанном русско-украинском наречии.

— Там, друг, бежать будет некуда! — предостерегающе сказал Ершов.— Об этом ты лучше и не помышляй.

В лесу стало совсем темно. Каждый с трудом различал теперь покачивающиеся фигуры идущих впереди. Кроны деревьев сплетались над дорогой так густо, что лишь изредка выпадал небольшой просвет, и тогда на короткое время мелькали две-три серебристых звезды, затем снова наступал мрак. Постепенно затихал отдаленный гул орудий. Кругом становилось тихо и глухо, но иногда раздавался зловещий хохот филина. Было похоже, что одна и та же птица сопровождает шагавших в неизвестность людей, перелетая от дерева к дереву.

— Ох, не к добру хохочет этот дьявол! — бурчал Кузьма Скиба.— Примета нехорошая, дид мой говорив.

Ершов оборвал его:

— Какой же ты красноармеец, если в дидовы приметы веришь?

Шли часа два, а конца лесу не было. Бойцы начинали уставать. Разговоры понемногу затихали. Давили вещмешки, оттягивали пояса подсумки и гранаты, ныли плечи от винтовок, гимнастерки у всех взмокли от горячего пота. Скиба кряхтел, сопел. Иногда бурчал:

— Ой, силов моих нету.

Иван Тугоухов не жаловался, хотя, видать, тоже уморился, и то и дело притрушивал рысцой, чтобы не отстать.

В Даниловке, сравнительно хорошо зная друг друга, Иван и Алексей не были большими друзьями. Слишком разные у них были характеры и склонности. Ершов любил читать, писал стихи, собирался учиться. А Иван вел вольготный образ жизни, ни к чему особенного пристрастия не имел, в колхозе работал то прицепщиком на тракторе, то учетчиком. Легковато он смотрел на свои отношения с девушками. Парень красивый, с черной копной кудрявых волос, он нравился девчатам, но часто менял их. Поухаживает недели две, три — и бросает. И уж нехорошая слава о нем пошла было, но по возвращении из армии сам неожиданно влюбился в Ксению Рыбалкину. Ксения не кокетничала с ним, как другие, она повела себя сдержанно и гордо. Иван сделался смирным и задумчивым, от Ксении не отстал, около года ухаживал за ней, провожал в хоровод и домой. На селе заговорили: Демьян Фомич женит сына на Ксении.

Ершов знал об этом — и теперь, чтобы веселее было идти, спросил:

— Поди, скучаешь по Ксюше-то?

Иван негромко ответил:

— По такой девке нельзя не скучать!

— Стало быть, любовь у вас с ней?

— Да с ее-то стороны не знаю... скрытная она какая-то... а я — да!

— Провожала она тебя?

— Провожала, конечно.

— Плакала?

— Крепилась: слезинка навернется, а она ее смахнет и улыбается. Ты, говорит, смотри там, на чужой стороне не загуляй. В шутку, понятно. А я говорю: обязательно загуляю! Тоже шутил.

— Нехорошо шутил,— сказал Ершов.

— Да после я и сам жалел...— помолчав, самокритично добавил Иван.— Я как Иван-дурак в сказке: на свадьбе плачу, на похоронах — шучу и смеюсь. Похоже, не зря меня Иваном окрестили.

— С дороги не написал ей ни разу? — спросил Ершов, не обратив внимания на самокритичные излияния земляка.

— А чего писать?

— Чудак! Написал бы: люблю тебя, Ксюша, и тому подобное. Ведь ты ни разу не говорил ей, что любишь?

— Да зачем говорить? Не глупая же она... Без объяснений должна понять...

Лес кончился лишь во втором часу ночи. На опушке сделали привал на полчаса и, построившись по четверо в ряд, двинулись дальше и опять вольным, нестроевым шагом. Ожидали, что дадут ужин, но оказалось, что он не был приготовлен, кухня проехала дальше. Пошли без ужина. В поле идти было веселей, хотя пыль из-под ног заструилась куда гуще, чем в лесу. Над головой сияло яркими большими звездами темное бездонное небо. И тишина в поле была необыкновенная: ни звука кругом, только слышно нестройное шарканье сапог.

Скоро Ершов различил, что по обеим сторонам стоит некошеная рожь. «У нас, наверно, уборку вот-вот начнут, мы южней здешних мест. А тут и не думают, она еще зеленовата». Сорвал на ходу колосок, стал вылущивать на ладонь зерна, потом попробовал на зуб: совсем мягкие.

— Здесь позднее наших хлеба вызревают,— сказал он, ни к кому не обращаясь, жуя мягкие сладкие зернышки.

— Эге ж! — неожиданно отозвался Кузьма, тоже что-то жуя.

— Ты чего жуешь? — спросил Ершов.— Либо НЗ?

— Ни. НЗы нельзя без команды... упреждали же. Зернышки жую,— ответил Кузьма.

Ершов только теперь догадался, почему Кузьма иногда делал шаг в сторону, отставал немного, а потом догонял: колоски рвал. Иван по-прежнему держался рядом: при последнем перестроении, по выходе из леса, он самовольно поменялся местами с одним красноармейцем, чтобы быть вместе с Ершовым. Впотьмах Миронов не заметил этого, а, возможно, если бы и заметил, не стал бы возражать.

Высоко в небе, незримые, летели самолеты, прерывисто гудя моторами. Подошли к какой-то деревне, смутно черневшей впотьмах. На краю, против одной избы, стоял колодезный журавль, длинным шестом упиравшийся в небо, мирно сиявшее звездами. Деревню миновали, не заходя в нее.

Вскоре привели их на картофельные огороды — в готовую неглубокую траншею. Начинало светать. Было приказано: каждому бойцу немедленно отрыть себе в траншее окоп-ячейку в стене, обращенной к западу. Расположиться шагах в десяти — пятнадцати друг от друга.

Миронов сходил куда-то и принес шесть больших лопат. Собрав все отделение, сообщил:

— Наш маршевый батальон прибыл на пополнение пехотного полка. Мы на левом берегу реки. Она недалеко отсюда. Течет в ту сторону,— Миронов махнул рукой, куда течет река.— На правом — небольшой город. Между городом и рекой — луг. На нем пока немцев нет. Командир нашей роты — старший лейтенант Новиков. Командир взвода — лейтенант Снимщиков. Он приказал рыть побыстрей. Задача простая: создать неприступную оборону. Разойдись!

Бойцы поспешно разошлись и молча принялись за работу. Кузьма Скиба стал помогать Ершову.

— Ты копай себе,— сказал Ершов.

— Хочу с тобой, а то одному скушно и боязно.

— Спроси командира отделения: можно ли так? — посоветовал Ершов.

Миронов разрешил, и они быстро отрыли в ширину такой окоп, что в нем уместилось бы и трое. Затем начали углублять его. Пока работали — совсем уже развиднело. Стали заметны берега реки. Правый — обрывистый, поверх кое-где покрытый каким-то низким кудрявым кустарником, похоже, ивняком. За лугом на той стороне, по отложине холма, лепились одноэтажные и двухэтажные домишки. Больше одноэтажные. На вершине холма белели церковь и колокольня, поодаль от них — серая пожарная каланча. Справа над рекой — дере-

вянный мост. А позади наших окопов, метрах в трехстах, на небольшом возвышении,— избы, дворы под почерневшими соломенными крышами. Из некоторых труб струились сизые дымки. Изредка от деревни доносились протяжные петуши ные голоса. Но они не нарушали общей стоявшей кругом тишины, а как бы лишь подчеркивали ее. Не верилось, что это настоящий фронт, что они на передовой линии, тем более что на правом берегу реки — ни окопов, ни орудий, ни людей Обыкновенный мирный луг.

К Ершову и Скибе подошел солдат, назвавшийся Черновым. На нем была повидавшая виды гимнастерка, выгоревшая на солнце и откровенно нуждавшаяся в стирке. На отворотах воротника ее темнели следы двух кубиков. Лицо Чернова заросло каштановым волосом, усы так уже отросли, что на концах начали завиваться в хмелевидные колечки А в карих глазах — не то грусть, не то задумчивость.

Поздоровавшись, Чернов спросил Ершова

- Тебя как звать?

Прибывших на пополнение разместили вперемежку с кад ровыми, к числу последних относился и Чернов. И теперь, видать, ему хотелось поближе познакомиться с вновь при бывшими.

— Ершов

— А имя отчество?

— Алексей, а батьку Василием звали,— ответил Ершов

Алексей Васильич, стало быть А тебя как кличут?— обратился Чернов к Скибе

— Кузьма Петрович Скиба.

— Здо́рово! - слегка усмехнулся Чернов. Оказывается, мы все — тезки!

Ершов кивнул на Скибу:

— Имена у нас разные! Какой же он мне тезка?

— Но мне он тезка по отчеству Моего батьку Петром звали. А тебе я тезка по имени.

Ершов с улыбкой согласился:

— Если так, то конечно.

— Чем вы тут занимаетесь? - спросил Чернов.

— Копаем,— ответил Ершов. - Углубить вот надо.

Стоит ли? сказал Чернов —Окопы то у нас времен ные Лучше отдохните Вы ведь с марша.

Отвалив лопатой груду глины, Ершов легко выбросил ее на бруствер.

- Как понимать временные? спросил он.

— А так, сказал Чернов. Еще денек, другой — и фа

шист попрет нас отсюда. Так подсказывает мне мой личный опыт. От самой границы пятимся задом наперед.

Он присел на один из трех небольших серых камней-валунов, лежавших у стены траншеи, вынул из кармана брюк замасленный кисет, когда-то бывший, видать, голубым.

— Давай покурим, Алексей Васильич!

Ершов поставил лопату к стене окопа, сел рядом, предложив Скибе тоже отдохнуть.

— Та я же некурящий,— отозвался Кузьма.

Однако, поставив лопату, тоже вышел в траншею и присел.

Чернов пустил ноздрями две густые струи дыма, раздумчиво сказал:

— Не умеем мы воевать. Оно конечно, у немцев и танков, и самолетов, и людей больше... Но разве в этом только дело?

Ершов настороженно покосился на Чернова:

— А в чем же?

— Маневренность нужна. А мы по старинке: пуля — дура, штык — молодец! «Вперед! В атаку!» И в лоб, напрямую! Так можно было с турками драться, Измаил брать штурмом, когда не было ни пулеметов, ни минометов, ни танков. Из-за нашего недопонимания нынешней войны немец и гонит нас. Мы в лоб, а он — с фланга, а то и вовсе окружение организует. Почему не мы его на нашей земле окружаем, а он нас? Возьмем к примеру вот этот городишко. Мы на подступах к нему с неделю держались. А немец видит, что напрямую нас не сдвинуть,— с фланга зашел. А мы уж перепугались: «Окружение!» И ночью снялись да потихоньку, из-под носа немца, через городишко — сюда. Выходит, окружения-то и не было. Если бы окружение, то нам пришлось бы километров двадцать драпать, а мы и десятка не прошли. Маневренности у нас мало, а неповоротливости много. Вот и теперь: дан приказ создать крепкую оборону. По-моему, не оборону бы строить, а поскорей оружием, людьми пополниться да в наступление! Мы фашистам под этим городом кровь пустили как следует. Людьми они потеряли намного больше, чем мы, хотя и у нас потери порядочные. Но все же если не затягивать время, то можно бы их пугануть из города даже сегодня. Наверняка они не успели еще очухаться и восполнить потери... Я, друг, так иной раз думаю: если мы не научимся воевать, то фашисты догонят нас аж до Москвы. Вот тогда, может, мы все за ум возьмемся.

— Ну, это ты, Алексей Петрович, того! — с тревогой в го-

лосе проговорил Ершов.— Как же это можно, чтоб до Москвы? Вроде бы ты на пораженца смахиваешь?

— Нет, я не пораженец, друг Ершов, нет! — с жаром возразил Чернов.— Мне самому страшно, когда подумаю об этом... Но я уверен, что мы раньше научимся...

К ним подошел Иван Тугоухов, находившийся от Ершова через два бойца.

— Смотри, Алеша, что я нашел,— протянул он Ершову три темных черепка.— Глубоко, на дне окопа... около двух метров... Откуда и почему они на такой глубине?

— Куски кувшина,— определил Чернов, взяв один черепок.— Очень старинная посудина. Возможно, времен Александра Невского.

Ершов тоже стал рассматривать черепки, покрытые с одной стороны потускневшей эмалью, а с другой — каким-то рисунком, вроде бы зеленой, но тоже потемневшей краской.

— Невский — это давно было? — спросил Скиба.

— Семьсот лет назад,— ответил Чернов.

— Давненько! — протянул Скиба.— Неужто с той поры черепки уцелели?

— А почему бы им не уцелеть? — сказал Чернов.— Наши предки уже тогда были довольно искусными людьми. Кирпич, посуду умели обжигать. Даже, как видишь, эмаль у них была, краска.

— А Невский — кто был? — спросил Скиба.

— Не знаешь? — удивился Чернов.

— Не знаю.

— Князь. Князь, который предков нынешних немцев разгромил и сказал: «Кто с мечом на нас пойдет, от меча погибнет!» Почти семьсот лет они помнили это предупреждение, а потом забыли. И теперь вот опять лезут.

— Откуда ты все это знаешь? Наверное, в университете учился?

— Вроде того! — усмехнулся Чернов.

— А рядовым воюешь,— сказал Скиба.

Чернов вздохнул:

— Да, брат, рядовым. Впрочем, не совсем рядовой. Я — лейтенант, командир танка... но бывший...

— Вон оно що! А кубики твои де же?

— Сняли.

— Сняли! — не то удивленно, не то недоверчиво проговорил Скиба.— Проштрафился, стало быть?

Чернов дернул одним плечом.

— Получается так.

Отделенный Миронов издали предупредил:

— Тихо! Командир роты!

В самом деле, по траншее гуськом друг за другом к ним приближались три человека. Миронов, подойдя, уточнил:

— Старший лейтенант Новиков, политрук Ковалев, командир взвода лейтенант Снимщиков.

Новиков, приблизившись, остановился чуть поодаль. Коротким взмахом руки приветствуя, негромко сказал:

— Здравствуйте, товарищи. Вольно.

Продолговатое, чисто выбритое лицо его, со слегка выдающимся подбородком, было нахмурено.

Бойцы вполголоса ответили:

— Здравия желаем, товарищ старший лейтенант!

— Окапываться как следует, резко проговорил Новиков.

— Слушаюсь,— сказал Миронов.

— Разрешите вопрос, товарищ старший лейтенант, обратился Чернов.

— Давайте,— кивнул Новиков.

— Мы что же — опять в оборону?

— Да. В оборону.

— А как же город?

— Что — как же?

— Фашистам оставим старинный русский город?

На загорелых скулах Новикова задвигались желваки.

— Временно оставим. А в чем, собственно, дело?

— Нам хотелось бы отбить город-то,— сказал Чернов.— Мы думали, если пополнение прибыло, то пойдем в наступление.

— На войне редко так бывает, как нам с вами хотелось бы,— холодно произнес Новиков.— Вопросы же наступления и обороны решает высшее командование. А вообще о наступлении не вам, товарищ Чернов, говорить.

— Почему не мне?

— Сами знаете почему,— сердито сказал старший лейтенант и зашагал дальше, сопровождаемый Ковалевым и Снимщиковым.

Вскоре они скрылись за поворотом (траншея была отрыта зигзагами), но каски всех троих долго еще виднелись.

Бойцы снова присели. Скибка, обращаясь к Чернову, спросил:

— За що тебя все-таки разжаловали?

Чернов вяловато ответил:

— Долго рассказывать. Давайте готовиться к обороне, а то старший лейтенант на обратном пути отругает нас. Коль оборона, значит, надо крепить ее. Зароемся в землю и будем стоять насмерть.

— Как это — насмерть? — спросил Скиба.

— Так, что фашист может пройти только по нашим трупам. А пока мы живы — дороги ему тут нет.

— Ого! — воскликнул Скиба.— А если я не хо́чу трупом... У мене дети... Я хочу долго жити, як мий дид. Ему девяносто рокив, а вин живе. И с турками воевав, и в японскую добровольцем служив. И живе! И я хо́чу нимцев побити и жити девяносто рокив.

— Ну, если хочешь,— давай окапываться,— сказал Ершов.

Все встали, взялись за лопаты, но разойтись не успели: появились возвращавшиеся Новиков, Ковалев и Снимщиков. Подойдя, все трое опять остановились.

— Что же вы, товарищи! — с упреком сказал политрук Ковалев.— Все отдыхаете? Надо работать. Траншею углубить в рост вот этого бойца,— он показал на Ершова.— И окопы поглубже.

— У меня окоп давно готов, товарищ политрук роты,— доложил Чернов.

— С вами особый разговор,— сказал Ковалев.— Вас вызывают в штаб дивизии. Пойдемте с нами.

Когда Ершов и Скиба остались вдвоем, Скиба раздумчиво проговорил:

— Видав, яка штука! Чернов-то наш, похоже, сильно проштрафился. В штаб повели. То-то я гляжу — кубиков нема на ем... весь зарос... Что бы такое значило, чего вин натворив?

Ершов промолчал.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### 1

Вечером, когда совсем уже стемнело, Миронов подошел к Ершову:

— Видал, напротив нас недалеко постройка, вроде бани?

Ершов ответил:

— Видал.

— Приказано разобрать и построить блиндаж. Поначалу пойдете впятером: Скиба, ты, Чернов, Горелов и Крючков. За старшего командир взвода назначает тебя. Сделать все нужно без шума, без стрельбы. И осторожно, хотя на той стороне реки окопов не видно — немцы пока в городе,— все же будь бдителен.

— А Ивана Тугоухова нельзя с нами? Для ровного счета,— спросил Ершов.

— Старший лейтанант взял его в связные,— сказал Миронов.

Бойцы с винтовками за плечами выбрались из траншеи и, невольно слегка пригибаясь, направились к обреченной постройке. Наступала уже настоящая ночная темнота. От речки тянуло сыроватым прохладным ветерком. Кругом было тихо, лишь из города доносился приглушенный расстоянием беспорядочный гомон, вернее, гвалт фашистов. Похоже было, что они сгрудились там пьяной кучей и о чем-то спорят, а возможно и ссорятся.

— Куда тебя вызывали, Алексей Петрович? — полушепотом спросил Ершов Чернова, который шел рядом с ним.

— Меня? — негромко отозвался Чернов.— Судить хотели.

— За что?

— Думали, что я бросил танк в исправном виде, а не тогда, когда он загорелся. Командир батальона и командир полка не поверили мне.

— Ну и что же?

— Пока отпустили.

— Значит, все-таки поверили?

— Комдив поверил. Доложили ему, а он говорит: «Приведите его ко мне». Привели. Стал расспрашивать, что я думаю о войне, как ее понимаю. Говорю все начистоту. И насчет городишка этого сказал: напрасно, мол, отступили. И насчет «окружения» — одна, дескать, паника. Не было, говорю, никакого окружения. Если же, мол, отступать, то втянуть бы фашистов в город и кровопускание им устроить. «Очень хорошо, что ты мыслящий,— сказал комдив.— Из тебя должен получиться хороший командир. Хочешь, дадим тебе роту?» А я ему: «В пехоте могу только рядовым».— «Но танка у меня нет, дружок». Дружком назвал. «Однако, говорит, я тебя запомню и запишу. Комбат и комполка требуют предать тебя суду трибунала. Я решительно против. А пока иди, сражайся!» И в звании пообещал восстановить. Распорядился сменить мне потрепанное мое обмундирование.

## 2

Дошли благополучно. Да, это была баня. Ершов сам полез на крышу и начал небольшим топором, данным ему командиром взвода, отдирать доски. Две доски удалось отодрать почти бесшумно. Третья поддавалась туго, гвозди как-то по-кошачьи взвизгивали. Ершов с такой силой потянул ее кверху, что она с громким треском надломилась.

— Эка силища-то у тебя,— негромко, но сердито заворчал стоявший внизу Скиба, принимая отломленную половину доски.— Этакую тесину сломив, як соломину!

Ершов притих. С правого берега послышалась прерывистая стрельба. По бревнам бани защелкали пули. Фашист, видимо, стрелял по слуху, но брал верное направление. «Откуда он? Из прибрежных кустов? Может, это ихний снайпер?»

Проворно спрыгнув, Ершов приказал бойцам стоять спокойно.

— Подождем, пока фашистский псих не угомонится,— пояснил он.

Скиба полушепотом возразил:

— Чего ждать? Перестреляют нас як перепелов.

— Без паники, боец Скиба,— твердым командирским тоном сказал Ершов.— Мы же за срубом... не перестреляют. Стоять и ждать!

Фашист стрелял с перерывами минут пять. Даст очередь — тра-тра-тра! — и замолкнет. Об стену, обращенную к реке, шмякались пули. Потом фашист затих. Выждав немного, Ершов снова взобрался на крышу. Отодрал две доски, сбросил вниз. Взялся за третью. Фашист опять застрочил. Ершов полушепотом пробормотал:

— Вот змей! Либо он видит меня?

И слез. Взял винтовку, стоявшую у стены, пока был на крыше. Прилег, стал следить из-за угла бани за вспышками выстрелов. Нестерпимая злость закипела в сердце: на своей земле приходится прятаться от какого-то гитлеровского ублюдка! Нацелился по еле заметным впотьмах кустам, в которых мелькали вспышки, выстрелил. Фашист замолчал. «Подбил я его, что ли?» Но вдруг затрещала очередь с другого места. «Ага! Прячешься, гнус!» И Ершов раз за разом разрядил всю обойму.

Незаметно подползший к нему Скиба хлопнул его по сапогу.

— Ершов! Ты с ума спятив!

Но Ершов с охотничьим азартом поспешно вложил новую обойму, готовый к поединку с невидимым врагом. С врагом, который нагло и коварно, не в бою, а как бы из-за угла, хочет убить его! «Посмотрим, кто кого!»

Скиба подполз слева к самому плечу Ершова и почти в ухо сдавленно прохрипел:

— Шо же ты робишь? Не велив же лейтенант стреляти.

И только теперь Ершов вдруг опамятовался: действительно, стрелять не велено. И начал потихоньку пятиться за стенку, к бойцам. Скиба, проворно обогнав его, пополз впереди. Приблизившись к бойцам, молча стоявшим на том же месте, оба встали.

— Ершов,— проговорил Скиба задыхающимся голосом,— треба двигать к своим, не то нимцы застигнуть нас туточки.

— Боишься плену? — негромко спросил Горелов.

— Боюсь,— откровенно сознался Скиба.

— Чудак! Чего его бояться, плену-то? — сказал Крючков громко, словно бы для того, чтобы его услышали на «том берегу».— В плен попадешь,— может, живым выберешься из этой чертовой заварухи.

— Как твоя фамилия? — сердито спросил Ершов.

— Зачем тебе моя фамилия?— огрызнулся Крючков.— Донести хочешь?

— Зачем доносить? Я и без доноса на первый раз могу морду тебе набить для вразумления.

Чернов негромко заметил:

— Крючков его фамилия. Слушай, Крючков! — обратился он к бойцу.— Мы с тобой на боевом задании... и за такие твои слова... дурацкие слова, тебе действительно нужно морду набить. Кто же воевать будет, если мы с тобой в плен подадимся?

— Да с чем воевать? — с жаром и опять громко возразил Крючков.— Ты же, Чернов, сам видал... у немца уйма техники всякой, оружия. Лупит он нас и с земли и с воздуха, в хвост и в гриву.

— Да ты кто такой? — возмущенно проговорил Ершов, надвигаясь на Крючкова.

— Я — рядовой боец... и уже повоевал... насмотрелся и натерпелся,— холодно и спокойно ответил Крючков.— А вот кто ты? Пороху еще не нюхал, уже командуешь, в начальники лезешь. Ты, Ершов, не ершись. Погоди, хватишь горячего до слез — другие песни запоешь.

— Не беспокойся, не запою! Но ты, Крючков, не красноар-

меец, а дерьмо собачье! Не воевал ты, а драпал! Ишь, в плен ему захотелось! Вот такие, как ты, и сдают фашистам города наши!

— Хватит вам спорить,— вмешался Скиба.— Ершов! Давай команду скорей до своих двигать.

— Как это двигать? — возразил Чернов.— Мы на прогулку, что ли, пришли! — и он быстро взобрался на крышу.

Отодрав семь досок, сбросил их и топор, сам слез, сказал:

— Вот теперь можно двигать! Забирайте доски,— обратился Чернов к бойцам.— На каждого по две.

Фашист больше не стрелял.

Ершов пустил всех впереди, а сам пошел «замыкающим», опасаясь, чтоб не отстал кто-нибудь. У каждого на одном плече были доски, на другом винтовка. Шли молча. Ершов думал: «Доложить командиру взвода о Крючкове или самому поговорить с ним посерьезней? Если доложить, то ведь и вправду вроде доноса получится, а Крючкова могут сильно наказать. Помолчу. Может, он сгоряча сболтнул». Дошли благополучно. К полночи бойцами взвода Снимщикова вся баня была разобрана до основания и перенесена к месту, где было отрыто углубление для блиндажа. И все было сделано спокойно, бесшумно. С немецкой стороны стрельбы больше не было, и Ершов даже подумал: «А может, я подстрелил все-таки фашистского поганца?» При этой мысли ему становилось немного легче, а нагоняй, полученный им от командира взвода за самовольную стрельбу, казался несправедливым. «Сказать об этом Снимщикову? Но чем докажешь, что ты действительно подстрелил гитлеровца?»

Когда строили блиндаж, Скиба временами бубнил:

— Хороши бревешки! У нас таких нема. Даже на хату не найдешь, а тут баня. Лесу уйма, вот и не жалеют. На баню-то можно было и похуже.

Горелов негромко, раздумчиво отзывался:

— Бревешки хороши! Дубовые! Крепче кирпича. Простого кирпича век — девяносто лет. А бане этой стоять бы лет сто, не меньше. Я знаю! Плотник я! И вот какая хреновина получается, дорогой ты мой Кузьма: строил я фермы, сараи, избы. Приходилось и бани. И все время строил! А тут ломаю, рушу, вековечную постройку рушу. А строю чего? Какую-то барсучью нору. Война! Спрашивается: какой черт их выдумал, войны-то? Зачем они?

— Не мы же начали,— сказал Скиба.

Горелов вздохнул:

— Так-то оно так, да нам-то с тобой от этого не легче.

## 3

Проснувшись ранним утром, Ершов некоторое время лежал неподвижно, смотрел на стены окопа, черные сверху, темно-желтые от глины снизу, на нишу, в которой лежали РГД, стояли противотанковые бутылки, на полоску пепельно-серого неба. И никак не мог прийти в себя. Слишком нереален был переход от сновидения к действительности. А приснились ему Наташа и дочка Катя. Дочку он нес на плече по берегу Приволья, а Наташа шла рядом. А на лугу белые цветы. И вот проснулся. Но это же была настоящая жизнь, а не сон! Сон — окоп, РГД, винтовка, бутылка с горючей жидкостью. И от этого сна не проснешься. Нет!

Протянул руку, пощупал шершавую, неровную стенку. С легким шорохом сыпанулась земля. Проснулся и Скиба.

Скиба протер крупными загорелыми кулаками глаза, приподнялся, хрипловатым спросонья голосом спросил:

— Не спишь, Василич?

— Не сплю,— ответил Ершов.— Сейчас встану, буду писать письма домой.

— Зачем писать? Тильки душу бередить... и родным и себе.

— Не надо бояться душу бередить. Они там ждут вестей от нас. Волнуются. Живы ли мы, здоровы ли? Вот мы и отпишем: живы, здоровы. Спим в окопах як сурки.

— Нельзя так писать,— сумрачно возразил Кузьма.— Не все ж будемо так спати.

Закончив письма Петру Филипповичу и Наташе, Ершов сложил листки треугольниками, написал адреса. Поднялся, выглянул из окопа.

— Ого! Смотри, Кузьма! — воскликнул Ершов.— Немцы-то совсем близко... окопы нарыли. Мы с тобой спали, а они подкрадывались к нам.

Скиба тоже встал. В самом деле, луг на том берегу был изрыт.

— А ты говорив, спим як сурки! — озабоченно сказал Скиба.— Похоже, отоспали. Фашисты зовсим рядом. Почнут теперь пулять по нас. У тебе ружье заряжено?

— Конечно,— ответил Ершов.— А у тебя?

— Да зарядив, но я ж давно стреляв из ёго.

— Ну, это очень просто.— Ершов взял свою винтовку, стал показывать: — Отпустишь предохранитель, потом нажмешь на спусковой крючок. Винтовка выстрелит. После выстрела потянешь на себя затвор. Пустой патрон вылетит сам

собой в сторону, а ты затвор вперед подашь, от себя, значит. Новый патрон войдет в ствол, тоже сам собой. Тогда опять нажимай спусковой крючок. И так, пока всю обойму не расстреляешь. В ней пять патронов. Ты это-то знаешь?

— Шо пять — знаю.

— Ты в армии служил?

— Так то ж давно. Рокив либо семь назад! Позабув кое-що. Та и служив бильш на кухни, дрова колов, за хлибом издив.

— Вояка! — насмешливо сказал Ершов.— Так бы в военкомате и заявил: я, мол, спец по кухонным делам. Тебя бы и направили в нестроевую.

— В нестроевую не хочу. Я же здоровый, як той бык. Це ж не мирно время, стыдно по кухонным делам. Нехай туда идуть, яки послабше.

То, что Скиба во время войны стыдился оказаться на кухне, располагало Ершова к нему, вызывало чувство симпатии, невзирая на его мешковатость, боевую неподготовленность и некоторые странности во взглядах на жизнь.

4

Было еще рано. Солнце только-только поднялось над лесом. В деревне, что позади наших окопов, кое-где струился из труб белесый жидкий дым. Над городом тоже поднимался дым, но погуще, а людей не слышно и не видно, и шума такого, какой был там с вечера, уже не доносилось оттуда. Похоже, немцы еще спали.

Вдруг справа кто-то из бойцов крикнул:

— Ребята! Немцы! С белой тряпкой!

Ершов и Скиба высунулись посмотреть. В самом деле, на том берегу реки стоял немец в серо-зеленом мундире, в таких же штанах, в черной каске, слегка сдвинутой на затылок. Освещенный утренним солнцем, он стоял, широко расставив длинные ноги в темных крагах. В одной руке его — белая тряпка. Бравировал он своею храбростью или был пьян?

— Чи с замирением вышел? — раздумчиво, как бы рассуждая сам с собой, проговорил негромко Скиба.

— Какое замирение? — спросил Ершов.

— Батько мой говорив, шо в ту войну братанье було... в гости друг к другу ходили.

«Ну и ну! Не воевать, а брататься собирается!» — озадаченно подумал Ершов. Сердито сказал:

— Теперь так не будет!

— Плохо, коли не будэ,— сумрачно проворчал Скиба.

— Смеется, гад поганый!! — громко выкрикнул тот же голос, который первым сообщил о появлении немца.

— Русь! Ходи сюда капуста кушайт,— насмешливо звал немец. Подняв правой рукой над своей темной каской зеленый лопушистый кочан капусты, в левой он продолжал держать белую тряпку, вяло помахивая ею.— Ты карош заец, Русь! Мы твой не может догоняйт. Тебе надо многа кушайт капуста. Ходи к нам, мы не будем стреляйт, мы будем твой угощайт!

Все, что фашист говорил на ломаном русском языке, было хорошо слышно. Кто-то слева громко возмущенно пробасил:

— Капустой, мерзавец, хочет кормить нас!

— Зайцами обзывает, мать его в душу,— выматерился Горелов, окоп которого находился слева от Ершова и Скибы.

— Чего задаешься, колбасник паршивый! — крикнул Чернов.— Погоди, мы тебе еще всыплем. Похлеще зайца будешь улепетывать! До Берлина догоним!

— Найн! Наш Берлин вы не бывайт. Мы ваш Москва забирайт.

— Поганец! — сквозь зубы процедил Ершов.— В Москву собрался!

Звякнув затвором, он прицелился. Невозможно было спокойно выносить бахвальство этого сытого, пьяного идиота (теперь уже ясно стало, что немец пьян). Учащенные толчки сердца распирали грудь, и руки слегка дрожали. Ершов с трудом поймал на мушку фашиста, нажал спусковой крючок. Щелкнул выстрел. Почти одновременно выстрелил и Чернов.

Выронив из рук кочан, немец качнулся и, взмахнув белой тряпкой, упал навзничь. «Кто же из нас его подстрелил? — подумал Ершов.— Скорей всего, Алексей Петрович. Я слишком волновался... Да не все ли равно кто! Больше не будут таких «парламентеров» посылать».

С того берега застрочил пулемет, разорвав окрестную, такую мирную, совсем не военную тишину. В звонком татаканье его чуялась угрожающая озлобленность. Над Ершовым тоненько запели пули. Он медленно опустился вниз, где уже сидел Скиба, присел рядом, криво усмехнулся:

— Видал, Кузьма, якой вин, нимец нынешний? Москву

собирается забрать. Нас с тобой зайцами считает. Капустой угощает! Да не своей, а нашей же капустой. Может, пойдем к нему в гости? Побратаемось?

Кузьма глухо отозвался:

— Шутковав вин. А теперь гляди як обозлился... из пулемета жарит. Вона як пульки вжикають! Не надо было трогать его!

Ершов растаращенными глазами обалдело уставился на него.

— Да ты что? — сердито заговорил он.— Дурачок? Или дурачком прикидываешься? Тут же война!

— Понимаю, шо война. Ну и бей, коли вин бье. А вин не трогае — и ты не тронь. Вин же без ружья, с билой тряпкой. Батько говорив, яки с билой тряпкой, тих убивать не треба.

— Черт знает что ты городишь, Кузьма! — возмутился Ершов.— Евангелист или баптист ты? Случаем, в секте какой-нибудь не состоишь?

Скиба совершенно серьезно ответил:

— Ни! В секте не состою. Православный я, крещеный.

— Ты же пойми, чудило гороховое: немец теперь совсем не тот, с которым наши батьки воевали. Он гитлеровцем стал. А Гитлер — это знаешь кто такой?

И Ершов произнес целую пропагандистскую речь. Скиба молчал, напряженно прислушиваясь, не начался ли бой, не пошли ли немцы в наступление. Пойдут — тогда не миновать биться, да, может, врукопашную, что особенно страшило его.

Но ни в тот раз, ни на второй день фашисты в наступление не пошли. На передовой всего полка и днем и ночью опять было тихо. Правда, кое-где иногда раздавались отдельные выстрелы, будто кто-нибудь охотился. Солдаты тихо жили мирной жизнью, подчас совсем забывая, что они на передовой линии.

## 5

С тех пор как Ивана Тугоухова назначили связным, весь день у него уходил на выполнение различных заданий. Он легко и быстро втянулся в этот труд, то и дело сновал по траншее туда-сюда, словно челнок в кроснах. Так как затишье пока не нарушалось, Иван частенько ходил по открытой местности в рост.

Иногда он забегал к Ершову — повидаться, покурить.

— По-дурацки я жил, Алеша,— однажды разоткровенничался он.— Мне бы отца послушаться да учиться. Очень ему хотелось, чтоб я высшее образование имел. А я гулял, охотился, рыбачил, за девками волочился. Сам не знал, куда себя девать. Наверно, плохо то, что я один у родителей. Получалось, как в той присказке: «Руки, ноги — на дороге, голова — в кусту... я у батюшки, у матушки дураком расту».

Ершов засмеялся:

— Сильна прибаутка. Но она, брат, и меня касается, хотя я рос без батюшки, без матушки. Насчет высшего образования мы с тобой, Иван, оба маху дали. Увы, запоздалая самокритика!

— Я ведь одно время хотел поступить,— продолжал Иван.— Экзамен было поехал сдавать... на физико-математический. Посмотрел программу всех пяти курсов — и волосы дыбом встали: чуть не полсотни предметов выучить за пять лет! А на что мне столько?! Я думал: раз физико-математический, то главным образом математика, физика, ну еще история, химия.

— А у тебя к чему больше склонность?

— Математику люблю. Физику тоже, но не так... Наверно, я в батю. Он все действия арифметики в уме решает.

— Это я знаю,— сказал Ершов.— Ну и что же? Экзамены ты выдержал?

— Нет. Не стал. Спросил ректора: можно, мол, учиться, чтоб не все предметы проходить, а только те, которые мне нужны и интересны? А он: «Молодой человек! Здесь университет, а не цирк!»

— Это ты огорошил ректора! — заметил Ершов с улыбкой.

— По глупости,— самокритично сказал Иван.— Но кончится война,— все равно поступлю я на этот физико-математический. Теперь меня не испугают и сто предметов.

На прощанье Ершов предупредил Ивана:

— Ты, Ваня, не форси. Видал я, как во весь рост идешь. Зачем? Это же фронт. Сейчас ни звука, а через минуту какой-нибудь сумасшедший фашист возьмет для-ради забавы и пульнет. Лучше ползай. Не жалей казенных штанов и гимнастерки... и не ленись, если хочешь на физико-математический.

— Не в гимнастерке дело и... не в лени,— добродушно улыбался Иван, сверкая крупными белыми зубами.— Не рожден я ползать! Натура протестует.

## 6

А в десять утра того же дня, на глазах почти всего взвода, немецкий снайпер убил Ивана Тугоухова, несмотря на то что на этот раз, по совету Ершова и Снимщикова, Иван не в рост шел, а полз по-пластунски. Он полз из первого взвода на батальонный КП. Но потом — то ли заспешил, то ли надоело ползти — вдруг встал и побежал. В этот момент и остановила его вражеская пуля. Взмахнув руками, Иван зашатался, повернулся лицом туда, откуда в него стрельнул враг. Видимо, он вскрикнул или хотел крикнуть что-то.

Произошло это позади наших окопов, на отлогом склоне, великолепно видном и нашим и немцам. Ивана знал уже весь взвод, он часто заходил в то или иное отделение, делился новостями. И его любили за веселый нрав, за добродушие, за постоянную готовность выполнить любую просьбу, любое поручение бойца: достать бумаги, карандаш, спичек, табаку, отнести письмо в полевую почту.

Когда Иван пополз, некоторые бойцы, слегка высунувшись из окопов, следили за ним и восхищались его ловкостью, силой и быстротой, с какими он проворной ящеркой устремился по огородам, маскируясь за картофельной ботвой, чуть шевелившейся там, где он проползал.

Ершов тоже видел, как подстрелили Ивана. Он схватился за винтовку. Но куда стрелять? В немецких окопах тихо. Не заметил он и места, откуда стрелял снайпер, потому что следил за Иваном.

Часа два спустя Ершов немного успокоился, и его вдруг потянуло выразить в стихах свои мысли и чувства. Погиб молодой чудесный парень, еще не живший, но обещавший стать очень полезным народу, хорошим советским человеком. Погиб не в боях, а от злодейской пули коварного фашиста, который стрелял в человека, словно в куропатку, ради забавы. Злобный и подлый трус! Зачем ты пришел на нашу мирную землю? Так знай же: не будет тебе пощады от нас.

Хотелось страстными, мощными словами изобразить свою боль за товарища и ненависть к врагу, хотелось написать стихотворение, подобное тому, какое он написал когда-то на Дальнем Востоке.

Вынул из вещмешка тетрадку, сложенную вдвое, карандаш. Но нужных выразительных слов не находилось и рифма, «звучная подруга», не шла на ум. В воображении неотступно

стояло, как подстреленный Иван рухнул на землю, и все слова казались слабыми и беспомощными, сами собой сжимались кулаки. Будь возможно, он встал бы и пошел во вражеские окопы и там схватил бы за грудки мерзавца снайпера и кулаками, именно кулаками избил бы его до смерти.

«Нет! Не рожден я «глаголом жечь сердца людей». И перо мое штыка не может заменить».

Сложил опять тетрадку вдвое, сунул вместе с карандашом в вещмешок. Но сидеть спокойно не мог. Пошел к командиру отделения.

— Товарищ Миронов! Разрешите завтра спозаранку засесть в передних окопах. Там, кроме охранения, никого пока нету.

Миронов удивленно посмотрел на него:

— Зачем?

— Буду караулить и убивать фашистов... за Ивана.

— С простой винтовкой?

— Ну, давайте снайперскую. Снайпером я не был, но обращаться с нею умею.

— Снайперскую хорошо бы,— сказал Миронов.— Между прочим, у нашего командира Снимщикова есть одна. Я просил — не дал. Снайпера ищет. Попроси, когда пойдете хоронить Ивана.

Под вечер Ершов и Скиба вместе с командиром взвода Снимщиковым пошли хоронить Ивана, об особых похоронах которого было дано распоряжение командиром роты. Втроем они вырыли неглубокую могилу в церковной ограде, рядом с могилой, на которой лежала гранитная плита какому-то дьякону Боголепову, родившемуся в 1842 году и в «бозе почившему» в лето 1919-го, июля 10-го. Между могилой дьякона и могилой красноармейца Тугоухова Ивана стояла высокая разлапистая рябина с большими кистями золотисто-желтых ягод.

Лейтенант хотел похоронить Ивана в плащ-палатке, но Скиба сказал, что плащ-палатку жалко, она же совсем новенькая, да и не по-людски этак закапывать человека: нужен гроб.

Скиба видел тогда первого убитого на войне, не знал и не представлял он, что впоследствии привыкнет хоронить погибших товарищей не только в плащ-палатке, но в одних гимнастерках и без всяких гробов.

Во дворе старенькой одноэтажной школы-семилетки, находившейся против церкви, на другой стороне улицы, они

нашли посеревшие от дождей и времени доски, надергали из забора гвоздей и, сняв мерку с Ивана, лежавшего на примятой зеленой траве, сколотили довольно просторный гроб. Правда, доски были необтесанные, но некогда было и нечем их обтесывать. Положили Ивана во всем том, в чем он был убит: в защитного цвета гимнастерке, сильно протертой на локтях и на животе при ползании по-пластунски, с темными пятнами крови на спине и груди, в штанах с дырами на коленках, в новенькой пилотке, которую Иван почти не носил, ввиду теплой погоды, и в кирзовых сапогах, насчет которых получилась небольшая странность: они были еще крепкие и понравились Скибе. Он попросил Снимщикова разрешить обменять их на его, Скибы, ботинки. Сапоги, мол, хорошие, жалко их в землю зарывать, а ботинки старенькие, того гляди подметки оторвутся, к тому же надоело с обмотками возиться.

Лейтенант поначалу рассердился: с убитого товарища снимать сапоги? Это же мародерство! И Ершов упрекнул Скибу: православный, в бога верует, а бойца хочет босым отправить на тот свет.

— И зовсим не босым... я же его в свои ботинки обую - сказал Скиба.

Тогда Снимщиков махнул рукой:

— Меняй, да поживей.

Ершов поглядел на обтерханные, старые ботинки Скибы, потом на сапоги Ивана: разница была разительная. Но тут же заметил: в ступне сапоги гораздо меньше ботинок.

— Не выйдет, Кузьма. У Ивана нога человечья, а у тебя слоновья.

Кузьма сломал веточку сирени, смерил свои ботинки и сапоги Ивана. Разочарованно почесал затылок:

— Видно, правда твоя, Василич... маловаты мне Ивановы сапоги.

А Ершов долго стоял неподвижно возле безжизненного тела земляка, пристально вглядываясь в знакомое лицо, ставшее теперь как бы совсем иным. Смуглое, загорелое, оно лимонно пожелтело, прикрытые пальцами Скибы веки и плотно сжатые губы посинели. Только волосы какими были черными, такими и остались как у живого, а возле ушей, уже отросшие после стрижки первых дней мобилизации, немного кудрявились. «Был парень бодрый, сильный, собирался математику изучать и... вот нет его! В одно мгновение не стало... от какого-то малюсенького кусочка металла. Какая нелепость!»

Руки Ивана лейтенант Снимщиков хотел вытянуть по швам: он же боец, а не старуха какая-нибудь. Но Скиба авторитетно заявил: мертвому так не полагается. И при молчаливом согласии лейтенанта сложил руки Ивана на груди крест-накрест. Когда закопали гроб, дали три залпа из двух винтовок и одного пистолета. Так распорядился командир роты Новиков.

На могиле поставили березовый неотесанный столб с прибитой ржавыми гвоздями сосновой дощечкой, на которой Ершов химическим фиолетовым карандашом тщательно, крупными печатными буквами написал имя, отчество, место и время рождения бойца, погибшего «геройской смертью от злодейской пули фашиста 18 июля 1941 года». Внизу таким же шрифтом Ершов добавил: «Мы отомстим за тебя, Иван Демьянович!»

При возвращении в свои окопы Ершов думал: «Что я напишу Демьяну Фомичу, матери, невесте Ивана? Давно ли мы с ним писали домой, что живы, здоровы! Прав, наверно, Скиба: нельзя так писать отсюда!»

Снимщиков, видимо, заметил переживания и настроение Ершова.

— Тугоухов — родня тебе? — спросил он.

Ершов тихо ответил:

— Земляк.

— Отец, мать у него есть?

— Есть.

— А невеста?

— И невеста есть.

— Жалко тебе Ивана?

— Очень.

— Мне тоже. Если в бою гибнет боец — жалко, но не так. Бой есть бой... сражение... азарт. А когда вот этак, как Иван... Ну, да что теперь! Ты давай-ка зайди ко мне. Напишем письмо его родителям.

И Скиба дальше пошел один, а Ершов завернул в блиндаж командира взвода. Он сам принимал участие в строительстве этого блиндажа, но в отстроенном был впервые. Когда по четырем высоким ступеням сошли вниз, Снимщиков зажигалкой засветил толстую длинную свечку, стоявшую на небольшом столике. У стен — доски, вроде нар, на них настлано сено, видимо, принесенное из села. Возле столика — три табуретки. Примитивный, пещерный уют, но все же Ершову показалось, что в блиндаже во много раз лучше, нежели в окопе.

— Садись! — сказал Снимщиков, кладя на столик большой блокнот и карандаш.

И они сочинили такое письмо:

«Дорогие Демьян Фомич и Акулина Власьевна!

С душевной болью сообщаем вам, что сын ваш Иван Демьянович Тугоухов 18 июля 1941 года погиб геройской смертью при исполнении своих солдатских обязанностей. Иван Демьянович был прекрасным бойцом, горячо любил свою Родину, Коммунистическую партию, Советскую власть и вас, своих бесценных родителей. Фашистская пуля сразила его.

Вся наша воинская часть скорбит над прахом юного героя и клянется мстить за безвременную гибель Ивана Демьяновича Тугоухова фашистским извергам до последней капли крови.

Похоронен Иван Демьянович в селе Милославском, Смоленской области, на церковном кладбище, рядом с могилой дьякона Боголепова, к востоку от последнего. На могиле дьякона есть каменная плита с надписью.

Командир взвода Н-ской части Ан. Снимщиков.

Красноармеец А. Ершов».

В сущности, письмо сочинил Снимщиков. Ершов просто писал под его диктовку. И хотя с некоторыми словами и отдельными выражениями был не согласен — казалось, надо было попроще и покороче,— сразу замечаний делать не стал и стиль подправлять не осмелился. «Сказано все, что надо сказать... и что можно сказать в таком письме...» Однако, подумав, все же не утерпел, возразил:

— Зачем же моя подпись? Я же не командир. И что рядом с дьяконом похоронен... как-то неловко даже звучит. Подумаешь, честь какая!

Снимщиков спокойно разъяснил:

— Твоя подпись затем, что ты участвовал в похоронах... что тебя знают родители Ивана. Для достоверности, так сказать. Ну, а насчет дьякона — ты, Ершов, просто недогадлив. Представь себе, родители Ивана захотят побывать на могиле сына. Не сейчас, конечно, а когда мы фашистов прогоним. Как им могилу найти? А на Боголепове, видал, каменная плита, и с надписью. Получается почти точный ориентир. А столб-то наш с тобой примета ненадежная... Начнутся бои или еще что-либо... Плита же дьякона вряд ли с места сдвинется. Разве только в случае прямого попадания снаряда. Но будем надеяться, и дьякона и Ивана нашего обойдет такая беда. Понял?

Доводы лейтенанта были неотразимы, возразить нечего было. Ершов только подивился предусмотрительности командира и упрек в недогадливости принял с молчаливым согласием и смирением. Он, Ершов, даже и не подумал, что родители Ивана могут приехать сюда, на могилу сына. А ведь вполне возможно, что и приедут когда-нибудь. Один у них Иван-то.

Ершов запечатал письмо в большой хороший конверт, данный ему Снимщиковым, спросил:

— Куда его?

— Пусть лежит, сам снесу. Мне сейчас все равно в штаб идти,— сказал Снимщиков. Помолчав, он добавил: — А невесте ты сам напиши... так сказать, особо. Да получше, потеплей. Посочувствуй ей и тому подобное... Словом, по-человечески напиши. Не мне учить тебя. Слыхал я — ты ведь из писучих... стихи даже сочинять умеешь. Это же мы с тобой написали официальную бумагу.

«Где и когда он узнал о стихах? - удивился было Ершов, но тут же спохватился — От Ивана!»

Слушаюсь, сказал он, довольный и тем, что командир взвода, похоже, и сам сознает слабость своего письма, и тем, что так просто и откровенно разговаривал с ним. Значит, мы уже в Смоленской области? — спросил он, потому что до сих пор не знал в точности, где расположен их полк.

Да, дорогой Ершов! — мягко и как бы раздумчиво ответил лейтенант. Немного погодя сокрушенно добавил: Я ведь предупреждал Тугоухова: ползи, пока за пригорком не скроешься. Погорячился парень!

— И я предупреждал,— сказал Ершов.— Самолюбивый он... возмущался, что ползти приходится на своей земле. Не рожден, дескать, он ползать.

— Самолюбие и возмущение — вещи хорошие, но на войне их мало... рассудок нужен, дорогой Ершов.

Характер и тон разговора его с лейтенантом воодушевил Ершова, и он отважился попросить снайперскую винтовку.

— Слыхал я — есть у вас одна.

— А тебе зачем?

— Хочу фашистов бить... выслеживать и убивать... за Ивана!

Снимщиков нахмурил широкие черные брови.

— Вообще-то неплохо,— проговорил он.— Чувство твое одобряю. Бить их надо всеми средствами и способами...

Какого черта им нужно от нас? На рядовых немцев зло берет. Зачем они так послушно прут на нас? Неужели они не понимают, что они игрушка в руках Гитлера и империалистов? Бить обязательно надо! Другого способа урезонить их теперь уже нет. Но ты-то ведь не снайпер. Мне позавчера дали винтовку для того, чтобы я выявил снайпера... ну, из тех, которые в финскую воевали... снайперами были. Пока не нашел. А дать тебе — не снайперу... я уж и не знаю... Доложить ротному?

— Товарищ лейтенант! Я смогу, хоть и не снайпер,— сказал Ершов.— Мне на Дальнем Востоке приходилось дело с ней иметь. Я сумею.

Неожиданно Снимщиков сдался и вручил Ершову снайперскую винтовку, оставив у себя его трехлинейную старого образца как бы в залог.

— Мало чего может случиться,— говорил Снимщиков в оправдание, что лишил бойца его собственной винтовки.— А эту даю тебе на денек. На пробу, так сказать. Заладится — тогда поговорим с командиром роты. Может, за тобой и закрепим ее.

## 7

Утром следующего дня Ершов и Скиба поползли к передней, все еще пустой траншее, кривая которой змейкой пролегала возле того места, где недавно стояла баня,— метрах в восьмидесяти от их взвода и около двадцати — от реки.

Скиба не по своей охоте пошел с Ершовым: послал лейтенант Снимщиков, приказав: в случае «чего-либо такого», он, Скиба, обязан спасать не только снайпера, а и винтовку. Точно так же обязан был поступать и сам снайпер, то есть спасать и винтовку и Скибу, своего помощника в данном случае.

Когда ползли, Скиба несколько раз ворчливо повторял:

— Який же ты беспокойный, Ершов! И зачем затияв цю канитель?

Ползти им приказал командир взвода: хотя еще темно — рисковать не надо. И они ползли. Кузьма с непривычки пыхтел, сопел, раза два просил передышки. Но все же добрались до места затемно. Бойцы охранения, сидевшие в передней траншее, были предупреждены о направлении к ним двух человек. Но все же, когда Скиба и Ершов появились, их спросили, кто они и зачем сюда приползли.

Было совсем еще рано, и Ершов со Скибой, приспособившись, немного подремали. Проснулись, когда солнышко взошло.

Впереди, слева от них, не очень далеко, стояла белая громада высокой, обширной церкви. «Вероятно, собор какой-нибудь, вроде нашего Митрофаниевского»,— подумал Ершов. Большая церковь эта была не просто белая, а именно белокаменная, чистая, видимо, недавно побеленная. Раньше Ершов как-то не обращал на нее внимания, а теперь, вроде от нечего делать, стал рассматривать. Солидное, наверно, древнее сооружение. Старинный русский город — и в нем немцы! Чудовищно! Вокруг церкви теснились маленькие одноэтажные о трех, четырех окнах домики. В стеклах некоторых окон сияло солнце. Тихая, мирная картина. «И очень все похоже на наш город!» — думал Ершов, вспомнив вдруг речку, в которой купался с редактором Лубковым. Давно ли это было?

Сделав лопаткой углубление в бруствере, Ершов приспособил винтовку с оптическим прицелом, припав к нему взглядом, стал изучать местность. Медленно обводил чудесно приблизившийся берег реки с желтеющими бугорками глины на лугу вблизи него. Это неприятельские окопы. В них прижухли, а может, еще беспечно дрыхнут фашисты.

«Прав Чернов. Ночью бы двинуть на тот берег. Они же, сволочи, чувствуют себя победителями. И в ус не дуют, спят как дома, не думают даже, что мы можем напасть на них».

Да. На верху неприятельских окопов пока ни души. Но вдруг Ершов отчетливо увидел неглубокий, узкий ход сообщения к дзоту, замаскированному ветками, не успевшими еще завянуть. Наверно, только вечером или ночью сегодня замаскировали. Кто-то обязательно тут должен пройти. Ладно. А куда ведет вот этот коротенький ровчик? Непонятно. Куда-то в невысокие кусты ивняка. А что там в кустах? Может, уже сидит снайпер, убивший Ивана? Выжидает теперь, кого бы еще из наших поймать на мушку? Но вряд ли. Слишком открытая позиция для снайпера. А что означают эти едва заметные комья глины спереди окопов, вблизи кустов? Уж не ячейка ли для ночного охранения, откуда стрелял по нас автоматчик, когда мы баню разбирали?

— Нимцы сено тащат,— тихо проговорил Скиба, тоже смотревший на противоположный берег.

Действительно, по лугу от города двигалось несколько

фигурок. Ершов прикинул простым глазом: метров восемьсот. Далековато. Навел оптический прицел. В него вместилось четыре фигуры в сером с охапками сена. Пока соображал, не пальнуть ли по ним, они неожиданно скрылись. Вроде бы в какую-то яму. Перевел прицел снова на окопы.

Скиба полушепотом сказал:

— Показався кто-сь!

И Ершов увидел, как, выскочив из окопа, по коротенькому ровчику шмыгнул, как мышь, один фашист. Шмыгнул так быстро, что Ершов и моргнуть не успел.

— Черт возьми,— с досадой проворчал он, всматриваясь в кусты.— Опять упустил. Но что же там такое, в кустах этих?

Как бы поднесенные к глазу, ясно видны были до самого листочка ветки ивняка. Почему-то они потихоньку шевелились, тогда как соседние с ними казались застывшими, словно неживые. Вгляделся пристальней. За шевелившимися ветками что-то белело. Кусты вдруг покачнулись посильней, и теперь Ершов отлично увидел присевшую на корточки человеческую фигуру. Повел стволом. Фигура почти полностью вместилась в ширину прицела. Затаив дыхание, нажал спуск. В горячке звука выстрела почти не расслышал. Фашист сунулся из кустов головой вперед, перевалился через бугорок и замер с оголенным задом в нелепой позе.

Кузьма сдержанно засмеялся.

— Та це ж у них уборна там. Вин же по нужди ходыв,— бормотал он сквозь смех.— Вот те и сходыв до витру. Вин же, нимець, чистоплотный дюже, батько мени говорив. Эгешь, уборну сдилав де! Подале от окопов, шобы не воняло. Ну, мы не дамо им туда ходыти, нехай в окопах оправляются.

После убийства Ивана Тугоухова, которого за короткое время успел полюбить, Скиба сильно переменился, и миролюбие его основательно пошатнулось. Убийство Ивана он считал злым и несправедливым. Одно дело — в бою, а то как-то крадучись, исподтишка. Поэтому намерение Ершова мстить за Ивана в принципе он не отвергал. А неохотно пошел с ним из боязни, как бы чего не вышло: передняя-то траншея совсем недалеко от немцев!

Поэтому же и к подстреленному Ершовым немцу он никакой жалости не испытывал, наоборот, его охватило чувство злорадства — чувство для него новое, которое ему в своей жизни не приходилось переживать.

Вдруг пулеметная струя резанула сбоку по брустверу, подняв легкую пыль,— резанула так близко, что чуть не задела локоть правой руки Кузьмы, и он мгновенно нырнул вниз.

Ершов сказал:

— Заметили, гадюки! — И, не сдержав любопытства, хотел высунуться из окопа.

Кузьма схватил его за полу гимнастерки и так потянул, что Ершов еле устоял на ногах.

— Куда тебя нелегкая несеть! — сердито заругался Кузьма.— Вин же пристрелит тебя, як Ивана. А мини волочь тоди и тебя и тыи винтовки.

Оба присели. Ершову вдруг по-страшному захотелось курить. Он сделал самокрутку, поджег ее спичкой. Дым разгонял обеими руками, чтобы фашисту не видно было, где они со Скибой сидят.

— Гарно ты шмякнув его,— с усмешкой проговорил Кузьма.— Аж вин так и сунулся носом в землю... и зад голый! Это ему за Ивана! В самый горячий момент прихватив ты цего фашиста! Гарно! — повторил Кузьма и закрутил головой от удовольствия.— С голым задом явится вин к богу своему. Якой у них бог? Як у православных чи другой?

— Почти такой,— ответил Ершов.— У них тоже Христос.

— Христос же не вилив воевати, а воны воюють.

— Христос не велел, а люди после него почти две тысячи лет уже воюют. Тут, брат Кузьма, дело не в Христе и не в религии.

Стрелять больше не пришлось — не в кого было.

В свой окоп Ершов и Скиба вернулись к десяти утра, как было приказано командиром взвода. И вернулись вполне благополучно, хотя ползли обратно не впотьмах и по открытой местности. Снайперскую винтовку Ершов тотчас сдал Снимщикову, взял у него свою, рассказав, как ему удалось отправить на тот свет одного фашиста.

— Отлично,— сказал Снимщиков.— Хоть одним фашистом меньше, и то хорошо. На счету нашего взвода уже два убитых, пока стоим тут. И оба твои, Ершов. Доложу командиру роты и попрошу, чтоб за тобой закрепить снайперскую.

— Первого, по-моему, не я,— сказал Ершов.— Первого Чернов. А насчет снайперской — на время я не прочь, но насовсем — не надо. Мне бы пулемет. Начнутся бои, что я буду делать со снайперской? Я же пулеметчик.

— Насчет пулемета — не знаю,— сказал Снимщиков.

Но командир взвода знал: надо было поговорить с ротным и направить Ершова в пулеметную роту. Делать же этого не хотелось: жалко было расставаться с таким активным бойцом, как Ершов.

И, помолчав, он добавил:

— Пулеметный взвод у нас есть, но он укомплектован.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### 1

Часа в четыре пополудни Миронов предупредил:

— Командующий армией! Скажу «смирно» — в траншею и чтоб в струнку! А ты, Чернов, придержи язык. Командир роты приказал предупредить тебя.

И ушел. Но минуты две спустя раздалась негромкая команда снова появившегося Миронова:

— Смирно!

Ершов, Скиба и Чернов вошли в траншею.

— Здравствуйте, товарищи! — подойдя к ним, негромко произнес пожилой генерал с двумя звездочками на отворотах кителя. Голос у него был ядреный, басовитый, не соответствующий его сухощавой фигуре и невысокому росту.

Сзади за генералом теснились командир дивизии, командиры полка, батальонов и другие.

Вытянув руки по швам и глядя в худощавое, с глубокими впадинами лицо генерала, бойцы ответили дружной скороговоркой, как полагалось по уставу. Ершову всем своим обликом и внешним видом командарм показался чуточку похожим на Суворова, портрет которого запомнился ему по гравюре в толстой исторической книге из библиотеки помещика Шевлягина.

Командарм с улыбкой сказал:

— Вольно, товарищи красноармейцы! Какие дела у вас тут?

— В обороне сидим, товарищ командарм! — ответил Чернов.

— Хорошо это или плохо, что в обороне? Ведь до сих пор мы с вами больше отступали, а теперь остановились и... в обороне!

— Плохо, что в обороне,— опять за всех ответил Чернов.

Миронов, стоявший сбоку, немного поодаль от бойцов, весь побагровел, свирепо глядя на Чернова. Несмотря на предупреждение, этот разжалованный бывший лейтенант мелет генералу бог знает что!

Командарм тоже удивленно вскинул слегка голову, пристально, с интересом стал всматриваться в Чернова.

— Почему же плохо? Разве отступать лучше? — сурово спросил он.

— Наступать лучше,— убежденно и смело ответил Чернов.— Еще старик Клаузевиц писал, что «дух обороняющейся армии подобен кинжалу, ржавеющему в ножнах».

Командарм вдруг круто повернулся к командиру дивизии, тоже генералу с двумя звездочками, и, подняв короткий указательный палец свой, рокочущим басом, будто продолжая спор или недавний разговор назидательно сказал:

— Видали? Я разве не прав? Рядовой боец знает Клаузевица.— Лицо командарма засветилось довольной, веселой улыбкой.— Разве такую армию можно победить? Чтобы такую армию победить, надо всю ее уничтожить. Но это невозможно, пока жив народ. Культурный уровень нашей армии в десять раз выше гитлеровской.

Командир дивизии взял под козырек.

— Товарищ командующий,— сказал он,— это тот самый Чернов, о котором я вам докладывал. Бывший командир танка. Разжалованный.

— Лейтенант Чернов? — воскликнул командарм не то удивленно, не то обрадованно, ничуть не смутившись тем, что он офицера принял за рядового.— Наслышан о вас. Вы, очевидно, военное училище окончили, потому и Клаузевица знаете?

— Сталинградское танковое! — вытянувшись, ответил Чернов.

— А Клаузевица по ленинским работам? — спросил командарм.

— Самого читал, товарищ командующий. Но не в переводах, а на немецком языке.

— Вы или не запомнили, или неточно перевели,— усмехнулся командарм.— У Клаузевица: «Дух бездействующей армии», а не «обороняющейся». Бездействующая и обороняющаяся — не одно и то же. Вы правы,— обратился командующий к командиру, кивнув в сторону Чернова.— Его надо взять отсюда. Пусть пока при вашем штабе побудет... поможет вам пленных допрашивать. А дальше посмотрим.

Вы прилично знаете немецкий? — снова обратился он к Чернову.

— Хуже чем посредственно,— сказал Чернов.— Вы же сами убедились. Клаузевица я исказил.

Командарм вдруг басовито засмеялся, сверкая сталью трех вставных верхних зубов.

— Ну, это вы, голубчик, бросьте! — сказал он сквозь смех.— Подозреваю, что Клаузевица вы перефразировали не без умысла. Уязвить хотели командарма, который все время отступал, а теперь рад, что в обороне сидит. Так ведь? — Командарм хитро прищурился, сняв фуражку и проводя ладонью по седеющему бобрику крупной продолговатой головы.

Стоявший все время на своем месте Миронов со страхом и жалостью посмотрел на Чернова. «Разгадал его командарм. Ой, что же теперь будет?» — подумал он.

А Чернов с какой-то отчаянностью в голосе выпалил:

— Так точно, товарищ командующий! Хотел уязвить!

Командарм перестал смеяться, надел фуражку, серьезно сказал:

— Благодарю за прямоту и откровенность, товарищ старший лейтенант!

— Рядовой я, товарищ командующий,— поправил Чернов командарма.

— Знаю, все знаю,— качнув головой, сказал командарм.— Но с этого дня вам будет присвоено звание старшего лейтенанта, товарищ Чернов... За то, что вы не растерялись, вынесли из горящего танка своего убитого водителя. Что касается Клаузевица, то к нему мы с вами должны относиться критически. Ну, хотя бы так, как относился Лев Николаевич Толстой. Надеюсь, «Войну и мир» читали?

— Так точно, читал.

— Так вот, там прусский генерал Пфуль выведен. Помните? Не кажется ли вам, что не столько Пфуля этого высмеял Лев Николаевич, сколько вообще военную теорию немцев, и в особенности теорию Клаузевица. Согласны?

— Такая мысль не приходила в голову, товарищ командующий,— сознался Чернов.

— Клаузевиц, конечно, не глупый был немец,— криво улыбнулся генерал, обращаясь теперь уже ко всем его сопровождавшим, беспорядочно сгрудившимся в траншее.— Однако, как и многие, не только его современники, а и последующие, смысла нашей первой Отечественной войны не уразумел или не захотел уразуметь. Клаузевиц же этот

до того дописался, что будто Наполеона разгромили не мы, русские, а они, немцы! Смехотворно! И Клаузевицу, и Бисмарку, и Людендорфу, и Гинденбургу, и Гофману думалось, а теперь и Гитлеру думается, что они все гениальные полководцы, а немцы самый храбрый на всей земле народ! Нездоровое заблуждение вояк, которые желаемое принимают за сущее, за действительность! Русские прусских всегда бивали! — гулко возвысил голос командарм.— И в этой войне мы их обязательно побьем... и не только побьем, но и проучим как следует, чтобы у них навсегда отпала охота к войнам и грабежам. Мы отступали пока. Это временно. Не надо падать духом, товарищи! Красная Армия крепнет с каждым днем. В нее все больше вливается свежих сил из народа. Невзирая на потери, она растет морально, политически и количественно. Да, да! И количественно. Силы наши неисчислимы. Крепнет боевой дух армии. А главное — в ней вызревают и ширятся презрение и ненависть к новоявленным гуннам. В каждом бойце нашем закипает злоба к фашистам за убитых друзей, товарищей, родных.— Командарм вдруг пристально посмотрел на стоявших перед ним бойцов.— Кто из вас Ершов?

Ершов выдвинулся на шаг вперед.

— Я Ершов! — спокойно и негромко сказал он, теряясь в догадках, зачем он понадобился командарму.

— Мне доложено,— сказал командарм,— что вы подстрелили двух фашистов.

— Одного, товарищ командующий,— проговорил Ершов, подумав: «Вон в чем дело. Уже доложено. Снимщиков, наверно. Когда же он успел о сегодняшнем-то?»

— Мне известно, что двух,— продолжал командующий.— Одного парламентера, который хотел капустой бойцов кормить.

— Разрешите, товарищ командующий,— прервал его Ершов.

— В чем дело? — видно недовольный, что его перебивают, отрывисто проговорил командарм.

— Не я убил парламентера с капустой, а товарищ Чернов.

— Ну хорошо,— уже потише и помягче сказал командарм.— После разберемся. Мне доложено также, что второго фашиста вы, Ершов, убили из мести за товарища. Великолепный поступок, достойный подражания и награды. Полковник Берестов, прошу!

Из группы сопровождавших командарма вышел ниже

среднего роста плотный человек с четырьмя шпалами на воротнике гимнастерки. Подойдя к Ершову, стоявшему немного впереди Чернова и Скибы, он стал прикреплять на левую сторону груди бойца светлую медаль, слегка блеснувшую на солнце. Так как Ершов был очень высокого роста, то полковнику пришлось не только задрать руки, но и слегка привстать на цыпочки.

Прикрепив медаль, полковник Берестов отступил на шаг от Ершова и торжественно произнес:

— Боец Ершов! Командованием армии вы награждены медалью «За отвагу» за проявленные вами храбрость и мужество!

Ершов впервые процедуру награждения переживал лично. Награда эта взволновала его, но он немного растерялся и не знал, как вести себя и что сказать. После небольшой, очень короткой паузы, самому ему показавшейся чрезмерно длинной, он, глядя на командарма, сказал:

— Благодарю, товарищ командующий! Служу Советской власти, советскому народу!

— Может, вы снайпером хотели бы стать? — спросил командарм.

— Снайпером не могу, товарищ командующий. Терпенья не хватит выслеживать. Хочется не по одному, а кучно... в бою. Из пулемета, например.

— Желание похвальное! — довольным голосом пророкотал командарм.

— Но в нашем взводе ни одного пулемета, а пулеметный взвод укомплектован. Так говорит командир нашего взвода.

— Учтем! — сказал командарм.— Полковник! Запишите и распорядитесь: один пулемет «максим» этому взводу. Ну, а как тут немец капустой вас угощал? Зайцами обзывал, Москву грозился забрать. Это верно?

— Так точно,— сказал Чернов.

— Ослы они, фашисты! Опьянели от побед на Западе и спьяну львов начали принимать за зайцев. Мы им покажем, какие мы зайцы. Не за горами время, когда мы их русским луком с горчицей накормим. До отвала накормим. Кровавыми слезами заплачут они вместе с Гитлером своим от нашего угощения... и улепетывать будут пошвыдче зайцев в свой фатерлянд. До свидания, товарищи! Боевых успехов вам!

Командарм козырнул и, круто повернувшись, быстро двинулся дальше. Командиры — за ним.

## 2

Красноармейцы с минуту стояли молча. Встреча с командующим армией произвела на них сильное и благоприятное впечатление. Командарм явно всем понравился. Ершов думал: «Чапаевской складки командарм этот. В гражданскую, наверно, вместе с Фрунзе, Ворошиловым белогвардейцев бил!» Он забыл, что поначалу сравнивал командарма с Суворовым, а вернее, сравнение это теперь показалось несколько отвлеченным, сравнение же с командирами гражданской войны было и уму и сердцу ближе.

Обращаясь к Скибе, Ершов после небольшой паузы сказал:

— А ты, Кузьма, говорил, что теперь нет таких полководцев у нас, как Александр Невский. Видал, каков наш командующий! Он посильней Невского.

— Насчет посильней — не знаю. Но тот же, ты говорил, сам сражался рядом с воинами, а цей, поди, километра за два будэ от позиции.

Чернов иронически усмехнулся:

— Ну, ты, Скиба, и чудак! По-твоему что же, командующий должен сидеть в окопе, рядом с тобой?

— Не то шобы рядом, а поблизости,— серьезно сказал Скиба.

— Поблизости нам с тобой хватит сержанта и лейтенанта. Командующий целой армией командует. Не может он управлять ею из твоего окопа.

— Та хиба ж я зовсим дурной,— возразил Скиба.— Очень даже хорошо разумию, шо генерал не може в окопи сидеты.

Все трое присели в траншее. Чернов и Ершов стали закуривать. Слышно было — поблизости разговаривали. Видимо, обсуждали встречу с командующим.

Закурив, Чернов вздохнул и заговорил:

— Да! Генерал неплохой. И все, что он говорил,— правильно: отступаем временно. А почему отступаем? Почему не наступаем, как собирались?

К ним подошел Миронов, уходивший в «хвосте» сопровождающих командарма.

— Чернов! — сказал он.— Опять ты тут агитацию разводишь? Ведь это надо — генералу прямо в глаза: «Уязвить я вас хотел!» С глузду съехал! Вот они тебе покажут уязвление! В штаб дивизии тебя зовут. Топай-ка поскорей со всем своим снаряжением. Разберутся там, кто ты такой.

Чернов нехотя поднялся, дернул обоими плечами.

— Напрасно беспокоишься, Миронов! — сказал он.— Похоже, что маловато ты смыслишь, ежели не понял генерала. Разобрался уж командарм со мной. Видно, он всерьез решил превратить меня в штабного работника. Понравилось ему, что язык немецкий знаю. И зачем я вылез с Клаузевицем этим? — Немного постояв на месте, будто раздумывая, идти или не идти, он махнул рукой и угрюмо произнес: — Посмотрим, что из этого выйдет. На войне главное — слушаться начальства, команды. Командуют в штаб — иди в штаб! Впрочем, оттуда я, пожалуй, скорей на КВ попаду.— Чернов подошел к Ершову, обняв его, похлопал ладонями по его широкой тугой спине.— Жаль, что не пришлось с тобой вместе повоевать. Нравишься ты мне. Ну, бывай здоров! — Попрощавшись с Ершовым, подошел к Скибе: — До свидания, Кузьма! — Подал ему руку.— Сказать командующему, при случае, что ты хотел бы в бою сражаться рядом с ним?

Полные румяные губы Скибы растерянно дрогнули.

— Да то ж я шутковав,— сказал Кузьма.

Чернов улыбнулся:

— Ладно! Не скажу! А вообще ты не робей, Кузьма. На войне не все погибают. Держись покрепче вот за этого русского богатыря,— кивнул он на Ершова.— И берегите друг друга. Тут, брат, взаимная выручка — железный закон.

Затем, снова пожав руки Ершову, Миронову и Скибе, шагом пошел по траншее в сторону КП роты.

Когда Чернов ушел, Миронов сообщил:

— Командир роты сказал мне, что нашему отделению, то есть тебе, дают станковый пулемет. Новенький. Мне приказано выделить расчет. Ты, разумеется, будешь первым номером, Кузьму поставим вторым, а третьим — Крючкова.

— Крючкова не возьму,— решительно заявил Ершов.— Лучше дайте Горелова. Он покрепче и... понадежней.

— Бери Горелова,— согласился Миронов.— Хотя не пойму, чем Крючков хуже. По комплекции-то он больше подходящ для третьего номера. Худощавый, но сильный и проворный.

— Не в силе и не в проворстве тут дело... в характере.

Ершов хотел рассказать Миронову о своем столкновении с Крючковым возле разбираемой ночью бани и не решился.

С самим-то Крючковым так и не удалось поговорить как следует. Может, он парень как парень. Просто под настроение сорвались с языка нехорошие слова. «Но все же лучше взять Горелова»,— решил он.

Миронов сказал, что всем троим надо сейчас же пойти в село. Там, недалеко от церкви, есть большой поповский сарай. В нем выдадут пулемет, патроны и все прочее, что полагается.

## 3

Возвратившись со станковым пулеметом «максим», который он принес на спине весь целиком, не разбирая,— к великому изумлению своих обоих помощников (они несли ленты с патронами),— Ершов передохнул немного, потом вытащил из кармана гимнастерки письмо, полученное им в штабе батальона. Надорвал теплый, отсыревший от пота конверт (гимнастерка Ершова вся взмокла на спине и груди), стал читать. Четкий мелкий каллиграфический почерк, как в прописях. Писал Александр Михайлович Гольбах. Он пространно извинялся, что не смог побывать у Ершова в окопе, потому что по заданиям редакции выезжал в другие полки армии. «Но скоро мы встретимся. Отдано распоряжение об отозвании тебя на работу в армейской газете. И еще у меня интереснейшая новость. Я написал Жоржу Жихареву о встрече с тобой на военных складах и очень быстро получил от него ответ. Оказывается, вы с ним друзья! Что же мне не сказал об этом, когда мы с тобой виделись? Впрочем, как ты мог сказать? У нас же и разговора о Жихареве не возникало. Виноват Жора. Он ни разу не написал мне о тебе ни слова. Ну да ладно. Не в этом дело. Дело в том, что именно его письмо подтолкнуло меня на хлопоты о тебе. Он считает, что ты сверхталантлив, и страшно боится, чтобы ты не погиб от какой-нибудь шальной пули. Ты, мол, отчаянно смелый, горячий, самоотверженный по характеру. За тобой, дескать, надо следить, ты будто бы можешь кинуться в бой очертя голову и тому подобное».

Пока он читал, Горелов и Скиба сидели, отдыхали. Горелов курил самокрутку. Синий дымок колеблющейся тонкой ленточкой лениво вился кверху, а Скиба то и дело, разгоняя его, махал руками, в которых были черный хлеб в одной, и зеленый лук — в другой. Работа по борьбе с дымом ничуть не мешала ему аппетитно жевать, смачно чавкая.

Когда Ершов положил конверт в карман, Скиба, не переставая жевать, с любопытством спросил:

— Кто же тебе прислав таку большу цидулю? Не жинка?

В окопе совсем по-домашнему пахло зеленым луком, черным хлебом, горьковатой махрой, машинным маслом от пулемета и чем-то еще, совсем непонятным, не то картофельной ботвой, не то сухой травой, настланной у стен. И эти простые запахи мирной жизни, вопрос Скибы: «Не от жинки ли письмо?» — всколыхнули вдруг в Ершове задремавшие было чувства и воспоминания о Даниловке, о городе, о близких людях — Наташе, Половневых, Жихареве... Боже мой! Как все это далеко!

— От жинки рано,— ответил Ершов.— Наверно, мои письма еще не дошли. Это написал мне один товарищ... тот самый, что встретился нам, когда мы с тобой винтовки и прочее получали.

Скиба с ухмылкой протянул:

— А-а-а! Помню, помню! Такой чистенький еврейчик... гарно одет, и кобура желтая на боку.

— Он француз, а не еврей,— холодно и хмуро возразил Ершов.

Ему не понравилось, что Скиба назвал Гольбаха еврейчиком, и особенно неприятен был ему тон, каким это было сказано. «Антисемит чертов»,— неприязненно подумал он о Скибе. Немного помолчав, разъяснил:

— Был такой великий безбожник у французов по фамилии Гольбах. Так вот этот приятель мой — потомок того Гольбаха.

Скиба о Поле Гольбахе не имел ни малейшего представления. Насчет принадлежности Александра Михайловича к французской нации усомнился.

— Не может того бути, шоб француз,— скептически проговорил он ртом, набитым луком и черным хлебом. Як же вин попав к нам? И балакае по-русскому складно и без запинки.

— Так сам-то он родился в России, потому по-русски и говорит хорошо. К нам попал дед его или прадед, может, больше ста лет назад.

— Чего же вин тебе пише, твой Гольбах?

— Пишет, чтоб мы с тобой дурака не валяли, а готовились отразить фашиста, не пускали бы его дальше. Ты же, между прочим, преспокойно краденую жуешь цибулю с казенным хлебом, а того и не подумаешь, что пулемет надо пристроить, чтоб из него неприятеля можно было бить.

— Яка же вона крадена! — обиделся Скиба.— Бабка одна дала мени. Бери, говорит, сынку, бо все равно ей пропадать, цибуле-то. Нехай лучше свои съедят, чим нимцы.

— Заливаешь ты насчет бабки! Что-то я никаких бабок не заметил на селе. Воруешь ты цую цибулю. И что ты пристрастился к ней? Она же горькая. Слыхал, командарм собирается ею фашистов кормить, а ты сам готов всю ее слопать. Ну ладно! Давайте, товарищи, пристроим «максимку» нашего половчей.

Ершов поднялся, показал Горелову и Скибе, как и где отрыть землю в бруствере, чтобы пулемет уместился и видимость вокруг была градусов на сто восемьдесят, а сам стал смотреть в сторону противника. Никакого движения, будто там, во вражеских окопах, ни души. Давно уже говорят, что немец готовится к наступлению, а кругом такая тишина. И сегодня на всей обозримой линии ни одного выстрела. Даже не верится, что какое-то наступление возможно, возможен какой-то бой. И на нашей стороне. Небо, заволоченное серыми, как шинельное сукно, тучами, тоже безмолвствует, не слышно рокота самолетов, которые обычно, особенно в ясную погоду, словно коршуны вились на большой высоте в небесной синеве. На бруствере и в картофельной ботве с беззаботным чириканьем прыгают воробьи. Вверху, от села к городу, мирно полетела стайка угольно-черных грачей. А между тем первые два дня, когда бойцы прибыли сюда, никаких птиц тут не было. Опытные красноармейцы говорили, что во время боев во всей окружности на десятки километров вся живность, в том числе и птицы, исчезает куда-то. Наверно, теперь, почуяв затишье, птицы решили, что война кончилась.

«Птицы небесные не сеют, не жнут»,— вспомнил Ершов слова из евангелия, которые мать просила его читать ей вслух. Она была религиозная, его родная мать, любила слушать священное писание, так как самой ей по неграмотности оно было недоступно. И наверно, ей доставляло немалое удовольствие не столько само это писание, сколько то, что слышала его из уст родного сына, ставшего таким большим грамотеем в свои десять-одиннадцать лет и читавшего нисколько не хуже приходского псаломщика.

«Ох, мама, мама! Могла ли ты думать, что сыну твоему, так же как и мужу, придется воевать с немцами? Нет, не могла ты этого думать. Да и сам я не думал. Надеялся на мир. Чернов прав. Все надеялись. И я мечтал в университете учиться и стихи писать. А теперь вот не до ученья и не до

стихов. Да, да! И стихи нейдут на ум. Ничего я сейчас не могу делать, кроме как воевать. Может, прав тот, кто сказал: «Когда гремят пушки,— умолкают музы». Я даже журналистом не могу стать. И напрасно товарищ Гольбах хлопотал, ни в какую редакцию я не пойду. Винтовка и пулемет — вот мое оружие!»

Горелов и Скиба проделывали в бруствере выемку для пулемета, стараясь так копать землю, чтобы она не сыпалась в окоп.

Ершов посмотрел на их работу и сказал:

— Правильно. Продолжайте. А я пока пару писем напишу.

Но написал не два, а три письма. И это были его последние письма с фронта. На следующий день немцы начали наступление, и Ершова, почти в начале боя, ранило, он был доставлен в медсанбат в бессознательном состоянии.

А письма его — Половневу Петру Филипповичу, жене Наташе и Александру Гольбаху — в день боя полевой почтой пошли по назначению. Между прочим, в письме Гольбаху он наотрез отказался пойти на газетную работу, мотивируя отказ свой неподготовленностью к ней.

---

# ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

## 1

На пятый день уборки Галя обогнала Ксению Рыбалкину на целых полгектара. Когда бригадир Мурашкин объявил об этом всей бригаде, Ксения потребовала немедленной проверки. Мурашкин сказал, что не верить нельзя, потому что замеры загонов делал Сергей Владимирович, а он человек грамотный, ошибиться не мог. Тоболин к тому времени уже уехал домой. Верно или неверно записана выработка Гали, без него выяснить невозможно было. Тогда Ксения взяла треугольную саженку Мурашкина и быстро зашагала к скошенным загонам. Галя и Лена — за ней, а вслед поплелся и Мурашкин, бормоча на ходу, что теперь уже сумеречно и, пожалуй, не найти, откуда Галя сегодня начала. Но Ксения без труда нашла отметку — небольшую тальниковую веточку с еще не успевшими засохнуть узкими продолго-

ватыми листочками, воткнутую поутру самим бригадиром. Она молча по-мужски вертела саженку, а девчата на расстоянии шли за ней. Бригадир стоял возле талинки и наблюдал со стороны.

Отметив ширину скошенного Галей, Ксения на минуту остановилась: наверно, прикидывала в уме размер площади (длину загонов Ксения знала), потом так же молча погнала саженку в обратную сторону.

Надвигался тихий летний вечер. Над линией горизонта, там, где недавно потонул тускло-красный шар солнца, небо было светло-розовым, а повыше оно казалось лимонно-зеленоватым. Восточная половина тонула в темно-фиолетовой глубине, в середине которой уже мигала еле заметная точка какой-то звезды. От скошенного поля густо тянуло хлебным духом и запахами полынка и разнотравья.

Мурашкин стоял и думал о том, какой сегодня хороший вечер и как хорошо было бы сейчас растянуться на свежей соломе, а приходится канителиться из-за этой неугомонной девки Ксении. Ох и заядлая! Вишь как ее за живое задело,— кажется, второй раз меряет!

— Ну что? — спросил он шутливо, когда Ксения одним концом саженки уперлась в тальниковую ветку, возле которой он стоял.

Девушка остановилась, недоуменно покачала головой в белом платочке.

— Получается так, как записано,— в раздумье проговорила она.— Но все равно не верится... Что-то тут не так, Антон Прокофьич.

Лицо Мурашкина сразу посерьезнело.

— Если сходится, то чего же тут не так? — сказал он с еле сдерживаемым раздражением.

— А разве эту вашу веточку не мог кто-нибудь переставить? — с подковыркой спросила Ксения.

— Кто же это? — вызывающе наступая на нее, с возмущением вскрикнула подошедшая Лена.— Уж не мы ли с Галей? А может, Антон Прокофьич?

— Ни вас с Галей, ни Антона Прокофьича не виню и не подозреваю,— сухо сказала Ксения.— Но что такое эта веточка? — Она повернулась лицом к бригадиру.— Надо бы колышки вбивать, Антон Прокофьич,— они надежней были бы. А веточку и переставить можно совсем незаметно и просто выдернуть или затоптать, машиной смять.

— Где же их набраться, колышков-то! — пробурчал Му-

рашкин недовольным тоном.— Это ты, Ксюша, совсем не ту песню запеваешь.

Ксения положила саженку на плечо и не спеша направилась к стану.

## 2

С этого дня Мурашкин стал чаще бывать на загоне Гали и всякий раз похваливал:

— Ай да девчата, ай да стахановки! Мне бы таких побольше в бригаду.

Лицо бригадира всегда было мокро от пота, особенно лоб, и он то и дело вытирался широким серым платком. Скулы и щеки Мурашкина почернели от загара и, давно не бритые, покрылись иглами белесо-седой щетины. Вид у него был озабоченный, он всегда торопился и за день успевал побывать не только на всех своих загонах, но и в бригаде Грязнова, чтобы узнать, как там идут дела, не обгоняют ли его грязновцы. Он забыл теперь, что в начале уборочной был против соревнования.

Иногда было слышно, как Мурашкин своим звонким альтом распекает или вязальщиц за то, что они нечисто подгребают колоски, или лобогрейщиц за огрехи.

Галя уважала бригадира за неутомимость и заботливость. Завидев издали его синий, выцветший до белизны картуз, плывущий поверх нескошенной ржи соседнего загона, невольно подтягивалась, становилась бдительней и строже.

— Бригадир! — с тревогой в голосе предупреждала она подругу.— Гляди в оба, ровней правь лошадок!

— Подумаешь, начальство какое! — вызывающе, независимым тоном выкрикивала Лена.

На Галю Мурашкин почему-то никогда не повышал голоса, если даже замечал огрех или какое-нибудь иное упущение.

— Галюша,— вежливо, с какой-то вроде бы отеческой лаской в голосе говорил он,— видала — там чуток пропущено... обратно поедете — захватить надо. Пожалуйста, доченька!

— Хорошо, Антон Прокофьич, обязательно захватим,— обещала Галя.

Лена выходила из себя. Когда бригадир уходил, иронически подсмеивалась над Галей:

— А ты и рада. Как же, доченькой назвал! И не поймешь, кто из вас больше подхалим. Он: «Доченька!» Ты: «Хорошо,

Антон Прокофьич!» — Лена передразнила бригадира и подругу.— Просто слушать противно. А за тебя, Галя, еще и стыдно. Ну что такое перед тобой э н т о т Антон — голова комком? (Она нарочито произнесла «энтот», как говаривал сам бригадир.) Он — чубук от старой трубки Демьяна Фомича, а ты — со средним образованием. Я бы на твоем месте и слушать его не стала.

Лена, увлекшись, не замечала, что лошади сбавляли шаг и лобогрейка начинала стрекотать медленней, реже.

Галя спокойно сказала:

— Ты погоняй, погоняй! И не говори о том, чего не понимаешь. Мы с тобой со всем нашим образованием в подметки не годимся «энтому» Антону. Он же и лобогрейки знает, и в тракторах, и в молотилках, и в лошадях смыслит. И вообще, каждый колхозник должен уважать бригадира и слушаться, как боец слушается командира. Без дисциплины в колхозе никакого порядка не будет.

— Ну, понесла! — воскликнула Лена.— Терпеть не могу политграмоты и агитации.

Она не выносила наставлений, разговоров о работе, о дисциплине. Ей больше нравилось посудачить о каких-нибудь пустяках: кто как одевается, кто с кем поссорился. Она знала, каким добром наполнены сундуки некоторых даниловских колхозниц, какие платья имеют жены предрика, районного агронома, несмотря на то что те жили в Александровке. Недавно она с превеликим удовольствием и завистью сообщила Гале, будто у жены предрика одних крепдешиновых платьев шесть штук, и все разного фасона́, и все шиты в ателье областного города. «Вот это жизнь,— со вздохом говорила Лена.— А мы с тобой? Одно, два платьишка — и все наше богатство».

Галя и сама была не прочь хорошо одеться и, если видела на ком-либо красиво сшитое платье, ладную юбку, могла втихомолку и позавидовать даже. Но такой болезненный интерес к чужому достатку, какой проявляла Лена, ей был незнаком и непонятен. Интерес этот Галя подметила в подруге совсем недавно и удивлялась: откуда он? Почему? Вообще в последнее время между подругами, как говорят старые люди, словно черная кошка пробежала. С детских лет были дружны, жили душа в душу, а вот теперь, работая на одной лобогрейке от зари до зари и ночь проводя вместе, под одним одеялом, они с каждым днем становятся все более далекими и чужими. Лена ворчит по всякому пустяку, беспричинно сердится, капризничает, нередко ведет себя просто противно

здравому смыслу. Например, если Галя просит не хлестать понапрасну лошадей, то она принимается сечь их кнутом еще сильней. Если предупредит, что надо ехать потише, потому что началась густая рожь, Лена старается гнать чуть не галопом.

Такое поведение подруги временами приводило Галю в отчаянье. Ну что с ней делать? Разругаться и попросить бригадира заменить Лену другой девушкой? Неудобно как-то. Всем известно, что Лена и Галя закадычные подруги... и вдруг вдрызг рассорились. Из-за чего? Объяснить трудно. И Галя сдерживала себя, старалась ладить, упрашивала Лену «не дурить». Надо было вместе работать, уживаться, не допускать истеричных ссор, к каким склонна ее подруга. Но однажды Галя все-таки не стерпела.

### 3

Стрекочут лобогрейки, а над ними и за ними столбы пыли вьются, словно серый дым. Жжет немилосердно июльское солнце. Над полем ни ветерка. Жарко. Больше месяца на землю не упало ни капельки влаги. Но на всех загонах работа кипит. Плывут, будто корабли, два комбайна, один из них далеко, километра за два от лобогреек,— это на поле соседнего колхоза «Авангард». Видны Гале и Лене косари — мужчины средних и пожилых лет. Рядом с ними жницы — старые бабки, согнувшиеся в дугу. Им с самого начала уборки отмерили клин, и бабки до сих пор мучаются с серпами на этом клине.

— Давай передохнем чуток,— говорит Лена, повернувшись к Гале красным лицом с облупившимся от солнца курносоватым носом. По запыленным щекам и вискам Лены струятся мутные ручейки пота. Бордовая повязка сдвинулась с головы на затылок. Светлые волосы забиты пылью. Пересохшие губы потрескались. Галя, взглянув на нее, думает: «Наверно, и я такая пыльная и страшная».

Сбрасывая вилами наползавшую на полóк рожь, она негромко, мягко уговаривает:

— Рано, Аленушка. Еще круга два проехать бы.

— Ничуть не рано! — запальчиво кричит Лена.— Сейчас в рельсу зазвонят.

— Через час, не раньше. Когда зазвонят, тогда и отдохнем. Погоняй, погоняй, только не очень быстро.

— Да не могу я больше по такой жаре,— вдруг взвизгивает Лена.

И со злости нещадно стегает ременным кнутом по мокрым от пота крупам коней. Кони, мотая головами, рванувшись, бегут почти рысью. Ножи, не успевая резать, мнут рожь. Позади большущий огрех.

— Аленушка! Не злись, пожалуйста,— мягким, ласковым голосом просит Галя.— Лошадки ведь тут ни при чем. Не вымещай на них свою досаду. Опять вон огрех получился.

Лена грубо бормочет:

— Ну и пусть! Хоть сто огрехов.

Ей непонятно упорство Гали. Лошади еле идут, люди на лобогрейках (их две в бригаде Мурашкина) совсем истомились, пора бы сделать перерыв или остановиться минут на десять и отдохнуть. Из сил выбиваются и вязальщицы. Но все работают, потому что оглядываются на них с Галей, потому что Мурашкин и Свиридов перед всеми хвалят Галю. Передовая! Стахановка уборки! Весной о ней уже писали, и опять, похоже, Галя добивается, чтобы написали. Лена, сердито нахмурившись, то и дело оглядывается на Галю. «Она железная, что ли? Знай ворочает вилами, как машина!»

Сделали еще один круг. Сигнала на обед пока нету. Лена остановила лошадей и решительно заявила:

— Хватит! Больше не поеду.

И спрыгнула на землю.

Лошади нетерпеливо замотали головами, как бы прося скорей освободить их из упряжки.

— Аленушка! — мягко сказала Галя.— Ты с ума сошла! Все работают. На обед еще не звонили.

— Сказала, не поеду,— значит, не поеду.

Лена положила кнут ей на колени.

— Не дури, Аленушка!

— Я не дурю... я пошабашила, а ты как хочешь,— развязно сказала Лена и медленно пошла в сторону стана, сильно размахивая на ходу короткими, темно-коричневыми от загара руками с засученными по локоть рукавами.

— Слушай! — просящим тоном крикнула Галя.— Ну один круг... тогда устроим перерыв, если даже сигнала не будет.

Лена остановилась, повернувшись лицом к лобогрейке. Ссориться с подругой ей тоже не хотелось, тем более что Галя не ругалась, а упрашивала по-хорошему. Но в то же время все нутро Лены протестовало против такой тяжелой, напряженной работы. «Ну хорошо... война, хлеб нужен... все

это и я понимаю без всякой агитации. Но нельзя же до упаду! Лошади и те еле на ногах стоят, а я же не лошадь. И как о н а этого не понимает и не чувствует!»

Лене казалось, что если вернется на лобогрейку, то, не успев примоститься на сиденье, упадет замертво.

— Отстань! — после небольшого колебания резко вскрикнула она.— Не поеду!

Галя быстро соскочила со своего места, догнала подругу, ухватила ее за руку. Лена вырвалась и побежала. Но Галя догнала ее снова, вцепилась сильными, упругими пальцами в рукав комбинезона и с силой потащила назад, к лобогрейке, приговаривая:

— Нет, поедешь, милая, поедешь! Видали, чего удумала!

Лена отчаянно сопротивлялась, стараясь вырваться. Рукав на плече ее комбинезона неожиданно с треском лопнул по плечевому шву. Тогда Галя молча подхватила подругу под руку.

— Не тронь! — не своим голосом завопила Лена.

— Я тебя заставлю работать, лентяйка паршивая,— задыхаясь от усилий и возмущения, срывающимся голосом говорила Галя, насильно таща упиравшуюся Лену.

Отталкивая подругу и пытаясь вырваться, Лена выкрикивала:

— А я все равно не поеду, и ничего ты со мной не сделаешь!

Но Галя была намного сильней. Подведя подругу к лобогрейке, она взяла кнут и строго сказала:

— Садись и не разговаривай! Попробуешь убегать — вздую, отхлещу кнутом!

«У нее хватит ума, отхлещет»,— подумала Лена с испугом и вдруг как бы обмякла, почувствовав, что больше сопротивляться не сможет. Нехотя, медленно взбираясь на свое сиденье, она недовольно говорила:

— Рада, что силой бог наградил! Вцепилась словно клещами... аж рукав порвала. Кнут давай,— добавила она усевшись.

Галя подала ей кнут, учащенно дыша, негромко пообещала:

— Рукав я тебе в обед зашью.

Вера Плугова и Наташа Ершова издали наблюдали за стычкой между подругами. Им казалось, что Галя и Лена вот-вот подерутся, и кинулись разнимать их. Но пока добежали, обе подруги были уже на своих местах. Вера взглянула на растрепанную Лену, спросила:

— Подрались, что ли, девочки? Чего не поделили?

Галя отрицательно качнула головой:

— Нет, мы не дрались.

— А рукав у Лены чего же разорван?

Галя хитровато усмехнулась.

— Да это она еще утром зацепилась за что-то,— небрежно сказала она равнодушным тоном.— Поехали, Аленушка!

Лена со всего размаха стеганула по крупам лошадей, стоявших смирно и устало помахивавших хвастами.

— Заснули, черти окаянные!

Лобогрейка с шумом тронулась. Вера и Наташа постояли немного, посмотрели вслед и пошли обратно, так и не поняв, из-за чего подруги повздорили.

Галя и Лена сделали еще два круга. Когда раздался на стане заливчатый звон рельса, похожий на трезвон небольших церковных колоколов (звонил старик Чекмасов, нарочито подражая колокольному трезвону), Лена с ходу остановила лошадей и спрыгнула на землю. Боялась, что, начав новый заезд, Галя опять заставит проехать еще один круг. Но Галя не собиралась этого делать, она сама устала и была рада перерыву.

Выпрягли лошадей, привязали их к лобогрейкам, дали свежей травы. К стану шли торопливо и молча. Лена старалась идти впереди, хотя это было ей нелегко, потому что ростом она была ниже. Галя переживала раскаяние за недавнюю вспышку. Ей очень хотелось жить с подругой мирно, в добром согласии.

— Аленушка,— грустным тоном проговорила она,— зачем ты убегаешь от меня? Все сердишься? Ну прости, я погорячилась.

Лена немного задержалась.

— Рукав пришьешь — тогда прощу,— холодно и сердито сказала она.

— Конечно, пришью, Аленушка, ты только не убегай и не сердись.

Тогда Лена убавила шаг, и подруги пошли рядом.

## 4

После обеда Галя попросила иголку и нитку у поварихи Луши и хотела починить рукав комбинезона, но Лена не дала.

— Сама зашью,— сказала она.

И зашила.

На работу шли опять молчком. Лишь подходя к лобогрейке, Лена вздохнула, невесело проговорила:

— Не в рукаве дело, Галечка!

— А в чем же?

— Долго объяснять,— суховато сказала Лена и начала запрягать лошадей.

Галя рассеянно наблюдала за ней. Становилось грустно. Какие, оказывается, они с Леной несхожие. Случались и раньше между ними недомолвки, несогласия, но все больше по каким-нибудь пустякам, а главное, они быстро находили общий язык и не дулись одна на другую подолгу. На этот же раз ссора вышла не из-за пустяков. Ведь если рассказать председателю колхоза, как Лена хотела бросить работу почти за час до перерыва, то ей, дурочке, не поздоровится. А она еще дуется!

В раздумье подошла к лобогрейке, подняла ногу, чтоб взобраться на полок, и вдруг отшатнулась, согнулась и закашляла. Лена с недоумением посмотрела на нее. Плечи Гали содрогались, и комбинезон ходуном ходил на ее спине, то плотно прилегая, то вздуваясь пузырем между лопаток.

— Доработалась! — язвительно заметила Лена, медленно приближаясь к Гале.— Это ты, милая моя, простудилась.

— Не простуда, Аленушка,— слабым голосом сказала Галя.— Тошнит меня.

— Тошнит? — удивилась Лена.— С чего бы это?

— Наверное, от пшенной каши со свиным салом. Сало-то лежалое, старючее. Еще когда ела, как-то не по себе мне было. И пока шли сюда, все мутило.

Лена загадочно улыбнулась.

— Понятно! — развязно произнесла она и с подковыркой спросила: — А почему же меня не тошнит и не мутит? Я тоже кашу с этим салом ела.

— Не знаю,— сказала Галя и посмотрела на подругу с выражением боли и страдания во влажных, покрасневших от натуги глазах.— Отродясь со мной не бывало такого. Наоборот, я очень любила лежалое сало и ела его всегда с удовольствием!

— При чем тут сало! — насмешливо проговорила Лена.

— Но отчего же это со мной такое?

— Догадываюсь, да не скажу.

— Почему не скажешь?

— Ругаться начнешь. А мне надоело ссориться с тобой.

— Кто же виноват, что мы ссоримся? Сама все время почему-то психуешь... то работать не хочешь как следует, то разговаривать...

— А если я скажу сейчас, от чего тебя тошнит, то запсихуешь ты и тоже разговаривать со мной перестанешь.

— Не беспокойся, не обижусь, говори.

— Нет, не скажу,— и Лена крутнула отрицательно головой.— Давай поедем, если тебе полегчало. В животе не урчит... и не болит он у тебя?

— Все в порядке,— сказала Галя.

— Вот видишь! Раз не урчит и не болит, сало ни при чем. Если бы от сала, то бы обязательно урчало,— с серьезным видом срифмовала Лена, усаживаясь на свое место.

— Что же «при чем», по-твоему? — спросила Галя, все еще не догадываясь, куда и к чему клонит подруга.

— Не что же, а кто же! — засмеялась Лена и, стегнув коней, крикнула: — Но-о! Заслушались! — Повернувшись лицом к Гале, добавила: — Это ты, Галечка, того!

— Чего это «того»? Говори прямо, не верти,— рассердилась Галя, вдруг поняв, на что намекает Лена.

— Ох, до чего же ты несмышленая! Неужели ты не знаешь, от чего у баб и девок тошнота бывает? Тебе, милая, не миновать к бабке Чекмасихе идти. Поняла теперь?

И Лена отвернулась, нервно задергала вожжами.

Всему селу было известно, что жена Гавриила Чекмасова — Чекмасиха — делает подпольные аборты с помощью каких-то, только ей известных средств. Много раз пытались разоблачить, «изловить» бабку, но не удавалось. И она никогда никого не выдала, и ее ни одна не подвела.

Галю сперва кинуло в жар, потом по всему телу поползли холодные мурашки. «Господи! Неужели?» Страх и стыд охватили ее. Но она напрягла всю свою волю и спокойно сказала:

— Ну это ты сама ступай к этой бабке, дорожка, видать, проторенная. А других не посылай!

Лена не оглянулась, не огрызнулась даже, как обычно, и они на эту тему больше не разговаривали.

## 5

Вечером на крытом току, находившемся в полкилометре от стану уборки, было устроено собрание двух полевых бригад. В президиум выбрали бригадиров, председателя

сельского Совета Федора Викентьевича Букреева, человека лет пятидесяти с лишним, в белой косоворотке, подпоясанной узким ремнем.

При желтоватом тусклом свете фонаря «летучая мышь», стоя сбоку неказистого стола, Свиридов доложил о результатах соревнования между бригадами Мурашкина и Грязнова.

Решением сельсовета и правления колхоза переходящее Красное знамя присуждалось бригаде Мурашкина.

Колхозники разместились где и на чем попало: кто сидел прямо на току, кто на постланной соломе, кто на ворохах невеяного зерна. Сообщение председателя поначалу было встречено спокойно. Оно не взволновало даже самого бригадира Грязнова. Он выступил и сказал, что знамя присуждено правильно, что его бригада действительно немного отстает, в ближайшие дни она обязательно подтянется. Но колхозники его бригады зароптали и с решением сельсовета и правления не согласились. Они чуть не хором потребовали нового обмера всего скошенного обеими бригадами. В задних рядах раздался визгливый женский голос:

— Сергей Владимирович мирволит бригаде Мурашкина, потому что в ней есть девчата, которые ему больше по душе, чем наши.

— Как тебе не стыдно! — сердито оборвал ее Свиридов.— Человек нам помогает всей душой, а на него плетут черт-те что! При чем же тут девчата? Кто это сказал? А ну, выходи сюда, говори открыто, чего ты там в потемках прячешься?

На призыв председателя никто не отозвался. К столу подошла Ксения Рыбалкина, сидевшая недалеко от президиума. Она была не в комбинезоне, а в юбке, цвет которой было трудно определить при свете фонаря.

Свиридов удивленно посмотрел на нее.

— Ты чего? — спросил он.

Ксения твердо заявила:

— Хочу сказать. У нас не все еще ладно в учете — это факт. А вы, Антон Прокофьич, должны бы это заметить. Возьмем Галю Половневу. Она первый год на лобогрейке, а я третий. Может она меня обогнать? Допустимо ей идти вровень со мной, и то с большой натугой, а она, видите ли, сегодня, например, на целый гектар больше меня скосила. Разве это мыслимо?

Мурашкин увещевающе сказал:

— Опять ты за свое, Ксения... сама же проверяла.

Ксения резко повернулась к столу и, глядя на бригадира, громко возразила:

— А какой толк в моей проверке? Я же говорила вам: колышки надо ставить, а не веточки. А вы? Помните, что вы сказали? И по-прежнему веточки втыкаете. А веточку в любое время незаметно переставить можно.— Она снова повернулась лицом к собранию.— До обеда шагов на пять да после обеда на десять... Посчитайте, сколько выйдет при одном километре длины. Товарищу бригадиру это на руку, и председателю колхоза, и всей бригаде не во вред. Каждому хочется в стахановцы выбраться. А почему старается товарищ Тоболин — я не знаю. Тут кричали, что девчата нашей бригады ему больше по сердцу. Но при чем тут девчата? К Гале Половневой у него снисхождение. Может, оно и не сердечное... Но это уж не наше дело. А вот выработку проверить нужно, раз бригада Грязнова сомневается. Перемерить заново все скошенное... сплошняком.

Свиридов внимательно слушал Рыбалкину. Когда она кончила, сумрачно насупившись, почесал себя за ухом, озабоченно проговорил:

— Ладно. Придется проверить. Думаю, товарищи, мы примем предложение Рыбалкиной. Если мы не ошиблись, то знамя останется за бригадой Антона Прокофьича. А ошиблись — сельсовету и правлению придется вопрос перерешить.

Собрание согласилось. На этом Свиридов хотел объявить его закрытым, но поднялся все время молчавший Тоболин и попросил слово.

— Не волнуйтесь, Сергей Владимирович,— сказал Свиридов.— Завтра с утра проверим, и все будет ясно.

— Нет, не все. Прошу дать мне слово... я на этом собрании оказался в роли подсудимого... а подсудимому полагается последнее слово...

— Преувеличиваете, Сергей Владимирович,— мягко сказал Свиридов.— Никто вас не судил. Была критика.

— Критика критике рознь, Дмитрий Ульянович. Настоятельно прошу дать мне слово.

— Дадим слово Сергею Владимировичу? — обратился председатель к собранию.

— Дадим! — раздалось несколько женских и мужских голосов в обеих бригадах.

Свиридов передернул плечами, слегка улыбнулся.

— Голос народа! Пожалуйста, Сергей Владимирович... только покороче.

— Очень коротко.— Лавируя между стоявшими и сидевшими, Тоболин направился к столу. Немного не доходя до президиума, остановился.— Тут говорили, что мне по сердцу девчата бригады товарища Мурашкина, поэтому я всей бригаде записываю больше, чем она сработала,— негромко начал он.— Если говорить откровенно, то девчата в обеих бригадах очень хорошие и красивые и все нравятся мне.— Тоболин добродушно улыбнулся.— Но пишу я столько, сколько полагается.

Из глубины собрания послышался задорный девичий дискант:

— Видали, туману напустил! Ты скажи лучше насчет Гали Половневой.

Какая-то женщина хрипловатым голосом удивленно воскликнула:

— Гляньте, бабы, на него! Ему все наши девки нравятся! Во какой жадный! Обрадовался, видно, что ребята на фронт ушли!

— Да, да! Почему ты не на фронте, товарищ дорогой? — обратилась к нему пожилая женщина в белом платочке, сидевшая спереди на небольшой копне снопов.

Свиридов нетерпеливо дернулся, стукнул кулаком по столу:

— Тише! Не по существу вопросы.

— Вопросы все по существу, Дмитрий Ульянович,— сказал Тоболин.— Я коротенько отвечу всем.

— До каких же пор мы тут будем? — повысил голос Свиридов.— Двенадцатый час уже... А нам с товарищем Букреевым еще и в село ехать...

— Буквально две-три минуты,— пообещал Тоболин.— Насчет Гали. Верно. Я уделяю ей внимания несколько больше, чем другим. Почему? Во-первых, потому, что я ее больше знаю, она недавняя моя ученица; во-вторых, она очень трудолюбивая, всем известно, что Галя отличилась в работе и весной.

— Не затуманивай! — выкрикнул все тот же девичий дискант.

— Никакого тумана,— спокойно возразил Тоболин.— И Гале я записываю, как и всем, ровно столько, сколько скошено. Прошу проверить. Это нетрудно сделать. Вы оскорбляете и обижаете девушку, которая ни в чем не виновата. Насчет фронта. Никого из преподавателей нашей школы пока не призывали. Призовут — и я и другие поедем на фронт.

— Когда война кончится! — насмешливо крикнул кто-то из женщин.

— К сожалению, она не так скоро кончится, как всем нам хотелось бы,— сказал Тоболин серьезным тоном.— Так что и я и многие другие не минуем фронта. И последнее, что я хочу сказать. Здесь мне как учетчику выражено недоверие, поэтому я больше работать не могу. Подыщите замену, Дмитрий Ульянович. Рекомендую Мишу Плугова. Дать ему лошадь, и он справится не хуже меня.

Тоболин отошел в сторону.

Свиридов встал, обвел взглядом собрание, покачал укоризненно головой:

— Вот до чего вы договорились и докричались, дорогие женщины и девушки! Ни за что ни про что обидели человека, и он теперь не хочет работать с вами. Разве же так можно! Но и вы тоже не правы, Сергей Владимирович. Из-за личной обиды бросаете ответственное дело... не хотите в уборке участвовать.

— В уборке я с удовольствием приму участие, но не учетчиком. Пойду на молотилку или на веялку.

— Прошу слова! — крикнула Рыбалкина.

— Никакого слова! — решительно сказал Свиридов.— Этак мы тут до рассвета досидим. Прения прекращены, собрание считаю закрытым.

На другой день спозаранку были заново перемеряны все убранные площади. Оказалось, что работа Рыбалкиной и Половневой учтена правильно, что в целом бригада Мурашкина опередила бригаду Грязнова.

В обед о проверке сообщили обеим бригадам, а часа три спустя посреди еще не скошенных загонов бригады Мурашкина на невысоком холмике взвилось Красное знамя, прикрепленное к обструганному добела сосновому шесту. Шест оказался таким высоким, что Красное знамя видно было не только на загонах обеих полевых бригад, но и с линии железной дороги, и с грейдера. И люди, ехавшие или шедшие в район или из района, пассажиры поездов невольно смотрели на это полотнище, колеблемое ветерком, похожее на гигантский цвет ярко-красного мака, поднявшийся над золотистой равниной ржаного поля. Сочетание золотистых тонов спелого хлеба с победным рдяным цветом реющего над полем знамени радовало глаз, будило светлые надежды, хорошие думы о людях, которые самоотверженным трудом своим готовили победу над проклятыми фашистами.

## 6

По светлому ярко-голубому небу медленно плывут облака, словно льдины по весеннему разливу. В синем мареве видны крыши, трубы Даниловки, белеют старая церковь и колокольня, а справа, километрах в двух,— деревянный желтый вокзал, водонапорная башня, похожая на артиллерийский снаряд, поставленный стоймя, пирамидальные тополя, купы кустов белых акаций, будто застывшие. А дальше — шеренга убегающих в степь телеграфных столбов, становящихся все меньше и меньше, буквально величиной с карандаш, по мере приближения к линии горизонта. Мирная, тихая картина. И совсем рядом — оструганный бледно-желтый шест с Красным знаменем. Его, это знамя, люди завоевали тяжелейшим трудом.

«А я... какое я имею отношение к этому знамени? Ездил по загонам на буланой лошадке, замерял, вписывал в клеенчатую тетрадочку... Правда, и меня палило солнце, июльское беспощадное жаркое солнце, но... Тысячу раз права та тетка, которая в упор спросила: «А почему ты не на фронте, дорогой товарищ?» И касательно Гали Половневой я был неискренен и говорил не то, что надо. Просто лепетал, «затуманивал», как верно подметила девчонка с тонким голоском».

Вчера Свиридов упросил Тоболина поработать учетчиком еще хотя бы дня два, три. И вот не спеша поворачивает он саженку, ведя вслух счет. Запомнив число отмерянного, останавливается и невольно следит за лобогрейкой Гали. Лошади мотают головами, фыркают, отбиваются короткими хвостами от мух и оводов. Лена то и дело взмахивает длинным кнутом, но она не стегает им лошадей, а только щелкает в воздухе, как опытный пастух, и сухие щелчки кнута напоминают выстрелы мелкокалиберной винтовки. Лобогрейка громко трещит. За ней вьется пыль, и, как бы из пыли, падают наземь кучки срезанной ржи, сбрасываемой Галей. Адски трудная работа! Не женщине, не девушке выполнять бы ее.

«Взял бы и заменил! Ты же физкультурник и вообще довольно сильный мужик... Но это надо было сделать сразу... а теперь уже нельзя, неудобно... Еще громче начнут галдеть, что ты влюблен в Галю».

Недалеко Вера Плугова и Наташа Ершова вяжут снопы и складывают их в копны. С соломенными перевяслами в руках, они быстро, почти бегом, передвигаются от кучки к куч-

ке, но все равно за лобогрейкой не поспевают. Снопы, связанные и сложенные в небольшие копны, долго не лежат на месте,— их, чуть не вслед за вязальщицами, забирают на телегу два пожилых колхозника и везут на ток, где днем и ночью гудит и стучит конная молотилка... Стук ее слышен на всех концах ржаного поля.

Страда! В этом году она особенная, трудная, беспокойная. Урожай сильный, а рабочих рук мало, машин не хватает, около половины тракторов МТС ушло на фронт.

К станции подходит товарный поезд, оживляя окрестность ритмичным грохотом колес. Много платформ, на них орудия, танки, накрытые серыми брезентами. Первые месяцы войны их возили прикрытыми, для сохранения «военной тайны». Пройдет год, и военные грузы — пушки, танки, пулеметы — все будут возить открыто, потому что где же набраться брезента!

Тоболина охватывает беспокойство. Трактористы ушли на фронт, поезда идут на фронт. Его, Тоболина, место тоже там. Стыдно ему, сильному, здоровому, околачиваться в тылу. В Даниловке все его ровесники давно призваны, за исключением преподавателей. А виноват райвоенком. Почему он не принял даже заявления от Тоболина? Сказал, что есть указание — преподавателей старших классов средних школ пока не трогать. А может, и нет такого распоряжения? Просто райком партии и райисполком сами так решили.

«Напишу завтра в облвоенкомат или сам поеду. Лучше поехать. Не могу я больше тут болтаться!» Тоболин поймал своего буланого конька, сел в седло и поехал, держа в одной руке саженку, в другой поводья. Позади с шумом приближалась лобогрейка. Но он не обернулся. Надо поехать на ток — Свиридов, наверно, там. Сдать ему все материалы по учету, и пусть поскорей находит другого учетчика. Почему он колеблется: взять или не взять Мишу Плугова? Парнишка серьезный, с семилетним образованием. Если справлялся с учетом в тракторной бригаде, то в полевых и подавно справится.

Вдруг лобогрейка затихла, и Тоболин услышал голос Гали:

— Сергей Владимирович! На минуточку...

Тоболин повернул коня и шагом подъехал к лобогрейке.

— Я вас слушаю,— шутливо проговорил он, смущенно улыбаясь и глядя на Галю сверху вниз.

Полные красивые руки ее с закатанными по локоть рука-

вами синего запыленного комбинезона были темны от загара, а пальцы черны от смазки и масел, с которыми ей приходилось иметь дело. Слегка улыбающееся лицо тоже в пыли, возле носа и под глазами расплывчатые пятна, какие бывают у кочегаров и слесарей. Черные волосы выбились из-под выцветшей голубой косынки. Но и такая она была хороша, и он невольно залюбовался ею, в ожидании — зачем остановила и что скажет ему. «Чернышевский писал, что крестьянину может нравиться только женщина здоровая, способная к тяжелому труду. Наверное, во мне жив еще этот мужицкий инстинкт».

— Сколько мы скосили сегодня, не прикидывали? — спросила Галя, тоже пристально глядя на Тоболина снизу вверх и весело улыбаясь всем лицом и особенно слегка прищуренными черными глазами.

— Около двух с половиной,— поспешно ответил Тоболин.

После того собрания, на котором говорили, что он к Гале «снисхождение» имеет, при встрече с ней он испытывал неловкость.

— А по-моему, около трех,— певуче проговорила Галя, немного склонив голову набок.— Но до перерыва на обед мы еще круга три проедем.

— В конце дня обмерю,— машинально пообещал Тоболин, забыв, что несколько минут назад собирался сдать председателю все материалы и больше сюда не возвращаться.

— Пожалуйста, Сергей Владимирович, прикиньте сейчас,— вмешалась Лена.— Галя все боится, не отстанем ли мы сегодня от Ксении.

— Хорошо.

Тоболин слез с коня, быстро промерил обе скошенные стороны загона и, подойдя к лобогрейке, сообщил, что Галя не ошиблась, скошено почти три гектара.

— Теперь ты успокоишься? — иронически произнесла Лена, обращаясь к Гале.— Надоела она мне, Сергей Владимирович! Только и слышишь: «Погоняй, погоняй, а то отстанем. Время военное. Надо нажимать». А куда уж больше-то нажимать?

Пока Тоболин производил обмер, подошли Вера и Наташа. Они были такие же потные и запыленные, как и Галя с Леной.

Наташа обняла сошедшую с машины Галю и, прислонившись головой к ее плечу, с жадным любопытством глядела на Тоболина ясными карими глазами. Тоболин знал, что это

жена Ершова, и его поразило сейчас, что она, замужняя, по свежести лица и взгляда почти не отличалась от девушек, хотя, наверно, была гораздо старше их.

Вера Плугова стояла поодаль, по-мужски расставив полные ноги в сыромятных кожаных поршнях, скрестив на груди большие загорелые руки. Она была крупнее и Наташи и Гали. Бросалась в глаза боевая жизнерадостность, светившаяся на запыленных лицах всех четверых. Если бы не следы пыли и пота — никак нельзя было бы подумать, что все они только что оторвались от тяжелой, изнурительной работы на солнцепеке. Казалось, пусти их сейчас в хоровод — и они запоют свои любимые частушки или буйно закружатся в танце.

Наташа, не спуская глаз с Тоболина, обрадованно проговорила:

— Вот здорово, девочки. Опять мы обгоним эту гордячку Ксеню!

— Не вы, а мы с Галей,— заносчиво поправила ее Лена.

— Это все равно,— сказала Наташа.— Что вы, что мы. Вы больше скосите,— мы больше свяжем.

— По такому случаю, девочки, хорошо бы водички холодненькой по литровочке. Так сказать, победу нашу отметить! — сказала Вера.

— Правильно! — воскликнула Наташа, оживляясь и отводя глаза от Тоболина.— Пить хочется незнамо как. Язык совсем закаменел от сухоты.

Тоболин, чувствовавший себя несколько неловко под взглядами девушек, пообещал напоить их «чудной ключевой водой» и тронул своего буланого. Когда он отъехал подальше, Вера все так же серьезно сказала:

— Вот молодец! Ух и напьемся же мы!

— Правда, девочки, Сергей Владимирович парень хоть куда,— простодушно заметила Лена.— Сзади он на твоего Ильюху смахивает, Галка. Посмотри.

— Не выдумывай,— оборвала ее Галя.— Давай-ка лучше поедем. Пока он воды привезет, мы круг сделаем.

— Ладно, ехать так ехать. Неугомонная ты! — садясь на лобогрейку, сказала Лена.— Совсем замордуешь меня... да и коней тоже.

Полного круга они не успели сделать, Тоболин перехватил их на середине загона. Он привез чуть не полное ведро прозрачной холодной воды из родника, находившегося километрах в полутора от загонов. Вода, конечно, плескалась, и штанина серых брюк Тоболина на правой ноге

ниже колена потемнела. Саженки с ним теперь не было,— наверно, он оставил ее на стану, где брал ведро.

Лобогрейка остановилась.

Опять подбежали Вера и Наташа, и девушки стали пить по очереди через край ведра. Тоболин смотрел на них, не слезая с буланого.

— Этого ведерка вам, пожалуй, не хватит,— с улыбкой говорил он, чувствуя ко всем четверым теплое душевное расположение. «Вот такие простые, трудолюбивые и кормят хлебом всю страну».

А девушки жадно пили, обливаясь и смеясь.

«Не мог догадаться кружку попросить у поварихи»,— упрекнул самого себя Тоболин.

— Спасибочки вам,— сказала Наташа, вытираясь рукавом розовой кофточки, первая отстав от ведра и подходя к Тоболину.

— На здоровье,— кивнул Тоболин.— Как ваши дела, Наташа? Алеша пишет?

Наташа вздохнула:

— Прислал намеднись. Пишет: в боях не был, оборону держит его часть. Да это он небось, чтобы я не тревожилась.

— Ответ написали? — спросил Тоболин.

— Когда же? В воскресенье напишу. Митрий Ульяныч обещал отпустить к девочке.

— Привет передайте Алеше от меня.— Тоболин тронул буланого серебристыми стременами старинного седла (седло это взято в тридцатом у Травушкина, а Травушкин «визировал» его еще в семнадцатом по осени в имении Шевлягина).— До свидания, девушки. Ведерочко снесите на стан, отдайте Лукерье. Я еду на ток и вряд ли уж вернусь к вам.

— А как же с вечерним обмером? — забеспокоилась Галя.

— Пришлют кого-нибудь другого,— ответил Тоболин, задерживая лошадь.

— Да вы чего надумали? — сказала Наташа.— Хотите все-таки покинуть нас?

Тоболин махнул рукой:

— Долго объяснять. В город поеду... по делам.

— Господи! — с грустинкой проговорила Наташа, когда Тоболин отъехал.— Какой же он славный да хороший, этот Сергей Владимирович. Вроде моего Алешки... даже будто и лучше.

— Это уж ты напрасно,— заметила Галя.— Алеша знаешь какой?

— Нет, все-таки Сергей Владимирович тоже особенный,— сказала Вера.— Сколько лет живет у нас в Даниловке и ни за кем не ухаживает, с девчатами не гуляет... словно монах какой... А ведь он же холостой, говорят.

— Нашла монаха! — засмеялась Лена.— И ничего-то вы, девочки, не знаете и не подозреваете! На собрании не зря галдели: он с Галки глаз не сводит... и весь день вертится около нашего загона.

— А может, он из-за тебя тут вертится,— сердито оборвала ее Наташа.— А ты на Галю киваешь.

— На кой леший он мне сдался? Я шибко ученых не люблю. Мне бы ухажера попроще, нашего деревенского, вроде Федьки Огонькова.

— Дурища ты, Аленушка, больше никто! — спокойно сказала Галя.— Давай-ка садись. Поехали.

Когда они тронулись, Наташа мечтательно проговорила:

— Нравится мне Сергей Владимирович... сильно нравится. Я рада была бы, если бы он за мной поухаживал.

— А как же Алеша? — улыбнулась Вера.

— Что Алеша? Он муж... и за тридевять земель. Неизвестно, когда он теперь придет, да и приедет ли. Хоть он пишет, что в боях не был,— не верится мне. Все думается: может, его и в живых уж нет... особенно по ночам страшные мысли в голову лезут.

## 7

Тоболин прожил в Даниловке около четырех лет. Права была Вера: вел он себя тут до чрезвычайности скромно. В селе было много молодых и красивых учительниц, колхозных девушек, но ни за одной он не попробовал даже ухаживать. Почему? В чем дело? Может быть, у него где-то есть любовь? Да. Именно так. У него была настоящая, большая любовь, но не здесь, не в Даниловке, а там, в областном городе. Еще будучи студентом, он полюбил однокурсницу Любу, дочь ответственного работника. Тоболин был принят в семье Любы как свой, и родители ее были уверены, что по окончании университета молодые люди поженятся и начнут совместную самостоятельную счастливую жизнь. Незадолго до выпускных экзаменов отец Любы, пользуясь своим служебным положением и приятельскими связями, выхлопотал Тоболину ордер на двухкомнатную квартиру, будучи твердо убежден, что

Тоболин, учившийся все время отлично, будет оставлен в аспирантуре университета, а впоследствии защитит диссертацию и станет кандидатом, а там — и доктором наук. Вообще отец и мать Любы считали Сергея «перспективным» молодым человеком с житейской точки зрения. Но профессор Булатников Павел Гурович предпочел ему Андрея Травушкина, Тоболин же получил направление в район на должность преподавателя средней школы. Будущий его тесть пустил было в ход все свое влияние, чтобы оставить будущего зятя при университете, хотя бы ассистентом, или, на крайний случай, преподавателем одной из школ города. Тоболин с возмущением отверг «услуги» будущего тестя, ордер на двухкомнатную квартиру не принял, заявив: «Квартира в городе мне пока не нужна» Отец Любы гневно указал ему на дверь, назвав сперва донкихотом, потом молодым ослом.

Сергей надеялся, что Люба, некогда восхищавшаяся героическими подвигами жен декабристов, знавшая чуть не наизусть поэмы Некрасова о них, поддержит его. Но оказалось, что он плохо знал свою невесту. Правда, она не осудила его и ослом не назвала, но насчет донкихотства сказала, что папа ее, конечно, отчасти прав. Ничего не случилось бы, если бы Сергей и не поехал в деревню. Это же народничество, которое теперь не в моде. Что касается ее, то она, к сожалению, не может последовать за ним. Она родилась и выросла в городе, о деревне представления не имеет... и потом, папа уже устроил ее на работу в краеведческий музей.

— Просто неудобно получится. Я понимаю, тебе тоже неловко теперь отказываться. А через год вернешься, и тогда мы поженимся. К тому времени мой фатер поостынет и сменит гнев на милость.

Тоболин не собирался возвращаться через год. Решение Любы остаться в городе, выражение «народничество теперь не в моде», ее надежды на его возвращение не понравились ему. Но он любил ее и не мог сразу порвать с ней из-за несходства во взглядах на работу в деревне, хотя отлично сознавал, сколь принципиально и серьезно это несходство. Втайне он надеялся, что не больше как через год Люба сама приедет к нему, ведь она же любит его искренне, по-настоящему, уж это-то он знал точно. Она ни за что не выдержит долгой разлуки с ним. А до той поры он будет приезжать в город почаще... на свидания.

И, не сопя, не ссорясь, согласился с ней, а она дала ему клятву в вечной любви и верности.

В первый год в их отношениях все оставалось по-прежнему. Тоболин не менее двух раз в месяц наведывался в город, с вокзала звонил Любе по телефону, и они уславливались о месте и времени встреч. Родители, разумеется, не знали и не должны были знать об их свиданиях. А на второй год, по зиме, однажды, когда он позвонил, Люба сказала ему суховатым тоном, что просит простить ее, но она вышла замуж! Не оставаться же ей старой девой. Тоболин не поверил: «Ты разыгрываешь меня, Люба!» — «Нет, Сережа, это совершенно серьезно. Мы уже записаны в загсе... Неделю назад».

— Кто же он? — спросил Сергей.

— Вася Тараканов...

Вася Тараканов! Тоболин знал его: сын профессора математики. Парень, в общем-то, неплохой.

— Тоже, значит, на букву Т,— не соображая, что говорит, произнес он, с трудом удерживая навертывавшиеся на язык тяжелые оскорбительные для Любы слова.

— Ага! — наивно ответила Люба.— Но ты не сердись на меня, пожалуйста. Ну что же теперь делать, раз так получилось.

— Да, действительно, делать теперь нечего,— Тоболин тяжело, длинно вздохнул в трубку.— Выходит, что вы в свадебное путешествие скоро отправитесь?

— Зачем ты шутишь, Сережа? — сказала Люба.— Не думай, что мне легко. Ты сам во всем виноват.

— Конечно, конечно... Я виноват.

— Вот ты опять шутишь...

— Какие уж тут шутки! — минорным тоном сказал Тоболин.— И как же это так у тебя быстро вышло? Всего две недели назад мы виделись... и ты тогда ни слова, и вдруг... Может, не я шучу, а ты шутишь? Приезжай на вокзал, поговорим.

— Нет, нет, Сережа, я не шучу... И ты прости... но не ищи, пожалуйста, встреч со мной.

Тоболин с минуту молчал, слушая ее прерывистое дыхание: она ждала, что он скажет. И он сказал наконец, взволнованно и глухо:

— Не буду... не буду искать встреч. Прощай. Будь счастлива.

И повесил трубку, повесил медленно, осторожно, будто боясь разбить ее. Потом машинально стал набирать номер Любиного телефона, забыв опустить монету. Опустив монету, снова набрал. Послышались короткие прерывистые гудки.

Занято. Значит, Люба уже с кем-то еще разговаривает. Вполне возможно, с Васенькой своим. Ну и пусть!

Через час он уехал в Даниловку и с тех пор с Любой ни разу не видался.

8

После этой драмы Тоболин еще увлеченней отдался работе в школе и над диссертацией о Горьком. Так шли дни за днями. Много раз, навещая своих родителей, Андрей Травушкин говорил Тоболину, что пора вернуться в город, пора по-настоящему взяться за диссертацию. Работа над диссертацией подвигается успешно, уверял Тоболин, но в город пока его не тянет, в селе ему интересней, а главное — здесь он нужней. В начале сорок первого года диссертация была наконец завершена, перепечатана на машинке в трех экземплярах и вшнурована в твердые синие папки. Павел Гурович скончался в сороковом, на кафедре теперь был другой профессор, присланный из Москвы. Труд Тоболина он быстро прочитал и одобрил. Осенью предполагалось провести защиту. Война все расстроила. А любовь? Как же с любовью? Она долго не угасала. Он был убежден, что под давлением отца Люба вышла замуж «без любви, без радости» и, наверно, мучается, раскаивается. И ему все думалось, что, может, она осознает свою ошибку и вернется к нему. Он нашел бы в себе силы «подвести черту под этим недоразумением» и ни одним словом никогда не вспоминать о нем. Но проходило время, Люба не подавала вестей, а он считал неуместным что-либо предпринимать...

...На току напряженно гудела молотилка, вздымая над собой густое облако темно-серой пыли.

Спрыгнув наземь, Тоболин нашел Свиридова, отозвал его в сторонку и решительно заявил, что не может оставаться учетчиком. Председатель снова начал было уговаривать его, но Тоболин вынул из сумки, похожей на планшет, две толстых в красных клеенчатых переплетах тетради и, вручая их Свиридову, деловито сказал:

— Вот, Дмитрий Ульянович... Дело в том, что я ухожу в армию.

— Призвали? — спросил Свиридов не то удивленно, не то испуганно.

— Да! — соврал Тоболин.— До свидания, Дмитрий Ульянович! Поручите кому-нибудь присмотреть за буланым.

— О коне не беспокойся,— сказал Свиридов.— Но кого

же это на твое место поставить? И вправду Мишку Плугова?

— Конечно,— сказал Тоболин.— Он парнишка толковый и старательный. Потянет.

— Думаешь, потянет? Ну хорошо.— Свиридов рывком схватил руку Тоболина, взволнованным голосом выдохнул: — До свидания, Сергей Владимирович, раз такое дело. Не поминай лихом. Может, когда-нибудь и невпопад чего было... Ты уж извини... И на женщин не серчай, что они на тебя на собрании наговорили... не со зла это они.

— Нет, нет, Дмитрий Ульяныч... я понимаю. И вообще обид ни на кого в Даниловке не имею,— растроганно сказал Тоболин с таким видом, будто он и в самом деле уже призван в армию. Теплота, с которой прощался с ним председатель, тронула Тоболина до глубины души. Вполне возможно, что прощаются они надолго, если не навсегда!

Тоболин пешком дошел до Даниловки. Решил зайти к Петру Филипповичу. Надо посоветоваться с секретарем парторганизации. А вдруг скажет, что так поступать нельзя.

Половнев осматривал старую телегу. Тоболин поздоровался, спросил:

— А где же напарник ваш?

— В МТС я его послал... за железом. Плоховато становится с железом-то,— ответил Половнев.— Ну, какие там дела с уборкой?

Тоболин рассказал, что делается в поле, на току. Потом признался: как ушел, как и почему соврал Свиридову.

— Я вас понимаю, Сергей Владимыч,— раздумчиво сказал Половнев.— Наверно, на вашем месте и я так бы поступил. На фронте, брат, такие события, что не пришлось бы и нам, старикам, за винтовку браться...

Половнев хотел еще что-то сказать, но помешал Демьян Фомич. Слегка пошатываясь, счетовод торопливо шел к ним, и Половнев, умолкнув, невольно отвлекся. Демьян Фомич был весь какой-то растрепанный, без фуражки, воротник синей в белую полоску рубахи расстегнут, курчавые черные волосы его шевелило ветерком. Шагов за десять, с каким-то надрывом, он громко и отчаянно заговорил:

— Филиппыч! Что же это такое? Ванюшку-то моего... господи! За что? — Приблизившись, Демьян Фомич трясущейся рукой протянул Половневу небольшой лист бумаги.—

Единственный сын, Филиппыч! — всхлипнул он, и его лицо неприятно сморщилось, по щекам во взлохмаченную бороду потянулись сверкавшие на солнце стеклянные нити слез.— Вся жизнь моя в нем. Только в разум стал входить малый. И вот... одна бумажка! Нету моего Ванюшки. Не перенесу я, Филиппыч!

Демьян Фомич вдруг рухнул плашмя наземь лицом вниз, на притоптанную траву, вцепившись короткими пальцами в свои угольно-черные курчавые волосы, стал рвать их, хрипя и стеная, словно его кто-нибудь душил.

Половнев, не читая, сунул в карман своего кожаного фартука принятую от счетовода бумагу, подошел к нему, нагнувшись, толкнул в плечо.

— Встань, Фомич! — вразумляюще, повелительным тоном сказал он.— Нам с тобой негоже так. Помнишь, сам говорил: плакать можно только женщинам. Ведь если мы с тобой так-то, чего же тогда делать нашим женам?

— Не могу, не могу я, дорогой Филиппыч! — Демьян Фомич еще громче застонал и начал биться лбом о землю.— Белый свет постыл,— бормотал он.— Один он у меня, Ванюша-то! Роду моему конец на нем. Порешу я с собой, Филиппыч! Зачем мне жить?

— Ну, это уж, брат, совсем никуда,— сказал Половнев сочувственно.— Не ожидал я от тебя... совсем ты рассупонился! Понимать же надо: война! Встань, говорю, не срамись! — грубо вдруг прикрикнул он.

Демьян Фомич приподнялся, сел, уставив мутные, мокрые глаза куда-то вдаль.

— Все я понимаю, Филиппыч, все понимаю,— притихнув, подавленным голосом негромко проговорил он, слегка всхлипывая.— Но как с собой совладать? Почему, почему именно мой Ванюха? Можно сказать, сразу под пулю. Никому же еще не приходили такие бумаги. Ох, ох! Боже ты мой! Уговаривал же я его: учись на тракториста. Не захотел. Поди, теперь тоже был бы в танковом училище, как Илюха Крутояров и Вася твой.

Половнев стоял рядом с сидевшим счетоводом. В пристальном взгляде черных глаз секретаря парторганизации — скорбное сочувствие и... тревога. Первое тяжелое извещение, а сколько их впереди?

Тоболин, не сходя с места, молча наблюдал эту суровую сцену, перед которой меркли все трагедии, когда-либо читанные или виденные на сценах театров и в кино. Иван, такой веселый, кудрявый добрый Иван! Хотел учиться одной

математике. Не будь войны, осенью поступил бы, наверно, в университет. Тоболину и отцу своему он обещал обязательно поехать учиться. Тоболин рассказывал о нем заведующему кафедрой математики, и тот заинтересовался парнем. Может быть, из Ивана вышел бы ученый-математик, вроде Лобачевского. А Ивана, молодого, здорового, многообещающего, уже нет в живых, сгорел в пламени проклятой войны. Где-то там и другой даниловец — Ершов Алеша... Уцелеет ли? А может, тоже скоро извещение придет?

Тоболин почувствовал, как к горлу подступает перехватывающая дыхание теплота и глаза влажной пеленой застилает. Было нестерпимо жалко Ивана, отца его, мать, спокойную, работящую женщину, и Ксению — нареченную невесту погибшего солдата, энергичную, гордую девушку-комсомолку. Какой это удар для нее! Тоболин обвел затуманенным взглядом стоявшие невдалеке конюшни, амбары, молочнотоварные фермы. Кругом ни души, весь народ на полях. Солнце нещадно палит.

— Я пойду, Петр Филиппыч,— негромко произнес он.— Сдается, что надо мне сразу ехать в облвоенкомат.

— Да, пожалуй, так будет верней,— одобрительно кивнул Половнев, протягивая Тоболину свою крупную заскорузлую руку с полусогнутым указательным пальцем, немного покалеченным в гражданскую войну.

Тоболин порывисто сжал ее в своей чистой длиннопалой ладони, смущенно улыбаясь, проговорил:

— Только вот не знаю, как быть с учетной карточкой.

— И я, милый, насчет подобных случаев не знаю,— сказал Половнев дрогнувшим голосом.— Придется все-таки в райком заехать, спросить. Впрочем, лучше потом сообщить,— как бы спохватившись, добавил он.— Ежели облвоенкомат призовет вас, партийную карточку востребуют в ту часть, куда получите направление. Опасаюсь, что попадетесь на глаза Демину или еще хуже — Должикову, а они возьмут да и затормозят.

— А облвоенком не затормозит?

— Думаю — нет. Намедни слыхал я — в городе будто начали добровольцев принимать. Не всех, конечно, с разбором.

— Поеду прямо в город,— решительно заявил Тоболин.— Прощайте, Петр Филиппыч. Скажите Гале вашей, чтобы она взяла мои папки... я их у сторожихи оставлю. Больше мне сейчас некому передать их. Пусть сохранит или матери моей перешлет... адрес оставлю.

— Хорошо, хорошо. Не беспокойтесь. Могу и сам зайти. Галя-то не скоро теперь с полей выберется.

Тоболин грустно взглянул на безучастно сидевшего счетовода, качавшегося, как мусульманин на молитве, из стороны в сторону и головой и туловищем. По щекам счетовода текли слезы. Хотел попрощаться и с ним, но понял, что Фомичу не до прощания, и не спеша пошел прочь от кузницы. Когда он входил уже в улицу села, Половнев громко крикнул:

— Сергей Владимыч! Погодите-ка!

Тоболин обернулся. Половнев, не дожидаясь, когда он подойдет, сам быстро приближался к нему, хмуро сдвинув брови. Тоболин тоже заспешил навстречу.

— Ты почему так решил? — впервые обращаясь к Тоболину на «ты», спросил Половнев, когда они сошлись.

Тоболин недоуменно качнул головой:

— Как же иначе?

— Может, геройствуешь?

Тоболин улыбнулся:

— Вон вы о чем! Нет, Петр Филиппыч. Мне ведь не восемнадцать!

— То-то, смотри,— строго сказал Половнев.— Матери-то написал?

— Напишу, когда все выяснится.

— Обязательно напиши. И мне напиши, как и что, в какую часть направят. И оттуда тоже пиши. Находи время. И невесту не забывай.

— Нет у меня невесты, Петр Филиппыч.

— Разве нет? А я все время думал, что у тебя в городе есть какая-то девушка. Жаль, что нет! — сокрушенно проговорил Половнев и неожиданно обнял и поцеловал Тоболина в щеку.— Ну, иди! — тоном команды добавил он.— Может, с Алешей встретишься там. Пиши, не забывай, сынок.

---

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### 1

Обширный двор паровозоремонтного завода. Недалеко от ворот — длинное двухэтажное здание из красного кирпича, прокопченное до черноты паровозным и заводским дымом.

Над входной распахнутой настежь дверью — красная жестяная пластина с видным издалека словом, написанным белыми крупными буквами: «Партком». Слева от двери небольшие пластинки синего стекла с золотыми буквами: «Завком», «Библиотека».

Григорию Половневу частенько доводилось бывать в этом здании. С каким-то особенным торжественным чувством иногда прикасался он к дубовым перилам, отполированным мозолистыми ладонями тысяч и тысяч рабочих рук.

Шум, лязг заводских цехов, стоявших неподалеку, голоса игрушечно маленьких паровозов-«кукушек», сновавших по заводским рельсовым путям, сюда доносились приглушенно, зато запахи угольного дыма, паровозного отработанного пара ощущались острее в проеме лестничной клетки, чем во дворе, потому что, проникая через открытую дверь, они накапливались тут и, не тревожимые движением воздуха, сгущались по углам.

И сегодня и шумы, и запахи, и каменные плиты просторной лестницы с выбоинами от множества подошв — все, все напоминало Григорию былое, ту комсомольскую пору, когда он, еще неотесанный деревенский парнишка, «фабзаяц», с неодолимой и необъяснимой робостью входил в это двухэтажное здание, после деревенских изб казавшееся огромным и величественным. Милая, невозвратимая пора! Пора романтических сожалений о запоздалом вхождении в мир, не так давно отгремевший боями гражданской войны... За ней, за этой порой,— бурные, волнующие годы первых пятилеток, когда стало возможным на весь завод, на всю область и даже, через «Гудок», на всю сеть железных дорог прошуметь славой трудового подвига, почти равной славе воина, сражавшегося за революцию и рабоче-крестьянскую Советскую власть. Не хотелось верить теперь, что эта, совсем еще будто близкая, пора уже становится историей.

Половнев шел по лестнице медленным, сдержанным шагом. Никто не подумал бы и не догадался, глядя на него со стороны, какие волнующие воспоминания, какие жаркие чувства и мысли владели им, влекли по ступеням вверх, каким трепетным ощущением молодости охвачена его душа. Казалось, вернулись тревожные дни первой пятилетки, дни высоких порывов юности, дни, когда все существо его было во власти яростной мечты о встрече лицом к лицу с той ползучей враждебной силой, которая жила еще на земном

шаре и творила свое злое и подлое дело против людей труда,— с силой, наглостью и темным зверством своим похожей на сказочного Змея Горыныча о девяти головах, с которым один на один сражался древний русский богатырь.

«Да, да! Именно эта темная чертова сила двинулась теперь на нас,— думал Половнев.— И я не могу оставаться в стороне. Если и сейчас не настою на своем — я потеряю уважение к самому себе, не смогу прямо смотреть в глаза бате. А мать, а Лиза? Они, наверно, будут плакать... особенно мать... А дети? Не пропадут! Не старое время!»

Навстречу по лестнице густо валили рабочие. Все торопились. Проходило много знакомых. На ходу приветствовали:

— Здорово, Половнев! Какие дела?

— Дела идут, контора пишет,— отвечал Половнев, открыто, весело улыбаясь всем своим курносоватым широким лицом.

— К самому?

— Ага!

— Давай, давай! Может, прорвешься. Имей в виду — заслон крепкий!

И наверх народу шло немало. Некоторые нетерпеливо обгоняли Григория. В коридоре с ним поровнялся заведующий заводским клубом Митропольский. Он поздоровался и взял Половнева под руку.

— В партком?

— Да.

— Насчет добровольности?

— Да,— суховато подтвердил Григорий.

Митропольский сжал его руку выше локтя.

— Правильный ход, старик! — с заговорщицкой улыбкой одобрительно проговорил он.— Я тоже.

В двадцатые годы Григорий учился вместе с Митропольским в школе ученичества. По окончании школы Митропольский некоторое время работал рядом за верстаком, потом был выдвинут на комсомольскую работу, потом учился в институте инженеров транспорта, а окончив его, руководил в клубе двумя кружками — рисования и черчения. После того как Митропольский ушел с производства, встречались они редко. А года два назад его сделали завклубом.

Теперь Митропольский совсем не был похож на того мордастого, краснощекого подростка, с которым Григорий некогда сидел за одной партой. Это был рослый полнеющий человек со свежим, гладко выбритым лицом, с мелкими и тон-

кими, как нитки, морщинками под глазами. От него резко пахло одеколоном. Не отпуская локтя Половнева, он подтянул его к окну, остановившись, доверительно пояснил:

— Добровольность дает преимущества. Если тебя призовет военком, то пошлют в пехоту... И ты пикнуть не посмеешь. А добровольно — я могу настоять, чтобы меня использовали по специальности. Ведь в армии масса специальностей. Тебя, например, могут послать в походные мастерские по ремонту автотранспорта... меня — зав. вагоном-клубом...

Широкие ноздри Половнева раздулись, задрожали. Он не дал приятелю договорить, вырвал из его цепких пальцев свою руку и буркнул:

— Катись-ка ты, Митропольский, подальше! Не путайся в ногах,— и быстро-быстро пошел по коридору.

В приемной парторга было полно людей, сидевших на стульях и кожаном черном диване, стоявших у стен и возле окна. Григорий опешил: «Ого, сколько тут народу! Часа два просидишь, не меньше. Займу очередь да в цех уйду». Хотел узнать, кто последний, но секретарь-машинистка, Мария Ивановна, молодая женщина с гладко причесанными на прямой пробор темными волосами, приятным контральто сказала:

— Входите, Половнев, вас ждут!

Григорий из цеха звонил Марии Ивановне по телефону, можно ли попасть на прием к парторгу, но никак не ожидал, что его сразу примут. «Ждут! — удивился он.— Почему же именно меня? И почему вне очереди?» Окидывая приемную растерянным взглядом, он недоуменно сказал:

— Тут же, наверное, очередь.

— Идите, идите! — серьезно и твердо проговорила Мария Ивановна.

Половнев нерешительно направился к обитой бежевым дерматином двери.

## 2

Парторг Гавриил Климентьевич Федоров, сидя в массивном кресле, таком же черном, как и диван в приемной, разговаривал по телефону. Рядом с парторгом на стуле сидел секретарь райкома партии Тушин Сократ Николаевич, человек лет сорока. Седеющая густая шевелюра блондинистых волос на крупной голове его была немного взлохмачена. Грузный, плечистый, он с трудом умещался на стандартном стуле. Полное бледноватое лицо с легким загаром было

сосредоточенно-серьезным, озабоченным. Около стола, держась обеими руками за спинку незанятого стула, стоял директор завода Виктор Акимович Птицын — сухощавый, высокий, краснолицый, в форменной синей фуражке,— тот самый Птицын, который не так давно был в гостях у слесаря Половнева на семейном торжестве по случаю рождения мальчика.

Закончив разговор, Федоров повесил трубку и, обращаясь к Тушину, сказал:

— Опять военком. «Когда вы, говорит, добровольцев своих к порядку призовете? С мобилизацией еле управляемся, а тут они прут и прут!» Но что я могу сделать? — вопросительно взглянув сперва на секретаря райкома, потом на директора, Федоров беспомощно развел руками.

Птицын приподнял стул и грохнул ножками об пол.

— Это что же творится! — раздраженно воскликнул он.— Работать некому стало. Слесаря, токаря, котельщики, кузнецы в военкоматы чуть не всей сменой! Без спросу, без пропусков покидают завод. Работают одни старшие возраста, да и те, говорят, не все. Например, Никанор Травушкин тоже, кажется, ушел сегодня в военкомат, а человеку уже пятьдесят, если не больше. Анархия какая-то. А во главе кто! Коммунисты! Совсем ты распустил паству свою, Гавриил Климентьевич!

— А по-моему, Виктор Акимыч, просто у тебя на заводе нет производственной дисциплины,— с хитроватой усмешкой парировал Федоров.— Ну как это, уходят люди с производства толпами, а директор ничего сделать не может? Не выпускать и не впускать без пропусков... и вся недолга! На проходной поставить охрану построже... усилить ее.

Худощавое румяное лицо Птицына досадливо сморщилось.

— Да все сделано! И охрана хорошая, и без пропусков не выпускают и не впускают... так они же поверх забора! Словно зайцы! Овчарок, что ли, вдоль забора пустить?

— А что же! Интересная мысль! — серьезным тоном заметил Тушин.— Не мешало бы хоть пару собачек, которые позлей... в порядке усиления охраны завода в военное время, так сказать.

— Здорово! Люди охвачены чувством патриотизма, а директор на них — овчарок! — сердито возразил Птицын, очевидно не поняв, что секретарь райкома шутит.— Нет, товарищ секретарь райкома партии, тут дело не в овчарках и не

в административных мерах. Нужна разъяснительная работа. Но таковая как раз по вашей с Гавриилом Климентьевичем части... И вообще, товарищи партработники, патриотизм, энтузиазм — все это хорошо. Однако пора ввести их в русло организованности. Пора прекратить хождения по военкоматам... и прежде всего коммунистам строго-настрого наказать без разрешения парторганов ни в какие военкоматы не ходить.

— Насчет разъяснительной работы, конечно, верно. Но вы давно должны были объяснить, дорогой Виктор Акимыч, что железнодорожники остаются на своих местах,— наставническим тоном сказал Тушин.— Объяснить, что добровольцами их пока принимать не будут. Наконец, поскорей оформить и выдать брони.

— Брони выданы, кому они полагаются,— сказал Федоров.— Позавчера выданы, но именно бронированные-то и валят в военкоматы.

Все трое разговаривали с таким видом, словно никого, кроме них, в кабинете не было. Половнева, остановившегося у двери, они или не замечали, или делали вид, что не замечают. А ему тем временем все больше делалось не по себе: ответственные работники не одобряют добровольцев, считают их нарушителями дисциплины. «Опять у меня ничего не выйдет, наверно»,— тревожно подумал он. Дело в том, что рабочих завода пока не будут призывать в армию, что завод в военное время имеет большое оборонное значение. И все же Половнев пришел снова, и теперь с намерением добиться своего. Но весь разговор, невольным свидетелем которого он оказался, внушал ему сомнения. Может, и в самом деле он не должен проситься на фронт?

Не дожидаясь, когда на него обратят внимание, он решительным шагом подошел к столу и поздоровался со всеми за руку. Они хорошо знали его как стахановца, не раз он сиживал рядом с ними в президиумах, а с парторгом и вовсе был на «ты».

— Здравствуйте, Половнев! — с улыбкой сказал директор, пожимая его руку.— Ну, как там наш крестник Володя?

— Растет! — ответил Григорий и положил на стол небольшой листок из ученической тетради, исписанный мелкими четкими буковками с завитушками. Из-под листка высовывался кончик другой бумажки, с красной полоской. Бронь.

Парторг удивленно уставился на Половнева каким-то

диковатым взглядом воспаленных с красноватыми веками карих глаз. «Наверно, по ночам не спит. Военное время... партработникам теперь не до сна!» — с сочувствием подумал Григорий, твердо выдерживая утомленный взгляд парторга.

— Ты опять? — сердито, но негромко спросил Федоров.

— Опять,— смиренно подтвердил Григорий.

Федоров всем туловищем откинулся на спинку кресла, шумно, измученно вздохнул.

— Вот от тебя-то я этого не ожидал! — укоризненно проговорил он.— Полюбуйтесь на него! — обратился Федоров к Тушину и Птицыну, как бы призывая их в свидетели какого-то тягчайшего проступка коммуниста Григория Половнева.— Передовой, сознательный рабочий... коммунист, которому подробнейше все объяснено... позавчера выдана бронь... а он — опять! А ты говоришь, Виктор Акимыч, о какой-то особой разъяснительной работе! Что же, к каждому по два агитатора приставить? — Федоров порывисто встал с кресла и нервно заходил вдоль стены туда-сюда.

— Но я же не в военкомат,— угрюмо и как бы виновато возразил Григорий.— Я к тебе, Гавриил Климентьевич.

Он стоял рядом с директором, по-прежнему державшим обе руки на спинке незанятого стула.

— Да какая же разница, Половнев! — возмущенно воскликнул Федоров, остановившись и густо багровея всем своим крупным лицом.— Одни военкому мешают работать, другие парторгам... осаждают, требуют, заявления подают... вносят сумятицу. А я-то думал: зачем просится на прием Половнев? Может, какое рационализаторское предложение у него созрело? Разрешил войти вне очереди, а он, оказывается, с тем же вопросом! Да у меня таких горячих голов полна приемная! Что я с тобой и с ними буду делать? Не имеете права приставать ко мне, от дела отрывать. Дана тебе бронь,— стало быть, работай, выполняй план, как требует военное время.

— Бронь дана не мне, а профессии моей,— возразил Половнев.

— Не профессии и не верстаку, а тебе, как отличному мастеру своего дела! Как слесарю-инструментальщику! — повышая голос, разъяснил парторг, но не очень уверенно. Очевидно, для него было неожиданным такое толкование смысла брони. Немного помолчав, добавил: — Тебе как специалисту и гражданину! — И, как бы обращаясь за помощью,

с раздражением выкрикнул: — Да объясни ты ему, Виктор Акимыч!

— Я кто? Толмач при тебе? — усмехнулся Птицын.— Сам объясняй, сам! Твой выдвиженец и, можно сказать, воспитанник.

— Нечего тут объяснять, Гавриил Климентьевич,— сказал Половнев.— Я же не только гражданин, не только рабочий... и сам понимаю. И по профессии я, может, должен согласиться на бронь. Но ведь я же еще и человек. И вот как человек я не могу... понимаешь, не могу... когда Родина в опасности... И опять же как коммунист,— сбивчиво говорил Половнев, чувствуя, что путается в мыслях и что в словах его нет нужной логики и убедительности.

— А я кто, по-твоему? Не человек, не коммунист? — рявкнул вдруг Федоров.— Но я сижу тут... и выполняю порученное мне дело. Может, думаешь, мне легко тут сидеть и уговаривать вот таких чудаков, как ты? Я не хотел бы на фронт? — Голос парторга, басовитый и резкий, гремел, кипел негодованием.— И он, и он — любой бы хотел! — тыкал Федоров пальцем в Тушина и Птицына.— Но мы работаем, не строим из себя храбрецов! — заключил он и снова сел в кресло.

— Я тоже храбреца строить из себя не собираюсь,— спокойно и мрачно проговорил Половнев, переступив с ноги на ногу, при этом так сильно качнулся всем своим коренастым плечистым корпусом, что слегка толкнул директора.— Совсем не в храбрости дело. И ты, партийный руководитель, должен бы понимать... Зачем же сравнивать меня с собой и с ними,— Григорий кивнул в сторону директора.— Без вас действительно нельзя... от вашей работы зависят тысячи... и производство всего завода в целом. На моем же месте может и другой... и есть кому... старики слесаря просятся на завод, а вы почему-то не принимаете их.

— Как это не принимаем? Кто не принимает? — заинтересованно встрепенулся вдруг Федоров, в упор глядя на Птицына.

— Отдел кадров не принимает,— пояснил Григорий.— Но надо полагать, с ведома Виктора Акимовича.

Директор веселым, смеющимся взглядом (который говорил: «Ну и хитер же ты, друг») посмотрел на Половнева, но промолчал.

Парторг, не спуская с него глаз, еще строже спросил:

— Это правда?

— Отчасти — да! — вдруг несколько смешавшись, отве-

тил Птицын.— Но кого принимать? Старички какие-то по шестьдесят, по семьдесят лет! И тоже из чувства патриотизма! Благородно, конечно, и похвально, однако плана с ними не выполнишь... зарплату же платить придется...

— И ты им отказал?

— Не я, отдел кадров.

— И много их приходило, стариков таких?

— Точно не знаю... говорили, человек либо сорок, или с полсотни.

— Почему же ты мне об этом не сказал?

— А чего говорить!

— Как же чего! — снова начиная багроветь, повысил голос Федоров.— Это же политического значения факт! По-ли-ти-че-ско-го! — по складам, раздельно повторил он.— А ты — «чего говорить»! Эх, Виктор Акимыч. Впрочем, ладно. С тобой мы потом. Ну, а что касается тебя, Григорий Петрович,— обратился парторг к застывшему на месте Половневу,— то дело тут совершенно ясное: бери, друг, свои бумаги и ступай в цех... И больше меня этим вопросом не волнуй. Понадобишься на фронте — мобилизует тебя партия. А пока работай на своем месте.

— Могу уйти, Гавриил Климентьевич, но бумаг своих не возьму.

— Забирай, забирай! — каким-то вдруг отмякшим, миролюбивым голосом проговорил Федоров, подвигая пальцами заявление и бронь Половнева на угол стола.

— Настаиваю, товарищ парторг! — неуступчиво и холодно сказал Половнев.

— Ну ты и упрям же! — Федоров неодобрительно покачал головой.— Битый час растолковывал тебе, а ты так ничего и не понимаешь! Чего с ним делать? — обратился он к Птицыну.

Тот неопределенно дернул плечами и сел на стул. Тушин мягко посоветовал:

— Поставь на бюро парткома, раз такое дело.— Повернувшись лицом к Григорию, увещевающе добавил: — Ну что ты горячишься, Половнев? Зачем поперед батьки в пекло лезешь? Война только началась... и неизвестно, где мы с тобой нужней будем, на фронте или в тылу. Промышленность-то, железные дороги должны будут работать вдвое, втрое больше и лучше, чем в мирное время. Без них же война современная немыслима. Неужели ты и этого не понимаешь? Кстати, ты ведь в вечернем институте учишься, кажется?

— В заочном,— сказал Половнев.

— На каком курсе?

— На четвертый перешел...

— Четвертый курс — это же не шутка! Инженером скоро станешь. Зачем тебе на фронт? Учиться надо.

— При чем же тут, что я могу стать инженером, Сократ Николаевич?

— А при том, дорогой, что государство тратилось на тебя, а ты, недоучившись, бросить хочешь. Так сказать, сбежать с учебы. Разве тебе неизвестно, что наша страна страшно нуждается в инженерах и других специалистах?

— Не понимаю вас, Сократ Николаевич. Сталин сказал: «Отечество в опасности». Разве в такое время об инженерстве, об учебе думать?

— А почему же в такое время об инженерстве и учебе не думать? Конец света, что ли, наступает, как о том старухи некоторые шепчут? Может, ты думаешь, что если война, то все побоку... работу, учебу, закрывай вузы, школы, двери на замок и извещение вывешивай: «Все ушли на фронт!» Так, что ли?

— Не закрывать, но желающих, по-моему, нельзя задерживать. Найдутся люди для тыловой работы,— сказал Григорий ровным пониженным голосом. Ему начинало казаться, что секретарь райкома прав, он же, Половнев, поступает действительно опрометчиво. И убежденность в том, что он нужнее на фронте, чем в тылу, у станка, под воздействием слов Тушина стала слабеть. Не исключено, что еще один «нажим», и Григорий взял бы обратно свое заявление. Но спор его с Тушиным неожиданно оборвал Федоров:

— Ну хорошо, товарищ Половнев. Ты, видать, из породы твердокаменных... Нам тебя не разубедить. Разберем твое заявление на бюро парткома.

— Прошу в моем присутствии.

Григорий почувствовал, что душу его снова захватывает то боевое настроение, с каким он шел из цеха в партком.

— Само собой, в соответствии с решениями Восемнадцатого съезда, по уставу,— насупившись, сказал Федоров и взял заявление Половнева, положил его в голубую картонную папку.— А это возьми пока,— добавил он, небрежно протягивая продолговатый листок с узкой красной полоской наискось.— Бронь твоя нам не нужна. Сегодня в шесть вечера приходи.

## 3

На заседании бюро заводского комитета партии Федоров решительно встал против того, чтобы отпустить Григория Половнева на фронт. Он сказал:

— Половнев получил бронь как человек, необходимый для завода в военное время... и должен работать... А на фронт просится от недопонимания обстановки и перспектив войны.

Половнев снова пытался доказать, что не является необходимым и незаменимым, что и перспективы войны с фашизмом видит и понимает по-большевистски. Но безуспешно: члены бюро парткома единогласно проголосовали за предложение Федорова.

— Обжалую в райком,— заявил Григорий.— Прошу выписку.

Федоров улыбчиво, с видом превосходства посмотрел на него: «Куда ты, мол, ни обжалуй,— все равно у тебя ничего не выйдет, раз ты заводу нужен». И миролюбиво проговорил:

— Имеешь полное право. Выписку получишь завтра утром.

Через два дня Григория пригласили на бюро райкома. Когда он вошел в кабинет секретаря, бюро все уже было в сборе, а Тушин, перелистывая какие-то бумаги, молча приветливо кивнул ему, указав на свободный стул за длинным столом.

— Куда же они девались? — ворчал Тушин, напряженно роясь в ворохе бумаг.

Наконец он, похоже, нашел то, что ему было нужно, и, взглянув мельком на Половнева, с оттенком шутливости сказал:

— Ну что же, начнем, пожалуй. Слушается дело члена партии с одна тысяча девятьсот тридцать четвертого года Половнева Григория Петровича, слесаря-инструментальщика завода имени Дзержинского. Товарищ Половнев — передовик производства, стахановец, он всем нам известен. Желает вступить в ряды РККА добровольно, несмотря на то что имеет бронь. Есть его заявление, вернее, апелляция на решение партбюро завода. В решении сказано, что бюро парткома находит невозможным удовлетворить просьбу товарища Половнева «ввиду крайней нужды завода в квалифицированных рабочих в связи с военным временем».— Тушин обвел присутствующих внимательным взглядом, немного помолчал, потом негромко добавил: — Товарищ Половнев недоволен

таким решением и обжаловал его. Что будем делать? Товарищ Половнев, ты не передумал? Настаиваешь?

— Настаиваю! — взволнованно, глуховато, но твердо ответил Половнев.

— Так что, стало быть, настаиваешь,— раздумчиво произнес Тушин.— Понятно. Товарищи члены бюро! У нас не полностью выполнено требование дать армии коммунистов-политбойцов. Мы недослали двух человек. Один должен вот-вот подойти — это заведующий заводским клубом имени Карла Маркса товарищ Митропольский. Другого обещали с вагоноремонтного завода, но пока не выделили. Может, пошлем Половнева в счет разверстки политбойцом от вагоноремонтного как бы?

— Во-первых, не вяжется как-то... товарищ Половнев с завода Дзержинского, а мы его от вагоноремонтного,— заметил один из членов бюро, человек лет пятидесяти, с худыми, бледными щеками и длинными табачного цвета усами, слегка закрученными на концах.— Во-вторых, послать — это значит по партийной мобилизации, тогда как Половнев просится добровольно. Неправильно получится, несправедливо.

— А что такое политбоец, Сократ Николаевич? — спросил Половнев.

— Это — рядовой коммунист с винтовкой: он не только сам первым идет в бой, но и других увлекает,— пояснил Тушин.— Цементирующая сила армии, так сказать. Политбоец во всем должен служить примером для окружающих...

— И быть агитатором, пропагандистом идей Маркса, Энгельса, Ленина,— добавил член бюро с чисто выбритым бледным лицом.— Разъяснять политику партии, воспитывать патриотические чувства.

— Это само собой разумеется,— кивнул Тушин.— Ты как, Половнев? Согласен стать политбойцом?.. Насчет добровольности мы в своем решении можем особо отметить, то есть что не мобилизуем тебя, а сам ты идешь... добровольно, так сказать. Правильно я говорю, товарищи члены бюро?

— Правильно,— сказал кто-то из восьми членов бюро, но кто именно — Григорий не приметил, в душе же поблагодарил его за поддержку.

— Ты что же молчишь, товарищ Половнев? — спросил Тушин.— Может быть, рассчитываешь идти политруком или в другом звании? Тебе присвоено какое-либо звание?

— Рядовой я, товарищ Тушин, необученный рядовой,— угрюмо ответил Половнев.— И хочу одного: быть в армии

и сражаться за Родину. А по мобилизации или с отметкой «добровольно» — это мне безразлично. И насчет званий пока не думал.

— Да ты не горячись и не сердись,— мягко заметил Тушин.

Порядочно коммунистов, направляемых в армию, повидал секретарь райкома партии Тушин за первые дни войны. И каждый вел себя по-своему. Но все же были и общие признаки в поведении, которые позволяли разбивать людей как бы на категории: первую, вторую, третью и т. д. Явственно в уме Тушина отложилось пока две категории. К первой он относил тех, кто шел на войну смело, без оглядки на свое семейное положение и совсем не задумываясь над собственной судьбой. Таких было большинство. Ко второй — тех, кто был не против идти в армию, на фронт, но стремился попасть на какую-либо командирскую должность или стать политруком, комиссаром, чтобы иметь аттестат, ссылаясь на то, что мать, жена, дети остаются без кормильца. Их немного, но все же они, к досаде Тушина, были.

Сидевшего сейчас на бюро «апеллятора» Половнева Тушин не раздумывая отнес к первой категории. На фронт стремится смело и настойчиво. Ни о каких командирских постах не только не заикается, но, похоже, и не думает. Идет на войну без страха и сомнений, как истинный рыцарь коммунизма, хотя у него остаются жена, двое детей и теща, живущая на его иждивении, о чем Тушину было хорошо известно. И вот этой своей беззаветностью, готовностью на все Половнев и располагал к себе сердце секретаря райкома партии, несмотря на то что сердце это было отнюдь не из мягких, а из прокаленных и закаленных в огне классовых битв.

«Эх, милый! — неожиданно с сочувствием подумал Тушин.— Ты ведь не знаешь, что это за штука — война. Ты даже в армии не служил. Рядовой, необученный. Тебе же будет трудно, ох как трудно. А может, и нам не отпускать его... согласиться с решением бюро заводского комитета, как просил Федоров по телефону?»

Мысли эти в голове Тушина пронеслись в то короткое время, пока он серьезно и вдумчиво всматривался в Половнева, втайне симпатизируя ему и любуясь им. Григорий, глядя прямо в усталые серые глаза секретаря, сдержанно проговорил:

— Я не сержусь, Сократ Николаевич. Но меня волнует такая волокита. Непонятно, почему бюро парткома так

нечутко отнеслось ко мне, то есть к моей просьбе? Дело же абсолютно ясное: человек хочет воевать против фашизма. Зачем его уговаривать, удерживать? Вы же помните, Сократ Николаевич, как шел разговор у товарища Федорова. На бюро парткома все это повторилось. Но я и у товарища Федорова тогда, при вас, и на парткоме доказал, что не являюсь незаменимым, что есть люди, которые готовы и вполне могут заменить меня... и меня и других подобных. А между тем вопрос о приеме стариков до сих пор так и не решен ведь! Дирекции, видите ли, невыгодно принимать их. Это же чушь какая-то! Невыгодно! Идет страшная война, а директор о какой-то выгоде толкует. И в постановлении пишут: «ввиду крайней нужды завода в квалифицированных рабочих в связи с военным временем». Смехота! Дорогой Сократ Николаевич! Нет же пока на заводе «крайней» нужды в квалифицированных рабочих!

«Не можем мы пустить его... не должны,— решил вдруг Тушин, неотрывно, почти с открытым восхищением смотревший на Половнева.— Такие люди в условиях войны и на производстве нужны до зарезу. Он ведь будет и на работе «вкалывать» без всякой меры, не щадя ни сил, ни живота своего. Без таких людей на заводе тоже не обойдешься».

— Да, да! — рассеянно кивнув, согласился он с Григорием.— Насчет приема старых, пожилых рабочих ты прав, товарищ Половнев, вполне прав. Что же касается нужды в квалифицированных рабочих, то тут у парткома подход тоже резонный. И ты напрасно считаешь, что нет в них нужды. Нужда есть, и дальше — больше, станет еще сильнее. Именно потому что — война! План работ на июль уже увеличен... и, наверно, еще увеличат. И конечно, одними стариками недостаток рабочей силы не покроешь... Так что, товарищ Половнев, по совести говоря, лично я затрудняюсь. То есть не знаю, как и быть с тобой. Отправить тебя политбойцом вроде мы и не можем. Ты — доброволец, а политбойцов мы, по указанию сверху, должны отбирать особо, со всей тщательностью... всесторонне взвесив, подходящ или неподходящ человек. И послать его по партийной мобилизации.

— Вот вы и взвесьте меня, и отберите, и мобилизуйте! — перебивая секретаря, с жаром воскликнул Половнев.

— Эка ты какой скорый! — усмехнулся Тушин.— Отберите и мобилизуйте! Мобилизуем-то мы ведь не сами непосредственно, а через первичные парторганизации. А твоя заводская парторганизация уже выполнила план разверстки по мобилизации на фронт. Остался только один человек,

этот самый Митропольский... Он почему-то вовремя не явился... Но сегодня придет.

— Вряд ли придет,— усомнился Половнев.

— Почему ты думаешь, что не придет? — спросил Тушин.

— Не захочет он политбойцом. Вместо него — меня направьте.

— Мало ли чего — не захочет... Раз он парткомом отобран — никуда не денется. А тобой заменять его не можем без ведома парткома, ты в список мобилизуемых не включен. Напротив, вишь, какое решение о тебе... Стало быть, ты заводу нужен... и вашему парткому видней. Нет у нас оснований отменять решение заводского партийного комитета. Так что придется нам апелляцию товарища Половнева отклонить, а решение парткома признать правильным и утвердить.

Григорий вскочил как ужаленный. На скулах его кумачово выступили округлые пятна.

— Товарищ Тушин! Что вы какую-то волынку заводите! — перебивая секретаря, потрясая в воздухе обеими руками, раздраженно вскричал он. Григорий не мог сдержаться, хотя и понимал, что так не полагается разговаривать рядовому коммунисту с секретарем райкома.— То вы готовы были послать меня политбойцом, а теперь пошли вдруг на попятную... Дипломатию в ход пустили: «Партком постановил... парткому видней... мы не можем». Бюро райкома — вышестоящая организация... Вы вполне можете... Согласно уставу можете, и у вас есть основания отменить решение парткома обо мне. Но вы, именно вы лично, товарищ Тушин, почему-то не хотите... Почему? Скажите прямо: Половнев недостоин быть в Красной Армии, поэтому мы, мол, не можем удовлетворить его просьбу...

Тушин медленно, словно придавленный какой-то незримой тяжестью, приподнялся. Бледноватое усталое лицо его слегка порозовело, серые глаза удивленно расширились.

— Да ты что, товарищ Половнев! — растерянно пробормотал он.— Ты недостоин?!

— Да, видимо, я недостоин,— запальчиво продолжал Григорий.— У вас, наверно, есть какие-нибудь документы... Какая-нибудь кляуза... Это вполне возможно... потому что на производстве у меня не только друзья, есть и недруги. Выкладывайте на стол... что у вас там, в бумагах ваших... Вы же чего-то копались в папке, да не нашли или решили пока не вытаскивать... Чего же тянуть, играть в жмурки, в кошки-мышки... время понапрасну тратить?

Тушин стоял и молча так глядел на Половнева, словно не узнавал его. Наконец качнул удрученно своей большой блондинистой головой, негромко заговорил:

— Слушай, товарищ Половнев... Это ты уж того... пересаливаешь... Так что определенно пересаливаешь. Я даже не знаю, что тебе сказать! Кошки-мышки! — Тушин немного повысил голос.— Оказывается, товарищи члены бюро, мы с вами собрались играть в кошки-мышки. И мне, секретарю райкома, в этой игре отводится роль старого хитрого кота... а вам, остальным, я уж и не пойму какая! — Тушин снова, теперь уж сердитым взглядом, окинул Григория с ног до головы.— Ты добровольцем хочешь, товарищ Половнев... это хорошо! Честь и хвала! Но это не дает тебе права обижать... оскорблять и меня и бюро... Так что ступай-ка ты в цех и работай, как положено работать большевику в военное время. Не...— Тушин хотел сказать «не шляйся», но удержался и сказал: — Не броди по парторганизациям и военкоматам... так что вот такое дело!

— Нет, буду бродить, пока не добьюсь! — раздраженно выкрикнул Григорий.

— Добиваться — твое право, право коммуниста... Но мы на данном этапе удовлетворить твою просьбу не можем. Правильно я говорю? — обратился Тушин к членам бюро.

— Правильно,— раздалось два, не то три голоса.

— А может, все же отпустим его? — сказал один из членов бюро, пожилой старик с седоватой бородкой клинышком, очень похожий на Михаила Ивановича Калинина, только без очков.— У человека большое патриотическое чувство... не надо бы охлаждать или приглушать.

— Мы разве охлаждаем или приглушаем? — возразил Тушин.— Мы подходим по-серьезному, по-деловому и... по-партийному. Чувство — это настроение. Мы же с вами должны решать не по чувству, а по разуму... с точки зрения целесообразности... Какие будут предложения по делу Половнева?

— Утвердить решение заводского партийного комитета,— сказал член бюро с длинными усами.— Политбойцом послать его мы без заводской парторганизации не можем, а отменять решение парткома у нас нет причин.

Других предложений не было. Тушин сказал:

— Я думаю, мы так сформулируем наше постановление: одобрить и приветствовать патриотический порыв товарища Половнева и настойчивость, проявленную им в его стремлении добиться посылки на фронт в качестве добровольца.

Но, принимая во внимание нужду завода имени Дзержинского в квалифицированной рабочей силе в связи с военным временем, согласиться с решением бюро заводского комитета, апелляцию же товарища Половнева отклонить. Согласны? Может, я не очень грамотно сформулировал, в таком случае после можно подправить.

— Сформулировано правильно,— сказал старик, похожий на Калинина.— Но слово «приветствуем» надо выбросить. Нелогично получается. «Приветствуем», а на фронт не пускаем.

Выйдя из райкома, Григорий остановился в размышлении: куда же ему теперь идти и что делать? Не терпелось сейчас же направиться в горком или обком партии, наверняка там можно еще застать кого-либо из секретарей, хотя шел уже восьмой час вечера. В мирное время и то секретари нередко задерживались в своих кабинетах допоздна, а в военное — раньше полуночи, наверно, домой не попадают.

Прежде чем идти куда-нибудь, Григорий завернул в сквер, находившийся неподалеку, и сел на скамейку. Надо обдумать, куда, к кому идти, что и как написать, что говорить.

Солнце уже совсем склонилось к горизонту... «Может, завтра утром пойти? Но как же утром пойдешь, работать ведь надо. Если завтра, то уж после работы... Начать придется с горкома партии... по инстанции. Но к кому обратиться? К секретарю или в военный отдел? Пожалуй, лучше к секретарю. А что я ему скажу? О решениях парткома и райкома умолчать? Но ведь он обязательно сейчас же позвонит и спросит. И вообще врать и умалчивать нехорошо».

— Здравствуй, товарищ Половнев!

Григорий не заметил группы людей в военном, во главе с секретарем обкома партии Никитиным, в штатском костюме и белой рубашке, который, отделившись, подошел к нему.

— Здравствуйте, Владимир Дмитриевич! — сказал Григорий, поднимаясь.

— Отдыхаешь? — спросил Никитин, подавая руку.— Это стахановец завода Дзержинского,— отрекомендовал он Григория военным. Военные (их было четыре человека) подошли и поздоровались.

Пожав военным руки, Григорий сказал:

— Не отдыхаю, Владимир Дмитриевич, а думаю.

— Интересно, о чем же думы? Садись, расскажи, если не секрет,— сказал Никитин, присаживаясь на скамейку.

Григорий сел рядом.

Военные вежливо отошли в сторонку.

— Думы очень простые,— сказал Григорий.— На фронт хочу, а меня не пускают.

— Кто не пускает?

Григорий вкратце рассказал, кто его не пускает.

— И вот я думаю: к кому теперь? В горком, если по уставу. Но время-то идет. И опять же опасаюсь: горком утвердит решение парткома и райкома...

— Ясно,— сказал Никитин.— Ты очень хочешь?

— Разумеется.

— Приходи завтра к десяти утра прямо ко мне.

— Рабочее время у меня, Владимир Дмитриевич.

— Скажи кому следует, что я тебя вызвал... Решим твой вопрос.

---

# ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

## 1

В десять утра Григорий был в приемной первого секретаря обкома партии. Когда вошел в кабинет, Никитин, не вставая с кресла, протянул ему руку, а потом подал большой засургученный пакет с пометкой «Секретно. Срочно».

— В сущности, ничего секретного тут нет,— Никитин слегка улыбнулся.— Это решение бюро обкома по твоему делу. Проведено опросом. Военкому я звонил, с парткомом и райкомом договорился. Так что на вполне законном основании идешь ты в ряды армии политбойцом. На фронт, конечно, сразу тебя не пошлют, поскольку ты необученный... впрочем, это воля военкома... устраивает тебя такой оборот?

— Безусловно! — обрадованно и взволнованно ответил Половнев.— Большое вам спасибо, Владимир Дмитриевич!

— Мне за что же! Тебе спасибо... ты идешь социалистическое отечество защищать. А я, как видишь, вот сижу... хотя не старик и не инвалид. Ну, да что о том толковать! Заявление написал? Оно, братец, нужно обязательно... мне ведь на слово поверили члены бюро.

— А как же! — поспешно ответил Половнев, совсем было забывший, что вчера условлено: он напишет и принесет заявление в бюро обкома с кратким изложением того, как и почему партком завода и райком не вняли его просьбе.— Весь вечер пропотел,— с улыбкой пояснил он, вынимая из

бокового кармана пиджака лист бумаги, свернутый вчетверо.

— Подключим к постановлению, для истории, так сказать.— Насупив черные с небольшой извилинкой брови, Никитин деловито прикрепил скрепкой заявление Половнева к подлиннику протокола.— Ну что же, Григорий Петрович! — Он встал и шагнул к Григорию.— Бывай здоров! Прошу — пиши! Ты теперь мой крестник. О семье не тревожься, не оставим. А сейчас иди прямо к военкому. Пакет сдай ему лично.

И он крепко пожал Половневу руку.

...Приемная военкомата. Полно призванных и добровольцев, смутно маячивших в табачном дыму, как в тумане. Половнев с трудом протискался к двери кабинета, обшитой бежевым дерматином. Но едва взялся за скобку, раздались окрики:

— Куда лезешь!

— В очередь!

А кто-то из стоявших поблизости ухватил его сзади за полу пиджака.

Григорий на секунду задержался, приподнял вверх засургученный пакет, повернул его пятью красными крупными бляхами сургучных печатей так, чтобы всем было видно.

— Срочно! — громко сказал он, насильно оторвавшись от державшего его за полу пиджака.

За длинным столом с толстыми дубовыми ножками, накрытым ярким кумачом,— военком с черными густыми усами, в гимнастерке цвета хаки, с двумя бордовыми шпалами на отложном воротнике. Григорий хорошо знал его: видал на торжественных собраниях, праздничных демонстрациях. Рядом с военкомом — незнакомый Григорию военный помоложе, с чисто выбритым лицом. Слева от военкома — штатский со светлой бородкой, в очках, в сером пиджаке. Поодаль от стола — молодой человек лет двадцати трех, бритоголовый, в голубой рубашке, с засученными по локоть рукавами, в желтых полуботинках.

Григорий подошел к столу, положил перед военкомом пакет и свою бронь.

— Знаю, знаю,— кивнул военком, прочитав бумагу.— Идите на врачебную комиссию.

И дал Григорию талончик.

На выходе от военкома, почти у самых дверей, Григория остановил паровозный машинист Сидоров Константин Павлович — брюнет с крупным одутловатым лицом, прия-

тель. Когда-то учились вместе. Обрадованно поздоровались. Они не виделись с лета сорокового года.

— Ты к военкому? — спросил Григорий.

— Был уже! — Сидоров нервно шевельнул широкими черными, почти сросшимися над переносьем бровями.

— Мобилизован или добровольно?

— Не мобилизуют. Бронированный! — скороговоркой сказал Сидоров и криво усмехнулся тонкими губами.

— А куда же бронь девал? — пытливо прищурившись, спросил Григорий, подозревая, что приятель какой-то хитростью задумал прорваться на фронт, как многие делали в эти тревожные дни.

Сидоров вроде бы смутился.

— Сдал военкому.

— А военком что же?

— Пройди, говорит, комиссию и вернись к нам, то есть к тройке этой. Посмотрим, дескать, что с тобой делать.

— Ну, а ты сказал, почему в армию хочешь?

— Сказал, что меня партком прислал... в качестве политбойца.

— Тебя действительно партком прислал? — Половнев все еще не понимал, как и почему Сидоров оказался в военкомате.— Ежели партком, так бронь ты должен был сдать.

— То-то и оно, что никто меня не посылал,— понизив голос, ответил Сидоров и невольно оглянулся: не услышал бы кто-нибудь.

— Да ты с ума спятил, Костя! — полуиспуганно проговорил Григорий.— Вернись сейчас же и признайся военкому... иначе влетит тебе.

— Нет... не пойду. Авось проскочу. Раз он бронь принял, значит, поверил. Теперь врачебную пройти бы.

Григорий с сомнением покачал головой:

— Вряд ли что выйдет... Спровадят тебя восвояси подобру-поздорову.

— Ну почему спровадят? Я же теперь не на паровозе, а машинист-инспектор. Вполне заменимый. Вместо себя начальнику депо привел опытного дедка... он до пенсии как раз и был инспектором. Дедок страшно рад.

Сидоров говорил негромко, но так быстро, что Половнев не без труда улавливал смысл его речи.

— Все равно ничего у тебя не выйдет,— уверенно сказал Григорий.— Тут у них порядок строгий. С нашего завода многие пытались этак-то... возвращали обратно, причем рядовых слесарей, токарей... может, ты и проскочил бы, если бы

не был знаменитым,— Григорий дружелюбно похлопал приятеля по плечу.— Военком-то отлично знает, кто такой ты есть.

— Так я и не скрываю,— потускнев, проговорил Сидоров.— И на кой леший она привязалась ко мне, знаменитость эта? — В голосе его прозвучало искреннее огорчение.— Не гонялся я за ней... и вовсе не нужна она мне!

— Нужна или не нужна — теперь значения не имеет. Она, брат, не лапоть, с ноги не сбросишь.

Сидоров действительно об известности никогда не думал и не хлопотал. Она как бы сама пришла к нему. Работая на товарном паровозе, он достиг большого по тому времени мастерства в вождении машины и в экономии топлива. Однако сам не считал такое достижение чем-то особенным. «Средняя техническая скорость сорок пять километров вместо плановых тридцати семи — не так уж много,— думал он.— Будь паровоз посильней — и больше можно дать».

Но о нем начали говорить, писать в газетах, ставили в пример другим. А весной тридцать восьмого вызвали во ВЦИК, и сам Михаил Иванович Калинин приколол к его пиджаку орден Трудового Красного Знамени.

«Неужели же Половнев прав... и меня могут «затормозить» из-за этой самой «знаменитости»?» — с тревогой подумал Сидоров.

2

Не успели они продвинуться шага на два, на три (очередь во врачебную комиссию начиналась, вернее, кончалась у приемной комнаты),— открылась дверь кабинета, и штатский с бородкой громко позвал:

— Митропольский!

— Здесь! — бодро отозвался из густой людской массы приятный, сочный, как у артиста, баритон.

Перед Митропольским расступились, и он не спеша, важно проследовал к полуоткрытой двери кабинета — в белой рубашке с вышитым воротом, полнотелый, цветущий, с чуть приподнятой кудрявой головой, на которой повыше затылка светлела плешинка покрупнее серебряного рубля.

Половнев и Сидоров, дотоле не замечавшие Митропольского, многозначительно переглянулись.

— Либо тоже доброволец? — сказал Сидоров, удивленно пожав одним плечом.

— А ты думал как! — загадочно улыбнулся Половнев.

— Никогда не ожидал! — пробормотал Сидоров.— Ты же помнишь, что это был за человек... единственный во всем техникуме. Бывало, привезет чего из дому — и все сам сожрет украдкой... Не верится, чтоб такой добровольно на войну пошел.

И, словно в ответ на сомнение Сидорова, из слегка приоткрытой двери кабинета донесся громкий баритон Митропольского:

— Позвольте, товарищ военком! Почему же рядовым политбойцом?! Я — инженер по образованию... винтовку в руках отродясь не держал.

— Пройдете лагерный сбор, там вас подготовят,— лениво и скучновато прогудел голос военкома.

Кто-то изнутри плотно прикрыл дверь. Как пошел разговор дальше — Половнев и Сидоров не могли услышать. Но и того, что они услышали, было вполне достаточно. На какое-то время они оба как бы остолбенели. Половнев опомнился первым. Качнувшись всем корпусом назад и слегка задрав кверху скуластое лицо, он вдруг раскатисто захохотал.

— А ты угадал, Костя! Вот типус! Ох и влип же он! — сквозь смех говорил Григорий.

— Чего же тут смешного? Таких бить надо, а ты смеешься,— сердито скороговоркой проворчал Сидоров.

— Ну как же! — весело воскликнул Григорий.— Он же хотел добровольцем... надеялся должностишку повольготней получить. И меня одобрял: правильно, мол, делаешь, что добровольцем идешь, можно получше устроиться. А его — политбойцом и рядовым! Слыхал, что ему военком сказал?

— Разложился человек, а тебе смешно,— сердито ворчал Сидоров.— Разве такой будет воевать?

— Будет воевать! — угрюмо заметил стоявший рядом с Половневым и Сидоровым мужчина лет сорока, с маленькими черными усиками.— В лагерях, а потом на фронте его просолят, чтобы дальше не разлагался.

В это время Митропольский вышел из кабинета — хмурый, расстроенный. Ни на кого не глядя, поспешно протискался к выходу. Теперь перед ним уже не расступались.

Минут через тридцать Половнев и Сидоров прошли врачебную комиссию, они оба побывали еще в одной комнате. Там им объявили, где получить обмундирование, и сказали: послезавтра к одиннадцати утра быть на втором пути товарной станции. Куда их отправят — этого не объяснили, и приятели решили, что на фронт.

— Зачем, собственно, к военкому теперь? — говорил

Сидоров.— К службе я годен, послезавтра отправят... о чем еще разговаривать?

Но Половнев сказал, что к военкому обязательно нужно зайти, если приказано. Дисциплина же! К ней теперь надо привыкать.

— Военком ведь помнит, что ты должен к нему вернуться.

У военкома Сидоров и двух минут не пробыл. Вышел, вернее, выскочил оттуда мрачнее тучи, багрово-темный, злой.

— Зря я тебя послушался! — бормотал он, подходя к Григорию.— В суматохе военком, может, и забыл бы обо мне...

— Что тебе сказали? — требовательно спросил Григорий.

— Напророчил ты, ну тебя к черту. Все по-твоему вышло. Но раз ты знал, что так может получиться, зачем же было подталкивать меня? «Дисциплина»! «Надо привыкать»! — передразнил Сидоров Половнева.— Вот и привыкай теперь один. Пошли отсюда!

Вышли во двор. Тут Сидоров немного успокоился и рассказал, что действительно военком сам или кому-то поручил... в общем, позвонили в партком.

— И военком приказал мне идти работать. Пожурил, конечно... и пообещал, что партком, дескать, разберется и выговорок мне припаяют... для первого раза... за нарушение трудовой дисциплины и за обман военного комиссара, начальника депо и так далее. Вот такие дела, Гриша! — мрачно закончил Сидоров. Помолчав немного, со вздохом предложил: — Пойдем выпьем с горя! И зачем я обратно к военкому пошел?

Половневу стало жалко приятеля.

— А ты не отчаивайся! — сказал он.— Сходи в райком, в горком партии. Попросись по-хорошему. А лучше иди прямо к Никитину.

И рассказал, как он сам добивался отправления в армию.

Пробираясь среди скопившихся во дворе мобилизованных и добровольцев, они натолкнулись на Володю Лубкова, сына соседа Половнева по квартире: Григорий жил в одном доме с редактором областного альманаха и был дружен с ним. Частенько ездили на Дон бирючка, судака, а то и стерлядь ловить, и, конечно, почти всегда с участием Володи. И теперь, увидев Половнева, Володя сильно обрадовался и звонким полумужским баском воскликнул:

— Здравствуйте, Григорий Петрович!

Половнев поздоровался с парнем за руку, остановился, познакомил с Володей Сидорова и спросил:

— Отца призвали?

— Нет, папу пока не призывают... Он сам ходил в военкомат, но его не приняли... по годам и по здоровью.

— А что же ты тут делаешь? Провожаешь кого-нибудь?

— Я — сам! — ответил Володя, смущенно переступая с ноги на ногу.

Половнев не понял:

— Чего — сам?

— На фронт иду! — густо краснея всем своим круглым и без того румяным лицом, почти торжественно произнес Володя.— Добровольцем,— заметив недоумение на лице Григория, поспешил он пояснить.— Я не один... нас тут много. Почти весь наш класс. Мы все твердо решили добиться, чтобы нас отправили.

Вид у Володи теперь уже был не смущенный, а бесшабашно-решительный.

Половнев окинул его вопросительным взглядом:

— А отец знает?

— Нет! — весело ответил Володя.— Пока не знает. И вы, дядя Гриша, не говорите ни ему, ни маме моей. После я сам скажу. А сейчас не надо. Очень прошу вас.

— Молод же ты, Володя! Тебе же, по-моему, и шестнадцати еще нет. Правда, парень ты рослый... но все же...

— Пятого мая шестнадцать исполнилось... паспорт уже выдали,— сказал Володя.— Я — крепкий, по росту и комплекции вполне могу быть бойцом.

— Крепкий-то крепкий... но несовершеннолетний, а несовершеннолетних в армию у нас не принимают.

— А Гайдар!

— Другое время было, Володенька!

— Время и теперь суровое настало, дядя Гриша,— многозначительно проговорил Володя.— Может, более суровое, чем гражданская война! И вы отлично понимаете это, дядя Гриша... Потому — и доброволец!

«Вот и поспорь с ним! Рассуждает как взрослый... Девятый класс! Видать, парень-то политически вполне подготовлен»,— подумал Григорий и, удивленно расширив глаза, проговорил:

— Я — доброволец! Первый раз слышу! Зачем, собственно, мне добровольцем? Я — по партийной мобилизации.

— Не! Не по партийной! — Володя широко, белозубо улыбнулся своими мягкими, полными губами подростка.— Я-то знаю. Тетя Лиза по секрету моей маме говорила, а я нечаянно услыхал. Но тетя Лиза не против... она только боится

за вас... Женщины все боятся. Даже плачут некоторые. Им трудно понять... у них сердце очень жалостливое.

Половнев перебил Володю:

— Тетя Лиза говорила? Чего-то она не поняла. По партмобилизации я.

— Она от соседок узнала... будто вы в обком ходили.

«Черт бы их побрал, соседок этих! Пронюхали откуда-то! Не иначе, из друзей моих кто-то проболтался! Ну, леший с ними».

— Но если от соседок, то это же слухи, Володя! Не носил я никаких заявлений. Не такие мои годы, чтобы под алыми парусами романтики по неизведанным морям плавать! И тебе, Володенька, не советовал бы я парусами этими увлекаться! Война, дружок, не романтика! Не спеши. Придет твое время. А пока учиться тебе надо.

Сказал и невольно вспомнил: «Мне тоже советовали учиться!»

— Напрасно вы так, дядя Гриша! — Володя вдруг помрачнел, полные губы его обидчиво дернулись.— И паруса ни при чем! Я отлично все понимаю. И вас одобряю. А тем глупостям, которые о вас во дворе некоторые женщины болтают, не верю.

— Что еще за глупости? — спросил Григорий.

— Да будто в добровольцы вы записались не от хорошей жизни... будто у тети Лизы ужасный характер и вы готовы хоть на край света сбежать от нее. Это же чепуха! Я-то знаю тетю Лизу.

Тут Половнев не выдержал и так расхохотался, что близ стоящие с любопытством оглянулись на него. Григорий вообще был смешливым и веселым человеком. Засмеялся и Сидоров — молчаливый свидетель разговора Половнева с юношей.

— Значит, не веришь этим глупостям! — успокаиваясь, сказал Григорий.

— Так подобные женщины — просто мещанки, дядя Гриша! Им недоступны «души высокие порывы», они вроде гагар из горьковского «Буревестника»: «Гром ударов их пугает!»

— Именно, именно! — весело подтвердил Половнев, и овсяные брови его слегка подрагивали над смеющимися серыми глазами.— Насчет гагар ты в самую точку влепил, дружище Владимир. Но все-таки посоветоваться с отцом тебе не мешало бы. Отец есть отец, и с ним полагается считаться. Ну, будь здоров!

Половнев и Сидоров пошли по улице к пивному ларьку, у которого тоже была порядочная очередь.

— Может, не будем? — спросил Половнев.

— Надо! — твердо ответил Сидоров, и они встали в очередь.

Помолчав, Половнев, восхищенно улыбаясь, сказал:

— Видал, какая молодежь у нас подрастает!

— Молодежь чудесная,— с готовностью согласился Сидоров.— Только напрасно ты этак с Володей-то. Парень на подвиг идет, а ты ему про какие-то алые паруса! «Несовершеннолетний»! Понятие о совершеннолетии — вещь довольно растяжимая. Бывший наш с тобой дружок Митропольский совершеннолетний, а толку что? И насчет того, чтоб парень с отцом посоветовался,— тоже ты зря! Отец, конечно, будет против.

— А ты — за?

— Я — за! — сурово хмурясь, ответил Сидоров.— Не знаю, как военком...

— А если бы ты был военкомом? Всех таких Володь, наверно, на фронт погнал бы.

— Не всех, с разбором, конечно. И не погнал бы, а добровольно которые — не задерживал бы.

— А о том не думаешь: что они, такие, несовершеннолетние, будут делать там... на войне? Они же почти дети еще!

— Но Володя-то умней нас с тобой: он верно насчет Гайдара сказал.

— Ах, Гайдар, Гайдар! Ведь он все же исключение. И потом — совсем иная обстановка и эпоха. И война иная. Нет, мне очень хотелось бы, чтобы поколение Володи не попало в огонь этой войны. Оно — смена и надежда наша. Ему — коммунизм строить.

— Мало чего нам с тобой хотелось бы! — скороговоркой возразил Сидоров.— А если она сама, то есть молодежь вот такая! Они ведь и помимо военкоматов ухитряются на фронт попасть.

Ни Сидоров, ни Половнев и думать тогда не могли, что именно поколению Володи придется все-таки не только воевать, но и гнать фашистов восвояси.

### 3

Поезд прогрохотал по железнодорожному мосту и помчался сквозь Князев лес. Григорий стоял у настежь открытой двери и смотрел, как деревья, зеленые небольшие

поляны, освещенные ярким летним солнцем, медленной каруселью поворачивались назад. Справа, за лесом, километрах в четырех — Даниловка, поля колхоза «Светлый путь». Там прошло детство Григория, там — его мать, отец, сестры, с которыми он так редко и мало виделся. «Все вроде некогда!» — покаянно думал он теперь.

Последний раз Григорий был в Даниловке летом тридцать девятого. С женой и дочкой. Хорошо они тогда отдохнули! Весь его отпуск провели у родных. Григорий ловил с отцом рыбу. Иногда бывал в кузнице, работал молотком — помогал отцу. Помогал и в колхозной работе: косил, убирал сено. Была как раз пора сенокоса. В сороковом тоже собирался провести отпуск в Даниловке, но выдали ему за ударную работу бесплатную путевку в железнодорожный дом отдыха, что в Алупке, и жена уговорила поехать туда всей семьей. Ну что такое Алупка? Море, дворец Воронцова, парк! Чудесный парк, конечно. И вообще на юге все интересно, красиво. А разве речка Приволье, село Даниловка, люди ее, девять десятых которых знают и помнят тебя, приветливо кланяются, как другу,— хуже Алупки? И если по совести, то он вскоре пожалел, что променял Даниловку на Крым, заскучал было. Но тут подъехал Сидоров. Стало веселей, и они подружили как бы заново, пожалуй, покрепче, нежели в школе ученичества. Были они теперь не парнишками, а зрелыми людьми; кроме воспоминаний о годах совместной учебы, нашлись общие мысли, чувства. Чуть не каждый день играли в шахматы с переменным успехом. Впрочем, Григорий был посильней, но так как Сидоров болезненно переживал поражения, то приходилось иногда сводить вничью и даже намеренно проигрывать, разумеется «тонко», чтобы партнер не догадался. Дело в том, что игрок Сидоров был неплохой, но любил он красивые, замысловатые комбинации и из-за этой любви нередко попадал в трудные положения: увлечется своим планом, а как и что делает партнер — недоглядит.

Не без удовольствия вспомнив теперь Алупку, совместные купанья, прогулки, игру в шахматы, Григорий невольно поглядывал на приятеля. Хорошо все-таки, что в армию они попали вместе. Сидоров — славный товарищ, верный, на него всегда и во всем можно положиться... Невольно вспомнилось (да этого и забыть никогда нельзя), как Григорий с Лизой так непрактично и размашисто зажили в Алупке (Лиза с дочкой помещались в Алупке-Саре, на частной квартире, а питались в доме отдыха), что под конец у них ни копейки не осталось на дорогу, и хотя билеты были бесплатные, но

ехать суток двое пришлось бы им натощак. Выручил Сидоров, дав нужную сумму.

А Сидоров — задумчивый и серьезный — стоял с другой стороны, прислонившись крупным плечом к косяку двери, нахмурив черные, почти сраставшиеся над переносьем брови. Он тоже смотрел на лес и тоже, наверно, думал о чем-то своем, вспоминал что-нибудь. А возможно, он был еще во власти переживаний и впечатлений от проводов и прощанья с семьей. Григорий видел на платформе станции, как плакала и убивалась его жена, то и дело хватаясь за мальчиков — одному лет восемь, другому не больше десяти,— и слышал, как она жалобным голосом, плаксиво сквозь слезы лепетала:

— Ну что я с ними? И зачем ты сам-то? Другие же остались... работают.— Помолчав немного, поднимала на мужа слезящиеся глаза и умоляла: — Береги себя, Костя... Один ты у нас... И пиши почаще.

Что там ни говори, а расставаться с мирной, налаженной жизнью, с женой, с детьми, с работой — трудно, ох как трудно. Ему-то, Григорию, было немного легче, нежели Сидорову. Во-первых, он не разрешил брать на станцию дочь (с детьми особенно тяжело прощаться); во-вторых, Лиза все время вела себя строго и выдержанно: ни слезинки, ни упреков, никаких просьб. Все у них вышло так спокойно и просто, словно Григорий ехал в командировку. Может, потому так получилось у них, что по-настоящему они простились вчера вечером, в парке культуры, куда сходили напоследок и где Лиза выплакалась вдосталь. Лишь когда тронулся поезд, Григорий заметил, как по щеке жены скользнула крупная слеза.

Да! Жены! Разве они могут без слез провожать мужей на войну? Нелегко и солдату видеть эти слезы.

Постояв некоторое время, Сидоров качнул головой в пилотке и позвал Григория на нижние нары, где они расположились со своими манатками. Когда уселись, Сидоров открыл вещмешок и вынул из него поллитровку с засургученной головкой, булку, колбасу.

Заметив удивление Григория, пояснил:

— Напутственный подарок жены... Обычно журила, если, случаем, выпивши домой придешь, а тут — видишь...

Стукнул ладонью в дно посудины, вышиб пробку, отлетевшую в сторону, с бравым видом заправского выпивохи, мрачновато сказал:

— Давай-ка, Петрович, дербалызнем по маленькой. За наш с тобой успех, так сказать. Боевые мы мужики! Доби-

лись своего. Жена говорит: другие работают, а ты, мол, чего сам в пекло лезешь? А мы не можем работать! Какая работа, ежели он, гад, весь рабочий класс задумал в трубу загнать!

Сидоров достал из мешка небольшую жестяную кружку, налил в нее водки не до краев и протянул Григорию.

— Выпей сперва сам,— сказал Григорий.

— Нет, первая — твоя. Ты — главная причина моей удачи. Не пойди я к Никитину — меня ведь «затормозили» бы. А без твоей подсказки я не догадался бы, а и догадался, так не осмелился бы. И чего партком держал меня — не пойму. Будто я всамделе незаменимый. Не бывает же незаменимых, выдумка это, Гриша, то есть насчет незаменимости... Случись — помер человек... какой бы он ни был дельный или мастеровитый — заменят же кем-то. А брони власть наша придумала из опасения, что большинство рабочего класса кинется на фронт, если не задерживать. У каждого же кипит душа: фашист прет на нас... да как прет! А товарищ Никитин — силен! Достойный секретарь обкома. Давай за его здоровье. Не хочешь первый? Ну хорошо.— И Сидоров, медленно, небольшими глотками опорожнив кружку, поморщился, фыркнул, тряхнув головой, и налил вторую.— Выпей, Гриша, за здоровье товарища Никитина, чтоб ему не икалось. Люблю хороших большевиков, Гриша. С хорошими большевиками рабочий класс никогда не пропадет. А Владимир Дмитриевич, видать, человечный дядька. Сразу принял и с одного слова все понял. Давай за его здоровье,— повторил он.

Половнев не был большим охотником до спиртного, но отказываться в этом случае почел неудобным, несмотря на жару и духоту: и приятель обидится, и за Никитина не грех выпить.

На площадке между нарами тот самый парень, которого Григорий застал у военкома, когда заходил с засургученным пакетом, отбивал трепака под трехрядку, но теперь уже он был не в голубой рубашке, а в гимнастерке и не в желтых полуботинках, а в кирзовых сапогах. А на трехрядке играл молодой человек, сидевший на противоположных нижних нарах. Воротник гимнастерки гармониста был расстегнут нараспашку. Стриженую голову в новенькой пилотке, сползшей на ухо, он склонил к клавишам, играл, ни на кого не глядя, и было похоже, что он играет для себя и его совсем не занимало — пляшут под его музыку или не пляшут.

Пестрый народ был тут в вагоне: инженеры, техники, рабочие, партработники — коммунисты, комсомольцы и бес-

партийные,— добровольцы и мобилизованные. Но всех уравнивало теперь новое солдатское обмундирование.

Ни при посадке, ни при отправлении не было сказано, куда их повезут, однако по тому, что всех обмундировали, подстригли и, за исключением винтовок, выдали все причиндалы солдатские — вещмешки, НЗ галет, противогазы, подсумки, шанцевые лопатки, даже котелки и ложки,— все решили, что повезут их на фронт, а винтовки и другое оружие выдадут где-нибудь в пути.

Настроение у всех было приподнятое. Рядом с Половневым, скрестив ноги в сапогах по-турецки, сидел сухощавый мужчина, согнувшись над какой-то солидного объема книгой. «Как он может читать в такой обстановке?» — удивлялся Григорий.

К плясавшему парню подладился другой, в распоясанной гимнастерке, пошел вприсядку и, вложив два пальца в рот, так пронзительно засвистел, что у Григория в ушах зазвенело.

Тогда первый плясун грянул изо всех сил в дощатый пол каблуками, заглушив грохот колес, выбросил в стороны длинные руки с тонкими пальцами и начал выбивать чечетку, вскрикивая:

Эх, ты! Ходи, Маша!
Счастье наше!

Удаль и веселье ворвались в вагон, и все невольно засмотрелись на плясунов. И неожиданно почудилось Григорию, что все это — буйную пляску, и визгливую трехрядку, и вздувшуюся пузырем гимнастерку плясуна,— все это он уже видел когда-то и где-то. И так же когда-то охватывала его бесстрашная удаль, вызванная гармошкой, разбойным свистом и пляской молодых солдат. Он и сам едва удерживался, чтоб не пуститься в буйный пляс. «Что это такое? Откуда это во мне? Может, и в плясунах и во мне взыграла кровь древних предков наших, которые монголов, крестоносцев и прочих хищных завоевателей били?»

Словно угадывая мысли Григория, Сидоров, очевидно тоже охваченный настроением бесшабашной удали и готовности на все, жуя бутерброд, угрожающе, быстро заговорил:

— Он, гад, думает: двинул армию — и крышка России! Нет Советского государства! Завоеватель хреновый! Шизофреник чертов, мать его в душу! Мы ему зададим, Гриша! — Сидоров погрозил крепко сжатым большим кулаком.— Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!

Вдруг он сорвался с нар и, подскочив к плясунам, начал пританцовывать, неуклюже, по-медвежьи топчась на месте, тоже присвистывая, но не в пальцы, а сквозь широкие плотные зубы. Кончив свистеть, часто-часто заприговаривал:

Ходи, изба, ходи, печь.
Хозяину негде лечь.

На верхних нарах послышались одобрительные хлопки.

— А ну, вдарь как следует!

Сидоров остановился, махнул рукой, вернулся и сел на свое место. Вытирая вспотевшее лицо, глядя на ребят, продолжавших пляску, лица которых тоже были в поту, сказал:

— Будь помоложе, я бы им показал, несмотря что плоскостопый!

— У тебя плоскостопие? — удивился Григорий.

Сидоров кивнул:

— Ага. Меня из-за него раньше и в армию не брали.

— А теперь почему же взяли?

— Да второпях, что ли... не обратили внимания, хотя в военном билете написана статья. Ну, а я промолчал. Раньше сам заявлял, потому и замечали. Да и небольшое оно у меня...

— Почему раньше говорил, а теперь не сказал?

— Раньше в армию не хотелось. Не люблю я военной муштры. И дисциплину военную не уважаю. Ни тебе выпить, ни тебе закусить. Надо сходить куда-нибудь — не пускают. Нарушил дисциплину — на гауптвахту сажают... на хлеб и воду... или на кухню — картоху чистить. Рассказывал мне один дружок. Он срочную службу отбывал. Строгости, говорит, невозможные. На губе посидеть — куда ни шло, вроде отдыха. Но картоху чистить! Ох и не люблю. С детства не люблю.

Григорий усмешливо посмотрел на Сидорова:

— Ну ты и чудак! Ты всерьез или разыгрываешь меня?

— Зачем же мне тебя разыгрывать? Правду, сущую правду говорю, хотя и не всю. Есть у меня и еще одна недоделка моих родителей.

— Что за недоделка?

С видом заговорщика Сидоров негромко, почти шепотом, сообщил:

— Левая нога чуток покороче... совсем немного, а покороче.

Григорий весело засмеялся:

— Не городи чепухи, Костя. Мы же учились вместе...

Никогда я не замечал. Ты бы прихрамывал, если б она была короче!

— Серьезно, Гриша. Как же ты мог заметить... Ботинки или сапоги у меня всегда были опортодические.

— Ортопедические,— поправил Григорий.

— Во-во! Ортопедические. Железнодорожная комиссия и то не замечала.

Григорий озабоченно покачал головой:

— Выходит, друг, совсем ты недоделанный. Как же ты воевать будешь?

— А я и не собираюсь воевать ногами. Для войны — голова, руки, глаза. В стрелковом кружке лет десять состоял. Первый стрелок. Призы брал.

4

Под вечер поезд, в котором ехали Половнев и Сидоров, остановился на станции Л. Тут железная дорога раздваивалась: одна сторона ее поворачивала на запад, а другая — на восток. Сидоров первый заметил, что поезд их пошел к востоку. Как машинист, он отлично знал не только всю дорогу, но даже маленькие станции на ней.

— Гриша,— полушепотом пробормотал он,— куда же нас везут? Ведь если на фронт, отсюда можно только направо... а поезд идет налево.

— Не может быть,— тоже тихо сказал Половнев.

Они оба подошли к полуоткрытой двери. Но Григорий дороги не знал, он видел только, что поезд идет по открытому полю.

— Ты опять меня разыгрываешь, Костя?

— Честное слово. Я дорогу эту изъездил вдоль и поперек...

— Ну, давай помолчим,— сказал Григорий.— Может, это маневры?

— Какие же маневры... Километра четыре уже за семафор отъехали... И вишь, скорость-то какую он взял... не маневренная скорость, Гриша!

В вагоне тихо и сумеречно: освещался он одним фонарем, подвешенным к потолку. Никто, кроме их двоих, ничего, похоже, не подозревал. Очевидно, все по-прежнему убеждены, что едут на фронт. Но на рассвете бойцов высадили на какой-то маленькой станции и, выстроив, привели через пшеничное поле в корабельный дубовый лес и разместили в белых палатках летнего лагеря. Было объявлено, что всем предстоит пройти ускоренную военную подготовку. При рас-

пределении по палаткам Сидоров по счету не попал вместе с Половневым, его поместили в следующую, рядом.

В шесть утра по сигналу рожка на завтрак командиры отделений привели их в столовую. На песчаной земле стояли длинные столы, за каждым из которых на таких же длинных скамьях усаживалось два отделения: одно — с одной стороны, другое — с противоположной. Над столом — толевая крыша на высоченных столбах. Стен в столовой не было. На завтрак дали пшенную кашу с бараньим салом, граммов по триста черного хлеба, по кружке чая и по четыре кусочка пиленого сахара. Сидоров, сидевший по другую сторону стола почти против Половнева, сообщил, что видел Митропольского.

— Физия у него кислая,— говорил он.— Словом, вид приговоренного... А еще знаешь кого я видел? Парнишку того, Володю, с которым ты разговаривал на дворе военкомата. Он во второй роте.

— Не может быть!— удивился Половнев.— Прорвался-таки!

После завтрака их вывели на плац. Это была квадратная обширная поляна в лесу. Обученье началось с шагистики и поворотов на ходу.

То, что Володя Лубков «прорвался» в ряды армии как доброволец, сильно взволновало Григория. Этого умного, развитого парня почему-то чувствовал он близким, родным вроде племянника или брата. И теперь мысль, что через какое-то недолгое время, заодно со взрослыми, Володя будет отправлен на фронт, пугала его, требовала вмешательства.

После ужина Григорий пошел к комбату. Комбат приказал сейчас же вызвать Володю. Чтобы не зародить в парне плохого чувства к себе, Григорий попросил не ссылаться на его сообщение, а его самого отпустить.

— Понимаю,— сказал комбат и отпустил Григория.

Утром Григорий узнал, что Володя Лубков направлен в трехгодичное военное училище в Алма-Ату. «Вот и хорошо,— подумал Григорий.— Пока он будет учиться, война закончится». Но и на этот раз «предвидение» его было ошибочным.

Выяснилось при этом, что Володя в паспорте своем исправил год рождения, в чем он сам признался. Когда комбат стал пробирать его за подделку, парень гордо заявил:

— Я же не в шкурных интересах.

О перемене в судьбе Володи Григорий написал его отцу. От Сидорова же свое вмешательство утаил. Сидоров узнал об этом месяца два спустя, уже на фронте.

# ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

## 1

...И снова обыкновенный товарный вагон. Верхние и нижние нары из свежих сосновых досок, пахнущих смолой. На каждых нарах по десять человек, а всего в вагоне — сорок. Но никто не сетовал: в тесноте не в обиде. Каждый понимал: война!

Все красноармейцы в том же новом обмундировании и в тех же новых кирзовых сапогах, в которых ехали в лагеря. Обучались в старом, поношенном. Едут опять пока без оружия. Сказано, что вооружат в пути, а где — неизвестно. Однако это никого не тревожило. Были уверены, что теперь уж обязательно направили их на фронт, а туда безоружными не повезут.

Оживленные разговоры. Но нет уж того ухарского настроения бесшабашности, какое было, когда ехали в первый день в лагеря. Никто не пляшет, а гармонист играет только песни. Их поют часто. Вот кто-то грустновато звонким, чистым голосом затягивает:

Там, вдали, за рекой,
Зажигались огни,
В небе ясном заря догорала...
Сотня юных бойцов
Из буденновских войск
На разведку в поля поскакала...

Его поддерживают несколько голосов — басы, теноры, альты,— и вагон загудел слаженным хором. Григорий Половнев, сидевший на верхних нарах, тоже подтянул. «Товарищи мои, дорогие мои! Что нас с вами ждет?» — с теплым чувством неожиданно подумал он, окидывая каким-то необычным подобревшим взглядом своих серых глаз бойцов, с которыми не просто сжился, а буквально сроднился.

Пели с подъемом.

...Завязалась кровавая битва,
И боец молодой
Вдруг поник головой,—
Комсомольское сердце пробито.

Григорий видел, как один из красноармейцев, сидевших на нижних нарах, запрокидывал голову, закрывая глаза, очевидно настроенный на минорный лад словами песни.

«Будет, будет и так. Не одно будет сердце пробито»,— с легкой тревогой продолжал думать Половнев. Ему казалось, что чувством тревоги не только он, охвачены все в вагоне, кто пел и кто не пел.

«А может, никто и не думает о том, о чем я думаю? Вообще, наверно, нехорошо и нельзя поддаваться грустным настроениям и мрачным мыслям. Никакой от них пользы, одно расстройство. И что же я за воин, если по дороге на фронт думаю о смерти? Доброволец называется!»

Половнев вдруг спрыгнул с нар, обращаясь в тот угол, в котором сидели запевалы, громко выкрикнул:

— Стоп! Довольно! Разве мы помирать едем? Мы едем фашистов бить!

Песня сразу оборвалась. В вагоне стало совсем тихо, лишь колеса торопливо татакали на стыках: тра-та-та!

— Марш Буденного знаете? — спросил Половнев.

— Знаем,— ответило несколько голосов в разных местах вагона.

— Споем?

— Давай!

Белесые брови Григория, выгоревшие на солнце за время лагерного обучения, слегка поднялись, серые небольшие глаза расширились. Взмахнув по-дирижерски обеими руками, не дожидаясь запевал, он звучным, сочным баритоном начал:

Мы красная кавалерия, и про нас
Былинники речистые ведут рассказ,
О том, как в ночи ясные,
О том, как в дни ненастные
Мы гордо, мы смело в бой идем...

Весь вагон гулко подхватил:

Веди ж, Буденный, нас смелее в бой!..

В открытые двери видны сжатые поля со скирдами снопов и соломы, голубевшие вдали перелески, белые хаты какого-то большого села. И казалось, песня, вырвавшаяся на простор, плыла в воздухе рядом с поездом, не перестававшим грохотать колесами, и волнами уносилась в село, к родным людям мирного труда. Проезжали как раз по полям своей области. В одном из таких сел, только по другую сторону Дона, в 1911 году родился Григорий Половнев. До пятнадцати лет жил дома, а по окончании семилетки пошел в железнодорожную школу ученичества. Отец хотел устроить в среднюю школу в городе, но Григорий воспротивился. В газетах, в том

числе и молодежных, очень много тогда писали о ведущей роли рабочего класса в жизни страны, в государстве, и Григорию представлялось: быть рабочим исключительно хорошо и почетно. Рабочий — это не то что крестьянин на своей единоличной полоске с сивкой-буркой, вещим кауркой. А среднее образование? Зачем оно Григорию? Чтоб сделаться интеллигентом? Меньше всего Григория привлекало тогда среднее и высшее образования, как ни внушал ему отец, что крестьянские дети не должны чураться науки. И вышло так, как Григорий захотел: он стал рабочим. Лишь много лет спустя понял правоту отца и двадцати четырех лет стал учиться в вечерней средней школе, а потом поступил на заочное отеделение МИИТа (Московского института инженеров транспорта) при заводе. Но то, что он учится, от отца пока утаивал, решив открыться лишь тогда; когда окончит институт. Поедет в Даниловку, приедет к отцу и положит диплом инженера на стол. Читай, батя! Вот будет сюрприз! Но, видно, не суждено Григорию стать инженером. «Впрочем, почему не суждено? Разобьем фашистов, продолжу учебу!»

## 2

Да, едущие в эшелоне прошли больше месяца лагерного сбора в вековом корабельном лесу. Погода почти все дни стояла замечательная, лишь два раза были крупные дожди с грозами.

По утрам, проснувшись, едва открыв глаза, Григорий видел бледные догоравшие звезды в сером просвете палатки и слышал протяжный бодрый голос дневального:

— Четвертая рота! Подъем!

Григорий быстро вскакивал и торопливо мчался в рядах бойцов на берег речки. Потом ученье, завтрак, снова ученье. И все это с одним тревожным чувством: «Там война, люди бьются, а я все еще тут!»

По утрам ежедневно он читал строю сводку Совинформбюро, доставляемую из штаба полка. Поначалу это делал политрук Андрианов Василий Поликарпович сам, потом поручил Половневу:

— Читай ты. Я не могу. Людям надо как-то объяснять, что-то говорить. А что говорить — не знаю! Нет у меня слов... Скорее бы на фронт! — заключил Андрианов.

«Скорее бы на фронт!» — вот они слова, которые точно выражали тревожное чувство, не покидавшее и Половнева и его товарищей.

Сводку Половнев читал перед строем похудевших, загорелых людей, одетых в старые, выцветшие гимнастерки, обутых в потерханные ботинки с обмотками (политруку Андрианову удалось достать для занятий поношенное обмундирование), людей, испытующе глядевших на него суровыми, требовательными глазами. В этих глаза закипали гнев и ненависть к фашистам, все более и более наглевшим, судя по сводкам. Наверное, каждый думал: «Будь я там, дела шли бы лучше!» Мысли наивные, даже смешные, но иначе думать люди не могли в те дни. И почти всякий раз после чтения и объяснений раздавались голоса:

— А нас всё учат! А воевать будем, когда война кончится?

«Кончится? Нет, она не может скоро кончиться!»

Григорий отлично уже понимал это не только по сводкам. Что война надолго — он угадывал по напряженности и характеру обучения. Он знал, как и чему обучать предписано свыше. Винтовка, штыковые приемы, пулемет, граната, противотанковая бутылка, окапыванье, ползанье по-пластунски, бешено быстрые перебежки — все это заставляло думать, что людей срочно готовят не к маршевым походам, а к упорным, тяжелым боям. Значит, высшее командование отнюдь не рассчитывает на скорую и легкую победу.

## 3

На небольшой станции Окружной железной дороги эшелон застрял надолго. Прибыли на эту станцию часов в семь утра. От места стоянки поезда была видна каменная громада столицы, золотисто сверкавшая на солнце стеклами окон многоэтажных домов, маячивших в легкой синеватой дымке. Стекла окон в большинстве домов были перечеркнуты крест-накрест полосками белой бумаги — страховка от воздушной волны бомбежек с воздуха! Многочисленные запасные пути по одну сторону были запружены воинскими эшелонами с людьми, орудиями, танками, тягачами, а по другую — платформами с оборудованием и станками: заводы отступали на восток. Были среди поездов и эшелоны с людьми — рабочими, едущими на Урал и за Урал, и красноармейцами, выведенными из строя, раненными в боях. Раненых тоже везли в глубь страны.

Григорий не однажды бывал в Москве, но до сих пор всегда встречался с нею лишь с подъезда Казанского вокзала. Теперь он видел ее как бы с черного хода товарной станции, и в этом деловом, трудовом виде она показалась ему не менее

близкой, родной и понятной, чем в обличье праздничной шумной красоты своих улиц и площадей.

Пути, где был поставлен эшелон, похоже, не так давно подверглись вражеской бомбежке: с обеих сторон местами зияли свежие воронки.

Когда Половнев вышел из вагона, на краю одной такой воронки стояло человек шесть красноармейцев. Они стояли молча. Напряженно, угрюмо смотрели на развороченную черную землю, перемешанную пополам с желтым песком.

Бомба упала недалеко от шпал и рельсов главного входного пути, но не причинила ощутимого вреда. Однако она упала здесь, по эту, восточную сторону столицы. Наверное, бомбили и центр, где Кремль, Красная площадь, Большой театр, улица Горького... Целы ли они? Поехать бы! Хоть одним глазом взглянуть.

Всю свою жизнь, с мальчишеских лет, Григорий Половнев знал и чувствовал, что за рубежами Родины есть враги, которым ненавистны Советская власть, трудящиеся люди, не желающие гнуть спину перед буржуями и считающие себя, а не буржуев хозяевами жизни и всех богатств земли, но никогда ему не думалось, что для этих зарубежных врагов может оказаться доступной великая столица. Даже в мыслях не допускал подобного.

— Да-а-а! — протянул один немолодой красноармеец.— Видали, куда фашист залетел! Это как же понимать, ребята?

Никто не отозвался, и люди в мрачном молчании стали расходиться. Григорий тоже пошел вдоль эшелона. Рядом стоял состав с заводским оборудованием. Почти с детским любопытством разглядывал Половнев, чем загружены платформы. Станки, станки — токарные, фрезерные, изредка дизельные двигатели, покрытые брезентами, большие пульмановские вагоны с запломбированными широкими дверями.

Эвакуация!

Под одним из вагонов, присев на корточки, что-то мудровал человек в синем замасленном комбинезоне, постукивая по тускло блестевшему бандажу небольшим молотком на длинной четырехгранной рукоятке. Осмотрщик!

Поравнявшись с ним, Григорий остановился. Не глядя на подошедшего, будто разговаривая сам с собой, осмотрщик однотонно бубнил:

— День и ночь... день и ночь. Одни к фронту, другие в тыл... Не успеваем осматривать.

— Почему же не успеваете? — заинтересованно спросил Григорий.

— Уж больно много их! — не поднимая головы, ответил осмотрщик.

— Кого много?

— Составов. В июле с ленинградских заводов везли, теперь с московских начали. Вот, братец, какая невзгода нагрянула. Москву рабочий класс покидает.

— Как это покидает? — удивился Григорий.

— Да так... покидает! Станки-то одни, что ль, на Урал и за Урал гнать? Вот, значит, и рабочие туда же, за станками. Утром пять эшелонов проследовало... один за одним.

Григорий некоторое время молчал, глядя в спину синей спецовки, на которой между лопаток темнело неровное масляное пятно в ладонь шириной. Известие, что московские и ленинградские заводы вместе со своими людьми движутся на восток, поразило его до немоты.

— Вот этак-то, дружище военный! — продолжал осмотрщик, встав с корточек и вопросительно глядя на Григория мелкими бусинками неопределенного цвета глаз, ярко сиявших на бритом, измазанном мазутом лице.

— Тяжелые дела,— сказал Григорий, не отводя своего взгляда от взгляда осмотрщика.— Неужели же на него никакой управы нет?

— На кого на него? — Осмотрщик продолжал смотреть на Половнева с таким выражением, словно именно он, Григорий, повинен в том, что так тяжело складывалась обстановка и обе столицы оказались под угрозой вражеского захвата.

— На Гитлера,— раздраженно пояснил Григорий.

— А...— сказал осмотрщик, отводя наконец глаза от Половнева куда-то в сторону и выше. Помолчав немного, нахмурился и, огорченно вздохнув, недовольным тоном добавил: — Выходит, что нет у нас управы на Гитлера... слабей его оказались мы. Гонит он наших, в хвост и в гриву лупит. Кажин день полные эшелоны раненых, изувеченных... А сколько народу полегло в боях — одному богу ведомо... Уму непостижимо, как мы до такой беды докатились. С воздуха он уже который день бьет нашу белокаменную... наверно, и Ленинграду достается. И сегодня гад фашист прилетел бы, да, вишь, погода изменилась...— Осмотрщик рукояткой молотка показал на небо, заволоченное лохмотьями низких серо-чугунных туч, быстро несущихся с запада на восток.

И только теперь, невольно глянув на небо,Григорий подумал: «А я и не заметил, когда же это наволочь такая нависла. Ведь совсем недавно светило солнце».

А осмотрщик, постучав молотком по колесу, неторопливо продолжал:

— Полчаса назад я санитарный проверял... полно раненых... без рук, без ног... ужас! В Курск раненых везут из Малоярославца. Беседовал с бойцами. Сила, говорят, несметная у немца. А Гитлер, говорят, грозится на тысячу лет в рабов нас обратить.

— Мало ли что грозится,— вдруг сердито оборвал Григорий словоохотливого осмотрщика.— Молчал бы ты побольше. «Сила у фашистов несметная»!..— раздраженно передразнил он осмотрщика.— Ходишь по путям, вонючими штанами трясешь и панику на людей нагоняешь. Пораженческую агитацию ведешь. Ты что? Не слыхал, как товарищ Сталин говорил насчет паникеров и распространителей слухов?

Осмотрщик сердито засопел, нахмурился.

— Слыхал. Ну и что? При чем тут я?

— А при том, что ты на тысячу лет уже собрался под пяту гитлеровской власти.

— Ты что, товарищ военный, с глузду съехал? — с возмущением воскликнул осмотрщик.— Ты говори, да не заговаривайся! На кой ляд нужна мне гитлеровская власть! Я за Советскую власть кровь проливал в свое время, а ты черт-те чего... Нехорошо, товарищ военный.

— Какого же ты лешего тогда ерунду всякую плетешь? — в свою очередь возмутился Половнев, наступая на осмотрщика со сжатыми кулаками.— Нас везут на фронт, а ты мне такие вещи: сила у Гитлера неодолимая! Сам ты видал эту силу? Не видал? Зачем же, для чего мне говоришь? Чтобы напугать? Дух убить во мне?

— Ты кулаками-то не маши, не маши,— сдержанно, хладнокровно проговорил осмотрщик.— Для чего же это мне твой дух убивать? И что это за дух, если словами убить можно? Настоящий дух пуль не пугается, а не то что слов. Совсем по другой причине говорю. Душа болит... душу хочется отвести, мыслями поделиться.— Круто повернувшись, он торопливо зашагал вдоль длинных пульмановских вагонов, на ходу дзинькая молотком по буксам и бандажам.

## 4

Осмотрщика ни под вагонами, ни на другой стороне между составами не было. «Шляпа я! — выругал сам себя Григорий.— Надо было сразу задержать его. Он же, наверно, враг народа, а то и того хуже — фашистский агент!»

И его охватил злой азарт — поймать мерзавца!

Подлезал то и дело под вагоны, смотрел во все стороны между эшелонами. Осмотрщик будто сквозь землю провалился.

Запыхавшийся, вспотевший, обозленный донельзя, Григорий уперся в санитарный эшелон. Остановился, перевел дух, оглянулся. Возле эшелона людей не было. На ступеньках вагонов — проводники. Как железнодорожник, он понял, что поезд готов к отправлению: подлезать под вагон небезопасно. Перед ним — зеленый пассажирский вагон, слегка запыленный, на стене белый круг, внутри которого — красный крест. Окна открыты. В одном окне человек в нижней белой рубашке, с забинтованной головой. «Раненый»,— подумал Григорий, приближаясь к окну. Спросил:

— Вы давно тут стоите?

— Эшелон наш? — переспросил раненый.

— Не эшелон, вы у окна — давно?

— А вам, собственно, что нужно?

— Мне нужно знать, не проходил ли здесь человек лет за сорок, с молотком и фонарем в руках, в синей спецовке. Осмотрщик поездов.

— Нет, сейчас не проходил. С полчаса назад был тут один с молотком и фонарем. Осматривал наш эшелон... с бойцами беседовал. Наверно, он самый. А для чего он вам понадобился?

— Разговор у меня с ним крупный получился... задержать его хотел. Подозрительная личность. Мне показалось — никакой он не осмотрщик, а переодетый фашистский агент.

Раненый усомнился:

— Если это тот, что у нас тут был, то вряд ли. Не похож. Да и что ему, агенту, шататься тут? Его же быстро поймать могут.

— Не так просто... Поймай вот его,— сказал Григорий.— Словно в воду канул и пузырей не пустил.

И передал вкратце содержание своего разговора с осмотрщиком.

— Не вижу ничего особенного,— выслушав его, заключил раненый.— Что сила неодолимая — это впечатление поверхностное и преувеличенное. Но что у немцев пока превосходство в оружии, в танках и самолетах и даже в количестве войск — это, брат, факт! И никуда от этого факта не денешься. Конечно, такое положение временное. А ты сам-то кто такой и зачем по путям ходишь?

— Я из эшелона. На фронт едем,— ответил Григорий.

— На какой?
— Пока не знаем. А вы с какого?
— Мы тут с разных.
— Куда же вас?
— Тоже не знаем.

«Поговорили! — улыбнулся про себя Григорий.— Скрывает, откуда и куда едут. «Военная тайна»! Может, думает, я тоже «агент». Вообще-то правильно. Зачем болтать. А осмотрщик все-таки выведал: из Малоярославца эшелон-то»,— вспомнил он.

Из соседнего окна раздался вдруг голос:

— Григорий Петрович? Гриша? Подойди скорей сюда!

Половнев опрометью кинулся на зов. В раме следующего окна радостной улыбкой сияло не только знакомое — родное, бледноватое лицо, слегка заросшее светлыми волосами — видно, давно не бритое.

— Алеша! Алешка! — обрадованно вскрикнул Григорий.— Ты ли это?

— Я, я, Гриша! — еще веселее улыбаясь, торопливо говорил Ершов захлебывающимся голосом.— Здравствуй, братень!

Григорий протянул правую руку вверх, но она не доставала до окна. Ершов навстречу опустил свою, левую. Подать правую не мог — была еще боль в лопатке. Но несмотря на то что руки у обоих не короткие, в особенности у Ершова,— они смогли только пальцами коснуться одна другой.

— Ты что же? Отвоевался уже? — спросил Григорий, опуская руку и не переставая улыбаться всем своим курносоватым, прокаленным на солнце лицом со щетками белобрысых бровей.

— Как видишь,— ответил Ершов грустновато.— Но это ненадолго, подлечат — довоюю свое.

— А чего у тебя? — спросил Григорий.

— Осколочное ранение ноги. Хотели отнять по колено. Не дал согласия. Не знаю, что скажут в новом госпитале. Но сопровождающий врач неодобрительно отнесся, что не дал резать. Вчера и сегодня у меня температура поднялась.

Григорий сочувственно покачал головой:

— Ты духом не падай. Авось ампутация не понадобится.

— Да я не падаю. Наоборот, уверен, что все обойдется по-хорошему. Организм у меня крепкий.

— Ну, а как там? Говорят, сила у него большая?

— Не успел разобраться и понять, в чем там дело...

в его силе или в нашей слабости,— сказал Ершов.— Я ведь меньше недели на фронте был. И все время в обороне. А бой начался — меня и садануло.

— Слыхал я, будто уж очень нагло прет фашист.

— Нагло — да!— Улыбка вдруг сошла с лица Ершова.— Но они трусы. Сам видал, как драпали от нашего пулеметного огня. Бить их можно, было бы чем.

— А разве нечем?— встревоженно спросил Григорий.— Это правда, что наши даже в атаки ходят без винтовок... двое с винтовками, а третий с гранатами.

— Такого не видал,— ответил Ершов.— Оружия у нас негусто, но чтоб в атаку ходили без винтовок — это, по-моему, чепуха. Вообще наговорить могут всякое. Не надо обращать внимания. Ты давно из дому?

— Месяца полтора.

— Перед отъездом в Даниловке не был?

— Не смог.

— Что же ты? А помнишь, меня уговаривал съездить?

Григорий махнул рукой:

— Не хватило времени. Я письмо написал отцу.

— А как они там — батя, мать?

— От бати письмо получил в лагерях незадолго до отправки.

— Что пишет?

Григорий не успел ответить: раздался свисток главного кондуктора, и в то же мгновенье по-верблюжьи взревел паровоз, находившийся через два-три вагона, и оглушил Григория. Лязгнули сцепления, и окно с Ершовым плавно поплыло вперед.

— Все хорошо! — громко крикнул Григорий, поспешно шагая рядом с движущимся вагоном, задрав немного лицо кверху и стараясь не отстать от окна с высунувшейся светловолосой головой, удалявшегося все быстрей и быстрей.

Прощально махая рукой, Ершов тоже кричал во весь голос:

— До свиданья, Гриша!

— Прощай, Алеша! Поскорей поправляйся! Я напишу в Даниловку, а ты сообщи туда свой адрес, а они мне... Я своего пока не знаю, нас в Москве распределять обещали.

Но последних слов, наверно, Алексей не услышал: поезд решительно набирал скорость, и окно с головой Ершова уже удалилось на целый телеграфный пролет. Потом часто пыхтевший паровоз засифонил, и густое сизое облако пара

скрыло не только окно, а и весь вагон, в котором ехал Ершов.

В каждой раскрытой двери тамбура стоял проводник с зеленым флажком в вытянутой руке.

Из окон высовывались стриженые и волосатые головы раненых. Один из них махал Григорию и кричал:

— Прощевай, браток, не горюй и не грусти!

Григорий сорвал пилотку и ответно молча потряс ею поверх своей головы.

5

Вернувшись в свой вагон, лег на нары. Неожиданная встреча с Ершовым взбудоражила его. Вспомнил, как вечером двадцать третьего июня Алеша заходил к нему на квартиру. Они тогда до полуночи просидели вдвоем на кухне. Лиза с детьми уже спала. Теща соорудила небольшую закуску — из редиски и зеленого лука салатик со сметаной, картошки сварила, селедочку приготовила...

Говорили о начавшейся войне, вспоминали Даниловку, родных, знакомых. Георгий советовал Ершову отпроситься у военкома и съездить в село, попрощаться со всеми. Но Алеша наотрез отказался: в военкомате утром сказали, что завтра получать обмундирование и возможна отправка. Отставать от своего эшелона нельзя.

— Ну и потом, ты же знаешь: Наташка моя хоть и комсомолка, но немного отсталая. Начнет плакать. Лучше уже без прощанья... Да и проситься как-то неловко, и военком вряд ли отпустит.

Григорий до сих пор не знал, что Наташа все-таки приезжала в город и провожала своего Алешу, и теперь с чувством запоздалого раскаянья невольно подумал: «Я и сам... Алеше советовал, а тоже не поехал!»

А между тем Григорий-то вполне мог побывать в Даниловке: перед отправлением в лагеря выпадало у него суток двое свободных, а Григорий провел их с детьми и женой. Почему же к родителям не поехал? Потому что скрыть от них, что идет на войну добровольно, он не смог бы. Ясное дело: мать начала бы его отговаривать, упрашивать. Зачем же, мол, добровольно? А на прощанье мать так вцепилась бы в него со стоном и плачем, что и не оторваться бы от нее, пока она не упала бы в беспамятстве, как это было при прощанье с Васей, судя по письму отца. «Нет, Алеша, наверно, прав. В таких случаях лучше без прощанья! Живы будем — свидимся».

Потом Григорий вспомнил осмотрщика и как искал его на

путях, сгибаясь в три погибели под вагонами. Что он сделал бы, если бы нашел и догнал его? Ну, прежде всего задержал бы и отвел куда следует. А если осмотрщик стал бы сопротивляться и убегать? Стрелял бы... И, наверное, ранил бы, а то и вовсе ухлопал.

И вдруг осмотрщик никакой не агент, а обыкновенный советский гражданин, только слишком болезненно воспринимает наши неудачи на фронте? «Похоже, горячку я спорол. И в кого я такой! Наверно, в мать. Батя у нас спокойный, выдержанный. И мой характер, видать, он хорошо знает. «Не горячись!» — пишет».

Григорий вынул из вещевого мешка письмо отца, полученное в лагерях накануне отправки на фронт. Ответить на него не успел, а в пути все как-то недосуг: на ходу трудно, на стоянках же то собрание, то митинг, а то ученье политрук Андрианов затевал. «Сейчас, что ли, написать, пока эшелон стоит». Взял письмо отца и снова стал перечитывать — в какой раз!

Отец сообщал, что все живы-здоровы. Галя отличилась на уборке, как и на всех весенних работах. Но уборка нынче затягивается, не хватает машин и людей, а урожай невиданный. От Васи получили два письма, одно с дороги, другое из танкового училища. Илья Крутояров тоже писал в первые дни после отправления. Написал, что Галя наша — его жена, что они не успели только записаться, война, дескать, помешала. «Вот вертопрах! Не ожидал я от него такого. Да и Галя хороша. Дошло дело до серьезного, а отцу с матерью ни слова. Я с ней поговорил, но от матери письмо Ильи мы с Галей решили скрыть пока, ты это поимей в виду».

Григорий знал, что мать собиралась выдать Галю за Андрея Травушкина. Как она теперь будет расстроена! Рано или поздно, а о письме Ильи все равно узнает. И Григорию стало жалко мать.

«Касаемо же немцев,— писал отец,— думаю так: на легкую победу над ними рассчитывать не приходится. Вояки они неплохие, без лишних слов. В ту войну мы так и не смогли одолеть их, несмотря что воевали они тогда на два фронта. А теперь фактически у них война только с нами. По совести сказать, опасаюсь, не спелся бы Черчилль с Гитлером. Неспроста этот чертов Гесс летал в Англию. Тогда они возьмут да всем кагалом и навалятся на нас, как в гражданскую. В таком случае придется нам покряхтеть. Писали в газетах, будто Англия и Америка в нашу сторону

посматривают. Что-то плохо в такое верится. Особенно Черчиллю не могу я верить. Он же махровый контрик, Советы ненавидит с самого семнадцатого года. На своей шкуре испытал я ненависть его лордовскую. Рузвельт, президент американский, хотя тоже буржуй и Советы тоже вряд ли ему по душе, но, по-моему, немного поумней и понадежней Черчилля. Америка-то до его прихода к власти совсем не признавала нас, а он пришел — признала. Вполне допустимо, что он хочет нам помочь как следует, потому что ему самому немецкие капиталисты с Гитлером своим поперек горла встали. Да ведь Америка за океанами, не так просто ей добраться до нас, довезти чего-нибудь. Немцы в ту войну и то корабли ихние топили подводными лодками, а теперь и подавно проходу не дадут ни американскому, ни нашему флоту. Так что придется, видно, своими силами справляться нам с фашистской ордой. И ты в армии в таком духе и объясняй, сынок, не утешай, вот, мол, скоро нам помогут. Тут такое дело складывается,— на дядю надейся поменьше, сам знай не плошай. И задача теперь у нас у всех одна: надорваться — не поддаться и каждому биться с гитлеровской гидрой, не щадя живота своего, а коль в тылу — работать до упаду. Другого избегу нет у нас, милый сын мой. Никак невозможно нам допустить, чтоб Гитлер взял над нами верх. Ведь он, гад, на что замахнулся? На весь наш строй, на всю нашу жизнь. Победит он — и Советской власти крышка на многие лета... а это ж было бы великим горем не только для нас с тобой и нашего народа, а для трудового люда всего земного шара. Ну, а если удастся подпрячь и Рузвельта и Черчилля в один с нами воз — тем лучше. Тогда, конечное дело, нам будет какое-то облегчение, и мы быстрее скрутим в бараний рог эту дьяволову фашистскую банду. А тобой, милый сын, я очень доволен, т. е. всей твоей жизнью и всем поведением доволен. Пусть не стал ты ученым, как мне хотелось когда-то, зато сделался настоящим рабочим и коммунистом. А настоящий рабочий-коммунист большую роль играет в жизни государства нашего, иной, может, нисколько не меньше, чем ученый. Так что теперь я не только совсем смирился, но даже и рад, что так оно вышло и что ты — рабочий. И от души одобряю за добровольность, за отказ от брони. На броне должны быть самые необходимые, без кого никак не обойтись. А раз тебя может любой старик заменить, как ты пишешь, и такие старики имеются, то чего же тут думать... Знаю, нелегко тебе от двоих детей оторваться... Да насчет их и самой

Лизы и тещи ты, сынок, дюже не тревожься. Если в городе им слишком туго станет по случаю военного времени, как было в гражданскую, то мы с матерью заберем их в Даниловку. Чего-чего, а хлеба, картохи, молока у нас хватит и на них. И еще одно поимей в виду, сынок: и то я скрыл от матери, что ты добровольно ушел на фронт. Не поймет она твоей добровольности и еще сильней мучиться и страдать по тебе станет. Сказал: по мобилизации. Будешь письма писать — не промахнись, а то она письма ваши с Васей ладит сама прочесть. Ты пишешь, что скоро вас на фронт отправят. Что же, дорогой мой сын, счастливой дороги всем вам. Воюйте с фашистами как следует. Надеюсь на тебя и верю, что чести рабочего класса и рода нашего не посрамишь. Однако, зная твой характер, хочу посоветовать: не горячись! Будь на войне хладнокровен, без толку под пули не лезь. Хотя ты и не из трусливого десятка, но в бою всякое может статься. Растеряешься, к примеру, и кинешься вгорячах не туда, куда надо. В ту, царскую войну, особливо первые дни, видал я, как некоторые от растерянности или по горячке гибли ни за понюх табаку. Но нам с фашистами надо так биться, чтобы их побольше на тот свет отправить, а самим по возможности на этом остаться. Так что еще раз прошу тебя, не горячись. Бей их, сукиных детей, хладнокровно и спокойно, как волков, что в овчарню залезли. Благословляю тебя отцовским благословением. На ратные подвиги благословляю. Будь здоров и удачлив в боях. И верь, дело наше правое, мы обязательно победим!

Твой отец П. Половнев».

## 6

Прочитав письмо, Григорий задумался, глядя на сучок в дощатом потолке, похожий на небольшую гайку. Отец! С подстриженными седеющими усами, с резкими морщинами на смуглом продолговатом лице... Коренастый, плечистый, с крупными жесткими руками. Молчаливый, всегда серьезный, даже немного вроде бы суровый. Проницательно-пристальный, как бы все взвешивающий и понимающий взгляд черных глаз с искорками в глубине зрачков. Неторопливый, уравновешенный. А рядом с отцом — мать (Григорию почему-то всегда они представлялись рядом), курносоватая, со свежим румянцем на скуластом загорелом лице, заботливая, хлопотливая, ворчливая, беспокойная.

Да! Григорий больше всех детей похож на мать и обликом и характером, исключая, пожалуй, сестру Клавдию,— та тоже вылитая мать. Жаль все-таки, что не съездил в Даниловку, не повидался с отцом, с матерью, с сестрами. Особенно же с матерью. Конечно, живы будем — свидимся. А если? Не на прогулку ведь едем!

В вагоне было тихо. Всем надоела долгая стоянка. Сколько уже и пели, и плясали, и стихи читали, и текущий момент обсуждали, а эшелон все стоял и стоял. И теперь слышались негромкие разговоры о том о сем. Кое-кто читал газеты, книги. А человек пять преспокойно спали, справедливо считая, очевидно, что сон — самое верное средство от скуки ожидания.

«Чудесное письмо написал мне батя,— лежа и по-прежнему не сводя взгляда с сучка, похожего на гайку, продолжал размышлять Григорий.— Умный он, мой дорогой, мой любимый старик! Вишь, как войну объяснил! И Черчилля и Рузвельта знает. Всю политику понимает не хуже иного ответственного руководящего товарища. Ему быть бы народным комиссаром или, на худой конец, работником областного масштаба. Две войны прошел, дважды ранен был в царскую да один раз в гражданскую. Уж он-то знает, что такое война. Но его не замечают, и он всю жизнь с молотком. Возможно, потому и не замечают, что скромный, выступать с речами не любит. Играет, наверно, роль и то, что образование у него «низкое», как он сам иногда с усмешкой говорит. Мечтал детям дать высшее, да не вышло. Я на завод ушел, Вася — на трактор. Неизвестно теперь, сможет ли учиться Галя... А зря мы с Васей не послушались бати. Пишет: смирился и даже рад. Чего же ему еще делать? Но сколько же мы ему доставили волнений и неприятностей упрямством своим! Отчасти мать виновата: она всегда была на нашей стороне и всегда почему-то против учебы. Ремесло, дескать, главное, а не ученье. Мы же тому и рады были: мама за нас! Поздновато я осознал свою ошибку. Батя же до сих пор не знает, что я осознал. Сейчас напишу ему об этом. Не только, мол, рабочий я, но и почти инженер. То-то радость будет славному нашему бате!»

И Григорий вдруг ощутил такой сильный прилив светлого сыновнего чувства, такой большой любви к отцу, что глаза его затуманила теплота, и сучок, похожий на гайку, скрылся как бы в тумане. Резко встал, схватил вещмешок, вытащил из него широкий блокнот с бумагой в клетку, химический карандаш, сел поудобней и, положив блокнот

на колено, быстро, мелким, бисерным почерком с завитушками вывел:

«Дорогие, любимые мои батя и мама!

Пишу вам из Москвы во время стоянки на Окружной железной дороге.

Едем на фронт. Дорогой батя, письмо твое я получил в лагерях дня за два от отправления...»

На путях десятки, а может, сотни паровозов вдруг истошно заревели тревогу:

— Ту-ту-ту! Ту-ту-тууу! Ту-ту-у!

Внизу возле вагонов раздалась какая-то необычно бодрая и даже по тону как бы игривая команда:

— Воздух! Воздух!

Бойцов словно вихрем смело с нар. Даже спавшие повскакали. Все ринулись к полуоткрытой двери. Кто-то с грохотом раздвинул всю ее настежь.

Григорий, оставшийся один на верхних нарах, деловито засунул в вещмешок блокнот и карандаш. Неторопливо слезая с нар, громко, но сдержанно произнес:

— Без паники! Спокойно, товарищи!

И почувствовал, как тревожно и гулко застучало вдруг его сердце, распирая грудную клетку. В его жизни это была первая настоящая воздушная тревога. В лагерях не раз устраивали учебные и объясняли, как нужно вести себя во время вражеских налетов. Но те тревоги не производили на него сильного впечатления. Одно он хорошо запомнил и усвоил: нельзя поддаваться панике. Наверно, поэтому почти инстинктивно и выкрикнул: «Без паники!»

Но его никто не услышал, а если кто и услышал, то не обратил внимания. Толкаясь, напирая друг на друга, люди беспорядочно, как мешки, вываливались из вагона по двое, по трое сразу, одни падали плашмя наземь, другие становились на ноги.

— Спокойно! Не толпитесь, товарищи! — повышая голос, тщетно призывал Григорий.

Не более как за полминуты вагон опустел. На верхних и нижних нарах остались вещмешки, шанцевые лопатки, скатки шинелей, котелки, противогазы, пилотки, каски.

Григорий тоже подошел к двери, спрыгнул вниз. Хотя сердце его билось учащенно и сильно, он не чувствовал ни испуга, ни тем более страха. Он был, что называется, в здравом уме и твердой памяти, и мысль его работала отчетливо и ясно.

Гудки умолкли. Установилась непривычная настороженн-

ная тишина. Григорий невольно поглядел вверх. Наволочь, плотно закрывавшая небо каких-нибудь тридцать — сорок минут назад, расползлась во все стороны на отдельные большие лоскуты, между которыми засияли прогалы небесной голубизны. Выглянуло солнце. Но где же вражеские самолеты, где бомбардировщики? Не видно их и не слышно. Красноармейцы, рассредоточившись в проходе между двумя эшелонами, остановились, разглядывая небо.

— Может, ложная тревога?

— Погоди, погоди! Он тебе покажет ложную!

— А может, учебная?

— Предупредили бы, если бы учебная!

— Может, задержали на подступах к городу?

— Прилетит обязательно, раз тревога!

И, будто в подтверждение этих слов, отчетливо послышался прерывистый гул множества моторов. Тотчас же гулко и бойко застучали зенитки. Не видно было, откуда они бьют, но казалось — во всех концах станционных путей гремит их пальба, сотрясая воздух. В одном голубом прогале неба вспыхнули белесые шары, похожие на раскрывшиеся парашюты,— это рвались снаряды зениток. И тогда все, в том числе и Григорий, увидели три звена бомбардировщиков на такой большой высоте, что никаких опознавательных знаков не было видно. Бомбардировщики летели на восток медленно, с натугой, прерывисто гудя, и, будто отягощенные непосильным грузом, еле одолевали чистое голубое пространство. Или это лишь снизу представлялось, что медленно?

И пока они летели в недостижимой высоте, белесые шары вспыхивали под ними и, слегка розовея на солнышке, мирно рассеивались, таяли. Самолеты наконец скрылись за светло-серым облаком, и гул моторов, постепенно удаляясь, стал глохнуть, глохнуть... и совсем заглох. Замолкли и зенитки.

Среди бойцов поднялся спор:

— Это наши, а не фашистские!

— А почему же по ним зенитки били?

— Наверно, по ошибке. Своих приняли за фашистов.

— Такого не может быть!

Спорили, ждали отбоя. Но вместо отбоя вдоль эшелона снова пронеслось: «Воздух!» И раздалась команда: «Быстрее в укрытия!»

Насчет укрытий было сказано тотчас же, как остановился эшелон: в случае воздушной тревоги бежать с насыпи вниз, где на довольно широкой, почти квадратной площади, между

двумя железными дорогами, были отрыты щели. Об этих щелях все бойцы тогда же и узнали и издали даже смотрели на них, но никому не верилось, что ими придется пользоваться. Теперь же, при вторичной команде «Воздух», бойцы всего эшелона, сбегая, сползая или кувыркаясь по косогористой, но невысокой насыпи, кинулись на зеленую луговину, черневшую отрытыми канавами и кучками земли.

В это время почти на бреющем полете появились вражеские аэропланы, летевшие уже с востока в сторону запада, и на крыльях и на фюзеляжах передних были отчетливо видны черные кресты. Фашисты! Залетев далеко за город, где, наверно, легче обойти противовоздушную оборону, снизились и вот снова над станцией.

Григорий не бежал сломя голову, как другие, хотя побежать очень подмывало, он шел не торопясь, все еще плохо веря, что нужно обязательно прятаться в щель. На московской земле, с восточной стороны — и вдруг в щель! Но когда увидел на самолетах вражеские знаки — сомневаться уже невозможно было, да и поздно. Почувствовал, как меж лопаток потянуло холодком, словно ледяным ветром подуло.

— Спокойно, спокойно! Не терять самообладания! — сказал он сам себе вслух.

— Ты какого же черта рот разинул, Половнев! — во весь голос кричал, подбегая к нему, неизвестно откуда взявшийся политрук Андрианов, хватая его за руку повыше кисти.— Чего ты их считаешь? Восемь штук пролетело. И вокзал, и депо, и мастерские бомбят... сейчас по эшелонам начнут. Бежим скорей!

Все это Андрианов выпалил запыхавшейся скороговоркой. Григорий оглянулся: над вокзалом, депо и мастерскими поднимались густые столбы буро-чугунного дыма, сквозь которые кое-где, а в особенности над мастерскими, пробивались широкие жгуты красного пламени, словно косые отрезы кумача, колеблемого ветром.

Подчиняясь Андрианову, Григорий побежал.

Андрианов дернул Григория за рукав вниз, потом подставил ему ногу и сам шлепнулся плашмя наземь. Григорий споткнулся о подставленную ногу, упал было на четвереньки, не понимая, в чем дело, и тотчас же вскочил, оглянулся на замершего поодаль Андрианова, загорелыми желтоватыми пальцами прикрывшего свою голову в пилотке.

— Да ложись же, твою бабушку! — чуть приподняв голову, неистово кричал Андрианов, и худое лицо его побагровело от натуги.— Сейчас бить начнут.

И действительно, над ними прошумел самолет с черным крестом на брюхе, за ним другой. Они оба летели совсем низко. В то же мгновение раздался страшный грохот, потрясший, казалось, всю вселенную, и Григорий не успел ни сообразить, ни понять, что произошло: его приподняло, как легчайшую пушинку, и понесло, понесло куда-то все выше, выше, будто в каком-то немыслимом сне. Потом он медленно стал спускаться вниз, на заводской двор. У дверей дома, где находился партком, Гавриил Климентьевич машет рукой: лети, мол, сюда! Но Григория понесло опять вверх. И он увидел широкий луг, посреди которого стальной стружкой вилась речка. Приволье! А вот и Даниловка, сад, школа... родное крыльцо и на нем — батя, мать, Вася, сестры Клава, Галя... Вот хорошо-то. Сейчас он повидается со всеми. Но его проносит мимо. Он напрягает руки и ноги, пытается лететь к родному дому — напрасно! Крыльцо и родные уже позади. Вдруг стало темнеть — и ни луга, ни речки Приволья... и сам он постепенно как бы растворился в наступившей непроглядной тьме.

Когда Андрианов поднялся, он увидел: Григорий лежит на склоне травянистой насыпи. После отбоя, почти бездыханного, вместе с другими пострадавшими от фашистского налета, Григория доставили в близлежащий госпиталь.

---

# ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

## 1

В конце августа Петр Филиппович Половнев был вызван в обком партии. Сообщил ему об этом Демин. Проезжая через Даниловку, он, по обыкновению, остановился возле кузницы. Немного посидел, спросил, как идет уборка, сев озимых, потом поднялся и вроде бы невзначай объявил:

— В обком тебя вызывают, Петр Филиппович... на завтра к двум дня.

— Совещание какое-нибудь? — спросил Половнев, тоже вставая.

В обком его приглашали впервые в жизни. В губисполкоме, губкоме партии приходилось бывать, но давно, еще в восемнадцатом, когда был только беспартийным большевиком, и приглашали не одного его, а многих, насчет комбедов

и войны с немцами, захватившими несколько южных уездов губернии. А вот в областном комитете партии не был ни разу.

— Нет, не совещание,— ответил Демин.— Персональный вызов.

— Персональный?! — удивился Половнев.— Вот это штука! Зачем же я понадобился обкому?

— Не обкому, а товарищу Никитину. Звонил его помощник и сказал, что Владимир Дмитриевич хочет сам с тобой видеться.

— Чудеса! Товарищ Никитин и не знает меня.

— Почему ты думаешь, что не знает?

— Да нас таких тысячи по области.

— Знает, знает он тебя. Помнишь: мы с ним заезжали к тебе?.. И ты здорово рассказывал про гражданскую войну, про Богучарскую дивизию. Помнишь, он сказал, хорошо бы, дескать, обо всем этом написать, то есть о богучарцах, про которых ты говорил.

— Это же было в прошлом году,— угрюмо сказал Половнев.— И Владимир Дмитрич вряд ли помнит меня. Любопытно все же — зачем? Не на «вправление» моих старческих мозгов?

— На какое такое «вправление»?

— Вы же, наверно, рассказали или написали ему, как я предлагал старшие возраста призвать. После нашего с вами разговора я не однажды вспоминал об этом... Кажется, не по-партийному вышло тогда у меня...

— Боишься в уклонисты попасть? — усмешливо прищурился Демин.

— Бояться я ничего не боюсь,— суховато возразил Половнев.— Однако хотелось бы наперед знать, в чем дело... Не может того быть, чтобы вы не знали, зачем меня зовут.

— По-честному, Филиппыч, не знаю. Спрашивал я, но помощник сказал, что ему самому неизвестно. Думаю — ничего страшного, но дело, наверно, большой важности, раз сам беседовать с тобой хочет.

Вечером, закончив работу, Петр Филиппович надавал Блинову наказов по кузнице, зашел в правление и предупредил председателя колхоза, что уезжает по специальному вызову. Ночью спал плохо, все думалось: что такое? Зачем зовет секретарь обкома рядового, ничем не примечательного человека?

А утром следующего дня спозаранку побрился старой, источенной бритвой, позавтракал кружкой парного молока с черным хлебом и пешком направился на станцию. Шел той

же тропинкой, на которой в начале июля встретился с Травушкиным.

Рожь в этом месте была уже скошена, и поле налево и направо стало доступно беспрепятственному обозрению. И ток увидел Петр Филиппович, где Травушкин состоял в сторожах. Огромные скирды соломы и необмолоченного хлеба возвышались, словно двухэтажные дома. На току еще безлюдно. Рано. Будь свободное время, можно бы зайти, поговорить с Аникеем Панфилычем. Что у него на уме? Каково настроение? Все так же ли за Москву опасается, опасаться за которую причин стало теперь гораздо больше, чем было тогда. Но времени в обрез.

Вынул из кармана жилета свои старинные мозеровские часы. Половина шестого. Время, когда встал с постели! Забыл вчера завести, вот они и остановились. Сколько же теперь времени? Небо пасмурно, и не понять, взошло ли солнце. На всякий случай прибавил шаг.

Когда подходил к станции, сперва услышал гудок, потом увидел: по рельсам бодро катится в сторону города поезд, гулко грохоча чугунными колесами. Кудрявая темно-сизая грива паровозного дыма стелется над темно-зелеными вагонами чуть не во всю длину состава. Рабочий поезд, которым собирался ехать!

С досады чертыхнувшись, Половнев махнул рукой и... пошел потише. Спешить не было смысла. К вокзалу — одноэтажному зданию с железными стенами — подошел совсем медленно, вразвалку.

По обеим сторонам вокзала стояли акации, могучие тополя. На деревья эти теперь грустно было смотреть. По весне, когда с Пелагеей ездили к Григорию, они были зеленые, акации цвели белыми шапками, и в сладком аромате их тихо колыхалось мирное пчелиное гудение. Слабое дуновенье ветерка засевало выстланную серым камнем площадь перед вокзалом белым нарядным кружевом нежных лепестков. А теперь? На тополях широкие продолговатые листья начинают желтеть, а на акациях вместо душистых цветов — бурые, сморщенные стручки. И сами деревья уже не те красивые великаны в яркой зелени листвы и в цвету, а какие-то потемневшие, как бы ссутулившиеся, и черные стволы их в сумеречном свете пасмурного утра казались обугленными. Тревожно о чем-то лопотала пожухлая листва. Трудное военное лето подходило к концу, близилась осень.

Половнев вздохнул. Что сулит она, нынешняя осень?

Зашел в комнату дежурного по станции. Дежурил Малю-

тин Матвей Матвеевич. Он сидел за небольшим столом, на котором лежал развернутый журнал движения поездов.

Дежурный по станции и колхозный кузнец были давними друзьями. Малютин имел сад в шесть-семь соток, позади казенного дома, в котором его квартира, и он частенько приносил Петру Филипповичу в починку или поточить железные грабли, лопаты, тяпки, ножницы-сучкорезы и прочий садовый инвентарь. Иногда они и рыбу вместе ловили, а стало быть, и выпивать доводилось. Так что друзьями были не простыми, а закадычными.

У Малютина широкое смугловатое бритое лицо. Несмотря на служебную фуражку с красным верхом, тужурку с малиновыми кантами, ничего начальственного, казенного не чувствовалось в его рыхлой, мешковатой фигуре.

— Здравствуй, здравствуй, дорогой Филиппыч! Вот гость-то нечаянный! Как я рад тебе! Представить не можешь! С весны ведь не виделись. Пешком пришел? Ну, садись, садись, дорогой! — тенористым голосом говорил он, показывая на табуретку с тонкими металлическими ножками, стоявшую у стола.

Сняв кепку и положив ее на стол, Петр Филиппович присел.

— Опоздал к рабочему, Матвей Матвеевич,— озабоченно сказал он.

— В Александровку собрался?

— В город. Обком вызывает.

— В обком? То-то, смотрю, на тебе новый костюм, новые сапоги.

— Какие же они новые! С тридцать третьего... на съезде колхозников выдали.

На Половневе и в самом деле по виду был новый бостоновый темно-синий костюм с жилеткой, который он носил лишь по большим праздникам и в особых случаях, начищенные, слегка запылившиеся сапоги, незаношенная кепка под цвет костюма.

— По какому же делу в обком? — спросил Малютин, подтягивая к себе журнал и что-то записывая в нем.

— Неизвестно. Товарищу Демину помощник Никитина по телефону звонил, а по какому делу — не сказал. Вроде бы персональный вызов к самому Никитину. Курить у тебя можно?

— Кури, кури! Пожалуйста, кури! — гостеприимно разрешил Малютин.

Половнев вынул из кармана брюк сатиновый кисет из

разноцветных лоскутков (это не тот кисет, с которым он ходил в кузницу, а другой, «праздничный»), неторопливо набил трубку махоркой, ударом кресала о кремень поджег кусочек березового трута, почмокивая полными губами, начал раскуривать ее. Трубка затрещала, засипела, и в комнате запахло горьковато-терпким дымом махорки, смешанной с донником.

— Странно все-таки, Филиппыч,— отрываясь от журнала и кладя ручку на стол, оживленно, с улыбкой, заговорил Малютин, нарушая установившееся было молчание.— Почему же не сообщили, зачем тебя зовут? И не к кому-нибудь, а к первому секретарю? Это, дорогой ты мой, что-то неладно.

— Чего же может быть неладного?

— Гляди, не нажаловался ли кто-нибудь на тебя. Есть у нас такие... любители кляузы всякие строчить... и обязательно в высокие органы!

Попыхивая трубкой, следя за тонкой синей струйкой дыма, не спеша тянувшейся кверху, Половнев некоторое время помолчал, как бы соображая или что-то вспоминая. Потом уверенно сказал:

— Некому на меня жаловаться, Матвей Матвеич! Я же не председатель... На Дмитрия Ульяныча нашего, верно... недовольных порядочно... человек он горячий, нрава крутого... а по должности принужден подтягивать людей, требовать работу, ругать несознательных. У меня же совсем иная позиция, да и характером я посходней: больше уговором действую... Люблю, чтоб сам человек... не со страху, а сознательно уразумел, что к чему.

— А старик Травушкин?

— Что Травушкин?

— Не мог на тебя, как по весне на Свиридова?

— С чего бы на меня ему жаловаться? Дмитрий Ульяныч кричал на него, грозился в Соловки загнать, а я с Аникеем впрямую не сталкивался в последние годы. Нет, не пойдет он против меня. Он, брат, посмирнел теперь. Тогда, по весне, товарищ Демин к нему заезжал. Похоже, что он здорово мозги ему вправил. С той поры Аникей прямо-таки шелковый стал и старательный такой в колхозных делах. На днях Дмитрий Ульяныч рассказывал: Аникей предложение внес — в мешках возить зерно на ссыпной пункт, чтоб меньше потерь было. Стало быть, о государственном интересе печется. Да не только предложил — своих двенадцать мешков дал. Так что нет! От Аникея не жду подвоха... Аникей совсем советским становится.

— Тогда что же? Не награда ли тебе какая-нибудь!—

как бы спохватившись, воскликнул вдруг Малютин, радостно улыбаясь всем своим круглым лицом.— Орден Трудового Красного Знамени, а не то и орден Ленина?

— Такого и вовсе не может быть,— насупившись, сказал Половнев.— Не представляли меня к награждению... да и не за что.

— Как же не за что? Который год бессменно секретарем партийной организации... и колхоз твой все время отличается, в газетах то и дело пишут о нем... Или взять кузницу: ты же ударник из ударников, первейший стахановец во всей округе.

— Колхоз наш неплохой,— согласился Половнев.— Но моей заслуги мало в том... Это больше от председателя и бригадиров зависит. Главное же — народ у нас хороший, трудолюбивый... Ну, а в кузне что же! Ничего особенного... работаю, правда, не хуже, да и не особенно лучше других. Таких, как я, награждать,— наград у правительства не хватит. О другом догадываюсь, Матвей Матвеич... не награждать, а стружку с меня снимать позвали. С уборкой у нас неуправка... немного хуже прошлогоднего.... Товарищ Демин однажды предупреждал, что с секретаря парторганизации теперь спрос будет строже, чем с председателя колхоза. А я проморгал кое в чем... Насчет уборки в дела встрял поздновато.

— За уборку-то все-таки скорей Демина к ответу бы потянули, а не тебя...

— Да что гадать! Там скажут зачем. До города как добраться, вот задача,— сказал Половнев.

— До города? Доберешься! В час дня почтовый.

Малютин взял ручку и снова начал писать в журнале.

Половнев привычно почесал в затылке.

— Не поспею. Приказано к двум. И угораздило ж меня опоздать... часы подвели... забыл завести. Рассеянный стал... старею!

— Не отчаивайся, Филиппыч. Раз такое дело — на резервный паровоз тебя устрою. Он через полчасика подойдет. Нашу станцию должен проследовать без остановки... а мы ему красный флажок покажем. Едешь ты не по личной надобности, а по вызову первого секретаря обкома! Персональный вызов — это, друг, не шутка. Имею право и даже обязан оказать содействие! Правильно я говорю? — спросил Малютин, не отрываясь от журнала.

— Решай сам, Матвей Матвеич. Я ваших железнодорожных порядков не знаю. И не настаиваю. За самовольство не влетит тебе, ввиду военного времени?

Глядя на круглые железнодорожные часы, прилаженные над входной дверью, Половнев стал заводить свои, не вынимая трубки изо рта.

— Ничего! — бодрым тоном сказал Малютин.— За одну-две минуты придираться не станут. А пассажир ты такой, Петр Филиппыч, что ехал бы и по личным делам — все равно на резервный я тебя посадил бы. Первое — по дружбе, второе — как секретаря парторганизации передового колхоза.

— Спасибо, друг,— прочувствованно поблагодарил Половнев.— Шибко ты выручишь меня. Впервые вызван я в высокий партийный орган... и опаздывать, понимаешь, как-то не того. Ну, пойду-ка я подожду на вокзале. Похоже, мешаю тебе службу твою нести. И билет куплю.— И он покосился на приятеля, продолжавшего писать.

— Сиди, сиди! Никогда и нигде не можешь ты мешать мне! Я всегда рад тебе. А билета покупать не надо, раз на паровозе поедешь.

— Тогда ладно, посижу. Ты сводку-то читал?

— Читал.

— Что нового? Расскажи-ка, если делу твоему не в помеху.

— Да на фронтах все то же,— выпрямляясь и откладывая ручку в сторону, сказал Малютин.— О Франции любопытные новости есть: Петен, идиот старый... от слабоумия, что ли... одобрил добровольцев, которые против нас хотят воевать.

— Одобрил, говоришь? Действительно идиот.— Половнев постучал трубкой об ноготь большого пальца левой руки.— Новость неприятная, однако не очень новая... ничего иного от этого дурака и ждать нельзя было, да и не ждали мы. Но, думаю, лебезит он и выхваляется перед Гитлером. Мало найдется там добровольцев, как бы Петен ни старался. В гражданскую французы не захотели воевать против нас, хотя и тогда их одобряли и насильно гнали. Может, доводилось читать про Вайяна Кутюрье? Он руководил тогда теми, кто был против, чтобы помогать белогвардейцам ошейник накинуть на нас. Думаю, и теперь французы не пойдут за Гитлером и Петеном... народ они неглупый, а вожаки у них и нынче найдутся, вроде Кутюрье.

— Кутюрье читал,— с теплотой в голосе сказал Малютин.— Да нынче что-то по-иному получается. Боюсь, что совсем ослабли французы. Ты смотри, Филиппыч: этакую передовую державу под ноги какому-то извергу Гитлеру!

Он же страшней всех Людовиков и Наполеонов. Подумать жутко: Франция — на коленях перед фашистами! Обидно мне за эту нацию до невозможности. Я ведь любил и люблю ее. Какие у нее писатели! А революции? Кто первый организовал Коммуну? Французы. И вдруг теперь пишутся добровольцами Гитлеру помогать — такому злодею и сукину сыну! Как я об этом прочитал, так у меня аж сердце зажгло.

— Пишется шантрапа всякая,— угрюмо перебил вдруг Половнев, опуская выбитую трубку в карман. Пристально и сурово глядя на Малютина из-под надвинувшихся на глаза бровей, уверенно добавил: — Настоящий француз ни за что не станет воевать против нас. Измена сгубила Францию. И у нас ведь в гражданскую были изменники, и нам тогда трудно было... Деникин-то чуть до Тулы не дошел... А изменники кто? Одни и те же и у нас и у них: толстосумы, прохвосты всякие, шкурники... Вот они и прислоняются теперь к Гитлеру... а народ французский душой с нами... в этом я уверен, как в самом себе. Помни мое слово, он еще покажет Гитлеру, где раки зимуют!

— Дай бог! — проговорил Малютин после небольшой паузы.— Ну, ты посиди тут немножко, а я домой схожу... яблоков тебе принесу... Антоновка у меня есть зрелая уже. Невестке и внучке отвезешь. Григорий-то, слыхал я, на фронт ушел.

— Да,— сказал Половнев.— Гришуха мой, наверно, уже в боях.

## 2

Вид города потряс Половнева: улицы забаррикадированы ежами, надолбами, мешками с песком, заграждениями из колючей проволоки, которой он не видал со времен гражданской войны; окна домов в белых крестах из полос бумаги, на крышах — пулеметы и пулеметчики.

Что все это значит? Город чуть не за тысячу километров от фронта, а похож на осажденный.

С вокзала пошел к невестке, как наказывала Пелагея, купив вдобавок к яблокам Малютина (яблок было килограммов шесть-семь — полный, под завязку, небольшой из льняного полотна мешочек) моргающую куклу, шоколадину внучке и розовую жестяную погремушку внуку. До куклы и шоколада внук еще не дорос!

Дверь ему открыла сватья Марья Гавриловна — мать невестки, женщина лет под пятьдесят — круглолицая, румяная,

с черными бровями. Поздоровались. Сватья доложила, что Лиза на работе. И ворчливо пожаловалась: Лиза хочет бросить библиотеку и пойти в цех «помогать рабочему классу». Будто рабочий класс никак не обойдется без ее помощи.

Половнев знал, что невестка работала в заводской библиотеке, и понимал — в цехе ей будет труднее. Но ему понравилось, почему она шла в цех: помогать рабочему классу! И он одобрительно сказал:

— Это хорошо, сватьюшка, если от сознательности. Ты уж не перечь ей.

— Да как же не перечить, сваток! — возразила Марья Гавриловна.— Ты же знаешь, худенькая она... слабосильная... Ей только в библиотеке-то и работать... и образование у нее библиотечное... и все такое. Поговорил бы ты с ней, сваток.

Не в пример супруге своей, Половнев уважал Марью Гавриловну за развитость, интеллигентность, то есть за те самые качества, которые у Пелагеи вызывали раздражение и даже неприязнь к сватье. И теперь слова ее насчет того, что у Лизы библиотечное образование, пришлись ему по душе. Пообещал поговорить, подумав: «Может, и вправду Лизе в библиотеке лучше остаться. Дело же тоже нужное и важное».

Марья Гавриловна собиралась на улицу, гулять с детьми. Внук лежал на кровати, тут же стояла коляска с поднятым верхом. Внучка Поля, названная так в честь бабушки Пелагеи, худощавенькая, с большими черными глазами, лет семи, в светлом коротком платьице, сидела на стуле, обувала желтые сандалики на босу ногу.

Положив на стул мешок с яблоками и поздоровавшись со сватьей, Половнев поцеловал внучку в голову, вручил ей шоколадину, куклу. Поля плохо знала деда, потому что он редко бывал в городе, и сначала задичилась было, опустив застенчиво глаза. Подарки приняла молча, не вставая со стула. Тогда Марья Гавриловна мягко, но наставительно проговорила:

— Ну чего же ты, Полюшка! Это твой дедушка... скажи ему спасибо.

— Спасибо,— тихо сказала Поля, не поднимая глаз.

Половнев погладил девочку по темным волосам, заплетенным в две косички с белыми бантиками, про себя подумал: «В Лизу... а может, в меня? У Лизы глаза-то карие, кажись, а у Полюшки черные, да и губки пухловатые, вроде моих... Только какая-то костью щупленькая и худенькая... Это уж определенно в Лизу».

Потом подошел к кроватке, нагнулся над внуком. Полненький, мордастый, румяный блондин с голубыми не то серыми глазами доверчиво глядел на деда. Петр Филиппович чмокнул губами, стараясь улыбаться как можно веселей и беззаботней. «Этот явственно на Гришу похож».

Ласково пророкотал смягчившимся голосом:

— Здравствуй, внук!

Мальчик некоторое время как бы всматривался в деда, которого ни разу не видал, если не считать майской встречи. Но краткая встреча та не могла еще тогда отпечататься в его только-только зачинавшейся памяти.

Петр Филиппович вытащил из кармана пиджака погремушку и, громыхнув слегка, протянул ее внуку.

— На-кось, внучек,— снова наклоняясь над малышом, ласково проговорил он. Помолчав, как бы извиняющимся тоном добавил: — Больше тебе покамест ничего ведь и нельзя... да и не надо.

Внук порывисто протянул к игрушке обе пухловатые, будто перевязанные у кистей, ручонки и, словно птенец, широко раскрыл свой беззубый рот с розовыми деснами, радостно улыбаясь.

Сватья с серьезным видом подсказала:

— Вовочкой звать его.

Очевидно, она подумала, что сват забыл имя внука за давностью свидания с ним.

— Знаю и помню, сватьюшка,— добродушно отозвался Половнев, не отводя глаз от внука и не переставая улыбаться теперь уже по-настоящему весело, без особого старания и напряжения. Было занятно и интересно наблюдать, как мальчик, ухватив погремушку, подтянул ее к губам и ладил пососать.

Марья Гавриловна с испуганным лицом сорвалась вдруг с места, быстро подошла и отобрала у малыша игрушку.

— Это ты, сваток, напрасно,— укоризненно сказала она, положив на стол жалобно дребезжавшую игрушку.— Ни к чему такие игрушки... мал он еще... ничего не смыслит... и потом, разве же можно — прямо из кармана... ее же помыть надо.

Володя выразил на лице недовольство, губы его задрожали, он сморщился было, готовый заплакать, но улыбающееся лицо деда отвлекло его, и он опять повеселел.

— Верно, сватья... Помыть надо бы. Не сообразил. Прости, пожалуйста,— сказал Половнев извиняющимся тоном и подумал: «Ох и деревенщина же я! А сватья женщина умная,

понимающая. В надежных руках внучка и внук. Напрасно Пелагея недовольна ею».

Марья Гавриловна хотела отложить прогулку и накормить свата, напоить чаем. Он наотрез отказался под предлогом, что ему необходимо спешить в обком партии. На самом же деле просто жаль было лишать внучку и внука прогулки. И, проводив сватью с детьми до детского парка, он пошел побродить по городу.

## 3

Было всего одиннадцать часов утра. Люди деловито и спокойно двигались по улице. Не заметно было, что город в опасности: ни суматошности, ни тревоги, какие бывают, когда городу угрожает неприятель, как это довелось Половневу наблюдать в мировую и гражданскую войны. Одно смущало: порядочно военных — и рядовых и командиров.

Побродив по давно знакомым улицам, он зашел в сквер и сел на лавочку против памятника, на котором с опущенной головой известный миру поэт думал свою великую думу. Когда-то Ершов просветил Половнева насчет жизни и трудов поэта, читал вслух его стихи о Руси, о бедных людях, о том, что на расправу мужик был не скор, но на барина готовил уж топор.

Глядя на памятник, вспоминая удивительно простые, слышанные от Ершова и самим читанные стихи, с добрым чувством размышлял Половнев о том, каким хорошим человеком был поэт этот, и как сильно любил людей труда, и как мужественно сочувствовал им в такое время, когда за одно простое сочувствие можно было угодить в каталажку или на каторгу. Размышляя так, машинально достал кисет и трубку, но закурить не успел: к нему подошел крупный, большеголовый молодой человек, без фуражки, в голубой рубахе с расстегнутым воротом, в желтых полуботинках.

— Петру Филипповичу привет! — слегка наклонившись, басисто прогудел молодой человек и протянул теплую мягкую руку.— Не узнаете?

— Почему же? Узнаю,— сказал Половнев, пожимая руку молодого человека.— Товарищ Жихарев. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста.

Жихарев сел рядом, оживленно, с веселой улыбкой заговорил:

— Помните, в мае рыбу ловили, и ваш покорный слуга пузыри пускал?

— Помню, помню... такое разве забывается.

— Капут бы мне, кабы не Алеша,— не переставая весело улыбаться, продолжал Жихарев с таким видом, будто вспомнилось ему что-то очень смешное и забавное.— Я ведь тогда скрыл от вас обоих, что плавать не умею. Кстати, Алеша не пишет вам?

— С месяц назад получили мы коротенькое письмецо из госпиталя... Потом в газете было об нем... А потом — молчок. Побаиваюсь, все ли с ним благополучно.

— Все хорошо! — сказал Жихарев.— Я вчера большущее письмо получил от него.

— Значит, все благополучно,— обрадованно сказал Половнев.— Что же он пишет?

— Ногу будто хотели отнять, но он не дался... Расстроен сильно: не удалось, мол, воевать, из первого боя — в госпиталь.

— Это, конечно, обидно,— кивнул Половнев.— А письма его при вас нету?

— Письмо в столе редакции,— ответил Жихарев.— Могу снять копию и выслать вам. Впрочем, и в Даниловку он написал — и вам, и жене.

Некоторое время помолчали.

— Очень кстати вы мне встретились,— снова заговорил Жихарев.— На ловца, как говорится, и зверь бежит.

— Стало быть, я — зверь,— усмехнулся Половнев.

— Получается так, Петр Филиппович,— вынимая из кармана брюк крошечную записную книжечку, сказал Жихарев и начал расспрашивать, как идут дела в колхозе.

Петр Филиппович рассказал вкратце об уборочной, о начале сева озимых.

Жихарев торопливо записывал. Потом спросил, как поживает Галя.

— На полях работает,— ответил Половнев.— На лобогрейке все время... с уборкой никак не разделаемся... Затянули, как никогда.

— И конечно, Галя в числе передовых. Стахановка,— уверенно заметил Жихарев.

— Неплохо трудится,— сдержанно сказал Половнев.— Только вы не вздумайте писать...

— Почему же?

— Да неудобно как-то... Вроде я дочь нахваливаю. И потом, вы по весне уже писали об ней.

— Я же не напишу, что вы дали мне сведения. Напишу, что будто ездил в вашу Даниловку.

— А разве так можно?

— Разумеется. Впрочем, не исключено, на денек я съезжу... Вы надолго в город?

— Не знаю... Как дела обернутся.

— А какие дела? Не секрет?

Половнев подумал: «Сказать ему? Нет, пожалуй, не надо».

— Да разные,— ответил он.

— Колхозные? Личные?

— Колхозные.

Хотелось спросить, почему он, Жихарев, не призван в армию, но не решился, вернее, постеснялся. «Значит, наверно, оставлен по какой-то причине!»

Они просидели около часа, и Жихарев, в сущности, взял у Половнева своеобразное интервью. А под конец спросил, собирается ли Галя учиться в университете. Узнав, что не собирается, выразил сожаление. Хотел было сообщить Петру Филипповичу, что договорился с Масленниковым о зачислении Гали в областной хор народной песни, да вовремя спохватился: Петр Филиппович был ведь против, чтобы дочь стала певицей. И промолчал.

### 4

В приемной первого секретаря обкома партии Половневу не пришлось долго ждать. Как только он доложился помощнику — молодому человеку лет тридцати, в белой рубашке, заправленной в серые брюки,— тот сейчас же пошел в кабинет. Оттуда вернулся минуты через две, пропуская впереди себя военных — одного с двумя ромбами, другого с тремя шпалами. Не прикрывая огромной тяжелой двери, обшитой черной кожей, приветливо пригласил:

— Пожалуйста, товарищ Половнев.

Кабинет Никитина удивил своей обширностью: комната с высоким белым потолком, чуть поменьше зала даниловского клуба. Посредине — два длинных стола, накрытых плотными зелеными скатертями, обставленных мягкими стульями с высокими спинками. Стулья обиты черной кожей, такой, какая на дверях.

Бросалась в глаза большая картина, написанная красками, изображавшая Ленина и Сталина, сидевших рядом на диване из ивовых или еще каких-то других очищенных белых прутьев. Она висела на противоположной от входа стене, над креслом секретаря. На стенах справа и слева — тоже в красках — портреты Калинина и Молотова.

Никитин встал из-за стола и быстро зашагал навстречу с дружелюбной улыбкой. На нем были полувоенная цвета хаки гимнастерка с отложным воротом, подпоясанная коричневым широким ремнем, и синие брюки с небольшим галифе, до блеска начищенные сапоги с невысокими голенищами.

Подойдя, он обеими руками крепко сжал руку Половнева:

— Здравствуй, Петр Филиппович. По совести сказать, не ожидал, что сегодня приедешь. Вчера только позвонили мы Александру Егоровичу. Думал: пока соберешься... Поутру сегодня даже пожалел: короткий срок назначил. А ты вон как! По-военному!

— Так время-то военное, Владимир Дмитрич!

Половнев остановившись, прямо, открыто черными глазами смотрел на секретаря обкома партии, ответно улыбаясь, и жесткие подстриженные усы его слегка подрагивали.

Он видел Никитина второй раз. Но в первый, по лету прошлого года, как следует не разглядел, потому что дело было под вечер и беседовали они сидючи бок о бок на дубовом кругляке, из-за чего он мог смотреть на Никитина больше в профиль.

А теперь он весь перед Половневым. Отчетливо было видно, что лицо секретаря обкома такое же немного монголоидное, как у Демина, сравнение с которым само собой напрашивалось: районный и областной секретари немного смахивали друг на друга и одинаково по-нижегородски-владимирски окали, с той только разницей, что голос у Никитина побасовитей, да и, разговаривая, он не прищуривал глаза, как делал Демин.

Никитин мягко взял Половнева под руку, провел к своему столу и усадил на такой же стул, какие стояли вокруг длинных столов посреди кабинета, а сам сел в большое мягкое кожаное кресло и почти утонул в нем, несмотря на свой выше среднего рост и изрядную объемность широкоплечего корпуса.

— Когда прибыл? — спросил он, усевшись и доверчиво, с явным расположением глядя на Половнева.

Половнев ответил, что приехал с резервным паровозом. Если бы не паровоз этот — опоздал бы часа на два, а то прибыл заблаговременно. Успел даже по городу побродить, посмотреть.

— Какое же впечатление от города?

— Тяжелое, Владимир Дмитрич! Очень тяжелое.

Никитин ворохнулся в кресле, в карих глазах его появилось не то вопросительное недоумение, не то настороженность.

— Тяжелое? Это почему же?

— По некоторым улицам — заграждения, колючая проволока... будто неприятель совсем близко... Неужели дела на фронте так плохи, что немец и до нашей области может добраться, как в восемнадцатом?

— Восемнадцатый не должен повториться,— сумрачно сказал Никитин.— Но есть указание быть готовыми ко всему... Вот мы и подготовились. Как по-твоему?

— Да неплохо... Город вроде ощетинился. Даже на крышах пулеметы, и люди около них... Будто не сегодня завтра сражение начнется.

— На крышах не простые пулеметы, а зенитные... противовоздушная оборона,— пояснил Никитин.— В августе уже два налета было... авиазавод бомбили.

— Ох ты! — всполошенно воскликнул Половнев.— И сильно разбомбили?

— Цехов не повредили... во дворе упало несколько бомб...

— Стало быть, уже и сюда достигают. Что же это творится? Колошматит нас немец. До коих же пор так будет, Владимир Дмитрич?

Никитин не ответил и нажал на одну из кнопок на столе, который показался вдруг Половневу непомерно просторным и пустым, несмотря на то что на нем умещалось порядочно всякой всячины: какой-то замысловатый, похоже из нержавеющей стали, чернильный прибор с двумя чернильницами, сбоку прибора — бронзовая статуэтка рабочего с молотом, опущенным к ноге; настольный календарь, две карандашницы с воинственно торчащими пиками кверху отточенных разноцветных карандашей; стопка синих папок.

Вошел помощник и остановился у порога.

— Много там народу? — спросил Никитин, кивнув в сторону приемной.

— Восемь человек,— ответил помощник.

— Извинись от моего имени и попроси всех прийти вечером. Распиши — кому когда. Начнем в семь. А сейчас мы побеседуем с Петром Филиппычем, потом я поеду в военный округ. Предупреди шофера, чтобы не отлучался. И насчет обеда для нас двоих распорядись... Понял?

— Все понял, Владимир Дмитрич,— сказал помощник и

удалился, закрыв за собой дверь на замок, о чем Половнев догадался по звуку звонко щелкнувшего запора.

«Чудно! — подумал он, внутренне усмехаясь и немножко волнуясь.— При закрытых дверях со мной разговор! Не иначе, стружку снимать начнет. Они умеют это делать — володимирцы да нижегородцы... исстари народ мастеровитый».

Но Никитин вдруг объявил: надо немного передохнуть.

— С девяти утра, не вставая, сижу,— сказал он и, взяв снова Половнева под руку, повел с собой через другую, небольшую дверь, ничем не обитую, сделанную из дуба или под дуб. Дверь эта была в противоположной стене от главного входа. Половнев до той поры не замечал ее.

5

После обеда вернулись в кабинет. Усадив Половнева на стул за длинным столом, стоящим в зале, Никитин сказал:

— Ты сиди, а я похожу. Врачи велят больше двигаться, чтоб не полнеть. Видишь? — Он слегка тронул ремень на своем действительно полнеющем животе.— Да некогда и негде двигаться. Вот я иногда и хожу, благо кабинет просторный. Сейчас мы с тобой как следует поговорим, но сначала закурим.

Никитин протянул Половневу раскрытый бронзовый портсигар. Половнев взял папироску и стал потихоньку разминать ее пальцами.

Захлопнув и положив в карман брюк портсигар, Никитин сказал:

— Помнится, ты курил трубку, когда мы с тобой на бревне сидели... не стесняйся, можно и здесь.

— Она у меня с махоркой... надымлю,— хмуро отозвался Половнев.

— Ничего. Окна-то открыты, вытянет.

— Нет уж, я лучше папироску.

Минуты две курили молча. Половнев сидел на мягком стуле с высокой спинкой. Стул казался ему слишком мягким и неудобным. Никитин расхаживал по кабинету четким, почти строевым шагом. Ладно сшитые юфтевые сапоги слегка поскрипывали. На вид ему было лет сорок. Он чуть повыше и, пожалуй, пошире, а главное, пополней Половнева. Незаметно поглядывая на него, Петр Филиппович любовался

им: всем человек взял — и статностью, и выправкой, и лицо симпатичное. Да и умный, видать. Приятно было думать, что во главе коммунистов области такой хороший и умный человек. Одно смущало: почему он оттягивает настоящий разговор? И о чем будет этот разговор? Может, что-нибудь секретное? Или тяжелое для Петра Филипповича? Тогда зачем и почему радушный прием с обедом? Подход?

Не останавливаясь, Никитин наконец нарушил молчание.

— Григорий Петрович Половнев, слесарь-инструментальщик завода имени Дзержинского,— твой сын? — проходя мимо сидевшего Половнева и удаляясь в сторону большой выходной двери, спросил он.

Половнев слегка вздрогнул: не случилось ли чего с Гришей?

— Да,— ответил он, повернувшись и глядя Никитину в спину.— А вы знаете его?

— Еще бы не знать! Чудесный коммунист, стахановец. Родина и партия должны спасибо тебе сказать, что вырастил и воспитал такого сына. Он ведь добровольно ушел в армию. Это тебе известно? — Теперь Никитин шел обратно и пристально взглянул на гостя.

— Известно.— Половнев все сильней начинал волноваться.— А вы почему вспомнили его?

— Как же не вспоминать! Сын твой на войну пошел не без моего содействия. Партком и райком не пускали Григория Петровича. Замечательный работник высокой квалификации. У него была бронь. Но он так настойчиво добивался... и я помог ему. Наверно, ты рассердишься.

— Почему я должен рассердиться?

— Да как же! Молодой человек... семейный... двое детей, а я разрешил снять с брони.

— Ну, Григорий-то не такой уж молодой.

— А тебе только очень молодых жалко?

— Всех жалко, Владимир Дмитрич,— со вздохом сказал Половнев.— Но что же поделать! Война, государство наше в большой опасности. Тут уж не до жалости.

И подумал: «Все-таки Александр Егорыч доложил о нашем июльском разговоре. Вот сейчас и начнет стариковские мозги мои вправлять секретарь областного комитета партии. Затем, похоже, и вызвал!»

Никитин снова искоса посмотрел на Половнева, некоторое время помолчал, потом спросил:

— Писем от Григория не получал?

— Из лагерей, где военную подготовку он проходил, три письма было. Четвертое — об отправке на фронт... больше известий не имею.

— А я недавно получил от него из Москвы. Под бомбежку эшелон попал, в котором он ехал.

— Под бомбежку? — встревоженно спросил Половнев, приподнимаясь и чувствуя, как всего его в жар бросило.— Нельзя письмо посмотреть?

В памяти встала сцена у кузни, когда Демьян Фомич принес ему извещение о смерти Ивана. «Держись, старик, держись! — останавливал себя Половнев.— Похоже, что-то недоброе с Гришей».

— Да ты сиди, сиди, не пугайся,— успокаивал Никитин.— Ничего страшного. Шибануло немного Григория Петровича... А домой писать не стал. Случай, дескать, пустяковый, зачем родителей расстраивать. Особенно боится, что мать узнает и будет мучиться. Но я решил, что ты-то должен знать. Прочти. А матери не говори.

Никитин прошел к своему столу, выдвинул один из ящиков и, взяв письмо, вернулся, протянул его Половневу, а сам снова стал прогуливаться вдоль стенки.

У Половнева задрожали руки, когда из конверта, надрезанного с одной стороны, вынимал исписанный лист тетрадной бумаги в клетку.

Милые, издавна знакомые мелкие буковки с завитушками. Прочитав письмо, он немного успокоился. Григорий сообщал, что его во время бомбежки ударило взрывной волной и он оказался в госпитале. Двадцать третьего августа его выписывают и отправляют на фронт.

Значит, уже выехал: сегодня двадцать шестое.

Облегченно вздохнув, Половнев положил свою недокуренную потухшую папиросу в стоявшую на столе большую хрустальную пепельницу, спросил негромко:

— Насчет Григория, стало быть, вызывали меня?

— Не только.— Никитин продолжал прохаживаться с заложенными за спину руками.— Есть другое, более важное дело... и очень серьезное. Слыхал, что ты и сам просился на фронт. Правда?

— Правда, Владимир Дмитрич. Было такое.

«Значит, все-таки доложил Александр Егорыч о нашем разговоре... ох и хитер. Все он знал... и зачем меня вызывали, знал».

— А теперь? — строго спросил Никитин.

— Да и теперь готов.

— Правильный и хороший ответ,— одобрительно сказал Никитин.— В войну при самодержавии кем был?

— Рядовым.

— А в Богучарской дивизии?

— Начал отделенным, а кончил взводным.

— Стало быть, военный опыт есть?

— Кой-какой.

Никитин остановился и некоторое время в раздумье смотрел в пол. Потом положил окурок своей, тоже давно потухшей папиросы в ту же хрустальную пепельницу, в которой одиноко белел окурок Половнева, медленно и внятно выговаривая каждое слово, спросил:

— А командиром большого воинского соединения количеством около батальона смог бы?

— Что вы, Владимир Дмитрич! — почти испуганно воскликнул Половнев.— В эту войну могу только рядовым... и на крайний случай пулеметчиком... С пулеметом «максим» хорошо знаком. А командиром батальона не гожусь. Ведь это высшее образование надо иметь, а у меня — ЦПШ!

— Что это такое?

— Церковноприходская школа о трех классах, Владимир Дмитрич.

Никитин усмехнулся:

— Первый раз слышу. Но звучит солидно. ЦПШ! Я подумал: центральная партийная или политическая школа. Может, были такие в двадцатые годы?

— Может, и были, да мне в них учиться не довелось,— с грустинкой сказал Половнев.

— Но командиром партизанского отряда, по-моему, ты вполне сможешь.

— Партизанского могу,— кивнул Половнев.— Если, конечно, не больше взвода.

— Сколько наберешь сам?

— Сам? — Половнев недоверчиво посмотрел на секретаря обкома — не шутит ли? — Где же и как я буду набирать?

— В колхозе... в своем колхозе.— Никитин опять прошел к своему столу, взял несколько листов бумаги, карандаш, вернувшись, положил их перед Половневым.— Пиши, на кого можешь надеяться...

Долго Половнев составлял список партизанского отряда. Полагая, что отряд этот будет немедленно собран и под его командованием переправлен в тыл неприятеля, он отбирал таких, которых с наименьшим ущербом можно было взять из

колхоза. И пока писал — в нем подымалось бодрое и победное чувство: осуществится все-таки его желание схватиться с немцами, с которыми, похоже, недовоевал он в ту войну.

Набралось тридцать восемь человек — мужчин от сорока до пятидесяти пяти — пятидесяти шести лет. Председателя, бригадиров, конюхов, животноводов в список не включил, без них в хозяйстве неминуче начнется развал. Зато, поколебавшись малость, записал Аникея Травушкина. «Мы его по хозяйственным нуждам приспособим, например сапоги тачать, кашу варить. Думается, не откажется, если всерьез за Москву душой болеет, а не для видимости. Ну, а откажется, леший с ним!» Что касается остальных, то в их согласии Половнев не сомневался, а в ком сомневался, того не вписал. «Мал отряд получается, но, может, Владимир Дмитрич или Александр Егорыч добавят».

## 6

Когда список был закончен, Никитин, все время прогуливавшийся вдоль столов, подсел сбоку. Стал просматривать, спросил, почему не указаны партийность и год рождения. Половнев ответил, что подобные сведения в точности помнит лишь о коммунистах, а об остальных — приблизительно. Никитин согласился и на приблизительные. Половнев проставил. Никитин подтянул список к себе и минут десять, не менее, читал его, вернее, перечитывал, как бы изучая.

— Кого ты тут понаписал? — вдруг рывком двинув бумагу в сторону Половнева, сердито сказал он.— Коммунистов всего три человека. Сколько их у тебя в колхозе?

— Вообще-то десять,— ответил Половнев,— но колхозников из них семь, а остальные преподаватели школы.

— А почему же ты только троих записал? Почему в списке нет ни председателя, ни бригадиров? Не надеешься на них?

— Не в том суть, Владимир Дмитрич. Коммунисты у нас народ хороший, надежный... но без них же в колхозе никак не обойтись.

— Да о каком же колхозе может идти речь, если Даниловку вашу немцы займут?

— Как это займут? — оторопело взглянув на Никитина, пробормотал Половнев.— Вы же говорили — восемнадцатый не повторится... И потом, я думал — немедленно нас пере-

правят в тыл неприятеля... ну и написал, без кого в колхозе на худой конец обойтись можно.

— Вот оно в чем суть! — повеселев, заулыбался Никитин. — Ну, ты, брат, мудрец! И всегда у тебя какая-нибудь суть про запас имеется! Это, конечно, неплохо, что ты, можно сказать, с ходу готов в тыл неприятеля... Но не торопись, товарищ Половнев, не торопись... В настоящее время не можем мы отпустить тебя ни на фронт, ни в тыл неприятеля. Без тебя тоже в колхозе ведь никак нельзя... и уборка еще не завершена, и дел всяких у вас там уйма... нужны и партийный глаз и партийная рука... Не говорю уж о том, что без тебя, наверно, кузницу закрывать придется. Заменить тебя некем. Знаю. Это во-первых. Во-вторых, партизанский отряд создавать на данном этапе мы можем поручить только тебе. В Даниловке сколько колхозов?

— Три: «Светлый путь», «Авангард» и «Рассвет».

— По всем трем колхозам составить общий список не сумеешь?

— По всем не смогу, Владимир Дмитрич.

— Людей не знаешь?

— Коммунистов всех знаю, а беспартийных не охвачу.

— Ну ладно. Пиши только по своему. Насчет «Авангарда» и «Рассвета» скажу Демину.

Пришлось Половневу дописывать. Больше часа потратил он на это дело. Теперь в списке оказалось шестьдесят восемь человек.

Пока он составлял список, Никитин тоже что-то писал за своим столом.

Закончив, Половнев понес ему четыре листа, исписанных крупным, разборчивым почерком.

— Возьми стул, садись рядом, — сказал Никитин и стал внимательно читать список.

Половнев поставил стул, сел бок о бок с секретарем, продолжая вспоминать, не забыл ли кого-нибудь из даниловцев, пригодных в партизаны. Представлялось, как будто никого не забыл.

Просмотрев список, Никитин в одном месте остановился, с сомнением покачал головой.

— Травушкин Аникей Панфилович... Это же тот самый? — глядя на Половнева, спросил он.

— Он самый.

— А он не опасен будет? Вроде и русский, и патриотические чувства у него... но все-таки из бывших кулаков...

— Из бывших, точно. Так лет десять уж в колхозе... Это одно. Другое — чего он один может сделать между всех остальных? Я почему включил его: мастеровитый он, особенно по сапожному делу... Сапоги починить или валенки подшить. В лесах же нам придется да в оврагах действовать, а там сапожных мастерских нет.

— Смотри сам, тебе видней,— сказал Никитин, продолжая читать список.— Но будь побдительней, в случае чего. Подобных ему тут больше нет?

— Нету... остальные — народ все трудовой, вполне надежный. А за Травушкиным будем присматривать. Из-за мастеровитости по сапожному делу вписал я его.

— Ну хорошо,— сказал Никитин, просмотрев весь список.

— Неужели же все это возможно? — озабоченно произнес Половнев.

— Что — все?

— Партизаны в Князевском лесу нашем... немец на нашей черноземной земле... в Даниловке?!

— Не исключено, дорогой Петр Филиппович, не исключено. Ну, на сегодня, как говорится, у нас с тобой все.— Никитин улыбчиво посмотрел на секретаря колхозной организации.— Теперь понял, зачем я тебя вызывал?

Половнев слегка вздохнул, поднялся: надо, стало быть, уходить.

— Все понял, Владимир Дмитрич... все. И скажу тебе твердо,— неожиданно проговорил на «ты»,— и обком партии и ты можете быть уверены — не подведем, если придется лицом к лицу с фашистами встать.

— Не сомневаюсь, Петр Филиппович, не сомневаюсь.— Никитин тоже встал, протянул руку: — До свидания. Будь здоров... А списочек мы тут перепечатаем и потом специальным нарочным доставим и Демину и тебе. А возможно, и сам я привезу... Да, чуть не забыл: насчет богучарцев, чего ты прошлый год мне рассказывал и чего не успел рассказать. Все время думал так: недурно бы написать... Интересная книжка могла получиться. Попросту написать, как умеешь. Собирался заехать к тебе и поговорить, да так и не собрался. Но мы с тобой вернемся к этому вопросу после войны. Не возражаешь?

— Чего же возражать? — сказал Половнев.— Только писатель-то я слабый совсем...

— Писателя мы к тебе подключим. Есть у нас тут такой... бывший участник гражданской войны.

— Что ж... будем живы — после войны подумаем, Владимир Дмитрич.

На этом встреча секретаря обкома партии с секретарем колхозной парторганизации закончилась, и они, очень тепло распрощавшись, расстались в полной уверенности, что еще не раз придется им встретиться в войну и после войны.

Из обкома Половнев вышел во взволнованном состоянии. Взволновали его и сама встреча с Никитиным, цель которой поначалу была непонятна и неизвестна, и сам характер ее, а главное — причина. Партизаны в Князевом лесу! Никак это не укладывалось в голове...

Конец второй книги

## СОДЕРЖАНИЕ

*Максим Михайлович Подобедов*

О ЧЕМ ОНИ МЕЧТАЛИ

Редактор
*Е. В. Леонова*

Художественный редактор
*Е. Ф. Капустин*

Технический редактор
*Г. В. Климушкина*

Корректор
*Т. И. Винарская*

ИБ № 5848

Сдано в набор 29.10.86. Подписано к печати 08.06.87. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 29,40. Уч.-изд. л. 33,28. Тираж 100 000 экз. Заказ № 706. Цена 2 р. 20 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11.

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

**Подобедов М. М.**

П 44 О чем они мечтали: Роман.— М.: Советский писатель, 1987.— 560 с.

Имя воронежского писателя Максима Подобедова хорошо известно по его произведениям «На последней меже», «Восхождение», «Рождение человека».

В первой книге романа «О чем они мечтали» автор рассказывает о жителях деревни Даниловки, расположенной в Воронежской области. Действие происходит в предвоенные годы.

Во второй книге — «Они шли на фронт» события разворачиваются уже во время Великой Отечественной войны. М. Подобедов прослеживает в романе судьбы многих колхозников, показывает становление и мужание характеров молодежи в труде и на фронте, пишет о дружбе и любви.

П $\frac{4702010200-208}{083(02)-87}$ 112—87

ББК 84.Р7

2 р. 20 к.

МАКСИМ
ПОДОБЕДОВ
О чем они мечтали